

СЕРГЕЙ
ЗАЛЫГИН







МОСКВА
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•
1989

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•
1989

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

ТРОПЫ АЛТАЯ

РОМАН

СВИДЕТЕЛИ

САТИРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

НА ИРТЫШЕ

ПОВЕСТЬ



МОСКВА

•ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА•

1989

ББК 84Р7

З-24

Вступительная статья

И. ДЕДКОВА

Оформление художника

Д. ШИМИЛИСА

З $\frac{4702010201-314}{028(01)-89}$ Подписное

ISBN 5-280-00784-6 (Т. 1)
ISBN 5-280-00785-4

© Вступительная статья.
Оформление. Издательство
«Художественная литерату-
ра», 1989 г.

Когда на семинаре «рассказчиков» Сергея Залыгина спросили об ответственности литературы перед обществом, он сказал, что «ответственности нигде не минуешь, а в литературе — особенно»: «Мы пишем для других», «хотим вручить свои мысли... — кому же еще? Человеку и обществу».

«Вручить свои мысли...» — это залыгинское. Книги Сергея Залыгина — умные книги; конечно, это далеко не полное определение того, какие они, и все же начинаешь именно с этого слова: умные. Тем самым выделяешь само качество происходящего в них обдумывания, понимания жизни. Это не такое уж распространенное качество, как может показаться. Бывает так, что изображение, знание жизни вроде бы исключительны по насыщенности и конкретности, но истолкование изображенного такое, словно ум отстаёт, робеет, не справляется. Правда, возможна и такая крайность, когда умственное оказывается сильнее художественного и равновесие в произведении нарушается, но и в этом непростом случае ум сохраняет свою привлекательность, если не истрачен на сочинение схем, упрощающих жизнь и человека, его идеалы, возможности, судьбу.

Все, что написал Залыгин, — это нарастающее, все более напряженное художественное и публицистическое обдумывание своего времени. Он пытается заново пройти путями послереволюционной российской истории и увидеть на тех путях человека — крестьянина ли, мастерового, военного, интеллигента — с его жизнью и судьбой, чтобы понять, из каких человеческих сил, правд, идей образуется историческое движение, столь непреклонное. Залыгину интересен *весь* человек в его отношениях с миром, который он застал, с другими людьми, обществом, государством, природой, со всем порядком бытия. Если он обдумывает

пути истории, то не как фатальные и неизбежные; недаром же столь богата у Залыгина беспокойная народная мысль...

«А вот бы в сказке пожить сколько-то? Хорошо, подика?!» — раздумывает герой романа Залыгина «Комиссия».

И ладно бы кто другой захотел в сказку — Панкратов ли Кирилл, не от мира сего мужик, ревнитель красоты, украшатель наличников да крылец, или Калашников Петр с его заветной верой во всеобщее кооперативное счастье, — так нет же, Устинов захотел, человек земной и практический, работник, каких поискать, светлая, здравая голова...

Выходит, что выпала ему такая минута, когда стало на родной земле неуютно, словно бы не ко времени он на ней оказался. И в ту тревожную ночь, откликаясь на чей-то зов, — не иначе опять по общественному делу кличут, — он шагнул за домашний порог навстречу гибели с запавшей на ум сказочкой...

А может, не зря было в Николае Устинове что-то детское: и «белые, почти что ребячьи волосы», и веснушки, и вообще он очень мало изменился «с тех пор, как был парнем». В нем оставалась какая-то детская, неизрасходованная уверенность, что вся жизнь, весь мир устроены по прекрасному замыслу, и надо лишь понять его и жить в согласии с ним.

Кажется, отступи в сторону, встань поодаль, взгляни, и — подправлять, подравнивать ничего не надо — прекрасен мир божий, живи, человек, наслаждайся, блаженствуй!

До чего же красив был план Лебяжинской лесной дачи на бумаге-кальке, такой непривычной на ощупь! «Необыкновенно красив!» — и припали к нему головами лебяжинские мужики, члены Лесной комиссии, и подивились: до чего же «устроенная и отчетливая земля». Все предусмотрено для всех, и всего отведено щедро: и леса, и пашни, и лугов, и участков под крестьянские усадьбы, чтоб строились не тесно, но и не порознь, чтобы и детишкам, и лошадям, и коровам — всем всего хватало, и чтобы хорошо родился хлеб, и уже от него заводились все прочие, необходимые «для жизни старого и малого» вещи и предметы...

Когда же Устинов остерег приятеля, радостно угадавшего на том плане знакомое место: «Палец-то чистый ли, Игнаха?» — «совсем тихо стало в избе — словно святую икону сюда внесли и сказали: глядеть на нее можно, говорить вслух нельзя...»

И хотя верно сказал Калашников, что не хватает во всей этой красоте неба, «небушка», ясно было Комиссии, что показывает этот план «порядок, а не беспорядок» и еще показывает, «как прекрасна вокруг них земля», и, значит, можно жизнь на этой земле «ладно и хорошо» «устроить и размежевать: хорошее вперед, плохое куда-нибудь назад», чтоб легла вся человеческая жизнь в «истинный свой план», вошла в свою «борозду, из которой выбилась»... И тогда-то земля и жизнь на ней будет — «одно», а не вразнобой.

Что-то сказочно-желанное есть в этом плане, сказочно-разумное. Хорошо бы, думает Лесная комиссия, держаться к нему поближе; слишком уж заколесила жизнь, надо «ставить ее на место», надо «торопиться с делом...». Может, это «самый главный час», «самый главный год» — «одна тысяча девятьсот восемнадцатый»?

Но, помимо «небушка», не хватало на том плане и еще кое-чего. Будь «мачтаб поболе», и «проглянулся бы и проклянулся» там «собственной личностью» тот же Игнашка Игнатов, да и другие все мужики, и бабы, и детки — весь лебяжинский народ...

А когда «проклянулся» бы, то было бы это уже не сказочно-расчерченное место для жизни, а сама жизнь — та самая, натуральная, бесплановая, запутанная, на которую размечтавшаяся Комиссия наткнулась в первом же своем праведном деле... Да и во втором так же, и в третьем...

Уж на что мудрый старик Иван Иванович Саморуков, уж он-то, кажется, человеческую породу постиг — не удивишь, и то в день помочей, когда по зову Комиссии строили школу, пожалел: «Чтобы хоть раз единственный было как в сказке: все за одного, один за всех. Нет, не умеют люди между собою жить! Воевать друг с дружкой, энто — да!»

Уводит нас Сергей Залыгин в своей «Комиссии» в даль уже историческую. Семьдесят лет — целая эпоха, а там, в романе, еще своя даль, своя история и память, свои сказки и мифы. И странное испытываешь чувство, будто далеко Лебязка и далеко ее Комиссия, но нет «дистанции», не годится это отодвигающее слово, и кажется, что это наш современный мир так широко раздвинулся и так широко существует, словно иначе ему себя ни за что не понять, не определить, и все это не прошлое, отданное науке, ее весам и числам, а наше живое сегодняшнее бытие, наше существование, осознающее свое подлинное историческое местоположение.

Да и внутри романа есть своя лебяжинская память, восходящая к первым переселенцам, к полумифическим старцам Лаврентию и Самсонию-Кривому, и без нее, по мысли писателя, жизнь была бы бессвязна. Эта отстоявшаяся до поэтической чистоты память — «праотцовские» сказки и сказания — как бы смягчает происходящую жизнь, ссылаясь на изначальное соседство и родство всех лебяжинцев. Среди этих сказочек, больше шуточных да про любовь, есть и предостерегающие, — к несчастью, полузабытые. И хоть вспомнил Иван Иванович Саморуков, чуя близкую беду, грозное предостережение Самсония-Кривого против «раскола и вражды», да не до сказок уже было... Сверкнули над Лебяжкой, по которой прошла смерть, звезды Большой Медведицы, и поневоле виделся в их блеске знак, указанный старцем, и сбывалась та сказочка, как бы смыкая времена одним ненарушимым законом, сказочно-простым и разумным, но трудно исполнимым...

История лебяжинских «комиссаров», и прежде всего история Николая Устинова, рассказана так, что есть в ней — в стиле ее, в интонации — эпическая завершенность, определенность и мерность сказания. словно все мелкое, легкое, пустое, ничего не значащее для судьбы каждого и всех, вымыто, унесено временем, и оставшееся, нисколько не совпадая ни с какими прекрасными планами, существует как живое историческое целое, хранящее народный опыт труда, мысли, страданий, надежд. словно давнее сказание о трудном пути кержаков к счастливой и сытной земле дополнилось еще одним — о новых временах и на новый лад.

Этот роман, жизнь в нем — это то, что случилось с людьми, с лебяжинским миром в тесном пространстве нескольких месяцев; это короткое «ничье» время, не белое, не зеленое, не красное, даже не время — пауза, словно История миновала Лебяжку, не заметив ее или отложив на потом. А пока она вернется — жить в этой паузе Комиссии, мудрой и справедливой, и разгораться ее несбыточным надеждам... И совершаться жизни на этой узкой полоске свободы, такой неслыханной, но все равно призрачной, потому что непосильной. Позади — сказки и были прошлого, впереди — тревожное, неумолимое будущее: оно уже угадывается в жестах, словах, интонациях, уже подчиняет себе судьбы, простирает во всей своей антиутопической убедительности... И так кратко, так невнятно настоящее, так сжато, пронизано прошлым и будущим, что, кажется, не повернуться, не распорядиться ему собой...

И все-таки жизнь — и это у Залыгина повсюду — не может смириться с тем, что все якобы предрешено, и выбор ей заказан; через Устинова, Калашникова, Смирновского, Саморукова она стремится обдумать себя и выразить свою волю: терпеливая, покорно ожидающая, сносимая течением, она была бы сама себе недостаточна и неприятна. Ей трудно принять мысль, что все происходящее — единственно возможное. Коллективный ум Комиссии необходим жизни, он рожден и питаем этой лебяжинской землей, этим сибирским простором, и для него естественно соблюдать и оборонять интересы крестьянина, интересы природы. Огромен мир, могущественна история, мала Лебяжка, но в документах и речах Комиссии есть достоинство государственного сознания; в них — убежденность в своем праве так говорить, действовать, нести бремя ответственности. Эта убежденность, этот высокий стиль — от революции. Комиссия напоминает о разумном законе и порядке как сущности власти. Она пытается образумить. Это более всего раздражает тех, кто взялся распорядиться жизнью: какое-то быдло, темное мужичье смеет толковать о власти и законе! Но слово произнесено, и никакой силе оно уже не подвластно: ни той, что убила Устинова, ни колчаковским шомполам. Оно вырвалось, обращенное ко всем, ближним и дальним, к какому-то всемогущему доброму разуму, а может быть, и к самой истории, не страшась затеряться в ее гуле...

Можно понять Устинова с его мыслями о сказке...

Неужели доставшаяся человеку жизнь, выпавшее ему время — единственны, заданны, безвариантны? И никакая другая жизнь немыслима, непозволительна? И даже не поторопить ее, не притормозить, не повернуть ни вправо, ни влево? И ни вверх, ни вниз тоже не взять? И не для того, чтобы сбежать, спрятаться в сказку, фантазию, мираж, утопию, а ради постижения жизни, мира, своей участи, во имя полного осуществления своего земного смысла, во имя сознательного и свободного выбора. Не амeba все ж таки человек, не амебовидное существо.

И хотя в художественном мире С. Залыгина почти нет (разве что в немногих сатирических опытах) «одноклеточного», стертого, обезличенного человека, тем не менее именно «амeba» и «амебовидность» возникают в этом мире как образ духовной опустошенности, выхолощенности, нравственной прострации. Тревожная мысль автора или

его героев об этом пределе человеческого существования, о страшной этой ретроспективе (или, не приведи бог, перспективе) живет в «Оське — смешном мальчике», в «Моем поэте», в «Южно-американском варианте», она угадывается и во всем остальном, будь то «Комиссия», «Соленая падь», «После бури».

Однажды некий профессор Дроздов, чье сознание в очередной раз блуждало в грезах и кошмарах, испугался воцарения Таракана. Даже смешной мальчик Оська, вестник жизни, спаситель, палочка-выручалочка, не откликнулся, чтобы защитить профессора от этого морока, от ужасной мысли о жадном тараканьем размножении, о всемирном тараканьем шелесте, о торжестве примитива, «неоухотворенного вещества». И тогда профессор решил переждать, затаиться и почувствовать себя «амебой, назначением которой было только существовать, а больше ничего, ничего и никогда». И он перестал думать, слышать, видеть, вообще — «перестал».

Профессор надеялся обмануть Таракана, а «когда обманываешь своего противника, неизбежно приходится обмануть и еще кого-то, а этим кем-то чаще всего бываешь ты сам и твоя жизнь».

Чеховский штабс-капитан Соленый отвращает автора «Моего поэта» как человек, предпочитающий «не искать, не понимать, не переживать» и знающий, что так «можно немалого достичь». Соленый отвергает «убеждения нравственного порядка» полностью, и это может «кому-то даже показаться чем-то значительным, на самом же деле это максимально возможный предел глупости, амебовидности».

Но это очень практичная глупость, и потому она существует уверенно и безбедно. Конечно, она переживает за себя; на других не хватает воображения. Она знает лишь один вариант жизни и разыгрывает его без тени сомнения.

В мире Залыгина всякая косная, примитивная, одномерная сила, лишенная воображения, угнетаема своей обреченностью и потому так поспешна; она может восторжествовать, и, верный исторической правде, писатель изобразит это торжество, но даст нам заметить, как оно зыбко, сиюминутно, постыдно.

Писатель также знает, что бесценная способность человека к размышлению, фантазии, к составлению планов-проектов в местном и мировом масштабе еще не сулит сама по себе нравственного, справедливого устройства земного бытия. Например, безоглядные увлечения категорической мысли, основанной на неустойчивой, выборочной гуман-

ности, вполне могут привести к массовому упрощению человека, к той же самой «амебовидности». И потому в мире Залыгина, где такие увлечения мысли представлены и очень активны, заметен постоянный поиск противовеса и видно стремление найти, определить «центр тяжести», возвращающий жизни равновесие, ее естественное положение, и удерживающий его при резких поворотах исторического пути.

В статье об А. Платонове Залыгин писал, что Платонову, «как никому больше», удалось «приобщить к нравственности биологию, приобщить к ней осязание и вообще ощущение». То есть, по мысли Залыгина, Платонов чувствовал, что «в существовании живого» «заложена ведь какая-то нравственность, хотя бы в виде того порядка и тех норм сосуществования видов, который позволил им, таким разным, возникнуть, развиться и дотянуть до наших дней». Чтобы «дотянуть», «помимо борьбы и конкуренции видов» должны были существовать «и коллективность, и взаимопомощь, и разумные, то есть нравственные, принципы сосуществования». Мораль у Платонова «не отделена» «от жизни, от конкретного существования живого человеческого вещества, она заключена в нем, в этом веществе».

Сам же Залыгин «приобщил к нравственности» как бы природную мысль, рожденную непреходящими, коренными потребностями человеческого существования, его чувством самосохранения, равновесия и порядка. Это только кажется, что такая мысль очевидна и проста. И даже чересчур проста и давно превзойдена. Она пребывает в мире как бы растворенно, теряясь в его многоголосии, но она существует и растет, и часто ее определяют как народную мысль. Причем она вовсе не противоположна научной мысли, научному знанию, как понимал его, скажем, академик В. И. Вернадский; скорее это движение в одном направлении, исходящее из ощущения и понимания, что человек «не есть случайное... свободно действующее природное явление» (В. И. Вернадский), что он «материально-энергетически» связан с землей, солнцем, горами, лесами, реками, со всем живым, с интересами и судьбой природного целого.

Что бы ни происходило в романах и повестях Залыгина, там всегда представлено по возможности полное самообдумывание жизни, ее обновляющая, растущая мысль о себе. И не столько об отдельных, частных своих состояниях, сколько обо всем своем теперешнем движении в русле исто-

рии. И нет в этом самообдумывании скучного и противостественного единообразия, и многие разные голоса звучат там, трагически трудно соглашаясь между собой или смертельно враждуя. Вроде бы на одной земле, одного роду-племени, одного крестьянского занятия, да развели жизнь и мысль людей так далеко, что от Дерябина или Гришки Сухих до Устинова и Смирновского, от Брусенкова до Мещерякова и Власихина, от Корякина до Чаузова и Нечая, пожалуй, такое расстояние, что лучше всего мерить годами и десятилетиями, иной мерой не выразить. Много должно миновать времени, чтобы корякины дотянулись до правды чаузовых или хотя бы примирились с ней, чтобы правда устиновых открылась обществу не как наивная, отсталая, утопическая, а как своевременная, дальновидная, духовно состоятельная.

А сколько оттенков и полутонов между крайними направлениями представленной мысли, сколько там здравых, путаных и сумасшедших идей, сколько в них жизни, ее требований, метаний, растерянности, силы и слабости крестьянских умов! И писатель не спешит посмеяться над одним, осудить и заклеить другое, возвести в сан непрекаемой истины третье. Пусть они выговорятся, словно думает он о своих героях, пусть потолкуют всерьез, пусть совершат свои добрые поступки, и пусть случаются злодеяния, и пусть читатель, какие бы схемы должного и обязательного ни были им усвоены, сам почувствует, чья мысль нравственнее и как трудно пробивается, прорастает в жизни истинно разумное начало.

То, что мы назвали «центром тяжести», не стоит искать в художественном мире Залыгина где-то посередине, на какой-то нейтральной линии, где, как говорится, ни вашим, ни нашим. Этот центр, по убеждению писателя, смещен в сторону от безучастной середины, и ближе всего к нему Устинов, Чаузов, Мещеряков, но рядом с ними непременно Калашников, Нечай, Фофан, Власихин. Некоторая «неопределенность» тут очень хороша: ни в том, ни в этом, ни в другом, но во всех вместе, потому что такой «Центр» ни в ком конкретно, ни в каком имяреке никогда не воплощается, и можно лишь почувствовать, что он не иначе, как тут, в этих пределах. И Мещеряков, и Устинов, и Чаузов сделали свой главный выбор: один сражается на стороне красных, другой готов к этому, третий вступил в колхоз после долгих сомнений. Но при этом никто из них не отступился от своей самостоятельности и достоинства, никому не позволил думать за себя, тащить себя в поводу.

В этих людях есть природный, не разъеденный хитрым умствованием талант жить и поступать по совести; благодаря им как-то становится яснее, куда клонится жизнь: очень уж они чутки ко всему, словно инстинкт и разум у них заодно.

Мещеряков расстреливает штабные чернильницы не из-за ненависти к бюрократизму, до которого тут еще далеко-далеко; ему претит брусенковский распорядок жизни, это прокрустово ложе, эта коварная борьба за власть. Мещеряков срывается в «партизанщину» не потому, что он против порядка и дисциплины. Его мучает, что вместо порядка ему навязывают распорядок, где все таинственно, произвольно и бездарно и можно ожидать чего угодно, словно все это не для общей пользы придумано, а для чьей-то отдельной выгоды, для вящего удобства какого-то властолюбца...

Нет, никак нельзя сказать, что в книгах Залыгина совершается «путешествие в известное», хотя писатель однажды дал литературе именно такое определение. Сlišком много открывается нам в залыгинском мире, в круге его идей и характеров того, что к «известному» не причислишь. Тем не менее не «езда в неизвестное», а езда, и мягче — путешествие — в «известное». Но у Залыгина это «известное» — от сравнения с наукой, которая действительно проникает в неведомое и неизвестное. Литература же «не открывает явлений и фактов, совершенно неизвестных, прежде чем они появились и проявились». Но ее святое дело — «показать это известное и существующее со своей точки зрения, увидеть в существующем нечто истинное и нечто ложное, жизнедеятельное и безжизненное». А что истинно и что ложно, не всегда хорошо известно...

Приведенные слова относятся к 1966 году, когда уже была написана повесть «На Иртыше» (1964), завершалась работа над «Соленой падью» (1967), а впереди была «Комиссия» (1975). Писатель ясно понимал, что «грамотное чувство современности» невозможно без «чувства истории», что историей «своего народа, в частности русского крестьянства, пренебрегать нельзя». Он писал, что чувствует «корни своей нации именно там — в деревне» и что долг его поколения сказать о том тысячелетнем укладе, из которого «мы вышли без малого все и каждый», о «решительной переделке» этого уклада «в течение короткого срока».

Эти слова не брошены на ветер. Сибирское крестьянство времен революции и коллективизации нашло в Залыгине своего историка и художника. Он задумывался над тем, что «уроки истории» обычно «усваиваются» с необыкновенным «неуспехом», и ему хотелось, чтобы «неуспеха» было поменьше. Так образовывался внутренний пафос этой прозы.

События принадлежат исторической науке, их участники («не массы», а «конкретные личности») — литературе, рассуждал Залыгин. «Война и мир» может «дополнить учебник истории, но не заменить его».

Но «дополнить», пожалуй, слишком узкое слово, в нем есть оттенок вспомогательности, несамостоятельности. «Каждый исторический факт необходимо объяснить человечески», — записал Л. Толстой после прочтения еще одного труда по русской истории. Необыкновенный «неуспех» исторических уроков, возможно, связан с тем, что человеческих объяснений явно недостает. Такие объяснения не дополнительные, и книги самого Залыгина это подтверждают. Нам открывается самое дорогое из того, что хочется знать и понять: жили-были разные люди, задумывались над жизнью, над обстоятельствами, что-то понимали или не понимали, помогали добру или злу, называя это как-то по-своему, участвовали в событиях важных и незначительных, совершали какие-то поступки, и вот из всего этого человеческого взаимодействия и отталкивания, отстраняя многие варианты, которыми богата жизнь, возникало, складывалось то, что потом стало историей. И передавалось при этом ощущение времени, идущее изнутри той миновавшей жизни, и слышались голоса из-под самого гребня набегающей, настигающей исторической волны...

Литература позволяет «примерить на себя» чужой опыт, и велико бывает потрясение. Она предлагает новые, пропущенные в свое время точки зрения на вещи, и тогда обнаруживается драма Чаузова или Устинова. Это такая «дополнительность», что выводит к истине надежнее, чем какие-либо другие средства.

«На Иртыше», «Соленая падь», «Комиссия», «После бури» в древе залыгинской прозы воспринимаются сегодня как могучий ствол; все остальное, если оставаться в пределах сравнения, похоже на ветви, живые, сильные, но не развившиеся пока настолько, чтобы раздвоить ствол. Однако это не означает, что в прозе Залыгина всегда преобладало одно направление, один интерес, который подчинял себе все другое.

О первой книжке рассказов Залыгина (Омск, 1941) сибирский критик Н. Яновский писал: «Лучшие страницы в ней... связаны с его (Залыгина.— И. Д.) увлечением людьми, борющимися за расширение и улучшение хозяйственных угодий в Сибири». Это увлечение естественно для человека, который с 17 лет (после окончания сельскохозяйственного техникума) уже работал в деревне уполномоченным, инструктором по силосованию кормов, агрономом, а затем закончил институт и стал инженером-гидротехником. Последующие книжки рассказов (1947, 1951, 1952) были написаны Залыгиным на материале, тесно связанном с его жизненным опытом и миром его профессии. Тогдашние представления об отношениях литературы и жизни не могли на них не сказаться. Но в лучших рассказах той поры («Пик половодья», «На Большую землю») есть психологическая правда и мягкая человечность; это позволяет им жить и сегодня. К тому же Залыгин в них узнаваем: это частица его мира, его души, а не что-то чужое, казенное и расхожее.

Энергичное развитие самой жизни высвободило накопленные писателем знания, мысли, опыт, и его новые произведения — очерк «Весной нынешнего года» (1954), повесть «Свидетели» (1956), сатирические рассказы («Функция» и др.) — более чем когда-либо прежде привлекли к нему внимание критики и читателей. Однако в те годы Залыгин как самобытный и сильный художник скорее предчувствовался, угадывался, например, А. Твардовским, чем уже существовал. На основании того, что появилось, трудно было бы уверенно сказать, что более всего свойственно этому таланту. Он переживал время подлинного самоопределения.

Существуют разные мнения насчет того, с чего же все-таки начался Сергей Залыгин. С северных ли рассказов сорок седьмого года, с очерков ли пятьдесят четвертого или с повести «На Иртыше»?

Но, может быть, с романа «Тропы Алтая» (1959—1961)? С книги, кажется, перенасыщенной мыслью и знаниями в ущерб сюжету и композиции, но сохранившей по сей день то драгоценное качество, которое можно назвать свежестью взгляда, жизненностью и простором смысла?

В «Тропах Алтая» Залыгин словно прощался с миром, который был ему дорог не менее литературы и долгое время был его жизнью, — с миром любезной сердцу науки, со всеми своими интересами в области гидрологии, мелиора-

ции, географии, со всей этой очень практической, очень земной научной мыслью, пытающейся обнять и постичь все живое сибирское пространство с его почвами, лесами, реками, горами, болотами, со всеми его обычаями и законами. Недаром же его самая первая печатная работа не имела никакого отношения к литературе и была посвящена освоению северных земель Омской области (1937). Да и защита диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук (1948)¹, и десятилетнее заведование кафедрой мелиорации в Омском сельскохозяйственном институте, и дальнейшие широкие научные интересы («Я находил достаточно много вопросов и задач, к которым можно было приложить все свои силы...») говорят, насколько все это было серьезно. Этим вопросам и задач хватило бы на всю жизнь.

И уйти от них совсем, «закрыть» их для себя раз и навсегда, «отсечь» было трудно. Потом оказалось, что невозможно. Слишком близко соприкасались они с насущными нуждами и завтрашним днем народного хозяйства. Совесть писателя-ученого не могла снести, когда природными богатствами распорядились бесцеремонно и безрассудно. В 1962—1963, а затем в 1967 годах в «Литературной газете» были напечатаны статьи Залыгина, явившиеся итогом тщательного изучения проблемы затопления земель при строительстве крупных гидроэлектростанций. Им предшествовали поездки по стране, а также в Египет, на строительство Асуанской плотины. Эти залыгинские статьи содержали веские доводы против предполагавшегося сооружения Нижне-Обской ГЭС и были поддержаны общественностью. Если б проект стройки был осуществлен, ныне под водой оказались бы как раз те тюменские земли, где сейчас в больших объемах добывают нефть и газ. Борьба Залыгина против этого проекта — а его отстаивали мощные и влиятельные силы — была полна драматизма; она потребовала от писателя незаурядного гражданского мужества, стойкости и бескомпромиссности. Тех же качеств потребовала и его многолетняя борьба против поворота северных рек, против безрассудных, хищнических действий мелиоративного ведомства.

Развитие Залыгина-художника, писал Н. Яновский, «шло параллельно развитию Залыгина-ученого, и одно, не-

¹ По способу Залыгина, предложенному в диссертации «Выбор расчетного года при проектировании оросительных систем в зоне неустойчивого увлажнения», проектировалась система оросительных каналов на Дону.

сомненно, обогащало другое». Но слово «параллельно» как бы раздваивает неделимое — духовный мир и творческий потенциал личности. Как происходит в человеке превращение, переключение, сублимация одного вида творческой энергии в другой или же ее полное, вдохновенное сосредоточение на одном предмете и соответствующее ее преобразование, кто скажет? Но оно произошло, и художественный талант Залыгина, как никакой другой из современных ему, движим сильнейшим импульсом мысли, глубоко культурной, хорошо оснащенной, чуждой односторонности и предвзятости (как синонима недобросовестности!), стремящейся на пути к истине учесть, взять в толк, рассудить все сколько-нибудь состоятельные оттенки и разновидности исследуемого, изображаемого предмета. И прежде всего оттенки мысли, человеческого разумения жизни, потому что мысль все-таки ищет мысль, ее драму. Но даже в тех случаях, когда методология научной мысли могла бы, кажется, взять свое (Залыгину по душе литературно-критический жанр), она незаметна. И если она присутствует, то как опыт, как школа точных определений и навыков обобщающей, сводной мысли. Возможно, в художественном таланте этого писателя вообще есть что-то «определяющее»: происходит не только описание, изображение, но определение пейзажа, пространства, человека, ситуации, времени. Как есть и редкое в нашей литературе стремление представить и понять фрагменты и случаи человеческого существования в их жесткой обусловленности историческим процессом, в контексте судьбы нации и государства, пытаюсь постичь при этом сложные отношения потока стихийной жизни в русле истории...

«Тропы Алтая» — это путешествие, экспедиция, семь человек в их отношениях, работе, разговорах, размышлениях. Не погибни Онежка в середине романа, можно было бы сказать, что событий в нем вообще нет. Но время экспедиции оборачивается для каждого ее участника временем нового самоопределения. То, что они знали о себе прежде, в чем были убеждены, становится недостаточным. Им нужно заново понять и определить себя: кто они, зачем, что могут и до каких пор они — это они, а не ложь какая-то... И это равно важно для всех: для старших, и зрелых, и молодых. И Онежка, юное трогательное существо, и строптивый Вершинин-младший, и поглощенная, томящаяся своей красотой Рита Плонская написаны Залыгиным с ясным пониманием проблем и психологии молодости. Это, может быть, самое необходимое для молодого человека, говорит

Залыгин в романе, найти в огромном, сложном мире, в его многолюдстве, заполненности и значительности свое собственное место, не изменив добрым, талантливым силам души, ее возможностям и не противопоставив себя опыту и разуму «всех», то есть трудящегося народа. Может быть, потеря себя в молодости, измена себе — одна из самых страшных потерь в человеческой судьбе, она трудновосполнима. Молодые герои романа, да и других произведений Залыгина, особенно дороги автору, когда знают вечную, непреходящую тревогу человека: кто же я истинный, в чем моя правда, как сбыться мне, как жить дальше?..

И Рита Плонская, убежденная, что она со своей красотой не «как все» и никогда не будет «как все», соприкоснувшись с обыденной, простой жизнью, вдруг открывает в себе, что может и даже хочет быть «как все», что это сулит что-то хорошее и доброе, и она потрясенно вслушивается в это незнакомое прежде желание...

И маститый Вершинин вдруг взглянет на свою жизнь, как на участие в какой-то странной пьесе, где его роль обозначена так: «Вершинин Константин Владимирович. Профессор. Лет шестидесяти». Если же изменится возраст, думает он, и будет помечено «лет шестидесяти пяти», то появится: «член-корреспондент». И вроде бы обычная пьеса и даже популярная, но та ли у него в ней роль, теми ли словами определена, да и сама пьеса так ли уж хороша? Словно проформа какая-то соблюдена, а главное, ради чего стоило жить, не состоялось. Без «главного» жить было удобнее, вот он и свыкся. Но он, по крайней мере, это понимает, ему хочется быть человеком «в полном смысле слова», и он вызывает сочувствие в этом своем позднем энтузиазме очищения.

Жизнь у Залыгина не желает долго быть запутанной, невнятной, неопознанной, она стремится к ясности. Сколь бы ни были сложны и замысловаты люди, они обнаруживают себя сполна в действии и словах, и уже невозможно ошибиться, кто из них кто в их нынешней жизни и в своем скрытом значении для будущего, то есть для наших дней. Но, прежде чем наступит эта ясность и понятность, залыгинские герои охрипнут в спорах-разговорах, табаку перекурят «на целый век» и выскажутся без особой утайки не только о своем, домашнем — крутолучинском или лебяжинском, но непременно всероссийском и даже всемирном зацепят, справедливо полагая, что тут не без связи и по отдельности ничего не поймешь. Вся их жизнь, даже сугубо частная, «добровольно-принудительно», как выражается

крутолучинский Нечай, раскрыта, распахнута в историческую сторону: не укроешься, не спрячешься. Вот и мало им — да и невозможно теперь! — свою жизнь только справлять и переживать, надо ее обдумывать, рассуждать о ней, надо защищать ее своею мыслью, хотя бы такими испытующими, достающими до самой больной сути вопросами:

«Устинов?! Ты можешь против меня воевать? Еще хуже — сначала воевать, а потом жить со мной соседом? Сначала воевать, после детей в одной школе учить, чтобы они рядом за партой сидели?..»

«Ведь почто кулак образовался? Богатеть хотел, останову не знал. А ты начал раскулачивать — ты свой останов знаешь?»

«Но почему так... почему человек со своей собственной молитвой сам обходиться не может, обязательно другим ее навязывает? И не отцу своему ее навязывает, и не сыну, а чужим людям? Чем чужее — тем больше охоты навязывать?»

За такими вопросами — драма живых характеров, умов, сословий, времени. Но ничто, никакое здравомыслие не может приостановить развитие событий в Лебяжке или Крутых Луках, и всюду кровь или близко к крови. Разве что в Соленой Пади разум взял верх над интригами жестокого фанатизма, но и бурсенковская сила была там не столь велика, и нашлась на нее управа. А вообще-то вопросы таковы, что никто ничего на них ответить не может. Ни Устинов своему бывшему командиру Смирновскому насчет «войны», ни Смирновский Устинову про «молитву», ни крутолучинский грамотей и культурник Фофан своему односельчанину Нечаю насчет «останову»... Через такие вопросы движется остререгающая, ищущая в мире порядка и справедливости, растревоженная народная мысль. Ее можно счесть в чем-то утопической и наивной, но нельзя не признать, что она неизменно нравственна. В ней есть ощущение предела, переступить который — значит причинить жизни долгий, трудноизживаемый ущерб.

Герои романа «Тропы Алтая» в сравнении с Чаузовым или Мещеряковым — люди отвлеченного ума. Как ни практична, как ни земна их наука, все же они «теоретики». Но эта профессиональная, научная мысль, особенно в варианте Рязанцева, питаемая впечатлениями жизни и новыми знаниями, ищет того же, что и мысль народная, стихий-

ная. Они сходятся в своем зените, и это прекрасно выразилось в художественном мире Залыгина. Рязанцев и Устинов поняли бы друг друга, оба они думают о разумном, рачительном устройении человеческой жизни, согласном с законами природы, с коллективным опытом народа.

Чтобы «говорить между собой» и договариваться, рассуждает Рязанцев, люди создали бога, а потом решили отказаться от этого посредника. И вообще от «посредников». Настало время договариваться без них: «Как договоримся, так и сложится наша жизнь, такими мы и будем. В большом ли, в малом ли». Рязанцев убежден: если хотим жить, то должны договориться.

Идея «договора» исходит из веры в человека. И противостоит отчуждению человеческого разума, его «перепоручению» кому-либо. Эта идея живет в истории мещеряковского сопротивления насильственной правде Брусенкова; драма «договора» воплощена в «Комиссии» и частично в повести «На Иртыше».

Члены Лесной комиссии, за исключением Дерябина, договаривались между собой и с лебяжинским народом всерьез. Без корысти, без обмана, как на духу. И договорились и сами, своими умами, без единого посредника, без теории, без подсказки и указа создали народную власть.

Много говорила-рассуждала Комиссия, но не ею было начато: разговорчивое продолжалось время, да и ясно было: не сговоришься, не станешь спина к спине — сомнут, и земля твоя опустеет без пахаря. И каждый в той Комиссии знал свои слова, был сам по себе голова, философ, политик, и сам по себе — маленькая, но поправка к любой, слишком самоуверенной истине.

Однако Комиссия была обречена; ее мирная мысль и дело побиты не мыслью и делом, но шомполами. Светлые головы Лебяжки снесены. Когда-то еще вырастут и поднимутся другие, такие же светлые...

Трагичен исход романа; жалко людей, за чьими речами давно уже открылись живые характеры и судьбы. Но вместе с лебяжинскими комиссарами, с их Комиссией исчезло и еще что-то, высокое и доброе, светлый порыв разума, аргумент и вариант Жизни, перечащей разрушению и кровопролитию.

Несбыточный вариант. Но Комиссия исходила из того, что каждый человек должен сделать все, во что верит, а там будет видно, сбыточно или несбыточно. Комиссия сознава-

ла свою правоту и не ощущала ее как преждевременную. И жила верой, что договориться все еще можно.

В Крутых Луках уже в тридцать первом году мужики тоже немало думали сообща. Из ночи в ночь засиживались они в колхозной конторе, судили-рядили о новых своих делах, и времени им на то не хватало. Примащивались они на полу вдоль стен да по углам, дымили, словно чего-то ждали, и на заседание Комиссии это было мало похоже.

С одной из таких ночей начал Залыгин повесть «На Иртыше» — о людях, которые не могут и не хотят договориться. И еще начата эта повесть с вопроса, чреватого несчастьем: «Ежели меня Иртыш понесет с ребятенками — как глядеть будете?» С вопроса, на который опять никто не ответил, хотя вопрос был нешуточный и даже мучительный, но его словно не расслышали, и тогда-то прорвалась злоба и стряслась эта беда... Здравое и нормальное враз пресеклось: можно, оказалось, крестьянину крестьянское же, общественное зерно подпалить; можно своими руками крестьянский дом с обрыва в Иртыш сбросить; можно и на бездомных ребятенков, прижавшихся к матери, едва глянуть и пойти прочь. Такие кипят страсти, что сгоряча, кажется, все можно и никому нет удержу. Но здравость жизни недалеко отпустит Степана Чаузова, и хоть тряхнет он жену свою Клашку за волосы, но обогретых ею чужих ребятенков с матерью из дому своего не выгонит. И суждено теперь Степану за Клашкино и свое милосердие, за право жить по совести пойти так далеко, что поставит он под удар уже свой дом и своих ребятишек, но не отступится.

Был у Чаузова шанс договориться — не с мужиками, не они решали, — а с «посредником», хоть он и Юрист, человек из «городского каменного дома под железной крышей», и ухо с ним надо держать остро, но был все-таки шанс, и Чаузов этого не заметил — зарекся он уже от посредников и не смог понять этого чужого себе, умственного, но справедливого человека...

Нет между героями этой повести никакого сколько-нибудь надежного «договора»; все неопределенно, и неясно им, что будет дальше, и все они теперь как-то порознь. В самом сюжете повести чувствуется какая-то неотвратимая логика; случай с Чаузовым — этот один из бесчисленных вариантов жизни, сложный и неоднозначный, упрощен этой логикой и подмят. Но сюжетное движение не произвольно, в нем отзывается движение истории, и отсюда — значительность этой повести. Залыгин не считает, что случившееся фатально; он всегда хорошо различает челове-

ческую вину и недостаток гуманизма, упущенные возможности справедливости и человечности.

Жизнь, давняя и близкая, неизменно сохраняет в прозе Залыгина свою сложность и самостоятельность. Все последовательнее становится объективность залыгинского стиля — эта способность почувствовать и понять разные человеческие характеры и правды, обилие правд, обилие частных истин, — и представить их рядом, в сосуществовании и противоборстве, в вечной попытке договориться.

Но иногда Залыгин изображает одну человеческую правду, один человеческий мир и почти не выходит за его пределы. Так возникают мир Ирины Викторовны Мансуровой («Южно-американский вариант») и мир Алексея Алексеевича Дроздова («Оська — смешной мальчик»). Оба эти мира в некотором роде экспериментальны. В первом случае писатель попытался увидеть жизнь немолодой женщины, ее поздний роман ее же глазами, то есть попробовал проникнуть в «тайны женской души». Во втором — реальному бытию своего героя предпочел скитания его мысли и фокусы его воображения.

И в романах и в статьях Залыгина можно встретить мысль о «гении женщины», который, «как бы велик он ни был», «никогда не станет ни сенсацией, ни открытием, а между тем как раз он ставит людей в человеческие отношения друг к другу...». Залыгин не раз писал о том, что «не столько гений мужчины, сколько гений женщины» удерживает человека «при человеческом начале, при собственной его природе, при традициях».

Однажды Ирина Викторовна сказала себе: «Это что-то ужасное — чувствуешь себя амебой наоборот: амеба существует, но не думает, а ты думаешь и думаешь, но не существуешь». Она сказала себе: «одни представления о жизни, а где же жизнь?»

И она решилась существовать, и явилась жизнь: с ключами от тетушкиной квартиры, с престарелой тетушкой, гуляющей на свежем воздухе, пока на ее кухне горит условленный свет, с новым бордовым платьем под цвет его «Москвича»... И хотя она пребывала теперь как бы на двух планетах сразу и где-то по соседству все еще вращалась ее старая планета со старым мужем, сыном, свекровью, она все-таки... она, кажется, была счастлива.

Анна Каренина встретила Вронского случайно, в вагоне, когда этот блестящий офицер посторонился, пропуская ее, и ничего нельзя было тогда предсказать, исчислить, что произойдет, чем обернется, какими словами будет названо.

Здесь иначе: в новогоднюю ночь Ирина Викторовна пожелала себе Большой и Огромной Любви. Пожелание исходило из формулы: «сорок пять минус ее годы» — это та стремительно приближающаяся к нулю разность, на которую — последняя надежда. Никаких блестящих незнакомцев в мире Ирины Викторовны не было; оставались одни знакомцы, то есть сослуживцы по НИИ, и был там один интересный вариант... Она подозревала, что он есть, она догадывалась, и теперь предстояло действовать: нужно было поторопить эту Большую Любовь. И она поторопила.

Ирина Викторовна умная женщина; ей трудно смириться с инерцией жизни, с тем, что ничего другого уже не будет.

Но вот настало другое, и самым удивительным оказалось то, что в мире этой женщины, то есть в романе, как-то очень уж плохо отпечатался именно Никандров, ее Большая Любовь. Так плохо, словно этого человека вообще не было. Разумеется, Никандров был, и все определения его личности известны: «умник», «лапа», «голуба», «меломан», «высокий и стройный» и т. д. Он охотно посещал тетушкину квартиру, что-то говорил, уезжал-приезжал, и все-таки его не было. Был какой-то минимум присутствия, и она верила в «неприкосновенный запас» его души. Но оказалось, что и «запаса» нет. Оказалось, не человек, а оболочка какая-то. Розовая респектабельная пустота. Исполнение обязанностей: «и. о. мужчины». Или еще страшнее: «и. о. человека»?

Пока Большая Любовь идет по плану и графику, пока Ирина Викторовна носит бордовое платье и обсуждает с Нюрком «женские тайны», весь этот роман двух «р-революционеров» эпохи НТР ничего не обещает.

Никандров, правда, сомневался, что они «р-революционеры», но слово это его ничуть не шокировало.

Лишь воспоминание о чистых надеждах молодости, о промелькнувшем когда-то влюбленном в нее человеке, звавшем за собой на край света, — о Рыцаре и его «южно-американском варианте», — возвращает Ирине Викторовне ясность зрения и достоинство.

Вот кто был в ее жизни — тот случайный вагонный попутчик, и время не стерло его в памяти и дало ему имя Рыцаря...

Не потому ли в жизни так много унылой необходимости, что человек не видит или страшится своих прекрасных возможностей? — спрашивает нас писатель. Возможностей, даруемых самой жизнью, ее чудом, ее простором?

Кажется, все мыслимые возможности своего существования перебирает и прикидывает в «Оське — смешном мальчике» Алексей Алексеевич Дроздов, инженер-метеоролог, потом профессор. Его сознание и воображение, подстегнутые одиночеством, болезнью, угрозой смерти, упорно тычутся во «все углы» отведенного человеку пространства и времени, словно пытаясь вымерить его, прочувствовать, раздвинуть и, может быть, спастись. Это воображение иронически перерабатывает кое-что из ближайшего, реального материала, а затем уносится в такие невероятные сферы, где можно беседовать, например, с могущественным Интегралом, который не устанет напоминать тебе, что ты «бесконечно малая величина» и что ему ничего не стоит приобщить твою крохотную массу к своей великолепной сумме бесконечно малых... И тут, хоть захлебнись в крике, доказывая, что ты — реальность, а он — понятие, ничто не поможет: приобщит... Или можно послушать, например, Таракана, уже упомянутого прежде лидера новой шелестящей цивилизации... Не зря же Дроздов посмеивался над бедностью наших обычных представлений: ну, положим, ты охотно существуешь «в виде довольно курносого голубоглазого послушного мальчика, первого ученика, а существование в каком-нибудь другом виде и облике, в какой-нибудь другой, хотя бы и вполне положительной, единице тебе никогда не приходит в голову!» Теперь это и многое другое пришло ему в голову и захватило полностью; Залыгин придумал для этого «уважительные причины», а почти всю обычную, нормальную жизнь своего героя убрал за ненадобностью: не в ней был интерес. А вот Оську оставил, ненецкого смешного мальчика Оську, явившегося в эту повесть из «Оськина аргиша», рассказа пятидесятого года... И похоже, что Оська — словно чудесный якорь, без него облако дроздовских фантазий перестало бы чувствовать тягу земли, исчезло бы последнее ощущение чего-то надежного, реального и по-детски чистого...

Порою это облако принимает причудливые и сложные формы. Но превращения дроздовского сознания, как бы ни были они удивительны, лишь следуют за превращениями и потребностями жизни. То, что заслуживает насмешки здесь, отзывается там насмешкой, то, над чем хочется плакать, не может вызвать там веселья, то, что намечается или существует как опасность, оборачивается опасностью и там. Только предстает все это в иной, как бы сгущенной форме, в ином, фантазмагорическом облике, способном, однако, не затемнять что-то, а прояснять.

Кажется, чаще всего в фантазиях Дроздова прорываются силы, угрожающие человеческой индивидуальности, «реальной и неповторимой». Отсюда этот кошмар танцующих и поющих обезличенных множеств, индивидуальностей «с одного конвейера», тиражированной безмятежности и безмыслия. Отсюда эта боязнь непомерных, хищных абстракций, для которых человек — бесконечно малая и даже ничтожная величина. Отсюда неприятие всего искусственного, алчно-потребительского, бесцеремонного, искажающего и уродующего естество человека и весь природный мир.

Но не зря же памятной всего Дроздову из всей его жизни «те периоды, в которые он не столько жил-был, сколько переставал жить-быть»; собственно, из таких двух «периодов» и состоит повесть. И, может быть, самое волнующее в ней — это трагическое усилие дроздовской мысли разминуться со смертью, обмануть ее, остаться здесь. Это мучительный поиск спасительного прибежища, — хотя бы для малой частицы, для капли человеческого вещества, — где-нибудь у последнего, уже заамебного даже предела, под крылышком какой-нибудь исходной «субстанции» этой альма-матер Жизни, чтобы потом когда-нибудь эта капля в соединении с «изначальностью» снова смогла бы «составить его жизнь». Ведь и вся-то надежда, что «существования нет без повторения»...

Согласимся с профессором: «все-таки это недурно», что он так безнадзорно витал и странствовал в мировом пространстве, пытался приобщиться к изначальному веществу, встречался с разными, «никем не предусмотренными персонами, и Интегралом, например». От таких скитаний и встреч только дороже становится «милое-милое земное существование», и еще большее чувство напрасно растраченных сил, погубленного времени, пропущенных возможностей, чувство недостигнутой свободной полноты жизни.

Интерес к жизни человеческой мысли, к ее сюжетам и драмам у Залыгина бывал то глуше и косвеннее («На Иртыше», «Соленая Падь»), то явственнее и как бы специальное («Тропы Алтая», «Комиссия», «Оська — смешной мальчик»), а в романе «После бури» он становится по временам всепоглощающим.

Внутреннее взаимодействие-противоборство художника и мыслителя шло в Залыгине всегда, а роман «После бури» — новая стадия этой борьбы, развития этой своеобраз-

ной, поистине двуединой творческой силы. Он может показаться странным, трудным, сверхумственным. Верно, роман необычен и нов своими героями, сложностью их отношений с действительностью, самим образом этой действительности, а главное — возросшей вариантностью, освобожденностью и богатством представленной мысли. Но в чем-то коренном он ожидаан: это Залыгин, это залыгинское любопытство к человеку внебытовому, историческому, из 18-го, 21-го, 28-го или какого-нибудь еще года, к человеку как к существу прежде всего мыслящему, идейному и живущему согласно своей идее, которая — со всеми превращениями, отступничеством или упрямством — самое-то интересное, захватывающе интересное и есть!

Само имя Залыгина обещает основательность и ответственность всего, что высказывается его произведениями. Это не то же самое, что обещание умеренности и аккуратности. Это — доброкачественность мысли, художественной или публицистической, ее нравственная выдержанность, ее склонность к объективности. Какие-то колебания в уровне мысли, неоправданные увлечения могут быть, но общие места и модные трафареты исключены. Важнейшее доказательство высоты этого уровня хотя бы в том, что всякий залыгинский персонаж — будь то «теоретик мародерства» Сенушкин, «просветитель» Митрохин или «летописец ужасов» Иван Ипполитович — это неизменно в своем роде единственное, собственное истолкование всего хода и смысла жизни, старых и новых ценностей, возможностей и участи человека. Это снова и снова варианты человеческой мысли, ее тяжбы с непонятным, запутанным, затемненным, непосильным, это ее живое, нервное, страстное бытие.

Если находить в романе «После бури», скажем, «портретные характеристики», то это будут прежде всего «портретные характеристики» мысли. Через мысль, через поведение мысли, в прямой ли речи, в потоке ли сознания, любым другим подходящим способом — и характер, и настроение, и дрожь голоса, и насмешка, и, кажется, само выражение лица... Если же и мелькнут внешние черты — цвет глаз, волос, прическа, — то не столько сами по себе, сколько мыслью о них, об их значении и смысле! Да и пейзаж в романе — это, скорее, пейзаж мысли, хотя ни на минуту не забываем — историко-социальная, географическая конкретность у Залыгина велика, — что перед нами пейзаж мысли не только общероссийской, но и сибирской... И председатель крайплана Лазарев, и бывший генерал

Бондарин, и кооператор Барышников, и бывший петербуржец Корнилов — все они принадлежат не какому-то отвлеченному, условному пространству, а Сибири двадцатых годов с ее огромными возможностями, планами, интеллектуальными силами и надеждами...

Среди героев Залыгина немало доморощенных, самодельных философов. Но основной предмет их философии один: растревоженная, переименованная, преображенная революцией страна, их родина. И они — с нею в доставшиеся им «трудные времена», и они хотят понять и эти времена, и себя в них, свою роль, и друг друга, и обновленную родину... Словно понять — уже само по себе дело, и даже великое, и великий труд. И еще — необходимая, постоянная задача, и лучше всех говорит о ней в романе Лазарев: «Осознание жизни — художническое, научное, социальное, любое — обязательно должно приводить к более совершенной системе общественного устройства». Заметьте: и «любое», то есть самодельное, самостоятельное, и по единственному неоспоримому праву: ты — человек и это твои времена, других не будет...

Движение мысли в романе похоже на поток, ветвящийся на множество рукавов. Но хоть какую-то частицу истины — даже среди мути и сора — несет каждый. Никто из персонажей не обделен, что-нибудь да оставлено всякому; какая-нибудь мучительная догадка, какое-то опережающее знание или острое чувство боли, к которой все притерпелись...

В первой части романа Залыгин был занят едва ли не классификацией вариантов человеческого миропонимания и поведения, характерных для избранного времени. Его главный герой Петр Корнилов поначалу все равно что скиталец и путешественник: он плутает среди людей, жадно вслушивается в их речи. Корнилов по складу ума близок к естествоиспытателю-систематику. Ему нравится называть, определять, формулировать, вносить в неразбериху порядок. «Он стремился не столько к видению, сколько к понятиям» — это автор о своем герое, но, возможно, в какой-то мере и о себе. Систематизирующий ум Корнилова открывает в полковнике Махове «полковника-германофила», в мастеровом Казанцеве — «наладчика машин», в медсестре Ковалевской — «сестру милосердия», то есть черты типологического свойства. Образуется что-то вроде типологической картотеки, которую можно пополнять и дальше. Индивидуальность индивидуальностью, неповторимость неповторимостью, но есть же что-то общее и сквозное, что

связывает всех этих бритых фанатических полковников, всех самозабвенных, милосердствующих сестер и, наконец, всех «бывших» — эту новую человеческую разновидность?..

Через Корнилова — умственный центр романа — автор дает нам возможность почувствовать и осознать, что человеческий состав исторической жизни неизмеримо сложнее, многослойнее и противоречивее, чем кажется при поверхностном наблюдении, особенно отдаленном наблюдении. Индивидуальная воля, индивидуальная мысль в романе — это не столько сильный, по-своему воплощенный социальный интерес, но и несомненное продолжение каких-то унаследованных, исторически закрепленных черт личности определенного, стойкого типа. И вот какой-то тип личности как раз ко времени, другой — всегда ко времени, ну, а еще какие-то явились чуть раньше, чуть позже и так далее, но есть все, обязательно все, полный набор...

Во второй части романа произошла перемена в героях. Корниловская картотека пополнялась, но без прежнего энтузиазма. Явились действительные герои, и нетрудно было почувствовать: за ними — прототипы, реальные люди, реальные драматические судьбы. А эта живая реальность хорошо командует! Залыгин по собственному опыту знал: как ни уводи образ от прототипа, Мещерякова от Мамонтова («Соленая Падь»), как ни обобщай и ни вольнодумствуй, мамонтовская судьба с ее законченным смыслом — препятствие! Так и судьба генерала В. Г. Болдырева в новом романе — препятствие, и судьбы других прототипов — тоже. И выходит в результате вот что: Бондарин, Лазарев, Прохин, Вегменский, Сапожков привлекательны своей человеческой единственностью, единственностью и значительностью своих мыслей, решений, поступков. Ни о какой сводимости этих судеб, этих образов мысли к каким-либо типологическим разновидностям и речи быть не может. Именно в несводимости, в человеческой яркости на этот раз интерес и сила!

Перемена в героях исподволь что-то переменяла в жанре романа. Теперь вроде бы стало недоставать того самого традиционного романного «психологизма», и развернутая драма мысли — Корнилова и Бондарина — словно бы нуждалась отныне в каком-то «снижении», «обытовлении», в каком-то новом, чувственном бытии... Однако драма эта, особенно в последних ее стадиях, была представлена в виде умственного экстракта, и лишь наше воображение растворяло его в теплых волнах сочувствия и сострадания...

Впрочем, чего же мы хотим? Критика, пытаюсь определить сущность этого романа, справедливо отмечала, что здесь «мысль сама становится основным предметом художественного исследования» (П. Николаев). Это — пограничная форма романа; далее — все что угодно: философия, социология, естественные науки, но не искусство.

А может быть, этого пограничья нам иногда и не хватает? Говорит же у Залыгина составитель «Книги ужасов» Иван Ипполитович: «Там, где мысль, там не убивают».

Безумная, утопическая идея? Опровергнутая тысячекратно, опровергнутая без усталости?

И все-таки герои нового романа Сергея Залыгина бьются над приближением именно к такой, «неубивающей», созидательной мысли. Они не хотят «раствориться в обстоятельствах», они не могут согласиться с тем, что предыдущими поколениями исчерпаны «все варианты мысли, а значит, и человеческого существования». Отсюда — их драма, но отсюда же — их честь, и достоинство, и неутолимая работа ума во имя истины. Писатель давно предпочитает таких героев и тверд в этом выборе.

Таланту Залыгина свойственна полная самоотдача; это подтверждается и уровнем его литературно-критических работ. Его статьи об А. Платонове, Л. Мартынове, В. Шукшине, В. Распутине, В. Астафьеве, В. Белове, Б. Личутине и других, книга о Чехове и статьи о Гоголе и Толстом — это продолжающееся обдумывание жизни и человека, смысла таланта и его судьбы, своего времени и самого себя. Оно входит в единый художественный и нравственный мир Залыгина как нечто необходимое; это тоже его бытие, а не что-то побочное и окрестное.

«Мой поэт» — книга, написанная поверх всего сказанного о Чехове прежде. Залыгин скорее анализирует, а не реконструирует целое: личность, образ жизни и поведения, мир художника, смысл его присутствия и участия в жизни. Залыгин пишет о Чехове, об одиночестве, границах таланта и норме в искусстве и жизни, о такте, о координатах человеческого существования, и все это, помимо «определения» Чехова, включает в себя «определение» своего собственного нравственного и эстетического выбора. Вслед за автором читатель невольно проделывает ту же работу: происходит как бы уточнение координат нашего существования...

Художественная мысль Залыгина не знает покоя и самодовольства. Она бывает неожиданна, потому что находит новые пути своего осуществления. Ей не сопутствует скучное ощущение, что все давно известно и что все и всегда в жизни и истории совершается одним единственно возможным образом. Книги Залыгина говорят об огромных, неисчерпаемых возможностях и многообразии жизни, о духовной силе человека, неутоленной и неостановимой. Писатель не сомневается в богатстве и зрелости народного разума. Вслед за одним из своих героев он мог бы повторить: «Я в народ верующий».

Игорь Дедков

ТРОПЫ АЛТАЯ

РОМАН

Давным-давно исхожены все тропы на обетованной земле.

А между тем нет путей таких, таких дорог, чтобы они не звали и не манили, не волновали.

Не бывает рассветов ни в горах, ни в степи, чтобы они не обещали неизведанного дня, и даже в пустыне, где солнце, поднимаясь, всякий раз освещает одни и те же дали, сегодня дышится совсем иначе, чем вчера.

Не бывает в пути двух одинаковых закатов, и дважды не занимается одним и тем же огнем бивачный костер...

Пусть известна горькая правда — путешествие ничто не изменит на географической карте, не укажет новых троп, не откроет ничего нового в природе, — пусть так; все равно ко всему, что вокруг, ты будешь стремиться приложить себя без остатка — свой слух, свое зрение, свой ум, все свои чувства. Быть может, счастливцу, который пройдет этими же путями много-много лет спустя, более зоркому и внимательному, чем мы, все-таки пригодятся твои глаза, твой слух, твои мысли, и он откроет то, что не дано было открыть тебе.

Так велика в путешествии жажда слышать и видеть, что мгновениями начинает казаться, будто горы, и леса, и реки, и дали были бы совсем-совсем другими без тебя.

И так проникаешься чувством вечности природы, что запросто можешь представить себе горные вершины, хребты, края и бесконечные просторы за тысячи лет до тебя, на тысячи — после.

Путь — это встречи, новые знакомства, новые друзья. А узнавание человека — разве это не путешествие в неизвестное?

В пути же ты бываешь один, как нигде. А разве одиночество не обогащает человека?

* * *

— Готовы, нет ли? — Шофер забарабанил в брезентовый полог, натянутый над кузовом ГАЗ-63.

Слышно было — в кузове двигали что-то тяжелое, кто-то стучал молотком, и чей-то голос торопливо спрашивал:

— А пилу? Куда девать пилу, чтобы безопасно?

Заглушая мотор, стук молотка и этот беспокойный голос, водитель снова забарабанил в полог:

— Готовы? Трогаю!

Из кузова ответили:

— Сейчас, сейчас! Еще одну минутку!

— Третий день минуты считаем! Все вышли!

Водитель хлопнул дверцей, положил руки на баранку, ногой уперся в стартер: приготовился жать. Но тут же закричал снова:

— Готовы, нет ли?

— Сейчас, сейчас! Еще одну...

— Э-э-э, черт!

Гудок заполнил полутемный въезд, вырвался на улицу, а за ним, скрежеща еще не обкатанными частями, выкатился и ГАЗ-63, развернулся вправо, метров через сто — влево и, обгоняя громоздкие пассажирские машины, троллейбусы, «Победы» и «Волги», устремился по асфальту проспекта под уклон, в сторону реки.

В застекленных узких окошечках кузова показались лица — молодые и совсем юные, все возбужденные тем чувством, которое неизбежно возникает у каждого в самый первый, изначальный момент путешествия.

Ближе к реке проспект становился все непригляднее, бульвары исчезли, красивые дома уступили место неуклюжим деревянным постройкам, а потом он пересек высокую железнодорожную насыпь.

Во всех городах такие насыпи и выемки одинаково неуютны, покрыты одной и той же пылью, одна и та же лебеда чахнет на откосах, но здесь, в центре большого города и уже в виду раздольных речных просторов, где только бы и развернуться набережным, скверам, паркам, эта насыпь и эти деревянные постройки были особенно не к месту.

Сразу же за насыпью машину остановил милиционер. ГАЗ завопил, завизжал тормозами, как будто кто-то придавил его на бегу.

Водитель выскочил, снова с яростью забарабанил в кузов:

— Экспедиция! Высокогорная, биологическая! Вылазь! Приехали! Разводи костер! Разбирай палатки!

Через глубокий овраг, по дну которого бежала мутная речушка, а по склонам тесно, как бы поддерживая друг друга, жались пестрые избенки, был построен новый мост, высокий и еще совсем светлый, незапыленный, а с моста старого, узкого, вдавленного в склоны, саперы переносили трамвайную линию.

Кирками и ломami они по команде очень молоденького, но уже с чапаевскими усами лейтенанта все враз нажимали на полотно трамвайного пути, и полотно — длинная его полоса, метров около сорока, со шпалами, с землей, пропитанной черным маслом, — всякий раз, как лейтенант кричал «взяли!», скрипя, подвигалось к новому мосту.

Здесь же рядом, на подступах к этому мосту, люди, торопясь, ломали несколько домишек.

Три или четыре домишки, покосившиеся, по самые окна вросшие в землю, были крайними в избяной толпе, заполнившей овраг, они стояли совсем близко друг к другу и все-таки друг на друга не глядели. Они кончали свое существование каждый сам по себе: были уже без крыш, без крылечек, без оград и все еще упорно отворачивались друг от друга. Немного поодаль разрушали еще один дом — этот был совсем еще крепким, двухэтажным, и бревна падали с его стен, грохоча и поднимая огромные столбы пыли. Казалось, что дом горел и весь был окутан дымом.

Еще по направлению к мосту связисты тянули неглубокими траншеями кабели, в четырехугольных ямах рабочие устанавливали железобетонные опоры новой трамвайной линии, тут же прокладывалась нитка водовода из чугунных труб.

Грохот стоял здесь невероятный, но все-таки и он то и дело заглушался поездами. Электропоезда неслись по насыпи почти над самыми головами людей то вправо, то влево, и тогда все как будто исчезало из глаз, потому что в этот момент нельзя было не зажмуриться, и даже после того, как поезда уносились прочь, земля еще вздрагивала и тонкими ручейками струилась в траншею водовода, покрывая серыми пятнами его лоснящееся гудроном тело.

Машин перед мостом — легковых, пассажирских, грузовиков, самосвалов — скапливалось с каждой минутой все больше. Шоферы и пассажиры прежде всего высказывали свое недовольство, высказывали его громко и неучтиво, потом начинали объяснять друг другу все, что происходит перед мостом, спустя некоторое время уже подавали советы рабочим и саперам, безжалостно критикуя все, что, по их мнению, заслуживало здесь критики.

Пассажиров экспедиционной машины ГАЗ-63 неожиданная задержка в самом начале пути привела в явное уныние.

Дней уже пять или шесть эти люди томились ожиданием той минуты, когда они тронутся наконец в путь, но что-то такое случалось обязательно, что их останавливало: не было запасных канистр под горючее, по оплаченным уже счетам нельзя было получить продукты на базе горпищеторга, начальник экспедиции, профессор доктор Вершинин, со дня на день откладывал выезд; когда же он решил отправить экспедицию вперед, а потом догнать ее в селе Шебалино на Чуйском тракте, выяснилось, что зоолог Лев Иванович Реутский к ружьям двенадцатого калибра запасся патронами калибра шестнадцать.

Совершенно спокойно в кабине сидел Лопарев — аспирант и помощник профессора Вершинина. Кожаный, изрядно потрепанный картуз Лопарев надвинул на глаза. Всякий раз, как по насыпи грохотали поезда, он картуз слегка приподнимал и смотрел на все вокруг немного усталым, но внимательным взглядом.

В кузове ехала молодежь — студенты-практиканты и младшие научные сотрудники, но был среди них географ Рязанцев, чуть сутуловатый, с серыми неяркими глазами, в очках, — этому давно перевалило за сорок.

Ему непросто было скрыть прямо-таки мальчишескую досаду, вызванную остановкой, но теперь он бродил — руки за спину — и на все вокруг глядел из-под очков так, будто не столько глядел, сколько слушал: голову чуть-чуть набок, прищурив глаза.

И хотя он был очень внимателен ко всему, что увидел здесь и услышал, но по-прежнему переживал странное для его лет нетерпение — хотел обязательно ехать, мчаться вперед, вперед. Он хотел другого неба над головой, хотел во что бы то ни стало устать, изнеможеть от пешего пути, хотел ночлегов в палатке.

Нетерпение его было таким, что он жил как бы впереди себя, там, где его еще не было, но где он обязательно будет: в синеве гор, в шуме леса и горных потоков, в общении с людьми, которых он не встречал никогда в жизни, в размышлениях о ледниках и реках, которых он еще не видел...

Он ни о чем не думал не только в прошлом времени, но и в настоящем. Все для него стало будущим временем, но все-таки он глядел вокруг внимательно. Спрыгнул в одну траншею и пощупал прохладный, покрытый гудроном водовод, поднялся по лестнице наверх, вошел в пестрое облако пыли, которое укрывало разрушаемое двухэтажное здание.

Постоял он около маленьких домишек, с которых венец за венцом сбрасывали неровные, почерневшие от времени бревешки. И это попытался запомнить. Чтобы потом когда-нибудь обо всем этом вспомнилось...

Когда спустя несколько часов машина снова тронулась в путь и миновала высокий берег Оби с бледным рисунком Барнаула, потом — деревянный городок Бийск, Рязанцев и это запоминал.

За селом Сростки показалась Катунь; давно уже нарисованная воображением Рязанцева, она вырывалась из теснин и ущелий в широкую долину, была еще вся взволнована и Рязанцева взволновала тоже.

Он ею любовался.

Крутые, нестройно поющие волны и даже какая-то неопрятность реки: размываемый тальниковый берег той стороны, клочья пены, мутные пятна в зеленой глубине — все было для него отрадным, и он безоговорочно отдал ей предпочтение перед Бией — та была и уютнее и светлее: отстоялась в глубинах Телецкого озера, из которого брала исток свой. Та была быстрой, но быстрой размеренно и четкой в берегах своих. От нее нельзя было ждать каких-то перемен.

Катунь больше пришлась Рязанцеву по сердцу еще и потому, что она мчалась «оттуда» — оттуда, куда он так стремился, из его будущего, в котором он уже жил эти дни. Катунь еще больше взбудоражила его желание быть «там».

Между тем синева Алтайских гор, их аромат ничуть не приближались к Рязанцеву, хотя шофер Владимировский и вел машину со скоростью восьмидесяти километров в час: ненастье двигалось на Горный Алтай с северо-запада еще быстрее.

Километры, которые машина пробегала, ненастье тут же затягивало мглою, только редкими минутами позволяя заглянуть в синие дали впереди себя.

Наступала пора, когда мир повсюду становился одинаковым — что в горах, что в тундре, потому что он простирается перед вашим взглядом всего на три шага, а слышится в тумане лишь собственный голос да шорох туч.

В это ненастье в высокогорной тундре Семинского хребта отряд и разбил свой первый стан.

И вот тут, лежа в одной из палаток, Рязанцев снова стал переживать все то, что видел на пути в экспедицию. Должно быть, все-таки наступило будущее, ради которого он тогда смотрел, слушал, запоминал. Теперь он снова и еще явственнее слышал грохот, в котором разрушались старые, потускневшие домишки рядом с новым, таким светлым мостом.

И еще он вдруг вспомнил сейчас очень ясно конверт с двумя почтовыми марками: крупной — оранжевого цвета, и маленькой — фиолетового.

Когда он смотрел на этот конверт в действительности, он на марки не обратил никакого внимания, сейчас вспомнил их.

В одном из разрушаемых домишек в окне, через которое виден был перевязанный бечевкой матрац, черный потрепанный чемодан и какой-то нехитрый домашний скарб, белел этот конверт, прислоненный к стеклу.

Адрес на конверте был написан крупными буквами, ему предстояло пойти в город Красный Кут на имя Синеокой Марии Федоровны. Фамилия была такая у женщины — Синеокая.

Уже крыши не стало у домика, стропила упали на землю, начали снимать потолок, а письмо все еще виднелось на подоконнике рядом с незатейливым цветком, распустившимся в консервной банке.

Исчез из дома матрац, перевязанный бечевкой, и черный истрепанный чемодан — о письме как будто все забыли.

Выставили из оконца рамы. Домишко глянул потемневшими проемами, в которых негде было уже играть солнцу, золотистые стружки на белой вате, уложенной между рамами, тоже поблекли — им не в чем стало отражаться, — письмо все еще лежало на этой вате.

Наконец к письму потянулась крупная мужская рука. А через каких-нибудь четверть часа домишки совсем

не стало — торчали только какие-то гнилые столбики, рассыпаны были по земле серая, с черными углями зола, коричневые опилки, но и эти признаки жилища тут же смел бульдозер.

Люди, только что жившие здесь, торопливо побросали свой скарб в кузов неуклюжей трехтонки, забрались наверх сами и уехали. Говорили — в район нового строительства, в квартиру на пятом этаже.

Воображение Рязанцева не последовало, однако, за этими людьми на пятый этаж, а привело его в город Красный Кут, к Синеокой Марии Федоровне...

Невозможно было представить, чтобы Синеокая Мария Федоровна оказалась некрасивой, крикливой, вообще чем-нибудь неприятной, просто — старой. Ей лет тридцать пять, не больше. Она русая, с косами.

Город Красный Кут, в котором она живет, где она обязательно прочтет письмо о том, что кто-то в Сибири переехал в новый дом, на пятый этаж, — тоже чем-то приятный городок.

Несколько довольно больших каменных домов на площади и, если выйти из дверей райисполкома, по левую руку, кажется, небольшой ресторанчик. Проездом когда-то бывал Рязанцев в этом городке уже давно, больше десяти лет назад. Река в Красном Куте — Еруслан, зеленая от водорослей, всюду перегороженная запрудами и потому неподвижная, кое-где по берегам — дубравы. Большой или просто Еруслан? Никак не мог Рязанцев вспомнить, тем более что там, в сухих степях Среднего и Нижнего Поволжья, все реки, кроме самой Волги, — большие: Большой Иргиз, Большой Каралан, Большой Узень... Речка Куба, которую летом запросто переезжают на машинах, и та — Большая. Впрочем, не зовется ли она Соленой?

Ладно, Большая или Соленая эта самая Куба — не о ней Рязанцев хотел вспоминать... Хотел вспомнить Синеокую Марию Федоровну. Не верилось, что он ее никогда не видел. Когда-нибудь видел, только не знал, что это она, не заметил. Прошел мимо и не заметил. А теперь возрождает в памяти лица женщин, которых встречал в дороге, видел за прилавками магазинов, за чертежными столами проектных бюро, — кто из них она? Два-три лица отыскал, похожих на Синеокую Марию Федоровну, и после этого как будто успокоился. Но ненадолго, потому что спросил себя: «Слушай, приятель, а зачем ты поехал в экспедицию?» Это «зачем?»

уже не в первый раз перед ним возникало, ответа он не знал. Другое дело — «почему?». Как это случилось, почему случилось — он это мог объяснить.

Помнится, когда Рязанцеву минуло сорок, друзья поздравляли, говорили, что пятьдесят он встретит уже известным, выдающимся ученым. Как всегда в таких случаях, сказано было много лишнего, такого, из-за чего позже, наедине с самим собой, за друзей становится неловко, за себя — стыдно.

Но вот что было сущей правдой — он был готов к большим трудам. Прежде всего потому хотя бы, что научился отстаивать свое время. Если этого не делать — время распадется на такие мелкие крупички, что потом их не сыщешь, не соединишь в нечто целое, не найдешь, кто назвал твою фамилию на выборах какой-то комиссии, кто подсунул тебя в качестве докладчика на очередной конференции.

Комиссии нужны, доклады тоже нужны, но больше всего нужны дни, с утра до ночи посвященные одной только мысли, одной главе, одной странице твоего труда.

Труд требует времени не часами, не кусочками — глыбами:

Если сложить вместе тысячу килограммов, они всегда составят одну тонну. Тысяча метров — всегда километр. Но двенадцать часов, разбросанные в разных месяцах и годах, никогда не равны одному дню. Никогда мелкими частицами человек не переделает и не передумает всего того, чем он сосредоточенно жил, что совершил в течение одного, но целого дня.

Потом Рязанцев почувствовал себя свободно с классиками науки, с их большими идеями, научился присутствовать при том, как они мыслят, быть молчаливым, но строгим и справедливым судьей их размышлений. И не потому, что умом превзошел классиков, а потому, что чувствовал себя обладателем времени, которое его отделяло от них. Время на них не могло уже работать, на него — было обязано.

Потом наступили годы, когда он перестал вести ревнивый счет своим статьям и своим книгам, потому что самое главное, что он должен был написать, теперь всегда стало заключаться для него в книге, еще не написанной, а только задуманной.

Наконец все окружающее стало ему служить. Музыка ему служила, не столько его услаждала, сколько по-

могала думать. Погода — любая — помогала. Если просыпался утром и было ясное, безоблачное небо, у него возникало добротное, энергичное настроение, а если ненастно было, он и ненастью радовался — сосредоточеннее и как-то уютнее думалось, когда пасмурно.

Был он здоров, само ощущение здоровья ему помогало, был нездоров — нездоровье освобождало от тех обязанностей и хлопот, которые мешали работать над самым главным.

Приносили детишки, Толька и Мишутка, хорошие отметки из школы — отметки эти неожиданно воодушевляли его. Баловались они в школе, являлись с двойками — он сердился и работал со зла.

И вот, когда он должен был закончить одну, кажется, неплохую книгу, другую продолжить, третью начать — начать, конечно, самую важную, — умер Сеня Свиридов.

Смерть Сени не была трагической, не могла быть такой, потому что трагической была его жизнь — по крайней мере, последнее ее десятилетие: рак пищевода и два инфаркта.

Очень будничная, очень приземленная трагедия. А он, Сеня Свиридов, уже с тяжелым недугом успел жениться, успел народить мальчонку.

Сеня — друг, земляк и однокашник — был бессребреник, даже заклятые его противники никогда не могли упрекнуть его в какой-то корысти. Но что верно, то верно: крови он испортил людям невероятно. Всяким — и плохим и хорошим.

Мог очень толкового ученого, против которого у него и половины знаний не хватало, в пух и прах разнести в печати — мастер был писать едкие, дух захватывающие статьи. Мог молодого поддержать, похвалить, да так, что у того голова шла кругом, пока через много лет не наступало горькое отрезвление, — мастер был поднимать, увлекаться и в других вселять уверенность. Мог, совсем некрасивый, болящий, пленять женщин, обладая совершенно искренним убеждением, что, кроме великого счастья, он женщинам никогда и ничего не приносил. Ему верили.

Многое он мог в общении с людьми, а, наверное, было бы лучше, чтобы мог он меньше.

Грел он людей ласково, то и дело спасал их от душевного холода, но и обжигал со страшной болью очень просто, улыбаясь. И себя обжег едва ли не всем своим

существованием — все мог, а ничего не создал; наверное, поэтому и улыбался, когда говорил людям страшные для них вещи. А может быть, это потому, что сам не боялся никаких невзгод?

Сеню жалеть было нельзя: плохой или хороший, но точно такой, как он, обязательно должен был существовать человек на свете. Сеня в это верил и всех окружающих мог в этом убедить. Без слов, одним своим взъерошенным видом, одними, всегда заинтересованными чем-то глазами.

Чтобы с ним быть близким, никогда нельзя было принимать его целиком.

И Рязанцев проводил с другом многие-многие вечера, спорил, читали они вместе, соавторствовали, но каждую минуту Рязанцев отделял вздорные, горячечные Сенины слова от его очень умных, чутких и оригинальных суждений, прожекты — от проектов, выдумки — от дум.

У Рязанцева как бы особый рефлекс выработался, иным своего общения с Сеней он и представить не мог, а может быть, даже не хотел: Сеня научил его разговаривать, все время думая, не просто слушать, а соглашаться либо не соглашаться.

Когда же Рязанцев возвращался домой, Зоя, жена его, спрашивала: «Ну как, побеседовали с Сеней?» — «Было дело...» И хотя Зоя не очень-то близка была к делам и заботам своего мужа, у нее дел и забот было достаточно на работе, она говорила: «Ну ложись скорее! Отдохни! Может быть, цитрамон выпьешь?»

Но был человек, которому Сеня достался весь — со всеми его прожектами и выдумками, с капризами, с двумя инфарктами, раком и расстройством нервной системы, с его алиментами от прежнего брака, со страстью к нестерпимо громкой музыке и лютой ненавистью к любым домашним обязанностям.

Этим человеком была жена Сени — Полина. Казалось Рязанцеву, будто перед ней Сеня иногда оправдывается. Невероятно: никогда и ни перед кем Сеня не оправдывался, но тут было — во всяком случае, запомнил Рязанцев такой случай.

Шел у них с Сеней разговор о процессах болотообразования. Сеня особенно был нервным, здравые мысли у него иногда только проскальзывали, в основном же он ругал каких-то людей дураками, бюрократами, ханжами за то, что эти кто-то — неизвестно кто — не хотят как

следует разрабатывать торфяники, не хотят бескорыстно служить Советскому государству. Самое лучшее было уйти, но Рязанцев обещал Полине побыть с Сеней, пока она «сбегает в театр посмотреть узбекского трагика в «Отелло».

В двенадцатом часу, когда Рязанцев уже окончательно, кажется, изнемог, «прибежала» Полина. Сняла брошь и, наверно, не напрасно сказала, что в театре с этой броши никто глаз не спускал, в соседней комнате привела в порядок Сеньку-младшего, матрасик его утащила на кухню, приготовила «мужикам» ужин и в халате, с ногами, забралась к Сене на диван. Просияла: готова была слушать каждое его слово.

Она молодая еще была, и еще так много в ней могло бы быть перемен к лучшему: если бы она пополнила чуть — это ее украсило бы; если бы немного меньше стало на лице ее внимания — она бы еще помолодела; если бы у нее появилось хоть немного времени для себя — ей каждая минута служила бы, служила уму ее, ее радостям.

А Сеня лежал на диване, весь серый, в морщинах, время, казалось, уже было ему в тягость, одни глаза еще жили.

Так невольно Рязанцев подумал, но как раз Сеня отправил жену еще похлопотать насчет ужина и сказал:

— Не верю! Нет, не верю!

— О чем ты? — спросил Рязанцев.

— Не верю, будто под старость человек должен упрекать себя в том, что неправильно, не так прожил молодость.

— Почему же?

— Потому! Какое право старый, вроде бы уже не жилец, какое право имеет он судить молодого, живущего? Кто из них глубже чувствует, что такое счастье? Кто из них лучше знает, что это значит — жить?!

Рязанцев подумал: «А жену ты все-таки отправил из комнаты!» Сене же кивнул:

— Может быть...

И с того вечера стал видеть, как умирает друг.

Они договорились о том, что вместе будут писать книгу, потому что один Сеня не успел бы ее закончить. Книга должна была получиться листов на двадцать пять печатных, Сеня же подумал и сказал, что он успеет написать не более десяти — двенадцати листов.

Когда Сеня был очень плох, лежал на своем диване и кричал, что его лечат не медики, а ветеринары, или когда он вдруг объявлял, что через месяц отправится в Горный Алтай, или принимался звонить по телефону и спрашивать, каким образом он сможет поехать на Суматру — ему нужно поглядеть самое южное в северном полушарии болото, — Рязанцев говорил ему: «Слушайка, Сеня, нам в этом году нужно кончить книгу...» И Сенины мысли приходили в полный, иногда даже идеальный порядок. Они работали, торопились, прекрасно друг друга понимая: им обоим было некогда. Всемогущее «некогда» делало свое дело.

Но это восклицание друга — «Нет! Не верю!» — заставляло Рязанцева иногда преодолевать «некогда», и, наблюдая, он замечал, что в Сене самым стойким против смерти было то, что было в нем самым хорошим: смелый его ум, его пренебрежение к житейским невзгодам и к своему недугу прежде всего, его желание до конца быть небесполезным на земле. Когда позже сознание стало приходить к нему только временами, он и тогда больше всего заботился о книге. Ничего другого от него и нельзя было ждать, но вдруг Сеня стал высказывать необычные для него суждения.

Сказал однажды:

— Мало мы знаем друг друга...

— Кто — мы? — спросил Рязанцев.

— Люди... Радио, телевидение, кино — все это показывает нас вширь. Количественно. Внешне. Но теряем один примитив — старый, добрый, испытанный веками жанр — жанр дружеской беседы. Как бы людям не потерять в этом... Учти.

Сене можно было так говорить: «Учти», — он уходил, Рязанцев оставался в этой жизни.

Закончили главу о режиме деятельного слоя в условиях вечной мерзлоты, Сеня снова повторил:

— Мало мы знаем... На Алтай бы мне надо...

— Зачем?

— Обязательно — зачем? Ну не знаю зачем. В молодости бродим по белу свету, учимся видеть. Научились, повзрослели, но тут некогда путешествовать и неохота опять же. Потом — очень хочется, но, когда уже здоровья нет, и в самом деле нельзя. Так и живем с юношеским, а то и с детским видением земли нашей...

Прошло около года после смерти друга. Рязанцев поехал на Алтай. Зачем? Точно не знал... Почему?

А может быть, как раз потому, почему Сеня на Алтай собирался?

В тот раз, когда Рязанцев с Сеней заканчивали главу о режиме деятельного слоя в мощных торфяниках, Сеня сказал:

— Ну что ж, я не успел побывать на Алтае — Поля побывает...

— Когда?

Сенино тощее плечо показалось в ворота рубашки.

— Наверное, теперь уже скоро... С профессором Вершининым. Карту растительных ресурсов составлять. Тоже мне ресурс — тот самый Вершинин!

Глава была последней, которую они писали вместе. Следующую Рязанцев только приносил Сене для чтения. Сеня, слушая, говорил: «Самое главное в рукописи — обнаружить то место, над которым нужно думать». И думал. Часть вторую Рязанцев писал уже совсем один.

Полина в их работе участия не принимала — а могла бы. С тех пор как Сеня слег окончательно, она ушла с кафедры и дома редактировала «Труды» исследовательского института. Казалось бы, по части издательских дел могла и помочь мужу, но нет — она только присутствовать любила при работе, останавливала их, когда они уж очень яростно начинали спорить, часов в десять подавала горячий чай, часов около двенадцати делала условные знаки Рязанцеву: «Пора уходить».

Слова Сени о том, что Полина «уже скоро» поедет на Алтай, Рязанцев не принял тогда всерьез, но после смерти мужа она действительно стала работать в лаборатории профессора Вершинина.

Нынче Вершинин, как всегда, задержался в институте, должен был выехать позже и догнать отряды.

В экспедиции было два отряда: один — «высокогорный» — шел по верхней границе леса, и возглавлял его Лопарев, другой — «луговой» — выехал недели на три раньше и двигался по нижней границе лугами, поймами и долинами. Руководила луговым отрядом Свиридова.

Она была сейчас где-то внизу, по ту сторону облаков... Там у них могла быть и очень хорошая, ясная погода, и при ярком солнце среди буйных луговых трав путешествовала Полина Свиридова, вдова...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Легко и просто знакомства возникают в вагонах и на курортах: встретились, познакомились, расстались. Было — не стало.

Но вот людям выпадает случай вместе путешествовать — по очереди варить суп, поровну делить хлеб, одному до полуночи, другому за полночь присматривать за лошадьми, днями же вместе отыскивать броды на реках и зачарованно глядеть на далекие вершины.

А иногда приходится в промозглых от сырости палатках вместе проклинать туманы и мечтать о солнце. И если все это еще только предстоит людям, первые знакомства, первые разговоры возникают робко, неуверенно.

В трех палатках, которые были разбиты лесной экспедицией, жило шесть человек. Рязанцев с Лопаревым выбрали место вблизи замшелой каменной глыбы, чтобы она заслоняла палатку от ветров, рядом с ними поселились Андрюша Вершинин, студент третьего курса университета, и зоолог Реутский, в очках, со светлой бородкой клинышком, тот самый, что запасася патронами шестнадцатого калибра к ружьям калибра двенадцать.

Сутуловатый худощавый Андрюша, хотя ему и было всего двадцать лет, вот уже пятый или шестой сезон проводил в экспедиции отца.

Закалился он необычайно. Холодные туманы так и не заставили его хотя бы однажды надеть дождевик, он предпочитал безрукавку. По ночам он не забирался в мешок, а подстилал его вместо матраца, накрываясь дождевиком и ватной курткой.

В третьей палатке жили Рита Плонская и Онега Коренькова, студентки: одна из университета, другая из лесного института.

Рите Плонской было двадцать три — она выглядела старше своих лет, Кореньковой недавно исполнилось двадцать, но никто ей не верил, ей давали семнадцать и меньше.

Все эти люди встретились впервые, близкого знакомства между ними не налаживалось, и никто не брал на себя такой обязанности — подружить всех между собой.

Так было до тех пор, пока не выяснилось, что никто никого не отверг, а каждый мысленно протянул другому руку. Выяснилось же это после того, как было установ-

лено, что все в экспедиции имеют, оказывается, новые имена.

Андрюша Вершинин был назван Челкашом, потому, должно быть, что носил невероятно потрепанную шляпу. Кто его так назвал, осталось неизвестным, он же принял прозвище без малейших колебаний, продел в дыру шляпы журавлиное перо, которое подобрал недавно в траве, и вид у него сделался еще более живописный.

Кандидат биологических наук Реутский почему-то стал Доктором наук, и притом медицинских; похожая на цыганку Рита Плонская — Биологиней, потому что была студенткой биологического факультета.

Начальника отряда Михаила Михайловича Лопарева, всегда сосредоточенно-торопливого, строгого, смелая Биологиня назвала как-то Михмихом и вопросительно уставилась на него огромными дерзкими глазами, которые были все-таки чуть-чуть смущены в это время.

Лопарев в ответ слегка, почти незаметно улыбнулся — имя утвердилось за ним.

Рязанцев остался тем, кем был — Николаем Ивановичем. Должно быть, его возраст имел значение.

Зато с Кореньковой случилось вот что.

Звали Коренькову Онегой. Имя вызвало недоумение: оно было красивым, женственным и милым, никто не решался его переделать, но всем показалось странным, что так зовут ее — Коренькову. Рязанцев, услышав это имя, тоже удивился, переспросил и стал про себя молча произносить названия русских рек: Волга, Ока, Кама, Нева, Свирь, Десна, Двина... Ни одна из них так не отвечала женскому имени, как Онега.

— И все-таки, товарищ Коренькова, я буду называть вас как-нибудь иначе! — сказал Рязанцев, и все его поняли: Онега должна быть женщиной статной и с косами. Перед ними же была девчушка — маленькая, толстенькая, подстриженная, очень застенчивая.

Она подняла к Рязанцеву свое почти детское лицо и спросила:

— А как же вы будете звать меня, Николай Иванович? Скажите?!

Тут он решил:

— Онежка!

И стала Коренькова Онежкой — с этим все согласились.

В лесном институте среди подруг имя Онега тоже не прижилось. Потому, может быть, что ему завидовали. В институте Коренькову звали Ольгой. Зато в школе-интернате, в которой она училась, ее именно так и звали — Онежкой. Сам того не подозревая, Рязанцев сделал открытие, и Коренькова вдруг сразу прониклась к нему уважением, таким же, какое она всегда питала к педагогам. Кроме того, угадав ее школьное имя, Рязанцев как бы отказался за честь ей, по крайней мере, три-четыре года, и она снова стала шестнадцатилетней.

Рязанцев все поглядывал на Онежку внимательно, хотел привыкнуть хотя бы к ее уменьшительному имени.

Стояло ненастье. Онежка ежилась на холоде, хлопотала больше всех у костра, варила пищу, мыла посуду. Было замечено у нее такое свойство: если кто терял какую-нибудь вещь — ложку, зубную щетку, портянку, топор, ведро, — все равно какую, то, поискав немного, спрашивал у Онежки, где эта вещь может быть. Она морщила лоб, что-то такое вспоминала, вглядываясь во влажную траву вокруг палаток, шла вправо, влево и обнаруживала потерю.

Рязанцев всякий раз удивлялся, но всякий раз отмечал, что уж очень она проста, Онежка. Простота украшает, а все-таки должно в человеке присутствовать что-то невидимое с первого взгляда, о чем можно лишь догадываться и что рано или поздно откроется вам.

В Онежке, курносой, послушной и аккуратной, с ее грубыми, серого цвета волосами, которые она повязывала косынкой, нельзя было заметить даже признака того, чем когда-нибудь и кого-нибудь она смогла бы удивить. Она вся была на виду.

Какая она была в детстве, какая она есть и какая она будет когда-нибудь — уютная, ко всему снисходительная маленькая женщина, — все это было видно словно на ладони, когда Рязанцев наблюдал однажды за ней из палатки. В своей неизменной пестренькой косынке, в телогрейке она ловко чистила картошку, аккуратно собирала в фартук завитые кожурки, большой ложкой черпала из ведра, сощурившись, вся внимание, высовывала язычок из маленького круглого ротика и осторожно, чтобы не обжечься, пробовала свое приготовление. Потом солила. Снова пробовала, добавляла лук.

Может быть, это так и было — он действительно видел тогда Онежку всю.

...Время шло, ползли по вершинам Семинского хребта тучи, моросил дождь.

На четвертые сутки ненастья, около полудня, тучи немного рассеялись. Видно было, что посветлело ненадолго, на каких-нибудь несколько часов, Лопарев же решил пройти маршрут.

Он сказал Онежке, что они вместе пойдут «в поле». Онежка торопливо надела серый не по росту большой комбинезон, выпустила его поверх сапог, чтобы вода не скатывалась за голенища, натянула на голову резиновую купальную шапочку и сказала, что готова.

Шли молча. Лопарев впереди, Онежка шагах в двух или трех за ним. Все время она глядела в затылок Лопареву: волосы у него были коричневого цвета и блестящие, уши из-под кожаного картуза торчали в стороны размашисто, кончики их были прозрачны, словно у маленького ребенка, шея — сухая, с проступающими жилами, очень крепкая, сильная... Онежка все это рассмотрела.

Остановился Лопарев среди низкорослого кустарника, на ветвях которого, словно водоросли, шевелились обрывки тумана. Совсем низко, как раз над головой Лопарева, покачивался сплошной облачный полог, темный, плотный; сквозь него не видно было ни солнца, ни неба. Несколько влажных каменных глыб да еще стволы каких-то погибших деревьев, прямые, почти без ветвей, казалось, поддерживали этот полог, но непрочны — каждую минуту он мог рухнуть.

— Видимость удовлетворительная... — произнес Лопарев, глядя вниз.

Ниже вершины, на которой они стояли, располагалось как бы кольцо, покрытое мхом, травой, ползучей березкой. Ширина этого кольца была метров сто, не больше; а дальше, и в ту и в другую сторону, падали склоны, сначала с изувеченными деревцами, ниже — с редким и хилым леском, а еще ниже эти склоны были уже покрыты настоящим лиственничным лесом, густым и совсем темным в этот пасмурный день.

По склонам там и здесь ползали небольшие, будто заблудившиеся, тучи.

— Значит, — сказал Лопарев, — мы с тобой на высоте двух тысяч шестисот, около трех тысяч метров. Вот тут, на этом кольце, подобие высокогорного тундрового плато, а где кончается плато, там и верхняя граница леса. Очень интересное место. — На этом он закончил

описание обстановки и уже совсем другим тоном, тоном распоряжения, сказал: — Пойдешь по склону вниз. Понятно?

Удивительный голос был у Лопарева — негромкий, он, казалось, мог загрохотать в горах. Онежка подумала: так сейчас и случится. Она поежилась, поглядела вверх, не обрушатся ли на них темные облака. Лопарев же и дальше говорил совсем спокойно, сдержанно и небрежно. От этой небрежности Онежка снова поежилась, страшновато вдруг стало ей, что ли.

Вот уже недели две прошло с тех пор, как она впервые увидела Лопарева. Шли сборы в экспедицию, суматоха стояла невероятная, каждый что-то такое говорил, кто-то кого-то и куда-то обязательно посылал, чаще всех — Онежку. Появлялся Лопарев, спрашивал: «Это зачем?» — или даже по-другому: «На кой черт?», и его негромкий голос вдруг останавливал суетливую беготню, сразу переставала существовать необходимость всем вместе говорить, перебивая друг друга.

Очень часто Лопарев беседовал, ни к кому не обращаясь, будто только для себя самого, а к Онежке он еще ни разу ни с чем не обратился, сегодня они разговаривали впервые...

Онежка кивнула, сказала:

— Понятно... — и приготовилась слушать голос Лопарева дальше.

— Так вот, маршрут — вниз по склону. Через каждые пятьдесят шагов останавливаешься. Что нужно? Записать показания anerоида и термометра — раз...

Онежка нащупала рукой футляр с anerоидом, который висел у нее на боку. Она знала барометрическое нивелирование и надеялась, что ошибок не сделает. Лопарев дал ей время тихонько, молча улыбнуться, погладить кожаный футляр и продолжил:

— Выбираешь типичную лиственницу — два. Выбрала. Записываешь что положено в таблицу: высоту дерева, диаметр на уровне груди, состояние дерева. Особенное внимание обращай на суховершинность. Считаешь число иголок в пучке, берешь образцы шишек — это три. Еще через каждые двести шагов указываешь тип леса, бонитет, густоту стояния — это четыре. Ну как, ясно?

— Ясно, — ответила Онежка.

— Можешь идти.

Она повернулась и пошла. Хотела посмотреть, гля-

дит ли ей вслед Лопарев или он тоже отправился по противоположному склону, но вертеть головой было нельзя: легко можно сбиться, считая шаги... Двадцать... Сорок... Сорок пять... Сорок девять... Оглянулась — Лопарев стоял совершенно в той же позе, заложив руки за спину.

— Ну, говори, — крикнул он сверху, — какие будешь делать записи! Ну?..

Онежка вздрогнула: голос звучал не в пятидесяти шагах, а совсем рядом с нею... Торопливо расстегнула футляр анероида и потом все, что записывала в полевой журнал, выкрикивала Лопареву тоненьким, прерывающимся голоском, а он стоял наверху, руки назад, и кивал. Кивнул в последний раз, повернулся, ни слова не говоря, пошел в обратную сторону.

Онежка понимала, что было нужно Лопареву. Некоторые ученые утверждают, будто лиственница — вымирающая на Алтае порода, Лопарев же хотел доказать, что это не так, хотел установить, что даже на верхней границе леса угнетаемая ветрами и морозами лиственница все-таки сохраняет прежнее число хвоинок в пучке, и шишки на ней не мельчают, и семена обладают прежними свойствами. Значит, вымирания нет, есть только борьба за существование на высотах около трех тысяч метров, такая же, как и у всех других пород. Если бы вымирание началось, так здесь оно началось бы прежде всего.

Не то чтобы Онежка всегда была очень внимательна на лекциях профессоров и доцентов лесного института, но сейчас память не изменила ей, ей вспомнилось все, что они говорили о лиственнице: что она хороша в аллеях и в групповых посадках, что из древесины ее — красно-бурой, яркой, налитой, прочной, как у дуба, — получают лаки, из коры — дубильные вещества, из хвои — эфирные масла...

Онежка шла по азимуту вниз и вниз, выполняя все, что говорил ей Лопарев. Ей казалось, он очень толково объяснил, что и как нужно делать. Чем дальше, тем почему-то было легче и легче идти, и она шла, приминая высокую мокрую траву, отряхивая с травы серые капли влаги, и следом за ней возникала тоненькая зеленая дорожка.

Работа спорилась. Петь хотелось, но Онежка не запела: поняла, что ее голос будет лишним в пасмурном безмолвном лесу.

Потом, когда она пересчитывала число хвоинок в пучке, вдруг представила, что в руках у нее не хвоинки, а большие, взрослые деревья. Будто она склонилась над лесом, лес этот совсем не такой, как здесь, на склоне, — хилый, низкорослый, туманный, — а огромный, тенистый и солнечный, но почему-то он весь у ее ног, и она запросто берет в руки одно, другое, третье дерево...

Деревья живут сотни лет, она — столько же... На ее глазах маленькое опушенное семя сибирской лиственницы дает росток, на ее глазах появляется дерево-подросток и вырастает затем в великана. Даже и этого ей было мало. Одно поколение лиственниц за другим покрывало горы, долины, еще какие-то земли — она все видела.

Легко и просто, как легко и просто приходилось ей летать во сне — оттолкнувшись от земли, мчаться куда-то ввысь, — виделась ей сейчас лиственница через тысячи лет, и радостно было узнать, что порода эта не вымирает, наоборот, лиственничных высоких и светлых лесов становится все больше и больше на земле.

Еще, побывав где-то очень далеко, разволновавшись, размечтавшись, Онежка спросила себя: вот это и есть, может быть, то самое, что называется не совсем ясным, но красивым словом — открытие? Откры-тие?!

До сих пор и в школе и в институте она слышала о множестве открытий, сделанных в разное время необыкновенными людьми. Все это нужно было запомнить, чтобы потом рассказать на экзаменах, рассказать на «хорошо» и даже на «отлично». Но тут вдруг она почувствовала себя причастной к открытию, прикоснувшейся к нему. Пожалуй, одна она не смогла бы к нему прикоснуться, если бы не Лопарев. Вслед за ним, сильным и уверенным, лучше вместе с ним, она могла это сделать, могла доказать, что лиственница не умрет никогда и ни за что. Поразительно это было для нее!

Так работала Онежка, улыбаясь, оставляя зеленые тропки на серой от влаги траве.

Но была у нее одна тревога: когда Лопарев там, наверху, объяснял ей, что и как нужно делать, она все понимала прекрасно, но постеснялась спросить у него об одной мелочи. Знала — обязательно нужно спросить — и не спросила. Побоялась, что Лопарев подумает о ней плохо, решит, что она лентяйка и трусиха.

Лопарев сказал, чтобы она шла по азимуту вниз и вниз. А далеко ли? Сколько времени? Где и когда они встретятся?

Если бы Лопарев сказал, что Онежка должна идти до поздней ночи, до тех пор, покуда у нее хватит сил, она так и сделала бы, и сил у нее хватило бы надолго. Но вот ей предстояло самой решить, когда же повернуть обратно, и для этого решения сил не хватало, и она шла все вперед и гнала прочь неизбежное решение, всерьез думая, что, наверно, придется заночевать в лесу.

Была у нее надежда на какой-то случай: вдруг путь ей преградит отвесная скала или лесной зверь повернет ее обратно...

Онежка выросла в сибирском далеком леспромхозе, леса не боялась, но и опасностями, которые он таил, никогда не пренебрегала; теперь же нетерпеливо ждала какого-нибудь страшного случая.

И такой случай наступил.

Тучи снова потянулись с запада, темные, непроницаемые. Не то что продолжать в этой мгле работу — просто двигаться было очень трудно, а Онежка обрадовалась. Досадовала только, что тучи пришли слишком рано, могли бы повременить час-другой, и она успела бы сделать больше.

Онежка повернула обратно. Свой след — зеленоватую полоску на серой траве — она быстро потеряла; может быть, трава и на этой полоске снова уже покрылась влагой.

Онежка двигалась по компасу.

Стали встречаться ей на пути каменные глыбы. Она что-то не замечала их, когда спускалась вниз, а глыбы между тем смыкались все теснее и теснее, под ногами совсем исчезла трава, склон, каменистый, скользкий, становился все круче.

Потом Онежка заметила: и справа и слева туман оседает, чуть светлеет. Может быть, справа и слева был обрыв, а она шла по гребню?

Онежка поежилась от этой догадки, но бодро шагала вперед и вперед, только стала нагибаться кое-где, чтобы руками нащупать мелкие камни. Камни нашлись не сразу — скала была сплошной, прочной, а найдя их, Онежка бросила один камень в одну, другой — в другую сторону. Прислушалась...

Камни — сначала один, потом другой — ударились где-то далеко внизу, звуки донеслись к ней глухие, не- сильные.

Так и есть — она шла по гребню!

И опять Онежка не испугалась, только стала двигаться осторожнее. Она сама желала необыкновенного случая, трудного препятствия — и вот дождалась.

Онежка не боялась до тех пор, пока не стало вдруг темно. Темнота подступила неожиданно и непонятно почему. Где-то далеко впереди вспыхнул яркий свет, который не то ослепил ее, не то сжал, сдавил тучи, и тучи в одно мгновение почернели от этого.

Вот тогда, не поняв, что же произошло, она испугалась. Хотела сделать еще несколько шагов вперед, миновать круглый, скользкий выступ, на котором так неудобно и трудно было стоять, но побоялась шевельнуться.

А мимо в это время промчалась черная-черная туча, за которой следовала волна света, — как будто вся земля вращалась из ночи в день.

Вся земля вращалась, и только Онежка стояла на круглом и скользком камне неподвижно.

Туча краем задела Онежку, и она зажмурилась от кромешной тьмы, в которую погрузилась сразу, а через мгновение закрытыми глазами, лицом, руками ощутила яркий, слепящий свет.

Медленно открыв глаза, Онежка увидела, что стоит на самом краю отвесной скалы, к подножию которой одна за другой уже начали падать яркие вспышки, и вот сейчас она сама тоже соскользнет с камня — в эту вспыхивающую бездну.

Невыносимо было видеть, как это случится, как, распластанная, она рухнет вниз, ударится о камни, как все кончится раз и навсегда. Чтобы не видеть, Онежка закрыла глаза...

Ее пошатнуло... Она зачем-то протянула вперед руки, колени у нее дрогнули, согнулись.

Там, внизу, куда она падала и все-таки не упала, краски уже перемешались невероятно; трава была синей, ветви караганы — ярко-желтыми, выпуклыми, словно под увеличительным стеклом, камни — зеленого и еще какого-то смешанного, на глазах меняющегося цвета.

Это была радуга...

Осторожно прикасаясь подошвами сапог к поверхности камня, Онежка сошла с него, поглядела кругом и двинулась вперед по вершине гребня, который был теперь весь открыт глазам. Еще метров сорок надо было пройти на высоте, головокружительной и страшной.

Наконец Онежка ступила на мягкую и влажную траву склона, поднялась немного вверх, и тут перед ней предстали все те глыбы, из которых возникал гребень и его лезвие, все кручи, которыми она прошла в тумане. Неужели действительно прошла?!

А когда Онежка различила на гребне камень, с которого она падала и не упала, слезы хлынули у нее. Она бессильно опустилась на траву, зная, что будет плакать долго и горько, до тех пор, пока само собой не придет откуда-то успокоение, пока она не станет изнемогать от слез.

Картины, одна страшнее другой, возникали перед ней: она видела себя неподвижной, распластанной на сизых, все еще играющих красками камнях, искалеченной, неузнаваемо изуродованной.

Потом представила, как о ней плачут дома, в ее родном леспромхозе, далеко-далеко отсюда.

Всю глубину невысказанной обиды она пережила сейчас: почему это возможно — погибнуть вот так глупо и случайно? Ни к чему? Ни для кого? Ничего еще не испытал в жизни, не увидев жизнь?

Ее ведь никогда еще и никто не любил! И она тоже — никогда и никого.

Письма школьного товарища Феди Стрункова, в которых он называл ее Онежкой, были такими робкими, так в них было все правильно, что их можно было прочесть кому угодно. И в институте она прятала письма от подруг просто так, чтобы было, как у других. Эта Феди Стрункова робость обернулась сейчас такой горечью и досадой, словно всю ее жизнь всегда озаряла любовь, и только что, сию секунду, она любовь эту каким-то образом потеряла.

Глядя сквозь слезы на радугу, Онежка в первый раз в жизни подумала, что ведь и дальше могут ей встретиться еще более страшные пропасти и несчастья.

До сих пор она спокойно проходила мимо чужого горя, мимо трудных женских судеб, почти не запомнив их, не заметив, не почувствовав ничего, потому что была убеждена, будто горькие слезы никогда не потекут из ее глаз, что чья-то неразделенная любовь — когда один

любит, а другой только думает, что любит, — чье-то большое несчастье — всегда будет чужим, не ее. С ней этого не может случиться...

Но вот она постояла над пропастью, пролила слезы и сквозь слезы увидела, как это просто — изувечиться, погибнуть, и впервые, кажется, по-настоящему поверила, что бывают на свете несчастья, что несчастье может случиться и с нею тоже. Молодость, щеки, розовый оттенок которых она всегда чувствовала на своем лице, — ничто не могло защитить ее от этого.

Онежка никогда не мечтала о чем-то необыкновенном — о необыкновенных путешествиях, о необыкновенной, никому больше не доступной любви, о каком-то великом счастье, она не требовала от жизни ничего большого и значительного и была уверена, что и жизнь поэтому не имеет никакого права наносить ей обиды, подвергать испытаниям.

Она никогда ни одним словом не оскорбила жизнь. Если при ней говорил кто-то: «Пропади все пропадом!», «Какая это, к черту, жизнь!» — если заходила речь о чьем-то самоубийстве, ей становилось жаль всех-всех людей, и она старалась поскорее уйти прочь, не видеть человека, который так говорил.

В большом ли, в малом ли — все равно она одинаково верила не в худшее, а в лучшее. Говорили о войне — она верила, что войны не будет потому, что ее не должно быть; говорили о болезни — она была убеждена, что больной человек выздоровеет; шла на экзамен — верила, что не провалится; если у нее не было билета в кино — снова надеялась, что купит билет перед самым началом сеанса.

Случалось, Онежка проваливалась на экзаменах и билет в кино тоже не удавалось купить, — это ее удивляло, но не расстраивало.

Никогда Онежка не говорила плохо о людях и от людей ожидала только хорошего. Встречаться с людьми плохими — это несчастье, а любое несчастье было непонятно, претило ей.

Но вот она впервые почувствовала себя большой и сильной, поглядела на будущие поколения лиственниц, подумала, что, может быть, и ей предстоит открыть что-то еще неизвестное.

И жизнь сейчас же отомстила за эти мечты, привела ее на самый край бездны, испугала...

Когда Онежка вернется в лагерь, разве кто-нибудь догадается, узнает о том, что с ней случилось? Переживет хоть частицу того, что пережила она? Ничуть не бывало. Вот если бы Онежка рассказала обо всем, разревелась, изругала Риту за то, что та осталась в лагере, а не пошла с ней в этот маршрут, надулась на Рязанцева, потому что он только и делает, что лежит в палатке и пялит глаза, обидела бы Доктора медицины просто так, ни за что, даже просто так сказала что-нибудь злое Челкашу, — вот тогда все они поняли бы: что-то с ней случилось, и проявили бы к ней заботу, внимание, даже уважение.

Но Онежка промолчит, никого не испугает своей чуть-чуть не состоявшейся смертью, и никто-никто не обратит на нее никакого внимания, не пожалеет и не поймет как раз тогда, когда она страдает оттого, что ей необходимы и внимание, и жалость, и понимание, и ласка — все добрые и умные человеческие чувства, сколько их есть на свете.

Вот награда за скромность: одиночество... Она этого не знала до сих пор.

Больше всех она была обижена на Лопарева: он послал ее в этот страшный туман. Он где-то здесь сейчас, в горах, — может быть, совсем близко и, если бы захотел, мог бы ее найти и увидеть всю в слезах, понять... Если бы он сейчас приблизился к ней, она разревелась бы пуще прежнего, пусть слезы лились бы ему на руки.

Не скоро еще, продрогшая, мокрая до нитки, Онежка поднялась с земли. Когда поднялась, подумала, что стала совсем-совсем не той девчушкой, которая проснулась сегодня утром в палатке с таким ощущением, словно в двадцать лет ей довелось родиться снова, которой люди отказывали в этих двадцати, а давали семнадцать, даже шестнадцать лет и, должно быть, правильно при этом поступали.

Двадцать, а может быть, и больше ей стало только сегодня, сейчас.

Медленно, не оглядываясь, Онежка поднималась по склону. День, казалось ей, закончился; было странно, неуютно оттого, что до сих пор светло и солнце в небе. Ей же хотелось поскорее прийти в лагерь, забраться с головой в спальный мешок, забыть обо всем на свете. Забыть хотя бы до утра, а если можно — на долгий-долгий срок. Онежка вспомнила, с каким усердием, даже с упоением хлопотала она у костра, готовила обед, мыла

посуду, наводила порядок в палатке, потому что Рита всегда этот порядок нарушала, разбрасывая вещи. Вспомнила, грустно усмехнулась...

Лопарева Онежка увидела на том же месте, где они расстались. Он сидел верхом на старом, полусгнившем и вывороченном из земли пеньке, а когда увидел ее, встал — руки за спину.

— Жива? — спросил Лопарев, когда Онежка подошла к нему совсем близко.

Она долго молчала, потом подтвердила тихо:

— Жива...

— Значит, все в порядке... — Сильным и ловким движением небольших рук Лопарев вдруг вскинул на плечо пенек, на котором сидел, через другое плечо оглянулся. Онежка его не узнала — такое у него было радостное, веселое лицо.

— Находка! — сказал он. — Потащу в лагерь! — Похлопал по пеньку рукой и пошел вперед. Онежка — за ним.

Когда Лопарев спросил, жива ли она, вопрос этот — нескладный и грубый, насмешливый — поразил ее. А о чем еще и в самом деле можно было ее спросить?.. Вокруг были горы, все в необыкновенных красках начинающей блекнуть радуги, далеко внизу — долина с реками, деревьями, стадами овец и коров и с тенями облаков... Нет, день ничуть не стал короче от всего того, что уже произошло сегодня... Было около пяти вечера.

«Почему он такой радостный, Михмих? — подумала Онежка. — Красиво кругом?» Догадка пришла к Онежке: рад, что она вернулась цела и невредима?

Шла за Лопаревым, молчала, глядела в его коричневый затылок с едва заметными седыми волосками и уже готова была простить ему все: что он послал ее в туман, что не стал искать ее, что он ни словом не может ее пожалеть, — когда Лопарев вдруг остановился, сбросил на землю пенек и, весь потный, ласково сказал этому пеньку:

— У-у-у, проклятый! Образина-то, надо же?! — и засмеялся. Еще раз осмотрел внимательно пенек и только между прочим, не глядя на Онежку, спросил:

— Ну, как в тумане-то? Я думал, гробанешься, чего доброго!

— Вы это с кем разговариваете? — спросила Онежка.

— С тобой, ясное дело... — ничуть не смутился Лопарев.

Онежка не стала отвечать ему, сама спросила:

— А что вы стали бы делать, Михаил Михайлович, если бы я... как это вы говорите... и в самом деле гробанулась?

Тут Лопарев серьезным и деловитым взглядом окинул Онежку всю — с ног до головы.

— Сколько килограммов?

— Каких? — не поняла она.

— Обыкновенных. По тысяче граммов каждый.

Снова она долго не могла понять вопроса, а потом провела ладонью по руке, по лицу, почувствовала, как покраснела вся, и тихо-тихо ответила:

— Давно уже не взвешивалась... А вообще — пятьдесят три...

— Пустьяк! — повел он плечами. — Вот эта штука, — он хлопнул по пеньку, — тоже пуда три. С гаком. Ничего, тащу... Утащил бы и тебя!

Лицо у него было все в поту, в земле и в трухе: он испачкался о пенек; уши — оттопыренные и прозрачные, как у ребенка, а коричневые глаза — по-хозяйски строгие. Он был сильный. Действительно, он ее запросто унес бы на своих плечах, если бы она вдруг сломала руку или ногу...

— Михаил Михайлович, ну, а если б я... совсем?

Теперь не понял он:

— То есть как это — совсем?

— Очень просто — упала бы с какой-нибудь скалы в тумане, мало ли что может быть, и гробанулась... Сейчас лежала бы на камне... изувеченная, мертвая...

— Выдумываешь! — засмеялся Лопарев. — Трусиха! Знаешь, так не бывает!

Он сказал это с таким убеждением, что Онежка вздрогнула вся. Приостановилась: «Почему так не бывает? Почему так не могло быть с ней, если всего лишь час или два назад так было?» Лопарев же медлил с ответом на ее безмолвный вопрос и только после долгой-долгой паузы заговорил снова:

— С первого же раза и совсем? Не бывает. Человек много раз споткнется, потом, смотришь, грохнулся. Почему грохнулся? Не боится больше спотыкаться, вот почему. Привыкает. Начинает думать, будто спотыкаться — это можно, это не беда. Тут как раз беда к нему...

В общем, философия. Ты думаешь, для чего мне эта коряга?

Коряга интересовала Онежку, но не сейчас. Сейчас она обдумывала слова Лопарева, эти слова заставили ее сосредоточенно размышлять. Однако Лопарев был настойчив.

— Так вот скажи, для чего мне коряга?

— Ну, не знаю...

— Думаешь, зря тащу, надсаживаюсь? Шалишь, брат! — кому-то он погрозил кулаком. — Точно, шалишь! Вот приволоку ее домой, ровнехонько пилой срежу, рассмотрю во всех подробностях, голубушку. Дереву было триста лет. Не веришь? Спорю на что угодно! Не смотри, что пенек тонкий. Условия внешней среды — не очень-то растолстеешь на верхней границе леса. Ну вот, триста лет, и за все триста лет климат здесь отпечатался. В институте учила? Знаешь?

Онежка учила, знала, но тут захотела, чтобы Лопарев говорил и дальше. Она промолчала. Лопарев же теперь не заставил себя долго ждать:

— Во влажные годы прирост у дерева большой. В засушливые — годовые слои совсем тонкие, сливаются. И вот, пожалуйста, на этом пеньке летопись осадков за триста лет. Вот тут можно рассмотреть: самый продолжительный засушливый период наступил, когда лиственнице было лет сто... Длился он девять лет. Пусть двенадцать. Еще через семьдесят, то ли восемьдесят лет — дома сосчитаю точно — снова засушливый период, еще спустя полвека...

— Ну а что же дальше? Что теперь?

— Теперь вот что. Если лиственница вымирает, как говорят иные ученые мужи, так у нее таких трудных периодов должно быть в жизни больше, и они будут продолжительнее, чем у других деревьев. У кедра, к примеру.

— Так...

— Ну а если срез лиственницы дает совершенно такую же картину роста, как деревья других пород, это значит — вымирает она или нет? Твое мнение?

— Нет. Не вымирает.

Лопарев не скрывал радости.

— Видишь! — сказал он. — И до тебя дошло! Верно, не вымирает! Куда мы с тобой заглянем через этот пенек: на три века назад, а значит, и вперед на столько же, как не больше! Открытие! Это тебе понятно? Дохо-

дит? — И, не дождавшись ответа, взвалил пенек на плечо. — Пошли! Не терпится мне! Теперь я таких пеньков наворожаю — гору! Своя методика! Сила! Железобетон!

Снова шли по тропе, снова Онежке хотелось сказать, что лишь сегодня, совсем недавно, пересчитывая число хвоинок в пучке, она тоже побывала там, в далеком будущем, и прикоснулась уже к открытию. Напрасно Лопарев думает, будто это ей недоступно. Но что-то мешало так сказать, и только возник вдруг тот самый мотив, который ее сопровождал, когда все это было с ней. Она сказала Лопареву, что у нее ведь полная сумка шишек лиственницы. Как Лопарев велел, так она и собирала эти шишки.

Он не расслышал.

— О чем ты? — А когда она повторила, махнул рукой: — Выбрось!

— Что?

— Да шишки-то!

— Шишки?! Но ведь я же их собирала!

— У академика Сукачева такая, брат, коллекция шишек лиственницы сибирской, что нам ни в жизнь не собрать! Проще поехать в Ленинград и там эти шишки изучить. Ясное дело, мы тоже их будем собирать, но только по другой методике. А эти можешь выбросить.

— Но я же их собирала! Записывала! Лазила по скалам! В тумане! Для чего же все это?!

— Для практики! Скалы для практики! Туман тоже! Поучиться кое-чему. Прочувствовала? Перетрусила в тумане? А? Подожди — приедет начальник, профессор доктор Вершинин, ты у него какую еще практику пройдешь!

Такой между ними был разговор. Лопарев сначала Онежку обескураживал, обижал своей грубостью, но тут возникал еще и другой, неожиданный смысл его слов, смысл, который отвечал только что пережитым и еще не остывшим в ней чувствам.

Как только они снова встретились, первое, что Лопарев сделал, — спросил, жива ли она. Вопрос был небрежный и обидный, но ведь ей нужно было убедиться, что она жива...

Потом он обидел ее снова, засмеявшись и назвав трусихой, но тут же объяснил, почему не следовало ей бояться там, на скале, над пропастью. Как будто знал все, что с нею случилось.

Об открытии, о том, что лиственничный пень нужен ему, чтобы заглянуть на триста лет назад, на триста вперед, он говорил с ней тоже пренебрежительно: «И до тебя дошло?!» Но Онежка была Лопареву благодарна: без этих его слов она все еще чего-то боялась бы и страшилась, без них она, наверное, забыла бы то чудесное настроение, которое сопровождало ее в начале маршрута. Забыла навсегда...

Теперь Лопарев сказал: все, что она делала в горах, все это пустяки — только «для практики». Ей бы обидеться, разреветься, наговорить ему дерзостей. Но Лопарев спросил ее: «Прочувствовала?» И почему-то это слово заставило ее понять, что и в самом деле записи в журнале, показания анероида, шишки, которые она собрала, иголки, которые пересчитала в пучках, — это не главное. Главное — то, что она пережила в горах, «прочувствовала» там, на краю пропасти. И Онежка не заплакала, сказала:

— Там было очень красиво... когда засверкало все...

И только сейчас увидела, как это действительно красиво было: ночь отступает, а навстречу ей мчится яркий день, она же стоит над самой пропастью с вытянутыми вперед руками. Ждет... Ждет чего-то. Ах, если бы Михмих был в тот момент у подножия скалы и видел ее, Онежку, — красивую, всю в радужном сиянии, на огромной-огромной высоте!

И умный и глупый Михмих! Ничего не видел, ничего не знал! Не знал даже, какие слова говорил он ей сейчас!

Оглянулась вокруг... Все те же горы, те же дали. Но теперь она убедилась, что не может отказать ни в доверии, ни в любви этому миру, который едва не погубил ее... «Ведь любят не только за то, что приносит тебе счастье, — неожиданно для себя подумала она. — Любят, когда знают, что любовь — это испытание. Любят, когда не знают, чего ждать от любви».

В лагере их встретили так, как должны были встретить: никто ничего не заметил, ни о чем не догадался.

Только Рита спросила:

— Ну, прогулялась с Лопаревым? — Но спросила потому, что всегда и без всякой надобности любила в таком духе говорить и спрашивать.

Доктор медицины отметил, что обед готов, но никто не знает, хорошо или нет получилось. Нужно, чтобы Онежка сняла пробу.

Андрей возился с сетками для гербария, не сказал ничего. Рязанцев же устался на Онежку из-под очков.

— А ведь без вас здесь было плохо,— сказал он.— Неуютно было...

Вечером, уже перед самыми сумерками, Лопарев зачем-то заглянул в палатку девушек. Потянул носом громко и не один раз:

— Это что же, одеколончик? Духи? Нежности?

— А разве вы не заметили, уважаемый Михмих,— ответила ему Рита,— что Онежка лирическая девушка? Подушить вас ее духами? Если начальству этого не полагается — я вас сама надую! В порядке исключения!

Никаких исключений Лопарев не признавал, он спросил:

— А цветочки? Вся палатка разукрашена цветиками?

— Она же... Онежка...

— Спальные мешки заправлены конвертиками... Не палатка — детский садик!

— Все она же. Вам не нравится, Михмих?

Лопареву не нравилось. Не любил Михмих «всяческие нежности» в экспедициях. Он Рите не ответил, только нахмурил брови.

Онежки во время этого разговора в палатке не было, она хлопотала у костра, готовила ужин.

В ненастные дни всегда разжигал костер Андрюша Вершинин, потому что дело было не из легких: ни одной щепки, ни одной веточки нельзя было найти сухой вокруг,— и Андрюша хранил в своей палатке небольшое полено, от него настругивал стружку, и от стружки уже загорался огонек, который он передавал из рук в руки Онежке.

Сегодня она решила разжечь огонь сама, без Андрюшиного участия, хлопотала долго, упорно, покуда нащепала лучинок и обмакнула их в бензин.

Когда же огонь занялся от ее руки, было уже сумрачно. Тени поблекли, солнечный свет потускнел, день кончался.

И, примечая, как день уходит, как он кончается, Онежка припомнила, что до сих пор самое радостное и самое значительное в ее жизни наступало тогда, когда тоже что-нибудь кончалось.

Не было большего события в ее жизни, чем то, которое называлось *окончанием* школы. Потом *кончился*

первый учебный год в лесном институте, второй, третий: *кончались* один за другим семестры, зимние и летние экзаменационные сессии, и даже самый желанный день уж не очень далекого теперь будущего и тот назывался днем *окончания* института.

Нынешний же день весь был *началом*...

Когда рассеялись тучи, она пошла с Лопаревым в маршрут, и это было *началом* ее первой работы в лесу. Потом она пересчитывала хвоинки в пучках лиственницы и нечаянно заглянула в такое далеко, о котором не имела прежде никакого представления. Но, заглянув, поняла, что это тоже только *начало*, что теперь она часто будет бывать там, в будущем.

Сегодня она открыла Лопарева, такого, о котором никогда и никто до сих пор, наверно, не подозревал. Сегодня она и сама открылась себе. От сегодняшнего дня и дальше в ее жизни, как от какого-то *начала*, продолжатся все эти открытия...

Огонь костра разгорался, становился все сильнее, горячее. Онежка чувствовала его и руками и лицом. Сырой валежник занимался теперь в этом огне ветка за веткой.

Онежка торопилась, ужин надо было готовить скорее. Сама она вся была полна впечатлений дня, совсем забыла о еде, но то, что другие ждут ужина с нетерпением, забыть не могла, хорошо знала, что ее хлопоты очень были нужны гордой и красивой Рите Плонской — Биологине, и мечтательному Рязанцеву, и беспомощному кандидату наук, Доктору медицины Реутскому, и всегда чем-то занятому Андрюше Вершинину, которого совсем напрасно, только из-за рваной шляпы, называли Челкашом.

Все, но каждый по-своему, нуждались здесь в Онежке, и она отвечала тем, что ласково и по-женски заботливо любила тоже всех и каждого по-своему.

Она отчетливо знала, кого и как она нынче любит. Не могла сказать этого только о Лопареве.

Лопареву ей хотелось в чем-то подчиниться, хотелось, чтобы он шел куда-то вперед своим быстрым и размашистым шагом, а она бы торопилась за ним. Хорошо, если бы ей было трудно за ним успевать, так трудно, что Лопарев стал бы помогать ей, вел бы ее за руку, как маленькую девочку. Такие возникали у нее незатейливые, но волнующие мечты...

И еще Онежка думала, что открытие — это, должно

быть, вовсе не конец чего-нибудь, а начало — начало новых, едва возникших, не совсем еще ясных, но уже сильных желаний...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Звенели цепи на скатах ГАЗ-63, доносилась из кабины ругань Владимировского, но тут уже все могли оценить его мастерство. Владимировский не только сам нигде не застрял, — по крайней мере, с полдюжины машин вытащил из кюветов. Законов и правил для него, кажется, никаких не существовало, кроме одного: на дорогах выручать своего брата шофера.

Палатки разбили где-то вблизи села Усть-Чара — оттуда изредка доносились в лагерь голоса людей. Все тот же туман — слепой и глухой — был кругом, и выше он же был, и даже, казалось, хлюпал под ногами — плотный, вязкий. Чуть позже замерцали в стороне села неясные огоньки...

А утром — солнце!

Внизу, в долине, туман еще оставался, но и там он таял, слегка дымясь; по снежно-белой его поверхности кое-где струился нежно-розовый свет, свет стекал в желтые лужицы, а лужицы эти просачивались на деревню, еще пасмурную и только едва-едва видимую под туманным пологом, с мокрыми кровлями и почти черной зеленью на огородах; густой хвойный лес по склонам невысоких гор светлел и светлел на глазах, обещая совсем скоро стать голубым, а по воде ручьев откуда-то с вершин гурьбой катились маленькие солнца, мчались и звенели, ударяясь о берега, о камни и друг о друга.

Тут Рязанцеву показалось, будто он сам причина всему этому — так хотел, так желал, что ненастье отступило перед его желанием, а солнце поднялось навстречу ему, туман стал таять; лес начал светлеть, в ручьях зазвенели солнечные отражения.

Рязанцев подумал: «Ну, теперь пора!» — и скользкой тропой стал спускаться от палаток вниз, к реке.

Взошел на мост.

С деревянного моста было видно, как река выбегала из-за ближней горы... Она будто сразу же почувствовала простор долины, сделала одну и тут же вторую петли, раздвоилась на рукава, и один рукав принялся размывать голубоватый левый берег, добывая из него серые

круглые булыжники, второй устремился вправо, ударился о скалу — приземистую, незаметную, отскочил от нее и побежал прочь по деревенским огородам.

Оба рукава соединились метров за триста ниже моста, вместе они еще раз попытались свернуть куда-нибудь в сторону, но уклон местности толкал их к скалам, и вот уже, обнявшись, правый рукав совершенно прозрачный, а левый — чуть взмученный, они оказались в одном ущелье, и в одно мгновение перемешались их воды...

Там, неподалеку от ущелья, по другую сторону села, Рязанцев заметил плотину. А он любил сооружения на реках — всякий раз как-то по-своему они вписываются в пейзаж, по-своему в нем присутствуют, по-своему его меняют. Только плотины да вот еще разве мосты создают такие картины, в которых первозданная природа соседствует с созданием рук человеческих.

Не торопясь пошел через село. Кто же ему повстречается первым на крутой улице, которая сначала поднималась на взгорок к двухэтажным домам, потом снова спускалась вниз, к плотине?

Ему хотелось бы какого-нибудь очень симпатичного человека встретить, заговорить с ним, познакомиться.

А вдруг это будет женщина — высокая, со светлыми косами и синеокая? Не случилось: первым встретился алтаец верхом на мухортой лошадке... Поглядел на Рязанцева — видно было, сразу признал нездешнего, прикоснувшись к засаленной меховой шапке, сказал:

— Здрасьте!

Очень правильно он сделал, первым встретившись Рязанцеву.

Потом встретила учительница — молоденькая, в коричневых туфельках на высоких каблуках. Геройством было — сразу после ненастья пройти по улице в таких туфельках.

Конечно, это была учительница — она несла целую стопку тетрадей под мышкой... Она шла по другой стороне улицы и чуть впереди Рязанцева, но невольно то и дело обращала лицо к солнцу, и Рязанцев видел это лицо — озабоченное, серьезное и пригретое солнечным теплом...

Учительница первый, ну, может быть, второй год, как сама перестала учиться — сдавать зачеты, экзамены, писать контрольные, а сейчас она в школе принимала экзамены... Вчера контрольную писал один класс,

сегодня другой будет писать. И вот она поглощена событием, хочет событию соответствовать — и серьезностью и тувельками...

Ушла... Тяжелая красная дверь школы с куском автомобильной покрышки вместо пружины захлопнулась за ней.

Плотина была в обширном дворе красивого дома под железом, на доме висела вывеска: «Райкомхоз».

Коммунальное хозяйство — это городской транспорт, системы водоснабжения, канализации и ливнеотводов, сети теплофикации, банно-прачечные тресты и гостиницы.

Здесь, в Усть-Чаре, ничего этого не было. Ничего этого не было, а коммунальное хозяйство было!

Рязанцев тотчас представил себе и начальника райкомхоза, а может быть, по-другому он именуется — директором, управляющим, заведующим, который каждый день с толстым портфелем является в свою резиденцию руководить хозяйством, которого нет.

Начальник этот должен быть толстым и благодушным, он уже сменил в Усть-Чарском районе с полдюжины руководящих должностей до того, как принял коммунальное ведомство, ни одна должность его не смогла обеспокоить. Фамилия у него Пересядько, Кубышкин, Авоськин — еще что-нибудь в этом роде.

Если бы из дверей райкомхоза вдруг вышел Пересядько, они бы поговорили.

«Руководите, дорогой товарищ Авоськин?»

«Руководжу, товарищ Рязанцев!»

«Трудно приходится? Задач у вас такое множество? Проблем?»

«Не говорите, товарищ Рязанцев! С утра до ночи — всё мысли, всё — проблемы. Недосыпаю. Недоедаю...»

Ни Авоськин, ни Кубышкин не в состоянии были испортить Рязанцеву настроения, его рассердить, расстроить. Плотина и та не испортила этого настроения, хотя являла собой зрелище очень грустное.

Береговые ряжи основательно уже сгнили, в таком же состоянии была, вероятно, и подводная часть: в нижнем бьефе весело подпрыгивали фонтанчики, и были они заметно мутными.

«Фильтрует! — подумал Рязанцев. — Грунт из-под основания вымывает даже и при таком вот малом напоре!»

Прошел вдоль деревянного лотка, лоток разохся, едва-едва отдавал сыростью, — давно уже не было в нем воды.

Через узкое оконце заглянул в крохотное здание станции — пол разобран, оборудование снято... «Ах, товарищ Авоськин, товарищ Авоськин!»

Вернулся на плотину, сел на упорный брус.

Река сбегала по неровной каменной лестнице, то ступала осторожно, то стремительно прыгала со ступени на ступень, а там, уже вдали, горы были ниже, и казалось, будто около горизонта река бежит по самым вершинам.

Так было в долине, а слева, на востоке, словно кроны огромных деревьев, возвышались горы, дремучий лес гор. Деревья выглядели там будто хвоинки, белые облака, кое-где заблудившиеся среди дремучего леса гор, похожи были на гусиный пух, а маленькое яркое солнышко, приютившись на самой высокой горе-кроне, будто удивлялось там, как это оно смогло и долину, и небо, и горы залить своим светом.

Представления об Алтае, которые жили в Рязанцеве с детства, со времен первого путешествия, жили четверть века, — его ничуть не обманули.

Где-то, среди леса гор, течет еще одна река — река Коргон. Рязанцев чувствовал ее близость и радовался ее красоте: не могло быть некрасивой реки в этих горах.

В отдельных же картинах, в подробностях, он помнил реку Коргон, какая она бывает и при свете солнца, и во тьме.

Помнил во тьме, потому что трем мальчишкам не хватило дня, чтобы смотреть вокруг, и они ночью тоже шли берегом реки.

Тропа падала вниз, к воде, и мальчишки ежились от брызг, шли тихо, осторожно... Тропа выпрямлялась — мальчишки торопились: скорее, скорее!

Куда торопились?

Далеко за полночь вошли в черную, узкую дверь, берестяной факел осветил длинные рубленые стены с крохотными отверстиями окон и ржавые цепи. Вдоль стен висели эти цепи и еще поперек лежали на земляном полу...

Днем они уже были здесь, мальчишки, заглядывали в мрачный сруб, почему-то весело им было, посмеялись, ушли.

А ночью поняли: «Не досмотрели!» На удивление старому пасечнику, оставили у него ночлег, собрались и побежали во тьму.

И вот — глядели молча.

Было время — знаменитые на весь мир яшмы добывали здесь каторжники для Колыванского гранильного завода.

Минул век, заросли тропы с Коргона на Колывань, но осталось вросшее в землю жилище каторжников. И цепи остались — мальчишки на них глядели удивленно.

С тех пор, что бы ни читал Рязанцев по истории, какой бы разговор о далеком прошлом ни заходил, в памяти его возникали эти темные деревянные стены из лиственницы в обхват и эти ржавые тяжелые цепи при свете дымного факела.

Спустя годы приходилось видеть ему древние замки и монастыри, ножи из бронзы и каменные топоры, — все это было уже продолжением его встреч с историей, самой же первой была эта встреча. Самой необыкновенной — она же.

Она еще и потому была необыкновенной, что мрачный сруб, внутри опутанный цепями, стоял на глыбах яшмы редкостной красоты, что рядом с ним, изумрудно-зеленый, звенел Коргон. Облака, кроны гор и ветви деревьев на берегу — все это можно было видеть при дневном солнце и ранним утром в самых мельчайших подробностях, глядя через крошечные оконца деревянного сруба вниз — на прозрачный плес реки, и в сверкании струй водопада чуть выше по течению реки можно было угадать отражения тех же облаков, гор, деревьев, и в сверкании капель, кружившихся в воздухе, тоже были эти отражения...

Ночью же луна, близкие и далекие звезды, Млечный Путь опускались на горы, на плесы и водопады Коргона, на обнаженные взрывами толщи зеленых и красных яшм.

Там, на тропах по берегам чудесной реки Коргон, и возникла дружба между тремя мальчишками — Рязанцевым, Свиридовым, Черновым, а теперь воспоминания были какими-то особенно радостными потому, что один из них наконец-то достиг села Усть-Чары.

Вот она какая — Усть-Чара, несколько улочек и шестигранная, неуклюжая, но прочная пожарная ка-

ланча с каменным фундаментом — вот она какая, Усть-Чара!

Она, наверное, давно стояла, эта каланча, еще когда мальчишки путешествовали по Алтаю.

Если бы они достигли тогда Усть-Чары, они бы ее увидели точно такой же, какая она сейчас.

Но Усть-Чары они тогда не достигли. Их много путешествовало, мальчишек, выпускников неполной средней школы, — помнится, человек десять. Трое рвались все вперед, все дальше уходили в верховья рек Сентелека, Коргона, Кумира. Была у них мечта — село Усть-Чара. Заметили на карте крупного масштаба маленький кружочек, надпись курсивом, и почему-то представилось им, что это — предел всяческих желаний. Может быть, так звучит: «Усть-Чара... Усть-Чара...»

Но остальные семеро не слышали в этих словах ничего, не хотели идти до Усть-Чары. Их было большинство, тех, кто не слышал и не хотел, они были правы — приближался уже учебный год, холоднее становилось в горах с каждой ночью.

Вернулись...

Вернулись, но трое обещали друг другу — когда-нибудь, может быть, не скоро, может быть, очень не скоро, но обязательно достигнуть Усть-Чары...

Не довелось осуществить мальчишескую мечту Сене Свиридову.

Не довелось и Василию Чернову. На Ново-Девичьем кладбище в Москве, в нишах старинной кирпичной стены стоят урны с прахом воздухоплавателей. Воздухоплаватели летели на дирижабле, чтобы взять легендарный экипаж дрейфующей станции «Северный полюс». Среди других — урна с надписью: «Самый молодой член команды дирижабля, бортрадист Василий Дмитриевич Чернов».

Из троих один только Рязанцев достиг Усть-Чары.

В десять часов сорок минут утра 16 июня 1960 года...

Глядел вдаль, туда, где в берегах из яшмы мчится Коргон, слушал, как туда же торопится по каменным ступеням Чара-река, и казалось ему, будто не один он глядит и слушает тоже не один. Вспомнил такие подробности первого мальчишеского путешествия на Алтай, что казалось — один не мог бы их вспомнить...

По тропинке подошли к Рязанцеву двое.

Он сразу определил: районные работники. Тот, что шел позади, опередив своего товарища, первым протянул руку:

— Райкомхоз!

— Как?

— Райкомхоз! — Человек рекомендовался не по имени-отчеству и не по фамилии, а названием учреждения: «Райкомхоз».

Рязанцеву тоже пришлось представиться:

— Рязанцев. Научный сотрудник экспедиции.

Райкомхоз, вот он какой был — в синей шелковой рубашке с короткими рукавами, в очень широких чесучовых брюках, в соломенной шляпе, — с необыкновенной радостью сказал:

— Мы так и думали, что из экспедиции. У нас тут телеграмма была вашего главного академика...

— Вершинина?

— Вот именно — Вершинина...

«И тут успел!» — подумал Рязанцев про Вершинина, который никогда не пропускал случая телеграфно, срочно, солидно предупредить множество людей о своем приближении. Райкомхоз между тем был, кажется, чему-то рад: черные с коричневым глазки его на полном и смуглом лице были очень приветливы. «Русский? — подумал Рязанцев. — А может быть — алтаец? Дёла не меняет — одним словом, Райкомхоз, то ли Авоськин, то ли Пересядько».

— Плотину оглядываете? — спросил Райкомхоз.

— Немного...

— А вы смотрите, смотрите! Это нужно! Крайне необходимо! Костин тоже ее оглядывает, будто в первый раз видит, — и кивнул в сторону своего товарища.

Тот в самом деле ходил по мостику над щитами, сумрачно глядел вниз из-под лохматых бровей. Поравнявшись с Рязанцевым, прикинул — что бы этот человек мог здесь значить? Тоже поздоровался:

— Костин Петр Никодимович. Управляющий районной конторой Госбанка. Значит, из экспедиции? Порядок! Присядем!

Все трое опустились на упорный брус рядом с воротом для подъема щитов. Рязанцев вздохнул: только что сидели здесь Сеня Свиридов и Вася Чернов.

Управляющий банком раскрыл стальной портсигар с изображением Спасской башни на крышке.

— Прошу! — постучал портсигаром по бруссу. — Сколько будет стоить? Ремонт?

— О чем вы?

— О ремонте. Сколько стоит?

Рязанцев пожал плечами, хотел ответить, что он не специалист по строительству, но ему показалось проще назвать цифру. Ряжи полуразрушены, контрфорсы покосились, водобой фильтрует...

— Четыреста пятьдесят тысяч!

Костин расправил брови.

— Так. Точно.

А Райкомхоз, тот подскочил, шлепнул себя по карманам и тут же Рязанцева по плечу:

— Как в аптеке! Не верите? Инженер приезжал из края, обмеривал, считал, справочников у него куча мала, и что насчитал? Четыреста пятьдесят семь тысяч и двести шестьдесят рублей с копейками!

— Семьдесят восемь копеек, — уточнил управляющий банком.

— Брось ты свои копейки! — рассердился Райкомхоз. Поболтал на себе чесучовыми штанами, в карманах зазвенели у него монетки, он словно собрался их выбросить.

«Расхрабрился!» — подумал Рязанцев, а Райкомхоз уже спрашивал его:

— А сколько стоит построить новую? Таковую же — на сорок пять киловатт?

Спрашивал он быстро и так настойчиво, что Рязанцев снова не успел объяснить, что он совсем не специалист, а вместо этого так же быстро спросил:

— Лоток — новый? И здание станции — тоже новое?

— Подчистую — заново!

— Пятьсот пятьдесят!

— Во-от! — восторженно произнес Райкомхоз, поморгав сначала черными удивленными глазками. — Во-от как — видел? То-то!

Должно быть, когда они еще приближались к Рязанцеву — управляющий банком и Райкомхоз, поспорили между собой. Управляющий говорил, что нет никакого смысла затевать разговор с этим зевакой на плотине, а Райкомхоз хотел поговорить обязательно. Теперь Райкомхоз торжествовал, снова хлопал Рязанцева по плечу:

— Хотите знать — как в аптеке! Ошиблись на одиннадцать тысяч! Считай — как в аптеке.

— На двенадцать! — поправил управляющий, но поправил как-то ласково. — Без трехсот рублей — на двенадцать.

— По смете — пятьсот тридцать восемь триста. Ну триста рублей в таком деле — копейка! Так и не считай копейки-то, — посоветовал Райкомхоз. — Не считай. Не аптека ведь!

Управляющий банком Райкомхозу не ответил, снова спросил у Рязанцева:

— А вот скажите, товарищ, сколько, по-вашему, лет этой станции? Сколько она существует?

Райкомхоз глядел встревоженно. «Очень хочет, чтобы я снова правильно ответил», — подумал Рязанцев.

Вспомнились Рязанцеву другие сельские ГЭС с деревянными плотинами — все они быстро выходили из строя... Подумал...

— Пятнадцать!

— Ошиблись! — сказал управляющий. — Вот когда ошиблись! Хотите знать — тринадцать лет.

Райкомхоз, будто извиняясь перед Рязанцевым, вздохнул:

— Правильно говорит — тринадцать лет! Позже этого времени, уже осенью, по снегу ее открывали. Так было торжественно — и не сказать... — Но тут Райкомхоз взглянул на управляющего, управляющий — на Райкомхоза... — Ну!.. Ну-ну-ну! А? Что?! Как?! — все это Райкомхоз выпалил сразу, управляющий же ему ответил одним только протяжным:

— Да-а-а... — и обернулся к Рязанцеву. — Ошибку мы дали, товарищ научный работник...

— Очень может быть, — согласился Рязанцев. — Может быть, я же ведь...

— Мы ошибку дали, товарищ сотрудник Академии наук! Тринадцать лет станция эта работает, а существует — правильно вы говорите, — существует пятнадцать лет! На ней два года турбины меняли, не было таких маленьких турбин, для нее подходящих!

Райкомхоз ликовал:

— Точно! Два года не могли поставить турбины! Два года, как в аптеке!

Управляющий банком спросил задумчиво:

— Наука? А?— Спросил и просветлел: брови у него раздвинулись, сухощавое смуглое лицо словно помолодело.

А Райкомхоз, наоборот, посерьезнел, когда подтвердил:

— Наука! Да!

Рязанцев же, хоть и понимал, что успех его совершенно случайный, не удержался и благосклонно так, с чувством достоинства пожал плечами.

— А как же!

Досада, вызванная появлением этих людей, исчезла, он подумал: поговорили... Очень хорошо! Сейчас они вежливо и так уважительно распрощаются. А потом будет еще приятнее здесь одному... Уж не рассказать ли, пока не ушли, как много лет назад, мальчишкой, он стремился достигнуть Усть-Чары?

Но прежде чем Рязанцев решил, стоит ли говорить об этом с незнакомыми людьми, они оба придвинулись к нему.

— Ваше решение?— спросил управляющий банком.

— Ваше мнение, дорогой товарищ?— Это Райкомхоз спросил.

— О чем? Какое?

— Ну как же?— пояснил управляющий банком.— Вы определили: ремонт стоит четыреста пятьдесят семь, новая — пятьсот тридцать восемь. Срок службы — тринадцать лет. Так что же, вы прикажете через каждые тринадцать лет полмиллиона в эту речку вколачивать? Вколачивать, да еще в малую воду, и без света сидеть?

— Ничего никому не приказываю!— удивился Рязанцев.

— Не в том дело!— протянул обе руки Райкомхоз.— Двадцатый век, Советская власть, спутники летают, а в райцентре электрификации нет! Вот в чем дело!

— Так я не специалист! Право же, нет!

— Наука должна помочь!— заявил управляющий.— Должна!

А Райкомхоз снова и старательно принялся разъяснять, в чем дело:

— Дело в том, что всему райкому, всему райисполкому, всему партийному и советскому активу нельзя сказать: «Мы не специалисты!» Нам решение принимать! Нам перед народом решение доказывать, мобилизовать людей! А на что мобилизовать? Кабы они совсем не видели электричества, люди, тогда еще год и два

провели бы в потемках. А сейчас поди-ка объясни, что они без света должны сидеть. Можно?

— Нельзя...

— Правильно! Нельзя! А можно что?

— Что? — настаивал управляющий. — Не у кого-нибудь, у науки спрашиваем — что?

— Ну... как вам сказать... А если тепловую станцию? На жидком горючем? Если в самом деле — тепловую?

— Повозите-ка жидкое-то из самого Бийска? — ответил вопросом управляющий. — Повозите-ка! Киловатт-час как раз рублями запахнет! Свет, он тоже должен быть по карману.

— Ну что же — дорого будут платить! И дорого, а будут!

— Верно, куда денутся — заплатят. Заплатят, а о Советской власти как подумают? Не подходит! Это вам не частный капитал — пользоваться случаем!

— Ну а если на дровах? Если на дровах?

— Тридцать восемь рублей за кубометр! — тотчас дал справку управляющий банком. — Устраивает? Не возражаю, хотите — платите!

— Так дорого? В лесу живете — и так дорого?

— Франко-лесосека — семь рублей. Семь с полтиной. А доставка? Дороги в горах — какие дороги? Только гужом. А гужом, живым тяглом — туда доехать, там погрузить, оттуда приехать, разгрузить — человеко-день и коне-день. Итого — тридцать три рубля. Прямых. Плюс за лошадьми уход, зарплата конюхам — раз. Сенозаготовка — два. Спецодежда — три. А непогода, завал в горах? Туда-обратно съездили, дров — ни полена. Что же это фактически?

— Фактически, — разъяснил Райкомхоз, — ползимы без света.

— Так ведь лес-то рядом! Вот он!

— Прикажете, значит, оставить райцентр без зеленого друга? Года за два мы окрест все облысим. Дай пример, охотники найдутся! А дальше? Дальше, спрашиваю?

— Тут дело такое, — доверчиво и даже как-то очень благожелательно разъяснил Райкомхоз, — с горы свести лес — проще простого. Срубил во-он ту лесину — она сама по себе в деревню прикатится. А насадить его там? Труднее трудного! Теперь дальше — двадцатый век,

Советская власть, а тут крайне нужный человеку хлорофилл — под корень! Можно ли?

— Нельзя...

Рязанцев размышлял вслух: может быть, другую ГЭС построить — деривационную, на отводящем канале? Подпорное сооружение сделать долговечным, из каменной наброски? Стал говорить о схеме деривации, о принципе ее действия, присматриваться к местности и объяснять, что местность вполне позволяет такую схему осуществить.

Управляющий кивнул:

— И над этим думали. Крепко думали! Нельзя!

— Да почему же?

— Взрывных работ, скальных получается три тысячи восемьсот — считайте, четыре тысячи кубометров. В крае организации подрядной нет, чтобы взялась выполнить. В Новосибирск надо ехать. А тем это пустяк, слону дробина, им дороже стоит сюда приехать, работы организовать, технику безопасности.

— Договоритесь с местными рудниками.

— С ними договор простой: плати, еще плати и еще раз плати! Прямые, накладные, проездные. Кабы у нас была станция на тысячу киловатт — это все оправдывается. А из-за пятидесяти ква с нами никто чикаться не желает — не из-за чего. И строительная стоимость этого самого ква — двадцать две с половиной тысячи — подсчитана. Устраивает вас? Устраивает — соглашайтесь! Только я через банк вам такую смету не пропущу!

Все получалось совсем не так...

«Прохлопали с плотиной?» — нужно было бы спросить Рязанцеву у этих людей. «Вот маемся... Ошибку дали...» — «Места у вас тут уж очень красивые! Очаровательные места!» — «Это верно — в местечке живем веселом... Закурите?» — «Некурящий... А вы знаете — я еще четверть века тому назад, мальчишкой, хотел побывать в Усть-Чаре. Не удалось. До Коргона только дошел... Скажите, вон та пожарная каланча давно построена?»

Таким, казалось бы, должен быть разговор между ними...

На самом же деле Костин допрашивал:

— Так что, согласитесь полмиллиона платить? Или не согласны?

А Рязанцеву ничего не оставалось, как самому перейти в наступление:

— В свое время что в районе было сделано, чтобы ГЭС эту спасти?

Управляющий сказал:

— Ясно!.. Материалы следствия и экспертизы у районного прокурора. Интересуетесь — можно познакомиться. Ответчик — вот он, Райкомхоз! — кивнул в сторону своего товарища. — И мнение такое существует — посадить!

— Посадить?! — не сразу понял Рязанцев. — Нет, что вы! Я не об этом спрашиваю! — Хотел оглянуться в сторону Райкомхоза, но представил себе его полное жизнерадостное лицо таким тюремным, с таким выражением отчаяния, что замешкался как-то.

А Райкомхоз ждал, когда приезжий ученый к нему обратится, не дождавшись, тронул Рязанцева за рукав.

— Верите ли, кабы я знал, что электричество тут без меня так ли, иначе, а будет, — с легкой душой отсидел бы пять лет!

Рязанцев поглядел на Райкомхоза, на полное и свежее лицо, заглянул в черные, какие-то женственные глаза — поверил. Удивился — если бы от знакомого, близкого человека это услышал, и тогда, наверное, поверил бы не сразу. Вспомнил, что таким именно он заведующего райкомхозом и представил, когда увидел вывеску этого учреждения, — полным, жизнерадостным. Таким — и совсем не таким.

— Я как только райкомхоз принимал, — рассказывал дальше Райкомхоз, — в пятьдесят третьем году, сразу спросил: «А за ГЭС чья отсидка будет?» Она уже тогда на слюнях держалась — лес-то был поставлен сырой, невыдержанный, и с напором она не управлялась. Так и спросил. Костин, ты помнишь, ты тогда в исполнении был?

Управляющий банком кивнул — он помнил. Рязанцев спросил:

— Ну и что же вам ответили?

— А что тут ответишь? «Постараемся, чтобы никто не садился. Но ежели кто сядет — так ты!»

— Не соглашались бы на таких условиях принимать райкомхоз! — возмутился Рязанцев.

— Дело поручают — об этом не спрашивают, за что ты согласен отвечать, за что не согласен! Точно, Костин?

— Точно!

— Вы писали, сигнализировали?— спросил Рязанцев.— Писали куда следует о состоянии плотины?

— Пользы-то? Каждый усть-чарский этой плотине свидетель... Латал я ее как мог, ремонтировал, субботники организовывал... Мертвому припарки! А бумаги — тем более припарки!

— Не пробовали по-другому дело поднять? Методом народной стройки!

— Метод-то он метод, да только на один раз!— ответил управляющий. Не дождавшись от Рязанцева «почему?», ответил:— Потому! Вот она была этим методом построена, и нет ее!— сердито постучал по деревянному бруску плотины портсигаром.— Ее нет, а думаете, ее метод останется? Метод — он там, где результат! Иначе не бывает.

— Наконец, если и то, и другое, и третье нельзя — так собрать жителей Усть-Чары, посоветоваться с ними — как быть? Тут бояться нечего! Выходить надо к народу!

— Как это нечего!— возразил управляющий банком.— Как это нечего? Выходить надо с каким-то мнением, обсуждать его, а не просто так: «Помогите умишком, Христа ради, кому как бог на душу положит!» Знаете, о чем они спросят? «Наука как советует? Вы не знаете — такая вам и цена! Пригласите научных работников, академиков! Пусть решат!» Вот как скажут!

Райкомхоз, улыбаясь, подтвердил:

— Это точно!

Не удался спокойный разговор.

— Ну, знаете ли,— заволновался Рязанцев,— станция на пятьдесят киловатт для науки не проблема! Тут ваши особые условия, когда и то нельзя, и другое, и вообще ничего от науки взять нельзя!

— Я так думаю,— управляющий банком поглядел в небо,— спутники там летают, но для ученых, которые их изобрели, тоже «нельзя» этих было не меньше! И металл обыкновенный применить нельзя, и горючее нельзя. А без этого есть ли наука? Без «нельзя» он тоже действительный академик!— показал на Райкомхоза, хотел, должно быть, кончить, но потом еще сказал:— У меня — когда-нибудь дождусь — будет разговор к ученой агрономии. Вот Усть-Чарский район год от году хлеба дает все больше. За счет чего? Площади увеличиваем. А где наука, спрашиваю, если урожайность с гектара только что довоенной осталась? Того ниже?

Спрашивается: где же она в ответственное время находится? Наука?

— Ну хорошо, — сказал Рязанцев, — а такое вы можете понять: в науке — тоже люди, а люди могут ошибаться?..

— Наука, товарищ ученый, она как сапер: прокладывает для наступления пути. А саперы, слышали, наверно, ошибаются один раз. И еще спрошу: а что, ошибочная наука — наука?

Костин была фамилия у этого человека... Рязанцев подумал, что фамилия происходит не от человеческого имени — Костя, Константин, а от слова «кость», «костяной»... Сухой такой, поджарый, весь будто бы костяной он был. Приподнял шляпу — вытереть пот с головы, — голова у него оказалась бритой и тоже костлявой, виски выступали вперед, затылок назад, макушка странно торчала вверх. Такую бы голову не брить, а прятать под волосами. Но видно было — неглупый человек. Умный человек.

Хотел Рязанцев спросить в ответ: а любое ошибочное дело — дело? Но Костин вдруг еще заговорил:

— Корову подоить... Тысячу лет человек этим делом занимается, а тут наука провозгласила: «Многokратная дойка!» В одном нашем районе двое ученых диссертации писали. Теперь снова совхозы мучают, уже другие. Эти — за двукратную. Тоже наука. Тоже к двадцатому веку и к спутникам пристегиваются!

Рязанцев и сопротивлялся и спорил, однако о многом он и сам не раз думал так же, как этот Костин.

В это время Костин и сказал:

— Ездят из институтов, из академий... Разные ездят. Ну пошли, Райкомхоз. Дела ведь...

Райкомхоз протянул руку Рязанцеву:

— Бывайте здоровы!

С крыш усть-чарских домиков струилось тепло, лужи на улицах подсохли, кое-где покрылись замшевой кожицей, прохожих стало больше. Рязанцев шел обратно в лагерь. Учительница встретила знакомая — возвращалась домой, опять со стопкой новых тетрадок под мышкой.

Значит, уже другой класс написал контрольные, судьбы других ребят решались: кто написал на пятерку, а кто и на двойку...

Река за огородами звучала теперь приглушенно, меньше было ее слышно, потому что больше в жаркий

воздух неслошь отовсюду разных звуков: с деревянного моста на Чаре, с огородов, от больших двухэтажных домов в центре села. Ближние горы тоже будто бы шелестели деревьями, травами... Теплый воздух мерцал над россыпями камней в горах — казалось, шевелил камни, и они тоже звучали. И дали не были безмолвны: доносился плеск убежавшей туда Чары и еще каких-то рек, может быть, Коргона.

Вышел на площадь.

И тут снова увидел Костина и Райкомхоза. Управляющий приподнял шляпу и отправился в районную контору государственного банка, а Райкомхоз подошел к Рязанцеву.

— Это все от того, что нашу ГЭС никто не хочет себе в спутники взять!

— Как — в спутники?

— А вот я все думаю... Анкеты мы заполняем? Имя, отчество, фамилия, год и место рождения... Так я бы третьим пунктом, после года рождения, поставил вопрос: «Личный спутник». И каждый бы отвечал: или там надой в пять тысяч от коровы, или ученая книга, или отметки за учебу. А вот кто-то записал бы: «Личный спутник — Усть-Чарская ГЭС».

Рязанцев шел к лагерю, три палатки виднелись на склоне горы, они уже успели выцвести, побелеть во время ненастья, и, кажется, две машины там... Правда — две: грузовая и «газик».

«Уж не Вершинин ли догнал экспедицию? — подумал Рязанцев. — Неужели он?»

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Рита Плонская и Онежка Коренькова жили в одной палатке, а подружиться до сих пор не могли.

Однажды, когда они лежали в спальных мешках, Рита услышала вдруг: Онежка вздыхает.

Время в палатке перед сном — иногда каких-нибудь минут десять, а иногда, если не очень устали за день, и час и два — было временем бесед между ними, а тут Онежка так откровенно вздыхала.

— О ком ты?

— Так... Ни о ком... — шепотом ответила Онежка. Вздохнула снова...

— Ну-ну! Все так говорят: «Ни о ком!» Скажи!

— Правда, ни о ком...

— Ну не о себе же самой, в самом-то деле?

— Ага...

— Что «ага»? Скажи!

— О себе...

— Почему?

— Колет... Болит...

— Что? Где?

— Вот тут... — Онежка взяла Ритину руку к себе в спальный мешок. — Вот тут где-то... Желудок... Да?

Рита была разочарована. И засмеяться ей хотелось над Онежкой, и сказать что-нибудь такое, что детям говорят: «Бо-бо? Ничего, спи... До утра заживет... Бай-бай!» Но тут она вдруг ответила:

— Нет... Не желудок. Это у тебя такое, о чем никому не надо говорить вслух... Особенно мужчинам.

Ничего ровным счетом Рита не понимала ни в этих, ни в других болезнях — высокая, тоненькая, даже хрупкая, она переболела множеством болезней в раннем детстве, а теперь была совершенно здоровой девушкой, болезни представлялись ей чем-то отвлеченным, таким же, как, например, старость.

Однако она произнесла свой диагноз с необыкновенным значением. Потом подумала: «А вдруг Онежка и в самом деле больна? Вдруг захворает? Умрет?» Засмеялась над собой: «Пустяки! Будем проезжать через какое-нибудь большое село, скажу Лопареву или Рязанцеву, что Онежка нездорова, и пошлю ее в амбулаторию! Сама она этого не сделает — глупая, стеснительная...»

— И потом, — сказала Рита, — если ты скажешь, что нездорова, подумают, что ты ленишься. Отлыниваешь от работы. Уж так устроены все люди — им обязательно нужно кого-нибудь в чем-нибудь подозревать! Они без этого не могут!

Онежка не спала в эту ночь. Ритины слова ее смутили, испугали... Какие-то предчувствия ее тревожили, до самого утра она пыталась их прогнать, говорила себе, что она трусиха, упрекала себя.

А Рита спала спокойно. Она знала, что теперь Онежка приблизится к ней.

И в самом деле, на другой день Онежка все время старалась быть к Рите поближе. Еще бы: Рита одна знала ее тайну!

Снова Рита убедилась в своей необыкновенности. Кажется, она была в ней давным-давно убеждена, а все-таки хотелось узнать об этом снова.

Было такое чувство у Риты, что пора бы уже стать благоразумной — пора, пора! И разыгрывать маленькие хитрости, вроде хитрости с Онежкой, — тоже детское занятие. Но сколько ни старалась, не могла от этого избавиться!

Избавиться, должно быть, и в самом деле было не легко — это пришло к ней в раннем детстве, она даже знала, когда и как пришло...

Маленькой, не по-детски изящной девочке, любимице матери, отца, всех окружающих ее взрослых, эти взрослые казались таинственно-счастливыми людьми.

Они составляли иной мир. Мир взрослых можно было видеть на каждом шагу, можно было всегда ему подражать, любоваться им, изображать его в играх, можно было даже войти в него и поверить, что ты останешься в нем навсегда.

На самом же деле только казалось так. Взрослые разговаривали с девочкой ласково, весело, иногда — как с равной, но все до тех пор, пока им так хотелось. По первой же своей прихоти они отсылали ее прочь, объясняя, что она — ребенок.

И девочка оставалась совсем одна, одна среди множества людей, потому что сверстницы и сверстники давно уже возненавидели ее за ее взрослость. Она не плакала — она презирала детей, а все ее упреки и слезы обращены были к взрослым. Но взрослым нельзя было даже пожаловаться — так они были жестоки.

Просыпаясь утром в своей кроватке, она говорила: — Какова погода? Снова ненастье, снова антициклон! В таком случае я надеваю темное платье, а гулять выйду в плаще! — И верила при этом, что выросла за ночь, а каждый день неизменно разочаровывал, ранил ее.

Свое страстное желание она не облекала еще в слова. Зная множество фраз, которыми говорили между собой взрослые, она ни слова не находила о самой себе, о своих чувствах. И оставалась для самой себя загадкой.

Но если бы она смогла обдумать все, что с нею происходит, к чему она стремится, обдумать и выразить

словами, это прозвучало бы, вероятно, так: «Покорять! Удивлять и покорять!»

Она хотела в мир взрослых не только войти, но и удивить, покорить его. Одна только безропотная покорность взрослых могла бы искупить их вину перед нею.

Конечно, было бы счастьем для нее, для всей ее судьбы, если б в детстве она никого так и не покорила бы, если бы ее маленькое сердечко сначала само покорилось какому-нибудь вихрастому парнишке из пятого или шестого «А» или «Б» класса.

Но случилось иначе.

Шестнадцать лет назад, в день Первого мая, она выступила в детском утреннике. Юные артисты танцевали, декламировали, пели, выступления сопровождались бурной овацией. Не каждой артистической звезде удавалось в жизни снискать такое же неподдельное признание зрителей.

И была среди юных артистов Маргаритка — она выглядывала из-за декораций, дрожала от страха, слезы катились у нее по щекам.

Руководительница придерживала ее за плечо:

— Ну ничего! Ничего, милая! Ты же самая старшая в этом танце, тебе нельзя волноваться!

А может быть, именно потому, что Маргаритка так боялась, зрители так поверили ей, поверили, будто над головой у нее вьется злой ястреб. И когда, дрожа от испуга, взмахивая ручонками, она исполнила коротенький танец и позвала: «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып!», а другие девочки, совсем еще малютки, в желтых платьицах и красных туфельках, сбегались к ней на зов, окружили ее тесно-тесно, — зрители восторженно ее приветствовали.

Она же не могла уйти со сцены. Снова, снова танцевала, отгоняла прочь воображаемого ястреба, страшась его и в то же время против него восставая, а создав своих цыплят, торжествовала. Ей кричали из зала, ей улыбались, для нее одной смеялись и ликовали.

Каждое лицо, которое она видела в рядах, излучало разноцветные круги — тоже для нее, и восторг приходил к ней таким сильным, каким совсем недавно был страх, — еще сильнее...

В ярко-желтом свете электрических ламп она как будто таяла, она стала ощущать сильный, волнуемый аромат света, так что спустя уже много лет была убеж-

дена, будто существует «желтый запах», головокружительно сильный, дурманящий.

Ночь после этого не спала. Лежала с открытыми глазами, а с нею повторялось и повторялось все сначала. Что это было такое, что с ней происходило? Как называется? Названия всему этому она опять не могла дать, лежала в темноте и шептала: «Цып-цып-цып! Цып-цып-цып!»

Если бы тогда она сумела найти слова, она сказала бы этими словами: «Сегодня я покорила взрослых!»

Она не рассуждала таким образом, не умея еще задавать вопросы самой себе и отвечать на эти вопросы, но убеждение в том, что если страстно желаешь, желаешь до страдания, то рано или поздно желание сбудется, — такое убеждение, такую радость своей победы она пережила сполна.

Лишь годы спустя она назвала это словами, сказав себе: «Буду подчинять себе других, ничего больше я так не желаю, ни из-за чего так не живу, как из-за этого желания!»

Она училась хорошо: нужно было завоевать признание учителей.

Отец — инженер-строитель, всегда очень занятой, нервный, и мать — полная вздорная красавица, в прошлом наблюдательница метеорологической станции — не чаяли в ней души и почти всегда были между собой в ссоре, а она ссорила их еще больше.

Ей было стыдно перед ними до слез, но их так заманчиво легко было столкнуть друг с другом — глупых взрослых!

Классе в седьмом ее полюбил мальчуган, рыженький, веснушчатый. Он появлялся в школьной ограде, перелезая через забор, — так она велела.

Потом она приказала ему прыгать с этого забора, и он прыгал и вывихнул ногу.

Она горько плакала, казнилась, в воображении обливая слезами веснушки своего героя, но, когда герой вернулся в школу, снова велела ему прыгать. Тогда заплакал он, а у нее в тот же миг возникло к нему чувство презрения, даже ненависти.

Позже это желание подчинять никому не приносило столько несчастья, как ей самой. Она томилась, изнывала.

Поступила в горный институт, там были почти одни мальчишки, — она мечтала покорять их. Но когда в сту-

денческом общежитии гремели песни, в разгар веселья нередко тускнела, грусть на нее нападала отчаянная.

Над кем-то ей нужно было проявить свое превосходство, и чтобы это было очевидно для всех, чтобы кто-то — при всех — не спускал с нее глаз, чтобы кто-то если уединялся с ней, так обязательно для того, чтобы излить ей свою душу.

Достаточно было, чтобы ничего этого не было, и она вся сникала.

С возрастом она хорошела, а ей то и дело казалось, будто детское ее обаяние обладало какими-то необычайными свойствами, теперь утерянными. Главное, его не нужно было скрывать в детстве ни от кого, теперь же у него появился противник. Этим противником были «все».

Впервые она увидела своего противника в том же горном институте, когда ее «проработали».

Ребята, из которых многие еще вчера млели перед нею, теперь выступали, и каждый начинал свою речь: «Мы все...» И они говорили, что Маргарита способная девушка («мы все в этом убедились еще на первом курсе»), что она красивая («все это скажут, никто не будет спорить»), что она эгоистка («все это поняли»), что она убежала из колхоза с уборочной («всех это возмутило»).

В школе так не бывало. Там привыкли к тому, что Рита Плонская — не как все. И Рита по-прежнему не хотела подчиняться никому, а всем — тем более. И не понимала — если человек способный, красивый, не как все и в отличие от всех, — почему он должен быть, как все? Ведь ум, красота, еще что-то, присутствие чего она всегда и во сне и наяву чувствовала в себе, — для чего-то ей были даны? Для чего? Чтобы отличаться от всех, не быть как все!

И в то же время, помимо воли, тянулась ко всем, все нужны были ей как воздух: ведь покорять кого-то одного ей нужно было даже не для себя, а для всех, чтобы все это видели!

Наконец, «все» поразили ее своей необычной, еще незнакомой ей прежде силой, какой-то только «всем» принадлежавшей правдой — незримой, но очевидной и могущественной. А ее всегда непостижимо влекло к себе все, что было сильным.

Никто из ребят не сказал бы ей один на один того, что говорили на собрании, никто! Каждый побоялся бы

это сделать — от каждого из них она могла бы в любой момент попросту уйти, встать и уйти, и не молча, а сначала сказав какие-то обдуманно оскорбительные слова. Никто не избежал бы самой обыкновенной ссоры с ней.

Но перед «всеми» она не могла ничего — сидела и слушала, что про нее говорят, не могла поссориться с ними. Раньше «все» были для нее множеством «одних» — только и всего. И потому, что она никогда не уступала «одному», не чувствуя превосходства «одного» над собой, она не понимала уступок «всем».

Теперь она столько же ненавидела всех, кто ее прорабатывал, сколько преклонялась перед их могуществом.

Как в детстве, когда она и ненавидела взрослых, и боготворила их.

Она забросила занятия, и ее исключили со второго курса. Через тетюшку устроилась на биологический факультет университета. На факультете учились одни девушки.

В экспедиции Рита была впервые.

Холодные ночи в палатке, переходы, ненастья и другие тяготы походной жизни скорее даже привлекали ее, чем пугали: она была не из трусливых. Боялась другого — оказаться с людьми, среди которых некого будет покорять и некому будет удивляться тому, как она покоряет.

Первые дни принесли ей прямо-таки счастье — Онежка с одного взгляда стала ей подчиняться.

Потом Онежка ее разочаровала: Рита заметила, что так же легко, так же охотно и непринужденно, как ей, Онежка подчинялась всем, для каждого готова была что-то сделать, на всех смотрела с обожанием. Нужно было отобрать ее у всех. Нужно было!

Чем дальше, тем больше Рита убеждалась, что своей обыкновенностью, простотой, глазами, лицом Онежка выражала «всех».

В горном институте, в 234-й академической группе, кроме нее, были еще три девушки, и теперь ей казалось, будто все три чем-то были очень похожи на Онежку, а Онежка — на них. Всех трех, ничем не приметных — ни красотой, ни голосом, ни способностями, ребята, когда прорабатывали Риту Плонскую, ставили ей в пример: какие они простые, какие обыкновенные, хорошие и товарищеские.

И теперь ей казалось, что, покорив Онежку, она подружится с ней, как ни с кем другим в своей жизни. А потом доверится ей, и это будет ее союзом со «всеми».

Давно-давно жила в Рите тайная мечта — изменить самой себе, стать хотя бы ненадолго такой же, как «все», испытать, что это значит.

Она мечтала о том, как, подружившись, будут они лежать в палатке тесно-тесно друг к другу, чувствовать тепло друг друга и как будет она шептать: «Онежка, милая, я не могу, я не хочу быть такой, как все! И я не могу не быть такой, какая есть!» И плакать будет... А потом долго еще — ночью, утром, на другой день — будет ощущать всю сладость отступничества перед самой собой. Только один раз она это сделает, и только одна Онежка будет об этом знать. А больше никто и нигде — ни дома, ни в горном институте, ни в университете.

Если нужно будет, она и сама перестанет об этом знать, забудет, и все.

Проходили минуты нежности...

«Боже мой! — восклицала Рита про себя. — Какие волосы у Онежки! Какие жесткие! Какого некрасивого, грубого войлочного цвета! Нет и не может быть такой прически, которая придала бы им хоть какую-нибудь привлекательность! Что же со мной происходит, если я хочу дружбы этой девчонки, хочу ее участия, хочу плакать перед ней?! Все, что когда-нибудь и хоть сколько-нибудь привлекало меня, всегда было красивым. А это? Хотя бы ножки у нее были красивыми, хотя бы ножкам можно было позавидовать! Но ведь у нее не ножки — бутылочки!»

Без зависти, пусть даже без самой ничтожной зависти, Рита не знала ни уважения к людям, ни любви к ним. Спустя же некоторое время она снова говорила себе: «Должно быть, это хорошо, что Онежка такая обыкновенная! Должно быть, такая она и нужна мне!»

Но еще прежде, чем излить Онежке свою душу, пожаловаться ей на «всех», и в то же время хотя бы ненадолго самой стать как «все», Рита хотела поговорить с Онежкой об Андрее.

Обязательно!

Рита, как только увидела Андрея, сразу же поняла, что его она не в состоянии покорить. А этого было достаточно, чтобы его невзлюбить, чтобы испытывать при

нем тягостное беспокойство и тревогу, чтобы искать союза и дружбы с теми, кто Андрея не любит.

В этом и состоял ее нынешний план: обязательно подчинить себе Онежку, чтобы быть против Андрея не одной, а вдвоем.

Теперь ей казалось, что маленькая хитрость удалась — Онежка напугана какой-то несуществующей болезнью, покорна старшей подруге, и можно начинать...

День они провели на делянках, собирали шишки, подсчитывали число всходов на полянах и затененных площадках. Устали. Устали, а снова не спалось, снова они молча слушали ночную песню леса, доносившуюся с горных вершин... И тут Рита спросила:

— Послушай, Онежка, тебе нравится Андрюшка?

— Кто? — прошептала Онежка. — Кто? Повтори!

И она повторила:

— Андрюшка!

— Мне Андрюша нравится...

— А мне — нет!

— Почему?

— Не производит впечатления мужчины!

— Почему?

— Ну, дорогая моя, не знаю! Не производит, и все!

Может, потому, что возится со своими травками, как девчонка. Ботаника — не мужская специальность!

— Какое же впечатление он производит?

— Никакого.

— Так может быть?

— Как?

— Чтобы человек не производил впечатления?

— Чаще всего! В нашей экспедиции никто не производит на меня никакого впечатления! А иногда — первое впечатление интересное, а потом — разочарование. Очень часто так.

— Почему?

— Онежка, дорогая! Станный вопрос и все один и тот же — «почему?». Детский! Ты этот вопрос задавала самой себе?

— Какой?

— «Почему?» — Рита почувствовала: она не владеет разговором и не овладевает Онежкой. Сказала сердито: — Милая, ты мало видела людей. А когда увидишь... Что ты увидишь? Все одинаковы, мало того — все требуют, чтобы никто ничем не отличался, чтобы каждый был похож на всех! Чтобы человек не был особенным!

— Ты — особенная?..

— Может быть... Хотя бы тем, что хочу быть особенной. Разве так нельзя хотеть?

Рита совсем не предполагала говорить в этот раз о себе, но так случилось, что заговорила. Она собиралась только вместе с Онежкой «проработать» Андрюшу и с ней подружиться. О себе же — в другой раз. Теперь она предчувствовала что-то неожиданное. И в самом деле, Онежка спросила ее:

— А если ты особенная только тем, что ничего особенного не видишь в других?

Тут нельзя было ошибиться. И Рита не ответила.

Онежка снова спросила:

— Как же ты живешь с нами?

— С кем?

— Со всеми нами в экспедиции... С людьми?

— А что же я могу? Не жить?

Никак не могла поверить Рита, что, задумав покорить Онежку, сама оказалась поверженной. Она не могла себе представить, что так случилось с нею — Ритой Плонской, которая обладала чем-то необыкновенным. Его — это необыкновенное — нельзя было узнать, нельзя было увидеть, но так и должно быть: самое необыкновенное и должно быть невидимым. И не зная, что же это такое, чего нет и не может быть ни у кого, — она в него верила. Она «этому» радовалась, «этим» гордилась и даже все, что было вокруг нее хорошо и что было плохо, — все «этим» оценивала, «этим» ощущала.

Видела очень красивую женщину, очень красивую, и завидовала ей, а потом успокаивала себя: «Но у нее же нет «этого»! Его нет ни у кого!»

Видела красивого мужчину или юношу, и между нею и этим человеком, потому что они оба были красивы, возникали как бы позывные — полуслова, полу-взгляды. Она думала: вот такой мог бы распознать ее «это» и тотчас в нее влюбиться!

Когда ее обижали, было обиднее, чем другим: тот, кто ее обижал, не хотел заметить в ней присутствие чего-то, чего в других не было, не было ни у кого, и тем самым наносил ей еще одну душевную рану.

Обижала кого-нибудь она — совесть ее начинала тревожить, она успокаивала себя: «Мне можно — у меня есть «это».

Сейчас, в палатке, когда ей очень грустно было и обидно, она как будто обиделась не за себя, а только за свое «это».

Потом успокоилась...

В конце концов, никто ведь не видел ее поражения, она же, если захочет, завтра же покажет всем, как человек может быть покорен ею. Такой человек в экспедиции был, только она не хотела, чтобы кто-нибудь об этом раньше времени узнал. Захочет — и покорит. При всех!

И Рита уснула, думая о том, что она еще удивит всех, все ее увидят.

А Онежка не спала в эту ночь.

Ах, как хотелось Онежке дружбы с Ритой — с красивой, певучей, со старшей! Не начинался бы этот разговор — и тогда оставалась бы небольшая, осторожная, но все-таки дружба между ними, понимание. А теперь?.. «Трудно быть обыкновенной», — думала Онежка.

Каждый день Онежка запоминала новые названия растений. Три из них почему-то неотступно звучали все время: «Истод, адонис, эдельвейс». Совершенно особенно они звучали, и ей необходимо было кому-то много-много раз их повторить, чтобы спросить: правда ли, что они звучат, как не звучит больше ничто? «Истод, адонис, эдельвейс»? У кого теперь об этом спросишь? Немного смешно, а все-таки?

Онежка знала, что, прежде чем сказать друг другу о себе, люди обязательно говорят сначала о ком-то третьем. Так всегда случалось и в школе-интернате, и в институте — кто-то третий был зеркалом, в котором двое других прежде разглядывали друг друга.

Тут третьим был Андрюша. Но как Рита произнесла слово «Андрюшка»? Как его повторила?

Повторила так, что Онежка не могла уже Рите поверить. Не поверила, насторожилась. Не ошиблась: дальше она не могла уже ни с одним Ритиным словом согласиться... И Онежка спросила себя — кто ей больше всего нравится в экспедиции? Пожалуй, и в самом деле Андрюша. С ним было очень просто — не так, как с Рязанцевым, и тем более не так, как с Лопаревым, которого она почему-то не могла не смущаться... С Андрюшей было очень легко в лесу — он работал, будто удовольствие доставлял и себе и другим.

Онежка даже подумала, что любит Андриюшу. Ей просто было так подумать — она всех любила в экспедиции так же, как дети любят взрослых.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Почти месяц, как работал в долинах Алтая луговой отряд Полины Матвеевны Свиридовой, и больше двух недель на верхней границе леса — отряд Лопарева. А начальник экспедиции, доктор географических наук Константин Владимирович Вершинин, все еще завершал самые неотложные дела в институте.

После того как дела эти остались позади, они показались ему не столь уж важными и неотложными, тем более что некоторые из них все равно пришлось отложить до осени.

Но пока дела цеплялись за него, они словно обладали собственным разумом, хитростью, тактикой и даже стратегией, и все это было направлено к одной цели: как можно дольше задержать профессора Вершинина.

Одна за другой вдруг возникали встречи, которые никак нельзя было отложить, корректуры и подписание трудов к печати, которым у такого плодовитого автора, как профессор Вершинин, никогда не было конца и которые имели свойство обязательно совпадать с теми самыми датами мая, начала, середины и чуть ли не конца июня, какие намечались как самые последние, потом самые крайние, наконец, самые крайние из крайних сроки выезда.

Торопился Вершинин ужасно... Злой был, обеспокоенный своим опозданием, растревоженный заботами о том, что происходит без него в отрядах: если все там плохо, работы сорваны — как наверстать упущенное время; если все хорошо — как объяснить, что хорошо без него, без его руководства?

Каждый год он собирался закончить полевые работы по «Карте растительных ресурсов Горного Алтая» и каждый год убеждался: мало еще материала, и того и другого не хватает, чтобы приступить к окончательной камеральной обработке.

Неужели и в нынешнем году так будет?..

С нетерпением ждал, когда же наконец он увидит Чуйский тракт, знакомые горные вершины.

Он эти вершины столько раз фотографировал, описывал, обследовал и отмечал на картах, что с некоторых пор они стали для него чем-то вроде собственности. Иногда даже появлялось такое ощущение при виде гор и долин, будто в природе все они — вершины, кряжи, хребты, ручьи и реки — существуют лишь внешне, словно в панораме, тогда как подлинный Алтай — с его растительностью, животным миром, геологией, историей и всеми ресурсами — остался у тебя дома в ящиках письменного стола, в картонных папках с рукописями и полевыми дневниками и еще — в напечатанных уже статьях.

Такое ощущение подтверждалось еще и тем обстоятельством, что в середине нашего века ни один ученый, ни одна экспедиция, посетившая Горный Алтай, не могла обойти доктора географических наук Вершинина, не могла не сослаться на него в своих «трудах» и отчетах — ее тотчас обвинили бы в недостаточном изучении литературы об этом крае.

И Вершинин мчался на «газике» проселками, хотя и знал, что окружными, но профилированными дорогами ехать и надежнее, и, пожалуй, даже быстрее; ругался на паромных переправах с шоферами, которые не пропускали его машину без очереди, хотя доподлинно ему было известно, что ругань с этим народом никому еще и никогда не приносила пользы.

Но он спешил в страну, которую мысленно так нередко и называл — «моя страна», «мой Горный Алтай», понимая под этим страну в географическом смысле, которая создала ему репутацию крупного ученого, в то время как другие страны Западной Сибири — Бараба, например, — ему в такой доверии отказали. И вообще ни одна страна для него так много не значила, его так не встречала — ни Шория, ни Кулунда, ни Васюганье, ни верховья Енисея, — как Горный Алтай.

Наконец, в экспедиции ожидала Вершинина встреча с сыном, а вот уже сколько лет Вершинин-старший стремился передать сыну свои знания, вручить ему ключи от этой страны. Сначала он не отдавал себе отчета в своем желании: как-то странно было, что Алтай — и в самом деле, что ли! — его недвижимая собственность, а потом даже стал представлять себе некий торжественный акт вручения сыну чего-то очень важного, чего-то единственного, такого, чем больше никто и никогда на свете не обладал и обладать не будет...

Вот какая страна лежала перед Вершининым-старшим, вот куда он торопился!

А между тем настроение у него было нервное, тревожное, и он думал: почему бы это? Опаздывает? Так, слава богу, не привыкать — редкий год он выезжал в экспедиции вовремя. Переживание каких-то неудач? А каких, спрашивается? Как раз заметных неудач у него в последнее время не было, все шло своим чередом, приблизительно так, как должно было идти, и даже все определеннее намечались радужные перспективы, о которых он хотел рассказать сыну. Неудачи были в прошлом, но и тогда он их не боялся. А теперь что? Камни в печени? Радикулит? Ишиас? Просто приближающееся шестидесятилетие? Нет, он чувствовал, что его организм вошел в норму старшего возраста. Не сразу ему удался такой переход, но все протекло более или менее гладко, болезни были, сердце пошаливало, а потом сердце привыкло к тому, что ему около шестидесяти... И весь организм тоже привык. Наверное, это настроение было чем-то другим, было таким состоянием, когда об одном предмете думаешь сразу и хорошо и плохо, когда хочешь сделать одно, а делаешь другое...

Он вот знал, что ему давным-давно нужно быть в экспедиции, а ехал только теперь... Ехал проселками, хотя трактором надежнее. Водителю своего «газика» то и дело без необходимости выговаривал «под руку», хотя сам водил машину и знал, что этого нельзя делать.

Нехорошее начало... Неужели начало попросту никуда не годное?

Откуда вдруг нет-нет да промелькнет мысль о том, будто все на свете устроено бестолково и только одно существо — ты сам — порядочное и умное? От недостатка ума или от избытка желчи в кишечнике? Потом такие мысли исчезают, и начинаешь думать, будто все в мире идет так, как и должно идти, только единственный болван этого не понимает.

Или все оттого, что состав нынешней экспедиции, и даже не всей, а высокогорного ее отряда, — какой-то необычный: собственный его аспирант Лопарев командует там сейчас, и, конечно, командует не так, как нужно?..

Рязанцев там же...

Когда «газик» забуксовал в овраге, где-то неподалеку от поселка Баюново, а сверху начало накрапывать,

Вершинин в первый раз подумал: «Не из-за Рязанцева ли эта растерянность? И поспешность? И тревога?»

Ни для кого в институте не было секретом, что Вершинин и Рязанцев если не на ножах, то и не без ножей. Но вот однажды Вершинин пригласил Рязанцева с собой в экспедицию.

К слову пришлось. На одном заседании ученого совета Рязанцев что-то такое критиковал, задел и лабораторию Вершинина, и Вершинин бросил реплику в том смысле, что, дескать, чем тут болтать — съездили бы со мной в экспедицию и посмотрели, как и что делается. Хотел припугнуть кабинетного ученого. А тот взял и согласился. Отпуск у него подходил очередной — пожертвовал отпуском.

Тогда-то, кажется, и возникло это тревожное чувство, этот вопрос — хорошо или плохо?

Хорошо, что будет возможность с Рязанцевым поспорить без повестки дня и без протоколов. Плохо, если и тут Рязанцев не изменит своему обычному спокойствию. Официальному спокойствию — иначе Вершинин тон этот назвать не мог.

Хорошо, что в отчете экспедиции, кроме самого Вершинина, будет упоминаться еще одна известная в науке фигура. Бывало, в некоторые годы для участия в своей экспедиции Вершинин привлекал вузовскую профессуру, и тогда отчеты просто сверкали именами. Плохо, если Рязанцев вдруг заговорит таким тоном: «Прошлым летом профессор Вершинин любезно пригласил меня в свою экспедицию, и я имел возможность познакомиться...» Лучший способ распознать противника — идти с ним на сближение. А все-таки...

Хорошо, что в экспедиции будет спокойный, рассудительный человек. Плохо, если этот человек сойдется с Лопаревым, их будет двое, и вдвоем они столкнутся еще с зоологом Реутским, а втроем — с остальной молодежью, и в конце концов они будут все вместе, а начальник будет один. У начальника — собственный сын в экспедиции, и начальник останется один! Каково?!

Хорошо иметь дело с «правильными» людьми, о выступлении которых в ученых советах, в парткомах, на конференциях никто никогда не скажет: «Здорово!», или: «Боевито!», тем более никто не скажет: «Вот так треп!», а все обязательно сойдется на одном: «Правильно!» С теми, о которых никому не придет в голову поставить вопрос по какой угодно линии — профсоюзной,

партийной, бытовой, по линии политического просвещения или по основной работе.

Но как это плохо — жить с таким человеком бок о бок и все время ощущать, что ты никак не согласишься с ним... «Мы с вами не рифмуемся!» — сказал однажды Вершинин Рязанцеву.

С самим собою ты уже давным-давно согласился и срифмовался, согласился, что какой ты есть, таким и должен быть, а этот «правильный» на тебя все еще таращит глаза: «А согласился ли?..» — «Пошел ты к черту!» — отвечаешь ты ему, а между тем еще до встречи с ним, где-нибудь в пути, вот так же, как сегодня, потряхиваясь в «газике», начинаешь, словно в порядке следствия или от лица какого-то начальника отдела кадров, рассматривать свою жизнь.

Событий было много, жизнь была беспокойной, напряженной. Всегда нелегкие задачи, всегда ответственность. Скучать, предаваться меланхолии давно уже было некогда — работа. Захочешь вспомнить ее, жизнь, а в памяти все заслоняет послужной список: с какого года по какой состоял в одной или в другой должности, какие задачи и научные темы решал, под какими названиями, в каких издательствах и какого объема в печатных листах публиковал свои труды (форма по учету научных кадров № 2) и, наконец, когда и какие ученые советы присваивали тебе ученые степени и звания, а ВАК их утверждала...

И не протестуешь, нет. «В целом» резолюция принимается, поправки вносятся совсем незначительные... Время существенных поправок давно уже минуло. Теперь достигнуть бы в трудах своих несколько большего, чем достиг, чтобы труды были отмечены справедливым признанием, и тогда уже надобность в поправках отпадет окончательно.

Достигнуть звания члена-корреспондента «большой» академии.

Все эти сельскохозяйственные, медицинские, педагогические, все узкоколейные, фельдшерские академии раз и навсегда остались бы позади, действительное членство в АН СССР — тоже раз и навсегда — впереди... И все. Больше никаких поправок к «целому».

Но тут упрек. Если бы, предположим, упрекала тебя очень красивая женщина, упрекала в том, что ты прошел мимо счастья, не разглядел его, — это было бы и понятно, и даже логично. А то ведь пристальным-

пристальным взглядом глядит на тебя точно такой же трудяга от науки, как ты сам, только ниже степенями и званиями, да еще «правильный»!

Нет, право, найти бы такой повод, чтобы послать его к черту, и не просто так, слова ради, а к черту всерьез, раз и навсегда.

Не выходит!

И не выйдет... Потому что этот «правильный» Рязанцев — не очень общительный — обладает свойством всегда быть с кем-нибудь. По большей части молчаливо он заинтересован кем-то, ничуть не скрывая пристального внимания то к одному, то к другому человеку. И многие не только не чувствуют от такого внимания ни малейшей неловкости, но еще и платят ему тем же — начинают интересоваться им самим.

Так случилось, и нередко, с людьми, которые к Рязанцеву, казалось бы, совершенно никакого отношения не имеют, а к Вершинину имеют непосредственное отношение.

Послать к черту Рязанцева — не задача, предлог всегда найдется, а как после этого посмотрит на тебя собственный сын? Как это ему объяснишь? Почему бы это — официальным тоном или между прочим, не только пожилой человек, профессор, обязательно должен будет объяснить свой поступок сыну, двадцатилетнему мальчишке, шилишперу?!

Из всех рассуждений о том, почему «правильный» человек Рязанцев в экспедиции хорош и почему он там плох, какие Вершинину приходили в голову, самым главным было, конечно, рассуждение о том, что все они будут там вместе, все подружатся, а он будет один. «У начальника собственный сын в экспедиции, и он будет один! Каково?»

Вершинин за какие-нибудь сто километров, которые он проехал ужасно скверной дорогой от молодого, разбросанного и нескладного городка Чесноковска до старинного и тихого села Буланихи, несколько раз привел эту цитату из самого себя, и заключительное слово «каково?» всякий раз повергало его в недоумение.

А ведь стоит появиться одному недоумению, как за ним появятся и другие. Им все равно, откуда появляться, недоумениям, — из будущего, которое еще не пришло, или из прошлого, которое, кажется, уже давным-давно забыто...

Около тридцати лет назад Вершинин женился в первый раз, женился по любви, и вдруг — недоумение: брак распался. Оказалось — ошибка, не то, совсем-совсем не то. Женился снова. На этот раз с супругой сложились добрые отношения и очень ровные чувства, а когда уже через много лет задумался: почему так? — оказалось, что и к этой женщине никаких чувств у него не было. «Ну и что же, — сказал он себе, — хорошее отношение к хорошей женщине — весьма положительный стандарт нашего времени. Не хуже, а гораздо лучше, чем у многих других!»

А что он еще мог тогда сказать? Что горячую и к тому же семейную любовь создали романисты специально для нужд своей профессии, чтобы затем было что испровергать на глазах читателей? Он не любил романы с «воздыхательным материалом».

О своих же семейных отношениях говорил, что они сложились «положительно». Спрашивал его кто-нибудь: «Ну, как семейные дела?», имея в виду отношения его с женой, он так и отвечал: «Положительно!»

Тем самым недоумение рассеивалось еще до того, как оно могло бы возникнуть.

Зато другое тут же возникло: дети.

Дети были единственной логикой и единственной правдой любви. Но это вовсе не значило, будто дети не вызывали разочарований и недоумений. Скорее наоборот — подлинные разочарования и недоумения тут-то и возникали.

Детей было трое.

Старший сын был назван Орионом. И действительно, парень выдался недурен собою, рос богатырем, делая успехи в спорте, и этого было более чем достаточно для того, чтобы отец угадывал в нем будущую звезду первой величины.

Но лет шестнадцати Орион вдруг увлекся детективами, увлечение это вопреки отцовским надеждам привело его в училище пограничной службы.

Теперь, окончив училище, он преследовал нарушителей на южных рубежах страны, а когда приезжал в отпуск домой, немало радовал «батьку»: без конца смеялся, ел-пил за троих, никак не мог надивиться отцовской учености и, должно быть, потому в присутствии отца становился словно старше, отец же чувствовал себя младше, иногда даже каким-то странно молодым.

Вообще встречи с Орионом приносили отцу неизвестные прежде ощущения.

Встречи были всегда желанными, причем Вершинин-отец на какое-то время вдруг переставал узнавать себя. Все во время этих встреч исчезало: проблемы науки, тематики, программы и методики, и, что особенно его поражало, — вся сложность его отношений с людьми ученого мира переставала для него существовать. Он целиком погружался в другой мир, из которого являлся Орион, и затаив дыхание слушал о том, как в течение суток сын по пятам преследовал нарушителя, как на спортивных соревнованиях военного округа он в третьей попытке завоевал первенство по тройному прыжку в длину с разбега.

Сначала приходило к Вершинину-старшему никогда в жизни так остро не переживаемое чувство спортивного азарта и спортивной чести, потом он сам входил в эту жизнь, где все было подчинено откровенному желанию победы, где быть сильнее — значило быть лучше, быть умнее, быть достойнее, быть красивее своего противника. Вершинин понимал, что и у Ориона, помимо спорта, есть еще другая жизнь — более сложная, более тревожная, что и у него отношения с людьми основаны не только на спортивных победах и поражениях, но еще и на чувствах и на взглядах, но странно — между ними разговоры возникали лишь в пределах этого круга: кто кого и при каких обстоятельствах победил. И Вершинин припоминал свои былые, еще студенческие достижения в велосипедных гонках на длинные дистанции, а себя — таким человеком, которого никогда в жизни наука не увлекала и даже не манила, который попросту совершенно ничего о науке не знал.

Никогда он таким человеком не был, но так действовал на него старший сын — и неожиданно, и радостно, и в то же время не вселяя никаких надежд и устремлений. Сын приносил ощущение молодости, но какой-то первобытной. Вершинину же отцу в его возрасте, должно быть, нужно было омоложение, а не сама молодость.

Орион уезжал, и Вершинин-старший тотчас чувствовал, что сын уехал вовремя: пора было возвращаться к науке, к самому себе.

Грустно становилось, обидно за себя, за то, что стареешь, за то, что так долго верил, будто твой сын — это ты сам.

Второй родилась девочка. Ее Вершинин назвал Вегой. Но Вега совсем ничем не блистала, долгое время была в семье незаметной и незаметно росла, тем более что сначала детство ее совпало с военными годами, потом с годами, когда отец был в продолжительных поездках с экспедициями и, наконец, когда он усиленно работал над докторской диссертацией.

Дочь стала взрослой неожиданно для отца и оказалась крупной девицей, иногда веселой, а чаще спокойной, по-женски деловитой. Нынче она перешла на последний курс медицинского института.

С матерью Вега дружила, к отцу же относилась снисходительно, никогда не вникая ни в его дела, ни в настроения.

Конечно, это была не мужская снисходительность сильного к слабому и не детская, когда ребенок прощает взрослому какую-то обиду; снисходительность дочери была непоколебимой уверенностью в том, что отец никогда ее не поймет и требовать, ждать от него хотя бы капли понимания бесполезно.

А понимать-то, собственно, было нечего: девчонка как девчонка, училась с троек на четверки, бегала на танцульки, выбирала специальность, чтобы было не очень трудно и не очень неинтересно.

Он это знал и все-таки баловал дочку. На нее нельзя было возлагать никаких надежд, кроме одной: желать, чтобы она была счастлива доступным ей счастьем. Он этого и желал ей. Иногда думал: а вдруг в снисходительности дочери скрывается подлинное отношение к нему жены? Даже наверное так. Ну что же, он и тут не обижался. Думал, что, может быть, высокомерие Веги когда-нибудь оправдается. Что и в самом деле в ней откроется что-то такое, чего он не сумел в ней разглядеть. «Кто знает, — думал он, — что будет, если не разрушать в ней ее заблуждений, как разрушают романисты созданную ими же любовь? Кто знает? А если...»

И вот был еще сын Андрей.

Собственно, он тоже не Андреем был назван, а Цезарем, но когда получал паспорт, каким-то образом — каким именно, отец и до сих пор не знал — ухитрился переменить имя.

Впервые Андрей отправился с отцом в экспедицию еще Цезарем, в двенадцать лет. Рановато было путешествовать мальчишке, все боялись, что он будет мешать, но Цезарь просил, умолял, начиная чуть ли не

с восьмилетнего возраста, в конце концов забрался в экспедиционную машину, и отец скрепя сердце уступил. А потом эту поездку ставил сыну в заслугу — так хорошо мальчонка себя вел, научился кашеварить, разбивать палатки, собирать гербарии. Отец, хваля Цезаря, и себя не забывал, и о себе рассказывал, как он смело, как уверенно сына воспитывает. Цезарь улыбался. Дети все замечают, они не могут чего-нибудь не заметить, ради того чтобы простить. С тех пор не проходило года, чтобы в каникулы Андрюха-Цезарь не отправился то ли с отцом, то ли с кем-нибудь из его сотрудников, наконец, просто с туристами в заманчивые края: бывал он и на Алтае, и в Саянах, и даже один раз был в Монголии.

Вершинин-отец долго не верил, а еще дольше старался не верить, что Андрей оправдывает его надежды — и те, которые он возлагал на Ориона, и те, о которых не смел и думать, когда родилась Вега, и те, наконец, с которыми было связано появление на свет последнего ребенка — в прошлом Цезаря, ныне Андрея.

Андрей же рос и рос, и казалось, делал это так, чтобы окончательно рассеять все сомнения отца.

Когда же сомнения рассеялись окончательно, без остатка, и отец уверовал в него, Андрей вдруг стал совершать поступки, которые не хотел хоть как-то отцу объяснить, отец же не мог понять их сам.

Впервые Андрей привел отца в полное замешательство три с лишним года тому назад. Окончив школу, он отправился поступать в университет с письмом отца к декану географического факультета. Сдал экзамены. Поступил. А когда приехал в зимние каникулы домой, выяснилось, что поступил и учится не на географическом, а на биолого-почвенном факультете.

— Ты что же это, Андрей! — только и мог сказать отец. — Посоветоваться, во всяком случае, нужно было! Написать!

— А зачем?

— То есть как зачем? Я же тебе как-никак отец...

— Это дело другое. А зачем советовать? Какой смысл?

— Выслушать мое мнение... Совет отца.

— А что бы изменилось, как ты думаешь?

— Так-таки ничего?! Совершенно?!

— Совершенно ничего.

Вот он какой вырос, Андрюха-Цезарь! Откуда само-надеянность? Хамство откуда? В кого вырос, шилишпер? Вот он каким является, Андрюха-Цезарь. «Является» — становится новым, незнакомым до сих пор явлением и требует каких-то поправок к твоему существованию. Требует каких-то объяснений. Когда тебе около шестидесяти, а ему — двадцать.

Он упрямый, грубый, а ты не его упрекаешь, а себя, потому что он и ты — это что-то настолько близкое, ближе чего ничего нет и не может быть. Подумать только — его ревнуешь! К нескольким университетским профессорам, которые учили Андрея хуже, чем он сам мог бы его учить, ревновал. К тем, которые повинны были в том, что Андрей учится не на географическом, а на биолого-почвенном факультете, тоже... И вот еще один человек — Рязанцев!

Когда Вершинин приглашал Рязанцева с собой в экспедицию, он и не подумал, что этот человек неизбежно встретится там с Андреем, что они могут даже в одной палатке поселиться. Вот так и бывает, что самое очевидное вовремя не приходит в голову!

Совсем несложным делом было для Вершинина-старшего объяснять людям вещи, иной раз такие, о которых он сам имел весьма отдаленное представление. Другое дело — объяснять и себе и сыну собственные поступки и намерения, свою неуверенность и даже робость! Или передать ему ключи от того богатства, которое называется познанием природы Горного Алтая! Как это сделать? Вершинин-старший уже не раз репетировал предстоящий разговор — в кабинете, а иногда в горах, в поле, размахивая палкой и сорвав с головы шляпу. Каждая репетиция, куда он ее проводил, казалась генеральной, но уже на следующий день было очевидно, что она не имеет никакого значения.

Уже и «подход» к сыну был: они не в первой экспедиции путешествовали вместе, им было что вспомнить, а от воспоминаний до заветного разговора — один шаг. «Подход» был, разговора все не было. Все казалось, будто шилишпер знает об отце что-то такое, чего отец сам о себе не знает и сказать не может.

Теперь своими руками создал такую экспедицию, пригласил в нее таких людей, которые не моргнув глазом возьмут и сделают тебя одиноким. Каково?

Как это в свое время не пришло в голову, что Рязанцев с его неизменным вопросительным знаком во взгляде

де, в ответ на который всегда хочется сказать: «А, поди ты к черту!» — и Андруха, который ничего у тебя не спрашивает, а тебе страшно хочется все рассказать ему, все объяснить, — что они двое могут просто и быстро найти между собой что-то очень общее и очень близкое?!

И пожалуй, тем скорее они найдут это общее, чем раньше Вершинин приедет в экспедицию. Совершенно просто: без него они друг друга не узнают, но как только он появится, они посмотрят на него, потом друг на друга и тут же еще раз познакомятся.

В конце концов не знаешь: торопиться тебе или нет?

В последние годы, не так уж, правда, часто, зато все сильнее подступало желание быть успокоенным. А что такое успокоение? Это не тишина, и не домашний уют, и не положительный отзыв о тебе в рецензии какого-то крупного ученого, столпа науки. Должно быть, успокоение — это когда наступает и тишина, и уют, и появляется положительная рецензия, и еще многое-многое другое, но только все сбывается не само по себе, не из чужих рук ты все получаешь, а собственными усилиями. Тут есть и некоторая хитрость перед самим собой — в том, как ты себя убеждаешь, будто сам добился того, о чем мечтал.

Были у Вершинина знакомства, которые успокоение создавали.

Вот уже несколько лет, как он близко сошелся с краеведами городка Н. и мог бы многое рассказать о своих друзьях... Если бы кто-нибудь о них спрашивал. Если бы сведения о краеведах отдельным пунктом включались в ежегодные научные отчеты.

Были разные люди среди краеведов в городке Н.

Пионеры и пионервожатые, совершающие походы к истокам ручьев и рек, к местам стоянок древнего человека и к памятным местам времен гражданской войны.

Учителя географии и биологии, создавшие в школах «уголки природы» и «живые уголки», с белками, зайцами, ужами и ежами.

Преподаватели педучилища и пединститута, увязывающие курсы своих лекций с жизнью.

Пенсионеры, увязывающие остатки своей жизни с событиями времени.

Для ведения широких собраний дважды в месяц по воскресным дням с десяти утра до часа-двух дня; для переговоров с заместителем председателя горисполкома

по вопросам расширения музейных помещений, издания печатных трудов тиражами до двухсот экземпляров; для представительства в Географическом обществе — краеведы путем открытого и прямого голосования выбирали руководство: единственного в городе профессора или заслуженного учителя, а при наличии вполне добровольного согласия — самого зампредгорисполкома.

Все обретают любовь к краеведению одинаковым образом: великое или малое, но что-то стремятся открыть вокруг себя.

Все, кто уходит из краеведения, уходят разными путями. Как во всякой любви: любят по одной-единственной причине — потому что любят; для того чтобы разлюбить, причинам нет конца.

И пионеры, совершив три похода в истоки рек и к памятным местам, подрастали, поступали в вузы, назначали друг другу встречи у кино и театров, забывая о том, что как раз в этот час в Обществе краеведов обсуждается план работы.

Учителя географии и биологии «уголком природы» и «живым уголком» вдруг начинали предпочитать уголки семейные.

Преподаватели пединститута обзаводились учеными степенями кандидатов, званиями доцентов, и опасности отрыва от жизни переставали их устрашать.

Только одна категория краеведов в городе Н. — пенсионеры — до последнего дыхания оставалась верной обществу, не уставая любоваться своим краем: его изумительным прошлым, его грандиозным настоящим, его исключительным будущим.

Пенсионеры... Чудаки, наивные люди выдумывают себе дело, если уж дело обходится без них... «Тыбики», к которым жены, сыновья и дочери, а вслед за ними и внучата то и дело обращаются со словами: «ты бы сходил...», «ты бы присмотрел...», «ты бы посмотрел...». Ограниченность. Наивность.

Но так мог подумать о краеведах кто-нибудь, только не Вершинин, только не он! Упаси бог!

Вершинин был к ним внимателен, и старики краеведы с ним переписывались — по одной ученической тетрадке за прием, — и ответов ждали тоже пространных, главное же — в ответах нельзя было допустить ни малейших противоречий и неувязок со всей предшествующей перепиской. Говорят: «Память стариковская!» Он-

то знал, что за память у стариков. У стариков краеведов-пенсионеров!

Бывает, что человек, всю жизнь не очень внимательный к людям, торопливый в отношениях с ними, вдруг почему-то — почему бы это? — приостановится, задумается и увидит другого человека так, как никто его не видит.

Да, планы у стариков краеведов в городке Н. были невелики, ограничены. Но счастье — не граница ли это стремлений и желаний? Сам Вершинин никогда этой границы не достигал.

Старики, многие из которых знавали Вершинина десятилетиями, никогда и ни в чем его не упрекали. У них был неписанный закон — не вспоминать о живых плохо, так же как не вспоминают плохо об умерших. Вместо упреков кому-нибудь они лишь о чем-нибудь сожалели: «Как жаль, что в тысяча девятьсот тридцать первом году так и не была организована комплексная экспедиция в Горный Алтай! А ведь тогда почти все уже было подготовлено к ней!» или: «К сожалению, в свое время была отвергнута гипотеза, которая нынче полностью подтвердилась». События были для них радостными и безрадостными, виновных не было.

Вершинина они награждали не только доверием, но и любовью. А он к любви с возрастом стал человеком требовательным, чутким, хорошо знал, за что и как его следует любить и уважать, чувствовал, что прежде, когда он был молод, люди были к нему куда более справедливы.

Было время — он закончил университет почти одновременно по двум факультетам. Все это оценили тогда, и он пережил уважение и любовь к себе сверстников, сверстниц, преподавателей и профессоров.

И первые научные доклады, первые труды его тоже были встречены с любовью и с должным уважением.

А потом люди как будто раз и навсегда привыкли к тому, что Вершинин на каждом шагу должен быть оригинален. Это его возмутило: он не подозревал, что даже оригинальность может восприниматься людьми в силу привычки.

Но возмущение, которое затем всю жизнь ему приходилось подавлять в себе, совершенно исчезало при встречах с краеведами в городке Н. Он был для них авторитетом и еще — эрудитом.

Эрудит! Вершинин им был, но, если несколько дней сряду никто не говорил ему об этом, туго приходилось его лаборантам, и у самого Вершинина начинались боли в области сердца.

Когда же его критиковали в институте или жена высказывала недовольство, воображение тотчас уносило его в городок Н.

И когда теперь обо всем этом Вершинин вспомнил, он вдруг сказал себе: «Заеду! Заеду к своим друзьям, иначе я обижу их до глубины души. На сутки заеду! Может быть, даже на несколько часов!» Правда, он еще сомневался — так ему было некогда, — но, сомневаясь, все-таки послал с пути телеграмму:

«Буду завтра трем дня проездом Алтай особых мероприятий не намечайте крайне тороплюсь профессор Вершинин».

Идут мимо городка Н. машины в далекие рейсы — в Монголию, в Кобдо — и возвращаются оттуда, овеванные ветрами сказочных перевалов, Чуйской и Курайской степей.

Идут мимо экспедиции геологов в поисках новых сокровищ, художники — в поисках новых красок, туристы — в поисках новых впечатлений.

Все минуют городок Н., все несут через него свои надежды, всех влекут к себе голубые вершины, как будто вершины эти лишь вчера возникли на земле и щедро всем обещают первооткрытия.

И кажется краеведам в городке Н., будто только они одни хранят историю голубой страны, память об экспедициях Сапожникова, Обручева, Келлера, Верещагина, Крылова на рубеже нынешнего века, будто им одним доверены имена исследователей века восемнадцатого — Палласа, Шангина.

Остановиться бы краеведам в городке Н. на этой роли хранителей истории, но и они тоже начинали мечтать об открытиях, а Вершинин и тут обещал помочь.

И они не обманули ожиданий Вершинина — успели поместить в городской газете сообщение о внеочередном, почти торжественном заседании общества в связи с его приездом, прослушали его доклад «О задачах краеведения в свете проблем семилетнего плана». Какие у них были благодарные глаза, когда они слушали доклад! Потом они обсуждали план работы на семилетие.

Этот вид деятельности — обсуждение планов — всегда возбуждал Вершинина до предела, а тут еще высту-

пил краевед-ботаник Бурцев, тот самый, что уже тридцать лет вопреки утверждениям агрономов-малOVERОВ выращивал на своем огороде люфу¹ на мочалку.

Бурцев внес предложение — в связи с большими задачами краеведения в городке Н. подразделить общество на секции: ботанико-зоологическую, геолого-минералогическую, историко-археологическую, природных ресурсов и секцию по работе с пионерами и школьниками.

Милые, дорогие старики-краеведы городка Н.! Всеми чистыми помыслами своими, всей душой они стремились приобщиться к великому семилетию, свидетелями которого до конца — увы! — им далеко не всем предстояло быть!

На Вершинина же дискуссии и споры о перестройке, о разделении на секции и подсекции, о слиянии в отделы и подотделы, о комплексировании и координации действовали так, что после них он чувствовал себя словно после нарзанных ванн.

А сразу после заключительной речи он вышел из музея, сел в «газик» и тогда уже окончательно отбыл в Горный Алтай — тоже на глазах краеведов, преисполненных к нему благоговейных чувств.

Ну вот и успокоение! Теперь он был в форме для предстоящего разговора с сыном! Теперь трудное это дело он решит! Конечно, об энских краеведах Андрюхе-Цезарю ни слова, хотя и нелегко промолчать. Андрюха их не ценит. Уже взрослым парнем, года два тому назад, он побывал с отцом на одном заседании энского краеведческого общества и, покуда заседание шло, ни на минуту не отрывался от «Собаки Баскервилей». Бурцев начал и кончил доклад о возделывании люфы на мочалку в условиях Н. — Андрюха все читал. Прежде он, кажется, никогда не увлекался Конан-Дойлем и на вопрос отца: «Ты что же это, Андрей?» — пожал плечами: «Надо же мне с этой самой собакой когда-нибудь познакомиться?»

Из городка Н. Вершинин мчался на «газике» больше суток, плохая погода ничуть не смущала его. Плохая погода даже к лучшему — будет время не торопясь поговорить с Андреем. Когда же вдруг проглянуло солнце и почувствовалось сразу, что ненастью пришел конец, а спустя несколько часов знакомые вершины засияли

¹ Люфа — южное растение семейства тыквенных.

ему, он подумал, что и это хорошо, это даже лучше — определенно «на руку»!

Палатки отряда он заметил вблизи села Усть-Чара. Три в ряд входом на восток. От палаток, должно быть, открывался неплохой вид.

«Андрюхина установка, — подумал Вершинин. — Андрюха любит такие места выбирать под табор!»

Велел шоферу остановиться:

— Надо одну знакомую лиственничную куртинку обследовать...

Отошел от дороги в сторону. Прислонился к огромному стволу.

Лес просыпался после долгой туманной дремы, после ненастья. Подроста в лесу совсем не видно, деревья стояли в один ярус — это был такой лес, который называется естественным парковым насаждением лиственницы сибирской. Когда-нибудь давно, лет, может быть, сто пятьдесят — двести тому назад, он принялся по гарри. Гарь возникла от костра кочевника, а еще вернее — от молнии. Лес был строевой, диаметр стволов на уровне груди сорок пять — пятьдесят сантиметров. Склон — южной, благоприятной для произрастания леса экспозиции. Растительный покров — разнотравный, из цветов заметнее всего желтые адонисы. В лесу этом давно уже не было борьбы между породами, внутривидовой борьбы между разными поколениями лиственниц, между травянистыми растительными сообществами — все здесь устоялось за полтора-два века, уравнилось. Ни кустарники, ни древесная молодь не вступали сюда, под тень огромных крон, травы и дернина заглушали тут все семена. Лиственницы были могучи, спокойны, тихи... Они как бы все еще отдыхали от давней борьбы за существование на этом пологом и солнечном склоне, прислушивались к завоеванному ими спокойствию следующего века, а может быть, и следующего за следующим...

Травы были ровные-ровные, повсюду только чуть выше колен, совсем не зеленые, а какие-то прозрачные на солнце и сизые, с лиловыми оттенками цветущих злаковых повсюду, куда деревья бросали тени... Очень влажными были травы, и даже не росные, а все погруженные в прозрачный пар. Прохлада слегка колеблющегося пара обволокла Вершинину ноги и пахнула ему в лицо.

«Ну вот, Андрюха, — не то подумал, не то прошептал тихо Вершинин. — Вот и я! Здорово!»

«Здорово, отец!»

«А я, Андрюха, спешил... соскучился что-то, парень. Давно хотел тебе сказать...»

«Так что же молчал до сих пор?»

«Будешь старше — узнаешь, что такое время, как его не хватает. Как не входит, не укладывается жизнь в то время, которое ей отводится. Как начинаешь поспешно ее в это время втискивать...»

«И нынче — не хватает?!»

«Нынче могу говорить... Никуда я, Андрюха-Цезарь, нынче не тороплюсь. Поговорим...»

«Слушаю тебя, батя. Поговорим...»

И в самом деле — зачем люди вечно торопятся?.. Едва человек научится думать, как уже торопится.

Тут солнце сильно припекло и блеснуло в самые глаза, так что Вершинин невольно и надолго зажмурился. Откуда такой яркий свет, если он стоит в тени?

Взглянул на часы — не может быть: больше часа простоял здесь, в естественном листовничном насаждении.

Вышел на дорогу, машины нигде не видно. Неужели шофер без него уехал к палаткам? Кто ему разрешил?

Но машина была здесь, между двух огромных придорожных кустов — не сразу ее заметишь, а водитель, расстелив на земле плащ, крепко спал, подложив под кудлатую голову кулак... Как-никак ночь провел за баранкой.

Разбудил шофера.

— Ты что же, друг! Торопиться надо! Осталось-то каких-нибудь полкилометра, там и отдохнем! Отдохнем на славу!

Подъехали к лагерю.

Первым вступил в разговор с начальником Лопарев — объяснил, что сегодня отряд не выходит на работу, так как в лесу после ненастья очень сыро, спросил, как Вершинин доехал, когда он захочет поговорить о делах «с толком». Разговаривая, Лопарев надвинул свой кожаный картуз на лоб.

— Успеем! — ответил Михмиху Вершинин. — Не беспокойтесь, успеем! — Ответил добродушно.

Реутский был очень вежлив. Вежливость понравилась обоим.

На Онежку Вершинин взглянул между прочим.

Рита испытывала неловкость перед начальником: она была в брюках, в сапогах, в пестрой ковбойке и белой шляпе с кисточками на полях и смутилась, но чуть-чуть, едва заметно. А Вершинин-старший это заметил и усмехнулся. Тогда Рита вытаращила на него свои огромные черные глаза и смутила его. Вершинин спросил:

— А где же Николай Иванович? Где отпускник наш?

Рязанцев числился в отпуске, но путешествовал с экспедицией, это обстоятельство нужно было отметить при всех.

— Ушел в деревню! — ответил ему Лопарев. — Кажется, во-он на плотине что-то делает, отсюда не видать толком...

Вершинин открыл футляр, вскинул к глазам бинокль. Смотрел долго и внимательно.

— Там!.. И не один. Толстяк какой-то рядом, в белых штанах, и еще кто-то третий.

Про себя решил: «С районным начальством Рязанцев знакомство сводит. Прыткий, оказывается!»

Но вот наконец вышел из палатки Андрей.

— Здравóво, батя!

— Здравствуй! — Вершинин протянул руку. — Значит, в форме?

— Вроде бы... — Андрей был загорелый, сильный, уверенный. Рюкзак за плечи — и пойдет шагать по горам без устали, и пойдет...

— С кем же ты в палатке живешь? С Рязанцевым?

— С Реутским гнездовался, а нынче — с Лопаревым. С Михаилом Михайловичем...

— Так, так...

Андрей спросил о матери, о сестре, есть ли письма от брата. Вершинин-старший отвечал односложно: «Здоровы. Все в порядке».

Ответил, прошелся вдоль палаток раз-другой. Андрей же все стоял в позе, очень похожей на лопаревскую: руки за спину, шляпа на лбу. Ждал, что еще скажет отец.

Вершинин-старший поравнялся с сыном, остановился, качнулся взад-вперед на каблуках, махнул палкой.

— Ну, Андрюха, а твой батька, твой старый Тарас

Бульба, очень может быть, члена-корреспондента зарабатывает. Шансы возросли. И еще возрастут, пока он тут по Алтаю лазает. — Жестом пригласил сына продолжать беседу.

— А ты, батя, у краеведов был?

Они внимательно посмотрели друг на друга. Вершинин-старший ответил:

— Был...

— Краеведа Бурцева о возделывании люфы на мочалку слушал?

— Слушал...

— И о планах краеведческого общества сам речь толкнул... Каждый год одно и то же...

— Но ты же бываешь в Н. не каждый год?

— Потому и не бываю, что...

— Чем тебе мешают люди-краеведы? Чем, спрашивается? Старики, милые люди. Увлеченные. Ты со своим молодым и жестоким эгоизмом сначала сам достигни чего-нибудь, а тогда поймешь, что и они приносят пользу!

— И результаты приносят?

— Так вот и надо им помочь! Должны же мы оказывать помощь неофициальной науке?

— Когда есть время, ну хотя бы на обратном пути из экспедиции...

«Так я и знал! — подумал Вершинин-старший. — Так и предчувствовал: говорит точь-в-точь, как Лопарев. Его словами. Значит, нашли общий язык!»

— Слушай, Андрей, а ты будешь рад за отца, если ему присвоят члена-корреспондента? Если — вдруг?

— Нынче — не буду. Нынче — нет.

— Д-да... — сказал Вершинин-старший. — Ну, не беспокойся: мне его и не присвоят, этого звания. Не беспокойся!

Вершинин-старший несколько раз прошелся вдоль палаток, все убыстряя и убыстряя шаг. Подбежал к «газику», дернул шофера за рукав.

— Едем сейчас же в луговой отряд! К Свиридовой! Сначала туда! Дней на пять едем!

Вершинин-старший вернулся в отряд Лопарева через два дня.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Жизнь в экспедиции шла своим собственным, присущим ей порядком.

Вершинин-старший делил время между двумя отрядами — луговым, который обследовал нижнюю границу леса, и высокогорным, но всякий раз, как высокогорный отряд, закончив работу в одном месте, переезжал на другое, он обязательно был с ним. Любил двигаться, перемещаться. Очень любил выбирать места стоянки.

Где-нибудь метров за двести-триста до верхней границы леса, на поляне, становился в позу, вытягивал руку в белой брезентовой рукавице, с огромной дубиной, и произносил:

— Здесь!

— Здесь будет город заложен! — вполголоса говорил Андрей, оглядываясь кругом, потягивал носом воздух и определял: — Палатки лицом сюда.

Четыре палатки разбивали в ряд, входом в ту сторону, куда показывал Андрей.

Все было кругом чужим и незнакомым всего лишь час или два, не больше. А потом каждый кустик, каждый камень вблизи лагеря приобретал свое назначение.

Среди камней на берегу ручья появлялся один такой, с которого неизменно черпали воду; ниже по течению каждый выбирал себе камень, чтобы с него можно было удобно умываться, чтобы была на нем ложбинка для мыла и зубной щетки.

Деревья и кусты так же быстро становились предметами «домашнего» обихода: на одном развешивали после стирки свои вещички девушки, на другом — мужчины, под ветвями какой-нибудь старой большой лиственницы устраивался «склад» рабочего инструмента — лопат, пил, топоров.

Разводили костер, размещались вокруг него один раз, и вот уже каждый знал свое место «за столом».

Лопарев-Михмих упорно называл лагерь станом. Это встречало бурю протестов со стороны Вершинина-старшего.

— Долго ли еще я должен объяснять, — горячился Вершинин и вздымал кверху одну, а то и обе руки, — что стан — это нечто стационарное, постоянное. Стан предполагает наличие пусть небольшой, но постоянной избушки, землянки или хотя бы постоянных кольев для натягивания палаток! Нельзя, неправильно, ошибочно

называть наш лагерь станом! Недопустимо! У нас кочующий лагерь, мы никогда не возвращаемся и не возвратимся на прежнее место второй раз, мы живем лагерем на одном месте не более шести-семи дней, и все это, вместе взятое, заставляет называть наш лагерь табором. Та-бор! Неужели непонятно? Поражаюсь!

— Правильно, правильно! — кивал головой невозмутимый Михмих. — Где остановились, там и стан! Точно!

Если Вершинин-старший был в отряде, он просыпался раньше всех и объявлял подъем, оглашая лес скрипучим, но очень громким голосом.

Завтракали, а потом выходили на работу тоже по команде Вершинина. Вершинин утверждал, что весь личный состав экспедиции — полевые работники, поэтому выход на работу — это выход в поле.

Лопарев же назло говорил: «Выходим в лес!»

Перерывы на обед тоже обозначались по-разному: Рязанцев так и говорил — «перерыв», Вершинин объявлял «шабаш», Лопарев — «перекур», «заправка».

Эклиметром и рулеткой в лесу разбивали две делянки, сто на сто метров каждая, — одну на верхней границе леса, другую в самом лесу, метров на двести ниже, — а потом в течение нескольких дней на этих делянках проводилось детальное обследование. Полученные данные сравнивались, и тогда возникала картина всех тех изменений, которые лес претерпевал на верхней границе.

В своей «Карте растительных ресурсов Горного Алтая» Вершинин обязательно хотел учесть так называемую вертикальную зональность — изменение растительного покрова с высотой. Ему нужно было получить не только данные по распространению различных древесных пород, но и качественную их оценку.

Лопарев при этом больше всего обращал внимание на лиственницу, самую распространенную древесную породу на Алтае, — что с ней происходит, как она переносит суровые условия. Ползучий кедр обычно взбирался по склонам выше. Это было правилом, но иногда встречались исключения — кедр отступал раньше, а лиственница еще продолжала ползти вверх.

Лопарев тогда радовался.

В лесу Лопарев работал шумно, по-медвежьи, его издали было слышно: все вокруг него трещало и гудело. Стоило ему каким-нибудь деревом заинтересоваться, он

его не задумываясь срубал, будь то трехсотлетний кряж — все равно. Он всегда носил за поясом топор — тяжелый, остро-остро отточенный; топор этот никому больше чем на минуту не уступал, называл его «рабочим», все же остальные топоры были для него «кухонными».

Андрюша составлял геоботаническое описание, используя почвенную карту академика Корабельникова; собирая гербарий, работал сосредоточенно, никого не замечая, так, как если бы на всем Алтае он был совершенно один.

Доктор ставил капканы, в которых десятками набились мыши, и палил по ним из двух своих великолепных ружей — «зауэра» и «тулки». Мыши были его главной добычей. Он так и говорил: «Вот добыл трех!» — и торжественно протягивал собеседнику руку, на которой покоились три пестренских трупика с тонкими, как нити, хвостиками.

Потом под микроскопом он рассматривал содержимое мышинных желудков — ему нужно было установить, что мыши едят, много ли они съедают семян деревьев и какой ущерб наносят лесу. Еще он палил по хищным птицам и тех тоже потрошил: много ли хищники уничтожили мышей? Одним словом, Доктор был занят вопросом: кто, кого и в каком количестве ест?

Вершинин-старший описывал «общую географическую обстановку». Он забирался на какую-нибудь гору, усаживался там поудобнее, пристраивал на коленях дневник, а рядом с собой — бинокль, крупномасштабную карту и записывал:

«12 июля 1960 года. 9.15. Вершина в устье (с правой стороны) ручья Чирик, притока Усулы. Отметка 935,8. Видимость хорошая. Погода безоблачная.

На запад открывается долина реки Усулы, в нижней своей части покрытая смешанным лиственно-хвойным лесом с преобладанием последнего. Пойма реки выражена довольно четко, особенно по левому берегу, где заметны обнажения и оползневые явления. В целом долина ящикообразной формы, относительно прямая. Ширина поймы 100—200 метров, долины — до 0,5 километра. Экспозиция склонов правобережных высотой до 300—350 метров, а левобережных до 400—450 метров, чрезвычайно сильно сказывается на характере не только растительности, но и на внешнем виде обнаженных горных пород. Так, склоны южной экспозиции покрыты

преимущественно травянистой растительностью, значительно поблекшей и высохшей к моменту наблюдений, а из кустарников преобладает карагана Комарова (*S. fruteh*), выступы же гнейса и гранита повсюду несут следы эрозионной деятельности.

Наоборот, склоны северной экспозиции покрыты мхами, брусничником под покровом хвойных, преимущественно лиственницы.

На севере видимость ограничивается одним из отрогов Курайского хребта, на высоте около 2500 метров уже покрытого отдельными снежными пятнами, а выше — сплошной шапкой снегов...»

Писал свои дневники Вершинин-старший необычайно гладко, любил читать их кому-нибудь вслух, все равно кому, но только не Рязанцеву.

Рязанцев сказал однажды:

— Кандидаты искусствоведческих наук тоже читают популярные лекции о живописи Репина! И — Пикассо! И — Ренуара!

Сам Рязанцев измерял температуру воды в ручьях, относительную влажность воздуха и ручным буром брал почвенные пробы на влажность — изучал режим увлажнения лесных почв, глубину залегания и режим оттаивания подпочвенного мерзлотного слоя. Все это не требовало много времени, и он еще помогал Онежке и Рите. Втроем они определяли число деревьев на делянке, их возраст, высоту и состояние, число ветвей на типичных экземплярах, которые назывались «модельными» деревьями и срубались, число шишек на них и среднее число семян в шишке.

Вечера выдавались иногда очень приятные. Как только чувствовалось, что настал такой вечер, затягивали песню, Вершинин-старший рассказывал необыкновенные истории из своей жизни и первым начинал прыгать через костер. Были карманные шахматы, и разыгрывался чемпионат отряда. Пока что лидировал Вершинин-старший и очень этим гордился.

Иногда приходило и грустное настроение, особенно если кто-нибудь прихварывал. Вершинин-старший обычно говорил в таких случаях: «Болезнь надо уметь! Каждый болеет как умеет!», но сам болеть не умел совершенно: как только появлялось у него недомогание, он становился злым, всех ругал, больше всех Андрюшу, терял аппетит и без конца вспоминал, кто из знаменитых ученых в каком возрасте и от чего умер.

Чуть оправившись после недомогания, обязательно рассказывал, что он поехал на Алтай вопреки запретам врачей.

Это было сущей правдой: накануне отъезда экспедиции к Вершинину на работу явилась совсем еще молоденькая женщина-врач и со слезами на глазах стала уговаривать его никуда не ездить. Вершинин отказался, врач призвала всех сотрудников в свидетели.

Теперь Вершинин этим самым свидетелям без конца объяснял, как было дело, — что сказал врач, как он врачу ответил: «Нет и нет! Мой долг быть там!»

Онежка слушала Вершинина-старшего, потом внимательно смотрела на Андрюшу и однажды сказала Рите:

— Вот как бывает — у такого сына и такой отец!

— Вот именно: у такого отца и такой сын! — ответила Рита.

Вершинины отец и сын настолько были непохожи, что, если кому-то нравился один, другой уже не мог нравиться. А Рита хотела невзлюбить Вершинина-младшего, — может быть, еще и поэтому старший казался ей великолепным.

Это Ритино желание во что бы то ни стало самой невзлюбить Андрюшу и заставить Онежку почувствовать ту же неприязнь после ночи, проведенной ими в палатке почти без сна, ощущалось Онежкой все время, и чем дальше, тем больше. Рита не отступала — рано или поздно снова должна была вернуться бессонная ночь, снова между ними должен был возникнуть разговор об Андрюше.

А сможет ли Онежка снова защитить его? Вдруг уступит?! Так хочется дружбы! Так хочется обо всем говорить с подругой! Так нужно спросить у Риты о своей болезни! Со всеми ли это бывает? Умирают от этого или не умирают? Ведь умереть в нынешнее яркое лето — невозможно!

Умываясь из ручья, Онежка всякий раз подолгу рассматривала себя — руки, ноги, лицо, — никак не могла представить, будто в ней что-то больное может быть и скрытое, в то время как все вокруг такое яркое, такое видимое...

Когда боли становились сильнее, Онежка уединялась, ложилась на спину и сквозь кроны деревьев глядела в небо — лучшее средство, которое она знала... Небо успокаивало своей необъятной мудростью, тишиной.

Ласковое, тихое, оно что-то внушало, предупреждало о чем-то, и Онежке казалось, вот-вот она поймет — о чем.

Она умела доверяться природе — небу, деревьям, мохнатым камням, травам. Ей казалось: природа, весь этот мир не позволят себе несправедливо и страшно поступить с нею, не позволят, чтобы она тяжело заболела, чтобы с ней что-нибудь случилось... Не должны. И она старалась не вспоминать, как горько она плакала на Семинском хребте, когда поняла, что даже молодость не спасает от невзгод и от самой смерти.

Но однажды она все-таки решилась: возвращаясь в лагерь, хотела сказать, что нездорова, первому, кто ей встретится. Не жаловаться, не расспрашивать ни о чем, ничего не объяснять — просто нужно было, чтобы кто-нибудь услышал от нее эти слова: «Болит... Нездорова...» Ей казалось — легче и как-то проще станет сразу же, может быть, все пройдет навсегда.

Она заставила себя не угадывать, кто первым встретится. Угадывая, выбирая, она не выбрала бы никого — пусть ей поможет случай.

Встретился Вершинин-старший.

Он стоял один между двумя невысокими кустиками и сосредоточенно рассматривал свою обнаженную до плеча руку.

Всего шагах в двадцати от Вершинина был Рязанцев — он делал отсчет на шкале родникового термометра, под очками щурил глаза.

Онежка захотела подойти к Рязанцеву, заколебалась — шаг вперед, потом назад и встала неподвижно... Так она простояла долго, а потом все-таки решила не нарушать уговора с самой собой — сказать о своей болезни первому, кто ей встретится.

— Константин Владимирович! — проговорила Онежка, придерживая рукой сердце. — Знаете что... Вот что: у меня болит... Одним словом, я больна...

— Где? — вскрикнул Вершинин и взмахнул голой рукой. — Где болит? Что болит? — Он весь вопрошал.

— Желудок... кажется... — сказала Онежка почти шепотом. Ей было страшно неудобно, что профессор Вершинин так встревожен ее жалобой.

— А-а-а! — протянул Вершинин, и вдруг лицо его стало добрым, участливым. — Это пройдет! В два счета! Рита заболела — вот что случилось! Очень сильно! Понимаешь — Рита! И никого не хочет видеть, кроме тебя.

Никого! Хорошо, что ты пораньше вернулась! Беги скорее к ней! Скорее!

Только Онежка откинула полы брезентовой палатки, как почувствовала на лице, на шее прикосновение горячих Ритиных рук — Рита лежала головой к выходу.

— Сядь! Вот тут, рядом! Еще ближе!

У Риты были пунцовые щеки, а глаза еще больше, чем всегда.

В одно мгновение Онежка испытала к ней и жалость, будто к больному ребенку, и увидела ее взрослой женщиной, недостижимо красивой, которая становится еще красивее от того, что ей трудно, она в жару.

Стемнело...

Несколько раз в палатку заглядывал то Рязанцев, то Вершинин, они успокаивали Онежку, говорили, чтобы Онежка не плакала: все обойдется хорошо, Рита скоро выздоровеет, признаков энцефалита у нее нет.

Вершинин-старший волновался больше всех. Его не покидало подозрение, что у Риты энцефалит, хотя для этого и не было, кажется, никаких оснований.

Вершинин-младший тоже подошел один к палатке и спросил:

— Болеешь, Рита?

— А ты, Челкаш?

— Я... нет...

— Тогда давай положим тебя дня на четыре в Чуйские ледники, — может, ты будешь чихать после этого?

— Не буду.

— Ну, по крайней мере, мы о тебе соскучимся за четыре дня.

Андрей подумал и серьезно сказал:

— Вот это может быть.

Постоял и ушел.

Рязанцев излагал свою теорию.

— По данным эпидемиологов, — говорил он, поглядывая из-под стекол очков, в которых трепетал огонек свечи, — по данным многих исследователей, на Алтае не более одного процента клещей являются носителями энцефалита. Значит, только каждый сотый клещ может вызвать заболевание. Самцы клещей вообще безвредны — значит, шансы уменьшаются еще вдвое. Тяжелыми последствиями заболевание заканчивается в половине всех случаев. Значит, вероятность тяжелого исхода составляет всего лишь одну четырехсотую. Против — триста девяносто девять четырехсотых. Если учесть, что

у больной нет рвоты и сильной головной боли — первых признаков болезни, — значит, заболевание энцефалитом почти полностью исключено. Остается еще одно — внимательно осмотреть Риту.

На этот счет Вершининым в отряде был заведен твердый порядок — когда возвращались с работы, он спрашивал каждого:

— Зудится где-нибудь?

— Константин Владимирович, нигде, ничего!

Вершинин вынимал тогда часы-секундомер и требовал:

— Стойте неподвижно одну минуту, слушайте себя: не свербит ли где-нибудь, не зудится ли?

Мало этого было Вершинину — он отправлял мужчин вправо, девушек влево и требовал, чтобы был произведен, как он говорил: «само- и взаимоосмотр»: не впился ли в кого-нибудь клещ?

Михмих процедуре осмотра почему-то дал прозвище «христосования».

Нынче Рита вернулась из леса рано, ее некому было осмотреть, а теперь, с опозданием, все решили, что Онежка должна это сделать.

Онежка дрожала. Боялась: вот сейчас обнаружит на подруге маленькую, чуть кровоточащую ранку, даже не ранку, а просто царапинку и в ней клеща.

И этот ничтожный случай, эта царапинка будет как явственный признак несчастья. Невероятная, жуткая догадка перестанет быть только догадкой, а толковые, умные рассуждения Рязанцева о том, что это не энцефалит, что его не может быть, в одну секунду потеряют всякий смысл.

Не все ли равно будет тогда Рите, что она с ее страшным заболеванием составляет один случай из четырехсот? Не все ли равно ей будет: одна миллионная она или одна пятидесятая?

Рита дышала тяжело, горячая была с головы до кончиков пальцев на ногах, а глаза у нее становились будто еще горячее и горячее, и казалось Онежке, что глазами Рита светит. Освещает себя — свои руки, грудь, ноги, чтобы Онежка лучше видела, чтобы Онежка каждую ничтожную царапинку, каждое пятнышко на ней заметила, не пропустила.

В палатке душно пахло лекарствами, воздух нагрелся — Рита как будто раскаляла его собою, — яркий круг электрического света от фонарика быстро катился туда

и сюда, освещая Риту, и Онежке казалось, что сейчас весь мир здесь, в темной маленькой палатке, в которой даже выпрямиться и вздохнуть глубоко нельзя, а кругом уже нет ни гор, ни людей, ничего.

Матовая, чуть смуглая была Рита, без единой царапинки, без пятнышка...

Онежка выбралась из палатки и сказала:

— Нет ничего. Комариного укуса нет...

— Я же говорил! — тотчас отозвался Вершинин-старший и подбросил хворостинку в костер.

Рязанцев спросил:

— Тщательно осмотрела?

А Реутский промолчал, поднялся и пошел куда-то прочь от палаток, в темноту.

Вершинин-младший лежал на спине, глядел в небо и, не поворачивая головы, сказал:

— Нельзя же по каждому случаю разводить панику! Правда, Онежка? Так и житья не будет!

Онежка с ним согласилась, ей как-то легче стало от этих слов, ей вообще было легко с ним соглашаться. Вернулась в палатку.

Риту знобило. Все, что было теплого — одеяла, куртки, пологи, — Онежка на нее положила. Рита просила что-нибудь ей рассказать, сама же говорила и говорила, не давала вымолвить слова. Все о том, какая Онежка хорошая, добрая, ласковая, нежная, как она ждала ее и как умерла бы через час, если бы не дождалась.

Онежка сначала только слушала Риту, а верить не хотела, а потом стала верить. Растрогалась и где-то уже перед рассветом вдруг почувствовала, как она может любить Риту, как нужна ей ее любовь и дружба, как нужна человеку любовь и дружба другого, очень красивого человека.

Попросила бы Рита умереть вместо нее — Онежка умерла бы. Слезы катились у Онежки, она не знала от чего — от Ритиной или от своей боли, режущей где-то в желудке, справа, но ни за Риту, ни за себя уже не было страха, и ощущение, будто весь мир втиснулся в их палатку, тоже прошло, слышала она и шум леса, и потрескивание костра, и плеск ручьев — их два было поблизости, они как раз около лагеря сливались вместе. Самое страшное, самое жуткое миновало, только что прошло где-то неподалеку. Прошло... А для него ведь все было безразличным — Ритина молодость, ее глаза,

все! Оно прошло и теперь каждую минуту уходило куда-то дальше...

Оно было одной четырехсотой, которую подсчитал Рязанцев.

Онежка была уже мудрой: в тумане, на Семинском хребте, она с четырехсотой встречалась и нынче тотчас ее узнала — холодную, ко всему безразличную.

А Рита ничего не заметила. Рите стало легче.

Онежка знала — сейчас вернется обыкновенная жизнь, и она стала ждать, как это случится.

Вскоре хрипловатый встревоженный голос Реутского спросил:

— Маргарита, ну что с вами сейчас? Как с вами?

Рита улыбнулась радостно и в то же время презрительно, она так умела.

— Оставьте, пожалуйста, меня! Оставьте! Идите и спите!

«Оставьте» она говорила, как будто к ней кто-то прикасался и не так уж ей было это неприятно.

Реутский замолчал, но вдруг деловито заговорил Лопарев:

— Что вы, в самом деле, Доктор, беспокоитесь? За Риту? Ее клещи не кусали! За себя? Тем более. Вы пропахли пороховым дымом в баталиях с мышами, вас клещи не тронут. Они разбираются.

Бренчали ручки — каждый на свой лад и оба вместе.

Теперь должна была снова заговорить Рита. О чем? О том, что ее больше всего в эти дни тревожило.

Рита молчала долго, потом приподнялась на локте, поцеловала Онежку в лоб.

— Милая, хорошая! Но ведь Андрюшка-то плохой! Скверный, неинтересный! Сознайся, ты просто хочешь мне досадить?

Трудно было Онежке ответить, что Андрюша — хороший. Трудно! Но она все равно ответила. Не могла она сказать, что Андрюша плохой, потому что назавтра ей было бы стыдно встретиться с ним. И с самой собой. И с Ритой тоже. Ей просто никого не хотелось бы видеть завтра. Никого!

Если бы Рита умирала сейчас, Онежка могла бы с ней согласиться, но самое страшное — одна четырехсотая — минуло, им предстояло жить обеим, каждый день глядеть друг другу в глаза.

А Рита упорствовала.

— Терпеть его не могу! — шептала она громко. — Ненавижу!

— За что?

— Не мужчина! Убежал в ботанику, убежал под покровительство своего отца! Он должен быть строителем, или горняком, или физиком, а он — ботаник! Скрывается! Ну ладно, я убежала из горного института, а он? Здоровый, сильный и скрывается здесь! Трус!

— А если все это неправда?

— А если бы он был там, в горном институте, я знаю, он прорабатывал бы меня, издевался бы надо мной! Он как раз такой, как все те! Он — из всех! Ты еще очень молода, Онежка, и не знаешь, что такое жизнь, какой она бывает! Не понимаешь этого. Может быть, никогда не поймешь! Андрея защищаешь, а он вовсе не нуждается в твоей защите! Нисколько! Зато издевается надо мной, над всем, что у меня есть!

— Ты, Рита, милая. Ты красивая. Ну зачем тебе еще твои выдумки?

— Ты сказала «красивая»... А знаешь ли ты, что это такое? Как легко это ранится всеми? Как легко каждый день это ранит Андрей: смотрит на меня с презрением?! Свинячьими глазками!

«Красивая... Знаешь ли ты, что это такое?» И Онежка ощутила сначала свои пухлые щеки, потом всю себя, небольшую, приземистую, свои серые, даже бесцветные, глаза.

Когда ей было и труднее и страшнее — когда она почувствовала где-то здесь, рядом, совсем близко одну четырехсотую или сейчас?

А Рита плакала по-детски горько и неизвестно от чего...

Но одна глупая, капризная, больная девчонка могла быть в палатке, двух же глупых, капризных, больных быть не могло — это стало бы чем-то обидно-смешным, несерьезным, даже оскорбительным для всех людей, для всех женщин... И Онежка заставила себя не быть глупой, не быть капризной и не быть больной. Онежка сказала:

— Успокойся! Когда ты поправишься, все будет для тебя по-другому, по-хорошему. Мы будем с тобой дружить. Обо всем, обо всем будем говорить друг с другом... Я знаю...

Ничего этого Онежка не знала. Может быть, даже знала, что этого не будет. Но сейчас нужно было чуть-

чуть обмануть ребенка. Погладить его по головке нежно-нежно и обмануть...

И ребенок обманулся, пролепетал сквозь слезы:

— Ну разве ты не видишь хотя бы, какой он — Андрюшка — безобразный, какие у него уши оттопыренные? Ему, наверно, очень идет быть пьяным! Открой на него свои глаза!

— Вижу, вижу, — согласилась Онежка. — Ну мало ли у кого уши тоже оттопыренные? — И вспомнила, какие оттопыренные уши у Лопарева, только Рита этого не замечает.

Перед тем как уснуть, ребенок еще раз встрепнулся:

— А может быть, Андрюшка тебе нравится? В самом деле, может быть? Скажи, не стесняйся. Тогда все хорошо и в самом деле, я бы все простила тебе... И ему... И самой себе! Ну?

— Его не за что не любить! — сказала Онежка.

Поняла Рита Онежку или не поняла? Она уснула... А выздоровела так же неожиданно, как и заболела.

На другой день вышла из палатки — бледная, похудевшая и, кажется, еще красивее, чем всегда. Посмотрелась в зеркальце и себе не понравилась. Скорчила гримасу. Подставила лицо солнцу, зажмурилась, потом подумала, что так ведь и кожа может потрескаться на носу. Надела на нос бумажный колпачок. Потом сорвала зеленый лист с кустарника, ветви которого повисли как раз у входа в палатку, и приспособила его вместо колпачка.

Полежала так, но недолго — все-таки боялась, что нос облезет. А погреться ей хотелось. Она положила голову на колени, сидя повернулась к солнцу спиной и сказала ему:

— Ну вот, грей! Грей сильнее! Ну!

Очень подходило ей ее прозвище — Биологиня.

И вот уже жизнь в экспедиции снова покатилась своим порядком. Обыкновенная, все та же и все-таки не та...

Когда Онежка не ощущала на себе пристального взгляда огромных Ритиных глаз, она сама себе казалась старше Риты. Удивлялась, но все равно это ощущение ее не покидало.

Она многое узнавала нынче.

С детства знала она лес, деревья, травы, а теперь видела не просто травы, а растительные сообщества, в ка-

кой-то последовательности произраставшие на вершинах и склонах, открытых и под пологом леса.

И не просто она видела остролодочник, а это было растение из семейства бобовых, многолетнее, с непарноперистыми очередными листьями и мотыльковым венчиком, о котором Вершинин-старший говорил, что свое русское название растение несет из глубокой древности и что вообще ученым, изучающим древнеславянский язык, обязательно нужно знать ботанику.

Онежка слушала его жадно.

Истод, адонис, эдельвейс — эти названия цветов, которые, словно на высокой и стройной ножке, держались на звонком «д», она могла повторять хоть тысячу раз. Идет по тропе, шаг — и произносит про себя «истод», другой — «адонис», еще один — «эдельвейс». И так без конца.

Морковник кудрявый, с трижды перисто-рассеченными листьями, с букетами мелких зеленовато-желтых цветов, она и раньше знала, а теперь еще верила примете — там, где он растет, почва обязательно должна быть плодородной. Об этом говорил однажды Лопарев.

Видела она камень, так это был не только камень, а гранит, — глубинная зернистая порода, которая состояла из кварца, калиевого шпата и плагиоклаза, гранит, о происхождении которого до сих пор спорят ученые, считая его то магматическим, то осадочным образованием.

Входила в лес — там она видела очень много: и тип леса, и ярусы, и бонитет его, и число стволов на гектаре она тотчас прикидывала, и выход древесины в кубометрах. При виде же лиственниц очень горячо начинала кому-то доказывать, что порода эта отнюдь не реликтовая, что никогда она не вымирала и вымирать не будет.

Онежка всю свою жизнь училась, всегда была ученицей, но только теперь стала замечать, что научилась чему-то, что-то узнала.

Ей не казалось больше, будто в лесном институте она учится по какой-то случайности, только потому, что родилась в леспромхозе.

Ей и надо было родиться именно в леспромхозе и потом слушать лекции в лесном институте, — ни медиком, ни инженером на заводе она, наверное, не могла бы быть — только лесником. Такое к ней пришло убеждение...

А слышать как стала Онежка вокруг себя!

Она любила музыку, но никогда музыке не училась, даже слушать ее не умела так, как другие слушают. У нее был неплохой слух и память была — своим некрасивым голоском она в любое время правильно могла пропеть давным-давно слышанную мелодию, но ее всегда поражало: откуда люди знают, как угадывают, где в музыке грустное должно сменяться бодрым, тихое — громким, медленное — быстрым? И как это получается, что, заслышав начало музыкальной фразы, уже догадываешься о конце ее?

Теперь, прислушиваясь ко всем тем звукам, которые к ней приходили, к мотивам, которые она давным-давно знала, она вдруг стала открывать что-то главное в них, самое яркое, что подчиняло себе все остальное.

Это оно — самое главное и самое яркое — чередовало грустное и бодрое, тихое и громкое, медленное и быстрое, это оно создавало одно-единственное из множества разного, пестрого, рассыпанного, в котором каждое звучало только как умело, как ему звучало.

В людях тоже она слышала слова, которыми они не говорили, а звучали.

О чем и как бы ни говорила Рита, Онежке слышались в ее голосе детские нотки. Когда же Рита молчала, она становилась похожей на взрослую женщину. Как будто Ритино молчание тоже говорило. Еще у Риты было такое слово: «Па-адумаешь!» Если она сказала «па-адумаешь!» — значит, думать она больше ни о чем не будет.

Андрюша, наоборот, говорит: «Интер-р-ресно!» После этого ему тоже можно ни о чем не говорить, он ничего не услышит, ничего не ответит — он задумался.

Доктор медицины твердит: «Позвольте, позвольте!», а Вершинин-старший отвечает ему: «Минутку, минутку!», и все — Доктор уже не может высказаться. А ему так хочется!

Больше всего каких-то своих слов у Лопарева.

Когда Лопареву что-нибудь или кто-нибудь нравится, он говорит как мальчишка: «Сила!» Однажды он так про Онежку сказал. Потерялся в лагере топор, сколько его ни искали, не могли найти, а Онежки, которая все потери всегда обнаруживала, в это время не было, — она ходила в ближайший поселок за молоком. Поспорили, и Лопарев сказал, что Онежка, как только вернется, найдет топор в пять минут. Она вернулась и не в пять, а в одну минуту нашла. На дереве. Вспомнила, как на-

кануне при закате солнца блеснуло топориче — словно мрамор.

Наверное, в дерево его всадил Вершинин-старший. Он любил демонстрировать свою ловкость — топоры и ножи бросал так, чтобы они втыкались в деревья, а когда никого не было в лагере, наедине практиковался в своем искусстве.

Если что Лопареву не нравилось (а ему многое не нравилось — сердитый был Михмих), он говорил «Отрава!»: «Не дорога — отравка», «Погода — отравка», «Не академик — одна отравка!» Если Лопарев на что-нибудь надеялся, сам обещал что-то обязательно сделать, на этот случай у него было слово «железобетон»: «Залезу вон на ту вершину еще до заката — железобетон!» А когда он хотел что-нибудь опровергнуть, представить в несерьезном виде, то говорил: «Цирк». «Какая это книга? Сплошной цирк!»

У Вершинина-старшего слов было великое множество на все случаи, но, когда ему приходилось трудновато в спорах с Лопаревым или с Рязанцевым, он заявлял: «Нечего мне разъяснять! Я сам себе профорг!»

У Рязанцева не было таких слов — только для себя. Сколько Онежка ни слушала, не услышала. Должно быть, Рязанцев с самим собой и для себя разговаривал молча, а когда говорил с кем-нибудь, очень внимательно слушал собеседника.

Едва только начинали Рязанцев и Вершинин-старший спорить, как Онежка и Андрюша переглядывались между собой, словно уговариваясь: «Послушаем!»

Правда, спор нередко сводился к тому, что Лопарев называл «цирком». Но «цирк» тоже бывал интересным, даже очень. Сколько фактов из географии, истории, биологии, из жизни оба приводили, какие маневры друг против друга они применяли!

Можно было представить себе, что, если бы вдруг на некоторое время в мире остались одни только совершенно взрослые люди, которые не ощущали бы рядом с собой молодых, они такого натворили бы, напутали, что потом, наверно, за века никто не сумел бы распутать!

В словах эти взрослые могли утопить целый мир: они столько и таких убедительных высказали бы друг другу подозрений, что в конце концов эти подозрения стали бы действительностью... Они не любили и не понимали шуток, шутки принимали всерьез... Они мно-

гое знали, но знания, должно быть, еще не ум или не весь ум.

Две величины, порознь равные третьей, всегда равны между собой, — это Онежка еще из школьной программы запомнила.

И вот Вершинин-старший и Рита, каждый порознь, были удивительно похожи на ребенка.

Легко себе представить этого ребенка: толстомордешкий, с оттопыренной губой, с умными, упрямыми глазками вундеркинд. Девочка или мальчик — не имеет значения. Разница была только в том, что вундеркинд Вершинина-старшего требовал, чтобы его все время слушали, а вундеркинд Риты Плонской — чтобы на него все время смотрели. Вот и всё.

Как-то возвращались из леса все вместе. Шли по широкой проезжей тропе, не очень устали, не очень торопились, поглядывали на сизые в вечернем солнце крутые склоны, и вдруг Вершинин-старший провозгласил:

— Самокритика? Не признаю!

До сих пор они с Рязанцевым о чем-то беседовали довольно мирно, но вот, видимо, подвернулось Вершинину какое-то слово, от которого сразу захотелось ему спорить.

— Не признаю! Покаяние на миру — высшая степень эгоизма! Человек совершает что-то против людей, потом у этих же людей ищет защиты против самого себя?! Если человек морально здоров, ему самокритика противопоказана. Критика — это понятно! Сам критикую и — увы! — от критики других не огражден.

Рита горячо зашептала Онежке:

— И я не признаю! Не признаю! И я!

А Рязанцев снял очки, держа их в руках, поглядел сквозь стекла, словно в бинокль.

— Почему бы вам и не покритиковать себя перед нами, если именно мы первоисточник вашего совершенствования? Первоисточник!

Тут Вершинин-старший громко засмеялся, победно поднял палку над головой.

— А что, дорогой Николай Иванович, если я сам себе профорг? И если я вас всех пошлю к черту?

Рита схватила Онежку за руку:

— А он пошлет! Возьмет и пошлет — всех! Всех! И меня тоже! Меня еще никто никогда не посылал к черту — просто так, потому что хочется!

Но вдруг подал голос Андрей:

— Так-таки, батя, всех?

— Так-таки всех! Философов! Шилишперов, — протянул палку в сторону Андрея. — Нигилистов! — Это он Михмиха имел в виду. — И всех остальных за компанию!

— А краеведов, батя? Тоже к черту?

Никто не знал, почему Вершинин-старший, должно быть, метров пятьдесят прошел совершенно молча, а потом снова и как-то очень сердито накиннулся на Рязанцева:

— А знаете, Николай Иванович, по натуре вы поп! Проповеди у вас: «Не убий», «В грехах своих исповедуйся!»

— Что же, — кивнул Рязанцев, — очень может быть, в другое время я и пошел бы в попы. Лет двести-триста назад. Но за триста лет я вот что понял: людям нужен был кто-то, к кому они всегда обращались бы, чтобы говорить между собой. И они, между прочим, и ради этого создали себе бога. Создали, а потом, очень не скоро, спросили себя: «А что он может нам сказать?» Оказалось, никак не более того, что мы, люди, сами можем сказать друг другу. И вот нынче исключаем посредников. Будем сами договариваться между собой. Как договоримся, так и сложится наша жизнь, такими мы и будем. В большом ли, в малом ли.

— И — сможем?

— Должны... Жить хотим? Значит, должны!

Вершинин снова захохотал:

— Но-но, дорогой Николай Иванович! Но-но! Послушаешь — вам все ясно! Вам с религией ничего не стоит покончить в мировом масштабе! Завидую!

— Нет, — возразил Рязанцев. — Не так просто! Предрассудки тоже прогрессируют, тоже стараются шагать с просвещенным веком наравне. Они тем и отличаются от рассудка, что ничего не познают, ничего не открывают, но к открытиям приспособливаются удивительно! И теперь о многих понятиях можно сказать, что они — предрассудок модерн!

В библиотеке, куда перед каждой сессией ходила заниматься Онежка, в нишах, под самым потолком, вверху, стояли бронзовые бюсты — Пастер, Менделеев, Ломоносов, Коперник, еще и еще великие.

Это были единственные боги для Онежки — других она не знала и знала, что других нет. Но они были

людьми, а кем же была тогда Онежка перед ними? Стоило ей что-нибудь не уяснить в учебнике, поднять лицо к потолку, как тотчас со всех сторон на нее устремлялись бронзовые взгляды: «Мы люди! Мы умы! А ты кто?»

Она же ответить ничего, совершенного ничего не могла — маленькая, серенькая, скорее опять склонялась над книгой.

А сейчас в горах, рядом с Андрюшей, с которым они вместе думали, которого она защищала перед Ритой, рядом с Лопаревым, который спрашивал ее однажды, жива ли она, рядом с Доктором, у которого обо всем было свое мнение, но только мнение это никто не выслушивал, рядом с Вершининым-старшим и Рязанцевым, — она чувствовала, как что-то в ней бунтовало против давней власти умов.

Сначала, в первые дни путешествия, она и здесь ощутила их власть — очень стеснялась Рязанцева только потому, что он показался ей умным. А сейчас она думала, что, когда вернется в город, в институт, в библиотеку, никогда уже не будет больше испытывать смущение перед бронзовыми бюстами.

Они обязательно снова спросят: «А ты кто?» Очень просто она скажет: «Онежка, Онежка Коренькова!» — «А почему ты не понимаешь наших открытий, Коренькова?» Она улыбнется: «Пойму... А почему вы не объясняете как следует? Ведь вы не потому великие, что открыли, а потому, что вас поняли?!»

С великими Онежка договорилась. Она и они друг друга поняли... А с Ритой! Ведь нельзя же и дальше жить без дружбы! Без подруги!

Была у них такая работа — они делали «расчистки»: квадрат сто на сто сантиметров осторожно освобождали от травы и хвои, слой за слоем снимали мох, а затем перегной. Они вели счет семенам древесных — нужно было на квадратном метре определить общее количество семян, число семян, вышелушенных мышами, и число всходов...

Сырой перегной пахнул чем-то древним, какими-то грибами, и в этой остро пахнувшей буровато-черной и рыхлой массе, которая еще не перестала быть останками деревьев и трав, со множеством трупииков насекомых, уже царила новая жизнь — было там бесчисленное количество чьих-то личинок, яиц, семян и всходов, которые стремились только вверх.

Рита с трудом выполняла эту работу: она была брезгливая, вся менялась в лице, когда в руке у нее оказывалась самка клеща — зеленая, упившаяся кровью какого-то животного так, что маленькие ножки были у нее едва различимы в центре неимоверно раздувшейся брюшной полости.

И вот, когда Рита однажды проговорила: «Боже мой, какая мерзость! Чего только нет в этом перегное!» — ее услышал Рязанцев.

Подошел, сел рядом, поковырял перегной маленькой Ритиной лопаточкой.

И когда они все вместе — Рязанцев, Онежка и Рита, — подсчитали, сколько семян дает одно дерево и один цветок иван-да-марьи, получилось, что и в самом деле, если бы семена не погибали, если бы их не умерщвляли морозы и горячие пески, через десяток лет одна-две травинки заняли бы всю сушу земного шара — сто пятьдесят миллионов квадратных километров!

— Отсюда каждое семечко стремится завоевать земной шар... Здесь, — сказал Рязанцев, а поглядел куда-то вверх сквозь очки, — в этой тончайшей пленке на поверхности земного шара взаимодействуют между собой миры... Василий Васильевич Докучаев открыл почвы как четвертое царство природы, и тогда впервые все три других царства — растений, животных и минералов — предстали как нечто общее и существующее одно в зависимости от другого...

Рите ужасно противен был зеленый трупик самки лесного клеща, и она не хотела ничего больше слышать ни о перегное, ни о царствах природы, а Онежка и хотела бы, но не могла и тут с Ритой согласиться — она должна была слушать и понимать Рязанцева.

— ...В этом тончайшем слое заканчивают свой необозримый многолетний путь солнечные лучи, здесь рождаются великие реки, отсюда ничтожные капельки воды поднимаются вверх, чтобы слиться в облака. Здесь кончает свой путь все живое на-земле.

...Отсюда начинаются специальные науки, которыми человек для своего собственного удобства, и в силу своего разума, и по причине своего неразумения отделил одни явления от других явлений и процессов, здесь начинаются почвоведение, земледелие и лесоводство, ботаника и зоология, еще множество «ведений» и «логосов»; здесь же, постигая этот тончайший слой, человек вынужден будет рано или поздно разрушить воз-

двигнутые им самим границы отдельных наук, по мере того как он станет приближаться к смыслу одного лишь краткого, но всеобъемлющего слова — жизнь.

Потом Рязанцев спросил:

— Ну как, Рита? Понятно, или ты скажешь: «Па-адумаешь!»?

Оказывается, Рязанцев тоже заметил и даже очень точно мог повторить выражение, с которым Рита это слово произносила.

Рита пожалала плечами.

— Интересно... если бы не это! — вздохнула и показала глазами на зеленый трупик самки клеща.

А Онежка снова ничего не сказала. Молчала. Ждала, чтобы и у нее Рязанцев спросил: «Ну как, интересно?»

Но Рязанцев не спрашивал ее ни словом, ни взглядом. Конечно, он говорил только для одной Риты. Глядел в Ритины чуть прикрытые большими ресницами темные глаза и говорил, стараясь, чтобы в глазах ее исчезло выражение какой-то насмешки, чтобы снисходительность исчезла в них.

Не один Рязанцев, все с Ритой так говорили — и Андрюша, и Вершинин-отец, и даже Михмих, разговаривая с нею, хотя и отводил взгляд в сторону, но всякий раз лишь ненадолго, потом снова тарачился сердито и даже как-то растерянно.

Онежка стала глядеть вокруг себя.

Лес был смешанный; причудливо переплетались в нем листва с хвоей, и весь он был залит солнцем: стволы деревьев, ветви, и травы, и кустарники, и даже камни — все было пронизано светом. Острия хвоинок излучали яркие искры.

Все сияло, все слепило взгляд. Пришлось зажмуриться на мгновение.

А когда Онежка снова открыла глаза, ей показалось, будто сырая земля, пахучий чернозем, где только мог, повсюду распахнулся навстречу солнцу. Показалось ей, будто желтые, почти медные стволы сосен потому такие черные внизу, что вынесли в трещинах своей коры почву из глубины...

Поглядела, — чернозем яркими, сияющими пятнами поднимался по белоснежным стволам берез к самым вершинам, тоже к солнцу, и по сизой, детски хрупкой коже осин тоже...

И тут Онежка нагнулась, взяла горсть перегноя и медленно-медленно растерла его на другой руке, выше

локтя — у нее кофточка была с короткими рукавами. Перегной и на руке тоже заблестел, на ее коже.

— Ты что это делаешь? — удивилась Рита.

— Так... — ответила Онежка. — Просто так.

И подумала: «А почему-то плакать хочется...»

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Рязанцев и Лопарев спустились из лагеря в село Акат.

Давно заметил Рязанцев, насколько условны такие понятия, как «центр», «большой город», «столица».

Велик ли город Горно-Алтайск? Для тех, кто не имеет к нему никакого отношения, город как будто и совсем не существует, между тем стоит поехать по Алтаю, чтобы услышать, что там говорят об этом городе очень много, гораздо больше, чем в Московской области о Москве.

Впервые проезжая через районный центр Онгудай, Рязанцев подумал: «Какое маленькое, какое далекое село! Затерянное село!» Когда же он вернулся в Онгудай после того, как недели две прожил в горах, в палатке, он сразу же почувствовал, что Онгудай не только село, но и центр — в этом не могло быть сомнений: около ресторана, сразу за мостом через быструю речку Урсул, стояло больше десятка грузовых машин. Одни из них были с надписью на ветровом стекле «US» — эти шли с грузами в Монголию и обратно, была машина какой-то экспедиции с буровым станком, большой пассажирский автобус и «Волга».

Одни только эти автомашины уже придавали селу единственную и неповторимую значительность, может быть, не свойственную больше ни одному населенному пункту земного шара.

Это было в Онгудае.

А теперь и село Акат, которое было несравненно меньше, чем Онгудай, внушало Рязанцеву уважение.

Начали с чайной. Сидя за одним из четырех не очень опрятных столиков и просматривая меню из трех блюд, Рязанцев чувствовал себя по меньшей мере в «Гранд-отеле» или в «Метрополе».

Потом пошли на почту.

— На «главпочтамт»! — сказал Рязанцев.

«Главпочтамт» размещался в комнате и кухне обычного жилого дома.

Рязанцев получил телеграмму от семьи, два слова — «все здоровы». Хотя последние дни он вовсе не думал, что кто-то дома мог заболеть, все было хорошо в этих словах: родные и в самом деле были здоровы, помнили о нем, и телеграмма оправдывала его настроение последних дней, когда он совсем не беспокоился о семье, она давала ему право и дальше не беспокоиться.

Сели на крылечке «главпочтамта».

Повертев желтый листочек телеграммы в руках, Рязанцев обратился к Лопареву:

— А что, Михаил Михайлович, надо бы вам обзаводиться семьей... А?

— Надо бы... — кивнул Михаил Михайлович.

И Рязанцев подумал, что напрасно спросил об этом.

Неловкость развеял пятнистый, серый с рыжим, пес, крупный, еще не сложившийся, с какими-то смешными движениями, со щенячьим выражением добродушной морды.

Сначала пес привязался к гусям. Гуси шли строем, а пес лаял на них и отскакивал в сторону, когда гусак во главе колонны вытягивал длинную шею и, почти касаясь ею земли, нацеливался ему прямо в глаз маленькой змеиной головкой с шипящим клювом.

Отстав от гусей, пес поболтался, заметил поросенка. Поросенка он гонял долго и деловито.

— Вот ведь зараза! — сказал Михаил Михайлович. — Привязался тоже к Чухину! — Встал, подобрал палку и швырнул ею в собаку. — Отстань ты, балбес, от скотины! Чухин, Чухин! Иди, друг, не связывайся с балбесом!

Поросенок, прижавшись к забору, тревожно хрюкал, двигался всем туловищем в стороны, пытаясь своими едва приметными глазами рассмотреть противника.

Немного погодя «балбес» подошел к крыльцу, лег на брюхо, вытянул лапы, на лапы положил голову и рыжими глазами уставился в глаза Михаилу Михайловичу, язык же высунул в сторону. Взгляд у него был глупый, а все-таки выражал серьезный вопрос: «Скажите, люди, почему я такой нескладный, веселый и беззаботный?» И Михаил Михайлович отнесся к знакомству серьезно, осмотрел пса со всех сторон.

— Веселись, веселись, Тявкин... Года не пройдет — будешь дьявол...

— Почему же?— спросил Рязанцев.— Откуда это видно?

— Кем он еще может быть, придурок? На охоту не приспособишь. На пастьбу тоже... На рукавицы?.. В феврале из него теплые рукавицы выйдут. Ну а если живым оставят, так на цепи. На цепи из него веселье выйдет и глупость тоже, одна злость останется... Будешь ты, пес, не пес, а дьяволюка.

Любовно относился Михаил Михайлович к животным. Разговаривал он с ними и о них деловито, по-хозяйски, быстро различал характеры, никогда перед животными не заискивал, как бы подразумевал между ними и собой полное понимание.

Поросенка называл Чухин и даже заметно светлел лицом, когда видел маленького и розового; теленка — Быдлик, щенка — Тявкин. Лошадей называл только по масти, никаких других кличек за ними не признавал, и единственно к кому относился неприязненно — к козам.

— Полезная скотина, но до чего же несговорчивая! Нет, если пасти, так стадо коров, чем трех коз...

Никто не заставлял Лопарева быть пастухом, однако он неизменно повторял, заметив где-нибудь на взгорке коз, особенно черных:

— Уж пасти, так стадо коров, чем трех дьяволюк!

Он знал множество историй из жизни животных, историй не особенно выдающихся, — о том, как потерялась и потом нашлась в лесу свинья с поросятами или как спутанная на передние ноги лошадь переплыла реку, — но рассказывал эти истории очень интересно и всегда так, что нельзя было заранее предвидеть, чем рассказ кончится.

Пес ушел...

Михаил Михайлович и Рязанцев сидели молча, смотрели на пойменные луга по ту сторону речки Акат, — пышные, разнотравные луга эти когда-то привлекли сюда первых русских поселенцев.

Сразу за поймой и лугами были пологие склоны, повсюду, куда хватал глаз, совершенно одинаковые, до половины покрытые кустарником, а выше — редкими деревьями. В промежутках между деревьями тоже блеснул ярко-зеленый, чуть-чуть с сизым травяной ковер. За светло-зеленым, как бы искусственным, валом поднимались уже настоящие горы, темные, неправильных очертаний, за ними — другие, еще темнее и беспо-

рядочнее, и так, хребет за хребтом, они взгромождались в небо... На самом верху горы были украшены блистающими на солнце снегами...

Тихо, очень тихо было кругом — в горах, в лугах и здесь, в деревне.

Прогудела по тракту машина, сердито и требовательно кликнул женский голос ребятишек, с порывом ветра слышались частые удары топоров: где-то стучали плотники.

Всего явственнее был голос телефонистки. Она работала на коммутаторе, и спустя четверть часа Рязанцев знал всех абонентов: сельсовет, колхоз, молочный совхоз, маралосовхоз, райцентр, школа и еще какой-то номер, который телефонистка называла базой.

Иногда она не только соединяла абонентов, но и сама вступала в разговор — в школу звонила несколько раз и требовала, чтобы, когда появится директор, он обязательно пришел в сельсовет; в совхоз сообщила, что из района требуют сводку о ходе сенокоса, в колхозе разыскивала какого-то Степана Ивановича, а разговаривая с маралосовхозом, называла человека уважительно Алексеем Петровичем, передала ему сводку погоды и просила приехать послезавтра на заседание сельского Совета. Иногда телефонистка называла Алексея Петровича по фамилии — Парамоновым.

Рязанцев прислушивался все внимательнее; когда же телефонистка кончила разговор, вошел в помещение и спросил:

— Вот Парамонов Алексей Петрович — это и есть директор мараловодческого совхоза?

— Он и есть! — кивнула телефонистка, старательно наклеивая большие марки на маленький треугольный конверт. Она была здесь за всех: и принимала почту, и отправляла ее, и работала на коммутаторе.

— Высокий такой, да?

— Куда выше!

— Белый? Немного, кажется, кудрявый?

— Почему это немного? Нормально кудрявый!

Рязанцев снова вышел на крыльцо, встал на ступеньку и облокотился на перила.

— А знаете, Михаил Михайлович, кажется, обнаружился у меня здесь знакомый.

Михаил Михайлович слышал разговор Рязанцева с телефонисткой и ответил:

— Не знаю, знакомы вы с Парамоновым или нет, а я знаком.

— Да?

— Да... в прошлом году поругались.

— Вот как... Чего же вам было делить?

— Хотел в маральнике побывать... Посмотреть, как на пастбище восстанавливается лиственница. Не пустил. Карантин, еще какие-то законы. Не пустил.

— Ученик мой...

И Рязанцев снова вошел в «главпочтамт», попросил телефонистку соединить его с директором совхоза.

— Маралосовхоз слушает! — прогудел в трубке внушительный и, должно быть, хорошо знающий себе цену бас.

— Вы товарищ Парамонов?

— Кто спрашивает?

Рязанцев назвал себя:

— Помните такого? На курсах встречались.

Бас осел, замолк, потом быстро-быстро и совсем с другой интонацией заговорил:

— Товарищ Рязанцев? Николай Иванович! Что вы! Неужели думаете, я вас забыл?

Потом Рязанцев и Лопарев, стоя на ступеньках крыльца, обсуждали предстоящую встречу и ждали машину из мараловодческого совхоза, которую Парамонов, ни минуты не медля, обещал прислать за ними.

Лопарев твердил:

— Поедем, но я поругаюсь. Уж это точно. Еще проберусь в маральник, сплчу там две-три лиственницы!

— Это зачем?

— Узнаю возраст самых молодых деревьев и было ли возобновление после закладки маральника. Так вы говорите, учили его?

— Было такое. На курсах.

— Его бы в армии учить. Рядовым. У сверхсрочного старшины. Вот вышел бы порядочек — железобетонный!

Рязанцев усмехнулся, Михмих встал ступенькой выше, руки засунул в карманы.

— С закрытыми глазами скажу — учился он посредством. Так?

— Что ж из того?

— Курсанты его не любили. Так?..

— Может быть...

— Преподаватели тоже.

— Как сказать...
— Чего тут говорить, разве что один вы ему только и потрафляли...
— Не то слово...
— Покровительствовали...
— Вы так думаете?
— И думать нечего: ясно!
— Знаете, дорогой Михмих, должно быть, всех людей, независимо от профессий, можно разделить на педагогов и непедагогов...

— Тоже ясно, — кивнул Михмих, вынул одну руку из кармана и показал на Рязанцева: — Педагог. — Потом себя ткнул в грудь: — Непедагог!

Тут подбежал «козлик», лихо развернулся, уткнувшись в пыльный хвост, который сам волочил за собою, и чернобрый солидный шофер спросил:

— Товарищ Рязанцев который будете? Николай Иванович?

— Я буду. А едем мы вместе.

— Будьте добреньки — Алексей Петрович ждет! Садитесь! Гора с горой — ни-ни, а человеку с человеком выпадают перекрестки. Жмут вроде все на полную скорость кто куда, на спидометры — ноль внимания, тем более они всегда в неисправности, по сторонам не оглядываются, думаешь, где тут встретиться?! Нет, гляди, через жизненные годы и вдруг — встреча...

Рязанцев подтвердил:

— Встреча...

Покуда машина бежала долиной речки Акат, а потом свернула вправо и поползла вверх между двумя отрогами, Рязанцев вспомнил светлую аудиторию с кафедрой у самого окна, с желтой доской на стене. Он, Рязанцев, стоит за кафедрой, совсем еще молодой, а слушатели в аудитории почти все старше его годами... Курсы директоров и главных агрономов совхозов. Они слушают его, слушают так внимательно, что от этого внимания становится жутко, немного кружится голова, и от этого же он начинает говорить горячо, находить какие-то неожиданные для себя слова, какие-то сравнения. Внимание слушателей больше, а он — больше увлекается...

После лекции, когда курсанты подходят к нему, он плохо понимает их. Они благодарят, не знают, что сами учили его и с первой до последней из девяноста минут лекции он сдавал им экзамен...

А в глубине аудитории, среди его слушателей, помнится, было лицо с грубоватыми, но правильными чертами, не полное и не сухощавое, с тем бело-розовым оттенком, которым в человеке цветет здоровье.

С этого лица всегда смотрели очень внимательные глаза, но внимательность их неизменно была какой-то трудной, тяжелой.

Когда аудитория улыбалась множеством глаз, эти все еще продолжали смотреть очень серьезно и часто-часто мигали большими желтыми ресницами; когда же аудитория снова чутко настораживалась, карие глаза под желтыми ресницами начинали вдруг улыбаться...

Иногда Рязанцев прерывал объяснение и спрашивал:

— Понятно, товарищ Парамонов?

Тогда с пятого или шестого ряда быстро, по-солдатски, поднималась крутая в плечах фигура в блестящей тужурке с застежкой «молния». Человек, глядя в упор, очень громко и четко говорил:

— Не совсем понятно, товарищ преподаватель! Совсем непонятно!

Рязанцев объяснял снова, и тут была небольшая хитрость: можно было повторить все то, что, ему казалось, он объяснил не совсем ясно, повторить новыми и только что пришедшими к нему словами. Иногда же он поступал иначе: угадывал на чьем-то лице нетерпение, досаду и этого нетерпеливого слушателя просил объяснить Парамонову суть дела. И потому, что аудитория, едва лишь узнав что-то новое, сама уже участвовала в объяснении этого нового, — она радовалась, она возбуждалась, и возникала та связь между лектором и слушателями, которая так была ему нужна. Случалось и по-другому — Рязанцев с кафедры посматривал на Парамонова... Раз, другой, третий... В ответ на эти взгляды Парамонов делал едва заметный короткий жест рукой, как бы толкающий лектора вперед. Значит, не следует сомневаться — все понятно Парамонову, все понятно всем.

Были там разные люди, на курсах директоров и главных агрономов совхозов. Был Герой Советского Союза со шрамом через все лицо. Этот человек, совершивший легендарный подвиг на фронте, так страшился экзаменов, что, отвечая, мучительно заикался.

Был человек без ног, был директор треста совхозов — грозный начальник многих слушателей в недале-

ком прошлом, а главное, в недалеком будущем. Ему приходилось и на курсах поддерживать свой авторитет, и он так заучился, что однажды на занятиях потерял сознание — вызывали карету «скорой помощи».

Было несколько женщин. Одна — по фамилии Куличенко, уже немолодая, смуглая и похожая на цыганку — никогда не снимала с плеч пухового платка, под которым с той и с другой стороны укрывала еще двух хорошеньких девушек. Они тоже готовились стать главными агрономами, эти девушки.

Годы были послевоенные, все знали, сколько труда, лишений и тревог ожидает людей, которые должны были поднять на ноги совхозы, и предвидение это как бы все время присутствовало на занятиях и даже в перерывы, когда взрослые люди начинали вдруг неимоверно ребячиться.

Но были и у этих людей слабости — Парамонов был такой слабостью. Над ним подтрунивали, подбивали его задать преподавателю какой-нибудь нелепый вопрос, и преподаватели тоже поддавались соблазну, иронизировали над ним, отвечали на его вопросы смешными репликами.

Один только Рязанцев поставил на экзамене Парамонову четверку, все остальные предметы он сдал на «три».

И на лекциях, какие бы вопросы Парамонов ни задавал, Рязанцев отвечал спокойно, без улыбки. Не только сдерживал себя, но и всю аудиторию, все молчали недоуменно, никто не смел посмеяться при нем над Парамоновым.

В перерывах между лекциями, когда Рязанцева окружали курсанты, Парамонов старался быть к нему ближе других, и Рязанцев его не избегал, беседовал с ним точно так же, как и с Героем Советского Союза, как с умной и красивой Куличенко, у которой под концами шали прятались две милые девушки.

Это, кажется, было единственное, в чем слушатели Рязанцева не понимали, чего они не одобряли в нем.

Он же считал долгом убеждать себя, что к Парамонову следует относиться совершенно так, как и ко всем другим курсантам.

Наверное, Парамонов нуждался в искренней любви, но кто и как мог бы его полюбить — Рязанцев не мог себе представить.

И вот Рязанцев ехал в гости к Парамонову...

Машина еще пробежала несколько километров долиной Аката, потом на подъеме между двумя отрогами резко свернула вправо; и тут вскоре показался совхоз — небольшой аккуратный поселок по обе стороны быстрого ручья.

Встретились около конторы, единственного двухэтажного дома на усадьбе.

Поздоровались.

Раздобрел Парамонов. Он и на курсах отличался цветущим здоровьем, а теперь стал совсем дебелим, в меру полным, у него были неторопливые, уверенные движения. Одет в новый коричневый костюм, голова открыта, причесан замысловато. Красивый мужчина, высокий. На Лопарева взглянул мельком, хотя видно было — узнал сразу, Рязанцеву долго глядел в лицо и жал руку. Улыбался.

Пригласил гостей в кабинет.

— Вот тут и работаем... Тут самый, должен сказать, пульс... Показатели — тоже все здесь! — И широко махнул рукой, приглашая гостей познакомиться с показателями.

Кабинет был просторный, стандартный: письменный стол, черный диван у стены, по сторонам от окна этажерка с книгами и громоздкий сейф. А стены были увешаны почетными грамотами. Рязанцев протер очки, стал их внимательно и удивленно рассматривать. Тут были награды от профсоюза, от совхозного треста, от районных и краевых организаций, от республиканского и союзного министерств, от ВСХВ.

Рязанцев смотрел долго, потом спросил:

— Слушайте, товарищ Парамонов, ведь вас тут за одни и те же показатели ежегодно награждают все — от района до министерства? Так?

— Порядок не нами выдуман. Порядок известный: передовик — значит, все хвалят! Отстающего все ругают!

Еще что-то объяснял Парамонов, но Рязанцева «порядок» не очень интересовал.

Он всегда как-то терялся в присутствии людей, которые не в науке и не в искусстве, а в самом обыкновенном деле достигали чего-то большого: конструировали, строили, выращивали, выплавляли. Он сам ничего этого не умел делать — умел только читать книги, с ними родниться и к этим, когда-то чужим, а потом очень близким книгам присоединять свои, новые. С сожалением

нием вспоминал, что когда-то, мальчишкой, клеил модели планеров, потом научился делать быстроходные шлюпки, а на военной службе быстро освоил материальную часть зенитных орудий.

Потом это умение и смекалка куда-то исчезли.

Лопарев тоже, должно быть, решил посмеяться и сделал это по-своему. Спросил у Парамонова:

— Не слышали о законопроекте? Насчет почетных грамот?

Парамонов, который все время следовал за Рязанцевым и давал ему объяснения по поводу каждой грамоты в отдельности, сразу встрепенулся:

— Законопроект? А в чем он заключается?

— Заключается-то! Вот уже скоро, говорят, будут почетные грамоты обменивать. Пять грамот на одну медаль. А может быть, и на орден.

— «Знак Почета»? — живо спросил Парамонов, и в этот момент только блестящей кожаной курточки не хватало на нем.

— Может быть, и «Знак»... — согласился Лопарев. — Дело в настоящее время вентилируется.

— Где?

— Известно где — вверху...

— Но-о-о! — удивился Парамонов. — В самом верху?

— Может, и не в самом, а все-таки вверху.

— Тогда в тресте должны знать... Точно! Сегодня-завтра буду звонить в трест насчет новой машины — наведу справочку!

Из кабинета направились посмотреть хозяйство, и тут Рязанцев, улучив минуту, спросил у Лопарева:

— Михаил Михайлович, дорогой, вы не знаете, что Карел Чапек говорил о критиках?

— Мне с Чапеком чаевничать не приходилось!

— «Критиковать — это значит объяснить, как бы я сделал сам, если бы умел...» — вспомнил Рязанцев.

— А чего тут уметь, скажите, пожалуйста? — сразу понял Михмих. — Чего уметь? Поставить ограду — самое главное. А потом олешки за оградой бегают, пасутся, бригадиры с них панты снимают, а директор — грамоты. Это вам не зерновое хозяйство, и не молочное, и не леспромхоз — там без механизации ни шагу, без строительства тоже, одним словом, без техники — никуда. И планы там не дай бог какие. А тут дело, считайте, на той самой научной основе, которая еще при царе Горохе была. Тут все дело в бригадире! — Посмотрел на

Рязанцева и, обратившись к нему уже во множественном числе, сказал еще: — Так-то вот, товарищи педагоги! Не согласны? Ваши возражения?!

И действительно, педагог вдруг в Рязанцеве забеспокоился.

Михмих к людям мог относиться точно так, как ему хотелось с первого же слова и взгляда, а вот Рязанцев никогда не позволял себе поддаваться первому впечатлению. Не понравился ему человек, так он еще долго относился к этому человеку спокойно, доброжелательно. Другой ему нравился, а он и тут никакого восторга не проявлял, не выдавал ни одним словом своей симпатии, держался как будто даже холодно. Почему-то боялся ошибиться в людях. Разве от того, какое у него складывалось мнение о человеке, этот человек становился лучше или хуже? Наконец, не однажды Рязанцев убеждался, что впечатление от первого знакомства было самым верным, а дальнейшие его умозаключения — неверными, так что с течением времени он бывал вынужден их отбросить, а к тем — первым — вернуться.

Парамонов показал гостям два строительных объекта: клуб и столовую, потом скотный двор, питомник черно-бурых лисиц — все это с чувством непоколебимого достоинства.

Лопарев, слушая, ухмылялся, а потом стал похлопывать Парамонова по плечу и называть на «ты»: «Правильно действуешь — на сорок третьем году Советской власти понимаешь роль общественного питания!» — и в то же самое время договорился с ним, что побывает в маральнике, спилит на пастбище несколько лиственниц.

Шепнул Рязанцеву:

— Видали? И лаяться не пришлось!

Рязанцев же все рассуждал. Сначала рассуждал с самим собой в таком духе: человек добрый, сердитый, симпатичный, несимпатичный — это все понятия личные и прежде всего женские. Женщинам свойственно так строить свое отношение к людям. Для него ж, для Рязанцева, должно быть существенным прежде всего то, что Парамонов создает материальные ценности, что он руководит, и, как видно, неплохо, целым коллективом. Потом Рязанцев принялся опровергать себя: «Все мы что-то создаем, что-то творим для общества, и это — заслуга нашего времени, качество, свойственное всем. Поскольку у нас в обществе нет различий классовых

и политических — остаются нравственные различия. Качества человека — добрый он или злой, симпатичный или нет — впервые приобретают подлинно общественный смысл, и люди группируются и расходятся, спорят, ссорятся как раз по причинам различного понимания того, что значит быть добрым, честным и, наконец, даже симпатичным». Ни сейчас, ни прежде Рязанцев не мог признать за Парамоновым ума, а значит, и высоких нравственных качеств. Без ума какие же могут быть нравственные качества? Безумные?!

А дебелий осанистый Парамонов всем своим видом как бы говорил: «Четверка на экзамене — это теперь для меня уже маловато!»

Солнце приближалось к зениту, нагрелась земля, запахи дорожной пыли, скотных дворов, жилья становились все сильнее, а травы и леса как будто отступали выше по склонам, только изредка оттуда, с вершин срывался ветерок, принося аромат трав и лесов. Парамонов же все водил гостей по усадьбе, рассказывал о своих достижениях, пояснял, сиял больше и больше.

Но вот подошли все трое к колодцу, и Парамонов сказал:

— Николай Иванович, по-вашему построено! Как вы говорили! Все в точности соблюдено!

Было когда-то время, когда трубчатые колодцы назывались в России «абиссинскими» и «нортоновскими» — технический блеск вкладывался в это название, а еще нечто «заграничное».

А рубленные из дерева шахтные колодцы в ту пору изображались по всем правилам чертежного искусства на батистовой крахмальной кальке с отмывкой синей краски, с оттенками желтой — от едва золотистой, янтарной, до цвета жженой сиены, — с разрезами по нескольким осям и с показанием плотничных сопряжений и врубок «в лапу», «ласточкиным хвостом» и «в полдерева».

И вот однажды, когда Рязанцев должен был говорить своим слушателям на курсах об использовании грунтовых вод и колодезном водоснабжении, под руку ему попался такой чертеж, подписанный «межевым инженером» и «гидротехником 1-го класса», служащими по департаменту земельных улучшений министерства земледелия и государственных имуществ.

Не устоял перед этими красками, врубками, перед замысловатыми надписями пером «рондо», заклеил

в уголке чертежа дату «Год 1912-й, апреля, 6 дня» и показал его на лекции — вот как должен выглядеть колодец ювелирной работы!

Колодец этот предстал теперь перед Рязанцевым во всех деталях: глиняный «замок» вокруг сруба и каменная отмостка; вóрот, казалось, выточенный на токарном станке; навес над воротом из двойного настила полукруглых досок и резной петушок на коньке навеса. Петушок еще на чертеже 1912 года выглядел архаично, но тут он блистал свежей краской.

— Си-ила! — сказал, вздохнув, Лопарев. — Железобетон!

А Рязанцев вдруг почувствовал усталость, еще раз поглядел на сияющего, исполненного собственного достоинства Парамонова: «Каков?»

И в самом деле, был ли Парамонов добрым или злым, умелым или неумелым — не это почувствовал сейчас Рязанцев, стоя у колодца с резным петушком. Он Парамонова учил. Учил — значит, верил. А если и учил и верил — значит, теперь, что бы Парамонов ни делал, каким бы он ни был, в чем-то он был на совести у Рязанцева.

А Парамонов отошел от колодца на несколько шагов, остановился подле небольшого домика с невысоким побеленным палисадником. Распахнул калитку.

— А вот моя квартира! Проходите, Николай Иванович! Товарищ Лопарев, прошу!

Скрепя сердце шагнул Рязанцев во двор. В сени... В кухню...

Все не только сияло здесь, сверкало и переливалось в лучах солнца, но даже как будто еще излучало радужные оттенки, которые обыкновенные предметы — столы, стулья, занавески, посуда, стены, пол и потолок — никогда излучать не могут.

Казалось, люди здесь не живут, только приходят сюда, натирают до блеска каждую вещь, покрывают вещи тончайшим лаком, занавески разглаживают, будто это не занавески, а накрахмаленные воротнички на окнах, подоконники подкрашивают белилами, стены — известью, пол — яркой охрой и на цыпочках отсюда уходят.

Лопарев, который через весь совхоз прошел с небрежной и даже несколько презрительной усмешкой, совсем опешил. Не скоро спросил у Парамонова:

— Ремонтировались?

— Ремонт не ремонт, а только моя Елена едва ли не каждую субботу и красит и белит...

Лопарев осторожно сел, пошарил в кармане, вытер со лба пот, поглядел на платок и торопливо спрятал его обратно в карман. Поглядел на свои сапоги — ноги задвинул под стул, еще немного погодя застегнул пиджак на пуговицы. Одной у него не оказалось, он пустую заслонил рукой.

Он продолжал сидеть в этой смешной позе и тогда, когда Парамонов вышел в соседнюю комнату и там заговорил о чем-то вполголоса, а ему ответил чуть-чуть испуганный и встревоженный низкий женский голос. Рязанцев же, слушая этот голос, подумал, что хозяйка обязательно должна быть похожа на Синеоковую Марию Федоровну, которая недавно получила письмо в городке Красном Куте: высокая, полная, но стройная, обязательно белокурая и, конечно, голубоглазая.

И что же — не ошибся почти нисколько. Когда женщина вошла, Рязанцев вздрогнул: она была и высокая и статная, с толстыми, почти русыми косами, уложенными на голове, разве чуть-чуть только потемнее тех, которые он себе за минуту до этого представил. Глаза, правда, не были у нее голубыми. Какого цвета глаза, Рязанцев не сразу заметил, так поразило его это сходство. Рукопожатие было теплым у нее...

— Елена Семеновна, — произнесла она тихо. Была смущена, но не прятала своего смущения, а сказала: — Все вокруг нас знакомые люди... Когда-то незнакомого встретишь в наших горах!

Сели за стол. Рязанцев наконец рассмотрел ее глаза — они были серые с зеленым. А больше Рязанцев ничего не заметил в них, потому что они остались настороженными не то от мимолетного смущения, не то это было у них в природе — долго-долго никому не открываться.

За едой Парамонов очень часто извинялся, что вот принимает гостей так запросто — на столе были яичница с салом, творог, соленая капуста и вино. Потом он вдруг спросил:

— Так, Николай Иванович, расскажите хоть что-нибудь. А? Я ведь ей, — он кивнул в сторону жены, — я ей сколько раз ваши лекции передавал... Погляжу в конспект, вспомню и пошел... и пошел... Едва ли не слово в слово, Николай Иванович. Теперь вы сами здесь...

Если к Рязанцеву обращались с просьбой «рассказать», никакого рассказа у него не получалось — он возникал произвольно, в случайной беседе, когда его никто не ждал и не требовал, либо на лекции — там рассказ становился совершенно необходимой и очевидной частью этой лекции.

Рязанцев всегда думал, что легко тем ученым, тем писателям, вообще тем людям, у которых едва лишь возникают какие-то мысли, они уже могут об этих мыслях говорить, кому-то их излагать. Он же мог говорить лишь о том, что в нем перебродило, в чем он сам уже прошел через какие-то сомнения.

Поэтому он все время ощущал что-то невысказанное и знал, о чем уже скоро сможет заговорить, на чем сосредоточится когда-нибудь позже и что дождется своего срока еще очень не скоро, через год, через два.

Нынче, только Рязанцев вступил в этот блистающий чистотой дом, мысли его как будто просветлели. И хотя ему досаждал резной петушок, который через палисадник заглядывал прямо в окно, Рязанцев и в самом деле хотел о чем-то рассказать.

Еще в детстве он полюбил Алтай, но отдал себе отчет в этой любви гораздо позже, в зрелом возрасте, когда любовь становится не только чувством, но еще и тревожной заботой о будущем всего того, что любишь. И ему хотелось, чтобы в этом уголке земли человек ничего бы не искалечил, ничего не потерял раз и навсегда, никогда не заслужил бы упрека потомков за растроченные и попусту размотанные богатства, которыми наделила этот край природа.

Есть разные страны в Западной Сибири: Барабинская низменность, Ишимская, Прииртышская, Кулундинская степи, Кузнецкий бассейн, еще много стран — все они открыты, все обжиты поколениями людей, и все они несут печать и достижений человека, и его заблуждений, его ошибок.

Человек лишил землю лесов там, где леса хранили воды, пастбища, пашни, сенокосы, а дороги и населенные пункты разместил на земле далеко не наилучшим образом, как того требуют рельеф, почвы, климат, растительность и как в XX веке требует здравый смысл.

Но человек не может повторить свою жизнь, даже если она прожита им вопреки его желаниям и здравому смыслу, а вместе с ним не может и земля пережить все сначала. Зато там, где люди задумывают сформировать

еще одну страну, они должны начинать, глядя далеко-далеко вперед, угадывая жизнь своих потомков.

В Горном Алтае человек начинает сегодня, он еще только создает здесь обетованную землю, а начало уже определяет конец — вот о чем говорил Рязанцев. Он говорил, мысли его увлекали, а в то же время какая-то беседа продолжалась у него с самим собой, какие-то рассуждения шли у него своим чередом, и спустя некоторое время он определил, что к женщинам у него другое отношение, не такое, как к мужчинам, — женщины с первой встречи тоже ни в чем не могли его убедить, но привлечь к себе его внимание они могли. И судить о них, и понимать шаг за шагом, последовательно, не умел. Судил, а каким образом — этого не знал.

Когда кончили беседу, Михаил Михайлович тихонько, но, кажется, одобрительно кашлянул. Парамонов долго сидел неподвижно и улыбался неподвижными глазами, а Елена Семеновна помолчала-помолчала и вдруг проговорила:

— Времени-то еще немного, отвез бы ты, Леша, Николая Ивановича прямо к Шарову. А?

— К Шарову? Почему? Люди им незнакомые! — Парамонов пожал плечами. — Опять же как машина... Кабы не рессоры... Дорога-то, сама знаешь...

Рязанцев хотел спросить, что это за Шаров, к которому надо ехать, и зачем к нему ехать, Михаил Михайлович тоже озадаченно и с недоумением посмотрел на хозяйку дома, а она совершенно тем же тоном, никому ничего не объясняя, повторила:

— Отвез бы ты, Леша, Николая Ивановича к Шаровым...

И Рязанцев тоже подумал: «Нужно поехать!» Сказал Парамонову:

— Едемте, Алексей Петрович! Едемте!

— Ну что же? Пожалуй, можно и поехать... Что же... — согласился тотчас Парамонов. — Рессоры, подика, стерпят...

Блестели камни на вершинах гор и по обеим сторонам дороги, блестели травы, блестело небо. Все блестело, как в доме Елены Семеновны, все на ее дом было похоже: небо — прозрачной синевой, вершины гор — темной, как бы начищенной медью, камни у дороги — блеском слюдяных крапинок.

«Козлик» со слабыми рессорами подкатил к реке со стороны высокого обрывистого берега...

И река тоже блестела зелеными, голубыми и еще какими-то необыкновенными красками. Она была глубока, прозрачна, ее краски как бы излучались пестрыми камнями со дна реки, так что казалось, словно там, в самой глубине, воды и вовсе нет, что вода течет и журчит лишь на поверхности, а глубже все русло заполнено плотным и ярким светом...

Узкая дорога, может быть, всего на десяток сантиметров шире, чем кузов машины, поднималась все выше и выше.

Выехали на маленькую площадку, здесь шофер затормозил, сказал, чтобы все вышли, распахнул дверцу кабины и один осторожно поехал еще выше, а потом круто стал спускаться вниз.

Все, кроме шофера, с километр шли пешком, и, пока шли, Рязанцев спросил Елену Семеновну, очень ли нравятся ей здешние места, хотя он уже знал об этом, не спрашивая.

— Здешняя я, — ответила она, — алтайская. Вон за тем самым дальним хребтом рожденная. Другого не знаю, не видела. Что же мне и любить тогда, как не это?

Идя по краю обрыва, она вдруг остановилась, показала вниз на реку, потом подняла розовую руку в коротком рукаве. На руке ее при свете солнца ясно проступали тончайшие, очень короткие волоски, такие же, какие были на листьях трав кругом.

Поднятой светящейся рукой она показала на вершины:

— Можно ли не любить?

Рязанцев не ответил — смотрел на горы, на небо и на нее.

Она вдруг покраснела и руку опустила...

Он же не опустил взгляда, смотрел на нее, какова она в смущении — порозовела так, что солнце просвечивало теперь ее лицо справа, а левая щека была едва зеленоватой по розовому: отражала свет от листьев жимолости, рядом с которой Елена Семеновна остановилась.

— А знаете ли, — сказал Рязанцев наконец, — очень вы похожи на одну женщину, о которой я часто думаю... Только та далеко, в степях, в городе Красный Кут. Вас я еще не видел, только слышал, как вы разговаривали в соседней комнате с Алексеем Петровичем, но сразу догадался о вашем сходстве...

Она несколько оправилась от своего смущения и кивнула:

— Так бывает. По голосу можно человека представить всего и не ошибиться. Верно, верно! Так может быть!

— Но я ту женщину, на которую вы похожи, никогда ведь не видел?

— Только слышали? Может, по радио?

— И не слышал никогда...

Тут Елена Семеновна задумалась. В это время они с камня на камень перешагивали через ручей. Елена Семеновна в ручей заглянула, увидела себя в прозрачной воде и остановилась, будто разгадывая что-то в своем отражении.

Очень легкой казалась она, стоя на камне, на котором едва-едва умещались ее белые, сплетенные из узких ремешков босоножки.

— И так, значит, тоже может быть?!— не то спросила, не то согласилась она.— Не видели, даже не слышали, а все-таки представили себе человека... Всего... Можно ли так? Не знаю, не знаю.— Встрепенулась, шагнула на следующий камень.— Пойдемте! Отстали мы с вами...

Парамонов и Лопарев шли впереди, шагах в ста, Рязанцев поглядел на них из-под руки.

— Отстали, да... Пойдемте.— Но сам шагу не прибавил.

— Так пойдемте же скорее!

— Пойдемте...

И опять она вышла вперед и должна была потом приотстать, чтобы идти с ним рядом, а он спросил:

— Ну а тяжело, наверно, Алексею Петровичу руководить совхозом? Трудно? Вы ему помогаете?

Елена Семеновна пошла не в ногу и скользнула по его лицу коротким, внимательным взглядом, в котором промелькнул испуг, потом ответила строго:

— Руководит не первый год... Учился этому... Да пойдемте же догоним их!

— Они и сами, если захотят, нас обождут... Алексей Петрович уже оглядывается.

— А если ждут, пойдемте скорее.

— Сколько же всего рабочих и служащих в совхозе?

— На первое января было триста восемьдесят восемь... Да вы бы в самом деле спросили у Алексея Петровича, он же лучше знает!

— И вы знаете.— Рязанцев догадался, что именно в этот момент Елена Семеновна совершенно точно поняла: как Парамонов был для него слабым учеником, так им и остался до сих пор. Сделалась еще строже, глаза прикрыла ресницами, щеки у нее как будто вытянулись, исчезла с них добрая припухлость...— Так приходится вам помогать мужу? Вникать в дела?

Шагов десять она прошла молча, будто не расслышала вопроса, потом сказала тихо:

— Я ему жена...

Теперь замолчал Рязанцев. Не хотел кончить с нею разговор и не знал, можно ли его продолжить. Удивился, с каким значением Елена Семеновна произнесла эти слова, и тут же заметил совсем новое выражение на ее лице: она торжествовала и широко распахнувшимися глазами, и неожиданно лукавой улыбкой. Думала, что обезоружила его своим ответом.

— Вот что, — сказал он, — а ведь Алексей Петрович, верно, шагу не шагнет в своих делах без вас. Или мне так кажется?

— Не я его учила делу. Учитель — вы! — Снова она поглядела на него сначала серьезно, потом — лукаво, но тут же сказала еще: — А я что? Я в жизни своей ничего не видела, не знаю!

Вот это было совсем напрасно ею сказано, если она хотела еще полукавить. Не надо было этого говорить.

Догнали Парамонова с Лопаревым, и Рязанцев позвал:

— Алексей Петрович!

— Ась?! — торопливо отозвался Парамонов. Должно быть, Парамонову хотелось закончить разговор с Лопаревым, и он очень радостно произнес это свое «ась».

— Алексей Петрович, ведь вы же на Всесоюзной сельскохозяйственной бывали?

— А как же! В тысяча девятьсот пятьдесят седьмом — широким показом.

— Ну а жену с собой брали? Чтобы она посмотрела Москву?

Елена Семеновна не дала ответить. Обидевшись, что о ней спрашивают у мужа, сказала:

— Конечно! Ездил! Все видела!

— Она-то, — спустя долгое время подтвердил Парамонов, — она-то ездила. Все-все я ей показывал там!

— Ну вот, — снова обращаясь к Елене Семеновне, сказал Рязанцев. — Значит, не только эти горы вы знаете...

Его ничуть не озадачило выражение досады на лице Елены Семеновны. Он уже видел на нем и внимание, и радость, и смущение, и лукавство, видел его строгим, а теперь смотрел в ее обиженное и какое-то недоумевающее лицо и думал, что все-таки она не будет обижаться. И в самом деле, очень тихо она снова заговорила:

— Так вы что же думали — вот так совсем ничего-то я и не видела? Только ведь в Москве-то разве рассмотришься за неделю какую или за две? Я больше удивлялась там. А мало этого — одного удивления...

Таким было примирение между ними.

Паром оказался на той стороне реки. Алексей Петрович поглядел внимательно.

— Здесь Меркурий. Во-он за ветлой — удочки закинуты. Погуди-ка, Гриша!

Шофер, только что подъехавший к переправе круговой дорогой, стал звать паромщика сипловатыми гудками «козлика», и вскоре на том берегу показался человек в бурой войлочной шляпе, с бурой же бородой, с ножом в больших деревянных ножнах на пояске. Крикнул: «Сей-час я! Сейчас!» — и, приложив руку к шляпе, стал рассматривать, кто это незнакомый едет с директором. Не торопясь взошел на паром, а потом снова шагнул на берег.

— Шест забыл! — сказал Парамонов.

Меркурий отыскал шест, снова взошел на паром и снова задумался.

— Блок соскочил! — сказал Парамонов.

Меркурий вскарабкался на перила, поправил шестом блок и снова стал неподвижно...

— Чалку не отдал! — сказал Парамонов.

Меркурий отправился на берег, снял чалку с пенька, и Парамонов крикнул теперь уже веселее:

— Давай, давай!

Паром начал переваливать через реку. Рязанцев, глядя на Меркурия, который в одной руке держал гребь, а в другой — кисет с куревом, сказал:

— Каков мужчина! Борода-то, борода!

Елена Семеновна спросила:

— Нравится?

— Не заметить нельзя — вот в чем дело...

— Ну, на обратном пути будем переправляться, не заметите.

— Почему же?

— На другого мужчину поглядите. На Шарова. Этот под Шарова только работает. Не более того.

Все-таки, покуда переправлялись, Рязанцев не спускал глаз с Меркурьевой бороды. И Меркурий, должно быть, был польщен таким вниманием.

Пристали к тому берегу, «козлик» зафыркал, осторожно сполз на берег, покачнув паром. Алексей Петрович сказал:

— Тут ручей течет особенный! Будем воду из него пить! Нарочно завернем на ручей!

— Не хвастайся заранее, Леша,— заметила Елена Семеновна.— А если Николаю Ивановичу не понравится?

— Что за ручей?— спросил Рязанцев.

— Не хвастайся заранее, Леша,— опять повторила Елена Семеновна.

Парамонов сказал:

— Садитесь, Николай Иванович! Гадать не будем, сейчас отпробуем водицы! Тут всего-то — полкилометра свернуть с дороги.

Вскоре выехали на небольшую лужайку, покрытую редкой травой, серым крупным песком и отшлифованными круглыми булыжниками. Должно быть, весной и летом в сильные дожди вода здесь все затапливала, а сейчас лужайка эта, как паутиной, была покрыта ручейками, которые то сливались вместе, то снова дробились и растекались в разные стороны. Ручейки были с чуть заметным синеватым оттенком.

Елена Семеновна вышла из машины вслед за Рязанцевым, сперва засмеялась, потом стала опять серьезной.

— Давайте теперь пить... Уж не знаю, понравится ли вам, Николай Иванович.— И сама быстро опустилась на колени, затем расстелила на круглом камне свою пеструю косынку, легла на нее грудью и припала к воде.

Рязанцев тоже нагнулся к ручью. Было что-то опьяняюще свежее в этой воде, в ее чуть-чуть кисловатом привкусе и в том, как приятно было эту воду ощущать в себе, обонять, видеть ее синеву перед собою и слышать, как она журчит вокруг губ...

Садились на камни, глядели в небо, и на горы, и на свои отражения в сизой воде, снова припадали к ручью...

Наконец Елена Семеновна громко и протяжно вздохнула, села на камень и подняла влажные руки навстречу солнцу — чтобы просушить их и согреть. И лицо с каплями на носу, на щеках, на ресницах тоже вскинула, а потом всю себя каким-то незаметным движением обратила навстречу ярким, сияющим лучам, посидела так с минуту неподвижно и вдруг оглянулась на Рязанцева:

— Значит, вам понравились ручьи? Сизые-то какие... Голубиные.

— Еще бы!

Смотрел на нее и думал: «Что было бы, если бы женщины любили только тех, кто этого заслуживает?»

Вздохнул.

«Наверно, трагедий было бы еще во сто крат больше!»

Не скоро сели в машину, поехали дальше.

И только стали подниматься от ручья в гору — тр-рах!

Рязанцев еще не понял, в чем дело, а Парамонов уже сказал жене:

— Говорил я тебе, Лена! Предупреждал! — Обернулся к Рязанцеву. — Хуже нет, Николай Иванович, слушать женщин! Уж я на своей шкуре это дело испытал, а нынче уступил, и вот — рессора лопнула! Ну говорил я тебе или нет? Вы извините, Николай Иванович, и вы тоже, Михаил Михайлович! Виноват!

Елена Семеновна смутилась, сникла, нельзя стало узнать в ней ту женщину, которая всего несколько минут назад сидела около ручья на камне, вся обратившись к солнцу.

Вышли из машины, шофер безнадежно развел руками:

— Рессора...

А Парамонов все корил ее, молчаливую:

— Говорил же! Предупреждал!

Рязанцев пытался Парамонова остановить, но сам был смущен — из-за него Елена Семеновна выслушивала упреки, а Лопарев молчал-молчал, а потом сказал:

— Ну что, Алексей Петрович, на ваших охах да вздохах дальше поедем или как? Пешком?

К парому пришлось и в самом деле возвращаться пешком, а там грузовая попутная машина подвезла всех до отделения совхоза...

Тут уже Алексей Петрович был хозяином — послал за «козликом» колесный трактор, в кабине потрепанного грузовика отправил Рязанцева и Лопарева в Акат, сам с Еленой Семеновной остался ночевать на квартире управляющего отделением.

Елена Семеновна все молчала...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Однажды утром, еще до завтрака, Вершинин-старший и Рязанцев заспорили о поэзии.

Вершинин очень горячился, доказывал, что в двадцатом веке труд — даже научный труд и научные открытия, так же как и любое творчество, стал делом коллективным, поэзия же не может быть коллективной — и вот она исчезает...

Рязанцев не соглашался, Вершинин-старший нервничал.

— Техника поглощает человека! — говорил он, размахивая кедровой палкой. — Поглощает! И, должно быть, существует закон равновесия между приобретениями и потерями: человек приобретает в чем-то одном, теряет в другом. В технике обогащается, в поэзии беднеет!

Он стал необычайно глубокомысленным, Вершинин-старший, и повторил:

— Итак, закон! Существует закон!

Онежка раз и другой внимательно посмотрела на Вершинина. Лицо у него было значительным, воодушевленным, видно было — Вершинину-старшему очень хотелось прочесть кому-нибудь лекцию. По философии или еще по какому-нибудь предмету.

В лесном институте на лекциях по диамату Онежка с недоумением слушала лектора, который говорил о философах, совершенно ничего не признававших в мире, кроме самих себя. Философы считали весь мир существующим только в их собственном воображении, больше нигде. Но в их воображении запросто могло и не быть Онежки, лесного института, самого лектора и всего земного шара. Каким же образом для кого-нибудь, все равно для кого, этого могло не быть, если все это было?

Проще всего было предположить, что не существует самих философов, так нет же — они как раз не отказывались от своего собственного бытия.

И надо же так случиться — на семинарских занятиях ассистент задал ей вопрос об этих же самых философах. Она сказала, что не проработала их. А философы домогались своего: на экзамене снова ей попались. В конце концов Онежка получила тройку — не могла объяснить их точку зрения. Ведь объяснить — значит понять! Ведь так?

Теперь Онежка подумала, что Вершинин-старший очень похож на тех философов — для него существуют законы, которых он хочет, в которых нуждается. Но вот не нужна ему поэзия — и он ее не видит и уже создал свой «закон», по которому поэзии не должно быть. Пожалуй, теперь она не получила бы тройки по диамату, получила бы «четыре».

Вершинин-старший будто нарочно подтвердил мысли Онежки, когда сказал:

— Я думаю, что, если бы я со своими детьми, когда они были еще детьми, читал бы вслух Пушкина, беседовал с ними о прочитанном, нам и теперь было бы проще друг друга понимать...

— Значит, признавали поэзию и все-таки не читали? — спросил Рязанцев.

— Минутку, минутку! Потому и не читал, что поэзия уходит из нашей жизни. Уходит, уходит! Все меньше влияет и на моих детей, и на меня самого. Таков закон нашего времени!

«Вот сейчас, — думала Онежка, — Рязанцеву бы хлопнуть Вершинина-старшего по плечу: «Бросьте, Константин Владимирович! Ваши законы потому у вас и возникли, что вам нужно себя перед самим собой оправдать. Что-то вы потеряли и теперь хотите, чтобы все потеряли то же самое!»

Но нет — Рязанцев стал говорить гораздо умнее.

Сказал, что человечество за всю свою историю еще не потеряло ничего прекрасного. Ни античной скульптуры, ни римского красноречия, ни живописи Рафаэля, ни умения любоваться вот этими горами — ничего! Все сохранило! Наоборот, чем дальше, тем глубже люди все это объясняют себе. Сказал, что поэзия — это истина. У истины же всегда были препятствия. И у поэзии они всегда были, а она их всегда преодолевала — прежде всего преодолевала безразличие. Сейчас истина преодолевает такое препятствие: человечеству некогда. Но она и через некогда перешагнет.

Один раз Рязанцев заговорил почти Онежкиными мыслями:

— Для того чтобы открыть, нужно желать и ждать. Если вы не желаете поэзии, не ждете — ее для вас не будет!

Поглядел вокруг, будто искал подтверждения своим словам, но Онежку не заметил. Не обратил на нее внимания и дальше продолжал о том, что нет и не существует никакого закона приобретения и потерь: цивилизация, умение человека мыслить вовсе не лишают его ни эмоций, ни физических сил, ничего не лишают. Спортивные рекорды двигаются вперед, а не назад. Затопек пробежал марафон уже за два часа и двадцать три минуты, мыслью убедив себя, что это — нужно!

— Представьте себе, Константин Владимирович, — сказал Рязанцев, — что вы не научились бы мыслью подавлять в себе физическую боль. Что, когда вам больно, вам не помогает мысль.

Вершинин усмехнулся — или не хотел, или не умел ответить.

А для Онежки это так и было: она часто испытывала боль и научилась ее подавлять.

— Прежде чем обращаться к поэзии, следует спросить себя: есть ли в тебе нечто поэтическое? — продолжал Рязанцев. — Наверное, идеал — это общение, беседа двух поэтов: одного пишущего, другого читающего...

— Одним словом, двух избранных — хотите вы сказать дальше? — перебил Вершинин.

— ...Дальше я хотел сказать: и язык этих бесед должен быть не для двоих, а общечеловеческий. Чем больше каждый из них будет проникнут общечеловеческими идеями и заботами, тем скорее они поймут друг друга.

— Сама жизнь должна вызывать во мне каждодневную потребность в поэзии! — возразил Вершинин.

— А вы должны искать ее в жизни! Искать и находить!

Вершинин стал торопливо доказывать, что поэтов пишущих, и особенно плохо пишущих, становится все больше и больше, потому что больше стало печатных станков, количество снижает качество, а поэтов читающих — все меньше, потому что им действительно некогда.

— Медицина борется за жизнь человека, а разве человек не борется за медицину? Боритесь и вы за поэзию так же, как и за науку! — призывал Рязанцев.

— Мне деньги платят за то, что я борюсь за науку! Это вменено мне в обязанность и в привычку — понятно вам?! — уже совсем сердито отвечал Вершинин.

— Было время — не платили ни за науку, ни за поэзию. Такое время настанет снова, при новом, несравненно более высоком, чем прежде, интеллекте. Тогда и наука и поэзия вступят в свою настоящую историю. Может быть... — Рязанцев оглянулся по сторонам, заметил Онежку и сказал: — Может, Онежка будет заниматься наукой или поэзией, совершенно не заботясь о том, какие материальные блага для нее за этим последуют!

И тут Рязанцев усмехнулся, — видно, сам не очень верил, что Онежка будет ученой или будет писать стихи. А спустя еще некоторое время вдруг сказал:

— Константин Владимирович, обратите внимание во-он на тот камень! Видите?

Вершинин решил, что противник сдался, охотно его помиловал и торопливо спросил:

— Где? Который?

Камень лежал на выжженной солнцем бурой сопке, это был кусочек степи в горах: кое-где волновался вокруг камня ковыль, то фиолетовым, то синим цветом вкрапливался чабер.

Горб у камня был посредине, и клюв, которым он, казалось, пытался что-то вырвать из земли, и лапа — когтистая, выкинутая далеко вперед. Другая — согнутая, поджата под туловище. Хвост, как у ящера, покрыт чешуей — огромными плитами.

Несколько дней все видели этот камень, но никто не обращал на него никакого внимания. А между тем камню нужно было удивляться.

Теперь Вершинин и Рязанцев ему удивились и тотчас распознали в нем скифского грифа — причудливого льва с орлиными крыльями, а потом китайского дракона — крылатого огнедышащего змея.

«Камень» — это, наверное, было неправильное название — там была скала, сложенная из множества камней. Но о том, что на сопке не один, а множество камней, нельзя было сказать: все они соединялись в нечто целое — в «него».

И Вершинин с Рязанцевым находили самые разные сравнения. «Ихтиозавр», говорили они, «посланец космоса», «разрушенный замок». Еще они говорили — «странный», «неведомый», «фантастический».

— Видите, Константин Владимирович, — в конце концов сказал Рязанцев, — сколько сравнений нашли мы для одного камня!

— Великое множество! — согласился Вершинин.

— И вот до тех пор, пока мы сравниваем что-то с чем-то не по химическому составу и не по физическим свойствам, а по тем впечатлениям и чувствам, которые вызывает у нас окружающий мир, до тех пор вместе с нами будет существовать поэзия...

Вершинин хотел перебить, Рязанцев протянул руку ладонью вперед:

— Я не кончил! Камень вызывает тысячи эпитетов и сравнений, но, заметьте, все-таки с чем-то его уже нельзя сравнить. С чем-то невозможно!

Вершинин не понял. Лицо у него вытянулось, но, вместо того чтобы сказать: «Не понял, Николай Иванович!», он сказал:

— Минутку, минутку, дорогой мой и уважаемый Николай Иванович!

А Рязанцев оглянулся по сторонам и снова заметил Онежку.

— Скажи, пожалуйста, Онежка, с чем нельзя сравнить вон тот камень? Во-он тот! На сопке. Видишь? С чем его никак не сравнишь?

— С «ней», с существом женского рода, нельзя сравнить, — ответила Онежка.

Рязанцев моментально Онежку понял:

— Верно! Правильно! Там, — кивнул он в сторону камня, а потом и протянул к нему руку, — там существо мужского рода. Недаром мы с вами, Константин Владимирович, называли его и фантастическим и космическим, но ни разу не сказали — фантастическая, космическая! Потому что это — он и ни в коем случае не она! Значит, камень в нашем представлении все-таки имеет границы сравнений. И пока я спрашиваю себя, до каких пор этот камень для меня камень, это небо — небо, а главное, самое главное, до каких пор я — это я, — для меня необходима поэзия.

Вершинин снова заговорил было:

— Но-но-но, дорогой...

А Рязанцев снова вытянул руку ладонью вперед:

— Поэзия недаром подбирает друг к другу и как бы сравнивает между собой созвучия слов. Неожиданные и красивые созвучия помогают ей найти неожиданные сравнения. Найти и доказать... Недавно один поэт дока-

зал сходство между спутником Земли и пшеничным зерном. Доказал, потому что у него в стихах так думал тракторист, ночью засевая пашню.

Спор стих.

Онежка представила себе тракториста, который сравнил спутник с пшеничным зерном. Вслед за ним легко можно было сделать так же и даже смелее: сравнить все небо с пашней, а все звезды с зернами. Вслед за ним... Но ведь человеку нужен свой собственный след. Ведь нужен!

Она редко читала стихи и всегда думала — наверное, это ее порок. Но это был не порок, нет. Попросту она не знала, как среди множества стихов найти свои собственные, пусть написанные кем-то, но для нее. Не знала, потому что у нее не появлялось вопросов к стихам. Но вот вопрос возник. И появилось право что-то требовать от стихов, быть может, даже указывать поэтам, чего она от них ждет.

Вершинин-старший такого права за собой не чувствовал.

А Рязанцев?

Уже много раз Онежка замечала сходство между собой и Рязанцевым. Она удивлялась и не хотела себе верить: Рязанцев был слишком взрослый и слишком умный...

И сейчас она тоже не поверила, что у нее и Рязанцева могут быть одни и те же чувства и мысли, что они одинаково могут слышать стихи. «Наверное, — подумала Онежка, — когда Рязанцев открывает книжку со стихами, он считает своим долгом сначала представиться: «Рязанцев Николай Иванович. Старший научный сотрудник. Географ».

А Онежка, как она могла поэзии представиться? «Онежка Коренькова. Студентка». Поэзия ей ответила бы: «Много вас таких. Всех не запомнишь!» Но в том-то и дело, что у нее не было ни малейшей необходимости раскланиваться перед поэзией, рекомендоваться ей.

И в то время как в поэзии могло и совсем не оказаться стихов для Вершинина-старшего, могло быть очень немного стихов для Рязанцева, — без стихов для Онежки поэзии не могло быть. Поэтому Онежка вправе их требовать и требовать, эти стихи, эти слова.

День был нынче как день — с поволокой в самых вершинах гор, с чуть потускневшими зелеными пятнами можжевельника казацкого на склонах, с синим ле-

сом в складках между горами, с коричневыми, фиолетовыми и красноватыми потоками каменных осыпей, застывших в неустойчивом равновесии... На склонах каждой горы словно отпечатаны географические карты каких-то неведомых стран.

Приглушенными были голоса ручьев, словно они только еще разучивали свои песни, притихшими были деревья и травы, как будто они только-только начинали между собой какую-то беседу, солнце было неярким, небо еще не синим, и облака едва заметно колебались, вглядываясь в те дали, куда им вот-вот предстояло тронуться. Все в природе нынче ждало прихода затерявшегося где-то дня, все как бы недоумевало из-за этого опоздания, все было наполнено и ожиданием и недоумением.

Нынешним летом Онежка неизменно разделяла с природой ее настроение. Просыпаясь, выглядывала из палатки, вдыхала росный воздух и в самой себе тотчас открывала что-то такое же: такое ощущение, такие чувства, которыми, казалось ей, было наполнено утро.

Позже, днем, когда Онежка работала в лесу или готовила пищу на костре, она это свое настроение ничем не выдавала, всегда, в любую погоду — и в самую яркую, и в туманную — бывала одинаково спокойной и деловитой. У нее был тайный сговор со всем окружающим ее горным миром, союз, о котором она ни на минуту не забывала, хранила его и даже как-то тихо сама перед собой гордилась им, и слушала его, и каждый день вновь и вновь по-разному звучали для нее слова «истод, адонис, эдельвейс».

Так было с первого дня путешествия, и так не было сегодня. Сегодня впервые она не поделила с природой ее утренней судьбы, ее ожидания, царившего нынче замешательства, какой-то нежной и ласковой неуверенности.

Все она заметила нынче, все ясно увидела вокруг себя, все поняла и ничему не поддалась.

Она вдруг отказала в каждодневном и безоговорочном союзе всему окружающему, хотя ни одним словом, ни одним едва уловимым чувством этот союз ни в чем не смогла бы упрекнуть.

Нынче она должна была не только все видеть, все слышать, но еще и постигнуть: «А я сама до каких же пор — я?!»

«Жива?» — спросил ее Лопарев на Семинском хребте. Какой раз она об этом вспоминала! И все потому, что тогда это было самое значительное слово для нее, самое необходимое: ей нужно было убедиться, что она действительно жива, и Лопарев ее в этом убедил.

Она тогда еще не ждала такого слова, еще не знала о его существовании и только позже подумала: «Значит, есть такие слова, которые могут выразить тебя всю и приходят тогда, когда они больше всего на свете нужны тебе? Значит, люди устроены таким образом, что они могут угадать то, что для тебя самое важное?» Она радовалась.

Но вот настала пора услышать что-то новое и еще более важное, чем прежде. В тот раз она услышала, что она жива. Так ведь мало ли что жива, мало ли кто и что живет на свете! А дальше? «А до каких пор я — это я?»

Никто и ничего не говорил ей об этом.

Но она уже не верила, что так может продолжаться, ждала день ото дня все сильнее, не обижалась, что все считают ее совсем девчушкой, подростком, которому ничего не надо от людей. Ничего не надо, кроме разве похвалы тощего шофера Владимировского: «Критикнем суп? Ничего себе суп — с положительной оценкой!» Она ждала, а тем временем во что-то целое, во что-то огромное складывалось все, что она видела и слышала в мире, с которым у нее был союз. К чему-то она приближалась и никак не могла разглядеть — к чему. Еще одного шага не хватало. Одного-единственного слова, одного ощущения, одной какой-то мысли. Придет одно слово, и слышится целая песня. Придет оно, и в тот же миг возникнет неведомое до сих пор осознание всего, к чему до сих пор она прикасалась только взглядом и слухом, и станет ясным, для чего она жива, до каких пор она — это она.

И тут появилось вдруг странное сравнение: она сравнила Лопарева со всем остальным, что Лопаревым не было.

Очень странным это было вначале, а потом стало казаться, будто одного какого-то слова не хватало ей во всем окружающем ее мире и тоже одного — в Лопареве, чтобы его понять. Может быть, даже и в том и в другом не хватало одного и того же? Одного и того же слова?

Вершинина-старшего и Рязанцева она узнавала каждый день все больше и больше, узнавала по

частям — они какие-то дробные были, и каждую их часть можно было узнавать отдельно от других.

Лопарева можно было либо не узнать совсем, каждый день видеть его словно в первый раз, либо узнать всего, в одно мгновение и до конца. И еще: когда Онежка видела Лопарева, ей казалось, будто его нельзя узнать, только думая о нем, для этого нужно было что-то сделать. Как-то поступить, что-то совершить.

Может быть, потому, что Лопарев сам говорил мало, а все делал, делал, делал. Возвращался из леса и даже в темноте не унимался: точил топоры и пилы, топорища остругивал, приносил ветви лиственницы, считал на них шишки.

Ей казалось, Лопарев очень хорошо знал, зачем спросил ее: «Жива?»

Она оглянулась тогда по сторонам, вздохнула всей грудью после пережитого страха, поглядела на него: «Жива!» И как будто родилась заново. А теперь пора еще раз родиться и продолжить разговор.

«. ?» — спросил бы он.

«. !» — ответила бы она.

И все на свете — и сам Лопарев, и все то, что Лопаревым не было, — все приобрело бы сразу новый смысл.

Онежка знала, что мог бы сказать Лопарев какой-нибудь девушке и что какая-нибудь девушка могла бы ему ответить.

Какая-нибудь... Высокая, стройная, которой ничего не надо искать и ждать. Не надо задумываться.

Онежка же Коренькова должна была сказать по-другому. Небольшая, некрасивая, только недавно повзрослевшая, она должна была сказать Лопареву что-то в тысячу раз большее, что-то обо всем на свете, что-то обо всей жизни.

Онежка ждала, когда к завтраку соберется отряд. Когда Лопарев придет.

Пришла Рита, за нею Реутский. Дорогой Реутский затеял, должно быть, серьезный разговор, а Рита смеялась над ним и называла Доктором медицины. Реутскому всегда хотелось перед кем-нибудь высказаться и никогда не удавалось, но сегодня он был особенно расстроен своей неудачей. Очень расстроен. Правда, никто этого не заметил, разве только Рита, но и она делала вид, будто тоже не замечает.

Пришел Андрюша. Повесил на палаточные колья гербарные папки, вынул из-за пояса нож, поглядел, не

затупилось ли лезвие, и тут же взглянул на отца, а потом на Рязанцева. Догадался, что снова был спор и снова отец не одержал победы.

Спросил у Онежки глазами: «Было дело?»

Она подтвердила: «Было, было!»

Часу в двенадцатом сели завтракать. Утром, чтобы не тратить времени, каждый обходился сухим пайком, а теперь был настоящий завтрак, он же обед.

Онежка все ждала, что кто-нибудь спросит: «А где же Лопарев? Почему нет Михмиха?» Но прежде шофер Владимировский, который в эти дни был в отряде, отхлебнул две-три ложки, посмотрел на солнце и сказал:

— Ничего себе суп. Положительная оценка.

И только спустя еще несколько минут Вершинин-старший заметил:

— Опять Михаил Михайлович опаздывает?

Ему ответил Вершинин-младший:

— Он впереди меня шел и около какого-то пня остановился.

Поели уже, отдохнули с полчаса и стали снова собираться в лес, когда наконец появился Лопарев — притащил огромный ворох ветвей и новые рогульки для костра: старые уже перегорели. Руки были у него в смоле. Он бросил ветви на землю и стал очищать руки о голенища сапог, а потом набрал горсть золы около костра и пошел на ручей отмывать с рук смолу.

Онежка ждала, когда он вернется и попросит «заправки». Михмих ни завтрак, ни обед, ни ужин иначе не называл, как «утренняя заправка», «обеденная заправка» и «заправка на сон грядущий». Вершинин-старший спросил его:

— Что это вы запоздали, Михаил Михайлович? Мы уже второй раз собираемся на делянки!

— Напрасно! — сказал Михмих, не оглядываясь. — Погода вот-вот испортится, лучше было с утра поработать.

Все поглядели на небо. Верно: утренняя синева в горах обернулась теперь каким-то редким и сизым туманом, но туман этот на глазах становился все более бесцветным, серым, самым обыкновенным морозящим дождиком. Вот к чему привело то неопределенное ожидание, которым было наполнено утро с самой зари! Все уже поели, отошли от костра, и Онежке тоже было неудобно торчать около Лопарева. Она налила ему супа, отрезала большой ломоть хлеба, соль подвинула и гор-

чицу — горчицей Лопарев любил намазать хлеб — и пошла мыть посуду.

Лопарев заправился в какие-нибудь несколько минут и сразу подтянул к себе ветви лиственницы, которые он принес из леса. Стал обрывать и раскладывать по ящичкам шишки.

Онежка присмотрелась — он вел счет нынешним, прошлогодним и позапрошлогодним шишкам и, кроме того, отдельно красношишечной и зеленошишечной формам.

В последнее время Лопарев искал между этими формами различия, хотя Вершинин-старший и говорил, что различий абсолютно никаких нет: ни в биологии, ни в морфологии — ни в чем. Многие ученые их искали, но никто ничего не нашел.

Но Лопарев все равно искал. Втихомолку. Для себя. Может быть, он и не ставил такой задачи — обязательно различия найти, и только сам, своими глазами хотел убедиться в том, что их нет.

А может быть, он различия, несмотря ни на что, находил. По каким-то словам Лопарева, по его обрывистым замечаниям Онежка догадывалась, что он ищет не зря: у него получалось, будто бы одна форма лиственницы сибирской обладает более толстой корой и поднимается выше в горы, чем другая, что одна плодоносит больше, а другая — меньше.

Онежка посмотрела на Лопарева. А вдруг он поделится с нею своими догадками?

Движения у него были резкие, в горсть он быстро набирал десяток шишек и в тот самый момент, когда обрывал их, уже вел им счет. Если были заняты обе руки, а ему нужно было подвинуть или перевернуть ветку, он помогал себе локтями, ногой, даже подбородком, один раз прижал ветвь к груди, покуда обрывал с нее шишки.

Онежка смотрела долго-долго, потом сказала:

— Михаил Михайлович, давайте я вам помогу...

Лопарев понял, что она увидела, как он ведет счет отдельно красным и отдельно зеленым шишкам.

— Не надо! Обойдусь.

Дождь начал накрапывать. Сквозь этот дождь, еще нечастый, неторопливый, Онежка стала разглядывать необыкновенный камень. Тот самый, о котором шел нынче спор между Рязанцевым и Вершининым-старшим. Спор о поэзии.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Работали в лесу, было очень жарко, а Лопарев все не давал никому отдыха. Только за полдень объявил «перекур».

Рита бросила на влажный мох плащ, легла, ноги согнула в коленях, а голову положила на ладони и стала смотреть вверх.

Доктор медицины Реутский сидел напротив, глядел на нее, а потом не нашел ничего лучшего, как подтолкнуть локтем Вершинина-младшего:

— Смотрите, Андрюша, наша Риточка, наша Биологиня — прямо-таки сфинкс!

Вершинин-младший прищурился:

— Кто-кто?

— Сфинкс... Вы что же, не знаете сфинксов?

— Мне слышалось, вы сказали «свинкс».

— Ах, право, какой вы! — растерянно зашептал Доктор.

А Вершинин-младший перевернулся на спину, зевнул, потянулся всем телом и сказал:

— Как это вы могли подумать, Доктор, что я вас, зоолога, не пойму?! Свинкс — это же узконосая обезьяна из рода павианов! Коричневого цвета. Еще она называется пино-пино! Правильно я говорю? Пино-пино?

Рита сделала вид, будто не слышала разговора, но простить Андрея не могла. Решила отомстить и сравнила его с африканским дикобразом, но забыла название по-латыни и запуталась.

— Если, детка, не знаешь, как назвать, — сказал Андрей, — назови так, как это называется...

И спорить, просто разговаривать с ним после этого было совершенно бесполезно. Тем более — показать, что ты сердисься, волнуешься. Он тотчас заметит и нагло скажет:

— Можно подумать — ты в очереди к невропатологу...

В тот же день, когда вернулись в лагерь и Андрей стал подсушивать растения у костра, Рита подошла к нему, подняла несколько листов гербария над огнем:

— Хочешь, сожгу?

Андрей как сидел на земле, ноги крест-накрест, посмотрел одним глазом из-под рваной шляпы, так и не пошевелился.

— Ну, Челкаш?

Он молча встал, отвел ее руки от огня и сжал так сильно, что листы выпали на землю.

— За баловство — не то еще будет!

Онежка в это время тоже была у костра, вытаращила глаза.

— Ты что, Андрюша? Пошутить нельзя? Больно, Риточка?

— Не больно. Нисколько! Вот он каков, твой Челкаш, — полюбуйся!

Ей, кажется, немного страшно стало — Рите, она Андрея испугалась.

Этот испуг и какое-то любопытство не оставляли ее и позже, так что самые скучные, ничуть не интересные события лагерной жизни иногда вдруг начинали привлекать ее внимание. И так бывало...

Вершинин-старший время от времени проводил пятиминутки, осуществляя единоначалие, и указывал, кому, что и как нужно делать. Младший молча ухмылялся: ему было десять раз все равно, что толкует отец.

Вершинин-старший вдруг требовал коллегиального решения всех вопросов, ставил на обсуждение предстоящие маршруты, а тех, кто молчал, называл саботажниками. Но Андрея никогда в споры не вовлекал. Если же Андрей подавал голос, так всегда одинаково:

— А не все ли равно?

Тут Вершинин-старший вскакивал, бинокль, полевая сумка, записная книжка со штампом института, перочинный и финский ножи, простой и цветной карандаши — все начинало на нем болтаться, подскакивать и подпрыгивать на ремнях и шнурках, а он еще срывал с головы шляпу.

— Как это понять, Андрей Константинович? Как это «не все ли равно»?

Другое дело, если вдруг затевал спор Лопарев, мрачно произносил:

— Планируем все... На пользу науки, на пользу отчета.

Наступала тишина, потом следовала речь Вершинина-старшего:

— Критикуем? Да? Легко и просто — нашуметь. А что предлагаем? Позитивно? Завтра к обеду совершить великое научное открытие? Не возражаю! Согласен! Санкционирую! Излагайте свой план! Слушаю вас, дорогой Михаил Михайлович!

Но слушать — никого не слушал, а продолжал и дальше говорить.

Память у него была необычайная, эрудиция — с первого до последнего слова. Он доказывал, что география нынче находится в таком состоянии, когда идет интенсивное накопление фактов, ведутся наблюдения над природой по самым различным и обширным программам, и важнейшая задача сегодня — честно и терпеливо трудиться, эти программы выполнять, не рассчитывая на лавры. И тогда, может быть, уже завтра количество фактов перейдет в качество, будут совершенны величайшие открытия и обобщения.

Кажется, он был во всем прав, старший Вершинин, но всем почему-то было скучно его слушать, а больше всего скучал Андрей.

Рязанцев — тот на планерках никогда не спорил, от него можно было ждать возражений разве только на другой день... Слушал Вершинина внимательно, не пропускал ни слова, а в то же время был занят и какими-то своими мыслями.

Кто и как ведет себя на планерках, Рите было безразлично, но она всякий раз спрашивала себя: когда Андрей молчит, молчит, и ничего больше, что он — подчеркивает свое пренебрежение к отцу? Или переживает чувство своего превосходства над всеми? Над всеми сразу?

Она волновалась, она всегда волновалась, угадывая в ком-нибудь себя, но иногда волновалась и сердилась оттого, что ничего не могла угадать в Андрее. Однажды заметила, что Андрей делает какие-то записи на планерке, подумала — он чертиков рисует, или карикатуры, или стихи пишет, а когда заглянула — оказалось, в блокноте у него набросок маршрута на завтра.

— Ты что же это, Челкаш, не поспоришь с отцом или с Михмихом? Ты же специалист? — спросила Рита.

Вершинин-младший пожал плечами:

— Знаешь, как говорил Наполеон?

— Мало ли как говорил Наполеон!

— Во главе армии лучше один дурной, чем два умных. А ведь батя — он же недурной?

Он защищал своего отца?!

Вершинин-старший Рите нравился. Рита не без иронии к нему относилась, но все равно он ей нравился. Но то, что сын его защищает, ей претило. Она хотела бы видеть Вершининых в столкновении: надеялась, что

когда-нибудь в споре с отцом Андрей окажется и побежденным и глупым. Вот бы она торжествовала! Еще лучше, если бы она сама сумела это сделать — когда-нибудь поставить Андрея в ужасно глупое положение! Чтобы он растерянно заморгал глазками, чтобы некрасивое лицо его потеряло то уверенное выражение, за которым некрасивость скрывалась!

Она ждала такого случая, сторала от нетерпения.

И вот на очередной планерке Вершинин-старший вдруг заявил, что он наметил пешие маршруты.

Лопарев и Реутский должны подняться к ледникам. Рязанцев с Кореньковой — перевалить через хребет и двигаться по южному его склону. Вершинин-младший и Плонская — по северному.

В программу маршрутов включены были работы по таксации, и Вершинин-старший спросил по этому поводу у Лопарева, доволен ли он, удовлетворено ли его производственное самолюбие.

Лопарев сдвинул картуз на затылок и сказал:

— А то нет! Доволен! По крайней мере, дело нужное, завтра же может пользу принести!

Рязанцев наклонился к Вершинину-старшему и о чем-то спросил его тихо, но тот не преминул объявить вопрос во всеуслышание:

— Николай Иванович спрашивает: «А удобно ли идти девушкам?» Отвечаю: удобно. Неудобства чаще всего возникают для них в городских парках и скверах, в тайге же я за двадцать семь лет ни о каких неудобствах не слышал. Послать девиц вдвоем нельзя, а с мужчинами — в самый раз!

Андрюша пожал плечами.

— Нельзя ли мне идти с Кореньковой?

— Это почему? — спросил Вершинин-старший.

— Она таежница!

— Так вот и учи Риту! Уму-разуму, вершининской сноровке!

Кажется, это был тот самый случай, которого Рита так долго и с таким нетерпением ждала. Кажется!

И она засмеялась:

— Уж я, Челкаш, заставлю тебя учить меня! Ты со мной понынчишься! Я костер разжигать не умею, ни о какой таксации знать ничего не знаю и на второй же день обязательно сотру себе ножку — будешь водить меня по тайге под ручку! Понял? А я буду висеть у тебя на шее! Тоже понял?!

Вершинин-младший наконец-то в самом деле рассердился, покраснел, а она громко засмеялась. Хотела показать, что нисколько не испугалась его, сердитого, что ей приятно оттого, что он сердится. Онежке показать: вот как она будет обращаться в тайге с ее любимым косоглазым Андриюшкой! Назло пойдет с ним в маршрут, назло заставит его за собой ухаживать!

А вечером, после планерки, Рита всячески избегала встреч с Реутским.

Видела, как он следит за каждым ее шагом, ждет и не дожидается такой минуты, когда она будет одна. Мучается.

Такая минута Рите тоже была нужна, быть может, не меньше, чем Реутскому. Только она не хотела, чтобы минута эта наступила по его желанию. Разговор состоится обязательно, но лишь тогда, когда захочет она. Что она скажет Реутскому, какие слова — добрые, злые, — не знала, но, не зная этого, все сильнее чувствовала, как молча она овладевает Реутским, как он готов уже выслушать от нее что угодно, любые упреки, во всем готов ей подчиниться, унизиться перед нею.

Чтобы не выдать себя, свое желание услышать Реутского, она была в этот вечер ласкова и внимательна к Онежке, не отходила от нее ни на шаг. Над чем-то они даже смеялись вместе, а тем временем Рита как будто видела Реутского со слезами на глазах, и это возбуждало ее еще больше, и еще меньше она знала, какие слова скажет ему.

Реутский в отчаянии несколько раз намеревался заговорить с Ритой при всех — она этот момент точно улавливала и останавливала его взглядом.

Он подчинялся.

Наконец Вершинин-старший сложил руки трубкой и крикнул:

— Отбой!

Реутский кинулся к Рите, а она, собрав уже последние силы, обняла Онежку за плечи:

— Пойдем, Онега, спать! Завтра нам в путешествие! Чуть свет! Я с Андриюшей с удовольствием прогуляюсь недельку!

Но не спала, слушала, как Реутский ходил около палатки, так же, как во время ее болезни, ходил и шептал:

— Рита! Вы не спите, Рита? Проснитесь, Рита!

Когда же Реутский на некоторое время уходил, ей начинало казаться, будто он уже спит в своей палатке. Ее охватывала дрожь. От обиды.

Так и не спала она всю ночь, глаз не сомкнула. То себя упрекала, то Реутского, то завидовала Онежке — какая у нее спокойная, счастливая жизнь, хоть она и курносая! Как она безмятежно спит в эту ночь перед маршрутом! Ей все равно, кто с нею пойдет — Реутский, Лопарев, или Андриюшка, или Рязанцев. Онежка одного только Вершинина-старшего пугается, ко всем остальным у нее совершенно одинаковая привязанность.

Утром Рита, умываясь в ручье, долго и внимательно гляделась в круглое зеркальце.

А хороша она была! Хороша!

Все идет красивому лицу, все такое лицо еще и еще красит! Она загорела в последние дни, покуда стояла солнечная, жаркая погода, загар придавал ей такой вид, о котором она сама никогда не подозревала: что-то таинственное появилось в выражении лица, чуть-чуть диковатое. У нее был красивый рот — крупный, выразительный. На смуглом лице особенно улыбка выигрывала — манящая, когда губы вдруг делались тоньше и едва заметно вздрагивали. И рисунок рта на смуглом лице был нынче как будто ярче и виден сразу во всех неуловимых прежде прелестных подробностях. Похудела немного после болезни, и тоже немного, совсем чуть-чуть, выступили и острее стали у нее скулы. Это придавало ей новый облик, что-то восточное, и каждый, кто чувствует восточную красоту, мог это заметить. А кто не чувствует — что же, еще и еще можно было на нее глядеть, глядеть по-разному в ее темные, всегда устремленные навстречу чужому взгляду глаза и открывать в них то, что ты чувствуешь больше всего. У нее все было в глазах. Она и сама на себя могла глядеть часами по-разному и разное в себе видеть. Иногда это ее поражало, тревожило: она боялась потерять ощущение себя. Вдруг перестанет понимать, какая она в самом деле, независимо от взгляда, которым на нее смотрят?

Тогда она прятала зеркало и старалась не вглядываться в себя, а вслушиваться, вызывала в себе свое «это» — это особенное, это единственное ей принадлежащее, в которое она верила безраздельно, хотя так и не знала, что оно такое.

«Это» все разное в ней снова соединяло во что-то одно, и снова совершенно точно она знала, какая она;

овладевала каждым своим взглядом, каждой едва заметной улыбкой, каждой черточкой своего лица и даже всем, что было на ней, — брошкой, косынкой, родинкой на правой щеке, у самого подбородка.

Умывшись в ручье, Рита пошла к палаткам, и так легко, будто совсем не касалась земли.

Только одна мысль нарушала ощущение ее собственной красоты, легкости — и легкости едва-едва занявшегося в горах утра: она боялась, что Реутский не ждет ее сейчас за огромным кустом боярышника. Она очень боялась этого.

Но он ждал ее там, за этим кустом. Осторожно, робко прикоснулся к ее руке.

— Рита! Что вы делаете? Зачем вы идете с ним в тайгу?!

Она тоже ласково коснулась его руки.

— О чем вы, Лева?

Реутский стал ее уговаривать, стал умолять, чтобы она отказалась, не ходила с Андреем в маршрут, — и все теми самыми словами, которые еще вчера безошибочно нащепывало ей ее воображение.

Рита слушала, улыбалась, смутно догадывалась о том, что должен был сказать ей Реутский, если хочет добиться своего. «Вы меня не слушаете?! Моих советов? Так черт с вами, поступайте, как сами знаете!» Вот что он должен был сказать, чтобы добиться своего: «Как сами знаете!»

А она не знала, почему и зачем так поступает, отправляясь в маршрут с Андреем; она испугалась бы своего незнания и осталась бы в лагере.

Но Реутский просил, что-то лепетал, а она слушала — и ей было удивительно приятно, радостно. Она подождала ровно столько, чтобы не стало уже неприятно его слушать, и перебила:

— Вот и я думаю, — сказала она нежно, — настоящих чувств не существует без волнений!

Всегда так бывало — она понимала, когда люди волнуются, когда сердятся, когда радуются, и тотчас это вызывало в ней совершенно обратное чувство: с сердитыми она становилась доброй, с радостными — грустной, с взволнованными — очень спокойной. Наверно, потому труднее всего ей было со спокойными людьми. С Рязанцевым, с Андрюхой.

Следующие полчаса-час, пока завтракали, поживаясь на утреннем холодке, показались Рите бесконечно

долгими. Каждую секунду она решала, что откажется, не пойдет с Андреем, успевая понять, что так нужно, что так будет лучше, что она боится его. Но в ту же секунду она успевала это понимание и этот страх отбросить, а почувствовать не то гордость, не то отчаяние, которые заставляли ее с Андреем идти. Идти, чтобы Реутский изнывал и терзался, чтобы Онежка переживала, чтобы Андрей потерял с ней неизменное свое спокойствие и уверенность, чтобы потом, когда все кончится, когда все вернутся из маршрутов, она не смогла бы себя упрекнуть: «Трусишка! Перепугалась какого-то мальчишку с поросычьими глазками!» Очень страшной была возможность такого упрека самой себе!

Когда же Вершинин-старший встал и, как всегда, сложив руки трубкой, крикнул громко: «В поле! По коням!», что означало — в путь, в маршруты! — и Онежка с Рязанцевым шагнули в пойменные кусты, мимо большого, все еще в каплях росы боярышника, Лопарев и Реутский двинулись в гору, на подъем, а Рита, глядя в спину Андрея почти невидящими глазами, сделала первые шаги, — минувшие полчаса сборов и завтрака показались ей одним кратким мгновением.

Ничего в это мгновение не успела она сообразить, ничего решить и вот идет теперь, только потому идет куда-то, что кто-то не дал ей хотя бы еще несколько секунд для размышлений! Мало ли какие доводы она могла бы тогда выдумать, — что у нее болит зуб, болит нога, болит голова, что она просто-напросто не считает для себя возможным идти в такое путешествие с парнем!

Если бы еще парень был интересный, разумный! Но с таким, как этот, — боже, что за наказание идти с таким! Что за страх!

Шли они по тропинке, которая, хоть и была едва приметна, все-таки уводила куда-то все дальше и дальше. Внизу, в кустах узкой поймы, метался ручей, прятался в зарослях, а выпрыгивая на камни, взмахивал белой пеной, потом снова исчезал.

Вверху громоздились к самому небу скалы, сложенные из громадных угловатых глыб, из которых, казалось, ничего немислимо было сложить. Скалы теснили и сталкивали тропу в ручей, тропа тоже прыгала с берега на берег, каждый прыжок казался последним — вот-вот тропа совсем исчезнет.

Тропа должна была исчезнуть, ручей заблудиться в кустарниках — это Рита видела, а больше ничего ей не

было видно, ничего она не замечала: ни голубого неба, которое откуда-то из-за скал пронизано было солнечным светом, ни далеких облаков, повисших в этом небе. Шла за Андреем — каждый шаг был для нее испытанием.

Будто и не по тропе шла, не по камням, а карабкалась от одного страха к другому, еще более сильному страху.

Пересекали они с Андреем ручей. Он перепрыгнул на другую сторону, а для нее выворотил из земли большой трухлявый сук и бросил в воду. Тут Рита взглянула Андрею в лицо, от напряжения налившееся кровью, и так испугалась, что подумала: сейчас умрет.

Не умерла. Ничего не случилось. Шли дальше.

Заметила впереди большой мшистый камень, весь пестрый, лохматый, вспомнила, как хотела сжечь на костре листы гербария и как Андрей схватил ее за руки: «За баловство — не то еще будет!» Вспомнила и подумала: вот где ей будет «за баловство» — около лохматого камня! Отстала... Не хотела к этому камню приближаться.

Андрей спросил:

— Что нашла интересное? Растение? — и хотел вернуться, а она, зажмурившись, пробежала мимо камня. Вздохнула: «Хотя бы в бога я верила, что ли?!»

Оттого, что ни на ручье, ни у лохматого камня ничего не случилось, Рите не было легче. Наоборот, еще страшнее было: все-все, что могло бы уже произойти, стать пережитым, испытанным, — все ожидало ее впереди. Иногда она догадывалась, что бояться нечего, что бояться смешно и глупо, что страх выдуман ею же самой, но от этого боялась не меньше, а еще больше и как-то безнадежно: страшно было, что ее рассудок ничем не мог ей помочь.

«Боже мой! — думала она. — Как было бы хорошо, как прекрасно, если бы я была как все, чтобы все у меня было как у всех, чтобы я почувствовала, что мне нельзя, невозможно идти в маршрут с Андреем, так и не ходила бы с ним!» Но она всегда хотела быть не как все, и вот сегодня эти все ей мстят!

Было у нее такое средство — посмотретья в зеркало, залюбоваться собою и безраздельно в себя поверить. И хотя понимала, что сейчас это не ко времени, все-таки вынула зеркальце из полевой сумки. Не узнала ни своих глаз, ничего не успела узнать, чем любовалась совсем

недавно, а вздрогнула вся: сверху, от черного дерева, смотрел на нее Андрей. Зеркальце выпало.

— Ну чего тебе? Чего? — вскрикнула она.

А он молча смотрел, и вот теперь было у него точь-в-точь такое выражение, как тогда, когда он сжал до боли ее руки: «За баловство — не то еще будет!»

В конце концов Рита совсем изнемогла, ходила следом за Андреем и записывала цифры, которые он ей называл: возраст деревьев, их окружность на высоте груди, породный состав. Сначала будто не она записывала, а кто-то другой за нее. Потом она открытие сделала для себя, страшное открытие: скоро уже наступит ночь, наступит тьма и во тьме они с Андреем будут только вдвоем. И от страха Рита стала понимать все цифры, понимать, что это она их записывает, а не кто-то другой, и хотела теперь, чтобы цифр было как можно больше, бесконечно много, чтобы и вечер длился тоже без конца.

Ночь наступила какая-то пустая. Пустая, и все! Всегда, как бы ни было темно, за темнотой чувствуешь других людей. Если нет людей, чувствуешь стены, деревья, горы, небо... Наконец, луну чувствуешь и звезды.

Но тут ничего не было, пусто было. Днем Рита так устала и видеть и слышать Андрея, что, когда он уснул на кедровых ветвях, под которыми прогрел сначала землю костром, она не смогла сообразить, что случилось: хорошо это, что он спит, или по-прежнему страшно?

Андрей как будто дал ей какой-то срок, какой-то отпуск от себя. И все остальное — лес, горы, небо, сама ночь — тоже отпустило ее от себя. Рита еще долго ощущала вокруг это ничто, прежде чем у нее появились мысли о чем-то.

Она вспомнила себя и еще двух других людей — Реутского и тетку с материнской стороны, которую у них в семье называли длинным и неуклюжим именем тетья «Что такое хорошо и что такое плохо». Почему-то только себя и этих двоих. Она долго вспоминала, каким образом заместитель декана Реутский в самом начале семестра официально вызвал ее в первый раз: лаборанта послал за ней или кого-нибудь из студентов? Так или иначе — она пришла к нему. В первой комнате кафедры, где занимались аспиранты и ассистенты, — никого. Вошла во вторую, где помещались доценты, — никого. Тут она догадалась: Реутский ждал ее в кабинете завкафедрой.

Он спросил ее, чуть смутившись:

— Вы? — Помолчав, сказал: — Садитесь. Хотите знать, зачем я вас вызвал?

Как будто она не знала — зачем! Хотел приблизить ее к себе, вот и все! Это уже другое дело, каким образом: наверное, собирался предложить ей научную работу под своим руководством.

Мужчины, мужчины! Взрослые, умные, ученые доценты, кандидаты наук, кандидаты в доктора, в члены-корреспонденты и в действительные члены!

Он предложил ей пройти летнюю практику в экспедиции.

— А кем вы там будете? — спросила она.

— Рядовым научным работником. Руководитель экспедиции профессор доктор Вершинин. Эрудит. Приятель моего отца. Шеф моей докторской работы.

Если бы Реутский не был тогда смешным, он был бы очень интересным: небольшая русая бородка, голубые глаза...

— Я подумаю... — сказала Рита. И тотчас поднялась с кресла.

Как это было для него неожиданно, что она вдруг поднялась. Ей и самой хотелось посидеть здесь, еще на него потаракаться, но через минуту-другую он мог бы заговорить уже другим тоном, с достоинством.

— Когда же вы решите?

— Когда вам будет удобно... — Она задержалась в дверях. — Когда вы сможете снова меня вызвать.

Пусть повторит все сначала: снова найдет такой редкостный момент, когда и она в университете, и на кафедре — никого!

После этого Рита забежала в общежитие, переоделась и отправилась на другой конец города к тете «Что такое хорошо и что такое плохо».

И не ошиблась.

Тетя покормила ее пирожками с яблочным вареньем, она — ни слова. Тетя предложила на карманные расходы, она — ни слова. Тетя отчаялась, отдала ей свой билет на премьеру, а потом еще битый час говорила восторженные «хорошо» по поводу Ритиных глаз и прически. Наконец тетя не выдержала:

— Ну, как там, в университете, чувствует себя Левочка Реутский? Надеюсь, хорошо? У тебя не было никакого разговора?

— Так... Мельком.

Тете ничего и не нужно было больше. Она всплеснула руками:

— Это хорошо! Это совсем-совсем неплохо!

Мамина родная сестра, тетя «Что такое хорошо...», так же как и мама, — пожалуй, еще больше — любила быть причиной всему на свете. Только у мамы эта страсть решать все за всех казалась значительнее, и если у кого-то из близких маминых знакомых была драма, так у них дома драма была еще больше и при этом обязательно приводила к ссоре матери с отцом.

У тети никогда и никаких собственных драм не было, потому что она страшно боялась своего мужа, преподавателя логики; детей у нее тоже не было, но тетя без драм не могла, без семейных событий тоже, и все это она очень усердно, талантливо искала и находила среди родственников и знакомых.

Когда Рита бросила горный институт и приказ не имел даже такой общепринятой формулировки, как «отчислена по состоянию здоровья» или по «семейным обстоятельствам», а лаконично сообщал, что она «отчислена за систематическое непосещение занятий и не сдачу экзаменов», когда на руках у Риты не было не то что самой серенькой, а попросту никакой комсомольской характеристики, — мама впала в состояние транса и лежала с примочками на лбу, а тетя немедленно телеграфировала: «Выезжай началу семестра университете относительно факультета договоримся поздравляю днем рождения все будет хорошо твоя тетя».

Рита приехала. Тетя сказала:

— Знаешь, милая, мой Петр Петрович может устроить все. Он на прекрасном счету в университете. Он, безусловно, самый сильный логик во всем городе. Но мы сделаем по-другому: через профессора Реутского. У профессора сын Левочка — молодой ученый, заместитель декана, и потом — у него драма...

Тут все было сказано: если «драма» — значит, тетя близка к этой семье, а если она близка — значит, семья милая, а если милая, можно быть уверенной, что члены этой семьи поступят по отношению к Рите тоже очень мило.

Тетя настояла, чтобы они нанесли визит Реутским. Сначала Рита чувствовала себя неловко в сумрачной обстановке старинного профессорского дома и в присутствии своего будущего заместителя декана, которого тетя с материнской нежностью называла Левочкой, вздыхая

при этом. Левочка переживал драму: к нему отказалась вернуться невеста. Левочкин папа помог способной девушке устроиться в аспирантуру МГУ, способная девушка защитила диссертацию и раздумала возвращаться в Сибирь — вышла замуж за москвича.

В свете этого события участие Реутских в судьбе Риты было особенно трогательным и благородным. Тетя прослезилась, Рита же довольно быстро освоилась и, кажется, для начала произвела на профессора даже большее впечатление, чем на Левочку.

Все было устроено и с университетом и с общежитием. Рита не хотела жить у тети, опасаясь ее слишком пылких чувств и забот. Опасения оказались напрасными. Тетя сказала:

— Общежитие — это хорошо! Это необходимо. Извини, милая, Петр Петрович нуждается в постоянном отдыхе!

И, бывая у тети в гостях, уплетая пирожки с яблочным вареньем, пропуская мимо ушей всяческие тетины «хорошо», Рита переживала всякий раз в общем-то радостные ощущения и еще догадку, которая осенила ее во время недавнего разговора с заместителем декана.

Далекие же планы строила тетя, когда вызывала племянницу телеграммой! Давно решила она, что такое хорошо!

И вот у Риты все чаще и чаще стали возникать представления о том, как они будут с Левочкой Реутским вместе.

Вместе в театре... Вместе в гостях... Вместе на Черном море... Вместе на корабле «Россия». Вместе на какой-то не очень еще ясной, но все-таки существующей для них работе. Вместе два красивых человека — молодой, способный научный работник, молодая, очень красивая женщина, мимо которой не может пройти, не любясь, ни один человек, — на берегу солнечного моря, куда люди приезжают за радостями. Все трепетало в Рите, когда воображение рисовало ей эту картину. В самом деле, могла ли она оставаться безучастной к такой судьбе, даже если бы судьба была не ее, а чья-то чужая? Не завидовать, не желать ее для себя? Если человек неравнодушен ко всему красивому, может ли он быть равнодушен к этому? Разве не было в этом того необыкновенного, чего Рита всегда желала?

Весной Рита сделала так, чтобы Реутский пригласил ее во Дворец культуры. Там их видели вместе свои университетские и политехники.

Тетя тоже видела их и потом, когда снаряжала Риту в экспедицию — шила ей шаровары, маленькую подушечку-думку, — произнесла своего рода признание:

— Я счастлива с Петром Петровичем. Он самый сильный логик в городе. Я всю жизнь его уважала, и это хорошо, это логично. Так и должно быть, он, кажется, лучше меня. — Тетя повздыхала. — Но если бы я была лучше его, я заставила бы его уважать себя. А муж, который очень уважает свою жену, всегда такой, каким его хочет видеть жена.

Она поняла на балу больше других, тетя, — увидела, как в тот вечер Рита окончательно покорила Левочку Реутского. Она догадалась тогда о многом.

О многом, но не обо всем.

Свою семью — нелады между матерью и отцом, тетю с ее хлопотами и ее мужем-логиком, себя со своими увлечениями и увлечениями ею — Рите всегда хотелось видеть немного иронически и как бы со стороны. Со стороны той Риты, в которой жило никому до сих пор не доступное «это».

Но вот появился Реутский, и его и себя Рита видеть со стороны уже не могла, вместо этого она почувствовала, что устала быть девушкой, а должна стать женщиной.

Когда-то, ребенком, она страстно хотела войти в мир взрослых. Кажется, вошла. Но мир женщин был еще впереди, и, ощущая близкое вступление в него, Рита часто произносила про себя: «Мы, женщины...» Произносила и останавливалась. «Нас, женщин...» И снова останавливалась...

Вспомнила тетю «Что такое хорошо...» — тетя должна была о чем-то сказать ей, но молчала. Иногда Рита шептала: «Мама?! Ну, мама же!» Мать молчала тоже.

А между тем ей нельзя было войти в мир женщин, ничего не зная о нем. Ей казалось — вот-вот наступит мгновение, когда она должна будет сказать и себе, и Левушке Реутскому о том, какое она существо, какой она человек, какая женщина. Перед кем-то она обязательно должна была совершить откровение, которого сама не знала. Должна была!

Но вот что случилось весной на балу во Дворце культуры: она поняла, что Лева никогда ничего не

спросит у нее, никогда не почувствует, что она должна совершить перед ним откровение. Он попросту освободит ее от усталости. И все.

Она поняла это во время танца — и у нее в тот же миг легко, совсем просто упал с плеч груз, который она и сама не знала, как назвать.

А с тех пор ощущение обретенной легкости уже не покидало ее, и, наверное, поэтому она и в экспедиции вела себя так, что никто ни о чем ни сном ни духом не догадывался, и Реутского заставила вести себя точно так же. Нужно было проявить выдержку, нужно было, чтобы Реутский в полную меру почувствовал ее характер. Считалось, что, кроме Вершининых, старшего и младшего, в экспедиции все участвуют по случаю, и это в то время, как университет, политехники — все-все гадали, чем кончится поездка Льва Реутского и Риты Плонской на Алтай.

Почему теперь, у костра, сразу из ощущения «ничего», из пустоты так страшно и необычно начавшейся темной ночи воображение вдруг прихотливо унесло ее к прошлому и еще — к будущему, которое обязательно должно было наступить?

Она не задумывалась почему, она почувствовала себя растроганной. Кажется, слезы появились у нее на щеках. Ну да, появились! А страх исчез. Он ведь был странным, ее страх, ненастоящим, потому что, когда веришь в будущее, не боишься никакого настоящего.

Чего ей было бояться этого мальчишки? Чего ради?!

В первый раз за долгие-долгие ночные часы Рита пошевелила ногами, преодолевая боль, вытянула их. Когда боль утихла, она приподнялась и бросила в прозрачные угли костра сухие ветки.

В черную пустоту стали вступать причудливые, тоже темные изваяния стволов, лохмы ветвей потянулись к огню сверху, но круг, освещенный пламенем, все еще был невелик.

Она подбрасывала и подбрасывала ветви и наконец в этом круге увидела Андрея — сначала до пояса, потом всего.

Он лежал на кедровых ветвях, под головой — дождевик. С вечера хотел отдать дождевик Рите, она в испуге отмахнулась — ей ничего не нужно было от него, ничего. Спал он умеючи: спокойно, деловито и чутко. Сейчас проснется, и ни секунды ему не надо будет, чтобы сообразить, где он и что с ним. Как будто и во сне

помнил, что дождевик у него под головой, полевая сумка слева, ружье справа. Спал и во сне слушал.

Скуластое лицо, лохматые стариковские брови при свете костра были добродушнее, как-то больше к лицу, и Рита еще раз убедилась, что совсем напрасно боялась днем, что мальчишка этот забавный, немного угрюмый — а больше ничего. Он выносливее ее, он ученый, может запросто спорить с Реутским, с Лопаревым, в ботанике он, наверное, сильнее своего отца, а она выше его своим женским умом и, если захочет, будет относиться к нему, как ко многим людям, чуть свысока.

Она любит, любит Реутского, мечтает о будущем и может смотреть на Андрея, как женщина смотрит на мальчика, хотя бы на очень умного, очень упрямого, очень сильного, но все-таки мальчика.

Вспомнила, как Реутский уговаривал ее, умолял не ходить в маршрут вместе с Андреем, и догадалась: «Вот откуда был этот страх — он не мой, он Левушкин, страх! Левушка мне его внушил!» Удивилась, почему это, когда нынче ей было так страшно с Андреем, она ни разу о Левушке не вспомнила и чувствовала себя такой одинокой? Вдруг решила быть ласковой к Леве, заботливой, стала упрекать себя: маршрут продлится еще почти неделю, и всю неделю Левушка будет мучиться и терзаться...

Зачем она так сделала? Никогда она себя ни в чем не упрекала, если ей случалось досадить кому-то, а тут почувствовала вдруг смятение. Не то вслух, не то про себя думала: «Милый, милый Левушка! Почему я не вспомнила тебя, когда мне было страшно с Андреем? Как же так? Почему? Почему забыла? Почему не пожалела тебя?»

Она мысленно сказала «милый», и это показалось ей чем-то значительным, настоящим.

На самом деле он был очень милым. Его маленькая русая бородка и большие голубые глаза казались строгими. Казались такими. А на самом деле они были милыми.

Его смущение, с которым он впервые позвал ее к себе на кафедру, с которым позже, весной, танцевал с нею на балу во Дворце культуры, было наивным, каким-то детским. На первый взгляд. А если посмотреть без насмешки, он был очень мил в смущении.

И послушание, с которым Левушка выполнял в экспедиции ее вздорное требование ни словом, ни жестом

не выдавать близкого знакомства между ними, тоже было трогательно милым.

Потом, прочувствовав все милое, что было в Реутском, Рита представила, что где-то сейчас вот так же вдвоем ночуют в лесу Онежка с Рязанцевым. Все спокойно, все просто между ними, как между детьми.

«Хорошо и просто Онежке, — подумала Рита. — Хорошо быть такой простой, несложной, как Онежка. Беззаботной... Быть как все. — Повторила: — Хорошо Онежке! Вот и мне тоже скоро будет хорошо с милым Левушкой. И у меня не будет никаких тревог. Никаких!»

Онежка и Рязанцев ночевали по другую сторону горного отрога, и тот ручей, который пробегал около их костра, и тот, который слышала Рита, где-то совсем неподалеку впадали в одну стремительную, пенистую речку.

Онежке давно уже хотелось провести у костра ночь совсем одной. Не в лагере, около палаток, а в лесу — и обязательно одной. Но теперь ей нисколько не мешало присутствие Рязанцева, и желание, кажется, исполнилось.

Положив голову на колени, а колени обхватив руками, она смотрела и смотрела на огонь, когда же от огня улетали куда-то вверх искры — поднимала вслед им глаза.

Это только кажется, будто ночи все одинаковы, если нет ни дождей, ни гроз, ни бурь. Только кажется...

Ночи замышляют, какими должны быть следующие за ними дни. По ночам небо тихо-тихо приближается к земле вместе с облаками, вместе с луной, вместе со звездами, и все это вместе замышляет день. От того, каким они его замыслили, от того, что должно расцвести на следующий день, а что должно завянуть, что должно растаять в горах, а что застынуть, что будет петь, а что молчать, от этого и сами ночи бывают то совсем безмолвны, то они вздыхают от зари до зари, то они спокойны, то тревожны, то они росные и туманные, то наполняются прозрачной тьмой.

Ночи сначала творят день, а потом сами прислушиваются к своему замыслу и, уходя с первыми солнечными лучами, всматриваются в него застенчиво, робко и торопливо.

Когда нынче только стемнело, что-то потревожило хвоинки на вершинах лиственниц и кедров. Это был да-

же не ветерок, а совсем легкое прикосновение чего-то невидимого и неслышимого. Облако их коснулось или лунный свет? Шепотом вершинки спрашивали друг друга всю ночь: показалось им или было? Было чье-то прикосновение?

Один раз прозвенел ручей и потом, тоже изредка, повторял свой струйный звон.

В чутком сне потягивалась лесная земля. Стороной, в западинке, едва касаясь трав, полз туман, а в глубине древесных стволов по капиллярам сочилась влага.

Ничего не мешало размышлениям ночи, ее замыслам. Все в них вслушивалось, в эти размышления, все хотело их угадать.

— Николай Иванович, — спросила Онежка, — а что такое жизнь?

Рязанцев лежал на боку, подперев рукою щеку, а другой рукой пошевеливал костер.

— Не знаешь? Не учили в институте? Форма существования белковых веществ — вот что это такое. — И он взглянул на нее, слегка повернув голову.

На лице Онежки вспышки костра отражались теперь чуть заметнее, и тени двух завитушек ее волос двигались по лбу.

— Видишь ли, начало всему — Солнце. В течение суток Солнце, теряя триста шестьдесят миллиардов тонн своей массы, излучает энергию. Одна двухмиллиардная этой энергии попадает на Землю. Земля же достаточно велика, чтобы силой притяжения удерживать вокруг себя атмосферу. Ну а эта атмосфера предохраняет Землю от губительного воздействия солнечной энергии и в то же время воспринимает ее живительную силу. Взаимодействие между Солнцем и Землей приводит к тому, что на Земле возникает биосфера — вода, воздух, твердая среда, а дальше — никто пока не знает, каким образом, — возникает и органическое вещество. Простейшие и растительность насыщают нашу биосферу кислородом, а это позволяет развиваться более сложным организмам. Должно быть, это так, потому что вес свободного кислорода биосферы соответствует весу всего живого на Земле. Вот и снова все... все тебе рассказал.

Снова Онежка сидела неподвижно, глядела в огонь, приподнимала голову, когда вверх, к звездам, уносились искры костра. Прислушивалась еще к чему-то, о чем Рязанцев пока не говорил, но должен был сказать.

Рязанцев приподнялся, опираясь на локоть, свободной рукой пошарил по карманам и достал записную книжку.

— Посвети-ка. Горит ярко, а все-таки посвети-ка еще.

Онежка нашла в полевой сумке электрический фонарик.

— Выписал откуда-то и когда-то. — И он прочел: — «Дмитриева Елизавета Лукинична родилась в 1851 году в Псковской губернии. Очень рано заключила фиктивный брак, уехала за границу, в Женеве была одним из организаторов Русской секции Первого Интернационала, а девятнадцати лет, уже как представительница этой секции, поехала к Карлу Марксу в Лондон. Карл Маркс направил Дмитриеву в Париж представителем Генерального Совета, и там она основала женскую военную лигу, а в последние дни Парижской коммуны возглавила отряд женщин, сражавшихся с версальцами на баррикадах. Возвратилась в Россию, вышла замуж за осужденного на поселение, отправилась с ним в Сибирь. В Сибири и умерла...» Это то, о чем ты хотела узнать?

Долгое-долгое Онежкино молчание было ответом... А потом она вдруг спросила:

— Николай Иванович, а что такое смерть?

В мельчайших подробностях Рязанцев помнил и смерть.

В возрасте только чуть за шестьдесят умер его приемный отец, известный в Сибири механик и конструктор Александр Александрович Головин.

Было это ранним утром, в январе, в самую стужу, и окно больничной палаты покрылось густым инеем.

Рязанцеву позвонили из больницы около шести, и когда он вошел в палату, которую оставил всего лишь несколько часов назад, его поразили морщины на лице больного. Незаметные и даже уместные прежде, они вдруг разделили лицо на отдельные треугольники и квадраты почти правильной геометрической формы. Эта правильность и строгость всех линий профиля заставили Рязанцева подумать, что человек уже мертв.

Но он не был мертв и, как только Рязанцев остановился в изголовье, показал на стул.

Рязанцев сел.

— Что, Александр Александрович?

Что-то нужно было подать с тумбочки.

На тумбочке лежали тонко и аккуратно зачиненные карандаши, несколько газет и книг, старинные часы с серебряной цепью, еще фотографии. На фотографии — два комбайна: один современный, другой музейный прошлого века, который лошади толкали впереди себя. Рядом с этими машинами было несколько человек: Головин, его сотрудники и Рязанцев. На заднем плане — река, часть похожего на ангар здания машинного музея и светлая полоска дороги.

Кто-то из сотрудников конструкторского бюро только недавно отпечатал летние снимки и переслал в больницу.

Рязанцев притронулся к фотографии: именно она нужна была умирающему. Длинным пожелтевшим пальцем не сразу он указал на фигуру Рязанцева в белом костюме и в белой же шляпе.

— Да! — кивнул Рязанцев. — Да, да!

Желтые пальцы дрожали, удерживая фотографию за правый верхний угол, потом выронили ее. Она упала на белую простыню оборотной стороной кверху.

Головин долго лежал неподвижный, а затем показал, как он двигает рукой — немного вверх и снова вниз, как распрямляет и сгибает руку в локте. Снова показал на тумбочку.

Рязанцев подал карандаш.

Острием карандаша Головин покалывал себя: лицо, левую руку, грудь, а едва заметным шевелением правой стороны лица показывал, чувствовал он уколы или не чувствовал.

Левая сторона его туловища, левая рука, левая щека уже не чувствовали ничего. Упал и карандаш.

Он дышал редко и хрипло, но все еще чего-то хотел.

Рязанцев догадался и подал часы.

Правым ухом Головин услышал ход: раз-два, раз-два, раз-два! — удары отражались в очертаниях его приоткрытых век. Одним глазом он видел время — Рязанцев и это понял.

Было без двух минут семь утра. Проскрипел по рельсам трамвай. Минутная стрелка достигла римской цифры XII, часы упали, упала рука...

Вот так это было.

В костре, в самой глубине лиственничного кряжа, сиял яркий и прозрачный сплав.

Онежка сидела все в той же позе, обхватив руками колени.

— А ночь необыкновенная. Правда, Онежка? — спросил ее Рязанцев.

Онежка вздохнула, подняла лицо к темному небу.

— Правда, правда! — И улыбнулась.

Улыбка успокоила Рязанцева: значит, его рассказ не так уж подействовал на Онежку. «Спокойная девчушка», — подумал он и тоже улыбнулся ей в ответ.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

У Вершинина-старшего была такая поговорка: «Нет у вас Барабы!»

Правда, вслух он произносил эту поговорку редко, но, когда спорил с Рязанцевым, не то чтобы про себя ее повторял, а как-то все время чувствовал.

«Правильным» человеком был Рязанцев потому, что не пережил своей Барабы. А хотел Вершинин, чтобы его неизменный оппонент хватил бы лиха. «Ничего! — думал он о Рязанцеве. — Молодой еще, нет пятидесяти. Ни забот, ни сомнений, ни поражений в жизни не было. Но жизнь еще возьмет свое, успеет его научить... Будет и у него своя Бараба!»

Поговорка эта имела свою историю.

В научном мире нынче известно, что одним из крупнейших знатоков природы Горного Алтая является профессор доктор географических наук Вершинин.

Уже мало кто помнил Вершинина того времени, когда он занимался природой не только Алтая, но и всей Сибири, всеми ее производительными силами.

А между тем было такое время — начало тридцатых годов.

Вершинин всегда хотел стать энциклопедистом, таким же, как Семенов-Тянь-Шанский Петр Петрович.

Семенов-Тянь-Шанский был географом, статистиком, энтомологом, ботаником, государственным деятелем, а написав «Этюды по истории нидерландской живописи», стал еще и почетным членом Академии художеств. Семенов-Тянь-Шанский был эрудитом, а кто Вершинина лишил этого права?

Берг Лев Семенович, современник Вершинина, будучи ихтиологом, создал учение о географических ландшафтах, написал «Очерки по истории русских географических открытий» и «Основы климатологии». Вершинину довелось испытать личное обаяние этого

человека, и, может быть, именно тогда он впервые пережил страстное желание служить науке энциклопедической. А разве время энциклопедистов прошло? Разве отныне они стали называться дилетантами?

Правда, на глазах Вершинина его однокашники, называя себя географами, занимались не географией, а только поверхностными водами, но не всеми, а только озерами, озерами тоже не всеми, только солеными; в конце же концов не всеми солеными озерами, а только одним-двумя из них. И преуспевали при этом.

Вершинин презирал такую науку о горько-соленом озере Баскунчак или солоновато-пресном озере Чаны.

И вскоре после окончания университета он принялся за необыкновенный труд: «Природа и народное хозяйство Сибири (Материалы к пятилетним планам реконструкции и развития)». Труд должен был подчинить себе все народнохозяйственные проблемы Сибири, сделать их «ведомыми» науки, должен был стать грандиозным слиянием всех познаний о природе со всеми задачами преобразования этой природы.

Прежде всего Вершинин предложил свое, совершенно новое деление Сибири на природные районы по климату, растительности, почвенным условиям и рельефу. Районирование это было широко признано, создало ему имя. С тех пор и всю свою жизнь Вершинин говорил: «Западная и Восточная Сибирь в моих границах». Он говорил так и до сих пор, хотя давным-давно уже его районирование потеряло значение, хотя он, кажется, понял, что слишком раннее признание в ученом мире только повредило ему. Но и без признания он жить не мог, а тех, кто его не признавал, не мог терпеть.

Однажды на диспуте Вершинин призывал аудиторию к революционной науке и громил своего учителя — профессора Корабельникова. Профессор спросил его:

— Революция — это творчество. Революция в науке — это грандиозное открытие в ней! Что открыли вы?

Вершинин тогда ответил:

— Я открыл новые цели и новые задачи науки! Да! Новым целям и новым задачам я заставляю по-новому служить все ваши открытия! Я хочу искоренить науку для науки и заставить ее безоговорочно служить народу!

Он запомнил, как после дискуссии Корабельников вышел из актового зала и шел коридором совсем один.

Шел почему-то очень долго, а он, Вершинин, стоял в окружении студентов, преподавателей, множества каких-то незнакомых людей и глядел ему вслед, даже после того, как Корабельников свернул на лестницу. «Вот и все! — подумал он тогда. — Прощай, учитель!»

Вершинин снискал известность как теоретик. Его пригласили в СОПС¹. Ему предлагали кафедру в Казани, позже — в Ленинграде. Он отклонял предложения не задумываясь: автор «Природы и народного хозяйства Сибири» должен был в Сибири же и создавать свой труд.

Он не знал ни отдыха, ни срока. Не жалел ни себя, ни других. Ему не было еще тридцати лет.

В других науках тоже появились ученые — по большей части в том же возрасте, с такой же энергией, которые не столько разрабатывали, сколько выдвигали проблемы.

Их называли в ту пору «проблематиками». В гидротехнике одну проблему грандиознее другой выдвигал инженер под псевдонимом «Анова». Звучало. Напоминало слова «новое», «новизна». И Вершинин тоже стал подумывать о псевдониме и еще о том, чтобы объединить всех «проблематиков», выступив с инициативой создания «Оргкомитета по координации проблем реконструкции науки». Дело было не в названии — в идее. Но вот как раз идея-то ему вдруг и не далась.

Чтобы приблизиться к идеям и задачам времени, он отбросил первую часть из названия своих трудов «Природа и народное хозяйство Сибири», и то, что до сих пор было заключено им в скобки — «Материалы к пятилетним планам реконструкции и развития народного хозяйства Сибири», — стало теперь для него не только единственным названием, но и девизом.

Он так ясно сознавал ведущую роль своих «Материалов», так гордился ими, так доверял, что далеко не сразу заметил, как им отказывает в доверии сама жизнь. Менее чем через два года после начала строительства первая очередь КМК — Кузнецкого металлургического комбината — вступила в строй. Это в то время, как он в своих «Материалах» только еще отстаивал Кузнецкий металлургический комбинат, видя в нем проблему, горячо защищал эту проблему, готовил для нее данные

¹ СОПС — Совет по изучению производительных сил Академии наук СССР.

о природе Кузнецкого бассейна. Со своей смелостью, со своей «ведущей» наукой он вдруг остался позади «ведомых» фактов!

Не всегда так было.

В городе Барнауле глухой на оба уха, очень милый инженер-гидротехник Мичков выдвинул проблему орошения Кулундинских степей. Четвертый том «Материалов» Вершинин целиком подчинил этой идее — не хотел отставать от жизни, как это случилось с проблемой КМК. И что же? Идея орошения Кулунды так и не осуществилась. Четвертый том должен был подвергнуться переработке.

Осушение Барабинской изменности и регулирования озера Чаны тоже оставались только проблемами, а города Сибири, наоборот, обошли все его прогнозы, становились вдвое-втрое больше, чем он предполагал. Новосибирск выдвигался на первое место, а он отводил это место Иркутску. Когда в свое время Сибирский край разделился на Западный и Восточный, это блестяще подтверждало его взгляды. Но вот из Западной Сибири выделились Красноярский край и Омская область, потом Алтайский край, из Восточно-Сибирского — Читинская область. Это было концом «его» границ и «его» районов, контуры которых он видел так часто во сне, то и дело произвольно изображал их на бумаге, угадывал то в рисунках обоев на стене, то в очертаниях дождевых лужиц на тротуарах, — границ и районов, которые создали ему имя и были основой его «Материалов».

И вот уже «ведущая» наука бывала несказанно счастлива и горда, если ей удавалось оказать мало-мальскую услугу практике, проблемам, которые он все еще называл «ведомыми».

Ботаники, геологи, гидрологи, климатологи — все так или иначе находили связи с проблемами КМК, Кулунды и Барабы, с освоением севера и развитием востока. Он со своей наукой «в целом» не успевал ничего.

Ему стало казаться, будто те, другие науки сделались вдруг «реакционными» и «правыми».

Как было назвать то, что с ним произошло? Если бы однажды его привлекли к суду за саботаж, он, наверное, признал бы себя виновным. Если бы вдруг кто-нибудь объявил его «Материалы» делом гениальным, он и это воспринял бы как должное. То ему казалось, будто действительность во всех ее самых мельчайших проявле-

ниях безупречна, то вдруг начинал он со злорадством коллекционировать нелепые факты действительности.

Должно быть, потому, что до сих пор ему совершенно чужды были сомнения, теперь они приходили к нему по любому поводу.

То он видел все окружающее как целое: все являлось ему следствием очевидных причин, все вокруг подчинялось пятилетним планам, люди, казалось, только по какой-то устаревшей привычке что-то еще совершают порознь друг от друга, тогда как на самом деле история построила их в ряды, ряды в колонны, и так они все идут к одной цели, к одной судьбе.

То ничего общего он вдруг обнаружить между людьми не мог.

Пришлось Вершинину поехать в Омск, в сельскохозяйственный институт, так он его не застал, не было такого, а на каждом этаже большого красивого здания со следами готики в архитектуре помещалось по одному самостоятельному институту: ИМОХ — Институт молочного хозяйства; Инзеркульт — Институт зерновых культур; СИОТ — Сибирский институт организации территории. Три директора перезванивались по телефону с этажа на этаж, делили аудитории, преподавателей, библиотеку, общежития, все, что можно, и все, что нельзя было разделить, и собирались выделить еще четвертый институт — плодовых и овощных культур — Иплоовкульт, кажется.

«Вот так же, — с горечью думал Вершинин, — была растерзана и моя наука!»

Однако ИМОХ, Инзеркульт и СИОТ снова образовали СИСХ — Сибирский институт сельского хозяйства, а «Материалы к пятилетним планам» не могли уже воспрянуть к жизни.

Действительно он знал свою науку или только думал, что знает ее?

Здоров он был или болен? Во сне он переживал смерть, умирая сам по себе; потом его душили, он тонул, кто-то крал у него то руку, то ногу, то голову; кто-то ставил на затылок плотные заклепки многоударным молотком; и, наконец, один из его знакомых, весело ухмыляясь, целился ему в правый глаз из медвежьего пистолета, требуя отгадать калибр.

Калибр был, кажется, двадцать четыре.

Ни один из этих снов не мог повториться дважды, он сразу догадывался, что это сон, и просыпался.

И все-таки Вершинин сумел в тот раз истолковать все, что с ним произошло: он был на самом переднем крае своей науки и принял на себя все ветры, все удары судьбы, все надежды и потрясения, которые на долю этой науки выпали. Он верил в свое время. Время в целом все могло изменить, все вернуть ему сполна.

Инертность была совершенным антиподом этого времени, и, покуда время текло, а Вершинин жил, он не мог оставаться где-то за пределами течения.

Он решил, что нынче нужны не только мысли о проблемах, которым посвящались тома его «Материалов», а само дело.

Дело он избрал быстро: как рядовой специалист приступил к одной из практических проблем — к проблеме осушения Барабинской низменности.

Была поздняя осень. Вершинин обследовал систему осушительных каналов, которая в конце прошлого века была построена генерал-лейтенантом корпуса военных топографов И. И. Жилинским.

И тут вдруг ощутил, как безлика, как бесцветна может быть огромная проблема, когда она осуществляется практически день за днем, каких чудовищно ничтожных размеров может она достигнуть.

Сломался бур, а ему необходимо было взять почвенные пробы на влажность в разных расстояниях от осушительного канала.

Нужно было ехать в районный центр — на станцию железной дороги, чтобы бур сварить, но никто не давал ему лошадь, потому что в колхозе не оказалось хомутов.

Несколько дней сряду по невероятной грязи бесконечно длинной деревенской улицей он ходил к шорнику и уговаривал его починить хомут. И когда шел, и когда разговаривал с пьяненьким стариком шорником, никак не мог себе представить, что это он идет, он разговаривает, он — автор «Природы», «Производительных сил Сибири», «Материалов к пятилетним планам»!

Когда же хомут был наконец починен, осенние воды смыли мост через канал, и никто не брался везти его на станцию.

Он пошел пешком, шел три дня и еще три ходил по районному центру в поисках слесаря и сварщика. Бур был починен, но дожди уже так насытили почву, что пробы на влажность потеряли всякий смысл. Теперь Вершинин должен был возвратиться на канал только

для того, чтобы забрать свои полевые дневники, инструмент и кое-какие вещи. И он ждал оказии.

Прежде, если погода не благоприятствовала путешествиям, он мог запросто отложить свой маршрут до следующего года, изменить его, сделать остановку в населенном пункте, который чем-нибудь нравился ему.

Никогда в жизни не был он так рабски привязан к незначительному, мелочному делу вроде отбора почвенных проб; никогда не зависел от шорника или от слесаря.

Прежде, где бы Вершинин ни бывал, для всех окружающих он оставался приезжим и ученым человеком; теперь же был совершенно неприметен, никто не проявлял к нему ни любопытства, ни внимания, а все словно подчеркивали свое безразличие, все как будто считали, что дело, которым он занят, — мелочное дело.

В заезжем доме райцентра он целыми днями валялся на неопрятной кровати, натягивал на голову рваный дождевик и грезил о палатке, об экспедиционном пайке, о биноклях, о множестве других деталей походной жизни, которых прежде никогда не замечал и которые теперь казались ему воплощением гордого, возвышенного человеческого существования.

Отсюда, из заезжего дома на маленькой железнодорожной станции, Вершинин как будто слушал споры о том, что такое Бараба.

Слушал и хотел бы ученых-географов тоже уложить на койки заезжего дома, накрыть их рваными дождевиками, а сам вместо них подняться на кафедру блистающего чистотой актового зала и оттуда говорить о Барабе, о том, что она такое.

В своей речи он не сказал бы о чувстве беспомощности, которое пережил в Барабе. Наоборот, он говорил бы, как ее абориген и знаток говорит с дилетантами, он отказался бы от всех понятий, известных географии, и пренебрег принципами своих собственных многотомных «Материалов».

Он слушал себя, свою речь...

«Взглянем на Барабу с высоты птичьего полета и еще с высоты наших современных представлений о ландшафтах земного шара! Не будем торопиться и, прежде чем вынести свой приговор о том, что такое Бараба, попытаемся установить ее начало и ее конец, ее рубежи: представление о границах какого-либо явления уже говорит нам о самом явлении. Остановимся лишь

на широтных — южных и северных — ее границах, в этом кроется огромный смысл, о котором, однако, я скажу ниже.

Итак, Бараба заключена между Кулундинской степью с юга и Васюганскими болотами с севера.

Степи Кулунды — с пресными и солеными озерами — то идеально плоские, то пересеченные гривами; с мозаично-пестрым почвенным покровом; с тихими и даже недвижимыми в летнюю пору речками, которые текут строго параллельно друг другу почти через одинаковые расстояния, но в разные стороны — одни с северо-востока на юго-запад, другие — с юго-запада на северо-восток; с ароматными сосновыми лесами по долинам этих речек, которые необычайно точно называют здесь, в степи «ленточными борами» и о которых рассказывают легенды, будто они когда-то, в забытой древности, искусственно созданы людьми, — эти степи, это южное преддверие Барабы, уже несут в своем географическом облике неповторимые особенности, которые человеку не дано понять ни из книг, ни из рассказов очевидца. Их можно только подметить собственным взглядом. Это с юга от Барабы.

С севера от нее самое крупное в мире заболоченное пространство — Васюганье, самое безжизненное между пятьдесят седьмой и шестидесятой параллелями северного полушария; самое непроходимое — на нем нет ни одного километра современных сухопутных дорог, а весной истоки всех рек, которые вытекают отсюда на четыре стороны света, образуют одно сплошное пресное море. О Земле Франца-Иосифа или об Антарктиде путешественниками написано в десятки раз больше, чем о Васюганье... Васюганье — вот оно перед вашим взглядом — с темной и сырой елово-пихтовой тайгой, называемой дремучим словом «урман», это тайга заболоченная, с бесцветными сфагновыми торфяниками, обладающими лишь тем минимальным количеством зольных элементов, которое в состоянии доставить атмосферные осадки, поскольку тысячелетние наслоения сфагнума уже давно потеряли всякую связь с подстилающими минеральными грунтами; с серыми тучами мошки; с нарымской ссылкой, — это Васюганье замыкает Барабу с севера. И, обратите внимание, не только замыкает, но и является ее продолжением, является результатом множества природных процессов, выводом из

суровой, непреклонной и еще не осознанной человеком логики Земли.

И вот сама Бараба...

В том-то и дело, что мы не в состоянии установить сколько-нибудь точно ни северных, ни южных ее границ. На протяжении каких-то трехсот километров здесь таинственно сливаются и проникают друг в друга ландшафты Кулунды и Васюганья, и, чтобы представить себе, что это за слияние, мы должны вообразить, будто где-то в средней части Европейской России вдруг соединились степи Нижнего Поволжья с побережьем Белого моря или вдруг Средняя Франция сомкнулась с Северной Швецией. Тщетны будут все наши попытки установить границы Барабы, явление же без границ — явление, не поддающееся научному анализу и обобщениям.

Здесь все возможно, в Барабе: губительные засухи и столь же губительные вымочки, лютая жара и такой же лютой холод, солнечное сияние и бесконечные ненастья, безводья и наводнения... Здесь озеро занимает самую возвышенную часть поверхности, а реки текут в увалах над землей и, так же как в Васюганье, весной сливаются своими истоками.

Бараба — это явление материковое, широтное, это слияние севера с югом, вот почему в начале своего выступления я обратил внимание прежде всего на территории, расположенные с юга и с севера от Барабы. В Барабе — географический центр России, как его определил великий Менделеев. Здесь континентальность климата совершила все, что она может совершить. Здесь Воейков открыл существование невидимого хребта между севером и югом полушария — это могучая, резко выраженная ось повышенного барометрического давления. Воздушные массы то с севера, то с юга переваливают через него точно так же, как через горные хребты, но иногда еще теснят этот хребет то в одну, то в другую сторону, и Бараба как бы сдвигается тогда на несколько сот километров на север или на юг.

Ее называют то изменностью, то болотом, то степью. Но Бараба — это не изменность, потому что реки текут не в нее, а из нее. Она не болото — то и дело мы встречаемся там со степными почвами и степной растительностью. Она не степь, потому что в равной мере в ней присутствуют все атрибуты болота. Она — Ба-

раба! Единственная в мире, неповторимая страна, не сравнимая ни с чем больше!»

Такова была его речь, обращенная ко всем, кто пытался понять, что такое Бараба.

Это была смелая речь, потому что в ней Вершинин признал несостоятельность основных географических понятий; несостоятельность своих собственных трудов, основанных на этих понятиях; несостоятельность науки в целом, потому что не могло ведь быть какой-то отдельной географии Барабы, но в то же время всеобщая география оказывалась бессильной перед лицом Барабы — парадоксальной страны, соединившей в себе неблагоприятные черты севера и юга.

Но что же дальше, за этим смелым признанием? Что должно было за ним последовать?

Вершинин мог произнести какие угодно признания, но ведь он был еще и ученым, и не только кто-то другой имел право задать ему вопрос, но прежде всего он сам спрашивал себя: а что же дальше?

Если Бараба не низменность, если она не степь и не заболоченное пространство, как же все-таки должен там жить человек: как в степи, как на низменности, как на заболоченных землях? Что и как должен сеять человек в Барабе, что создавать? Ведь наука уже знает, что человек нынче не может не создавать. Наука знает, что нет земли без производительных сил. Нет земли без будущего. Какое же будущее у Барабы?

Когда-то в этой стране жили татары, затем — русские. Они родились здесь, здесь умирали, сеяли неприхотливые злаки и разводили мелкорослый скот, вступили в тридцатые годы двадцатого столетия, и все — без помощи науки.

Трудно было согласиться науке с тем, что на обитаемых широтах, вдоль одной из самых грузонапряженных в мире железных дорог, между двумя крупными городами — Омском и Новосибирском, существует неведомая для нее страна, страна, которая не укладывается ни в одно из понятий, ей известных, которую нельзя причислить ни к северу, ни к югу и даже к тому, что называется средней полосой, — тоже нельзя.

Техника еще проникала сюда — железная дорога связала Барабу с Востоком и Западом, датчанин Рандруп изготовлял в цехах крохотного заводика в Омске, где-то на улице Сиротской или Вдовьей, плуги и сеялки.

И только. Но наука, как понимал ее Вершинин, здесь не бывала никогда.

И что же: и дальше — в тридцатые, в сороковые, в пятидесятые годы нынешнего века — так могло продолжаться?

Его признание, разве оно что-нибудь меняло? Он мечтал увенчать лаврами свою науку, а увенчал таким вот признанием?

И хотя речь, которую Вершинин произнес на койке заезжего дома, лежа под дождевиком, слышал только он один, он вдруг подумал, что теперь для него отрезаны пути возвращения в науку, в ученый мир, в котором он до сих пор жил. Не он был виноват. Может быть, самым несправедливым было то, что именно на его долю выпала поездка в Барабу, открытие Барабы как страны, перед которой отступает наука, на его долю выпало это признание. Для какого-то другого ученого — с меньшим умом, с меньшими знаниями, с более скромными мечтами — все это было бы и легче и справедливее. Но теперь именно он в самом деле должен был поехать в Москву, в самом деле подняться на кафедру, в самом деле произнести свою речь перед учеными, а потом с кафедры сойти... Сойти, вернуться в Барабу, поселиться здесь, ходить по болотам пешком, как он ходил нынче, изучать увалы и займища каждое в отдельности и, быть может, к концу жизни сказать о Барабе свое слово. Скромное, незаметное, очень нужное слово.

Чтобы победить эту страну, нужно было претерпеть перед ней унижения: на какое-то время если не потерять дар речи, так потерять дар речей; забыть, что ты ученый, автор всеобъемлющих «Материалов», а стать техником от науки.

Он знал, что так нужно было сделать. И знал, что так не сделает. Пускаясь в свое путешествие из науки в жизнь, от своих многотомных трудов в Барабу, Вершинин мечтал обогатиться, мечтал о победе, о реванше. Он хотел прийти к практикам и жить среди них как ученый, а потом вернуться в науку и в ученом мире слыть практиком. Хотел там и здесь восстановить свое имя, перешагнуть через печальную известность талантливого неудачника.

Он знал, что после того, как он уйдет, убежит из Барабы, он уже никогда больше не сможет верить в себя. Второе поражение должно было его надломить. Когда его постигла неудача с «Материалами», он знал, что

«Материалы» можно переписать. Самого себя переписать нельзя.

Он угадывал эволюцию своей речи-признания о Барабе, которую произнес, лежа под рваным дождевиком: сначала речь забудется, потом вспомнится снова, и тем скорее, чем скорее он перестанет иметь даже самое отдаленное отношение к проблеме Барабы. Когда-нибудь настанет срок, и он произнесет свою речь для тех, кто будет к тому времени заниматься этой проблемой, а тогда поставит себе в заслугу свое нынешнее пребывание в Барабе.

Он даже знал, кого он возненавидит теперь больше всех: профессора Редникова. Профессор писал труд о Барабе, старательно склеивая вырезки из районных газет с высказываниями виднейших ученых. Он занимался этим день и ночь, кроме понедельника. В понедельник профессор с рюкзаком за плечами отправлялся в окрестности города и старательно собирал бутылки, которые в воскресные дни горожане выбрасывали на пикниках. Разбитые бутылки приводили профессора в несказанное уныние, богатая же добыча воодушевляла на научные подвиги следующей недели.

Профессор Редников, цитируя виднейших ученых, приводил цитаты из Вершинина, и Вершинин насмешливо, но в общем-то незлобиво над ним подтрунивал.

Теперь же он Редникова возненавидит.

Многое уже знал Вершинин о том, что и как будет, и все-таки сомневался: а вдруг?

Вдруг он поднимется на кафедру актового зала, произнесет речь... и вернется в Барабу. Вдруг?..

Чтобы случилось «вдруг» или «не вдруг», должен был появиться кто-то третий, кто рассудил бы его с Барабой, кому можно объяснить, почему он должен покинуть Барабу; кто мог бы сказать, что не пришло еще время решать проблему Барабы.

Вершинин призвал к себе в собеседники Семенова-Тян-Шанского, но тот молчал. Обратился к Бергу — и тот молчал. Бывало, когда люди судили и осуждали его, он злился отчаянно. Теперь все молчали, даже и эти воображаемые люди. Это было во сто крат хуже осуждения.

Заговорил вдруг с ним генерал-лейтенант корпуса военных топографов Иосиф Ипполитович Жилинский.

У Вершинина всегда было воображение, которое его самого удивляло: он мог целую дискуссию открыть

с Марко Поло или с Палласом. Споры бывали со взаимными нападками и эмоциями, так что Вершинин иногда с полгода не брал в руки книг того автора, на которого оказался в обиде.

Спорить с генералом у него не было желания, но тот сам заспорил. И как заспорил!

Началось с журнала «Нива» за 1903 год, № 41. Вершинин и теперь еще не жаловался на свою память, а в молодые годы память была у него исключительная, и тут она подсказала страницу не то восьмисотую, не то восемьсот двадцать вторую — во всяком случае, это была восьмерка с двумя последующими за ней одинаковыми цифрами.

Пятидесятилетие служебной деятельности генерал-лейтенанта И. И. Жилинского отмечалось на этой странице — воспитанника института инженеров путей сообщения, окончившего затем курс Академии генерального штаба по геодезическому отделению. Примечание было: «Портрет на этой странице...»

Усатый, при орденах и регалиях был генерал, с высоким лбом и, должно быть, с изрядной выправкой. Из поляков, вероятно.

«Время — двадцатый век, Советская власть, — сказал генерал Вершинину. — У нас были годы от рождения Христова, а у вас — пятилетки?! — Помолчал. — Однако мы в свое темное время не испугались Барабы, не просили отсрочки. Читали, уважаемый, мой отчет?»

Вершинин читал не раз. Помнил:

«Главное Управление Земледелия и Землеустройства
Отдел Земельных Улучшений

ОЧЕРК

гидротехнических работ в районе Сибирской железной дороги по обводнению переселенческих участков в Ишимской степи и осушению болот в Барабе в 1895—1904 гг. Составлен генерал-лейтенантом И. И. Жилинским при участии членов гидротехнической партии... С.-Петербург, 1907».

«То-то, — сказал генерал. — Помнишь?! Помнишь мой отчет?!»

Подобрел... Все старики добреют, когда о них вспоминают...

«Там у меня в отчете никто из чинов, занятых в работах, не забыт. Помощников, господ инженеров по гидротехнической и путевой части было в Барабе че-

тыре человека. Господ, окончивших курс университета, еще трое. Пространных трудов касательно природы Сибири мы в свое время не писали. О производительных силах дискуссий не вели — не имели понятия. Выражались просто: «С проведением Великого Сибирского пути обращено было внимание на необходимость заселения русским элементом местности, прилегающей к полотну железной дороги». Или: «В тысяча восемьсот девяносто пятом году И. И. Жилинским составлен был общий план урегулирования вод в означенной местности для целей водоснабжения и осушения ее».

Тут Вершинин не на шутку возмутился:

«Вы мальчишка, генерал! Не возражайте, я вам сейчас же это докажу!»

«Вот как?»

«Да-да! Докажу!...

Каждый мальчишка был в свое время гидротехником, преобразователем природы, когда весной соединял между собой лужи и прокладывал ручейки. Вероятно, вы им тоже были в раннем детстве?

Единственным отличием между мальчишкой и вами было то, что вы имели в руках нивелир системы «Эго» и теодолит для измерения углов на местности. А может быть, не теодолит, а древнегреческую астролябию? Так или иначе, вы могли определить на местности превышение одной точки над другой и провести канал с соответствующим уклоном. Вот и все ваше отличие от мальчишек. На этом оно кончалось.

Придя в Барабу, вы так и сделали: определили превышения и провели каналы. Совершили видимое, осязаемое и простейшее. Вы застали еще то время, когда основоположниками в науке и технике бывали мальчишки: вспомните — мальчишка Уатт, заметив, как на кипящем чайнике прыгает крышка, задумался о паровой машине!»

Генерал пожал плечами: «У каждого времени свои деяния. У каждого деяния свои поиски и сомнения... После Галилея им может быть каждый...»

«И все-таки поймите, генерал, в двадцатом веке наука и даже техника все дальше и дальше уклоняются от осязаемого.

Вы отводили в Барабе видимые, поверхностные воды, а мы должны отводить почвенные. Но кто знает, как они появляются в почве, атмосферные это воды или грунтовые? Почему при осушении возникает засоление

почв? Поверхностные воды двигаются под уклон в силу закона тяжести. А как двигаются воды почвенные? А мерзлотный режим этих почв? Разве мы знаем его? Перед вами, первым преобразователем Барабы, все эти вопросы не возникали, вы попросту не знали об их существовании. Мы не можем сделать шагу, не поняв их».

«А скажите, много ли вас решает эти вопросы?»

«Бараббюро, Барабпроект, Барабэкспедиция, Минский болотный институт, Омский сельхозинститут».

«А может быть, и еще кто-нибудь? Оправдываете ли хлеб свой?»

«Может быть, и еще кто-нибудь. Но опять-таки поймите, генерал: в наше время подобное начинание — дело общественное. И как таковое оно требует всестороннего общественного согласования, корнями своими оно должно уйти в самые разные отрасли общественного хозяйства, в разные отрасли науки! Вы меня понимаете, генерал?»

«Понимаю, но смею еще раз спросить — вы социалист?»

«Вне всяких сомнений! А почему вас это интересует?»

«Видите ли — в наше время социалисты были отменными бунтовщиками. Весьма горазды были писать статейки и прокламации. За дело социализма. Так ли имею честь выразиться?»

«Совершенно верно — за дело социализма!»

«Как я понимаю, теперь настало уже другое время, время социализма на деле... Время религий, преклонения перед царствующими особами для вас миновало. Скажите-ка, Вершинин, а что это значит для вас — социализм на деле? Как вы себя осознаете в нем? В деле?»

Вершинин замешкался, генерал И. И. Жилинский вдруг привел заключительные строки из статьи, посвященной пятидесятилетию его служебной деятельности: «Во всех своих неустанных трудах... Иосиф Ипполитович доказал все громадное значение дела — дела! — земельных улучшений, столь блестяще выполняемых им с чисто юношеской энергией и необыкновенной преданностью и любовью...» Цитату не закончил, повторил еще раз: «...преданностью и любовью». «Просто ведь? И вечно. Не правда ли?»

Таким был мысленный разговор у Вершинина с генералом Жилинским. Неглуп был генерал царской службы, имел в жизни точку опоры: два с половиной

миллиона десятин улучшенных им земель в Полесье, триста тысяч в Барабе, еще сколько-то на юго-востоке России.

Лишь несколько лет спустя Вершинин открыл ироническую сторону этого разговора и был обрадован, значит, он воспринимал тогда свое положение не так уж безнадежно: когда у человека не остается ничего, ирония над самим собой — это уже кое-что!

И он перелистал Жилинского — до тех пор ему не хотелось держать его книги в руках. Книги были деловиты, написаны как бы от лица подотчетного, стремились изложить все, что было, и все, как было.

А было в те времена не так уж много: не так много событий, не так много людей, не так много науки. Чаще всего авторы называли свои труды «отчетами», не задумываясь над тем, что в них главное, а что второстепенное, что подтверждало ту или иную теорию, а что ее опровергало. Инженеры-путейцы, горняки, гидротехники, межевики — почти все именно так и писали тогда. Человеку, который когда-то создал «Природу Сибири», а потом переименовал ее в «Материалы», это особенно бросалось в глаза.

Бросалось в глаза, когда этот человек годы спустя сидел в своем рабочем кабинете и перелистывал «Отчет» генерала И. И. Жилинского.

Но тогда, в Барабе, мысленный разговор с генералом не вызывал в нем ни удивления, ни даже каких-то размышлений, ничего, кроме страстного желания еще каких-то встреч. Кто же должен был рассудить его с генералом? С Барабой? С самим собой? Кто?

Вдруг прав генерал, который немного знал, ничего не обобщал и много совершил, а он, Вершинин, который знал многое и все обобщал, так и не совершит ничего?

Поздно вечером там, в Барабе, на крохотной железнодорожной станции Вершинин стоял однажды в конце деревянной платформы. Было уже совсем темно, ненастно.

Когда прежде из окна вагона он наблюдал за людьми, которые на маленьких станциях, никого не встречая и не провожая, встречали и провожали всех, ему становилось жаль этих людей и чуть стыдливо-приятно за себя, за то, что он проезжает мимо них, а не они — мимо него.

Теперь же чем хуже была погода — сильнее ветер и дождь, — тем значительнее казались ему встречи

с желтоглазыми составами. Они мчались с запада на восток и с востока на запад, в Москву, в Ленинград, в Негорелое, и ветер становился еще пронзительнее после того, как поезда, коротко передохнув, снова трогались в путь. Они приходили на станцию из Барабы и снова в нее уходили, и казалось, будто в этой туманной стране не существует ни земли, ни неба, а лишь то самое изначальное, таинственное, из чего и земля и небо только когда-нибудь возникнут.

Какие-то воспоминания просыпались в нем о том времени, когда так было в мире, и он все вглядывался и вглядывался в поезда, которые один за другим и навстречу друг другу проносились сквозь тысячеверстное ненастье, сквозь его мысли и эти странные воспоминания... Очень странные.

Только что примчался поезд, пассажиры не выходили на платформу, даже в окнах вагонов не видно было силуэтов. Чувство ожидания и то покинуло Вершинина, и тогда он вдруг услышал странный звук.

Он закрыл глаза и догадался: в палисаднике перед вросшим в землю зданием станции ветер раскачивал чахлые деревца, тополя, кажется. Их было два, и у одного ветви были старье-старье, погнутые, черные и трещиноватые, у другого — совсем тонкие. Теперь на ветру одна согнутая трещиноватая ветвь ударялась о другую. Вот и все. Оказывается, он зрительно мог представить себе каждое дерево здесь, на этой станции, и даже каждую ветвь дерева.

Он был уверен, что, сделав шагов двадцать вперед и чуть приподняв голову, увидит в свете фонаря эти две ветви — с несколькими черными листьями, с тусклыми блестками не то капель, не то льда с подветренной стороны. Вершинин совсем не хотел убеждаться в том, что он прав, а все-таки стал отсчитывать шаги: один, два, три, четыре... И вдруг перед ним возник Корабельников.

«Василий Григорьевич?!»

Как будто прошло всего лишь несколько минут, в течение которых Вершинин едва успел подумать о двух деревьях в палисаднике станции, с тех пор, как они с профессором Корабельниковым покинули актовъ зал после спора о целях и задачах науки, с тех пор, как Вершинин заявил, что Корабельников — реакционер, что Корабельников не понимает и, должно быть, никогда не поймет сущности того, чему служит всю свою жизнь.

«Василий Григорьевич, сердитесь? Обижены?!»

Тот пожал плечами:

«Вы правы, ученый задумывается не только над фактами своей науки, но и над целями ее...»

«А дальше?»

«Вы по-прежнему намерены совершать революцию в науке? Тогда я по-прежнему спрашиваю вас: какие научные факты вы открыли, которые совершили бы в ней переворот?»

Он все еще не простил, профессор Корабельников. И ничуть не изменился с тех пор: та же классическая борода клинышком, то же пенсне... Но даже и эта догадка — что его не простили — была для Вершинина тем, чего ему так не хватало.

«Хорошо, Василий Григорьевич. Положим, вы правы, я не прав. Тем более вы должны объяснить мне, в чем вы видите цель своей науки? Зачем она вам?»

Корабельников кивнул:

«Добывать факты. Добывать, добывать. Без конца».

«А почему вы их добываете? Без конца?»

«Вероятно, потому, что я, профессор Корабельников, — тоже факт. И как таковой стремлюсь себя расширить, присоединить что-то к себе и сам присоединяюсь к фактам. В нашем мире нет фактов единичных, ничем друг с другом не связанных, нисколько друг к другу не стремящихся».

«Скажите, а зачем вам революция? Новые отношения между людьми? Социальный прогресс?»

«Прогресс для меня — это более благоприятные условия для добывания мною фактов».

«Теперь вы должны сказать, что, по-вашему, делаю в науке я, Вершинин?»

«Вы?»

«Да, я».

«Думаю: лицуете, окрашиваете и подгоняете друг к другу факты. Чтобы они обращались к людям той стороной, которую вы считаете наилучшей...»

«Подождите! Вспомните — разве когда-то спор со мной прошел для вас даром? Разве я не заставил вас думать так, как прежде вы не думали?»

Минуты две, может быть, три оставалось до отхода поезда: глуховатый, донесшийся будто откуда-то из недр Барабы, прозвучал второй звонок. Снова стало слышно, как ветви скрипят в палисаднике.

«Что же, Константин Владимирович, — вдруг ответил вопросом на вопрос Корабельников, — что же вы делаете в Барабе? Что делаете здесь без фактов, но с девизами, с лозунгами, с великолепными идеями?»

«Представьте, спорю с генералом Жилинским».

«Вот как? Пытаетесь?»

«Спорю».

Не поверил Корабельников. Не поверил или не понял, только вдруг сказал, как бы подводя итог:

«Преждевременно!»

«А вы — вы без лозунгов, без девизов, без идей, но с фактами смогли бы рассудить наш спор?»

«Время... Время сможет. Больше ничто!»

Проводник на площадке вагона поднял фонарь, поглядел вниз на платформу.

«Гражданин, займите свое место». — Зевнул, прикрыл рот фонарем.

«Слушайте, Константин Владимирович, вам нужна другая страна... Вы когда-то учились у меня, я знаю, что вам нужно. — Корабельников поднялся на подножку вагона. — Знаю!»

Платформа с желтыми квадратиками света, падавшего из окон, вздрогнула под ногами Вершинина.

«Какая? — крикнул Вершинин. — Какая страна?»

«Новосибирск... До востребования... Посылаю вам рекомендательное письмо. Намечается алтайская комплексная экспедиция. — И совсем уже откуда-то из тумана, из темноты: — Горный Алтай!»

Горный Алтай... Горный Алтай...

Даже когда Вершинин выступал с докладами о природе Горного Алтая, и потрясал эрудицией своих слушателей, и сам ликовал — вдруг приходили к нему не то чтобы воспоминания о Барабе, а как бы ощущение ее...

Вдруг облик профессора Корабельникова того времени возникал перед ним, и он вспоминал, что Корабельников не только вручил ему Горный Алтай, подарил ему Лукоморье, но еще и заставил его служить той самой описательной науке, против которой он, Вершинин, когда-то горячо выступал, которая, по его убеждениям, была наукой конца девятнадцатого века — начала двадцатого, но вторая половина этого века явно уже не могла мириться с нею.

Эти воспоминания, это ощущение Барабы, совсем, казалось бы, ушедшей из его жизни, нынче вдруг возникли снова, еще более тревожные, чем прежде.

Вершинин думал: нынче всему виной Рязанцев, «правильный» человек.

Так, наверное, и было.

И все-таки он снова и снова заглушил бы в себе ту давнюю тревогу, которую он испытывал, стоило ему услышать это грубое и резкое слово «Бараба», заглушил бы перед самым собой... А перед Андрюхой?

В последние годы стало слышно, будто в Сибири снова будут восстановлены границы природно-экономических районов, которые когда-то выдвигал Вершинин, о которых он до сих пор говорил: «мои границы».

И когда этот слух до него дошел, он разыскал и перелистал свои забытые «Материалы» и стал ловить себя на том, что нет-нет да и нарисует на клочке бумаги Сибирь в «своих границах».

Но однажды подумал: а, собственно, какое отношение имеют к нему, геоботанику, границы экономических районов Сибири? Ровно никакого! Ну и Бараба, значит, тоже не должна иметь к нему никакого отношения. Ни малейшего! Только вот Андрюха...

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Всю ночь Рита чувствовала, как она спит, и всю ночь знала: лишь только сон чуть-чуть отпустит ее, она сразу же проснется, проснется для того, чтобы узнать, что случилось.

Открыла глаза. Думала, ее встретит раннее утро, может быть, рассвет, но сон, настойчивый, цепкий, оказывается, держал ее долго: солнце светило уже совсем ярко, по-дневному, и уже теплым было все вокруг в его красноватых лучах.

Душно пахли известью теплые стены, полы — охрой, простыни и наволочки — мылом, но сильнее всего пахло травой и теплым лесом.

Из окна веяло дымком — должно быть, во дворе топилась печурка. Запах же леса был где-то здесь, совсем рядом. Догадалась, откинула тонкое одеяло, приблизила к лицу сначала одну, потом другую руку, склонила голову сначала к одному, потом к другому плечу — запахи пихты, мхов, кедра, сыроватой хвои стали совсем яв-

ственными. Рассыпала волосы по лицу — запахи стали еще сильнее, а солнечный свет блуждал теперь перед глазами множеством разноцветных искр.

Запахи эти она принесла с собой из леса, согрела их своим теплом.

Лес, горы, просторы всегда ее немного пугали, озадачивали, и не потому, что она боялась заблудиться, не потому, что природу не любила, а из-за того, что не любила среди природы оставаться одна, не знала, что с собой делать.

Сейчас она чутко и благодарно вдыхала принесенные с собой запахи, какую-то ласку к лесу вдруг почувствовала и долго слушала шорох деревьев за окном. Но, полежав еще несколько минут, все-таки поняла, что проснулась не от этого, а от какого-то другого ощущения.

После той ночи, когда она вдруг так мило подумала о Реутском, о нем и о себе вместе, она встретила день как человек, наконец-то нашедший трудное решение, и поэтому уже не думала больше о себе. Тем более что незаметно появилась у нее другая забота: дело.

Рита, если хотела, многое умела делать. Она училась хорошо, но только по тем предметам, которые читали хорошие лекторы, плохих не слушала — на скучных лекциях рисовала чертиков, красавиц и читала Паустовского.

Даже выучив материал, она плохо сдавала тем преподавателям, которые принимали экзамены позевывая. Терпеть не могла сдавать таким.

Зато если экзаменатор с явным интересом начинал ее «прощупывать», откуда что бралось, она отвечала на вопросы, даже если совсем плохо знала их.

Приезжая в праздничные дни к тете, она облачалась в ее халат, заворачивая этот халат на своей талии чуть ли не вдвое, закатывала рукава повыше, голову повязывала самой что ни на есть худенькой и старенькой косынкой и, распевая, начинала теснить тетю на кухне.

И не только пела — дело спорилось у нее, как будто весь свой век она только и делала, что стряпала пирожки и торты.

Но в заключение обязательно должна была произойти такая сцена: появляются гости, тетя уже переодета, а Рита все еще в тетином халате с засученными рукавами, и волосы, выбившиеся сквозь драную косынку, припудрены мукой.

В маршруте с Андреем никто на нее не смотрел, никто ею не любовался. Андрей любовался только травами. Увлекать тоже было некого.

Один раз нашла эдельвейс. Обрадовалась. За эдельвейсом, она знала, туристы на Западе совершают многодневные восхождения в Альпы. Эдельвейс и верхняя граница его распространения очень интересовали Вершининых — старшего и младшего, и еще потому Рита обрадовалась, что цветок этот Онежка находила уже несколько раз, ей же не повезло ни разу.

Она даже по-латыни вспомнила название, не очень уверенно, но все-таки крикнула:

— Леантоподиум! Эдельвейс! Ура! Находка! Эврика! Эврика!

Пошел Андрей, поглядел:

— Э-э! Ври-ка! Обыкновенный бессмертник!

Он умел иронизировать и уколоть тоже умел с этой плутоватой и даже саркастической усмешкой лопухого своего лица, но тут был занят делом настолько, что не засмеялся. Махнул рукой, и больше ничего.

Она ответила:

— Па-аду-умаешь!

Андрей же уселся на поваленный кедр, поковырял кривым ножом еще крепкую кору и сказал:

— Менделеев в своей таблице указал на существование еще не открытых элементов, а ботаник Цингер Николай Васильевич описал растение — торицу-предусмотренную, о которой ничего не знал, но все угадывал. Что главное? Главное — постигнуть систему... Так? А как постигнуть? Интер-ресно?!

И ему было все равно, слышит она его или не слышит, понимает или не понимает. Если бы Риты и вовсе не было, он то же самое и с тем же выражением сказал бы какому-нибудь дереву или камню.

Она все время была рядом с ним, а он был один, но даже себя самого не чувствовал.

Мало того — он и ее тоже заставлял не замечать самое себя, и она двигалась в сумраке тихого хвойного леса, делала записи, жила, а себя не замечала. Это так ново было для нее, так необычно, что сначала она себе не поверила. Могло ли это быть с нею? Могло ли быть с живыми людьми?

Рита всегда, даже во сне, а днем только редкую минуту не чувствовала себя, не забывала о своем лице, о своих движениях, о своем голосе. Ни одна мысль, ни

одна радость, ни одно несчастье еще не смогли заслонить ее от нее. Никогда этого не бывало!

И, наверное, если бы она произнесла что-то такое же умное, как Андрей, если бы так же, как он, раздумывала о какой-то системе, — в эти минуты душевного и умственного напряжения она особенно сильно почувствовала бы себя всю: свои глаза, свои руки, свой голос, свое «это».

Ей всегда казалось, что чем сильнее у человека мысль, тем больше он чувствует себя.

А должно быть не так. Должно быть, она не знала до сих пор, что можно достигнуть чего-то и в мыслях, и в каком-то деле, когда твое «это» дремлет, когда ты его покоряешь, оттесняешь куда-то в сторону.

И на другой и еще на следующий день было так же: она надолго и неожиданно просто забыла о себе. Работала до изнеможения, а себя не чувствовала.

А кончилось это смешно. Для нее, наверное, это не могло кончиться иначе — она не заметила, как натерла огромную мозоль на ноге, нога покраснела, распухла. Еще в лагере, на планерке, она в шутку пригрозила Андрею: «Нарочно натру себе в маршруте мозоль, и ты будешь нянчиться со мной! Будешь водить меня по лесу под ручку, а я буду виснуть у тебя на шее!» И вот случилось на самом деле. Они пришли к избушке лесника и пасечника, заночевали. Андрей, должно быть, уже давно, с рассветом в лесу. Плащ, на котором он спал, свернут трубкой и лежит в углу, а она всем телом ощущает уют кровати и прячется от солнца под тоненьким одеяльцем. Когда-то, должно быть, одеяльце было красным, но после многих стирок стало едва розовым.

Что же все-таки случилось ночью? Может быть, это о работе она думала во сне? Бонитет, типы леса, подрост, ярусность, растительные сообщества ее тревожили всю ночь, а потом разбудили?

Засмеялась: ладно, она согласна с тем, что работа могла ее занять на несколько дней, могла спасти ее от одиночества, которое прежде она всегда испытывала в лесу, но чтобы еще и ночью обо всяких там бонитетах думать, тревожиться — дудки! Такого с нею случиться не может! Она себя как-никак знает!

Что же тогда тревожило ее?

Почему Андрей не обращает на нее никакого внимания? Ни малейшего!

Сегодня это для нее неважно. Рита вернется в лагерь, а тогда она и Реутский скажут всем, кто они друг для друга. Не все ли равно тогда будет, обращал на нее внимание Андрей или не обращал? И весь маршрут она тоже, как только вернется, сразу же выбросит из своей памяти, со всеми его страхами и тревогами.

А все-таки? Неужели она для Андрея — нуль?

Трудно представить себя нулем! Даже спокойного отношения к себе она никогда ни от кого не ждала, ей казалось — ею все должны увлекаться, а если кто не увлекается, тот ненавидит. Ненавидит за то, что боится ею увлечься. Но вот она стала нулем!

Еще — «кукла». Андрей про себя обязательно ее так называл. Может быть, «пучеглазая кукла»? Потом «свинкс», обезьяна пино-пино! Как это противно — понять, что человек так о тебе думает, в то время как ты до смерти его боялась! Хотя нулю ведь нечего бояться! Ему ничто не страшно, ему никто ничего не может сделать? Никто не угрожает?! Ужас — лежать ночью на кедровых ветвях, прогретых костром, рядом с человеком, который вот так о тебе подумал, а потом взял и спокойно уснул! Наплевать ему на тебя, он вообще никак не хочет о тебе думать, даже очень плохо! Потому что ты для него — нуль!

И это не все: они вернутся в лагерь, и все увидят, что Андрей еще больше к ней равнодушен, чем раньше, что он действительно ее презирает. Рязанцев первый это поймет и улыбнется. Для него все равно, что понять, лишь бы понять, а потом улыбнуться. Лопарев увидит, крикнет, словно скажет: «Ясно!» Онежка увидит и приласкает ее. Она-то знает, как Рита всегда отзывалась об Андрюше! Реутский увидит... «Напрасно я боялся отпускать ее с Андреем! Это только мне она сумела вскружить голову, Андрюха ухом не повел!»

Нет, обязательно надо возненавидеть этого парня и вернуться в лагерь врагами! А тогда — квиты! Чего-то не хватает для настоящей, лютой ненависти к нему... Нуль!

Но вот вчера она уснула в избе пасечника с каким-то добрым, радостным чувством и от этого же чувства проснулась сегодня. Что же было?

Подумала: нужно уметь дорожить радостными чувствами, если они к тебе приходят. Убеждала себя: «Не виноват тот, к кому радость не приходит, виноват — кто сам проходит мимо радостей! Тебе хорошо — радуйся,

и все! Может быть, ни от чего хорошо! Неужели это нужно — обязательно домогаться у себя самой, почему тебе хорошо? Старательно портить себе жизнь? Радостно — и все! Может быть, от яркого солнца радость, а может быть, и от самой себя...»

День был светлым, ясным, он тоже подсказывал: «Не торопись... Неторопливо радуйся...»

И она не торопясь убрала постель и Андреев плащ подняла с полу, переменяла примочку на ноге. Опухоль стала меньше, не такой, как была вчера, только притрагиваться к ней все еще больно. Можно было и совсем не притрагиваться, но рука так и тянулась сама — почесать, ощупать, что там такое на ноге.

Умылась.

Во дворе, около летней печки, хлопотала женщина. Пожилая. Но движениями, озабоченностью, с которой женщина все делала, она сразу напомнила Рите Онежку.

Рита улыбнулась. Подумала, что даже много лет спустя воспоминания об Онежке будут вызывать у нее такую улыбку, которую невольно вызывают люди очень простые.

— Потеряла что?

Это женщина заметила рассеянность на лице Риты.

— Нет. Ничего.— И присела на крылечке.

Прямо со двора поднимались в высокое небо лиственницы, и еще одна небольшая ель разбросала свои ветви. В тени лиственниц была поленница дров, лежала груда досок, бродили там белые-белые курицы, и розовые поросята, блаженно похрюкивая, валялись кверху брюшками.

Под ветвями густой ели земля покрыта была слоем коричневой хвои, по хвое разбросаны продолговатые шишки. Ель, казалось, пришла во двор совсем ненадолго со своим кусочком леса и скоро снова уйдет в лес. Ель понравилась Рите.

— Ну ежели так, то завтракать! — сказала женщина.— Мужиков — и своёго и твоёго — кормила чуть свет, вместе в лес и пошли. Сама-то заморилась, ожидавши...

Женщина сказала «своёго» и «твоёго» с сильным ударением на «ё», но внимание Риты не это привлекло.

— Ждали? Кого? — спросила она.

— Да ведь тебя...

— Зачем?

Хозяйка выпрямилась, не торопясь вытерла руки о передник, поправила косынку на голове, приготовилась к разговору.

— Не знаешь? Женщины-то в лесу вприглядку. По зимнику еще проезжали тут муж с женой. Три дня жили. С той поры женщины не видела — с марта. С конца месяца. И то была — одно звание что женщина.

— Это как?

— Бездетная. Немолодая, а бездетная. С мужиком, а для чего, объяснить не знает как. Мужиков-то у нас в избе редкую неделю нет, и два и три раза на неделе ночуют летом. Пойдут по снегу белковать — полна изба их будет.

Принесла картошку в огромной чашке, сметану, самовар поставила прямо на землю, рядом с дощатым столиком под лиственницей и сказала:

— Ну вот садись. Трава, примочка помогла ли? Не саднит ли ногу?

— Помогла...

Сели за стол, и хозяйка, не спуская с Риты внимательно-жадных глаз, говорила:

— Мы до прошлого году с первыми санями в деревню переезжали. Так я, бывало, девка, зиму-то слушала людей, а лето все загадывала: у кого как случится, как обернется? Нынешний год — в лесу безвыездно. Истосковалась. Мужики, они как? Они про газетку, про спутник, про белку, с ими каждое дело у тебя в курсе. А об жизни? Об жизни — ни слова!

— Ни слова?

— Одного не дождешься! Хотя бы мой... Приедет из деревни. «Как там люди-то живут?» — «Чего-то им делается, твоим людям, — живут!» Месяц проходит. Он: «Сватья тебе кланялась. Приветы пересылала. Сына в армию справляет!» Ладно так-то. А то меня же спрашивает: «То ли Верка Беклишева сошлась обратно со своим, то ли уехала от его в Бийск?» — «Уехала?! Не то она расходилась?!» — «А не то я тебе не говорил — старуха-то, Веркина мать, их еще к празднику развела, по отдельности май справляли!» Так они и живут, мужчины, жизнь вроде их не касается, одни дела. О своей жизни тоже слова путного у мужика нет: «ничего» да «помаленьку» — это он о себе знает. Как живет, у жены спрашивай! Понятно ли, большеглазая? — Улыбнулась. — Нет, не было еще на тебя бабьего века!

Молоко, горячая картошка, крупная каменная соль с полынной горчинкой... И в словах женщины как будто тот же привкус. Она называла Риту «девкой», и Рита отчего-то смущалась всякий раз. Не обижалась, а только смущалась. Слушала и слушала, а женщина рассказывала. Два мужа было у нее... Первый вернулся с войны офицером, не один — привез с собой фронтовую жену. Второй вдовцом был, и слава богу, — никого не пришлось ей разводить, и сама не осталась одинокой при живом муже. Теперь дети у них — его, ее и общие, но дети в лесу не живут, учатся в школах, в техникумах, работают. Обзавелись уже своими семьями, самый младший в училище, в городе Бийске, и начал ухаживать за девушкой.

Жалела очень женщина, почему у нее не родился еще один. Чтобы был теперь при ней. Муж по лесному и охотничьему делу, неделями дома не бывает. Жаль, нет у нее маленького.

Муж — человек хороший, справедливый, и на первого она тоже не жалуется. Жалуется на себя: почему нет маленького? Маленького нет, и людей кругом нет, и нет забот... А ей трудно без забот. Чтобы было легче, день-деньской думает о старших детях. О знакомых.

Рита вспомнила мать, вспомнила тетю — им тоже обязательно нужны были чьи-то «драмы», нужно было знать, кто с кем и как живет. И для них «знакомые» были чуть ли не то же самое, что весь белый свет.

Они о знакомых без конца друг с другом говорили, и, когда Рита стала уже студенткой горного института и ей всегда или почти всегда позволялось присутствовать и даже принимать участие в таких беседах, она всякий раз переживала какое-то опьянение от слов, которые там произносились.

Таковыми были там слова, что они мурлыкать начинали вместе с серым котом, развалившимся на пуфе.

Удивительно похожи были слова и фразы женщин, собиравшихся в материнской комнате, на все то, что слышала Рита сейчас, сидя за дощатым столом в тени лиственницы. Почти те же самые были слова, но только здесь они звучали робко — не в силах были выразить желание забот и всю ту ласку, которая в глазах женщины светилась. Маленького нужно было ей, пожилой. Лицо у нее было в морщинах. От забот или потому, что ей забот не хватало, она томилась по ним?

Сколько раз Рита слушала женщин в комнате матери, в гостиной тети, когда там отсутствовал тетин мужлогик, но ни разу она не почувствовала, будто действительно входит в тот необъяснимо желанный мир женщин, в который она стремилась с самого детства. Оно, это чувство, пришло впервые к ней сейчас, вот здесь.

И, должно быть, это не случайно — всякий раз, когда она возвращалась, бывало, от тети в студенческое общежитие, дорогой возникала у нее одна и та же глупая мысль: а не лучше ли было ей родиться мужчиной?

Родиться мужчиной, но только после того, как она уже побывала в гостиной у тети, послушала, что там говорят, когда дядя-логик отсутствует! Вот тогда она, только уже не она, а он — мужчина Рита — стал бы женщин покорять, потрясать их!

Теперь же ей вдруг захотелось надеть на себя темно-зеленую ситцевую кофту хозяйки, рукава на кофте зашучить повыше и пуговицы расстегнуть все до одной, покуда нет никого из мужчин, подол также подоткнуть, обуться в сапоги на босу ногу. Косынкой повязаться. Даже такой же полной ей захотелось быть и такой же сильной.

И еще она подумала: «То, от чего я проснулась сегодня утром, знает эта женщина! — Посидела некоторое время молча. — Нужно, чтобы женщина заговорила обо мне. Тогда я обо всем догадаюсь!»

Если Рита хотела, чтобы говорили о ней, это ей всегда удавалось. Она сказала задумчиво:

— Вот и мне тоже надо бабий век прожить. — Сама себе удивилась: «Какие слова способна произносить!»

Но еще больше удивилась, когда женщина ответила ей:

— Проживешь! Мужик у тебя сурьезный!..

— Какой мужик?!

— А вот такой — сурьезный. Строгий очень.

Когда Рита поняла, что женщина об Андрюше говорит, о ней и об Андрюше, она долго ничего не могла сказать в ответ, сидела неподвижно и таращила глаза. Потом ей смешно стало, но, прежде чем свою собеседницу разубеждать, она спросила:

— Так, значит, строгий? А почему это хорошо?

— А то плохо?

— Конечно же, плохо.

— Много ли понимаешь?! Строгий — он сам вольничать не станет и тебе воли не даст.

Снова Рита засмеялась:

— Так почему же это хорошо?

Женщина ответила не сразу:

— Тебе, девка, дать волю — ты сама себе рада не будешь. Точно не будешь! Не говоря об других. Тебе строгого и нужно. Верно говорят: кто для кого родится, тот в того и влюбится.

— Выдумываете? Правда, нарочно выдумываете?

— Кого выдумывать? Тебя? А зачем? Ты и без выдумки вся как есть на виду. Вот она — ты! — показала на Риту пальцем.

— Почем вы знаете? Совсе вы меня не за ту принимаете. Ошибаетесь во мне. Честное слово! Совсем я не вся здесь. Совсем не вся!

— Ну, где же тебе признаться. Молодая, норовистая. Глазищи-то! В кино такие показывают. Чистотелая. Одно слово — прелесть. Вот время и не вышло об себе отмечаться.

— А выйдет?

— Само собой...

— Когда же? Скоро?

— Тебе видней.

— А по-моему, не выйдет. Никогда.

— Выйдет, девка. Ребятишек народишь, мечты на них обернутся... Это пока ты замужняя девка, не более того. Вот по-девичьи и не разучилась об себе думать. А мужик у тебя строгий, рукодельный мужик. Он тебе не позволит долгое время в замужних девках бегать. Такие семью уважают. Чтобы все было прочно-крепко. Мой тоже строгий, без баловства. Моего ты и не поглядела, пришел ночью, а чуть свет — обратно в лес...

И тогда Рита вспомнила, как в кухне хлопнула дверь, раздались тяжелые шаги мужчины. Сильный несдержанный голос тут же спросил:

— Ты что, в гостях или дома у себя?

Женщина ответила что-то.

— Кто такие? Откуда?

Снова шепот...

— Не ждала — горницу заняла ими?

Слов женщины совсем не слышно стало, но волнение ее и нежность слышались без слов. Мужчина вздохнул громко и негромко сказал:

— Как раз молодым-то здесь постелила бы, а себе в горнице!

Вот что было ночью! Вот каким был потом у Риты сон: будто она все время слушала этот разговор, но только слушала не слова мужчины и даже не шепот женщины, а то волнение, которое было в этом шепоте.

Хозяйка сидела по-прежнему напротив за столиком, с тем же добрым участием пристально вглядывалась в лицо Риты, все та же грусть была в ее глазах и та же строгость к самой себе.

Так могло продолжаться еще несколько мгновений, не больше. И в самом деле, недоумение возникло в глазах женщины, сначала в самых краешках глаз, легкое, едва заметное, потом оно, это недоумение, стало единственным выражением лица, и движение руки, когда она подтягивала косынку повыше, тоже было недоуменным. Словно она хотела, но не решалась что-то у Риты спросить, о чем-то почти догадалась, но не догадалась ни о чем.

Рита встала из-за стола.

Стоя хотела сказать женщине все то, о чем та не догадалась, хотела сказать уже от крыльца, хотела из окон горницы крикнуть ей во двор. Не крикнула.

Легла на кровать и подумала: «А если Андрей так и объяснил в этом доме? Может быть, так действительно нужно было сказать, чтобы нас приняли здесь? Так проще и удобнее было: солгать один раз и все сразу объяснить хозяйке? Может быть, Андрей тоже слышал ночью хозяина, наверно даже слышал — он всегда спит чутко, настороженно...»

Что-то ее ошеломило... «А вдруг это игра с его стороны?» — подумала она. Вдруг Андрей нарочно так сделал — ее подразнить, в глупое положение захотел ее поставить?

Лишь только эта мысль пришла к ней, она преобразилась, воспрянула вся.

Если он это затеял, если даже нечаянно, но все-таки и ее заставил играть, пусть на себя пеняет! Па-а-жалуйста! И еще раз — па-а-жалуйста!

Присела на кровати, шляпу повертела в руках. Косынки не было, она полотенцем повязала голову, на лоб и сбоку над левым ухом выпустила концы — длинные и небрежные.

Юбки у нее с собой тоже не было, только походные брюки, она еще другое полотенце повязала вокруг талии поверх брюк. Кофты не было, была майка-безрукавка

и теплая тужурка, она решила, что это, пожалуй, к лучшему — пусть будет безрукавка.

Конечно, посмотрелась в зеркало — сначала в свое, маленькое, потом в хозяйское.

Нашла новый стиль приемлемым для данного момента. Подумала: «Стряпуха, которая для тетиных гостей готовит пирожки! Когда за плечами есть производственный опыт, это хорошо!» Спела какую-то песенку, которую, кстати, сама не слушала — занята была своей внешностью. Припадая на больную ногу, сделала несколько па. Представилось ей, будто она польку танцует с каким-то очень красивым партнером: тра-та-та-та, тра-та-та-та!

Не хотела даже подумать заранее, как она встретит Андрея, когда он вернется из леса, — какими словами, какими жестами. Само собой, все должно было получиться гораздо лучше, чем по обдуманному плану.

Решив так, отправилась к хозяйке, помогала ей мыть поросят, чистила песком страшно закопченный тяжеленный чугунок, кур училась щупать.

Нынешний сон и утро нынешнего дня, когда они сидели с этой женщиной за столиком в тени высоких лиственниц, ели горячую картошку с холодным молоком, посыпали картошку крупной горьковатой солью и Рита видела себя в зеленой расстегнутой кофте, в косынке, в сапогах, — все это чем дальше, тем больше и больше казалось ей исполнением чего-то давным-давно задуманного.

И когда из леса вернулся Андрюша, ей тоже показалось, будто он не в первый раз входит в эту калитку, и вот так сбрасывает тяжелый рюкзак у крыльца, и топор вынимает из-за пояса, небрежным, но точным движением вонзает в старую колоду — тоже не в первый раз, — все это уже бывало у нее на глазах.

И она встречает его не в первый, а будто в тысячный раз и спрашивает: «Ну как? Притомился?» И даже его удивленный взгляд ощущает на своем лице, на всей своей фигуре, уже привыкнув когда-то и где-то к этому взгляду.

Поглядела на Андрея и она — внимательно и снисходительно, так же, как хозяйка утром на нее глядела, и вдруг сменила ласку на строгость:

— Наколи-ка быстренько дровишек! Помельче! Не мешкай!

Андрей всегда для костра рубил хворост как-то очень ловко, одной рукой, не глядя на топор, и сейчас поленца были у него одно к одному. Правой рукой он складывал их на левую, согнутую в локте, а потом охапку отнес к печурке и бросил там на землю.

Она рассердилась:

— Чего разбросался-то! Растопи печурку!

И он снова выполнил приказание, а тогда она велела ему сходить на ручей по воду, а потом загнать поросят в пригончик.

Недоумение постепенно исчезало с его лица. Может быть, он понял и принял игру, может быть, у него и не было другого выхода, если он действительно сказал хозяйке то, чего на самом деле не было. Но теперь ни то, ни другое уже не имело для Риты никакого значения. Теперь она с упоением выдумывала для него все новые и новые поручения, а он беспрекословно выполнял их, двигаясь угловато, неуклюже, а работая быстро. Он покорялся всем ее распоряжениям совсем свободно, легко — никто и никогда ей так не покорялся. Никогда еще у нее не было такого ощущения своей власти! Это ее возбуждало, она все больше погружалась в свою роль и смогла лишь слабо улыбнуться хозяйке, когда та сказала:

— Не жалеешь мужика-то! Ах, не жалеешь! Притомился ведь мужик-то!

Но даже эту слабую улыбку она мигом спрятала и сердито велела Андрею поставить на место подворотню, чтобы куры не убежали со двора. Он и это исполнил.

Чем дальше, тем больше ей нужно было. Потому нужно было, что она чувствовала: где-то терпение его иссякнет, легкость, с которой он все, что она велит, исполняет, вдруг исчезнет, он рывкнет на нее, чего доброго, возьмет и толкнет. И чем более несдержанным он рисовался ей, тем сильнее и скорее она хотела этого теперь добиться.

Если бы ничего не произошло, она была бы убита самым настоящим отчаянием. Она вся ждала его вспышки, вся-вся — и та, которая сегодня с утра чувствовала себя хозяйкой, женщиной и хлопотливо без усталости работала по дому, и та, которая была очень красивой, вздорной девчонкой, пережившей в лесу унижительное безразличие к себе этого парня.

Андрей поставил подворотню в пазы, пошел и сел на

крыльцо, на самую верхнюю ступеньку, где утром сидела Рита.

Она посмотрела на него: «Сейчас он потеряет спокойствие. Сию секунду!» — и лихорадочно стала придумывать, что бы такое еще заставить его сделать. Но придумать быстро не могла — ощущение близости его вспышки ей мешало.

А он глядел на нее потемневшими глазами, весь был красный, и когда она уже приоткрыла рот, чтобы сказать: «А ну-ка, сбегай в комнату за моей шляпкой!», он опередил ее на какое-то мгновение, вытянул ногу вперед и приказал:

— А ну-ка, сними сапог! — Помолчал и повторил: — А ну!

Она никак не могла себе представить, что за этими словами не кроется рокового, поразительного смысла, что речь идет просто-напросто о сапоге и ни о чем больше. Стояла и повторяла про себя: «Сними сапог, сними сапог!»

Он оперся о ступеньку одной ногой, другую еще дальше вытянул и вдруг крикнул грубо, требовательно, угрожающе:

— Кому говорят?!

Руки ее странно дрожали, когда она стаскивала правый сапог. Сняла — он другую ногу тут же вытянул. Быстро встал босой, с сапогами и портянками в руках, ушел в дом.

— Правильный мужик. Ты забывайся, да не очень! — Это хозяйка сказала Рите и еще погладила ее жесткой рукой по голове.

Рита все же не знала, что случилось. Была это ее победа или ее поражение? Было это горько или радостно? Было это совсем незначительным каким-то случаем или огромным событием?

А вдруг это было чем-то гораздо большим, чем победа или поражение, чем горечь или радость, чем самое большое событие, которое когда-либо в ее жизни происходило? Что же это все-таки было?

Не знала, что делать. А сделать что-то должна была! Обязательно!

Бросилась за Андреем в комнату. Он лежал в углу, на своем дождевике, лицом к стене. Она нагнулась к нему, потом опустилась на колени и совсем легко приподняла его. Поцеловала в губы.

Уже в дверях услышала:

— Дурная!

Дурная — это плохая, скверная; дурная — это глупая; дурная — это взбалмошная, непутевая; дурная — в этом послышалось ей ласковое недоумение, что-то радостно-испуганное.

Хозяйке она сказала, что будет спать сегодня на чердаке: «На воле» — так она сказала хозяйке ее же словами.

— Да нешто повздорила с мужиком-то! — Женщина охнула, а потом сказала вдруг: — Ты, девка, видать, дурная!

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Как только вышли из лагеря, Реутский стал объяснять Лопареву, какова цель маршрута и какой в общем-то хороший человек, какой эрудит Вершинин-старший. Лопарев должен благодарить судьбу, что у него такой руководитель, а Реутский мог бы посодействовать тому, чтобы у Михаила Михайловича возникли с Вершининым нормальные отношения, какие должны быть между профессором и аспирантом незадолго до защиты диссертации.

Реутский был уверен, что таких отношений никогда и ни при каких обстоятельствах не будет, но в то же время он искренне считал свое третейское вмешательство делом необходимым и справедливым. Никому от такого вмешательства не хуже, зато в глазах всех троих он совершал бы благородный поступок. В том числе — и в своих глазах.

Лопарев не без внимания выслушал Реутского, потом убил у себя на носу комара, взял его за ножки и сказал:

— Вот стервец! Грызется, ровно волк! А махонький! И пошел вперед.

Предстояло перевалить через отрог, по одной стороне которого шли Рита с Андреем, а по другой — Рязанцев с Онежкой, пересечь неширокую долину и снова подняться к самым ледникам следующего, уже довольно высокого хребта.

Вершинин-старший называл этот маршрут «поперечным геоботаническим ходом». Ход был самый короткий, но и самый сложный: на пути крутые спуски и подъемы, главное же, здесь явственно сказывалась

высотная зональность, и наносить на карту изменения растительности с высотой было делом трудным, оно требовало времени и умения.

В полдень Реутский решил, что пора сделать привал, а Лопарев поглядел на него так, словно тот высказал какую-то совершенно глупую мысль:

— Да что мы, барышни, что ли, днем приваливаться?

Снял картуз и засунул его в чехол для топора, голову же повязал носовым платком. Он быстро вел абрис и еще успевал отдельно записывать все, что касалось лиственницы — ее возраста, густоты стояния, травяного и мохового покрова в лиственничном лесу.

К вечеру первого же дня Реутский оказался на побегушках у Лопарева, и Лопарев окончательно перешел с ним на «ты»: «Подсчитай-ка, Лев, всходы на метровке!», «Разбей, Лев, делянку десять на десять и опиши подлесок!», «А ну-ка, поищи хорошенько мышинные норы, Лев, много ли их здесь?»

— Это все мне вовсе не обязательно делать! — рассердился Реутский. — Да!

— А кто же говорит, что обязательно? — согласился с ним Лопарев. — Никто этого не говорит. Только если я все буду делать один, так мы с тобой не раньше чем через двенадцать дней вернемся в лагерь. Никак не раньше!

Реутскому не везло. Должно быть, не напрасно ему с самого начала казалось, что в экспедиции далеко не все так, как должно быть, далеко не все устроено.

Ну что же, он вообще немного встречал на свете людей и дел, которые были бы устроены так, как надо, — вполне разумно и вполне порядочно. Причиной тому были все, все люди, а если все — значит, никто. Он же, Лев Реутский, даже меньше других.

У него давно уже выработалась способность предвидеть появление какого-то беспорядка там, где, казалось, все устроено как нельзя лучше.

Едва только он побывал в лаборатории Вершинина, увидел там Лопарева, как ему было совершенно ясно, что Вершинин и Лопарев обязательно поссорятся между собой. Удивительно, как они сами этого не понимали?

Реутский хотел бы, чтобы у профессора поскорее открылись глаза и профессор понял бы наконец, что у него нет и не может быть ничего общего со своим аспирантом. Он искренне желал Вершинину самого лучше-

го — спокойной судьбы, уверенного продвижения в науке.

Вершинин был в добрых отношениях с отцом Левы Реутского, тоже профессором, доктором геолого-минералогических наук по специальности кристаллография. Они были однокашниками, и отец нередко говорил, что Костя очень способный человек, что он эрудит и, если бы вышел в большие люди, много помог бы молодежи, которой другие не дают ходу.

Лева же Реутский то и дело приходил к мысли, что он как раз из тех, кому не дают ходу. Это его обижало, но как-то не очень. Что поделаешь, такова жизнь!

С Вершининым Лев Реутский был в экспедиции в первый раз и не мог точно объяснить себе, почему именно, но только он все время чувствовал правоту отца: шеф заслуживает того, чтобы выйти в большие люди.

Его наблюдения неизменно подтверждали эту первую часть отцовской формулы, и столь же неизменно Лева Реутский все больше утверждался во второй ее части: что он лично обижен, что он сам хоть и молод, но ничуть не хуже иных докторов наук.

Что-то грустно начинало тогда щемить у Левушки, и он вопреки всем своим правилам в один голос с Вершининым ругал то одного, то другого ученого, потом — биологическую науку в целом, а потом — порядок присвоения ученых званий и ученых степеней, при котором путь от кандидата к доктору наук представлял прямо-таки немислимые трудности.

Лопарева Реутский всерьез не принимал — если бы такой вышел в люди, от него никому не было бы житья. Но Реутский знал, что этого не случится, а случится по-другому: профессор Вершинин хоть и с запозданием, но поймет свою ошибку, поймет, что напрасно взял себе такого аспиранта. После этого Лопареву останется еще год-другой поболтаться при лаборатории, а потом он пойдет туда, откуда пришел, — не то в леспромхоз, не то в лесной трест.

Уйдет Лопарев — спокойнее будет Вершинин-старший. Спокойствие же ученого должно быть превыше всего.

В доме Реутских за самочувствием отца всегда следила мать, она заботилась, чтобы утром муж поднялся с бодрым желанием работать, чтобы днем ничто этому желанию не мешало, чтобы вечером он вовремя лег

спать и голова у него на ночь глядя не была бы забита какими-нибудь мыслями.

Как только Лева стал аспирантом, будущим ученым, он и на себе испытал внимание матери, очень похожее на то, каким был окружен отец. Защитил он диссертацию, и заботы эти возросли. Всему свое время.

Воспитанный в семье, в которой беспредельным уважением пользовался отец-профессор, в которой он и сам это уважение, эти заботы испытывал, Лева Реутский и отношение Вершинина-младшего к старшему тоже воспринял не иначе как совершенно необъяснимую дикость.

В семье Реутских, если случалось что-нибудь неприятное, если у отца появлялось скверное настроение, мать складывала руки на груди и говорила:

«Ах, жизнь, жизнь!»

Всякий раз при этом жизнью бывало нечто коварное, что упорно мешало науке.

Сама по себе наука без этого вмешательства была порядочной, она была по-своему, по-научному, устроенной, и к ней тоже нужно было относиться порядочно: заботиться о ней, посвящать ей время и силы, понимать ее. А жизнь все время от науки человека отрывает. Жизнь вообще по природе своей никогда не устроена, она только без конца требует устройства: забот о деньгах, о детях, об ученых степенях и званиях, о здоровье, о путевках на курорт, об уплате членских взносов в профсоюз.

Не так давно настало время, когда очень часто и в речах, и по радио, и в печати стали говорить: «Связь науки с жизнью».

Лева Реутский, будучи заместителем декана, сам нередко такое выражение употреблял, но всякий раз, прежде чем его произнести, ему приходилось преодолеть то ощущение, которое он с детства привык слышать в тревожном и негодующем шепоте матери: «Ах, жизнь, жизнь!»

Но что поделаешь, такова была эта самая жизнь, что однажды она вынудила Леву хотя и скрепя сердце, а все-таки принять на себя самые хлопотливые, самые неблагодарные с точки зрения науки обязанности заместителя декана по студенческим делам. Ничего не скажешь — на пути в науку не обойдешь неблагодарную жизнь! Жизни обязательно нужны были жертвы,

и он такую жертву принес. Принес и даже успокоился: чего еще от него можно требовать?

Очень скоро жизнь принесла Леве драму: его оставила невеста. Его — красивого, молодого кандидата наук, заместителя декана!

В Москве во время распределения молодых специалистов по местам работы его бывшая невеста выступала перед выпускниками и рассказывала им, как хороша, как романтична Сибирь и как она сама несчастна: обстоятельства заставляют ее оставаться в столице.

Левушка Реутский не через третье лицо обо всем этом знал — сам слышал. Он ездил в Москву, чтобы окончательно выяснить отношения со своей невестой. И она сказала, что отношения еще не совсем поздно восстановить при условии, что он тоже устроится в Москве, в крайнем случае — под Москвой, в пределах часа-полтора езды на электричке.

Не будь у Левушки кандидатской степени, можно было бы еще раз испытать уже испытанный путь: для начала тоже определиться в аспирантуру. Молодыми же кандидатами наук и в самой Москве, и далеко в ее окрестностях можно было пруд прудить.

И однажды в девять двадцать утра на первой платформе Ярославского вокзала они распрощались навсегда. Она плакала, он, кажется, немного тоже. А когда по радио было объявлено, что скорый поезд номер четыре, следующий по маршруту Москва — Владивосток, отправляется через пять минут и провожающим предложили выйти из вагонов, предварительно проверив, не остались ли у них билеты отъезжающих, они, пренебрегая этими советами, обнялись и вместе вздохнули:

— Ах, жизнь, жизнь!

Вернувшись из Москвы, Лева, несмотря на всю свою занятость, внимательно стал приглядываться к девушкам, преимущественно аспиранткам медицинского и педагогического институтов, но тут вскоре жена заведующего кафедрой логики, приятельница Левушкиной матери, очень полная, очень разговорчивая Надежда Эдуардовна как-то за чаем вынула из сумочки маленький портретик девушки и спросила всех присутствующих:

— Моя племянница. Ну? Что здесь можно сказать?

Портретик был выполнен акварелью. Изумительно был выполнен. Лева разглядел его во всех подроб-

ностях, даже на свет и с обратной стороны, а потом так и сказал:

— Великолепный художник!

Надежда Эдуардовна на правах старой знакомой и как жена заведующего кафедрой логики иногда объясняла Левочке некоторые вещи, обращаясь к нему на «ты». Она сказала:

— Голубчик мой! Конечно, художник — тоже человек и тоже не без чувств. Между прочим, это нарисовал преподаватель черчения горного института, в котором учится Риточка. Но, поверь мне, с какой-нибудь образины ни один, даже самый талантливый художник, даже лауреат не напишет ничего подобного! Даже лауреат! Поверь, тут должна быть натура!

Натура появилась в доме Реутских через каких-нибудь десять дней и выразила желание перейти из горного института в университет, на Левочкин биологический факультет. Сначала она появилась у Реутских в сопровождении своей тетушки Надежды Эдуардовны, потом одна. И когда она появлялась, наступало замешательство, какой-то беспорядок и неустроенность: у профессора слезились глаза, и ему переставали помогать глазные капли; Левочкина мама выбивалась из сил, чтобы домашний режим не нарушался, а он все-таки нарушался немислимо — профессор вовремя не уходил отдыхать, Левочка не вовремя играл на рояле.

При этом каждый по-своему без конца возвращался к вопросу о жизни.

Папа говорил:

— Бывает же в жизни... — и пожимал сначала одним, а потом другим плечом. Такая у него была привычка.

Мама, как всегда, шептала в растерянности:

— Ах, жизнь, жизнь!

А один университетский приятель, познакомившись как-то у Левочки с Ритой и улучив минуту, спросил его:

— Ты что же, Лева, в самом деле имеешь намерения?

— Самые серьезные!

— Ну, знаешь ли, она даст тебе жизни!

Так или иначе в семье Реутских о недавней Левочкиной «драме» вспоминали теперь с милыми улыбками и говорили, что нет худа без добра, а незадолго до отъезда Левы и Риты в экспедицию мать сказала ему:

— Друг мой, пожалуйста, держи ее в руках! С самых первых шагов; это очень важно!

Левочка обещал матери, что обязательно так и сделает, но как раз в тот самый день Рита вызвала его с кафедры и сказала, что в экспедиции он должен вести себя так, будто между ними совершенно ничего нет, будто они даже незнакомы.

Он удивился, очень расстроился, растерялся и захотел узнать, для чего ей это нужно, а Рита ответила, что иначе она не поедет ни в какой Горный Алтай, ни с каким профессором Вершининым, и еще спросила, все ли он понял.

Лева ответил, что понял все.

Но только на Алтае ему стало понятно, для чего ей это было нужно: чтобы он окончательно потерял голову.

Ему было около тридцати, он был заместителем декана, кандидатом наук, как все кругом говорили, и, как сам он чувствовал, очень перспективным кандидатом. А чем он был занят в экспедиции? Какие мысли, какие проблемы его больше всего волновали? Какие соображения возникали у него?

Нынешней весной, только еще чуть-чуть начинало подтаивать, они возвращались с бала из Дворца культуры.

Лева вел Риту под руку и чувствовал себя потрясенным. Всю жизнь он ощущал вокруг себя множество людей, предметов, каких-то дел, так или иначе связанных с наукой. И вот все это вдруг перестало для него существовать — отец, мать, университет, деканат, диссертация, его прежняя невеста, — все это в один миг куда-то исчезло.

Остались двое — Рита и он сам. Вернее, даже не он сам, а только одно его желание — во что бы то ни стало ее поцеловать. Сейчас же! Сию же минуту!

Это возникло еще на балу, когда все на них смотрели, все ими любовались, а Ритины глаза смотрели на него. И это стало единственным смыслом его жизни, когда они шли тихой предрассветной улицей, под ногами хрустывал тонкий ледок, а Рита прятала теплое лицо — он знал, что оно было теплым, — в воротник мягкого коричневого пальто и оттуда снова смотрела и смотрела на него.

Он, как мальчишка, вдруг обернулся на одной ноге, схватил ее... Лицо было проникновенно теплым. Губы — ласковыми и еще бог знает какими.

Это уже позже вспомнилось, что и как было, а тогда он просто не мог выпустить ее из своих рук, да она и не пыталась отстраниться.

Не скоро они пошли дальше.

Он что-то говорил, куда-то смотрел, как-то дышал, и все ради того, чтобы минуло несколько минут, а потом все повторилось бы сначала.

Но когда он снова обернулся к ней, она вдруг положила правую руку на свое левое плечо, и он почти больно ударился об острый локоть.

Она засмеялась:

— Довольно!

— Почему же, Рита? Почему?

— Не знаю...

Засмеялся он, засмеялся счастливо.

— Ну вот видите, вы не знаете — почему! — И снова к ней наклонился.

Она быстро отступила.

— Я же сказала вам, не знаю! — И еще раз повторила: — Не знаю! — Поглядела на него, улыбнулась, быстро повернула его, взяла под руку и повела. — Идите в ногу: раз-два, раз-два!

Он шел с ней в ногу и, счастливый, повторял:

— Раз-два! Раз-два!

Теперь, на Алтае, это его «раз-два, раз-два!» зазвучало, словно проклятье самому себе. Что он сделал тогда?! Как допустил? Еще одного-единственного прикосновения к ее лицу, к ее губам ему не хватало, чтобы обрести спокойствие и почувствовать, как все прочно, как все вечно в твоей жизни... Только одного!

Этого ничтожного еще одного-единственного не было. По его собственной непростительной не то оплошности, не то легкомыслию, не то еще почему-то — не было! А была тоска. Было чувство неуверенности. Было подозрение ко всем и ко всему на свете.

Теперь он подозревал Онежку в том, что по вечерам, в палатке, она говорит о нем Рите что-то плохое.

Рязанцева — что он обо всем догадывается. Догадывается и еще — удивляется.

Вершинина-старшего — что он о чем-то может догадаться. Догадается, а потом обратится за разъяснениями к нему, Реутскому. А что ему скажешь? Что ответишь?

Лопарева подозревал в том, что Рита ему может понравиться.

Вершинина-младшего — что он может Рите понравиться. Вершинина-младшего Реутский вдвойне не переносил: за то, что тот портил жизнь своему отцу, и за то, что не обращает никакого внимания на Риту, — от этого у Риты мог возникнуть к нему интерес.

Это подозрение довело Реутского до изнеможения, когда Рита пошла в маршрут.

Он твердил себе, что Андрей слишком некрасив, слишком груб, молод и вообще — мальчишка. Единственно, что может, — так это каким-то словом, просто равнодушием, насмешкой обидеть Риту. И пусть. Это будет к лучшему. Справедливо.

Хотя Реутский неприязненно и недоверчиво относился к жизни, потому что она всегда мешала настоящей науке, это недоверие ничуть не мешало ему за просто судить жизнь, решать, что в ней справедливо, а что — нет. Обычно, вынеся чему-то свой приговор или приняв решение, он приобретал и душевное спокойствие. Всегда так бывало. С тех же пор, как он шел по хрустящей тонким ледком улице вместе с Ритой и считал за ней: «Раз-два, раз-два!», он уже никогда больше не был уверен в своих решениях.

Нынче, когда они с Лопаревым отправились в маршрут, он с первых шагов решил, что один из них должен быть старшим, а другой — младшим, подчиненным. Старший — он, кандидат наук Реутский, а подчиненный и младший — Лопарев. Объективно все было за такое решение: Реутский уже второй год как получил из ВАК диплом кандидата наук, а Лопарев был аспирантом второго года обучения; Реутский, будучи заместителем декана, имел опыт организационной работы, а Лопареву подобный опыт еще только следовало приобретать.

Еще один довод: в Реутского влюблена самая красивая во всем университете девушка. Это не каждому дано.

Но не было справедливости, не было! И ощущение обиды, горечи, несправедливости с каждым днем все больше охватывало Реутского.

Оно несколько ослабело лишь тогда, когда Лопарев и Реутский вышли к избушке пасечника: наконец-то жилье, наконец-то ночлег не под открытым небом!

Лопарев тотчас познакомился с хозяйкой, протянул ей руку и сказал:

— Миша.

Реутский удивился. Лопарева так и звали в отряде — Лопаревым, иногда Михаилом Михайловичем, или Михмихом, но он был еще и Мишей.

— Егорьевна...— ответила женщина, быстро разогрела самовар, принесла картошку, молоко, хлеб, крупную неразмолотую соль в деревянной чашке, все это поставила на грубый дощатый стол прямо во дворе.

— Ну, мужики, садитесь,— позвала она и сама опустилась на табуретку.— Белку, что ли, пугать взялись, ходите все, ходите? Что делаете? Кроме — что по лесу ходите?

— Карту составляем,— пояснил Лопарев, наливая чай в огромную чашку.— Люблю пошвыркать из такой вот чеплашечки!

— Карту составляете, а без инструмента? Без вешек?

— На готовую наносим, где какие травы, какой лес. Одним словом — всю растительность.

— А потом что с той карты?

— Напечатаем ее. В типографии, где книги печатают.

— Ну а потом?

— Планировать будут. Где какое хозяйство вести, какие лесозаготовки.

— Значит, где чего рубить?

Лопарев поставил чашку на стол. Вздохнул и сказал:

— При нас, пожалуй что и так. Ну а после нас уже по-другому: где чего сажать.

— Помирать надобно скорее, ежели после нас правильнее будет. Так неохота что-то. Не поманивает...— Помолчала.— Тут недавно тоже двое ночевали. По такому же делу ходят в лесу, так же вроде объясняли. Не ваши?

— Молодые?— спросил Реутский.

— Молодые...

— Парень и... девица?

— Муж с женой. Ну, правда, молодые. Народить еще никого не успели.

— Нет, это не наши.— Лопарев махнул рукой.— Не наши! Чайку, что ли, еще плеснуть? Чтобы погорячее? А ваш-то, Егорьевна, муж в лесу тоже?

— Из лесу не вылезит. Там ему и дом родной. Сюда он в ночь-полночь заявляется, вроде к любушке какой.

— А ведь неплохо?

— Не жалуясь. Жалуясь разве? Ни тебе поссориться время нету, ни поскучать по нем. Разве иной раз только. Дом-то весь на мне, да и пасека. Золовка тут с нами жила, мужнина старшая сестра, так поехала погоститься, да и осталась в деревне. Одной-то вовсе некогда.

— Это правильно, — подтвердил Лопарев. Отхлебнул из чашки. — Умный человек сказал: чай пить — не дрова рубить!

Лопарев пил чай словно вприкуску с терпким воздухом. Глотнет и вздохнет... Еще сделает глоток и еще вздохнет.

Реутскому же казалось, что если у Лопарева хорошо на душе — значит, у него, у Реутского, должно быть плохо. Все эти дни такое чувство не покидало его: стоило ему загрустить, как он замечал веселую и самодовольную улыбку на лице всегда мрачноватого Лопарева; стоило предаться воспоминаниям о Рите, захотеть тишины, как Лопарев что-то с грохотом начинал рубить; стоило устать, подумать об отдыхе, как Лопарев говорил: «Денек-то золотой! Только и работнуть!»

В довершение всего Реутский так и не научился обращаться к Лопареву на «ты», а тот другого обращения словно никогда и не знал. Ладно, пусть все это в лесу. А если Лопарев и в лагере будет теперь «тыкаться»? В присутствии Вершинина-старшего? Риты?

Был восьмой час вечера, солнце ушло за горы; свет его, еще яркий в высоком небе, у самой земли потускнел, тени сгустились; особенно темной, какой-то ночной показалась Реутскому ель, стоявшая во дворе. Она показалась ему неуютной, мрачной, совсем была не к месту здесь, рядом с домом.

Реутский жевал картошку с грубой и горькой солью, глотал молоко. Есть ему очень хотелось, но он чувствовал, как давит на желудок грубая пища. И хотя это не совсем справедливо было с его стороны, он, глядя на хозяйку, испытал какое-то чувство раздражения. Зеленая кофта была на ней не очень опрятная и не застегнута на все пуговицы. «Удивительно, — подумал он, — просто удивительно, что Рита Плонская и эта женщина составляют один тип хордовых, подтип позвоночных, класс млекопитающих, отряд приматов, семейство гоминад. И, кроме всего, они еще одного пола, они обе — женщины! Уж лучше бы я не был зоологом и совсем не понимал бы этого сходства!»

Неприязнь к женщине Реутский, должно быть, еще потому испытывал, что он все время хотел задать ей один вопрос, но никак не мог решиться. Боялся ответа. Если бы женщина ответила так, как ему хотелось, он, конечно, тотчас ей все простил бы — и неопрятную кофту, и горькую соль с холодным молоком и теплой картошкой. Однако ответ ее мог быть ужасным, и особенно в присутствии Лопарева.

Лопарев же беседовал с хозяйкой и время от времени повторял, что умным был человек, который сказал: «Чай пить — не дрова рубить». Но все-таки и он напился чаю, потянулся, вытер полотенцем потное лицо.

— Ну что же, Лев, я так считаю: после хлеба-соли два часа воли! А мы с тобой и все пятьсот минут можем оторвать. Завалимся на вышке, часов до четырех — будуар там мировой, — а утречком прямым ходом в лагерь. Нам больше ни абрисов, ни описаний не составлять!

Реутский ответил, что он тоже скоро пойдет спать на чердак, а Лопарев снова уселся и стал продолжать разговор о кедровом орехе, об охоте на белку, о космосе и о спутнике. Он ушел еще очень не скоро, и, как только ушел, Реутский спросил:

— Вот что, хозяйюшка, вы не помните ли, как тех двоих звали? Которые ночевали у вас недавно? Молодых?

— Ну как, поди, не помню? — ответила Егорьевна, распрямившись над большим чугуном, который она только что принялась изнутри отмывать тряпичей. — Я-то, женщина, да такую девку не запомню! Таких и в кино не всякий раз кажут. Ритой ее звали.

— А его?!

— Андреем. Лицом не очень, так мужчину разве с лица ценят? Серьезный, без баловства. С ней строгий.

— Позвольте, позвольте, вы ошиблись. Они вовсе не женатые, эти люди.

— Как это — ошиблась? Сама же их в горнице спать ложила, а теперь — ошиблась? Ты мне про ту девку плохо не говори. Не поверю. Сама видела их семейную жизнь.

— Видели?

— Она-то больно карахтерно с ним, придурилась, командует: и туда сходи, и это принеси. Как с мальчишкой...

— Это очень может быть! Отчего же!

— ...а потом он взъярился на нее: а ну, кричит, спи-ми с меня сапог! Вот тут на крыльце и было.

— А она?

— Сняла небось. Ручонки дрожат, боится. Не свык-лась еще.

— Оба?

— Что — оба?

— Оба сапога?

— Так нешто он в одном спать пойдет?

Сумерки миновали, ночь настала, вот-вот рассвет должен был начаться — Реутский все не смыкал глаз, лежал рядом с Лопаревым на сене и глядел в небо, в квадрат голубоватого лаза. Подушка была у него под головой, настоящая подушка, о которой он так часто вспоминал в эти дни в лесу, одеяло было — они ему только мешали. «Боже мой, — думал он, — хоть то хорошо, что Лопарев ничего не знает!» Но перед рассветом не выдержал и ткнул Лопарева в бок.

— Спите?

Лопарев тотчас повернулся и спросил:

— В чем дело?

— Михаил Михайлович, милый, — прошептал Реутский.

— Что-о-о? Дело-то в чем?

— Андрей и Рита были здесь. Это о них хозяйка говорила — муж и жена...

— Не может быть! Вот влип так влип парень! В жизни не поверил бы!

— И вы думаете, я сам когда-нибудь мог предположить?

— Слушай, Лев, не понимаю: а при чем здесь ты?

— Я... Она моя хорошая знакомая, Рита. Очень хорошая. Невеста. — Реутский накрыл голову подушкой, полежал неподвижно, потом бросил подушку в сторону. — Не удивляйтесь. Она никому не велела об этом говорить. Никому! Ни словом!

— Так ведь по глазам было бы видно?

— Она и глазам велела молчать...

— Сила! Определенно! Знаешь что, ты лучше поспи, Лев. Утром еще хозяйку расспросим. Может, это просто цирк. И больше ничего.

— Хозяйка укладывала их в доме.

— Ну и что ж из этого? Что она потом, в щелку подглядывала? Наше дело бродячее. Вон и Онежка где-то ходит с Рязанцевым. Мало ли что...

— Хозяйка видела — Рита снимала с Андрея сапоги. Андрей приказал — она сняла. Оба.

— Факт! — сказал Лопарев. — Факт как таковой! Сила! Не выдумашь.

— Что же делать, Михаил Михайлович?

— Спать... Спать или ничего не делать. Одно из двух.

Однако Лопарев тоже не засыпал. Спустя некоторое время проговорил:

— Зараза девка! Не дай бог влюбиться! Ее мне не жалко — сама себе хозяйка, а вот Андрюха...

А когда уже светало, предупредил Реутского:

— Ты вот что, Лев, старшему Вершинину — ни гу-гу! Я поговорю с Андрюхой, пусть сам отцу расскажет. Это же для Вершинина-отца знаешь какой удар?! Как же я теперь с ним ругаться буду — ума не приложу!

— А вы не ругайтесь.

— Не ругаться — ему волю над собой дать.

...В лагерь Лопарев и Реутский шли быстро, без остановок.

— Выше нос, Лев! — повторил несколько раз Лопарев. Реутский молчал.

Поднялись на открытый взгорок, который одним плечом упирался в круглую залесенную вершину, а другим принимал удары шумного, пенистого ручья. От взгорка и ниже по течению этого ручья место было безлесное, только кое-где поросшее кустарником и кедровой молодью. Кедрач наступал с обеих сторон — с востока и с запада, но северные ветры вынуждали его прятаться за камни и выступы, а тем временем из лиственничной куртинки, которая стояла в очень удобной ложбине по ту сторону ручья, эти же ветры приносили сюда ее семена.

Семена лиственницы никак не могли попасть на заветренную сторону камней, укрыться за них, и лиственничная поросль, едва приподнявшись над травой, уже сновагнулась к земле.

Небо здесь, над поляной, было чистым и светлым, светлее, чем над лесом, а солнце — ярче; чуть тянуло ветерком. Дали отсюда открывались — их было видно и прямо на восток, и через ручей на север, и они тоже спокойно и как-то вдумчиво глядели с двух сторон на эту поляну: что здесь совершается?

Лопарев, стоя на взгорке, осмотрелся и спросил Реутского:

— Ну а что она теперь будет делать?
— Кто? Кто она?
— Я про лиственницу спрашиваю!
— Не знаю. Не знаю, не знаю...
— А вот слушай, Доктор. Лиственница сейчас напрасно рыпается — ей поляной не завладеть. Силы нет. Лет через пятнадцать дело будет другое.

— Может быть...
— Не может быть, а факт. Такой будет факт: кедрач подрастет, а под его защитой лиственница воспрянет. Кедр время потеряет, пока обсеменится, пока кедровка ему поможет семена по-за камушкам рассовать, и придется ему полянку с лиственницей поделить... А ты вот что, Лева, взялся бы за эту птичку — кедровку. Написал бы о ней вот такую книгу, как эта пичуга кедровые леса создает, какой у нее к тому нрав, какой характер!

— Опоздал. Без меня уже тома написаны.
— Удивись пичуге, тогда и ты напишешь.
— Людям удивляюсь — не пичуге.
— Людям одним, без природы, нельзя оставаться.

Противопоказано.

— Вы так думаете?
— Дело не в том, что думаю, — так оно и есть.

Реутский приотстал от Лопарева — не хотел его слушать, смотрел на поляну, на ручей, но видел вокруг будто не своими глазами. Будто кто-то шел с ним рядом и время от времени объяснял ему: вот здесь подъем, здесь спуск, а вот это ручей, а вот там небо. Сам же он никак не мог и даже не пытался освободиться от охватившей все его существо обиды и видел одну только Риту — смеющуюся, с наивно-оскорбительным выражением лица. Иногда видел ее глаза такими, как в то раннее утро весной, после бала во Дворце культуры.

Когда Реутский поднялся вслед за Лопаревым на взгорок и остановился там, он тотчас подумал, что эту поляну Рита и Андрей тоже не минуют, возвращаясь в лагерь, — может быть, они уже прошли ее, а может быть, еще не прошли... Выйдут из леса, остановятся, возможно, на этом же месте, где они сейчас с Лопаревым стоят. Челкаш в рваной шляпе Риту — в который уже раз! — обнимет, и она не скажет: «Довольно!» — и не возьмет его под руку, чтобы потом считать: «Раз-два, раз-два!», а, смеясь, вспомнит, как ухаживал за ней Реутский, как он уговаривал ее поехать с ним в экспедицию, а она заставила его притвориться, будто между

ними совсем ничего нет, никакого знакомства... Он притворился.

Осенью она вернется в университет и расскажет обо всем подругам... Сколько будет смеха и веселья, как девчонки будут хитро и лукаво разглядывать заместителя декана на лекциях и практических занятиях!

Челкаш же здесь, на этой поляне, даже не улыбнется, только скорчит гримасу.

И теперь никогда уже Реутскому не забыть проклятого взгорка, где к нему пришло это совершенно реальное видение, где он, кажется, навсегда потерял другие, отчетливые, такие яркие минуты своей жизни — Ритины блестящие глаза, ее теплое лицо и это когда-то радостное, потом тревожное, потом проклятое «раз-два, раз-два!» Зачем, зачем он совершил тогда ошибку?! Зачем сегодня Лопарев остановил его на проклятом взгорке?! Может быть, сделал это нарочно? Ведь от Лопарева можно ожидать всего!

...И в самом деле, спустя почти сутки Рита и Андрей прошли через ту же поляну. В самом деле, они останавливались на взгорке, на том же месте, где стояли Лопарев и Реутский. Андрей долго и молча что-то разглядывал, потом сказал, что Лопареву здесь, наверное, было бы интересно. Сказал и пошел вперед, а Рита за ним.

После того как они покинули избушку лесника, Рита лишь несколько раз заметила на себе пристальный взгляд Андрея, больше ничего в нем не изменилось. Она отвечала ему безмолвно: «Ну да — было... А дальше что?» — и знала, что не имеет права даже на этот безмолвный вопрос; с ним ничего не произошло, он остался прежним — что-то произошло с ней.

Она всегда была разной, всегда для самой себя неожиданной. Ее «это» было бесконечным — вчера одним, сегодня другим, а каким оно будет завтра, через год, через много лет, она никогда не знала, никогда не задумывалась, не угадывала его.

И все-таки она не помнила такого чувства, будто одна часть тебя здесь, а другая — где-то в другом месте, будто что-то в тебе принадлежит одному, а что-то — чему-то другому:

Сегодня такое ощущение — там и здесь — у нее появилось.

Что такое?

Была ли она, Рита, молодой, красивой и не просто так легкомысленной, как думали все, а мятежной своей безмятежностью и своими беспокойными выдумками? Той, которая любила Левушку Реутского?

Да, была такая Рита, и осталась такая Рита.

Но появилась еще одна.

Которая вдруг захотела быть точь-в-точь такой же, как пасечница, хозяйка лесной избы, — крупной, сильной, наделенной неистребимым чувством женщины и матери ко всему, что вокруг нее было; вдруг захотела одеться в зеленую замусоленную кофту. Это желание было у нее недолгим. Но оно же было?

Которая в смятении дрожащими руками стягивала грязные сапоги с лопоухого парня. А потом еще бросилась за ним, лопоухим, опустилась на колени и, ощущая какую-то небывалую силу в руках, приподняла его с пола, посмотрела ему в глаза, поцеловала. Если бы в тот миг тысячи и миллионы людей были там, если бы ее сняли на кинолентку, чтобы потом показывать всему миру и Левушке Реутскому, она точно так же поступила бы.

Это были мгновения, в которые она покорялась, и ощущение своей покорности все еще вызывало в ней восторг, какую-то неистовую радость, какую она не испытывала даже тогда, когда сама покоряла. Ощущение восторга возникло с того времени, когда она, исполняя роль женщины, взяла и выдала себя за жену Андрея. Сыграла роль сначала перед хозяйкой, потом перед Андреем, а когда она сыграла ее для самой себя — не заметила, но именно для себя сыграла и глубже и вдохновеннее, чем для них.

Она хотела в лагерь — скорее, скорее!

С ней не должно было случиться еще что-то, прежде чем она будет в лагере!

Она хотела увидеть Реутского. Быть может, при первом же взгляде на Левушку рассеются ее сомнения и тревоги. Что-то совсем исчезнет, а что-то снова станет тем, чем было до сих пор.

Хотела увидеть Онежку, заговорить с ней об Андрее. Онежка выслушает Риту, узнает все, что Рита узнала в эти дни о самой себе. Потом, когда она приобщится к Онежке, через нее — такую простую, такую незатейливую — ко всем людям, потом она ее приголубит. Нежно-нежно, ласково-ласково... «Как умеем это мы...

женщины», — сказала себе Рита. И еще она хотела посмотреть на Андрея — не здесь, не в лесу, а в лагере, при всех.

Они пришли в лагерь за полдень, и палатки показались ей милым домом. И ведра, которые стояли около кострища, и стеклянные чисто вымытые банки, и «рабочий» топор, воткнутый в колоду (значит, Лопарев здесь), и ружье Реутского «зауэр», из которого он бьет мышей и которое висело на сучке рядом с его палаткой (Левушка — здесь!), — все-все показалось ей совершенно необходимым для жизни, для того, чтобы и дальше о чем-то думать, что-то чувствовать.

«Газик» стоял немного поодаль, и шофер прохаживался перед ним — значит, Вершинин-старший собирается куда-то поехать, наверное, в луговой отряд.

Рита вошла в палатку. В полутьме, под брезентовым пологом, разглядела свой спальный мешок, подушечку-думку — подарок тети «Что такое хорошо...», пузырек с одеколоном и зажмурила глаза, чтобы еще раз и еще яснее все это увидеть.

Легла. Вытянулась на мягком мешке. Что-то предстояло, что-то ждало ее, но сейчас нужен был покой, и он всю ее охватывал. Кажется, задремала... какой-то сон стал приближаться к ней... Сон о чем-то, о ком-то...

И вдруг требовательный, злой голос рядом с палаткой:

— Рита! — И еще раз. — Рита!

Она моментально села, потом проползла под пологом и вскочила на ноги.

— Что? Что случилось, Константин Владимирович?

Вершинин-старший стоял со шляпой в руке и с удивлением на нее глядел — на ее пеструю косынку, повязанную вокруг шеи, на ее фигуру в черных измятых шароварах, на ее ноги в тапочках и без носков. Он глядел то на нее, то куда-то вверх, словно удивляясь ее моментальному появлению и соображая, откуда она возникла перед ним — из палатки или сверху, из-за деревьев, куда он прокричал ее имя. Рита поняла, что с ним случилось что-то необычное, неестественное, против чего он протестовал всем существом.

— Собирайся! — крикнул он с каким-то отчаянием, но теперь это было еще страшнее, потому что Рита видела его, и он кричал ей в лицо, в самые глаза.

— Куда? Зачем? Что случилось?

— Не твое дело! Собирай шмутки! Живо! Сейчас же поедешь, сию минуту! — И, обернувшись, крикнул Владимировскому: — В отряд Свиридовой ее — к бабам!

— Вы меня гоните? За что?

— Собирайся! Марш! Там, у Свиридовой, романы крутить не с кем!

Когда Рита нечаянно прикасалась к вещам Онежки — к Онежкиному мешку, к ее простыне и гребешкам, таким спокойным и прохладным, — она каждый раз при этом невольно закрывала лицо рукой, как будто была в чем-то виновата перед этими вещами. Онежка тоже вернулась из своего маршрута, уже спала в палатке ночь и сейчас работает в лесу, где-нибудь недалеко, и не знает, как нужна она Рите!

Если бы Онежка была здесь, рядом?! Она удивленно посмотрела бы на Вершинина и смутила бы его.

Несколько раз Рита хотела убежать куда-нибудь в лес, к Онежке, но сталкивалась с Вершининым-старшим. Он с палкой в руках маршировал около входа в палатку, туда и обратно, туда и обратно, перешагивая через свою шляпу, лежавшую почему-то на земле.

И Рита старалась миновать Вершинина-старшего взглядом, когда рюкзак ее был наконец набит первыми попавшимися под руку предметами и она снова высунулась из палатки.

Но тут... Было это или не было? Андрей стоял, облокотившись на капот «газика». Точь-в-точь такой же, как в маршруте: в сапогах, чехол с лопатой-топориком на поясе, в неизменной рваной шляпе.

Он тоже увидел ее, как стояла она на коленях и, опираясь о землю руками, старалась быстрее выбраться из палатки. Увидел и сказал:

— Что же ты, Рита? Ехать так ехать.

На этот голос, спокойный, почти равнодушный, мгновенно обернулся Вершинин-старший. Торопливо поднял с земли шляпу. Подошел к Андрею:

— Ты куда это? Куда собрался, шилишпер?

— В отряд к Свиридовой...

— На каком основании?

— Побывать на лугах. Необходимо для дипломной работы.

— Ты нужен здесь. Понятно?

— Понятно. Съезжу и вернусь.

— Это когда же ты вернешься? Завтра?

— Хотя бы и завтра. Когда прикажешь.

— Машина тебя ждать не будет. Отвезет вот ее — и в ту же минуту обратно!

— Вернусь пешком.

— Вот что,— сказал Вершинин-старший шоферу.— Я тебе запрещаю брать в машину лишних людей. Государственный транспорт не для прогулок. Все!

Андрей пожал плечами, нагнулся, натянул голенище одного сапога, потом другого.

— Ты, Рита, поезжай, а часам к двенадцати ночи и я приду туда...— И поднял с земли свой тощий рюкзак.

У Риты на щеках были слезы, и руки тоже в слезах, она на ходу смахивала их и вытирала пальцы о шаравары. Подошла к машине, поглядела на Вершинина-старшего ликующими глазами:

— Большое спасибо, Константин Владимирович! Мне так хотелось побывать в отряде Свиридовой!

— Садись!— сказал Рите Андрей. Сказал сердито и торопливо.

— Сию минуту, Андрюшенька!— ответила она и тут же почувствовала, что ее «это» — с нею.

Ничего ни страшного, ни обидного она больше не переживала — «это» было выше всего, а Вершинин-старший стал как будто слышащим и говорящим предметом, который никак не мог ее чем-то задеть, сколько бы ни старался.

Увидела Рита и Левушку Реутского — он стоял около своей палатки и обеими руками держал перед глазами очки. Рита взглянула на него и догадалась: Левушка был в избушке пасечника, он что-то знает. Это он сказал Вершинину... Но и Левушка тоже вдруг стал предметом, и он не мог погасить ее ликования. Завтра, еще когда-нибудь она обдумает свою догадку, но боже мой, какое ей дело до этой догадки сейчас, сию минуту?!

И она взобралась на сиденье «газика», потрепала Андрея по голове, чуть приподняв на нем рваную шляпу.

— Так я жду! Приходи! Жду!

Андрей кивнул, снял ее руку со своей головы, надвинул шляпу и пошел вперед.

Заворчала машина.

Вершинин-старший крикнул:

— Сто-ой!

Машина, дрогнувшая уже всем корпусом, замерла.

Вершинин-младший продолжал идти вперед, а старший повернулся, сделал несколько шагов и сел на пенек рядом с палаткой Реутского.

Рита громко сказала ему:

— Константин Владимирович, я же не успею к Свиридовой засветло!

Вершинин-старший молчал. Молчал и молчал.

И тут в тишине вдруг стали слышны чьи-то тяжелые тревожные шаги. Кто-то спускался к лагерю с горы, по крутой тропинке, из леса на поляну уже выкатывались камушки.

Лопарев появился на лагерной поляне, а все уже смотрели на него, его ждали.

На руках у Лопарева была Онежка.

— Вот, — сказал он, тяжело переводя дыхание, весь в поту, а потом еще раз: — Вот!

Вялая ручонка Онежки все еще раскачивалась из стороны в сторону в такт его шагам, хотя он стоял теперь неподвижно. В ее светлые волосы, растрепанные по руке и по плечу Лопарева, пробрался ветерок и пошевелил их. Лоб и глаза у Онежки тоже были закрыты волосами, а губы — бледные и совсем тонкие — плотно сжаты.

— Мешки спальные — в машину! — сказал, глубоко вздохнув, Лопарев.

Все его поняли, но никто не двигался с места.

Раньше других Андрей ворвался в свою палатку, схватил мешки, волоком подтащив их к машине, крикнул Рите:

— Расстилай!

Она расстелила в кузове мешки, подушки, пологи, а потом Лопарев положил Онежку и сказал:

— Поедешь. Женщина как-никак. Понадобишься в дороге!

Рита провела рукой по лицу Онежки, по груди, остановила руку на правом ее боку.

— Неужели здесь? Онежка! Здесь? Неужели — то самое?! Неужели?!

— Сиди! — сказал ей Лопарев. — Держи ей голову на коленях, под спиной — подушку. Вот так! — Потом Лопарев кивнул Вершинину-старшему: — Быстро, Константин Владимирович! Быстро! Устраивать будете в больницу, врача самолетом вызывать!

Вершинин-старший, не говоря ни слова, сел рядом с шофером.

Вскочил в машину и Лопарев, встал на колени позади шофера. Андрей втиснулся рядом.

Лопарев толкнул шофера:

— Полный!

Спустя некоторое время из леса вернулся Рязанцев. Остановился в недоумении: одна палатка лежала на земле, другие были распахнуты, а у кострища сидел Реутский, обхватив руками колени и откинув голову назад. Очки лежали рядом с ним в вытоптанной траве.

— Что случилось, Лев Иванович?! Что? С кем? — спросил Рязанцев, нагнувшись к Реутскому.

— Онежка умирает... А может быть, умерла...

— Как? То есть как?

— Точно так, как умирают люди... — Ударив по очкам, Реутский взмахнул рукой: — Ах, жизнь, жизнь!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Рязанцев и как-то сразу сникший Доктор медицины, оставшись в лагере вдвоем, отчужденно поглядывали друг на друга. Молчали.

«Точно так, как умирают люди...» — повторил про себя Рязанцев слова Реутского и никак не мог представить, будто они имеют какое-то, хотя бы самое отдаленное, отношение к Онежке.

Вернулись Андрей и Рита. Рита, бледная, потрясенная, не говорила ни слова. Андрей же объяснил, что дорогой они встретили вторую машину экспедиции, что отец велел им пересесть, вернуться в лагерь, а Рязанцеву передать, чтобы на этой вот машине он тотчас тоже ехал в больницу.

Потом Андрей отвел Рязанцева в сторону и сказал:

— Скверно...

— Ну, все-таки, что ты можешь еще сказать?

— Скверно...

Грузовая машина не могла подойти к лагерю ближе чем километра на три, по узкой извилистой тропе пробирался только «газик», и эти три километра Рязанцев бежал под гору сколько было сил, как будто от него что-то еще зависело в судьбе Онежки.

Сначала и на машине двигались со скоростью пешехода, то и дело царапали диффером, пятились, объезжали камни, некоторое время ехали по руслу ручья, вода захлестывала радиатор.

Рязанцев пытался представить себе, какие мучения приняла на этой дороге Онежка. Если только она еще чувствовала боль.

В селе, не доезжая больницы, шофер заметил на деревянном тротуаре переулка растерянную фигуру Вершинина. Вершинин приблизился к машине и тихо, шепотом, словно по секрету, сказал:

— Это ужасно! Подумать только — аппендицит! Гнойный! Запущенный! Третий приступ! Нет, это ужасно: сколько было возможностей избежать всего — и вот...

Рязанцев хотел узнать еще какие-нибудь подробности, услышать, что сказал врач, но получалось так, будто и врач тоже не сказал ничего, кроме того, что это ужасно, что было столько возможностей избежать всего и что это опять-таки ужасно, ужасно, ужасно! Может быть, так и было? Может быть, врач так говорил?

Только один раз Вершинин-старший сам спросил Рязанцева:

— Вы Риту видели? Она — ничего?

— Потрясена...

— Дорогой с ней началось что-то вроде истерики...

Вершинин то и дело уходил по деревянному тротуару в переулок, потом возвращался снова. Лопарев же молча сидел на скамейке около ворот и только покачал головой, увидев Рязанцева.

Больница была деревянной, приземистой, почти квадратной и с какой-то странной надстройкой второго этажа в одном углу квадрата. Как раз под этой надстройкой находилась палата, в которую должны были поместить Онежку после операции.

Большое, тоже квадратное окно выходило в садик, огороженный редким и невысоким штакетником, в нем стояли две скамейки, пахнущие хлороформом, а сразу за штакетником начиналась еловая роща, на опушке которой шумело листвою несколько березок.

Наступала уже темнота, а в этой роще все еще прогуливались больные, у них были длинные шуршащие халаты и веселые голоса. Один женский беззаботный голос вдруг сказал:

— Слышь, Леня, примершую девочку привезли. Городскую. С экспедиции. Ма-алоденькая совершенно!

Этому голосу ответил другой, размеренный и басовитый:

— Всяко бывает. Нечего молоденьких-то за собой по горам таскать. Таскают — вот и бывает всяко...

На белых освещенных занавесках еще одного окна изредка появлялись чьи-то тени, должно быть, хирурга или его ассистентов.

Вершинин-старший, а потом и Лопарев бродили во-круг — один по роще, другой по гулкому деревянному тротуару короткой сельской улочки. Всякий раз, когда кто-нибудь из них заходил в палисадник и спрашивал у Рязанцева: «Что? Как?», он отвечал: «Ничего...»

Он был, кажется, чуть-чуть сильнее того и другого, чуть спокойнее и рассудительнее. «Чуть» обязывало его быть перед ними еще спокойнее и рассудительнее, чем он был на самом деле. Оно обязывало что-то им объяснять и, так как он не знал, что и как будет объяснять, старался не говорить ни о чем.

Чтобы отвлечь себя, Рязанцев думал, что хорошо бы было сейчас спокойно поговорить с кем-нибудь о том, что ночи на Алтае в августе уже холодные, что нынче в небе как-то особенно ярко светит Сириус, что экспедиция скоро кончится, что в городке Красный Кут живет такая женщина. — Синеокая Мария Федоровна...

Подошел к нему Лопарев, снял кожаный картуз, на котором поблескивала маленькая тусклая луна, и, зажав луну в руке, сказал:

— Уморили девочку! Уморили! — Надел картуз и вплотную придвинулся к Рязанцеву. — Слушай, педагог, а если девчонка умирает тебе назло? За то, что ты ее никогда не замечал! И мне назло. И всем назло?!

— Видите ли, Михмих, дорогой...

— А без «видите ли»? Без «дорогих»?

— Да-да... видите ли, дорогой... Как-то Онежка сидела у ручья, смотрела в небо. Я спросил: «Можешь представить себе ничто?»

— Она?

— Не поняла.

— Была философия?

— ...сказал, что фантазия человека безгранична и может представить все. Только ничто не может... Сказал, что чем больше человек узнает, тем он меньше может смириться со своим уходом в ничто. Позавидовал древним: они провожали умерших не в ничто, а в иной мир.

— Так и объяснили?

— Именно так.

- Порядок! А еще?
- Вы знали профессора Головина?
- Слышал.
- Однажды рассказывал ей, как умирал профессор.
- Само собой — в деталях?
- Михаил Михайлович, а что, если она сейчас об этом вспомнила? Вот сейчас, сию минуту?
- ...и благодарит вас за науку?

Рязанцев положил руку на плечо Лопарева.

— Вы, Михаил Михайлович, меньше всех виноваты в том, что произошло: вы больше всех нас были заняты делом.

Лопарев снял руку с плеча.

— Цирк! Гастроли кандидатов и докторов наук! Плата за вход слишком высокая! — Перешагнул через штaketник и ушел в рощу.

А Рязанцеву еще предстоял разговор с Вершининым.

И в самом деле, вскоре Вершинин подошел к нему переулком, отбивая кедровой палкой неровный такт своим шагам. Палку он оставил у калитки, заложил руки за спину и стал перед Рязанцевым лицом к лицу. Он думал всю эту ночь, Вершинин-старший, в его уме складывались и складывались слова, которые он хотел высказать Рязанцеву.

— Вот, — сказал Вершинин, — вы правильный человек, Николай Иванович, объясните мне следующее. Бывает смерть по старости. Ну что же, если бы деспоты, монархи, а если хотите, то и великие умы не умирали — они давным-давно сжили бы человечество со свету. И, уж во всяком случае, не пустили бы нас с вами дальше феодализма. Мы искренне жалеем умерших раньше времени великих, но с точки зрения истории — лучше раньше, чем никогда! Из-за необходимости умирать великим умираем и мы, люди, которые могли бы жить просто потому, что родились. Так благодарите же науку за то, что с открытием атомной энергии она все-таки дотянула до двадцатого века, а не вручила ее ни Ивану Грозному, ни Бонапарту! Благодарите ее — она до сих пор не открыла средств продления жизни! Если бы открыла, то этими средствами воспользовались прежде всего власть имущие. Уж они бы показали нам, до каких пределов может дойти бессмертный культ личности. И знаете, так нам и надо, всем остальным, простым, ординарным, всем-всем! Когда человек изменит жене,

он говорит: «Не я первый. Я как все!» Когда он ленив, он утверждает, что ему надо не больше всех. Потому что мы не умеем себя уважать. Вот умирает Онежка... Что же мне остается? Благодарить судьбу, что умирает она, а не я? Мерзко! Свински! А вывод? Со своим грандиозным умишком человек имеет право мыслить до черты. Живи, верь, что жизнь не бесцельна, что у мысли нет предела, и все это до черты, за которой следуют бесцельность и бессмысленность! За которой должно умереть все! Позвольте, так это же не мысль! Это антимысль! Она толкает нас туда, где человек ниже животного: ведь животное не соприкасается с антимыслью! Как вам это нравится? Как вам нравится, что в самом лучшем случае человек достигает муравьиного принципа — один за всех, никто за одного?

Вершинин-старший вздохнул и, боясь, что Рязанцев перебьет его, торопливо заговорил снова:

— Покуда мысль не была изощренной, если хотите — была примитивной и не выдумывала человека, землю населяли Отелло и Яго, Давиды и Бруты, а художниками были Шекспир и Микеланджело. Пришла изощренная мысль и создала Клима Самгина. Вы что же думаете, Клим был глуп, не домыслил до революции? Он ее перемыслил. Вот так же мы все перемыслим самих себя! Человек в своей эволюции, будучи улиткой, обезьяной, пещерным жителем, много раз стоял на краю гибели, но преодолел все, все силы природы, и стал ее царем. А вместе с тем рабом своей мысли. Какой-нибудь маньяк, помыслив час-другой, нажмет кнопку ракеты — тоже величайшее достижение современной мысли, — и дело обойдется без наших с вами похорон. Но все равно, даже в преддверии этой возможности люди не могут понять друг друга. Да что там говорить, под собственным кровом дети нынче — самые таинственные люди для отцов. Вот она, обратная сторона жизни! Науки! Человека!

Как будто совершенно ничего не случилось, как будто он был преподавателем, а Вершинин — учеником, Рязанцев сказал:

— Помните закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил? По этому закону ни Бонапарт, ни Грозный и не могли иметь в своих руках атомной энергии. Видите, она, наука, объясняет нам наше существование. Не ее вина, что вы не можете или не хотите ее понять!

— Боже мой! — воскликнул Вершинин. — Такой момент, а вы говорите, как учебник! Как машина, кибернетическая машина! Есть у вас чувства? Можете ли вы говорить, живой человек, когда умирает другой человек?

— Могу.

— Не верю! Не верю, но жду. Жду!

— Вы — кто? — спросил Рязанцев.

— То есть?

— Кем вы считаете себя? Прежде всего?

— «Прежде всего» — очень много в каждом из нас.

— Все-таки?

— Вероятно, научным работником. Ученым. Отцом. Просто человеком.

— Не верю... — сказал Рязанцев тихо. И повторил еще раз: — Ничему не верю!

Не сразу лицо Вершинина замерло. Опустились вздернутые кверху брови, медленно сжался рот. Проступили скулы, и тогда лицо стало неподвижным.

— Так! — вздохнул он. — Так, правильный человек Николай Иванович! Сослуживец! С точки зрения политической — безупречно! Позиция — тоже безупречная: «Утри нос ближнему своему!» И то сказать, для кого таковая позиция не имеет нынче значения?!

Вершинин ушел быстро, нервно зашагал по тротуару.

«А ведь хочет быть человеком! — подумал Рязанцев. — Обязательно хочет быть им! И причем — в полном смысле слова!»

Таким он был, Вершинин-старший: мог послать ко всем чертям вселенную, а завтра погрузиться в искренние заботы и хлопоты по должности заведующего лабораторией, доктора географических наук.

Рязанцев этого не мог. Если бы только однажды ему довелось обругать весь мир, если бы сию минуту Рязанцев разуверился в этом мире, он уже никогда больше не обрел бы чувства своей причастности к нему.

Это верно — были вопросы, на которые он не мог ответить. Всегда были...

В Бийске, на пути в Горный Алтай, он зашел в парикмахерскую. С улицы три или четыре ступени вели в полуподвальное, насыщенное одеколоном помещение. Он взял стул и в ожидании очереди сел у распахнутой двери. Смотрел на тротуар, на редких прохожих и на все то, что происходило вдоль нешумной улицы с ред-

кими деревцами по обеим сторонам и с неподвижным дорожным катком посреди разрытой мостовой.

Может быть, из-за того, что смотрел он снизу вверх, Рязанцев показался себе в тот момент ребенком, любопытным ко всему, что он видит, и преисполненным мечтами о предстоящем путешествии.

И тут же вскоре перед ним прошла совсем еще молодая женщина с мальчуганом на руках. Она была в синем рабочем платье, со светлыми непокрытыми волосами, и мальчуган, вороша ручонками эти волосы, твердил одно только слово:

— Мама? Мама?.. Мама?— Должно быть, только одним словом он спрашивал мать обо всем, что видел вокруг себя.

А женщина, торопливо-радостная, отвечала ему всякий раз одним и тем же вопросом:

— Что, деточка? Что, деточка? Что, деточка?

И Рязанцев неожиданно вспомнил себя таким же лепечущим младенцем, который вот так же спрашивал обо всем, что было вокруг него, одним словом: «Мама? Мама?» А мать, точно так же, как эта женщина, отвечала ему: «Что, деточка?»

Мать погибла от тифа в двадцать первом году, в обозе поволжских беженцев, двигавшихся в Сибирь. Рязанцев ее почти не помнил, но даже не это воспоминание поразило его. Он подумал: «Вот с каких пор человек спрашивает! И вот с каких пор на вопрос жизнь отвечает ему тоже вопросом! Ведь эта женщина не отвечает ребенку: «Да, деточка!» или «Нет, деточка!» Она спрашивает: «Что, деточка?»

«Конечно, это так — вопросы приходят к людям с молоком матери, — думал Рязанцев, взглядываясь в угловое окно больницы, стараясь представить себе, что за ним происходит сейчас, а в то же время мысленно продолжая спорить с Вершининым и доказывать что-то Лопареву.— Но все равно — дело каждого раз и навсегда выбрать между Исааком Ньютоном и Климом Самгиным. В этом человечество помогает человеку, но ни за кого оно не в состоянии сделать окончательный выбор... По мере развития мышления человек неизбежно будет открывать не только то, что ему помогает жить и мыслить, но и то, что ему мешает. Вероятно, чем больше он будет узнавать, тем труднее ему будет мириться с ничем — со смертью. Труднее и труднее...»

На его глазах за последние несколько лет умерли профессор Головин, Сеня Свиридов и вот умирала Онежка. И всякий раз смерть близкого человека поражала его своей безукоризненной логикой. «Ты считаешь свою жизнь абсолютно необходимой,— думал Рязанцев,— в то время как твое рождение — дело совершенно случайное, ты мог родиться, а мог и не родиться, мог родиться кем-то другим, женщиной, например, и тогда тебя как такового не было бы. Зато свою смерть ты, конечно, будешь считать нелепым случаем, в то время как она, безусловно, закономернее и логичнее твоего рождения».

Вслед за этим к нему пришла другая мысль: «Вот человек переносит войны, болезни, жертвы, и все ради самой обыкновенной жизни, а когда она наступает — обыкновенная,— не умеет прожить ее. И получается, будто страдания в самом деле — это самое значительное для него».

А затем и еще одна: «Природа создала человека — тончайший инструмент познания окружающего мира, но в такой же мере познавать самого себя не научила. Этому человек должен научиться сам... Сможет ли?»

Из-за гор выплывали облака, еще не проснувшиеся, но уже торопливые. Две-три запоздавших звезды плыли вместе с ними. Лес на вершинах выбирал себе дневное одеяние из неярких осенних красок пасмурного неба, из приглушенного солнечного света, а сам был ярко-зеленым и синим, а кое-где на склонах, где встречались островки лиственных пород,— красным и лунно-желтым. Лес шумел слегка, прислушиваясь к нарождавшимся дневным ветрам, а ветры уже доносили сыроватый и спелый запах осени.

В тенях облаков и в этих еще дремлющих ветрах долина, по которой были разбросаны заиндевевшие крыши домиков, тоже шевельнулась, и тотчас из-за карниза углового окна больницы появились два воробья.

Они почикали, похлопали крылышками и уселись на открытую форточку. Может быть, кто-то из больных кормил их здесь крошками, и теперь они настойчиво и недоуменно заглядывали в окно.

Заглянули, как будто пожали плечиками, заглянули снова.

Рязанцев долго смотрел на них, а потом махнул шляпой. Они громко чирикнули и улетели.

Рязанцев посмотрел им вслед и пошел к крыльцу.

На крыльцо вышел доктор. Он был закрыт в белый халат, в белый колпак и в белые туфли. Глаза тоже были прикрыты, и только рыжеватые усы с проседью и с капельками влаги обратились навстречу Рязанцеву.

Доктор сказал: «Ну, вот...» — и по-воробьиному пожал плечами. Развязал тесемку халата, снова завязал ее, повернулся и ушел обратно.

Чуть погодя появился Вершинин.

— Ужасно, ужасно, — сказал он, отыскивая рукой перекладину крыльца. — Что же? Как же? Свертывать экспедицию?! Ужасно все это! — Отыскав наконец одной рукой перекладину, провел другой по лицу. — Как ужасно... Почему Онежка никому из нас ни слова не сказала о своей болезни? Никому?!

Лопарев стоял молча. Снял картуз, глядел куда-то.

Каждое утро Онежка ходила в школу через кладбище. Деревянные кресты и памятники, ничем не огороженные, стояли на лесной вырубке, на взгорье, где посуше, и к ним очень легко было привыкнуть, так же как и к деревьям, и к пенькам, и к тропинке, которая приводила ее в школу. Напрасно кто-то говорил, будто они страшные. Только когда появлялся новый крест или остроконечный памятник из свежих, пахнущих смолой досок, крашенный и тоже ароматный, а рядом — венок из сосновых веток с бумажными цветами и черной лентой, становилось как-то неловко идти по тропинке, и тогда несколько дней она ходила в школу по большой проезжей дороге, выстланной полусгнившими бревнами.

Но даже и эту неловкость преодолевало иногда любопытство, особенно когда оно было грустным, а грустным оно случалось всякий раз, когда не были выучены уроки по арифметике. Тогда ей очень хотелось полежать под крестом вместо кого-нибудь, хотелось, чтобы ее фотография была повешена на кресте в черной рамке, чтобы ее хоронили, ее жалели и о ней плакали.

Вот как давно четырехсотая прикасалась к ней... Только в то время Онежка ее не знала...

Недавно она заблудилась в тумане, чуть не разбилась, а когда спаслась — испугалась и заплакала. А ничего страшного не было и не могло быть: и скалы не такие высокие, как ей казалось тогда, и туман не такой густой, и туча не такая черная надвинулась на нее. Ничего страшного не было тогда на хребте, ничего. После

она поднималась и выше, но уже не боялась — привыкла, а в первый раз все было только для того, чтобы Лопарев предупредил ее: «Живи!»

Единственно, что там случилось тогда, — вспыхнул яркий день. А очень яркий, очень сильный свет может погасить человека. Должно быть, может...

Нынче она работала в лесу. Пересчитала на квадрате десять на десять метров молодняк лиственницы и стала записывать цифру. Вдруг цифра покачнулась. Она подняла голову. Увлекая за собой облака, лиственницы медленно падали на нее. Онежка зажмурилась в ожидании оглушительного взрыва или удара, но ее окружила странная глухая тишина, и она поняла, что вокруг нее ничего не случилось, а все случилось с ней одной. Это она медленно опускалась на землю от невероятной, все заглушающей и затемняющей боли...

Онежка не испугалась, потому что неподалеку увидела Лопарева, успела крикнуть ему: «Михаил Михай...» — и почувствовала, что он услышал этот крик.

Когда-то, она помнила, Лопарев спросил у нее, сколько в ней килограммов, засмеялся и сказал: «Утащу — как пить дать!» И с тех пор ей всегда казалось, что он действительно унесет ее куда-то. Поднимет на руки и легко-легко унесет. Ну вот, так и случилось. Онежка редко ошибалась в предчувствиях.

Но вслед за тем, потому что Онежка редко ошибалась, она сразу же вспомнила и тропинку через кладбище, по которой ходила когда-то в школу, и тот день, когда она заблудилась в тумане; вспомнила, как прикасалась к ней и на тропинке и в горах одна четырехсотая, и сразу же поняла — это снова была она... Которую подсчитывал Рязанцев, когда болела Рита. Это была она, и Онежка почувствовала себя в ее власти.

Онежка догадалась, что ее везут на машине, а потом ее раздели, и мужчина холодными руками стал делать ей еще больнее, чем было до сих пор.

Хотела сказать, чтобы к ней позвали Риту, потому что Рита все-все знает, все болезни, но в это время голос мужчины перебил ее. Где-то далеко голос произнес что-то о шансах, о бесполезности чего-то. Она знала, о чем голос прозвучал: «Четырехсотая...»

Тогда бы и должно было все кончиться, но потом, вскоре или спустя очень долго, вдруг случилось так, будто с нею ничего не случилось...

Так не могло быть. Она лежала в больнице на белой кровати, под потолком светила занавешенная электрическая лампочка, напротив было квадратное окно, до половины задернутое занавеской, с распахнутой форточкой. Сквозь стекла падал на кровать свет — не сильный, блеклый, а через форточку — почти яркий, с какими-то звуками и запахами. Какой-то незнакомый свет...

Все это и еще все то, что память тотчас подсказала ей: не до конца записанная в полевой дневник цифра, падающие вместе с облаками лиственницы, сильные руки Лопарева и еще чьи-то слабые, но причиняющие боль, — все говорило ей о случившемся, но она не могла противостоять ощущению, будто с нею не случилось ничего. Как могло это ощущение появиться, если здесь, рядом, было другое — была одна четырехсотая, уже окончившая с Онежкой, уже толкнувшая Онежку туда, где не было ничего? Для чего происходил этот обман?

Для того, чтобы она увидела, как это происходит? Чтобы она все кончила так, как могла кончить?

А тогда случившееся с ней в действительности снова приблизилось к ней мгновенно, и она, уже не ощущая боли, вспомнила ее. Значит, такая боль могла быть настоящей? Сущестующей? Такая, с которой невозможно смириться и ничто живое с ней мириться не может?!

Все уже прошло мимо Онежки, все убереглось от этого, и только она не убереглась, только ей пришлось принять эту боль, этот ужас. Одной из всех.

Если бы кто-нибудь был сейчас рядом с нею! Ей нужен был человек, который видел бы, как она это делает, как принимает все одна!

В лесу, у костра, Рязанцев говорил ей однажды, как это сделал кто-то, какой-то человек, мужчина, ученый, показывая, что в нем еще живет и что уже нет. Она поняла, почему так можно было сделать: потому что рядом был другой, который видел, понимал и чувствовал. И она тоже должна была потребовать кого-то, — с нею рядом обязан был присутствовать человек, — потребовать громко, так, чтобы никто не имел права ей отказать. Она хотела крикнуть. Но и в этом ей было отказано. Время уходило, оно успело куда-то унести ее голос... Куда?!

Она хотела видеть кого-нибудь, но никого не видела — только воробьев на распахнутой наружу форточке. Они смотрели на нее и чирикали. Стекло под ними было

яркое-яркое, словно горело, они этого не замечали. Воробей побольше, с коричневой головкой и нагрудником, бочком-бочком теснил серенькую воробиху.

Онежка смотрела на них. Больше некому ей было прошептать: «Истод, адонис, эдельвейс... истод, адонис...»

Онежка хотела быть такой же, какой всегда была до сих пор. Как будто с нею и в самом деле ничего не случилось. Она всегда чего-то желала, а сейчас — оставаться собой. Она хотела иметь желание.

Она знала, что должна была для этого преодолеть страх, проклятия, отчаяние, что-то еще, и еще, и еще. Знала, что труднее всего — это не испугаться себя, себе не изменить. И не пугалась и не изменяла...

Тень появилась на кровати... Человек? Но это уже было все равно. Онежка смотрела прямо перед собою.

Воробьи на форточке широко и молча разевали свои клювы. Она знала, что это значит, почему молча.

Вдруг воробьи вспорхнули и улетели.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Спустя день после похорон Лопарев остановил Риту в лесу неподалеку от лагеря и спросил:

— Помнишь, когда Онежку везли в больницу, ты все время спрашивала, не болит ли у нее вот здесь? — Он показал глазами где. — Помнишь? Знала, что Онежка болеет? Она тебе жаловалась?

Рита взглянула на Лопарева с надеждой: может быть, он ее толкнет, ударит? Она хотела, чтобы ей было больно, чтобы боль все в ней заглушила.

— Да, — сказала Рита. — Жаловалась...

— Часто?

Нет, Онежка не часто жаловалась на свою болезнь, но Рита много раз расспрашивала ее... И всякий раз ей казалось, будто она сумела как-то приблизить Онежку к себе, завоевать ее, покорить... Узнать что-то об Онежке, никому больше не известное... А зачем это нужно было? Зачем? Как объяснить это Лопареву?

Рита молчала...

А Лопарев ответа не дождался, пошел медленно-медленно, пошел прочь, не оглядываясь... И, посмотрев ему вслед, Рита испугалась всех: и Лопарева, и Рязанцева, и Вершининых старшего и младшего, и шофера

Владими́рогорского. Вдруг ощутила то чувство брезгливого недоумения, которое она вызывает теперь у этих людей всем своим видом, своим голосом, просто своим присутствием.

Она должна была уйти из лагеря, убежать — все равно куда, но только убежать сейчас же!

Стала ждать, когда погаснет костер, когда все уснут.

Даже пожалеть не могла себя. Не могла жалеть себя отдельно от несчастья, которое вдруг возникло во всем и во всех кругом, такого большого, что перед ним жалость к себе совершенно ничего не значила.

Наконец в палатке, прямо над головой, появилось бледное крадущееся отражение луны. Время настало...

Она вышла с белым полотенцем через плечо, закрыв им рюкзак, как будто перед сном еще раз решила умыться на ручье.

Ночь наступала прохладная и светлая. Сразу же за лагерем вилась тропа, и только спустя час, может быть, больше, Рита спросила себя: куда она идет?

Вспомнила, что тропа где-то за небольшим перевалом должна выйти на проселочную дорогу, а дорога — к тракту. На тракте она сядет в первую же машину и уедет в Бийск. Что будет дальше — безразлично. Безразлично — идти ли в сторону тракта или в какую-то другую сторону. Ей нужно было, чтобы с каждым шагом увеличивалось расстояние между нею и людьми, от которых она уходила. По мере того как ощущение этого расстояния появлялось — она снова могла о людях думать. Рядом с ними — не могла.

Ей нужно было, чтобы люди не только ее простили, но и навсегда забыли бы, что когда-то им довелось прощать ее. Но ведь они никогда не забудут ни ее вины, ни своего прощения, если даже простят? Никогда!

Только один человек способен был это сделать, только к одному она сейчас, сию минуту могла бы прильнуть, выплакаться у него на руках и до конца поверить в его прощение. Этот единственный человек совсем недавно был рядом с нею. Она его погубила.

Если бы она погубила кого-то другого, для раскаяния оставалась бы Онежка. Если бы!

Все, что Рита теперь видела и слышала, все-все это было уже увидено, услышано, пережито и передумано Онежкой, и сколько бы Рита ни просуществовала на свете после нее, она никогда не достигнет понимания чего-то, что понимала та маленькая девочка.

И Рита шептала Онежке ласковые слова, которые берегла для нее одной с первой их встречи.

В этом ласковом, тревожном и страстном шепоте сначала не было ничего странного: они шли вместе, рядом, все в гору, среди огромных камней, чуть-чуть освещенных луной, голубоватых с одной стороны и черных как уголь с другой.

Но потом Рита вдруг поняла, что она одна...

Смысл одиночества был жесток. Стало казаться, будто она одна всю жизнь и всю жизнь стремится неизвестно куда, неизвестно зачем, а на этом бесконечном пути только что случилась первая и последняя встреча — Онежка встретила ее. Встреча была краткой, Рита не успела спросить у Онежки, куда ведет тропа.

Вошла в лес.

В лесу она сразу же потеряла бы свою тропу, но тут была поляна — правильный круг излучал темно-синий свет и казался отверстием в глубь земли. Из отверстия появилось что-то живое.

Живое и огромное обернулось на звук Ритиных шагов и застыло: должно быть, рассматривало ее.

Рита не испугалась, протянула руку и оперлась на ствол какого-то дерева. Стала ждать, что случится дальше.

Блестящий фосфорический глаз неподвижно уставился в нее, слышно было дыхание, скрип зубов, похрапывание.

Потом живое попятилось и заржало — это была лошадь.

— Какой человек ходит?

Все стало понятным — на поляне кормилась лошадь, а где-то здесь, рядом, кто-то ночевал.

— Какой человек ходит? — снова спросил голос, и теперь Рита увидела слабый свет тлеющих углей и темную, едва различимую фигуру.

— Человек... — ответила она. — Обыкновенный...

— Баба?

Рита промолчала.

— Девка?

Рита промолчала.

Костер вспыхнул ярче, а перед костром на коленях, в огромной меховой шапке, весь в пестрых бликах, возник человек.

Рита подошла ближе.

У костра сидел старик алтаец; редкие волосы торчали у него на подбородке, из-под лохматой шапки глядели узкие глазки.

— Сопсем живой девчонка! Скажи, откуда взялся, сопсем живой! Садись!

Рита присела на корточки. Старик еще поглядел на нее и сказал:

— Твой палатка четыре штука там стоит? — показал рукой в сторону, откуда Рита пришла.

— Должно быть, там... — кивнула Рита.

— Большой дорога бежишь? Бийск бежишь?

— Бийск...

— Ай-яй! Какой такой начальник! Куда глазам глядит! Ай-яй! Какой начальник — один девка хоронил, другой девка ночью лес бежит! Собрание делать надо, говорить ему надо, учить надо — вот что!

Помолчав, Рита ответила:

— Нисколько не виноват наш начальник. Совсем не виноват. Другие виноваты.

— Ты?

— Что — я?

— Бестолковый девка! Ты виноватый?

Рита снова не ответила, старик сказал:

— Тогда тебе собрание надо делать... Тебе говорить, зачем ночью лес бежишь? — Еще поглядел на Риту, пошевелил веточкой огонь. — Сам не знает, почто бежит, вот какой умный девка! Почто твой начальник будет отвечать? Ай-яй! — Серdito стал набивать трубку с длинным и тонким мундштуком.

Покуда не говорил ни тот, ни другой, потрескивал костер, как будто тоже хотел вмешаться в разговор.

— Ты, значит, дед, здешний? О нашем лагере все знаешь?

— Здешний зачем лес ночевал? Здешний дома спит, избе спит, подушка под голова... Дальний. Шибко дальний я. Чулышман-река слышал? Улаган-район слышал? Вот как дальний!

— А про наш лагерь знаешь? Откуда?

— Не шибко старый еще... Глаза глядят, ухо слышит. Сам коня седлаю, верхом сажусь — пенек не надо. Верхом еду, гляжу, людей слушаю, как не знать? Все знаю...

— Куда же едешь?

— Горный еду.

— Горно-Алтайск?

— Туда... Сына глядеть надо.

— Маленький сын?

— Зачем маленький! Сопсем большой начальник! Радио говорит — все слушают. Район поедет — все знают, все здороваются. Однако отец — все равно надо глядеть. Думаешь, нет?

— Надо... Обязательно.

Старик запахнул на себе пеструю потрепанную шубу и прислонился спиной к обгорелому пню, держа обеими руками трубку. Вдохнул.

— Конь ногу портил. Шибко ехать — после из коня мясо делать, ферму сдавать, черных лисиц кормить. Жалко — умный конь, хороший конь, который год вместе ездим сына глядеть. Здесь такой конь не найдешь, нет. Такой конь Чулышман живет, давно там живет. От Сартакпая остался.

— Сартакпай — кто?

— Человек. Силы было много. Шибко много!

— Герой?

— Зачем герой? Как надо все делал, сильный. Правый рука видел? — Старик поднял руку. — А?

— Вижу.

— Палец видел? — сжал руку в кулак и, внимательно рассматривая ее, как бы ожидая чего-то необыкновенного, медленно разогнул указательный палец. — Тоже видел?

— Тоже.

— Сартакпай палец вот так — борозда делал! — Старик провел пальцем по золе и не остывшим еще углям. — Борозда делал — Чулышман-река побежал...

— Обожжешься, дед.

— Сартакпай левой рукой все равно правильно делал: вот как Башкаус-река побежал! — еще провел в золе борозду. — Вот!

— Сказка...

— Правильно делал, какой такой сказка? Сартакпай сына ждал — тоже сильный был... Ушел Катунь-реку делать. Три дня сына ждал. Три дня палец к земле прижимал. Когда поднял палец, там озеро уже. После русские пришли. «Телецкое» дали имя! По-нашему — Золотое озеро, Алтын-Коль. Все правильно! Вот! Гляди! — показал на золу около костра — там были знакомые очертания географической карты Алтая: Чулышман, Башкаус, Телецкое озеро, Бия. — По-другому знаешь, сказывай, слушать буду!

— Дождался сына? Сартакпай дождался?

— Как можно — не дождался! Они после Бию-реку, Катунь-реку вместе брали, один Обь делали. Далеко Обь-река — ей дорогу тоже делали... В море. Знал, как правильно делать, Сартакпай. Сына учил Сартакпай. Ты знаешь?

— О чем?

— Как правильно делать?

— Не знаю.

— Почто?

— Силы нету...

— Правильно делай — сила будет. Ночью девка лес бежит, как увидит? Услышит как? Дорога куда? Нет дороги! Сопсем худо! Откуда сила?!

— Что же делать, если одна?

— Зачем одна? Ночью? Неправильно. Днем людей гляди, кто учить будет правильно делать? Кто девку бабой себе возьмет?

— Никто!

— Зачем говоришь? Из бестолковой девка очень хороший баба может получиться!

Рита могла только слушать, сказать же, объяснить что-то старику ничего не могла: ни своего удивления — старик этот знал о смерти Онежки и угадал, что Рита убегает от своей вины; ни благодарности — он не упрекал ее; ни своей признательности за его доброту не могла высказать — он верил, будто она и сейчас еще снова может вернуться в лагерь...

«Ночью девке дорога куда? Нет дороги».

А она глядела в старческие черты, и все сильнее и сильнее охватывало ее чувство, будто где-то ей уже приходилось видеть этого старика, слышать его... Давно-давно. Так давно, что не вспомнишь, когда это было.

Могла вспомнить только: всякий раз, когда люди говорили что-то необходимое для нее, появлялось это же ощущение — словно они напоминали ей о чем-то давным-давно известном, но нечаянно забытом.

Вот как все повторяется: ведь было же, что Рита шла по делу с Андреем, страшно боялась его и только тогда поборола свой страх, когда вспомнила о Левушке — какой он хороший, какой милый.

У такого же костра вспомнила о нем, и ветви тогда над головой такие же были — черные, мохнатые...

Сломала о колено сухую ветку и обе половинки бро-

сила в огонь. Из темноты к ней приблизились невидимые прежде деревья. Тогда они тоже к ней приближались...

Всего девять дней прошло с тех пор. Только девять. Она еще раз сосчитала и повторила: «Девять, девять». И обрадовалась: значит, не так уж давно? Значит, не так трудно к недавнему вернуться?!

Зато далеким прошлым показалось все, что в действительности было гораздо ближе, всего лишь несколько дней назад: все, что случилось с Онежкой; все, что случилось в избушке пасечника; все, чем смутил ее Андрей и чем она его смутила. Ничего этого будто и не было: Рита как сидела у костра, думала о Левушке, называла его милым, так и сидит с тех пор, только вот старик еще появился рядом с нею, да еще она поняла снова, что Левушка не только милый, но и милостивый. Рита повторила несколько раз: «Милостивый... Милый, милостивый Левушка...» Она вся была объята ощущением трогательной Левушкиной милости.

К милому и милостивому она вернется такая, какая есть, и заплачет у него на руках. Она это сделает. Пусть Левушка помирит ее со всеми, попросит за нее прощения у всех, объяснит ее всем-всем людям — она же всегда, всю жизнь будет чувствовать его сильнее, чем себя, будет такой, какая ему нужна, всегда будет не своим, а его счастьем!

Вернуться ко всем или вернуться к одному Левушке — это показалось ей теперь чем-то неразличимым, совершенно одним и тем же.

На поляне едва заметно вспыхивали и гасли клубочки неяркого света — луна отражалась в травах, словно на поверхности воды.

Лунными бликами громко похрустывала на зубах лошадь, пофыркивала, а иногда затихала, словно изумившись чему-то, куда-то вглядываясь. Наступала вдруг тишина, и Рита тоже прислушивалась тогда к робким лесным шорохам.

Закралось сомнение: а вдруг Левушка ее не спасет? Но это только на какой-то миг, а потом она стала думать, как вернется в лагерь, и первый, кого она там увидит, обязательно будет он — милый, милостивый Левушка. Милый, милостивый.

Тихонько приподнялась.

Старик как будто врос в огромный пенек. Под этим пенем за долгие годы многие путники разжигали костер,

огонь выжиг дупло, и старик весь уместился в нем, положив руки на колени, а голову, склоненную к правому плечу, на руки.

По лицу тихо блуждали отблески угасающего костра, и первый, едва заметный свет утра Рита тоже увидела на нем — на щеках, в неглубоких глазницах. Эти отблески казались отражением чего-то, вдруг вошедшего в ночь, в темное, еще звездное небо, в крепко спящий лес.

— До свидания, старик!

Нарисовала на золе стрелку: старик проснется и сразу поймет, что Рита вернулась в лагерь...

Торопясь и задыхаясь, спускалась вниз по тропе; камни уже посветлели, иногда они даже казались ей прозрачными.

Думала о Левушке.

Как-то она расскажет ему о встрече со стариком, как-то он поймет, почувствует и ее? И этого старика?

Нынешним утром обязательно должно было последовать какое-то продолжение встречи со стариком, продолжение чего-то спасительного!

Левушка тоже знал, что оно придет — это спасение, знал и ждал его. Потому все время в эти дни он так смотрел на нее умными, красивыми глазами. Скорее, скорее к Левушке!

Милый, милостивый Левушка!

И действительно, так было: Реутский то и дело погружался теперь в нелегкие размышления о Рите и о себе.

События, которые произошли в лагере за последние дни, казалось ему, открыли в Рите все, он всю ее теперь видел.

Какие у нее глаза стали вдруг: испуганные, неуверенные, даже мольбу он видел в них! Никогда прежде Реутский не подозревал, что она так может на кого-то смотреть, так взывать! Так волновать... Даже больше, чем в тот час, когда по пустынным улицам они вдвоем возвращались с бала во Дворце культуры.

«Раз-два, раз-два...»

Нет, это воспоминание не вызывало в нем больше ни обиды, ни горечи. Это было, это прошло, а судьба снова привела к нему Риту, теперь уже с мольбой во взгляде, смятенную и покорную.

И вот его дело — дело его одного решить: нужна ли ему Рита такой, какой она стала? Решить сейчас же!

Пройдет время, и Рита справится с нахлынувшим на нее раскаянием, с растерянностью, а тогда уже ни за что не простит ему того, что он не простил ее в трудные, полные отчаяния дни. Пройдет время, и, как бы она ни была перед ним виновата, виноватым окажется он. Она не простит ему нынешней своей готовности покориться, никогда уже не отзовется на его ласку и внимание.

Сейчас, сию минуту или никогда!

Если бы только у него было время — месяц, два месяца, полгода — для того, чтобы привыкнуть к новой Рите! К такой Рите, которой она стала после маршрута с Андреем, к такой Рите, о которой ему говорила пасечница в зеленой кофте!

Если бы он мог отложить свое решение до конца экспедиции, когда не будет свидетелей его унижения! Не будет рядом Лопарева и Вершинина-старшего, которым он сам сказал — кто для него Рита, как она изменила ему; главное же — не будет лопухой, невозмутимо нахальной физиономии младшего Вершинина, при виде которого Реутского бросало и в жар и в озноб, в горле что-то пересыхало и появлялось такое ощущение, как будто он заболевает жуткой ангиной, даже какая-то злокачественная опухоль, казалось, не позволяла ему свободно дышать.

Стоило ему увидеть Андрея, только услышать его, и воображение рисовало подробности того, что происходило между Андреем и Ритой в лесу и в избушке пасечника.

Сейчас или никогда!

А между тем нужен был срок, нужно было время, чтобы остаться с Ритой наедине, чтобы задавать ей вопросы — один, другой, третий, множество вопросов, чтобы, выслушав ее, предаться обидам и горечи, и только после этого Риту понять, простить и, наконец, полюбить еще раз обновленной его и ее страданиями любовью.

Но такой это был человек, Рита, такая это была женщина, что даже в раскаянии она оставалась жестокой: сейчас или никогда! — требовала она от него.

Ее можно было раз и навсегда отвергнуть или тоже раз и навсегда покориться ей, но не дай бог при этом улыбнуться снисходительно, хоть словом, хоть взглядом показать, что не она тебя, а ты ее прощаешь!

И никогда ты не будешь иметь право напомнить ей о своем великодушии, о ее падении. Никогда!

Сама она об этом, должно быть, тоже не забудет, станет помнить, станет с тобою ласковее и нежнее, доступнее и покорнее, но не дай бог когда-нибудь в минуту раздражения упрекнуть ее!

А возможно ли это — промолчать всю жизнь?!

Ах, жизнь, жизнь!

Если бы ты был уверен, что время — месяц, два месяца, полгода — позволит заглянуть в отдаленное будущее и увидеть, что же с тобой будет, что ты сможешь через много лет и чего по-прежнему никогда не сможешь? Но и через полгода ты ведь, так же ничего не понимая, протянешь руки: «Милая...»

Единственно, что он мог себе позволить, — еще на один час, на один день отложить разговор с Ритой.

Она мучилась, убегала в горы, там, должно быть, заливалась слезами, и это как-то оправдывало его собственные тревоги, было странной, но все-таки наградой за все, что он переживал.

Чуть-чуть, самым краешком и очень дорогой ценой, но все-таки жизнь была, кажется, к нему справедлива.

Еще и еще он хотел бы продлить Ритины страдания, хотя это был безумный риск, ночами он просыпался с уверенностью, что вот сейчас миновала минута, когда Рита уже справилась со своей растерянностью, с раскаянием и теперь никогда не простит ему того, что он не простил ее. Никогда!

И Реутский вскакивал, торопливо одевался, дрожа от холода в эти уже по-настоящему осенние ночи, и ходил вокруг Ритиной палатки, ожидая, когда же Рита появится, чтобы кинуться к ней и в одно мгновение решить все. Увидев же ее, он всякий раз с первого взгляда убеждался, что отчаяние Риты стало за ночь еще сильнее. Как была она бледна, как, сжимая губы и опустив лицо, молча взывала к нему! И это его останавливало.

Он начинал сомневаться, спрашивать себя — а почему бы ему не поступить так же, как поступил с нею в лесу Андрюха?! Андрюха — молокосос, а он, Реутский, — мужчина, заместитель декана!

Начать с этого, сделать это и все забыть, как будто ничего не было между ними, ничто больше его не касается. А потом что-то станет яснее и понятнее, в чем-то он почувствует больше уверенности.

Не мог...

Если бы он однажды Риту обнял, только прикоснулся к ней, все в тот же миг решилось бы дальше уже без его участия.

Так же, как он не мог раз и навсегда обещать себе, что в будущем никогда не сделает Рите ни одного упрека, он не мог быть и таким же нахальным, таким же подлым, как Андрей.

Почему это — даже в тех случаях, когда жизнь все-таки была к нему благосклонна, эта ее благосклонность оказывалась какой-то запретной и тайной?

Реутский часто вспоминал теперь, что нет худа без добра.

Рита изменила ему, обманула... Но именно поэтому она теперь в его власти.

Умерла Онежка, всех потрясла своей смертью, его, Реутского, не меньше, если не больше других. Потрясла Риту.

А если бы потрясения не случилось, Рита могла бы и дальше не опомниться, могла бы, помахав рукой Вершинину-старшему и ему, Реутскому, уехать в луговой отряд к Свиридовой, а вслед за нею туда пришел бы пешком Андрей. Вот как могло бы все случиться. Страшно могло бы случиться...

Онежка всегда как-то очень снисходительно, без уважения относилась к Реутскому, он это прекрасно видел. Она относилась к нему даже с пренебрежением, но умела делать это так, что никто, кроме него самого, ничего не замечал. Пожалуй, только в этом и проявлялось уважение Онежки к его возрасту, положению, ко всей его личности.

Но долго ли так могло продолжаться, Реутский не знал.

Бывало, каждый вечер перед сном Онежка о чем-то едва слышно перешептывалась с Ритой в палатке. Этот шепот мог быть о чем и о ком угодно, о нем тоже. Разве не могло быть, что свое неуважение к Реутскому Онежка хотела внушить и Рите?! Он всегда Онежку в этом подозревал. Всегда.

Теперь в палатке Рита была одна...

Ах, жизнь, жизнь! Вот она какая: нет худа без добра.

Нынче Реутский спал крепче, чем во все другие ночи после смерти Онежки. Должно быть, потому, что вчера Рита была особенно тревожна, вчера ее чем-то обидел невежа Лопарев.

И все-таки Реутский проснулся рано, почувствовав, как сомнения снова подкрадываются к нему. Встал, оделся, со всех сторон обошел Ритину палатку.

В палатке было так тихо, что ему показалось — там никого нет.

Поглядел кругом внимательно: на росной траве не видно следов, никто не подходил и не выходил из палатки.

«А вдруг», — мелькнула мысль, схватила его за горло и тихо-тихо заставила приблизиться к палатке Вершинных. Прислушался: громко, на разные лады, похрапывал старший Вершинин, а младший вторил ему легким посапыванием.

Реутский вздохнул, оглянулся кругом, посмотрел на небо.

Солнце не поднялось еще над горами, но откуда-то издалека оно уже освещало множество небольших кудрявых, почти одинакового размера облачков, которые, словно барашки около водопоя, толпились вокруг светло-синего, круглого, очень близкого и тоже небольшого неба. Они подталкивали друг друга к этой прозрачной проруби-синеве и тут же в ней утопали.

Тихо было кругом. Грустно стало Реутскому.

Он знал за собой способность угадывать неприятности задолго до того, как они действительно возникали.

Стоило ему однажды увидеть Лопарева, и он уже знал, что Лопарев обязательно и очень крупно поссорится с шефом.

Когда же Лопарев на руках вынес Онежку из леса, ему тоже с первого взгляда стало ясно, что везти Онежку в больницу уже бессмысленно.

Что-то тревожное и не очень далекое было и сейчас... Что за тревога? Как ее избежать?

Вдруг он подумал, что сегодня во что бы то ни стало подойдет к Рите и скажет ей все. Именно сегодня.

Решение было неожиданным, но с этой минуты он твердо знал, что не будет больше мучить себя и Риту, и тотчас почувствовал спокойствие, которого еще не было, но которое он сегодня же обретет. Спокойствие будет счастливым и благородным!

Он снова отошел к своей палатке и снова стал смотреть, как белые кудрявые барашки исчезают в небе, а небо разливается все шире, становится все синее.

Но теперь уже не было грусти. Теперь он даже предчувствовал, что вот-вот к нему приблизится какая-то радость.

Послышалось, будто его тихо позвали. Он не поверил, подумал, что так показалось.

Зов повторился, это его испугало. Он обернулся, придерживая одной рукой очки, другой — бородку.

Зов повторился снова, сомнений быть не могло — звала Рита.

Реутский сделал несколько шагов, перепрыгнул через узенькую канавку ручейка и увидел ее.

У ног Риты лежал рюкзак, Рита была в шароварах, в стеганой куртке. Шляпа висела на шнурке за головой, и на фоне светлого круга отчетливо выделялось смуглое лицо.

Лицо это бледнело, оно вздрагивало, и огромные, тоже вздрагивающие глаза смотрели на него — что-то хотели и боялись увидеть.

— Левушка... — сказала Рита. — Подойди же!

А когда он сделал к ней несколько шагов, сказала:

— Подожди, подожди! Ты простишь меня? Скажи сразу! Ты можешь это?

Реутский молчал, чувствуя, как охватывает его благородное и безмятежное счастье, то самое, что всего лишь несколько минут назад было мечтой...

Единственно, что он еще сказал сам себе: «Не я первый подошел и позвал вот так! Не я! Первая — она!»

И протянул к ней руки:

— Милая...

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Однажды в полдень к лагерю экспедиции подошла вдруг чья-то машина.

Вершинин-старший заметил ее первый и сказал:

— За мной... Куда-нибудь просят на консультацию, какое-то начальство требует! Нигде не скроешься, везде тебя разыщут, из-под земли выкопают! Нет человеку покоя, и только!

Но это оказались Парамоновы.

— Вот и мы за вами! Поехали к Шаровым? — сказала Елена Семеновна, здороваясь и преодолевая смущение, за которым Рязанцев сразу угадал многое: и упреки Парамонова, продолжавшиеся, наверное, еще очень

долго после того, как они расстались, когда у «козлика» сломалась рессора, и снова ее тихие, но такие настойчивые уговоры: «Поедем, Леша, за Николаем Ивановичем, отвезем его к Шаровым... Поедем, Леша...» Так или иначе — она добилась своего.

— Нам теперь ехать хотя и дальше, — говорила Елена Семеновна, — зато через речку не плавиться на пароме. Жаль только, что синий-то, необыкновенный ручей минуем.

— Ага, минуем, — подтвердил Парамонов.

Знали или нет Парамоновы, какое несчастье постигло недавно экспедицию?

Рязанцев не хотел спрашивать об этом у Елены Семеновны, тем более — у Алексея Петровича. Ему казалось, Елена Семеновна знала.

И в самом деле, поговорив еще о чем-то, она сказала:

— Поедьте... Дорога тут красивая, забудете о своей беде. А уж Шаровы-то такие люди, такие люди — на них посмотришь, и вроде жизнь по своим местам расстанавливается. — Тут же обратилась к Лопареву: — Очень прошу вас, Михаил Михайлович!

Кажется, следовало поехать.

Дорогой несколько раз снова приходилось идти пешком, пока «козлик» вползал в гору или спускался по крутизне вниз, и всякий раз при этом Рязанцев догадывался, что Елена Семеновна о чем-то хотела ему сказать.

Хотела, но не решалась...

И в ожидании ее слов Рязанцев смотрел на горы, на небо с редкими, но плотными облаками, на зеленую воду Аката и вспоминал ту, первую, неудачную, но в общем-то такую безмятежную поездку, когда у «козлика» сломалась рессора. Вспомнил сизый ручей с необыкновенной водой. Все это казалось сейчас далеким, хотя в действительности было совсем недавно — не прошло и месяца с тех пор.

На одном повороте, когда Лопарев и Парамонов ушли вперед, Елена Семеновна вдруг остановилась сама и Рязанцева тоже остановила, набралась смелости и сказала:

— Николай Иванович, вы тот раз, как приехали в наш совхоз, о жизни объясняли...

Рязанцев не понял:

— О жизни?! Вам?

— Ну да! На всем Горном Алтае как жизнь должна быть устроена. Говорили же?

— Да-да... Конечно.

— Так я вас о многом не спрашиваю, Николай Николаевич. Знаю, несчастье у вас там было, в палатках, а все равно — о своем промолчать не могу... — Она вдруг сжала обе его руки в своих и с надеждой заглянула ему в глаза. — Вот предлагают моему Алексею Петровичу идти на выдвижение. В район. Даже в край, либо другой совхоз взять под свое руководство — крупный, ответственный. Не понимаю, по злобе, что ли, предлагают? — Подняла к Рязанцеву лицо. — Николай Иванович, я от него же о вас слышала хорошее, я знаю, он вас послушается, скажите, чтобы выбросил из головы об этом. Да мало ли что хвалят, что грамотами награждают, — скажите, чтобы и не думал! Очень я прошу вас! Он же учеником вам приходится! Слово-то для взрослого какое — у-че-ник! А? Николай Иванович?!

— У-че-ник... — повторил Рязанцев.

— Выскажите ему свое мнение. При мне, чтобы я слыхала. — И пошла вперед так быстро, что они тотчас догнали Парамонова и Лопарева.

— Погода хорошая, — сказал Рязанцев, — уборочную проведете вы нынче и кормов заготовите, Алексей Петрович, вволю. И зимовка будет в совхозе спокойная.

— Стараемся, Николай Иванович, — ответил Парамонов. — Стараемся. Не подкачаем!

— Вот что значит, когда руководитель долго в одном совхозе работает! В сельском хозяйстве иначе и нельзя.

— Конечно! — согласился Парамонов. — Разве можно?!

— А вам, Алексей Петрович, наверное, предлагают хозяйство покрупнее? А то и в город? Хотят сорвать с насиженного места?

— Так ведь, Николай Иванович, не говори «гоп», куда не перепрыгнешь.

— Так-то оно так... — кивнул Рязанцев.

— А как же? Конечно! Как это заранее-то о себе говорить?!

Парамонов был нынче одет поскромнее и чувствовал себя гораздо проще с Рязанцевым, чем в первую встречу.

Лопарев поглядел на Рязанцева, потом на Парамонова, потом на Елену Семеновну, чуть усмехнулся и пошел вперед.

— И не жалко вам будет насиженного места, Алексей Петрович? Где столько трудов вложено?

— Да что об этом говорить, Николай Иванович? Что о деле говорить, когда дело-то по воде вилами писано?!

Очень приятен был этот разговор Парамонову.

— А вы знаете, здесь, в совхозе, руководитель как-то даже и виднее. В Москве на выставке его показывают. Непосредственно производством человек управляет...— Еще что-то нужно было сказать Рязанцеву, он поглядел на Елену Семеновну. Говорил он именно то, что она хотела, но сказал не все, и она с нетерпением ждала еще каких-то его слов.— Я бы на вашем месте, Алексей Петрович, ни за что отсюда не поехал! Ни за что и никуда! Уж поверьте мне!

Елена Семеновна чуть кивнула, потом шепнула незаметно:

— Вот спасибо! Дальше-то я и сама буду разговаривать. Ваше мнение внушать.— Задумалась. Потом встрепенулась:— А теперь я вам Шаровых покажу! Смотрите!

Совсем немного еще проехали вверх по узкой дороге вдоль ручья, в истоке которого стояла «заимка Шарова». Так называли мараловодческую бригаду, и на карте она была так же помечена.

Шаров встретил гостей, выйдя из сарая. Четыре бороды буйно росли на этом человеке: две из подбородка, две из-под щек, каждая едва не достигала пояса.

Бороды были сказочными, театральными, но и никак нельзя было представить себе Шарова безбородым. Такие огромные, волнистые, желтовато-льняного, неседящего цвета, они должны были расти на крупном голубоглазом лице, и неестественно широкие плечи и грудь должны были прикрываться этими бородами. Сильный, не очень густой и не очень низкий голос мог слышаться только через эти бороды.

Парамонов и Елена Семеновна объяснили, с кем они приехали. Шаров поздоровался с Рязанцевым и Михаилом Михайловичем вежливо, едва заметно поклонясь и тому и другому, тут же повел разговор с директором:

— Пантуем, Лексей Петрович... Богато идут рога. На сегодня килограммов двести пятьдесят нарезали...

Еще о чем-то поговорили они, Рязанцев не слушал, смотрел, какими рядом с Шаровым сразу стали маленькими и крупный Парамонов, и Елена Семеновна, и Михаил Михайлович.

— Много ли еще осталось пантовать, Ермил Фокич?— спросил Парамонов.

— Как сказать-то, Алексей Петрович... Не более полдюжины наберется, поди-ка, еще пантачей. Гляди, и того меньше. Вот-вот и кончим. Поглядите, как идет дело?

Первым подал голос Михаил Михайлович:

— Зачем и приехали, если не посмотреть?!— И, считая вопрос решенным, зашагал к высокой изгороди маральника.

В загоне с вытоптанной дочерна травой, трепеща многоголовым рогатым телом, теснились три-четыре десятка маралов.

Двое парнишек на беспокойных неоседланных конях гарцевали вокруг стада. И все стадо покачивалось из стороны в сторону и вздрагивало на тонких ногах, порываясь метнуться то вперед, то назад, но всякий раз оставалось на месте, еще более робкое и трепещущее.

Время от времени верховые отделяли несколько маралов от стада и с криками гнали их вперед, в щель между двумя высоченными заборами. Заборы были с широкими промежутками между бревен, но все-таки напоминали крепостные стены. Маралы врывались в щель, вытягивались цепочкой, на мгновение глаза у них вспыхивали надеждой: впереди маячили горы, лес. Но тут же они останавливались у перегородки. Озирались, дрожали, а в это время Шаров внимательно глядел на них сквозь забор.

— Харбэй...— говорил он негромко.

Два парня распахивали еще одни, боковые, ворота, и марал стрелой пролетал мимо Шарова, закинув назад рога и грудью рассекая воздух. Рога лежали у марала на спине, передние ноги сгибались под самую грудь, задние распластывались вдоль туловища — он улетал в горы, в лес, лишь мгновениями касаясь земли.

Еще одного темно-коричневого, с сединой быка осмотрел Шаров, снова сказал: «Харбэй». И снова огромный этот бык пролетел мимо Шарова, а Шаров дал знак рукой, чтобы гости подалее держались от ворот. Рязанцев услышал долгий глубокий вздох марала и спросил у Парамонова:

— Почему же их выпускают, маралов? Не срезают панты? Что за слово такое — харбэй?

Оказалось, Харбэй — название урочища, куда уходят маралы, выпускают же только тех, у которых не созрели еще панты.

— Как узнать, созрели панты или еще не созрели?

— На это Шаров и есть, — развел руками Парамонов. — Панты, ежели их вовремя срезать, девятьсот рублей за килограмм в подсушенном виде, а запоздай со срезом на три, на пять дней или поторопись, качество уже не то... Не то качество, и цена, считайте, едва ли не вполтину...

— Ну а признаки-то? Признаки созревания какие?

— Ни в одной книге об этом нету, Николай Иванович. Ни в одной инструкции! Вот Шарову хотите — верьте, хотите — нет, а сколько он отберет пантачей на срез, так и будет... Ермил Фокич, когда пантовали в последний раз? — спросил Парамонов.

Не оглядываясь, Шаров ответил:

— Третьеводни...

— А когда следующий раз пантовать?

— Ден через пять! — Шаров махнул рукой: нельзя ему было мешать, приставать с расспросами.

И тут же, оглядев крупного оленя с лохматой грудью, совсем уже другим тоном сказал:

— Станок!

Теперь сняли перегородку, которая была поперек щели, и марал бросился вперед, но тут под ногами у него опустили пол. Он повис в станке.

Вот что это значит, когда говорят: «Попался в капкан»! Марал вырывался каждым мускулом, каждым коричнево-седым волоском, рогатой головой, глазами, широко открытой, с обнаженными зубами пастью, но бессилён был ступить хотя бы шаг.

Два человека надвинули на голову ему деревянную колодку, с трудом согнули шею, прижали и крепко-крепко привязали к брускам станка.

Заскрежетала пила, кровь длинными упругими струйками брызнула вверх и в стороны. Рога срезали, обрубки на голове присыпали порошком, сняли колодку, подвели под ноги марала пол. Он бежал теперь в урочище Харбэй робко, неуверенно, спотыкаясь, как будто земля стала незнакомой ему.

Рязанцев взял рога. В них билась еще кровь. Биение различалось через мягкую шерсть-пушок, через кожу, натянутую на бородавчатую тонкую роговицу...

К весне марал и сам бы сбросил свои рога, уже мертвыми, окостеневшими. Но только сейчас, покуда бьется в них кровь, они обладали чудесными целебными свойствами.

Парамонов тоже взвесил панты на руке:

— Килограммов десять... А верите ли, есть по восемнадцать и больше! До двадцати пяти бывают!

Не дождавшись, когда Шаров кончит пантовать, пошли в дом и тут увидели, что приехали не вовремя.

В доме белили женщины: хозяйка — полная, черноглазая, лет что-нибудь около пятидесяти — и три девушки. Все они были забрызганы известью, очень смутились при появлении директора и незнакомых людей. Бегом они перетаскивали из комнаты в комнату сундуки, кровати, матрацы, еще быстрее пробегали мимо с ведрами и кистями, краснели при этом, отворачивались, и Рязанцев не знал, нужно ли здороваться или лучше делать вид, что не замечаешь их. Только Елена Семеновна чувствовала себя в этой суматохе непринужденно, щелкала тыквенные семечки, оберегала свое голубое шелковое платье от брызг извести, но не уходила, а весело и громко разговаривала со всеми женщинами сразу.

Мужчины потолкались около крыльца. Рязанцев сказал:

— Некстати приехали. Может, вернемся? — Однако подумал, что уезжать ему не хочется.

Парамонова же неудача ничуть не смутила, он сказал:

— Подождем...

Стали ждать. Обошли вокруг дома и установили, что, по крайней мере, три раза к нему делались пристройки, заглянули на пасеку — там было десятка полтора ульев, побывали в сушилке, посмотрели, как в чанах кипятятся только что срезанные панты, издавая острый запах крови и мускуса. Потом легли на траву в тени нового сруба из темно-желтой с оранжевым лиственницы.

Время от времени хозяйка дома либо кто-нибудь из девиц выскакивал на крыльцо, кричал: «Витьша! Петьша!» И тогда откуда-то мгновенно появлялись мальчуганы лет, верно, шести-семи, и тотчас им вменялось в обязанность сбегать с ведром на колодец.

Один раз на крыльцо вышла, по-прежнему оберегая свое платье, Елена Семеновна, тоже крикнула: «Витьша! Петьша!» — и тоже вручила им ведро, чтобы они вылили помой.

Потом пришел Шаров, снял рубаху и, весь белый-белый, огромный, с золотыми бородами, крикнул: «Ваньша! Полей!» Прибежал Ваньша — этот был по-

старше Витьши и Петьши, он стал поливать из ведра на голову и спину отца.

Немного погодя один за другим появились те два крепких парня, которые пилили пантачам рога, а позже всех пришли мальчишки, верхами загонявшие маралов в станок.

Каждый, кто приходил, даже эти мальчишки-наездники, кричал по-отцовски строго, громко, только то-неньким, петушиным голоском: «Ваньша! Полей!» И Ваньша бегал с ведром взад и вперед и поливал их с головы до пояса.

Не прошло часу, все сидели за столом в одной из комнат с полосатыми, еще не просохшими стенами.

Стол был огромный, как в солдатской столовой, ничем не покрыт, но вымыт и выскоблен, и Рязанцев сказал:

— Вот, Михаил Михайлович, по этим доскам можно сосчитать, сколько было лет деревьям, когда их спилили! Каждый слой виден!

Михаил Михайлович и в самом деле начал задумчиво подсчитывать слои вилкой, Шаров же усмехнулся и сказал:

— Ну что же, Лексей Петрович, Елена свет Семенова, знакомьте, что ли, нас с гостями! Как следует быть! Познакомились еще раз.

— Вот вы сказали: работа у нас не из чистых, — заговорил Шаров, — а мало ли что? Здоровье делаем для людей. Лекарство. Крайне нужно оно человеку. Молодость приносит.

Потом стали считать детей.

Всего их было тринадцать — старшему двадцать пять, младшему пять. И Ермил Фокич, загибая пальцы на руке, вел счет от старших к младшим:

— Степша, Дуньша, Федьша, Маньша, Саньша, Таньша...

Но когда Рязанцев спросил, а нельзя ли вспомнить, кто и когда родился, Шаров вместо ответа крикнул:

— Мать!

Тотчас в дверях появилось полное черноглазое лицо хозяйки.

— Не призывал бы ты меня до времени, Ермил Фокич, — сказала она. — Не управились еще покуда, некажиста при гостях-то!

Рязанцев заметил, что совсем это было необязательно — отрывать хозяйку от дела, но Шаров пожал плечами:

— Тринадцатерых родила, всех до единой вырастила — и опять же стесняться? По какой же причине стесняться? Покажись, мать, ты на работе, не как-нибудь... Вот, глядите, хозяйка моя, Дарья Феоктистовна.

Дарья Феоктистовна вышла из дверей, улыбнулась:

— Ну что тебе, Ермил? Ах вы, мужики, мужики! Вам хотя бы каждого третьего, а то и пятого ребятенка родить, тогда бы вы накрепко умели им счет вести. Ну что тебе? Степша, значит, первый — тридцать четвертого года. Дуньша-то, вторая, погодок, то есть с тридцать пятого. Федьша, выходит, уже снова с тридцать шестого, с декабря месяца. Маньша — про эту все в доме у нас знают, та с тридцать восьмого и опять же с декабря.

Дарья Феоктистовна говорила торопливо — ее ждало дело, — но все-таки уважительно и к мужу и к гостям. Забрызганная известкой, в ситцевой косынке, в ситцевом же, в горошинку халате, перехваченном черной тесьмой, она все-таки была очень хороша — и живыми черными глазами, и без единой морщинки лицом. Сосчитав до тринадцати, поклонилась и мигом исчезла в соседней комнате, где все еще не кончилась побелка и приборка.

— Ну как? — спросил Шаров, улыбнулся.

Рязанцев не знал, к чему относится вопрос: о жене Шаров спрашивал «ну как — какова?» или о ребятишках, о детях, которым наконец произвели полный подсчет.

— Здорово! — кивнул Рязанцев. — Здорово, честное слово!

И это «здорово» относилось ко всем — и к Дарье Феоктистовне, и к ее детям, и к самому Ермилу Фокичу.

Лопарев спросил:

— Слушаются вас дети, Ермил Фокич?

Алексей Петрович и Елена Семеновна переглянулись. Шаров же ответил:

— Когда как. Вот нынче, с утра... Марал, значит, вырывается бежать на Харбэй — боковые-то ворота не успели зачинить, — а он в самый раз, марал-то, на пантовку годный. Степша, значит, увидел такое, пантачу встречу кивнул. Руками за рога и к земле гнетет, сам по коленям ногами-то, по коленям его, чтобы тот, зна-

чит, пал на землю. А у них же сила великая, у пантачей, когда они страхом объаты. Они же чуют, будто это смерть. В нем все, что есть живое, все противится. Ну вот я кричу Степше: «Ума совсем лишился! А ну бросай зверя!» А Степша-то обратно гнетет его к земле. Не слушается и гнетет. Вот-то и сын. Не слушается!

— Ну и как же? Что же дальше с пантачом?

— Обошлось. Вот оба мы со Степшей живые и непокаленные. Я тоже навалился на пантача, скрутили мы его, а отпустить-то и в самом деле боимся. Не уйдешь от его... Отпусти голову-то, он и наденет тебя на роги... Уже Федьша да Саньша — те прибегли, по ногам связали зверя...

Степан сидел тут же, за столом, улыбался смущенно, делал вид, что разговор был не о нем. Был он парнем совсем невидным — в веснушках, и неширок в плечах, и невелик ростом, и было удивительно, когда отец проговорил вдруг:

— Степша-то, он, что говорить, он двухпудовку перебрасывает с правой в левую.

Елена Семеновна громко смеялась и хозяйничала за Дарью Феоктистовну, но, смеясь, все-таки сокрушалась, что хозяйки еще нет за столом.

— Управится, мы ее рядом с Николаем Ивановичем посадим! Хорошо, Ермил Фокич? — спрашивала она то и дело Шарова, будто это было очень-очень важным вопросом — рядом с кем будет сидеть Дарья Феоктистовна.

Подали огромный чугунок с супом из маралятины, нежной, чуть-чуть сладковатой, — в этом доме приезд к обеду пятерых незваных гостей был делом незаметным.

Разговор о воспитании детей Шаров не считал законченным и сказал, обращаясь к Рязанцеву и Михаилу Михайловичу:

— Порядок, я считаю, такой: покуда у меня в доме живешь — живи, как весь дом. Работай, как весь дом работает. Какие есть в дому законы — соблюдай; что все пьют-едят — и ты пей-ешь. Теперь вот Степша, к примеру, женится. Учителку приглядел на центральной усадьбе. Ну что же, как знаешь! Чему от матери с отцом учился — смотри, годно ли тебе самому. Негодно — я не в обиде, живи, как сам думал. Только я считаю — отцово-материно сгодится. По себе знаю.

Ермил Фокич не скрывал желания поговорить о жизни — у него не было и капли сомнения в том, что такой разговор вполне уместен с людьми, которых он видит впервые.

Когда он хотел привлечь внимание собеседника, то клонился к нему ближе, глаза в глаза, и Рязанцев сначала невольно подавался назад, но потом привык, и так, блистая яркой бородой, синевой глаз, большими и крепкими зубами, Ермил Фокич громко говорил ему:

— О родительской заботе по себе знаю. Мне было годков пять, как нашему с Дарьей Феоктистовной младшенькому — Борьше. Придавило отца родного лесиной. Насмерть. Ну, какой там срок — мать пошла за другого, за Шарова, значит. Как бы не тот случай с лесиной, я бы вовсе не Шаров был, а Седельников. Ребятишки мои — тоже Седельниковы. А тут случилось, и вот — век Шарову буду благодарен! Как есть — за все! За себя, за мать! Как хочешь меня суди, не верю, чтобы и отец мой родной таким же был человеком!

Мать, она об отце моем не поминала ни хорошо, ни плохо. Ни словечка. Понимай это как хочешь. Старухой стала и уже отчима моего сильно пережила, когда я спросил ее: «Мамаша, правильно ли я все ж таки Шаровым назван? Может, Седельниковым надо было записаться, по родному отцу?» Она мне говорит: «Не грехи, сын, против человека. Народить животное может, а детей вырастить не каждый может и человек. Погляди на себя: кто он тебе был, Шаров?» Когда у нас с Дарьей Феоктистовной их тринадцать, я цену этим словам понял: цены им нету.

Зашел разговор о войне. Шаров опять вплотную приблизил возбужденное лицо к лицу Рязанцева, так что тот почувствовал на мгновение очень мягкое, едва-едва осязаемое прикосновение его бороды, как-то особенно настойчиво спросил:

— А вот, Николай Иванович, знает ли человек, убьют его на войне либо он домой вернется? А? — Вытаращил глаза, раздул пышную бороду глубоким вздохом. — Хотите — верьте, хотите — нет: я об себе знал. Бью фашистов год, бью другой. Наступаю — бью, и отступаю — бью, и в окружение попал — бью. Бью из пулемета, пулемет я тот на себе таскал, и припасы который раз за второго номера — опять же на себе. Думаю: «Этакой, брат Ермил, войны не бывает, чтобы один бил, а сам бит не был. На то и война, думаю, чтобы не только

ты, но и тебя били-убивали». Жду своего черед. Прикинешь — давно бы мне пора с копытков-то долой. Но, думаете, я с белым светом прощаться начал? Ни за что! — Шаров стукнул кулаком по столу, чашки и котел с супом и даже самовар, который с трудом принесла Елена Семеновна, — все подскочило и зазвенело.

Он переждал, когда звон этот умолк, посидел немного без слов, после повторил:

— Ни за что! Знал — живой приду. И правильно — контузил меня немец, было ему за что с тяжелых калибров по мне палить, было за что, но убить не убил. Не достал он меня до самой души! — Посидел, помолчал. Совсем уже по-другому, задумчиво улыбнулся. — Я думаю — каждый про себя так знал. Обязан был знать. И тот знал, кто погиб, не вернулся...

Никого Шаров не принуждал, сам же доливал в граненый стакан прозрачный, почти невидимый в бутылке спирт. Пил не морщась и не вздыхая.

Рязанцеву боязно стало. «Вот, — подумал он, — перехватит Ермил Фокич — и конец нашему разговору! Нехорошо получится!» Потихоньку поделился своими опасениями с Михаилом Михайловичем. Тот сказал уверенно:

— Этому? Ничего ему не будет!

Рязанцев решил действовать через Парамонова. Подтолкнул его локтем, незаметно показал глазами на Ермила Фокича, но Парамонов так и не понял его сигналов, поняла их Елена Семеновна и тихонько шепнула Рязанцеву:

— Ничего, ничего! Вы не беспокойтесь понапрасну, Николай Иванович.

Шаров же улыбнулся в бороду, заглянул зачем-то в окно и снова крикнул:

— Мать!

Так же быстро выглянула из дверей Дарья Феоктистовна:

— Что тебе обратно, Ермил Фокич?

— Винтовку мне... Бинокль тоже давай, мать...

Бинокль и винтовку принесла одна из дочерей Шарова, черноглазая, очень похожая на мать и очень красивая. Рязанцев подумал, что Дарья Феоктистовна в молодости была точно такой же.

В наступившей недоуменной тишине Шаров протянул бинокль Рязанцеву, откинул затвор винтовки, по-

глядел в магазин. Потом распахнул окно, перейдя с Рязанцевым на «ты», спросил:

— Вон ту лесину видишь, стоит по-над ручьем? Вон он кедрач?

— Вижу! — кивнул Рязанцев. — А что?

— А что на маковке там, видишь? Нет? Не видишь? Так затем я и бинокль велел принести. Гляди сквозь стекла-то, — они в десять крат глазам силу дают, — там, на маковке, ворона прохлаждается...

Положил винтовку на подоконник, сам опустился на колено, раза два-три шевельнул локтем вправо и влево, замер — только борода шевелилась на нем от ветерка, залетавшего в окно.

Рязанцев вскинул бинокль, и тут как раз грянул выстрел... Птицу на вершине кедра Рязанцев так и не видел, но несколько черных перьев, словно бабочки, покружились над вершиной и пошли вниз — это он заметил.

Михаил Михайлович вздохнул:

— Не глаз — оптический прибор!

Парамонов усмехнулся, заулыбался с таким видом, будто стрелял не Шаров, а он сам. Елена Семеновна тотчас приняла из рук Ермила Фокича винтовку, унесла ее из комнаты.

Ермил Фокич спросил у Рязанцева:

— То ли пьяный Шаров, то ли нет? А? Как понять?

Запахи все перемешались в комнате... Через открытое окно доносился аромат трав и нагретого солнцем леса, заметно припахивало угарцем от самовара, известкой, не успевшей еще просохнуть на стенах, и еще сильнее был слышен душистый чай. Котел, опорожненный почти до самого дна, стоял теперь в углу комнаты и тоже издавал сытный запах мясного. Еще пахло спиртом, медом, порохом.

Ермил Фокич вел рассказ о себе:

— К примеру, один любит заниматься пчелками, а по мне, так это вовсе и не то дело. Держу пчел, понимаю в пчелиной работе, а все ж таки дело не мое. Почему? Пчела любит хозяина. Она туда-сюда летает, в горы, за самую речку Акат, а хозяин чтобы караулил ульи, да рой караулил, да еще и корму пчелкам готовил, когда нету настоящего взятка. Пчела, значит, летает, а ты сиди на пасеке. А я лучше по-другому люблю. Я марала в загоне держу — отращивай, браток, свои роги, а вот сам-то я тем часом в горы на дикого марала схожу, и на

козла, и на волчишку, а бог даст и с косолапым сойдемся. Так-то больше, по мне, толку. Каждому человеку, считаю, свое в жизни положено. — Снова коснулся Рязанцева бородой. — Правильно говорю?

— А вы как сами понимаете, Ермил Фокич?

Шаров не потребовал пояснений, кивнул:

— Мое — вот здесь быть... И вот там, — показал в открытое окно на вершины гор.

— А почему так думаете?

— Думаю-то почему? — переспросил Шаров. — А вот. — Вытянул обе руки на стол, повернул их вверх-вниз ладонями, пошевелил пальцами — сначала всеми сразу, потом каждым по очереди. — Скажи хотя бы и ты, Елена Семеновна: где быть человеку с такими руками, ежели не в лесу, не в горах? В Москве или, к примеру, в Барнауле — к чему они там? К чему нужны? К какому делу?

Елена Семеновна протянула свою тоже сильную и крупную руку, и, когда положила ее на стол рядом с шаровской, оказалось, у нее не рука — детская ручонка. Она засмеялась этому неожиданному превращению весело и почему-то зажмурившись, а когда открыла глаза, осторожно, будто к горячему, прикоснулась к рукаву темной шаровской рубахи. Казалось, ждала, что Шаров вот-вот схватит ее за руку, но все-таки нащупала под рубашкой мускулы.

— Он верно говорит, Николай Иванович! Посмотрите-ка, посмотрите!

Парамонов положил руку на стол рядом с шаровской, и Рязанцев тоже не удержался.

Все теперь смеялись шумно, как дети, даже Михаил Михайлович улыбался, а самым веселым ребенком был тот, что с бородой до пояса, а самой взрослой была Елена Семеновна. Она хоть и смеялась вместе со всеми и первой затеяла игру, но все-таки казалась серьезной девочкой между этими сорванцами, все время была готова их остановить, если они уж очень разбалуются.

Когда Парамонов и Рязанцев один за другим ударяли по тугому шаровскому бицепсу, она всякий раз пугалась:

— Ох! Ведь и больно же, наверно! Что вы только делаете, что делаете?

Рязанцев же подумал, что Елена Семеновна не вся сейчас здесь, не вся на виду — что-то она все время хранила в себе.

Видно это было по ее глазам — то серый, то зеленоватый оттенок заполнял их временами, и веки чуть-чуть опускались у Елены Семеновны тогда, будто она издалека глядела на все вокруг, и в выражении лица ее вместе с радостью отражалось еще какое-то чувство...

Парамонов и Рязанцев пытались разогнуть в локте руку Ермила Фокича, потом и Михаил Михайлович к ним присоединился, а сам Ермил Фокич ухмылялся через бороду и говорил, чтобы и «Елена мать моя Семенова помогла бы хлопчикам!». Он говорил ей это очень уважительно, от «хлопчиков» ее отделял. Тоже чувствовал в ней что-то, чего ни у кого здесь не было.

Елена Семеновна «хлопчикам» помогала что было сил, но только и у четверых по-прежнему ничего у них не выходило — упираясь локтем в стол, непоколебимо стояла шаровская рука.

Потом Шаров убрал со стола руку.

— Вот так-то... Теперь еще спрошу: или по городу мне ходить с такими плечами, а? Ведь на меня в магазине-то и пиджачишко не сыщешь? На такого, на маломерка. А борода? Бородища эта в городе и мне не глянется: ребятишки толпой за ей побегут, что твои дикари. А спросить хотя бы и вас: должен быть на свете человек с такой бородой? Вот с такой? — Он склонился к Елене Семеновне, и та очень ласково, очень бережно пальцами обеих рук провела по бороде Ермила Фокича. По рукам ее было видно, какие они мягкие, эти чуть-чуть волнистые, отливающие медью у самого подбородка и почти прозрачные у пояса тонкие длинные волосы. — Теперь какой это, скажите, порядок: куда мечта о вековом-то житье, а человек, гляди, шесть десятков лет землю потоптал, и нет его — сам в землю. Справедливо ли, спрашиваю? Нет, я с этим не согласный! Куда ученый о многолетии головой думает, мне тоже не сложа руки сидеть, я руками-то своими делаю, пантокрин добываю. Как полагаешь, нужно ли это, Семеновна? Ты женщина понятливая!

Рязанцев глядел то в синие прищуренные глаза Ермила Фокича, то в серые, широко раскрытые Елены Семеновны. Смущение женщины и эти раскрытые в растерянности ее глаза доставляли ему радость.

— А ведь хвастаетесь вы, Ермил Фокич... — вдруг сказала она. — Право... И — сильно хвастаетесь...

Ермил Фокич сказал удивленно:

— Вот они, женщины, народ какой... Гляди-ка! — Смутился. Очень смутился...

В это время дверь из смежной комнаты распахнулась. Ермил Фокич встал и торжественно, под руку ввел жену.

— Ну вот, знакомимся нынче все да знакомимся! Супруга моя. Теперь она в полном виде. Смотрите!

И гости нисколько не сомневались, что увидели Дарью Феоктистовну в первый раз: такой она появилась неожиданно свежей, красивой, в коричневом платье, с ярким искусственным тюльпаном, с медалью матери-героини, на которую она несколько раз и сама повела глазом.

Одна за другой появились и старшие дочери Шаровых, и та черноглазая, быстрая, что приносила винтовку и бинокль, была среди них. На минуту все исчезло со стола, а когда стол снова был накрыт белоснежной скатертью — Рязанцев не заметил. Дарья Феоктистовна села рядом с ним, пышная, заботливая.

Все, что гости ели и пили до сих пор, было объявлено не в счет, все, что говорено было, — только для начала знакомства. Все посвежели при Дарье Феоктистовне, стали будто новыми, а Елена Семеновна уступила роль хозяйки за столом и мигом превратилась в гостью — разборчивую, даже привередливую. Только по-прежнему нет-нет возникало в глазах ее что-то свое, никому не доступное.

Пили медовуху, ели жареного поросенка, моченую, еще прошлогоднюю, очень вкусную бруснику. Песни пели.

Потом Дарья Феоктистовна вывела Рязанцева под руку на крыльцо, вытерла платочком глаза и спросила:

— Во-он ту гору-то под белком видите ли?

Рязанцев поглядел на вершину. Золотистые, похожие на бороду Ермила Фокича снега лежали там под лучами тускнеющего уже солнца, возвышались темные, почти черные скалы, издали похожие на бесконечный ряд неприступных бастионов.

— Вижу.

— Дочь туда замуж выдаем, Николай Иванович. Дочку. Да и не старшую вовсе, а Маняшку-то, черноглазую-то, — верно, заметили, которая очень на меня похожая? Вот ее выдаем туда, умнушку мою.

— Что вы, Дарья Феоктистовна? Кто же там живет?

— Геологи живут, Николай Иванович. Уже год бурят, еще, говорят, на два, а то и на три года хватит им. Радист у них там, радист-то, значит, частенько за питанием с гор спускается, ну вот и приглянулись они друг дружке. Сердце болит, а как ее удержишь? Маняшку-то? Удержишь, потом себе же и места не сыщешь!

— Ну, не век они там будут на горе жить, Дарья Феоктистовна. Через год или через два кончат буровые работы на вершине и где-нибудь внизу поселятся.

— И не говорите, Николай Иванович. Это вы чтобы мать успокоить, не более того. Дальше-то время, так они еще и выше заберутся. Каждый год все выше да все выше лезут по горам, скоро уже на самую маковку, на Белуху, подымутся, а далее уж и не знаю куда!

— А может быть, Дарья Феоктистовна, Маняше там будет хорошо?! Очень? Там ее счастье?

— Верю, Николай Иванович! Еще раз скажите мне слова эти, пожалуйста! Еще поверю! Сколько сил моих есть!

— Счастье будет для Маши там. Будет... будет... будет... — тихо повторял Рязанцев.

Дарья Феоктистовна слушала жадно. Будто не дышала. Взмахнула наконец рукой: давайте молча поглядим на ту вершину.

Солнце было еще довольно высоко в небе, но уже набежали те легкие, едва приметные тени от скал, которые так рано, лишь только-только минет полдень, возникают в горах.

Сколько прошло времени, покуда вдвоем глядели они на эту вершину, Рязанцев не заметил; встрепенулся, когда услышал голос Дарьи Феоктистовны:

— У товарища-то вашего аппарат я увидела. На память бы сняться нам всем.

Чувствуя ответственность своей работы, снимал Михаил Михайлович, заставлял пересаживаться всех десять раз, то и дело глядел на солнце, в экспонометр, а Парамонов все пытался рассказать как можно подробнее Ермилу Фокичу, что за человек Николай Иванович, как этот Николай Иванович учил его на курсах директоров совхозов.

Елена Семеновна говорила мужу:

— Обожди, Леша. Об этом — не надо торопиться. Не в последний раз встречаемся с Ермилом Фокичем, с Дарьей Феоктистовной.

Уезжали...

Шаровы вышли проводить гостей к машине. Кто-то что-то забыл в доме, потерю искали Ваньша, Петьша и даже Борьша, кто-то торопился что-то досказать недосказанное и хотел что-то еще раз услышать и запомнить. Все эти хлопоты и суета никак не могли убедить Рязанцева, будто он и в самом деле уезжает. Еще несколько минут — и уедет, и не будет перед ним волнистой бороды Ермила Фокича и пронзительных его глаз, и Дарью Феоктистовну он тоже перестанет видеть, и Маняшу...

Однако расставание приближалось.

Дарья Феоктистовна поцеловала Рязанцева в губы, сказала:

— Будет когда путь-дорога мимо, уж не обижайте нас, Николай Иванович, ради бога! Знаю: не позволите себе этого... — Помолчала. — Маша! Машенька! Поди сюда, голубка!

Маша приблизилась. В начинавшихся уже сумерках еще темнее и еще больше казались ее глаза на тонком и вздрагивающем от смущения лице. Глядела она вопросительно, приподнялась даже на цыпочки, угадывала и не могла угадать — что матери от нее нужно? Чувствовала: нужно что-то необычное...

Ермил Фокич глянул на дочь будто между прочим, но проговорил твердо:

— Подойди, коли мать зовет.

Тут она догадалась, что гостям известна ее тайна, прикрыла лицо рукой, вздохнула глубоко, подошла к Рязанцеву и матери. Протянула Рязанцеву руку:

— До свидания. Приезжайте к нам!

Теплая ее рука была твердой, глаза не мигая глядели прямо в его глаза.

Дарья Феоктистовна низко поклонилась Рязанцеву:

— Так вы пожелайте, Николай Иванович, цыпушке-то моей счастливой жизни! От сердца пожелайте. От всего! Как там люди думают, не знаю, а только я очень верю в напутствия. Чему же и верить, как не хорошему человеку? Правду ли говорю? Мы ведь еще людям-то об этом и не говорили. Сегодня вот сказали.

Маленькая и твердая ручка задрожала.

Рязанцев сказал:

— Желаю вам счастья, Мария Ермиловна. От всей души!

Теперь она вздрогнула вся, всем телом, услышав, наверное, в первый раз в жизни обращение к себе по имени и отчеству.

— Спасибо...

Дарья Феоктистовна вздохнула. Все оглянулись на ее вздох, и только Маша продолжала стоять неподвижно.

Михаил Михайлович тоже решил поддержать разговор, сказал серьезно:

— Ну, чумазенькая! Или ты не видишь, как твоя гора играет, радуется за тебя? А?

Там, на вершине, и в самом деле возник теперь, кажется, какой-то иной мир, весь пронизанный наклонными, хорошо видимыми лучами заката. Скалы, которые еще так недавно возвышались мрачными, почти черными бастионами, засияли из самой своей глубины и яркими, и едва видимыми легкими неотчетливыми красками. Краски были желтоватого оттенка — розовое с желтым, красное с желтым, синее и голубое тоже с прозрачно-желтым... Скалы эти самых разных, самых необычайных форм и очертаний все устремились ввысь, туда, откуда на них глядело небольшое нежно-розовое облачко — почти призрачное, легкое и неподвижное, но готовое каждый миг взлететь еще выше.

Оно только одно и было на всем горизонте, над всеми вершинами, и для него одного, казалось, сверкали скалы и переливались волны желтоватого света по молочнo-белым снегам, и даже сумрак, который лежал ниже освещенной вершины и в котором едва угадывались складки гор и зубцы леса, — этот сумрак тоже затих, чтобы облачко не спугнуть, не потревожить.

А оно, если внимательно смотреть, оказывается, не стояло на месте, а плыло, медленно-медленно плыло над скалами, и на скалах отражалась его тень... Даже не тень, а отблеск...

— Вот, — сказал Ермил Фокич, — дела-то какие...

— Какие? — спросил Рязанцев, услышав в голосе Ермила Фокича не замеченное им прежде раздумье.

— Так ведь меняется жизнь-то. Вот наша семейная бригада вроде бы и на месте, и дело свое делаем не против жизни, а жизнь, она все одно, брат, недовольная, ей надобно другое да другое... И вот уже, гляди, — сына женим, дочку взамуж выдадим, и наш семейный колхоз будет не весь в полной мере. А там — при нас с Дарьей Феоктистовной один разве что Борьша останется... Так

ведь и Борьша — время пристанет — по-своему зачнет жить. А как? Про то догадаться нелегко, указу своего наперед ему не дашь... — Помолчав, еще сказал: — Скоро, поди, и так будет: девочка какая-нибудь — тоже ученая — из одной бутылочки плеснет, из другой, на весах взвешает — и готов пантокрин. А мы при чем окажемся?..

Поехали.

Дорогой Елена Семеновна спросила Рязанцева:

— Развеялся ли ваш Михаил-то Михайлович или нет? Все еще грустный очень...

Заботилась о Михаиле Михайловиче, а у самой глаза были грустные... словно она навек с кем-то простилась.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В лагере теперь было всегда тихо.

Никто не смеялся. Ни на чьем лице нельзя было увидеть улыбки. Как-то внимательно все смотрели вокруг, словно ждали, что вот-вот из леса вернется Онежка.

Молчаливее других был Лопарев. Он только изредка разговаривал с Андреем и только о каком-нибудь деле, начиная разговор неожиданно, будто откуда-то с середины.

Сейчас так же неожиданно сказал:

— Какая музыка: шебаршить, царапать стало в руке! — И показал Андрею топорище: — Вот здесь... То ли я мозоль набил и настоящего ухвата у меня не стало?

Они внимательно рассмотрели топорище, посоветовались, и Андрей ушел куда-то в лес, а Лопарев достал из полевой сумки маленький точильный брусок и стеклышко. Одну кромку стекла он обернул носовым платком, чтобы удобнее было держать, опустившись на колени, осторожно стал снимать с топорища едва заметную стружку. И еще выравнивать его бруском.

То и дело поднося топорище к глазам, Лопарев прищуривался, глядел на него, а в это время на самого Лопарева внимательно посматривал Вершинин-старший.

Давно ли возникло у него желание поговорить по душам со своим аспирантом? Кажется, давно... А может быть, и недавно: после смерти Онежки, после того, как, не сказав друг другу ни слова, они всю ночь проходили вокруг четырехугольного здания больницы... После

спора, который произошел у него в ту ночь с Рязанцевым...

Вдруг показалось Вершинину-старшему, что в Лопареве он может найти какое-то понимание, какую-то поддержку. Должен найти.

И, повременив еще, он спросил:

— Ну, как дела, Михмих? — Сам же стал отвечать на свой вопрос: — Кажется, вы очень интересный материал собираете по листовнице сибирской? Противников своих сумеете разбить в пух и прах! Опровергнете теорию вымирания этой породы. Молодцом!

Лопарев отложил в сторону стекло, о чем-то подумал, но как был сосредоточенным, даже угрюмым, так и остался. Не заметил тепла в словах Вершинина-старшего, его похвалы, не заметил, что шеф назвал его Михмихом. Всегда и все в отряде так звали Лопарева — Вершинин же старший назвал впервые.

— А толк? Какой? — спросил после долгого молчания Лопарев.

— Ну, знаете ли, дорогой, найти доказательства, подтверждающие судьбу распространенной древесной породы, — это ли не наука? Вы же в века заглядываете!

— Заглядываю. А результат какой? Сегодня? Может, люди сегодня же перестанут лес по-свински уничтожать? Сейчас?

— Утилитарно... Скажите-ка, если бы наука жила требованиями нынешнего дня, только ими, она бы существовала? Или нет?

— А если бы она совсем не учитывала нынешний день, она бы откуда взялась? Она бы существовала? Или нет?

Вершинин-старший усмехнулся:

— Положим, и то и другое — крайности. Надо исходить из среднего.

— От золотой середины. Сегодня с нас не спрашивают — мы работаем на завтрашний день. А завтра — другие проблемы, и о нас забыли. Хороша «серединка»! Цирк!

Вершинин-старший все еще искал мира с Лопаревым и почти спокойно сказал:

— Значит, все дело в том, чтобы проблемы, которыми мы занимаемся, не были мотыльками-однодневками...

— Ага! — кивнул Михмих. — Конечно! Чтобы они существовали целый год, а то и два! От одной пере-

стройки научной работы и во-он куда — до самой до следующей!

Тут Вершинину показалось, будто Рязанцев стоит рядом и внимательно ждет, куда разговор повернется дальше, чем кончится. А за Рязанцевым, позади, — угловатая фигура Андрея.

Оглянулся... Рязанцева не было, Андрей же в самом деле появился. Прошел в палатку, ухом не повел.

Вершинин-старший сказал:

— Ну ладно, Михаил Михайлович, коли вам не нравятся свои собственные успехи, пусть так и будет. Пути развития науки мы обсудим с вами в другой раз. Отложим разговор.

Лопарев приподнялся, оперся обеими руками на топор. Обязательно хотел сказать что-то злое, сердитое и останавливал себя. Но не остановил.

— Вот если бы всех заглядывателей в будущее, всех перестройщиков, которые и о сегодняшнем дне вроде бы пекутся, а сами от него в лесах спасаются, — их бы и за жалованьем отправлять к потомкам! Потомки бы рассудили! Навели бы порядочек! — Лопарев изменился в лице и чужим голосом спросил: — Кто тут из вас, ученых, Чихачев Петр Александрович? Получите за ваши описания! Следующий — Сапожников Василий Васильевич! Келлер! Тронов! Остальным причитается за переписку, за чистописание. Как тому Акакию Акакиевичу, только без наградных шестидесяти целковых!

— Образно! Не знавал за вами актерских способностей, — медленно проговорил Вершинин. — А что бы причиталось Лопареву Михаилу Михайловичу? Знаете такого? Он еще имеет привычку поучать по любому поводу? Что бы ему пришлось? А?

— Номер не пройдет, — решительно возразил Лопарев теперь уже в своем обычном тоне. — И думать нечего — пустой номер. Лопарев сегодня заработанную им плату получит!

— Вот как?

— Ага, так! Бензопильщик и чокеровщик Лопарев на сегодняшний день лесу нарубал — целый лес! Там и шпалы, там и срубы, и крепи, и еще всякого добра на миллион! Так что Лопарев уже себя прокормил. А что касается леса, который он для будущего выращивает, о котором он заботится, так претензий у него к потомкам нет — он это для души делает! Не для их души — для своей!

— Неплохо. Особое положение у Лопарева. Благородное исключение? Весьма неплохо.

— Положение самое обыкновенное, как у всего рабочего класса. Рабочий построил дом — и тут же за свой труд получил. А за то, что в доме люди будут жить и через пятьдесят и, может, через сто лет, — за это ему и в голову не придет с них получать. Ясная политграмота?

Ответа Лопарев ждать не стал — повернулся и пошел. Сквозь кустарник, потом через ручей, потом в гору.

Почему молодежь так часто полагает, будто моральные, политические, да и всякие другие проблемы не разрешены только по лености и тупоумию старшего поколения?

Когда-нибудь аспирант профессора Михаила Михайловича Лопарева, а то и его собственный сын бросит ему такой же упрек. Профессор Лопарев возмутится. Может быть, даже больше, чем нынче возмущается профессор Вершинин.

Вспомнился спор с генералом Иосифом Ипполитовичем Жилинским...

Может быть, Лопарев откуда-то узнал об этом споре? Узнал, что шеф, когда едет в Москву, берет железнодорожные билеты на те поезда, которые проходят Барабу ночью, чтобы не видеть ее?

Да, все это было в жизни Вершинина. Но ради чего было? Ради того, чтобы наука и вся деятельность людей, вся их жизнь составила нечто целое и гармоничное. Так отвечал сам себе Вершинин-старший всякий раз, как вопрос возникал перед ним. И себе верил при этом. А какое право имели не верить ему другие?

Мальчишка Лопарев, едва разглядев краешек великой и вечной задачи, едва только о ее существовании догадавшись, уже начал его, Вершинина, упрекать! И как упрекать? Думает, будто сделал открытие, заметив, что такая задача существует?! Наверное, полон священного трепета и негодования к своему шефу! Полон презрения к профессоришке Вершинину за то, что тот — Вершинин, а не Паллас, не Чихачев, не Сапожников и не Келлер?

Наверное, смеется, как может, издевается: Вершинин был географом, а стал узким геоботаником, но ни географы, ни ботаники не считают его своим! Достойным!

Издевается над тем, что Вершинин труды по ботанике называет как географ: «Растительные ресурсы Горного Алтая»? И, наверное, это он дал Вершинину злое прозвище «Наш Ресурс», и еще — «Потенциал»?!

Жалеет Андрея — у него такой незадачливый отец!

Сколько же возникло еще этих «наверное», этих догадок? Вершинин опустил на складной стульчик, а потом вскочил, пнул стульчик и со всеми своими «наверное» ушел в лес, в горы, в сторону, противоположную той, где Лопарев только что отточенным топором валил какое-то дерево.

Прислонившись к камню, из расщелины которого торчали небольшие колючие веточки караганы, Вершинин сорвал с головы шляпу и продолжал слушать эти «наверное».

Он искал на Алтае покоя, искал своего Лукоморья, а что находил?

Уже давно среди природы он чувствовал себя гораздо спокойнее, чем в институте, где звонили телефоны, заседания назначались и проводились без конца, появлялись какие-то незнакомые люди, приходили письма от соискателей ученых степеней, где он срочно требовал от кого-то методики, тезисы и программы и кто-то не менее срочно требовал их от него. Он возмущался, говорил, что для серьезной работы не остается времени, что это невыносимо. А на самом деле? Не было покоя, так он был спокойнее, увереннее. Может быть, потому, что все тревоги рабочего дня в институте сводились у него к тому, *как* сделать, *как* написать, *как* наметить, и совершенно не оставалось времени подумать, *что* сделано, *что* написано, *что* было уже когда-то намечено, *что* прожито? «Что будет?» всегда звучало для него безмятежнее, чем «что было?» и «что есть?».

Он убеждал себя, что так и должно быть: что прошло, то уже прошло; логичнее заботиться о будущем. Логичнее и возвышеннее.

Правда, люди судят о тебе не по тому, каким ты хочешь быть и что намерен сделать для них, а по тому, какой ты есть и что уже сделал. Даже великое дело, если оно окажется людям не ко времени, — они не оценят, пошлют к черту! Гренландские колонисты побывали в Америке за пять веков до Колумба, но в ту пору Европе не нужна была Америка, и вот истинные первооткрыватели были забыты.

О, если бы люди судили о Вершинине по тому, каким он хочет быть, что он стремится сделать, — уж он бы постарался — предстал перед ними!

Вместо этого снова и снова являлась к нему Бараба. Из такого далекого прошлого являлась, о котором он и думать не хотел, которое считал чем-то архаическим.

Всякий раз, как приходилось Вершинину проездом или на самолете ТУ-104 миновать Барабу, она неизменно смущала его обезоруживающей простотой — круглыми бесцветными озерами, березовыми колками, сероватым травяным покровом. Но за этим скрывались непосильные для него тайны, неисполненные дела.

И тогда ощущение какой-то недоговоренности по поводу всего на свете возникало у него, стремилось распространиться на всю его жизнь.

Казалось, почему бы ему не любоваться Алтаем всегда? Почему бы не успокаиваться при виде Алтайских гор?

Кажется, Вершинин подозревал — почему: Алтай был для науки ребенком, у которого без числа прекрасных задатков, но ни один из них еще не определился, не стал главенствующим, а пока это главное не возникло, науке предстояло с одинаковым тщанием описывать все задатки подряд — и геологию, и водные, и растительные ресурсы, и климат, и почвы. Пока что ребенком больше любовались, чем требовали от него, а ребенок больше приносил ученым наслаждений, чем требовал от них. Он и от Вершинина почти ничего не требовал, хотя тот и слыл знатоком номер один Горного Алтая.

А Бараба — та требовала...

Спрашивала его: каков ты человек? каков ученый? что о себе думаешь?

Человек был горяч, оригинален, но нередко начинал вдруг подозревать собеседника в том, что тот чего-то самого главного не говорит. Сначала собеседника, потом себя.

Возникало у этого человека и какое-то убеждение, какое-то понятие — и тогда он торопился поскорее это понятие кому-нибудь объяснить, где-то его опубликовать и тем самым поставить над ним точку. Знал: стоит ему замешкаться, стоит продолжить размышления — и возникнут доводы, которые всё, в чем он только что уверился, начнут расшатывать.

В молодости этот человек обладал неистощимой фантазией, но ему не хватало фактов и собственных ис-

следований. Он мечтал о таком времени, когда все это будет у него. Долгожданное время настало: экспедиции, которые он каждый год совершал в свое Лукоморье, в Горный Алтай, — все это дали ему; дали множество фактов и не лишили фантазии. Но теперь, и тем и другим обладая, он не мог и то и другое соединить между собой...

С годами он больше узнал и без устали продолжал узнавать. А становился ли он от этого умнее?

Все чаще и чаще он стал ощущать себя, свою жизнь как предисловие к чему-то, чего так и не было. Чего доброго, так и умрешь в перечне действующих лиц какой-то странной пьесы: «Вершинин Константин Владимирович. Профессор. Лет шестидесяти».

Если возраст будет указан другой — «лет шестьдесят пять», — тогда и другое звание должно бы появиться: «член-корреспондент». Будут в этом перечне еще имена: «Андрей, его сын», «Вега, его дочь».

В прежние времена драматурги, бывало, делали еще примечания: «член земской управы», «с моноклем», а в комедиях отмечали: «с приятными, уверенными манерами». Теперь примечание сделают другим: «один из руководителей научно-исследовательского института. В прошлом активный комсомолец». Однако же что за роль у этого бывшего активного комсомольца? Что это за пьеса, действующим лицом которой он является?

Он начинал думать о «следующем».

Этот «следующий» за тобой ученый может быть только на один день моложе по возрасту, но ему, вероятно, придется дочитать ту книгу, которую ты однажды заложишь где-то посредине любимой китайской закладкой, да так и не перевернешь больше ни одной страницы... «Следующий» будет очень на тебя похож, но тобой не будет, будет продолжать твои мысли, но продолжать не по-твоему. Угадать бы, как он будет их продолжать? Как будет жить за тебя?

И ведь нельзя, грешно подумать, будто какая-нибудь серенькая жизнь прожита! Вовсе нет. Событий, переживаний, трудов хватило бы, верно, на три-четыре неприятательные жизни! Вполне. Но...

«Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

Любил он в молодости эту песню! Любил, но давно уже не пел. Очень хотел, чтобы Андрей ее пел. Голоса у Андрея нет — в том ли дело?

И как все это Андрею объяснить? Всю эту песню? Как с ним объясниться?

Препятствие в том, что с Андреем нельзя разговаривать с одним. Невозможно, и только.

К сыну отец может приблизиться через других людей. Станешь другом с друзьями Андрея, с холодком будешь относиться к тем, кого он не любит, — тогда, пожалуйста, разговаривай и с ним самим! Вот ведь какой деспот, этот шилишпер!

И с Реутским в присутствии Андрея Вершинин-старший старался быть холоднее, начальственнее. Немного было неудобно, но только немного, потому что Андрей и в самом деле прав — так и надо к этому льву относиться. Другое дело, что жертвуешь доброжелательством к тебе Реутского.

А Рязанцев? А Лопарев? Они действовали каждый сам по себе, а получалось, что сообща. О Рязанцеве Вершинин-старший думал: «Пустяк, и все! Все высокие и отвлеченные материи! Беспочвенная интеллигентность!»

Но тут поспевал не очень интеллигентный Лопарев и тоже схватывался с шефом.

Программы исследований его не устраивали, план работы на день он оспаривал, с маршрутом, который назначил начальник, не соглашался. И Вершинин-старший говорил мысленно, а иногда и вслух, возражая Лопареву: «Пустяки все! Практицизм! Ползучий эмпиризм! Этакая приземленность!»

В другое время, при других обстоятельствах Вершинину-старшему казалось бы, наверное, что расхождений у него и с Рязанцевым, и с Лопаревым не так уж много. Скажем, если бы в отряде не было Андрея.

Андрей не болтлив, разговаривает и с Рязанцевым и с Лопаревым тоже немного, но между ними — неизменное понимание. То самое понимание, которого Вершинину-старшему так не хватает.

В последнее время Андрей все ближе становится с Лопаревым. Это ясно. Должно быть, они сходятся во мнениях о том, кто и для чего нужен на этом свете. Они обо всех это понимают. Не понимают только, для чего нужен Вершинин-старший, начальник экспедиции.

Попробуй что-нибудь сказать о Лопареве — у Андрея сразу на лице выражение, которое можно истолковать только в оскорбительном смысле: «А посмотри сначала на себя!», «Что ты, батя, баба, что ли, сплетни-

чать!», «Сам все знаю, без тебя!», «Помолчи-ка лучше, я делом занят!» И так далее, без конца.

Вершинин-старший никогда не обладал особой проникательностью по отношению к людям, но иногда это случалось с ним. Краеведов в городке Н. он с первого же знакомства понял очень хорошо. Теперь он понимал тех, кто стоял между ним и Андреем. Кажется, так: он понимал тех, кто ему был очень нужен, и еще тех, кому он сам был совершенно не нужен. Свою собственную дочь Вегу, например.

Лопарева он очень хотел понять, пошел на уступки, пожертвовал самолюбием, достоинством и примирительно первый заговорил сегодня с ним...

А что из этого вышло? Что вышло, спрашивается?

Вершинин вздрогнул от негодования. Нет, не простит он нынешнего разговора Лопареву. Никогда! И сказал вслух, ударив палкой по скале, около которой стоял так долго и неподвижно:

— Черта с два защитит диссертацию башибузук!

Подумал, что ведь, в сущности, они с Лопаревым единомышленники: один когда-то страстно желал, а другой сейчас желает служить науке так, чтобы уже сегодня служить людям. У обоих — одно благородное желание.

Вспомнил, что он и сам в молодости так же, а может быть, еще сильнее, ранил своих учителей. Спросил себя: «Почему это жизнь человека делится между большими устремлениями и мелкими страстишками и обидами? У всех так?»

Может быть, Лопарев и вовсе напрасно упрекает его в том, будто бы он слишком часто заглядывает в будущее? На самом деле он заслуживал упрека как раз в обратном: что будущее представляет себе неясно, мало его видит, мало его видеть пытается, только говорит о нем.

Все равно — черта с два!

Наконец, он, Вершинин, попросту не должен бояться ничьих насмешек! Ни в коем случае! Было у него одно далекое воспоминание, оно говорило ему — не должен!

Нередко приравнивал себя Вершинин к незнакомому человеку, который встретился ему однажды.

Когда-то бородатый человек с красной повязкой вокруг папахи схватил его, мальчишку, посадил к себе на теплые колени и сначала сказал, что у него дома, в деревне, растет точь-в-точь такой же «шустряк», а потом

объяснил, что не позже весны, когда скворцы вернутся с теплого края, на земле не останется ни одной гниды, ни одной ворюги, ни одного эксплуататора и еще — ни одного несчастного человека. Отчетливо помнил Вершинин-старший и тепло колен, и табачный запах бороды, и даже свое собственное смущение — он уже не маленький был мальчишка, двенадцать лет — вовсе не тот возраст, когда люди сидят у кого-нибудь на коленях...

Позже Вершинин не однажды видел этого человека с красной повязкой, в потрепанной шинели. В «Человеке с ружьем», в «Любови Яровой», и еще, и еще.

Так вот — никогда над этим человеком, над его мечтой нельзя было смеяться. А Вершинин-старший умел провести между этим человеком и самим собою знак какого-то равенства и убедиться при этом, что и над ним тоже смеяться нельзя. Нельзя, и поэтому насмешки, подобные насмешкам Лопарева, не должны его задевать. Совершенно не должны. Он выше таких насмешек. Но тут Вершинин не устоял, не удержался. Не удержался и снова сказал:

— Черта с два!

Подумал: не вселился ли в него какой-то сожигатель, который к науке не имел никакого отношения, зато во всем, что составляло собственное «я» профессора, доктора Вершинина, вдруг становился первым и даже единственным лицом?

Спросил себя: ведь должно же когда-нибудь с ним, с профессором Вершининым, случиться что-нибудь такое, что заставит его простить Лопарева, подняться выше обиды, которую Лопарев ему нанес?

Случится же такое событие? Придет какая-нибудь удача, от которой он подбодрет, станет возвышеннее? Такое счастье?

Он верил, что случится, придет.

А если придет когда-нибудь, почему бы уже сегодня ему не простить Лопарева?

Но тут же повторил:

— Ч-черта с два защитит башибузук!

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Косуля шла над ущельем, в сизой глубине которого время от времени вспыхивали белые искры порожистого ручья.

Она шла очень тихо, в ней было столько спокойствия, сколько его может быть в истинной и живой красоте, в живом изяществе и грации... Шла по узкой извилистой тропинке, заметной среди пестрых камней, подсохшей травы и лишайников только потому, что кто-то шел по ней.

Косуля слушала всплески ручья, доносившиеся из глубины ущелья, слушала все, что сейчас молчало, но могло бы вдруг зазвучать: чей-то замерший вздох, чей-то притаившийся шорох, легкое шипение какого-то камня, который только еще нагревался под солнцем, чтобы едва слышно затрещать, словно что-то живое...

Но как будто все кругом, кроме одного только ручья, замолкло, ощущая на себе этот непостижимо чуткий слух; и настороженные ушки, даже внутри освещенные солнцем, с бесцветными волосками, тянувшимися наружу, не могли уловить ничего и сначала недоумевали перед этой тишиной, а потом чуть наклонились, и косуля стала прислушиваться к шороху собственных копытцев.

Цок-цок-цок! — прикасались копытца к россыпи камней, и ушки ее вздрагивали: раз-раз-раз! Еще несколько шагов, и — пха-пха-пха! — ступала косуля на засохшую, жесткую траву, а чуть наклонившись вперед, ушки снова вздрагивали, но теперь уже по-другому; теперь они угадывали, куда копытца ступят следующим шагом — на камни, на траву или в мох, их все больше одолевало любопытство, и они склонялись к самой головке, как бы заглядывая вперед...

В карих глазах косули светились маленькие солнца, и еще целый рой крохотных звездочек сверкал в них; она глядела этими сверкающими глазами и прямо перед собой и в какие-то дали и несла свою маленькую головку чуть набок, чтобы скалы, вздымавшиеся над нею, до самых вершин отражались в зрачках, чтобы видеть на всю глубину ущелья...

Один раз косуля остановилась, и приподнятая передняя ножка в белоснежном чулке, согнутая в колене и еще раз — около самого копытца, изобразила перевернутый вопросительный знак.

Уже и воздух расступился перед этой ножкой, и пестрый камешек, лежавший прямо под нею, готов был отозваться на прикосновение раздвоенного копытца, но прикосновения все не было, не было звука, и косуля застыла в удивлении: где же он, этот звук?

Потом вопросительный знак мгновенно распрямился, пестрый камешек тотчас отозвался — нетерпеливо и ясно, а косуля снова пошла вперед, продолжая открывать невидимую тропу среди камней, трав и мха...

Вошла в негустую тень какой-то вершины, и в этой синеватой тени двигалась теперь будто не она сама, а только ее силуэт, ее рисунок.

Задние ноги у косули были на рисунке чуть длиннее передних, линия спины наклонена вперед, а шея и голова, закинутые назад, как бы сопротивлялись отталкивающим движениям задних ног, косуля шла словно в раздумье: а нужно ли сопротивляться? Не оторваться ли со следующим шагом от камней и скал? От земли? К небу и к солнцу? Наверное, она была взрослой, эта косуля, но какую-то ее детскость особенно подчеркивали крохотные рожки, хотя они же совершенно вовремя строго завершали весь силуэт в высоту.

Потом косуля вышла из тени и сразу вся окунулась в солнечный свет, шерстка заискрилась на ней, а мышцы на ногах, на груди и на шее вдруг проступили с такой четкостью, как будто она была теперь в шелковом узорном трико, трико это засверкало от яркого света, будто от влаги, натянулось и без единой складки, без морщинки обтягивало ее.

Ей встретился камень — она перепрыгнула через него без толчка, без усилия, снова как будто заботясь о том, чтобы нечаянно не улететь куда-то ввысь, не оторваться от земли.

На другой камень — черный, глянцевитый, с неровными очертаниями — она встала передними ногами и замерла на мгновение, словно позируя перед солнцем и всем окружающим ее миром.

Еще долго-долго был виден на тропе белый пушистый, почти круглый хвостик, не то шутливый, не то очень серьезный, и белые же пятнышки вокруг него.

Ушла так же спокойно, грациозно, как и появилась.

Ушла, чутко вглядываясь в темное ущелье, в вершины скал, в светлое небо, но так и не заметив, что за всеми движениями ее, за каждым шагом следил человек.

Этим человеком была Рита.

Лагерь экспедиции стоял теперь в верховьях ручья Туярык, каждый день Рита поднималась в скалы и молча, неподвижно сидела в расщелине между двумя камнями, в чуть сыроватом сумраке, который сперва осторожно прикасался к ее разгоряченному лицу, рукам

и ногам, потом успокаивал громко стучавшее после крутого подъема сердце, а потом как будто бы заполнял ее всю, всю растворял. Не чувствуя больше себя, Рита глядела и глядела на осенние горы, совсем не думая о том, что открывалось ее взгляду, подолгу ни о чем не думая и только вздрагивая, когда к ней приходили мысли — трудные мысли.

Были первые дни августа.

Еще так недавно всеобщая осенняя грусть ей, Рите Плонской, не доставляла ничего, кроме ощущения полноты своих чувств, которые становились особенно отчетливыми и сильными потому, что вокруг нее умирало что-то, что-то уходило раз и навсегда из этого мира, она же в нем оставалась как будто тоже раз и навсегда.

Никогда прежде Рита не спрашивала себя, отчего это какому-то существу вдруг не стало места на земле, и только ощущала, как все, что умирает, умирает ради той жизни, к которой она, Рита Плонская, принадлежит.

Она по себе судила об этом; оставаясь жить, все сильнее и сильнее чувствовала свое право на жизнь, свое превосходство над всем тем, что уходило.

Ей легко было так думать, приятно было не жалеть уходящее, потому что оно всегда оставалось для нее почти незримым. Уходило что-то и делало это так тихо, так ласково, так незаметно, чтобы ничуть не потревожить ее, не задеть, не остаться в ее памяти, не причинить ей никакой боли, не задавать ей никаких вопросов...

И никогда прежде Рита не подозревала, что человек может жить или не жить в зависимости от того, понял он что-то вокруг себя или не понял, ответил сам себе на какой-то вопрос или не ответил. Никогда не подозревала...

Появление косули заставило ее выйти из расщелины, внимательно взглянуться в едва заметную тропинку, на которой кое-где отпечатаны были следы копытец.

Вдруг она почувствовала необходимость вспомнить, когда и где она сама двигалась так же, как эта косуля, — с трудом сдерживая себя, чтобы нечаянно не оторваться от земли, не улететь ввысь, вдаль...

На берегу Черного моря это было.

В купальном костюме она входила в воду, и, хотя многолюдно было кругом и море плескалось и ворчало

по старой своей привычке плескаться и ворчать, ей тогда казалось, что тишина стоит кругом немая.

По солнечному песку, закинув руки за голову, она медленно-медленно, то и дело перешагивая через тела людей, разбросанных на пляже, приближалась к морю. Целую жизнь она шла здесь — между палаточным навесом и вздрагивающим теплым морем, а в море, как только она вступала в него, начиналось уже что-то другое: погрузившись в него, она все еще видела всех, но все теперь не видели ее, не любовались ею, не замирали больше в удивлении...

«Это ужасно! — подумала она теперь, тихо двигаясь над ущельем, и встала у самого его края. — Конечно, я какой-то ужасный экземпляр рода человеческого, если нахожу в себе сходство с животным! Пусть это животное — самое прекрасное, пусть та косуля, что прошла передо мной, самая красивая из всех, сколько их существует на свете, но все равно — разве это не ужасно?»

Она пошарила по карманам вязаной кофточки, но зеркальца не нашла. Тогда, остановившись над пропастью, она стала рассматривать себя: она ясно себя видела в разном возрасте, в разных платьях, с разными прическами — это было даже лучше, чем глядеться в зеркало.

Она видела себя разной, но ни в одной не находила того, что должна была найти, ни одна Рита ее не успокаивала.

Совсем недавно она спешила к Левушке, бежала к нему по крутой тропе и, когда на рассвете, с рюкзаком за плечами, вся в холодной росе, увидела его, — поверила, что спасена, что человек этот ее поймет, простит. Даже раз и навсегда забудет, что простил когда-то.

И он действительно простил, а когда уже было такое чувство, что она снова может жить, мечтать и верить в свои мечты, он сказал, наклонившись над нею глаза к глазам:

— Все прощаю! Свои муки. Бесконечное ожидание тебя. Даже Андрея. Его ненавижу, а тебе — даже его прощаю!

Он сказал еще: «милая!» и «мое счастье!», а она ударила его по лицу. Ждала, что он ее растерзает или проклянет, ждала, что он вселит в нее страх, испуг, какого она никогда в жизни не переживала.

А он заплакал...

Все, все одинаковы! Нельзя никого любить и страстно ненавидеть нельзя! И себя тоже нельзя любить без конца. Кого же тогда? Кого-то ведь нужно любить? Хотя бы себя? Но до каких пор?

Покуда люди смотрели на нее издали, притаясь, так же, как она сама только что смотрела на косулю, ею любовались...

Но вблизи...

Что нашел в ней Лева Реутский? Нашел что-то обидное, нашел низкое...

Андрей ничего не нашел, а если — что-нибудь, значит, такое, что оттолкнуло его от нее... А что нашла Онежка? Свою гибель?

Напрасно Рита сравнивала себя с косулей, совсем напрасно!

Косулей сколько ни любоваться — она будет все прекраснее и прекраснее. На нее, на Риту, нельзя смотреть долго и внимательно, нельзя узнавать ее без содрогания...

Она еще и еще стала искать зеркальце по всем карманам.

Нашла. В маленьком нагрудном кармашке оно было. Посмотрелась.

Посмотрелась и тут же бросила его вниз, в пропасть, — темный, почти черный луч пронизал сизоватую глубину ущелья.

— Вот так, — сказала она вслух, — вот так нужно кончить, пока ты не возненавидела себя больше, чем тебя ненавидят другие. Другие люди... Пока еще ты не разглядела себя до конца...

И она, выпрямившись, снова поглядела вниз, в пропасть, а потом с силой надавила ногами на тропу, чтобы в каменистой крошке отпечатались следы каблуков.

Отошла в сторону и посмотрела: два небольших отпечатка были около самого обрыва, ступня не вмещалась на узкой полосе между этими углублениями и почти прозрачной, чуть колеблющейся глубиной ущелья.

Она встала на тропинку и еще раз надавила каблуками, еще раз отошла — два других углубления были еще ближе к пропасти...

Нагнулась, ладонью заровняла первые свои следы, а эти две крохотные ямки оставила...

— Ну вот, — сказала кому-то, — а теперь, если я такая скверная, сделаю скверно еще раз! — И пошла в лагерь.

Она пошла в лагерь за обидой. Ей нужна была еще хотя бы совсем небольшая обида.

Ей хотелось, чтобы в лагере ее кто-нибудь обязательно обидел и обязательно по пустяку. После — пусть обидчик думает что хочет, пусть мучается, переживает и догадывается, не он ли виноват во всем том, что затем случится?

Она знала, что в лагере должно быть собрание, знала, что опаздывает, и надеялась, что кто-нибудь упрекнет ее за опоздание, вернее всего, это сделает Лопарев или Вершинин-старший... Она возразит, а ее упреknут снова, сразу в несколько голосов, и никто не догадается, что она только за этим и пришла к ним — за упреками.

Вблизи лагеря Рита увидела лошадей. Их было три, они все, опустив головы, дружно и торопливо подбирали губами невысокую травку и поглядывали на нее: не мешает ли она им и дальше заниматься этим делом?

Зачем понадобились в лагере лошади? Ей показалось — какие-то перемены произошли здесь без нее.

Вершинин-старший вел собрание, он замолк на минуту, увидев Риту, подождал, покуда она усаживалась на чей-то плащ и облокотилась спиной на палаточный колышек, хотя каждому было известно, что облокачиваться на эти колышки нельзя.

— У нас собрание, Рита, — сказал Вершинин-старший. — Слушай внимательно.

«Я кстати вернулась, — подумала она. — Если собрание — значит, меня проработают, а если проработают — так завтра же пожалеют. Очень кстати, очень кстати...»

Она не сердилась на этих людей, у нее не было чувства негодования к ним или презрения — никакого чувства. Просто ей нужно было, чтобы ее поскорее обидели.

Рита стала слушать. И даже внимательно слушать.

Удивилась: Вершинин говорил о «Карте растительных ресурсов Горного Алтая», что работа над ней требует еще нескольких сезонов. Два, а может быть, даже и три.

Никогда Рита не вникала в споры, которые вели Вершинин-старший, Лопарев и Рязанцев, но все-таки она знала, что Вершинин хотел закончить работы как можно скорее, уже в нынешнем сезоне, Лопарев же говорил, будто «скороспелка» нужна только для отчета. Они из-за этого уже не раз спорили.

Снова прислушалась и снова удивилась: Вершинин обещал «организовать для экспедиции вертолет», утверждал, что нужны конные маршруты. Но ведь это же Лопарев всегда иронизировал, что без таких маршрутов экспедиция создает труд под названием «Растительные ресурсы по обочинам Чуйского тракта»!

Что-то случилось с Вершининым-старшим, и, должно быть, все это заметили.

Лопарев сидел угрюмый, но спокойный и ни разу не перебил шефа.

Андрей же стал поглядывать на Риту сдержанно, но как-то упрямо.

Реутский был обеспокоен, волновался, и Рита подумала — это при ее появлении он вдруг начал так волноваться.

А может быть, все это происходит потому, что в отряде появился новый человек?

С правой стороны от Рязанцева сидела женщина. Она могла быть Свиридовой Полиной Матвеевной... Больше никем.

Еще в самом начале экспедиции Вершинин-старший собирался отправить Риту в луговой отряд, но Реутский каким-то образом его убедил не делать этого. И если бы Лопарев только на несколько минут позже вынес Онежку из леса, Рита уехала бы тогда в лагерь Свиридовой. Теперь она смотрела на эту женщину как на какую-то свою, хотя и несостоявшуюся, судьбу.

Свиридовой было лет тридцать шесть — об этом можно было догадаться по глазам, по ее задумчивому, даже усталому выражению лица; вся же ее фигура, небольшие руки, которые тихонечко играли с невысокими стебельками травы, ее тонкая талия, загар на розоватых щеках и носу, — все было изящным и каким-то девическим.

Она была не из красивых, ничто не останавливало на себе взгляда — ни глаза, ни овал ее лица, с чуть приплюснутым подбородком и с аккуратным, с двумя резкими морщинками лбом, ни слегка пушистые волосы, но все это вместе, вся она была из тех женщин, которые как будто между прочим бросают вызов самой яркой красоте.

Такие женщины всегда вызывали в Рите чувство недоумения, может быть, даже неприязни, и даже какое-то оскорбление они наносили ей, и сейчас Рита принялась разглядывать ее, ничуть не таясь.

Андрей же все смотрел на Риту так серьезно и так внимательно, что она на мгновение тоже посмотрела на него и ответила ему мысленно: «Что, Челкаш, догадываешься? Все равно не догадаешься, не пытайся. Завтра узнают все, а сегодня — никто!» Потом она заметила на нем сапоги, и вдруг ей захотелось спросить у Свиридовой: «Вот с этого лопухого угрюмого мальчишки я с чувством необыкновенного счастья сапоги стаскивала... Во дворе лесниковой избышки... А потом еще прибежала к нему, встала перед ним на колени и поцеловала его! А ты можешь ли сделать так же? Вдруг? Неизвестно почему?» Немного спустя погладила каблуки своих поношенных ботинок, и перед глазами возникли две небольшие ямки на каменистой крошке... «А можешь ли ты сделать то, что сделаю завтра я? — Усмехнулась. — Нет, не можешь!»

После Вершинина заговорил вдруг Лопарев, и заговорил спокойно, без обычного злословия, только с прежней своей угрюмостью. Он, кажется, сам был удивлен своим спокойствием и прислушивался к названиям гор, рек и ручьев, по которым предлагал совершить конные маршруты.

Рита следила за тем, как внимательно слушает Свиридова.

Вслед за Лопаревым обязательно должен был сказать что-то Реутский, и он действительно заговорил, торопливо поднявшись с земли, одной рукой поглаживая бородку, другой держась за ремень полевой сумки.

Лишь только он сказал: «Позвольте!», по лицу Свиридовой пробежала легкая и быстрая улыбка.

Лева же вдруг сделал резкие замечания по поводу «Карты растительных ресурсов» и ошеломил этим всех, особенно Вершинина-старшего, но было видно — он заговорил вовсе не ради «Карты». Он должен был сказать какие-то слова, которые коснутся Риты. Что же это будет? Может ли он сейчас ее чем-нибудь задеть? Рита ждала и вспоминала, как она ударила его... Если бы он не отпрянул прочь, она ударила бы его еще раз и еще... А если бы и после этого он ее не оставил, ну что же, ей уже стало бы все равно... что жить, что умереть... Как жить, как умереть — совершенно все равно. Но он и безразличия ее не понял, заплакал. Если бы сейчас ему объяснить все это, он, верно, от обиды заплакал бы снова. Это Лева может — заплакать. При всех. А понять ее не может. И никогда не мог. Даже в то утро, когда,

вернувшись в лагерь, она сама бросилась к нему в объятия — и тогда он ее не понял.

— К сожалению,— сказал Реутский и помолчал,— к очень большому сожалению, я... да!.. я должен покинуть экспедицию. Вероятно, завтра же... Я должен был сделать это давно, потому что давно получил извещение из университета. Но события, да, события в нашей экспедиции заставили меня задержаться до сих пор...

Уж не из-за нее ли Лева во всеуслышание объявил о своем отъезде? Может быть, хочет ее удивить? Разжалобить? Какой же глупый! Какой глупый!

— Будучи заместителем декана,— продолжал Реутский,— я считаю, что пора вернуться в университет и студентке Плонской... Да, как заместитель...

— Не имею права возражать...— сказал Вершинин, ему трудно было ради вежливости что-то добавить, ему давно уже хотелось, чтобы Риты не было в лагере, но тем не менее он сказал еще:— Это дело ваше — решать!

«А вдруг он все-таки хороший?» — успела подумать Рита о Вершинине-старшем и сказала:

— Нет! Я не поеду! Я остаюсь! Наверно, все хотят, чтобы я осталась,— да?! Вот я и останусь!— Почувствовала, что какого-то вызова, какого-то раздражения не хватало в ее словах... Она посмотрела на всех по очереди внимательно-внимательно и вдруг подумала: «Все вместе они, кажется, лучше...— Еще подумала и еще подтвердила:— Все вместе — они лучше!»

После собрания к ней подошел Андрей:

— Пойдем-ка...

Отошли в сторону. Сквозь вечерний сумрак и не растаявшую еще тень пожелтевшего деревца на нее смотрели небольшие пристальные глаза.

Рита вспомнила, как Лопарев говорил с нею недавно — схватив ее за руку, сжал, но не мог сделать ей больно... Все они одинаковы, все хватают за руку, а ей не больно!

Но тут же вскрикнула: «Ай!»,— так сильно сжал ее пальцы Андрей.

Потом он сказал:

— Дошло? Не то еще будет...

Она негромко грустно засмеялась:

— За баловство? Да? Ах, Челкаш, Челкаш! Разве мне до баловства? Ничего-то никто не понимает. Ты тоже...

— Зачем сегодня торчала на скале?

- Ты видел? Был?
- Мое дело... Твое отвечать: зачем?
- Что ты хочешь от меня? Чтобы я разревелась?

Да?

— Хочешь уезжать — уезжай вместе с бородкой! Но штучки брось!

— Разве это штучки?

— Ничего больше.

— Скажи, а что будет, если я уеду? Ты знаешь?

— Конечно...

— Неужели?!

— Чего же тут не знать? — Он пожал плечами.

— Что же?

— Будешь такая, как этот лев — Реутский...

— Почему это?

— Женщина всегда будет такой, какой ее хочет видеть мужчина. Смелой так смелой. Красивой так красивой. Тряпкой так тряпкой.

Ее оставили, кажется, все чувства, кроме удивления.

— Челкаш?! Мальчишка! Откуда тебе известно? Откуда знаешь?

— Не знаю, откуда знаю.

— Может быть, ты и еще о многом догадываешься?

— Может быть... — согласился он. — Не могу только догадаться: нужно мне тебя караулить на скале завтра или не нужно? Смотри у меня!

Он нагнулся и сорвал какую-то травку, очень внимательно разглядел ее, держа около самого носа, потому что сумрак становился все гуще, а когда бросил, Рита все еще стояла неподвижно и не спуская с него глаз... Она так и не ответила ему, а снова спросила:

— Скажи, ты хотел бы видеть меня хорошей? Очень хорошей? И очень доброй? Хотел бы?

— Конечно. Как же иначе?

— А для кого это нужно?

— Для тебя... — Он все так же серьезно и строго глядел на нее из-под рваной шляпы. — И для меня...

Какое-то недоумение появилось у него во взгляде, как в тот раз, когда в избушке лесника она нагнулась над ним и приподняла его с пола... Может быть, сейчас ей только так показалось — темно уже было, легко ошибиться в темноте.

— Это... правда?

А наверно, ей не нужно было спрашивать... Наверное, не нужно... Молча Андрей повернулся и пошел к лагерю, она — за ним. Около палаток замедлил шаг, пригрозил:

— Так вот смотри, за баловство... Понятно?

Долго-долго она не могла заснуть, лежала в палатке, а к ней доносился приглушенный разговор, который вели у костра Рязанцев и Свиридова.

Всякий раз после паузы Свиридова начинала первой и всякий раз с одних и тех же слов: «А знаешь ли, Ника...» Немного погодя снова: «А знаешь ли, Ника...»

Рите же казалось, будто этот голос заглушает другой: «...за баловство... Понятно?» И снова: «за баловство... Понятно?»

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

Вершинин-старший проснулся часа в два ночи и тотчас стал вспоминать день 15 августа 1939 года. Как это было.

День тогда был ясным, солнечным, солнце одинаково щедро ласкало родильный дом и военный госпиталь. На улице, на блестящих лезвиях рельсов, стоял поезд из моторного трамвайного вагона и нескольких платформ, с этих платформ санитары сгружали раненых. Раненые были из Монголии, с Халхин-Гола.

В приемной же родильного дома неподвижно сидели несколько посетителей, пахло аптекой, а сквозь стеклянные двери, занавешенные белым, доносились непрерывающиеся, ровные голоса младенцев... Как будто они все, едва родившись, принялись за свое земное дело, а этим делом был для них назойливый и громкий плач.

В распахнутое окно приемной, казалось, была вставлена картина с изображением ярко-красного трамвайного вагона, серых платформ, ярких простынь и бледных мужских лиц, сосредоточенно вглядывавшихся в голубое, почти безоблачное небо.

Пришла няня, взяла у Вершинина цветы, и, пока он с няней говорил, на картине произошли изменения: у платформ появились санитары в поварских колпаках и с носилками... Они старались и никак не могли открыть борта платформ, суетились и не знали, куда девать носилки, и вообще выглядели смешно и ненужно.

Когда няня вернулась и Вершинин прочел записку

от жены о том, что все хорошо, что сын весит три килограмма четыреста пятьдесят граммов, санитары, вытянувшись цепочкой, снова деловитые и строгие, несли раненых, поднимаясь по ступеням госпиталя.

Через стеклянную дверь, откинув марлевою занавеску, няня показала Вершинину сына...

Цезарь оказался необыкновенно смуглым. Он тоже очень деловито плакал, закрыв глаза и старательно разевая ротик. Будто был обижен, что ротик очень мал для него.

Выйдя на улицу, Вершинин увидел, как трамвай толкнул пустые платформы, потом весь состав стал заворачивать за угол, заблестели на солнце рельсы, а по ступеням госпиталя санитары подняли последнего раненого, улыбавшегося растерянно и виновато, будто извиняясь за что-то перед людьми.

«Должно быть,— подумал Вершинин,— тяжелораненых госпитализируют где-то ближе к району военных действий, а эти скоро все встанут на ноги, и никто из них не умрет...» И он пошел вслед за трамваем, который звенел уже где-то далеко впереди... «Ну вот,— размышлял он, прислушиваясь к этому звону,— смуглое существо — это мой сын. Довольно странно. И даже очень странно. Вот уже третий ребенок, а все не могу привыкнуть к тому, какими они рождаются! Кажется, и ученые тоже до сих пор не знают, что служит причиной завершения утробной жизни человека и началом родов? Знают только, что одно должно кончиться, а другое начаться...»

Вслед за этим он перестал думать, не думал больше ни о жене, ни о сыне, ни о войне, которая вдруг дохнула ему прямо в лицо, а весь поддался ощущению, возникшему в нем оттого, что на земле родился человек, что этот человек — его сын, что в какой-то сущности своей он сам вдруг изменился, потому что теперь он будет продолжен, а может быть, прерван не только своей собственной жизнью или смертью, но еще жизнью или смертью другого человека...

Не скоро еще что-то житейское прикоснулось к тому ощущению жизни, в которое он был погружен, а когда это произошло, он поспешно, даже как-то лихорадочно стал мечтать о том, каким путешественником, каким ученым будет его младший сын, как будет он любить своего отца...

Ну вот и прошел с того дня двадцать один год. Все дети выросли — и Орион, и Вега, и Цезарь стал Андреем... Всех миновала война. Все здоровы. Ни у кого не изломалась судьба... Чего бы, кажется, еще желать отцу?

Сегодня, когда Андрей проснулся, Вершинин-старший сделал вид, будто спит. Андрей выскочил из палатки и в трусах, в сапогах на босу ногу помчался по тропе. Это была у него утренняя пробежка. Потом с полотенцем через плечо — к ручью. А иней лежал кругом, холодно было.

На ручье к Андрею присоединились Лопарев и Рязанцев, они о чем-то поговорили тихо и серьезно. Серьезность была смешной, потому что они то и дело подпрыгивали и взмахивали руками и ногами, чтоб окончательно не замерзнуть. И грустной она, кажется, была: все трое они ведь тоже не могли не вспомнить об Онежке.

Андрей вернулся в палатку; он был весь красный и на груди, на животе, на спине то и дело шевелил мускулами — замерз-таки. Трудно было поверить, что это тот самый Цезарь, которого няня показала ему сквозь стеклянную дверь. К тому же Цезарь смуглым был, а этот совсем светлый.

Вершинин-старший открыл глаза, потянулся.

— Собираешься?

— Собираемся...

— Не забыл — тебе сегодня двадцать один? Ровно?

— Не забыл.

— Поздравляю.

— Спасибо, отец. Будь и ты здоров!

— Поедете через Карым, — заверни на почту. Обязательно. Тебе будут поздравления от матери, и я жду корреспонденцию. Рассчитайте, чтобы на почту попасть в рабочие часы.

— Само собой...

Вершинину казалось, что Андрей стал нынче внимательнее к нему, стал не таким суровым. Заметил, шилишпер, все, что произошло вчера на собрании. Понял: нелегко было отцу объявить во всеуслышание о своем намерении работать над «Картой растительных ресурсов» еще два сезона, может быть, даже три. В самом деле — каково это было сказать, если институт уже запланировал окончание «Карты» в текущем году, если он сам горячо обещал ее нынче закончить?

Что-то, должно быть, произошло с Вершининым... Постарел вдруг? Подобрел? Почестнел сам перед собой? В самом себе узнал что-то глубже?

Без конца могло быть этих «что-то». Без конца — когда ты приближаешься к шестидесяти, когда какая-то сторона твоего характера, какое-то событие твоей жизни, какие-то, будто уже и забытые, взгляды на жизнь, на людей могут снова воскреснуть в тебе...

Что произошло — сказать трудно. Из-за чего произошло — вот это Вершинин знал, это он мог объяснить. Всею виной была Онежка — при жизни такая незаметная девчужка...

Перекинувшись еще несколькими словами с отцом, Андрей побежал седлать светло-гнедого... Приторочил к английскому седлу спальный мешок, кожаные тороки, а на седло кинул дождевик: правильно сделал — это не прогулочный вояж, чтобы красоваться новеньким седлом. Попробовал подпругу, оглядел коня со всех сторон и — раз! — в седле.

Вершинин-старший вышел из палатки.

— Уже трогаетесь?

— Уже.

Светло-гнедой — с сильной грудью, на груди, на шее и на голове выпуклые жилы, но бабки очень тонкие, как у степняка.

— Посмотрели ковку? Ладно ли? — спросил Вершинин.

— Лошади хороши, — отозвался Михмих. — Да только в колхозе хозяева — зимние подковы в июле сменили!

Михмих тоже был уже верхом на буланой кобылке, а Рязанцев что-то еще суетился около своего белоглазого, с острой мордочкой конька.

Вершинин-старший когда-то, в молодые годы, немало поездивший в экспедициях верхом, вспомнил почти уже забытую науку.

— У твоей, Михаил Михайлович, заднее правое копыто белое. Не слабое ли будет?

Лопарев, кажется, заметил это дружелюбное «у твоей», ответил на своем обычном жаргоне, но как-то ласково:

— Там не копыто — железобетон! Да и ездить-то нам всего дня три. Может, четыре.

Вершинин знал, что значит это «может, четыре», а Михмих, помолчав, и в самом деле пояснил:

- В лесхоз надо будет заехать...
- Обязательно в этот самый лесхоз?
- Обязательно!

Пусть заезжает, если без этого никак не может! Вершинин спорить не стал. «Надо! Обязательно!» Но можно ведь и сказать, зачем надо, почему обязательно, а тогда окажется, что и не надо и не обязательно.

А ведь так и не мог Вершинин-старший простить Лопарева! И ласков был с ним, и покладист. Старался, а не мог!

Тронулись...

- Будь здоров, Андрюха!

Вершинин-старший тоже пошел к ручью, но остановился. Почувствовал, как плохо стал видеть вдруг: все затянулось туманом — тропа, ручей, небо, горы и солнце, поднявшееся уже над горами... Не сразу понял, что случилось, пошарил по карманам брюк, носового платка не нашел, тогда кистью руки, как это делают маленькие дети, вытер глаза.

Уже невозможно больше убеждать себя, будто все еще почему-то не готов для разговора с сыном. Если до сих пор у него не находилось ни сил, ни возможностей, ни слов, вряд ли он все это найдет еще позже, когда еще больше постареет.

«А вдруг умрешь, так и не успев переговорить с Андрюхой? Или начнешь разговор при смерти, и Андрюха вынужден будет понять тебя не потому, что он захочет это сделать, не потому, что это ему нужно, а просто потому, что отец умирает?.. Нельзя такого допустить! Ни за что!»

...Бывает, жизнь вдруг зажмет человека со всех сторон, поступая с ним так, как ей взбредет на ум. При этом ум, оказывается, у нее невелик.

Многих она делает тогда безразличными, тоскливыми, а Вершинин, когда чувствует, что не он руководит своей жизнью, а она им, не он делает какое-то дело, а дело бесцельно гоняет его взад-вперед, — как раз в эти дни и часы начинает громко говорить, много обещать и вытирать капли пота с лица. Вот тут-то Вершинина-старшего и охватывает необыкновенный страх: что, если эта самая жизнь так и не позволит ему понять своего сына? А главное — сыну понять своего отца?

Но страха этого никто не замечал в нем, наоборот — люди, поддаваясь его нервозности, склонны были называть ее «рабочим накалом» и «высоким напряжением».

Только Андрей никогда не обманывался. И только он один мог остановить отца на полуслове, на полусагае, молча, внимательно и строго.

В эти моменты Вершинин говорил себе, что ради сына он готов на все: даже исчезнуть с лица земли, но исчезнуть, сначала пережив счастье дружбы с Андреем.

Нынче возникла у Вершинина-старшего непоколебимая уверенность: вернется Андрюха с маршрута — и во всем, во всем они поймут друг друга, обо всем найдут сказать друг другу что-то такое, что не будет их разъединять, зато соединять будет. Через четыре дня. Еще четыре, ну, может быть, пять дней проживет он прежней жизнью. Потом начнется новая.

Новая жизнь должна будет исключить между ними Риту. Будет обязана.

Что произошло между Ритой и Андрюхой в маршруте, Вершинин-старший до сих пор так и не знал. Не знал, верить или не верить Реутскому. Не зная, все-таки верил, а тогда чувствовал, как эта девчонка оттесняет от него сына.

Иногда не верил. Ни капельки.

Когда же Реутский объявил о своем отъезде и Риту тоже уговаривал уехать с ним, Вершинин перестал ему верить совсем.

Но все-таки? Вдруг?

Было так приятно, когда ему казалось, будто все опасности миновали, что теперь никто уже не сможет отнять у него сына, не сможет Андрея увести куда-то прочь от него. Никто...

Но Рита нынче не вышла из палатки проводить Андрея. В последние дни совершенно ничего не было заметно в отношениях между ними. Никаких отношений.

И Вершинин-старший успокоился... Еще раз поглядел всадникам вслед, увидел, будто Андрей обернулся в седле, улыбнулся и помахал ему рукой... Показалось или нет?

На этот раз Вершинину-старшему не показалось — Андрей, уезжая, поглядывал через плечо на отца и думал: «Растрогался батя... День рождения его растрогал. Как же — взрослый сын». А день и в самом деле необыкновенный. Отец не знает, что как раз из-за этого дня Андрей нынче и поехал с ним в экспедицию... Ничего отец не знает, и если подойти к нему сейчас и затеять разговор, так с его стороны, как всегда, последуют нотации взрослому сыну: «Мы в ваши годы...»

Прекрасно знал Андрей, каким отец был в свое время — двенадцати, пятнадцати, семнадцати, двадцати и тридцати лет...

Он переживал войну, устанавливал Советскую власть, решал проблемы Кузбасса, Барабы, Турксиба, жил впроголодь, не носил галстуков, пел только революционные песни, не знал фокстротов.

И нечего Андрея в этом убеждать — так оно и было, лишние доказательства очевидного никогда не приносят проку.

Но для чего он все это делал, отец? Чтобы его дети не воевали, чтобы они не голодали, чтобы, кому из них нравится, могли бы носить галстуки, танцевать и слушать магнитофон. Андрею вот и до сих пор галстуки не нравятся, он их не носит. Наконец, чтобы дети выбрали профессию, которая им по душе.

Дело в другом. В том, что, если понадобится, Андрей пойдет воевать, будет бороться за Советскую власть и жить впроголодь. А если не понадобится, отдаст силы биологии. Той части биологии, которая смыкается с географией. Непонятно?

Непонятно отцу. Отец ему многое дал: жизнь, знания, закалку в экспедициях. Наверное, дал для того, чтобы сын был человеком самостоятельным. Но теперь он вдруг начинает обижаться на самостоятельность Андрея.

Не понимает отец, что учить часто бывает легче, чем учиться — учиться не словам, а делу, и что дать бывает легче, чем взять.

Отца в свое время занесло каким-то случаем на географический факультет, и он был доволен — выбирать ему не приходилось. Не из чего было.

Перед Андреем все двери были открыты — попробуй выбери! В физику идти или в географию? Или в биологию?

Но Андрей вовсе не собирается решать, кому легче, кому труднее. Каждому свое. Каждому свое в свое время.

В разном возрасте у него было разное отношение к отцу.

В детстве он в нем души не чаял.

Лет в пятнадцать или в шестнадцать стал стесняться своих путешествий с отцом: в его годы люди юнгами уходили на парусниках в кругосветные плавания, а Джек Лондон командовал сторожевым катером и был

грозой устричных пиратов, — он же каждое лето держится за папочкины штаны.

На младших курсах университета Андрей страшно тяготился тем, что его отец — профессор, что это дает ему какие-то преимущества. Профессорскому сынку легче постигать науки, он уже натаскан. А тут еще один болван доцент, принимая у него экзамен, разулыбался: «Сын Константина Владимировича? Как же, как же! Мы вместе с вашим папашей...» Андрей взял зачетку, поднялся и ушел.

Ему поставили двойку, и он остался без стипендии.

Он не был ни буяном, ни выпивохой, но два-три раза в год считал долгом выпить и пошуметь в общежитии, чтобы комендант потом бегал по комнатам и доискивался, кто же все-таки шумел?

На первых двух курсах Андрей, кроме стипендии, получал деньги от отца и охотно «сбрасывался» на любое мероприятие своей комнаты и еще соседних комнат общежития, а в конце месяца занимал у кого-нибудь пятерку. Потом он поступил на вечернюю работу — препаратором кафедры почвоведения и тотчас телеграфировал отцу, что в деньгах больше не нуждается.

Приезжая домой на каникулы, Андрюха рассказывал о своих ребятах — прежде всего о том, какие они бесшабашные, как умеют «разыгрывать» преподавателей. Вершинин же старший раздражался и недоумевал. Еще бы: «Мы в ваши годы...»

Понятия если не мужской, то уже и не мальчишеской чести были чужды Вершинину-старшему. Вершинин-старший не принимал в расчет, что если комсомольское собрание «своих» ребят решало сдать сессию на полном серьезе, так это решение имело больше значения, чем все вместе взятые увещевания профессоров и доцентов.

Он не понимал, как это сын однажды изменил ему и присоединился к тунгусской экспедиции каких-то мальчишек и девчонок. Мальчишки и девчонки вот уже несколько лет на свой страх и риск пытались разгадать тайну знаменитого метеорита. И Андрей отправился на Тунгуску — ему надо было увидеть то, о чем шли споры.

Он вносил свою лепту в сокровищницу знаний и понятий, но только не в ту, которую создавал Вершинин-старший и которую легко можно было постигнуть, перечитав и даже просто перелистав его многотомные

труды, а в другую — ютившуюся не в очень-то опрятных комнатах студенческого общежития, в курилках и на подоконниках старого университетского здания, только изредка достигавшую таких инстанций, как доклады в кружках НСО — Научного студенческого общества. Андрей отнюдь не собирался соперничать с отцом, просто на пути в науку он не мог миновать мудрость курилок, подоконников и кружков НСО. Отец не понимал очевидного, и у него не хватало смысла, чтобы понять все самое главное. И когда Андрей захотел узнать, кто прав в дискуссии между академиками Сукачевым и Лысенко, отец не смог этого сказать. «Ладно, — подумал тогда Андрей, — это область биологии, а отец говорит о себе, что он «в основном» географ. Узнаю, кто прав из двух академиков-географов — Герасимов или Григорьев?» Но опять ничего не узнал.

Андрей хотел понять, что отец считает в науке самым главным для своего сына, в каком направлении сыну пойти, а тот горячо говорил о том, какая тема самая податливая, лежит на поверхности, так что ее легко «поднять» и защитить кандидатскую диссертацию.

Но если ты только вступаешь в науку, если у тебя вся жизнь впереди, разве не обидно уже в это время очутиться не на главном, а на каком-то второстепенном направлении?

Напрасно, оказывается, Андрей так стеснялся отца-профессора, так боялся, что отец повсюду будет навязывать ему свою школу: школы у него не было.

Наконец он решил узнать, каким образом профессор Вершинин пришел к своей «Карте»? Почему он ею занимается? Для чего? Если человек занят очень большим делом, все остальное ему можно ведь и простить?

Что же выяснилось? Что отец взялся за «Карту» потому, что дело было совсем нетрудным. Существовали уже почвенная карта Горного Алтая академика Коробельникова, карта растительности А. В. Куминовой, карта и типология лесов Алтая доктора наук Г. В. Крылова. Были классические исследования растительности Алтая таких ученых, как П. Н. Крылов и Б. А. Келлер. Обобщить все эти карты и исследования, свести их, только чуть пополнив собственными наблюдениями, — и будет новая «Карта растительных ресурсов». Вот и все.

Для Левы Реутского такое дело, наверное, оказалось бы солидным. А для отца, который занимался пробле-

мами Кузбасса и Барабы, голодал и пел только революционные песни?

И Андрей почти год не приезжал домой, а прошлое лето провел в тунгусской самодеятельной экспедиции.

Но вот что он понял за этот год: что он любит своего старика и не хочет с ним расставаться. Здорово любит.

Не будь в свое время отцовского влияния, Андрей пошел бы в радиотехнику или в другую отрасль инженерной физики, где, ему казалось, он обязательно нашел бы самое главное для себя, где было что открывать и делать своими руками. Но отец пристрастил его к путешествиям, к живой природе. И география и биология нынче все в поисках главного, и беда не в том, что отец главного не знал, — он его и не искал. Ему без главного было удобнее.

Предстояло поработать за отца.

Тогда же понял Андрей, почему отец так любит энских краеведов: краеведам в этом городке ничего не надо было объяснять по существу, с ними можно было обмениваться фактами, словно почтовыми марками из коллекции. Факт за факт. Иногда за факт — два и три. Отец при обмене не скупился, был щедрым. Энские краеведы его любили.

Им было просто, краеведам, и за эту простоту Андрей их не любил. И понимал, что это нехорошо, но не любил.

Андрей долго и нелегко думал. И не напрасно — понял, что нужно сделать: нужно стать с отцом «на равных». Не получилось дружбы студента с профессором, получится дружба двух равных. И в нынешнем году он снова отправился в экспедицию с отцом, надеясь, что отец откажется и от поучений, и от каких-то заискиваний, которые были еще хуже поучений и которые Андрей не хотел называть своим именем, так оно было нелепо: «заискивания».

На равных... А тогда все будет просто и ясно.

Тогда перестанет иметь значение, что у отца в чем-то не хватает толку...

Если бы года два назад кто-нибудь из друзей Андрея сказал это об отце, так, наверное, Андрей очень просто мог бы дать в морду: друг должен понимать, куда не следует совать свой нос. Теперь Андрей знает, что кое-кто из людей — не так уж этих людей мало — довольно просто догадывается о том, что за человек его отец. Никуда от этого не уйдешь, потому что бестолковость от-

ца — факт. Ну что же, у Андрея тоже наверняка не хватает какого-нибудь толка, и это не мешает ему иметь друзей?!

Однако прежде всего нужно доказать отцу, что они могут спорить, могут сходиться и расходиться во мнениях. А для этого необходимо приобрести то, что отец назвал бы открытием. Самостоятельным открытием.

И оно — открытие — было, было совершено еще в позапрошлом году, но тогда Андрей сам-то оказался мальчишкой и не придал ему значения.

В позапрошлом году он открыл на Алтае никому не известные почвы. Буроземы. О которых все учебники говорят, будто в Союзе они существуют только в условиях субтропиков, на Кавказе. Буроземы, которых нет и в помине на той самой почвенной карте Корабельникова, которую, в свою очередь, отец кладет в основу «Карты растительных ресурсов».

И вот Андрей ехал в кедрачи с давними своими надеждами. Ехал и думал о том, что день нынче и в самом деле необыкновенный... День для него очень важный: он отправился делать открытие. Не бог весть какое, но свое собственное.

Тропа была черной и влажной, довольно глубоко втопанной в землю, но уже в нескольких шагах впереди она терялась в густо-зеленой траве, которую лошади раздвигали грудью и рвали на ходу, не нагибая головы. Кольца уздечек, удила и губы лошадей были покрыты каплями зеленой пены... Прихотливые изгибы тропы, подъемы и спуски, валежины и камни, по которым вдруг звонко и неожиданно начинали стучать подковы лошадей, — все это было скрыто от глаз травой, и казалось, что лошади поворачивают то в одну, то в другую сторону, прыгают вверх и приседают по какой-то прихоти, исполняя один и тот же танец, иногда с головой погружаясь в зеленые волны трав, иногда почти растворяясь в темных тенях, отбрасываемых деревьями, иногда же они вскакивали на каменные глыбы, залитые лучами солнца. Было любопытно смотреть, как за лошадью Лопарева этот танец повторяла и лошадь Рязанцева, а потом и сам, придерживаясь за луку, тоже падаешь вниз, или вздымаешься вверх, или просто kloнишься всем телом в сторону, чтобы миновать лапы кедров и лиственниц, которые всегда нацелены в твою физиономию.

Сначала все эти движения требовали от Андрея сосредоточенного внимания, но спустя час или полтора он уже научился предугадывать внезапные прыжки своего гнедка, его резкие повороты и только поглядывал на едущего впереди Лопарева, который всякий раз, когда встречалось серьезное препятствие, поднимал руку над черным кожаным картузом.

Пропало ощущение седла и стремян, и Андрей, словно одно целое с гнедым, уже сам двигался по невидимой тропе, припадая лицом к гриве гнедка или откидываясь назад, и вместе они держались какого-то ритма, так что гнедко скоро заметно повеселел, раза два или три поржал, задрав чуть розовую морду с пестрыми губами, на которых повсюду торчали тонкие прямые волоски, и приветливо покосил на Андрея прозрачно-сизым глазом, не переставая при этом торопливо жевать и ронять на землю капли зеленой пены.

Запах трав и деревьев слился с запахом гнедка, пение птиц и перезвон ручьев — с цоканьем подков, и, приподнятый над землей, оказавшись на уровне как раз самых лохматых, раскидистых ветвей кедров и лиственниц, Андрей уже видел, будто он приехал в кедрач с буроземами и берет образцы этих буроземов.

Временами тропа выбегала на крутобокий, выжженный соляцем и осыпанный мелким камнем берег реки, и тогда внизу начинала сверкать зеленая-зеленая вода, но зелень ее была совершенно ни на что не похожа вокруг, она была прозрачной, каждое мгновение готовой раствориться в отражениях облаков и в то же время очень глубокой.

В таких местах тропа двоилась, троилась, и одна чуть повыше другой узкими ступенями прорезала берег, а Лопарев то и дело ловко перебрасывал ноги на одну сторону седла и оказывался лицом к Андрею.

При этом Михмих часто щурился, снимал картуз и натягивал его на пологую луку алтайского седла — даже удивительно было, на чем картуз держится. Прищурившись и помолчав, он из-под руки оглядывал далекие вершины, а на плавном, словно циркулем очерченном, повороте сказал Андрею:

— Значит, по буроземы?

В словах было что-то настороженное. Андрей догадался — Лопарев думал, что открытие буроземов на Алтае будет встречено отцом равнодушно и недоверчи-

во: поправки к почвенной карте Алтая заставили бы изменить и «Карту растительных ресурсов».

Андрей этого не опасался. Он как раз этого хотел — обладать фактами, с которыми отец обязан будет считаться.

— Надо! — Андрей кивнул, сомневаясь только в том, стоит ли и ему проделать такой же прием — перебросить обе ноги на одну сторону — или не стоит, потому что гнедко может не понять седока, испугается и оступится над кручей...

— Порадуешь батьку! — снова сказал Михмих.

— Факт есть факт... — пожал плечами Андрей и перенес левую ногу на правую сторону.

— Тоже так думаю, — ответил Михмих, подождав, покуда Андрей будет сидеть в седле боком, лицом к нему.

Они ехали так довольно долго — один по верхней а другой по нижней тропе, потом Лопарев сказал:

— А вот еще что, Челкаш, надо будет тебе заехать со мной в лесхоз. Обязательно...

Это не входило в планы Андрея. Часа через два он собирался свернуть к своим заветным кедрочкам, поездку же Лопарева в лесхоз считал делом его личным, к которому он никакого отношения не имеет и не должен иметь. Он тотчас прикинул, как сложится его маршрут, если заезжать в лесхоз, и сообразил, что потеряет лишний день. У него же для начала все складывалось так, как нужно: конный маршрут был назначен отцом вовремя, и гнедко попался симпатичный, и погода была хорошей, а главное — наступало время для мужского разговора с отцом.

— Тороплюсь, — сказал он. — Есть соображения...

Лопарев снял с луки картуз, надел его на голову и повторил почти слово в слово, только изменив обращение:

— Вот что, Андрюха, друг, надо будет заехать тебе со мной в лесхоз. Обязательно...

— Полный серьез?

— Полный...

Собственно, ничего не менялось от того, что Андрей вернется в лагерь днем позже. И все-таки начиналось уже что-то не то. Не то, чего он хотел.

Однако гнедко бежал по-прежнему деловито и шустро, тропа становилась все положе, река внизу все шире, а нежаркое солнце заливало светом деревья, камни,

черный картуз Лопарева и снежные вершины, по остриям которых потекли уже ручьи солнечных красок — ярких и бледных, совсем прозрачных и густых, словно металл. Километров семь-восемь ехали крупной рысью и останавливались только один раз, когда Рязанцев решил покрепче привязать очки бечевкой.

Село, в котором размещался лесхоз, пристроилось в долине реки и по двум ее небольшим притокам в виде приземистой буквы П, в середине которой возвышалась зеленая гряда — вся в мелком березняке и в пестрых пятнышках: это паслись коровы, овцы, лошади.

Лопарев сказал:

— Жди тут возобновления, как же! От жилетки рукава!

Он был недоволен пастьбой, после которой весь огромный увал навсегда уже лишится способности к возобновлению хвойных.

Сверху, с холма, казалось, что буква П подкована на одну ногу; подковой этой были постройки лесхоза — десятка полтора жилых домов и производственных помещений, на крыше одного из них белый крест — знак для самолетов лесной авиации.

Подъехав еще ближе, осмотрели небольшой питомник лиственницы, и Лопарев сказал:

— Отрава! — Недоволен был состоянием питомника.

Въехали в просторную ограду лесхоза. Здесь шла своя жизнь: плотники ставили несколько срубов, повизгивала пилорама, стучал движок, в дальнем углу на травке лежали лошади, машина с поднятым капотом стояла около деревянного приземистого гаража.

— Так... — сказал Лопарев, спешил и забросил повод на необструганный кол ограды. — Значит, так... Вы меня, Николай Иванович, к своему знакомому привозили, помните? К директору совхоза Парамонову?

— Конечно, помню. А что? — отозвался Рязанцев.

— Ничего... Теперь вот я вас познакомлю с лесным деятелем.

Вошли в дом. Кабинет был пуст, и Лопарев, выглянув в коридор, сказал кому-то:

— Найдите-ка Саморукова! Скажите: ждут!

Потом он сел за письменный стол лесничего и принялся внимательно рассматривать бумаги под стеклом. Одну, разлинованную на графы и заполненную цифрами, вынул из-под стекла и, что-то прикинув на огромных счетах, лежавших тут же на столе, сказал:

— Умеют, черти, сводки составлять. Сила!

Позвонил телефон. Лопарев ответил:

— Лесхоз слушает!

Должно быть, кто-то спрашивал лесничего.

— Через полчаса освободится! — сказал Лопарев и повесил трубку.

Андрей и Рязанцев сидели на черном потертом диване и разглядывали лесоустроительную карту.

— Государство! — усмехнулся Рязанцев.

И Андрей подтвердил:

— Люксембург! А может, целый Бенилюкс!

Оба они вдруг оказались словно на приеме у Михаила Михайловича Лопарева, а тот не торопился начинать с ними разговор.

Наконец пришел Саморуков — невысокого роста без фуражки и в форменной расстегнутой тужурке, в желтых сапогах. Брюки и сапоги были у него в опилках, веселое лицо, кажется, тоже в них же, но на самом деле это были веснушки, а руки он нес впереди себя — они были у него в чем-то вымазаны, — и первое, что спросил у него Лопарев, было:

— В чем это они у тебя?

— Солидол! — ответил Саморуков. — Фляга, понимаешь ли, срочно потребовалась, никак не опростаешь проклятую.

— Вели плеснуть бензина с литровку, а потом спичку туда. Выгорит — будет как в аптеке. За пивом можно посылать!

— Точно ведь! — сказал Саморуков, перегнулся через подоконник и крикнул: — Антоныч! Эй, Антоныч! Скажи Черенкову — пусть плеснет во флягу литровку бензина и спичку туда! Понял? Чудненько!

Лопарев представил лесничему Рязанцева и Андрея, спросил:

— Что, и в самом деле за пивом? Ты садись-ка! — И уступил лесничему место за письменным столом, а сам сел сбоку. — Сводки у тебя — железобетон! Ажур, да и только!

— Насчет пива: суббота ведь. А насчет сводок: шуруем! У меня бух — сплошное золото. Статистика тоже не подкачает. Директора вот нету по сю пору. Сам за двоих.

— Идут дела?

— Срубы — это раз! Из степей приезжают, с Алея, с Кулунды — срубы покупают на корню! Сначала мы

шесть на шесть метров всего-то и рубили, а теперь уже по двенадцати на четырнадцать дошли! Тарная дощечка — это два! Пиломатериал. Сначала необрезной, теперь обрезной — тоже технический прогресс. Само собой, дрова.

— С начальством в районе как живешь?

— Нормально! Для райкома беседы проводим, плакаты вот повесили, а райисполком мне что? У райисполкома у самого-то одни бумаги! А у меня срубы, пиломатериал, дрова, поделки разные, ширпотреб, ну и пролетариат! Между прочим, пролетариат на меня никогда не обижается! Живем душа в душу! С коровешкой помочь, с постройками, с ульями — как часы иду навстречу. И в лесу не притесняю. Доверие: кому выпишет лесник билет, кому откажет — с моей стороны полное доверие!

— Значит, сила.

— А как же!

Зазвонил телефон, Лопарев снова снял трубку:

— Минут через двадцать освободится!

— А ведь может быть — по личному?.. — сказал Саморуков, вытирая пальцы газетой.

— И по личному обождут. Вот еще что скажи, — задумчиво спросил Лопарев, — вот ты индустрию на своей ограде развиваешь, а энергетика? Топливо на движки из Бийска возишь или с Туэжты? Бешеные деньги платишь?

— Узкое место! — вздохнул Саморуков и даже как-то сник, живое выражение с его некрупного, в веснушках лица исчезло, он стал сосредоточен. — Самое узкое. Отсюда — себестоимость продукции. Отсюда же — автоколонну надо содержать, для транспорта горючего, ей-богу! А тут с деловой древесиной не управляемся возить!

Здесь, в этом месте разговора, Рязанцев стал весь внимание: еще как только в кабинет вошел Саморуков, он чем-то напомнил ему заведующего райкомхозом и встречу на разрушенной плотине в Усть-Чаре.

Только Райкомхоз был каким-то более мягким, податливым и даже лиричным, а этот очень живой, предприимчивый, наверное, и жуликоватый. Рязанцева до сих пор тревожили вопросы, на которые он не смог тогда ответить Райкомхозу и управляющему банком. И вот все повторяется сначала — опять те же вопросы.

— Общее положение на Алтае, — сказал Рязанцев. — Источники энергии на каждом шагу, а использовать невозможно. Надо ждать большой электрификации, ГЭС на Бии или Катунь.

— Ждать надо. А нынешний день куда денешь? — сказал задумчиво Лопарев и потер ладонью лоб.

— Вот и в Усть-Чаре тоже... ГЭС разрушена, жидкое топливо возить далеко и дорого, дрова чуть ли не за сорок рублей за кубометр... — И, сказав это, Рязанцев даже почувствовал какое-то облегчение: «Кто и что на это сможет ему ответить?»

Саморуков вытер пальцы и бросил газету в корзину.

— Там, в Усть-Чаре, лесхоз ничего не придумает. Там Бородкин за главного — ученый шибко, все в газетку факты пишет. Про охрану лесов! — И кивнул на корзину.

— А вы придумаете? — спросил Рязанцев.

— Так ведь куда денешься? Жизнь, она заставит! А вот с ним, с Михалом Михалычем, вдвоем, даже определенно смараковали бы. А? Михал Михалыч? Или ты тоже в ученые подался? Нынче, брат, все в теорию. А на кого же практику покинули?

— Вот что, — проговорил задумчиво Лопарев. — Если так: порубочные остатки и отходы производства не возить, а сжигать прямо в лесосеке или на производственной площадке? В локомотиве. От локомотива — генератор. Трехфазный. Линия передачи — сюда. — Лопарев постучал по стеклу письменного стола. — Тут — трансформатор и моторчики. Ясно?

Рязанцев словно в первый раз увидел ушастую голову Лопарева, его приплюснутый нос и угрюмоватые сосредоточенные глаза...

Саморуков же вдруг засмеялся, хлопнул себя по коленкам, а потом Лопарева по плечу.

— Я же говорил: «Мы с ним вдвоем...» Да что там! Я Лопареву всегда толковал: «Зачем тебе теория, когда ты практически способен решать?» Только вот что, Михал Михалыч, все это электрическое хозяйство и особо линию передачи мне не поднять! Считаю семь, а то и все десять километров — не поднять! Надорвусь.

— Тогда кооперируемся с райкомхозом, — сказал Лопарев. — Согласуем с ним фазы, напряжение, и порядок! Они нам днем подбрасывают моторную энергию, мы им ночью — осветительную.

— Ежели дело выгорит, враз развернусь на полную катушку! Р-развернусь! — серьезно сказал Саморуков.

— Не развернешься... — пожал плечами Лопарев. — Не очень.

— Почему это?

— Да так... Так думаю.

Саморуков вопросительно поглядел на Лопарева и что-то стал соображать.

— Слушай, Лопарев, зачем ты ко мне приехал? Зачем он приехал? — спросил Саморуков еще и у Рязанцева.

Лопарев на вопрос Саморукова не ответил, сам спросил:

— Подсобное предприятие разворачиваешь — так. Подсобное! А лесные культуры? А возобновление? А лесосеки как отводишь — через пень-колоду, с полным доверием к лесникам?! А семена не заготавливаешь? Ты что же, леспромхоз или лесхоз? Ты кто?

Саморуков, ничуть не задумываясь, ответил:

— Я, брат, хозяйственник! Ясное дело и понятное: хозяйственник. И меня подсобным предприятием стимулируют. Говорят: «Это твой стимул».

— И премии дают...

— А без премий на кой черт мне стимул? Мы, брат, в теории тоже кое-что схватываем. По академику Павлову: «Стимул» — значит, у меня и у всех моих лесников рефлекс враз срабатывает. Безусловный!

— Ладно, — махнул рукой Лопарев. — Это еще посмотрим — безусловный или условный. — И вдруг неожиданно спросил: — Алтайский язык знаешь?

— Какое! Русский скоро забуду, на один хозяйственный перейду: «Ты — мне, я — тебе! Я — тебе, ты — мне!» Все!

— А надо знать... Надо легенды алтайские изучить. Поверия. Пословицы. Все, что касается леса, на алтайском языке.

— А вот я хотя и хозяйственник, но скажу: современность у тебя где, товарищ Лопарев? Легендами заниматься, а современность что же — обождет? Это как получается? Товарищ ученый?

— Получается так: современность, она везде. И с нами, и за тысячу лет до нас. Везде, если ее искать.

Саморуков помолчал и вздохнул:

— Значит, меня зажимать будешь вот так? — показал кулаком как.

— Крепче...

— Ты зажмешь! С тебя хватит по старой дружбе! Знаю я вашего Лопарева, — кивнул Саморуков Рязанцеву и еще раз — Андрею. — Ну так что же, зачем вы его ко мне привезли?

Рязанцев и Андрей молчали, а Саморуков спросил:

— Михал Михалыч, догадался я?

— Может, и догадался... — согласился Лопарев.

— Что же твои дружки все еще секрет делают? Да что там, за мной не станет, я это дело отмечу как надо! А расчет ваш правильный: суббота. — И Саморуков, встав и перегнувшись через подоконник, крикнул в ограду: — Антоныч! Эй, Антоныч!

— Чо тако?.. — отозвался густой неторопливый басок.

— Флягу отвезли?

— Отвезли...

— А привезли?

— Привезли.

— Порядок полный?

— А как ешшо-то — полный...

— Зайди-ка сюда!

— Чо тако?

— Зайди, зайди!

Почти тотчас по коридору раздались быстрые шаги и распахнулась дверь. Человек всего лет около тридцати, смуглый и кудрявый, в форменной фуражке, в клетчатой рубаше навывпуск оглядел приезжих и сказал тем самым басом, который только что слышался со двора:

— Знакомые будем!

Это было так неожиданно, что Рязанцев и Андрей переглянулись и засмеялись, а Саморуков был очень доволен эффектом и сказал:

— Антоныч наш! Командир всему конскому поголовью и первый хозяин на ограде! Вот глядите, какой нынче на Алтае кержак пошел: одет по моде, девкам-бабам смерть, курит-выпивает и работает ударно. Разговор дооктябрьского происхождения — это, я считаю, простим. А? Простим?

Очень доволен был Саморуков, наслаждался удивлением гостей и совсем не заметил, как они были поражены, когда он снова обратился к Антонычу:

— Вот, Антоныч, пошуруй насчет второй фляги, поскольку встречаем нового директора! Знакомься: Лопарев Михал Михалыч!

— Признаю! — кивнул Антоныч, широко улыбнувшись. — В прошлом годе ездили в старые маральники по Заячьему ручью... Под вами серый еще захромел. Помните? На переднюю правую?

В небольшом кабинете бас Антоныча был еще гуще, но ни Рязанцев, ни Андрей этому басу уже не удивлялись, не замечали его. Лопарев же спросил:

— Вылечили серого?

— По самую зиму ходил по бюллетеню. Лисы в питомнике по ем уже облизывались, мяско причуяли. Однако вѣходил. Значит, вы к руководству?

И Саморуков тоже спросил:

— Слушай, Михал Михалыч, ну, а как же с диссертацией? Крест поставил?

— Я тут, в лесхозе, надеюсь, материал буду иметь побогаче, чем в экспедиции...

— Значит, на два фронта... Дела когда принимать будешь?

— Не торопись, Саморуков, — сказал, помолчав, Лопарев. — Подождем. В октябре, не раньше. Уже после того, как экспедицию закончим.

— Слух-то был, — кивнул Саморуков. — Управление тебе который раз будто предлагало, ты все отказывался. Но хитер: нет чтобы сразу объявиться!

— А что ты хочешь: «Здорово! Я твой директор!» Даже неудобно.

— Так-то вот снова встретились! Может, к лучшему — зажмешь меня? А то дело мое хозяйственное такое, что бабушка надвое сказала: то зажимают-зажимают, потом выгонят, а то не зажимают, не зажимают, а после посадят. Точно! А с Лопаревым у нас такая история — в управлении вместе служили! — пояснил Саморуков. Пояснил и снова засмеялся: — Бумажки вместе писали! — Воспоминание удивило его самого, он ткнул чумазыми пальцами в бумаги на столе: — Вот такие же, только с утра до вечера! Между прочим, я и там, в управлении, пообвык. Ничего, жить можно, только последние часа два каждый божий рабочий день сидишь как на иголках: проклятый звонок ждешь.

— Какой звонок? — не понял Рязанцев.

— Ну, об окончании рабочего дня. Известно ведь — ждать да еще догонять: хуже нет! А в остальном привык. Говорят же: человек такое существо, ко всему привыкнуть может. А ты вот, Михал Михалыч, к науке не привык. Не вышло!

— Вышло! — сказал сердито Лопарев. — Вот и тебя к науке приручу — почувствуешь, что вышло.

— Да ну-у! Ты, может, и женился уже?!

— Нет. Не женился.

— Так я тебя женю! Заживем: я с наукой, ты с женой. И уговор — не разводиться.

— Вот что, за пивом ты не посылай, Саморуков. Не надо. Пить не будем. Коней наших, Антоныч, накормишь. Со светом завтра мы тронемся. Насчет проводника сообразишь? Нам с Николаем Ивановичем две-три переправы показать через речки, больше ничего. В остальном сами разберемся.

— Не хочешь, значит, купаться?

— Сезон прошел.

— Без купания обойдетесь! Поедете с Антонычем — ему все броды-переправы — как свои пять пальцев... А ты вот что скажи: стимул будет? Или ликвидируешь, как вступишь в должность?

— Будет.

— Какой?

— Моральный.

— Моральным я, брат, и без тебя за сто двадцать рублей в год буду сыт вот — выше головы!

— То есть как?

— Просто: две газеты, по шестьдесят рублей каждая.

— Ну что же, для морали у тебя, видать, свои единицы измерения.

Саморуков неожиданно смутился.

— Ладно, — махнул он чумазой рукой. — Наука, всякие там статьи да решения с постановлениями — это одно. А практика — другое. Погляжу я, как ты их будешь в одно соединять. Интересно.

— Погляди, — сказал Лопарев и посмотрел на Андрея.

Андрей чуть кивнул... Понял.

Понял, для чего Лопарев привез его сюда: чтобы он услышал все, что здесь говорилось, и как-то подготовил отца к уходу от него аспиранта.

«Ясно!»

Еще отчетливее возникло перед Андреем его желание: скорее-скорее ехать в кедрачи, найти там буроземы и вернуться к отцу, чтобы стать с ним «на равных».

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Отдохнувший после ночевки гнедко шагал бодро, только в самом начале пути все оглядывался на усадьбу лесхоза, удивляясь, должно быть, почему это вдруг он остался один, где два вчерашних его спутника — остромордый конек Рязанцева и рассудительная, неторопливая кобылка Лопарева?

Но уже километра за два от лесхоза гнедой понял, что ему предстоит шагать одному, что дело это ответственное, совсем иное дело, чем тянуться вслед за лошадью, которая идет впереди и первой преодолевает неожиданные повороты, подъемы, спуски, валежины и камни... Он посерьезнел, походка стала у него осторожнее.

Еще спустя некоторое время у гнедого, наверное, появилась мысль, что тропа ведет его обратно к дому, — он стал расторопнее, смысленнее, как-то весь подтянулся и на ровных местах без всяких понуканий переходил в рысь, а однажды пошел было наметом.

Андрей догадывался, откуда у гнедого появилось его служебное рвение. По крайней мере, до вечера им предстояло двигаться вчерашней тропой в обратном направлении. Ну а потом он резко свернет вправо. В том месте, где река дробится на протоки и протоки эти неглубоки, удобны для брода. И посмотрит, какое у гнедого будет выражение лица.

Опустив повод, Андрей покачивался в седле и вспоминал вчерашний разговор Лопарева с Саморуковым.

Интересный был разговор. И обижаться было на Лопарева совершенно не за что — правильно поступает Михмих!

Позавидуешь: если Михаил Михайлович что изучает, так обязательно к делу. Сегодня изучал, а завтра пошел и сделал. Сегодня он считает, что в науке для него главное, а завтра главное оказалось не в науке, а в практике — и он спокойно идет туда, не задумываясь, где и какие для него будут условия, где труднее, а где легче.

Андрей так не смог бы — нужно еще пожить на свете. И отец тоже не смог бы — стар для этого.

Нынче утром, когда прощались, Лопарев поглядел на Андрея вопросительно: не обиделся ли Андрей за от-

ца? Ведь это же обида, если от руководителя уходит аспирант? Нет, Андрей не обиделся. Нисколько. Уж кто-кто, а он-то знает, что отец — не учитель. Не учитель, но из тех профессоров и доцентов, которые считают своим долгом обязательно прочесть лекцию обо всем, что им самим сколько-нибудь известно.

Такие доценты не догадываются, что если бы они сами пошли сдавать экзамены, то засыпались бы на первой же сессии и, уж во всяком случае, остались без «стипендии». Очень просто: им не осилить было бы сразу всех наук, которые они все вместе сваливают на голову каждого студента. Они забыли те времена, когда сами были студентами и точно так же думали о своих назойливых доцентах. Забыли, что вместе с наукой развиваются память и способности каждого поколения. Чем больше человек знает, тем больше способен узнавать... Доцентам же в молодости, должно быть, не так уж много дали знаний, зато объяснили весь белый свет. Вот они и следуют этому примеру.

Еще отец очень чувствителен, подвержен бесконечным настроениям.

Вершинин-младший слышал, будто к людям приходит плохое или хорошее настроение, но никогда не мог как следует сообразить, что это значит.

Девчонки, те, может быть, и в самом деле рождаются с настроением; что же касается мужского пола, так он сам был его представителем и понимал цену мужских вздохов: блажь!

Едва ли не впервые Андрей пережил настроение, когда умерла Онежка. Пришло ощущение чего-то постыдно-ненормального и необъяснимого. Стоило огромного труда с этим ощущением бороться, смотреть людям в глаза, переживая его, есть, пить, спать. Вообще жить...

Трудно было вернуться к самому себе.

И все-таки всегда и во всем самое главное — это знать о себе, что ты делаешь самое главное. Когда ты это знаешь — все становится на свои места.

Вслед за этой мыслью к нему пришла другая: «А что, если вот здесь без брода и переправиться через реку? Тогда и заезд в лесхоз будет оправдан, и маршрут по кедрочкам будет не в сторону от лагеря, а к лагерю, опять экономия времени, и точнее можно будет установить границы распространения буроземов».

Все доводы были «за». «Против» — одна только река...

Река была зеленой, такой же, как и вчера, но теперь Андрей увидел, что вся она — прозрачная, зеленая и глубокая — наполнена движением... Андрей представил себя где-то на середине реки в этом движении, которое увлекает его слева направо, он же вопреки действующим на него силам пересекает реку поперек... Получалось, можно это сделать...

Подумал о своем брате-спортсмене: «Ориона бы сюда, Орьку! Он бы реку переплыл саженками!» Андрей помахал руками и убедился — он тоже может! Главное — с толком выбрать место для переправы и еще совладать с конем!.. В конце концов успех зависел от гнедого, на себя Андрей надеялся. Конечно, может что-нибудь приключиться, но утонуть — нет, он до этого не допустит! Гнедко же — бодрый и сообразительный — внушал ему доверие.

И Андрей внимательно вглядывался в берега, в струи, которые угадывались в русле реки, и думал о том, какой он благоразумный: не лезет очертя голову куда попало, а выбирает самое подходящее место. Не торопится.

Сознание своего благоразумия он испытывал все время, покуда бросал в воду сухие ветки, чтобы проследить направление струй в реке, и делал гимнастику, чтобы подготовить себя к предстоящему заплыву. Когда затеешь правильное дело, так и непредвиденные обстоятельства начинают тебе служить: заехали вчера в лесхоз — сегодня это оказалось совсем кстати!

Осмотрел подпругу и уздечку — все ли надежно, все ли крепко. Тщательно приторочил рюкзак, спальный и вещевой мешки и свою одежду. Оставшись в одних трусах, в порядке подготовки организма окунулся в холодную воду и еще раз проделал комплекс гимнастических упражнений.

Все. Счастливая же мысль пришла ему! В последний момент он задумался, что лучше: взнуздать гнедого — и тогда с ним легче будет управляться в реке, или оставить разнузданным — тогда лошади будет легче плыть? Андрею и раньше доводилось переправляться с лошадьми, но почему-то не запомнилось, как в таких случаях поступают с уздечками. В конце концов он решил сделать облегчение гнедому и не стал его взнуздывать.

После этого Андрей вошел в воду и повел за собой гнедого. Берег был из обкатанных крупных камней,

и гнедой ступал уверенно до тех пор, покуда вода не стала ему по грудь. Тут он вдруг начал упрячиться, садиться на круп и задирать морду. Андрей намотал повод на правую руку, этой же рукой взял гнедого за узду и с силой дернул на себя. Гнедой соскользнул в воду, и они поплыли.

Все было так, как он предполагал: гнедой плыл, задрав кверху голову, часть рюкзака и спальный мешок подмокли, но одежда оставалась сухой. Андрей плыл рядом, держась правой рукой с намотанным на нее поводом за шею гнедого, а левой — греб сильно и размеренно, в такт дыханию. На воде самое главное — работать руками и ногами в такт дыханию. Правда, сейчас это было не совсем просто: ему приходилось еще соизмерять свои движения с движениями гнедого, но Андрей быстро уловил ритм, в котором гнедой плыл. Хорошо, что Андрей не левша и не правша — еще в детстве позаботился, чтобы руки были развиты одинаково. Пригодилось!

— Ну-ну! Ну, гнедой! — говорил он изредка и как можно спокойнее, чтобы подбодрить коня и в то же время не испугать его, не подействовать ему на нервы. — Ну-ну! Дело идет нормально!

Все шло так, как было задумано... кроме одного: они оба старались, а противоположный берег почти совсем не приближался — течение быстро-быстро несло их вниз. Но усталости не было, и Андрей подумал, что, если устанет, сможет минуту подержаться за шею гнедого обеими руками. Минуты хватит для отдыха. Кроме того, Андрей надеялся, что скоро они уже достигнут струи, которая била в сторону противоположного берега, и это поможет им.

Так они плыли довольно долго... Уносило их далеко, гнедой стал дышать и фыркать громче и чаще, а голова торчала теперь у него из воды совсем немного — пестрые губы, глаза и уши.

Струя, на которую Андрей так надеялся, мчалась, обгоняя все другие струи, он увидел ее глазами — впереди засверкали зеленые острые лезвия; ее стало слышно — глухое ворчанье перемежалось иногда тонким звоном, будто лезвия скрещивались между собой, и она ощущалась всем телом; как бы сжимаясь и разжимаясь, она еще издали посылала несильные пульсирующие удары по плечам, рукам и ногам.

— Ну-ну! — говорил Андрей гнедому, чувствуя, что и тот ощущает эти удары и, кажется, боится их. — Все нормально! Давай-давай!

Струя вспыхивала все ярче, сильнее, и чаще были толчки в плечи, в руки. Пронеслась черная, блестящая на солнце щепка... Вслед за этой щепкой промчался перед глазами жук-дровосек. Жука вращало сначала в одну сторону, потом останавливало и начинало вращать в другую с такой быстротой, что длинные усы не успевали за ним, и один ус оторвался, а другой был сломан почти посередине. И хотя она была сильной, эта струя, но была совершенно гладкой — не бурлила, не вздымалась над поверхностью реки.

— Ну-ну, гнедой! Давай-давай!

Струя отталкивала их прочь, но Андрей и не стремился пересечь ее — приберегая силы, хотел вплыть в струю постепенно и сильнее наваливался на жесткие ребра гнедого, стараясь повернуть его под углом к течению...

И вдруг он оказался впереди лошади, его с силой дернуло за правую руку — это натянулся повод, и почти тотчас гнедого развернуло к нему задними ногами, так что он задел копытом ногу Андрея.

Шея у гнедого была согнута в сторону, с трудом он удерживал голову над водой. Повод тянул его вниз, не давал ему выпрямить шею, а на повод висел Андрей. Нужно было поднять руку над водой и ослабить повод, но вместо того Андрей стал погружаться в воду и погружать за собой гнедого... Мгновение было для размышлений, и Андрей понял, что нельзя отпускать гнедого, потому что гнедой видит сейчас правый берег, с которого они поплыли, и, оставшись без повода, вернется на тот же берег, но и удерживать его в поводу можно было еще каких-нибудь одну-две секунды: после этого гнедой захлебнется. Андрей сделал отчаянную попытку приблизиться к лошади и ослабить повод — это ему не удалось. Он отпустил повод. Работая теперь обеими руками, он звал гнедого, стараясь не испугать его и в то же время заглушить рокот воды... Гнедой плыл обратно.

Андрей хотел было его догнать и повернуть, но не чувствовал уже в себе достаточно сил и еще меньше был уверен в силах гнедого. Он решил вернуться, отдохнуть, обдумать, что и как, а после этого начать все сначала.

Они истратили много сил, и притом напрасно. «Это надо будет учесть, когда поплывем снова...» — думал Андрей, все еще сознавая свое благоразумие. Но потом пришлось упрекнуть себя: выбирая место переправы, он внимательно всматривался в противоположный берег, не подумав о том, что, может быть, придется вернуться обратно. А вдруг им негде будет выбраться на свой, правый берег, если он отвесный?

Андрей еще зацепится за какой-нибудь выступ либо за прибрежный куст. А гнедой?

Дело могло кончиться неважно — ниже по течению берег и в самом деле был отвесным, как стена; однако гнедой тоже сообразил, что нужно стараться, и выплыл к последнему пологому участку — дальше уже шла сплошная крутизна. Андрей ему помог: вышел на берег первым, а потом вернулся в воду и подхватил повод.

— Ты что же это, лошадь, соображать надо, где право, где лево. Голова у тебя большая, а поплыл обратно!

Сняв с седла сапоги, он надел их и повел гнедого вдоль берега на прежнее место, откуда они начали переправу.

«В общем, — думал он, — все правильно! Место выбрано хорошее, и все действия тоже правильные. Ошибка в том, что позволил струе оторвать себя от гнедого... Пока мы вместе, пусть крутит и вертит, — все равно выберемся!»

Перед новым заплывом Андрей долго лежал на спине и на животе, стараясь прогреться под солнышком и как можно больше расслабить мускулы. Он прикидывал, сколько у них с гнедым оставалось в запасе сил и сколько их еще требовалось, чтобы достигнуть противоположного берега. Величины получались, кажется, равные.

Гнедой ни за что не хотел снова идти в воду, и Андрей сел верхом, сильно хлестнул его, а потом соскользнул в воду, и они начали все снова.

На этот раз струю на середине реки было почти не видно: падала тень от облака, и неравномерное освещение мешало разглядеть ее. Но Андрей уже научился чувствовать пульсирующие удары, которые сначала были совсем слабыми, а потом становились все сильнее. Он вовремя обхватил шею гнедого двумя руками, по-прежнему, однако, оставаясь сбоку от него, и не противился, когда струя захватила их и закрутила, как тогда жу-

ка-дровосека, которого она унесла теперь куда-то далеко-далеко...

Дело оказалось сложнее, чем он думал, потому что гнедой теперь уже сам решил повторить все в точности, как это было в первый раз, и вернуться на тот же берег. Но Андрей был тоже учен и сильно ударил гнедого по морде справа, сам оставаясь слева от него и ласково его утешив:

— Ну-ну, лошадь! Нормально! Давай-давай!

Гнедой взял правильное направление и не пытался больше действовать самостоятельно. Андрей же отчетливо понял, что от него требовалось: требовалось согласовать все силы, которые сейчас действовали, — силу течения, силу лошади и свою собственную. Их нужно было соединить во что-то одно, направленное к противоположному берегу. Он не знал, как это можно сделать, но, зная, что это нужно, что без этого нельзя, рванулся вперед, потом прижался к скользким и жестким ребрам гнедого, переждал мгновение, когда гнедой выдыхал воздух через вывернутые наружу ноздри, а когда он вдыхал — приподнял ему голову. Так он проделал несколько раз, заставив гнедого дышать ровно и размеренно, а в такт его дыханию, которое он чувствовал, как свое собственное, стал грести левой рукой. Третья сила — течение — боролась с ними двумя, слитыми вместе, но и в ней была какая-то составляющая, которая не отрывала их друг от друга, а сжимала плотно и подталкивала к берегу. Этим прижатием и этим подталкиванием нужно было воспользоваться. Ничего лишнего нельзя было допустить — ни лишних движений, ни дыханий, ни торопливости, а тем более ни малейшего замешательства...

Еще труднее было выплыть из струи, которая не приближалась, оказывается, к левому берегу, а снова уходила на середину реки.

В зрачке гнедого отражался уже тот берег — со скалами и кедрами, с зеленой каймой прибрежной полосы, и Андрей чувствовал, что это отражение — самое главное, что оставалось еще у гнедого в жизни, и что он, Андрей, как-то сразу стал гнедому в тяжесть. Гнедой его слушался, но слушался только потому, что у него больше не было сил сопротивляться. Из пестрой, по-собачьи раскрытой пасти его вырывался тяжкий храп.

Андрей перебрал в руке повод, подсунул его под седло, перехватил гнедого руками... Оказавшись сзади, он изо всей силы ударил его в круп и заорал:

— Пошел!

Гнедой рванулся вперед. Андрей же схватил его за хвост, чувствуя, как жесткие волосы врезаются ему в пальцы. Минуту он тянулся за гнедым, когда же гнедой снова стал оседать вниз, он снова крикнул: «Пошел!» — и разжал руки.

Но еще преждевременно было вкладывать все свои силы, сколько их осталось, в последний рывок и менять ритм движений... Когда же Андрей почувствовал, что вот немного — и это будет уже поздно, он закрыл глаза и, погрузив голову в воду, приподнимая ее только для вдохов, вложил всего себя в эти движения...

На берегу Андрей лежал на спине неподвижно, пока не продрог окончательно и камни не разрисовали ему живот и руки синими и красными рубцами. Он повернулся на бок.

Оглянулся...

Гнедой лежал неподалеку, подогнув ноги и упершись носом в серый, с красными пятнами камень.

Андрей подумал, что гнедой вот-вот может перевернуться на бок, а потом на спину и тогда поломает седло и помнет все имущество в рюкзаке.

Это соображение заставило его встать, а как только он оказался на ногах, появилось множество дел.

Он подошел к гнедому, расседлал и осмотрел его ноги. Не очень хорошо, когда только что подкованный конь пускается вплавь! Ссадин на тонких и светлых бабках не было, гнедой нигде себя не засек. Он только впал в дурное настроение: оттопырил нижнюю губу и, словно дворняжка, высунул язык. Время от времени он громко икал, содрогаясь всем телом.

— Пройдет! — сказал ему Андрей. — Вот увидишь, пройдет! Побегай! Разогрей кровь!

Вынул из рюкзака наручные часы, завернутые в пергаментную бумагу, которой он взял с собой довольно много, чтобы завертывать образцы бурозема. Часы серьезно и деловито отбивали свои «тик-так, тик-так».

Патроны подмокли, и Андрей вынул пыжи, а порох рассыпал на пергаменте, чтобы подсох. Спички были совсем влажными, и хотя в этом было мало проку, он тоже разложил их по камням. Высохнут или не высох-

нут? Андрей погладил сырой порох, ощупал спички и вздохнул: «Не то качество!»

Гнедой, все еще лежа около пестрого камня, повел на Андрея грустным взглядом.

— Что, лошадь, думаешь, ничего не выйдет у меня с огоньком? — спросил Андрей. — Учись жить, лошадь! Так говорят профессора — не кто-нибудь!

И он достал из рюкзака лупу, направив ее на солнце, зажег маленькую веточку, а через несколько минут пылал уже костер. Он принялся сушить спальный мешок и решил тут же, на берегу, готовить обед.

Нужно было восстановить силы, к тому же и в самом деле с заходом солнца он уже не сможет добыть огня и приготовить горячую пищу.

Он стал соображать, хватит ли ему одной консервной банки для обеда или следует вскрыть сразу две, и тут заметил, что задний левый торок развязан. Он мгновенно сунул руку в отверстие и там на самом дне под тепловатой водой, заполнявшей кожаный мешок, нащупал консервную банку... Одну... Другую... И все — их только две осталось.

Каким образом развязался торок? Или нечаянно он дернул ремешок, когда вертелся в шальной струе, или плохо заторочил на том берегу?

Две небольшие банки — одна с говяжьей тушенкой, другая с мясными щами — подмигивали веселыми солнечными зайчиками, и, поглядев сначала на них, а потом на гнедого, Андрей сказал:

— Еще неизвестно, кто из нас лошадь...

Потом он решил, что прежде всего нужно одну из банок съесть, а за обедом как следует обдумать вопрос: что делать? Возвращаться за продуктами в село или не возвращаться? На голодный желудок такие вопросы не решаются.

Кусок хлеба превратился в месиво. Андрей посолил его. Ложка соленого хлеба — ложка горячего варева. Это было здорово! Это было бы очень здорово, если бы проклятый вопрос не портил аппетита...

Журчала вода в реке, словно ладонями шлепала о берега, глухо постукивала камнями, перекатывая их по дну... Ярко светило солнце. Андрей ел и думал...

Гнедой тем временем встал, вяло и очень задумчиво

начал пощипывать травку, а потом повалился на песке, а еще спустя некоторое время заржал как-то пронзительно громко, словно жеребенок.

И Андрей собрал подсушенное у костра снаряжение, заседлал гнедого.

До темноты предстояло проехать километров десять вверх по ручью, где, по всем соображениям, должны были уже начаться буроземы.

Тропа обнаружилась довольно быстро, и, сориентировавшись по карте, он внимательно и чутко стал всматриваться во все окружающее.

Лес был лиственнично-кедровым, однообразным, но травяной покров и типы этого леса сменялись по мере того, как тропа шла все выше и выше, и Андрей думал о том, что самую правильную и точную типологию алтайских лесов создал профессор Г. В. Крылов. Андрею очень хотелось бы когда-нибудь встретиться с Крыловым, который тоже из года в год путешествовал по Алтаю и на работы которого очень часто ссылался Михмих. Отец при этом неизменно раздражался. Напрасно. Когда у Андрея все будет «на равных» с отцом, он сделает, чтобы у них было больше общих друзей.

Еще Андрей думал, что он сильно виноват перед отцом: давно ему следовало стать с ним «на равных», а он откладывал это дело. Все из-за того, что был мальчишкой. А как же иначе — два года тому назад встретил на Алтае буроземы, но отнесся к этому факту совершенно по-мальчишески: не попытался определить границ их распространения, не описал как следует, кое-как взял образцы.

Потом, на зимних каникулах, когда кошки все-таки заскребли у него на душе, он послал эти плохонькие образцы академику Корабельникову, авторитету и первейшему знатоку почв Сибири, по карте которого отец составлял и свою «Карту растительных ресурсов».

Старик Корабельников ответил. Ответил очень скоро, вежливо и точно таким образом, как отвечают пионерам и школьникам: «Дорогие ребята! Спасибо вам за то, что вы участвуете в серьезной и нужной работе! Образцы, которые вы мне прислали, я буду хранить, а если мне когда-нибудь еще раз придется посетить Горный Алтай — обязательно побываю в тех местах, где вы обнаружили эти почвы. Будьте здоровы, растите большие! Будьте исследователями с юных лет, а тогда вы

обязательно станете людьми, очень полезными для науки!»

Ей-богу, так и выглядел ответ академика Корабельникова, даже еще обиднее, потому что он был адресован не вообще ребятам, а одному конкретному «ребенку».

Это была наука: покуда Андрей жив, будет ее помнить!

И все-таки обиду надо было преодолеть сразу же, но тут он снова оказался мальчишкой: рассердился на всю геоботанику и отправился в тунгусскую самостоятельную экспедицию искать метеорит Кулика. Метеорит — это, конечно, серьезно, несерьезно было его решение попытаться счастья в другой области науки.

Не так это просто — изменить своей специальности. Нет, прошлое лето не пропало даром, но ведь можно было ухитриться побывать и там и здесь?

Можно было!

Вечер застал Андрея в верховьях ручья, и так как спички действительно никуда уже не годились, он поторопился устроиться засветло: спутал гнедого, наломал кедровых веток и постелил на них потник, а на потник еще не совсем просохший спальный мешок.

Было очень холодно, не то от свежего воздуха, не то от влажного мешка, и Андрей не мог уснуть. Пролежал, должно быть, с полчаса и все сердился на себя за то, что попусту теряет время — нужно было спать, набираться сил. Он даже мысли всякие гнал прочь от себя, чтобы они не мешали ему, но потом ему пришла в голову одна, от которой стало как будто теплее: он догадался, что нужно сделать, чтобы завтра ночевать у костра... Днем он подожжет лупой какую-нибудь сырую валежину изнутри, чтобы она тлела без сильного огня. А ночевать приедет к этой самой валежине. «Чем будет не камин? — подумал Андрей. — Только валежину нужно выбрать у самого ручья, чтобы потом легко можно было сбросить ее в воду... Иначе наделаешь пожару!» И, представив себе во всех подробностях, как тепло ему будет завтра вечером, Андрей заснул.

Ночью он проснулся снова и начал соображать, что бы такое придумать, чтобы согреться.

«А вдруг, — подумал он, — я сплю уже на буроземах? Здорово!» И он опять погрузился в сон, твердя себе, что не должен больше просыпаться, что это баловство — не спать по ночам.

На рассвете очень трудно было дождаться часа, ког-

да солнце проникнет наконец в лес, а с ветвей и трав исчезнет серый иней. И Андрей не стал этого дожидаться, а выскочил из мешка и голый начал прыгать что было сил.

— Черт подери, — сказал он, слушая, как стучат у него зубы, — турецкий марш, да и только! Сейчас мы с этой музыкой покончим!

И он принялся копать шурф.

Расчет был простой: когда солнце достигнет подножия леса, шурф уже будет готов, и с первыми же лучами он узнает, на буроземах он спал нынче или это еще не буроземы.

Солнце едва-едва касалось самых вершин огромных кедров, и там, наверху, возник какой-то иной лес, очень красивый, составленный из одних только вершинок, а ниже стоял зыбкий сумрак, почти темь, в которой блуждали первые робкие лучи, иней же, казалось, твердел до состояния льда... Тихо было, только где-то неподалеку слышалась воркотня горлинки.

Андрей хотел бы начать с записей, но подумал, что записи он сделает позже, при дневном свете, и саперной лопаткой принялся за работу.

Он копал, стоя на коленях и стараясь не разглядывать разрез, потому что сумрак мешал этому и путал краски почвы, словно одевая ее в маски. Не заметил, когда ему стало жарко, и работал, обгоняя солнце, — чувствовал, что шурф будет готов раньше, чем солнечный свет достигнет земли и осветит вертикальную стенку шурфа, обращенную на восток. Эта стенка называлась у почвоведов челом, название сейчас очень нравилось Андрею. Он часто поднимал голову и следил за тем, как солнечный свет спускался к земле. Когда лопата стукнулась о твердую породу, свет все еще блуждал в кедровых ветвях.

Он замерил глубину шурфа по зарубкам на рукояти лопаты — лопата была размечена через десять сантиметров длинными зарубками, через пять — короткими. Глубина семьдесят три сантиметра. После этого лег на живот и стал ждать, то и дело поглядывая вверх, на солнце...

Солнце стекало по ветвям все ниже и ниже, в одно мгновение растворяя иней. Проникая внутрь каждой хвоинки, в складки коры и рассеивая неясные тени, которые еще клубились в ветвях, оно приближалось

к шурфу — коснулось маковок высокой травы, потом их листьев, потом земли...

Андрей еще выровнял шурф, и тут же на чело упало солнце.

Первой была лесная подстилка, влажная, толщиной в шесть — восемь сантиметров, она состояла главным образом из хвои, неразложившейся травы и кусочков мха... Солнце в мельчайших подробностях осветило подстилку, заблестело на остриях, гранях и зубчиках каждой хвоинки, сверкнуло в каплях влаги, заплело узор тонких, но четких теней от лепестков, хвоинок и даже от этих капель.

Подстилка обладала некоторой особенностью: резко выраженным ярко-желтым слоем микоризы — грибного корня, о котором полвека тому назад русский ученый Воронин впервые высказал предположение, что он, внедряясь в корни растений, способствует усиленному питанию деревьев. Это было радостное предисловие — Андрей очень хотел, чтобы его буроземы оказались плодородными, чтобы они, как никакие другие почвы, способствовали росту кедра, чтобы они обладали мощной микоризой.

Андрей глядел на желтый слой подстилки, а сердце у него стучало гораздо громче и сильнее, чем вчера, когда он переплывал реку.

Несколько секунд все решали — сейчас должен был возникнуть в солнечном свете собственно бурозем.

И он возник — самый верхний почвенный горизонт «А» — темная, рыхлая, зернистая масса, пронизанная корнями, в которой без труда угадывалась, однако, связанная суглинистость, нечто целое и такое, что называлось почвенным организмом и еще буроземом... Ничего более бурого, чем это чело, Андрей никогда не видел. Там и здесь встречались в буроземе кусочки серого щебня, значительно выветрившегося, — они еще больше подчеркивали иную, чем они сами, природу почвы.

Андрей вспомнил вдруг голос Рязанцева, который когда-то объяснял Рите и Онежке, что такое перегной, что значит на земле этот тончайший почвенный слой.

Андрей тоже был тогда поблизости, но возвышенный стиль, в котором беседовал с девочками Рязанцев, его смутил, он ушел в сторону, тем более что Рязанцев не говорил ничего такого, чего Андрей не знал бы. Издали он видел, как Онежка изумлялась и как безучастна ко

всему оставалась Рита, Онежка как будто Андрея радовала тогда, а Рита сердила... Кажется, она всегда его сердила.

Все это вспомнилось на одно мгновение.

Солнце же текло и текло еще ниже по челу, с глубокой бурозем темнел, зерна в нем мельчали, переходя от горизонта к горизонту, он становился все более плотным, бесструктурным.

Потом все чаще и чаще солнце начало освещать в буроземе частицы щебня, и наконец оно стекло на самое дно шурфа... Последний горизонт «ВС» был сильно щебнистым, а промежутки между щебнем были заполнены тяжелосуглинистым коричнево-бурым мелкоземом.

Всё...

Андрей прислушался: ему показалось, будто он слышит, как солнечный свет течет по челу... Он долго еще лежал перед разрезом, наблюдая, как чело подсыхает на солнце, вдыхал испарения бурозема и ждал момента, когда наконец почувствует, что ему пора встать, сделать записи и обдумать, что же дальше следует ему нынче предпринять — открывателю буроземов на Алтае?

Такой момент наступил. Он оторвал взгляд от чела, достал дневник.

«Кедрач злаково-мшистый, — была первая запись в соответствии с типологией профессора Крылова. — Полнота древостоя 0,9». Поглядел вверх. «Высота деревьев — 27 метров. Возраст — 200 лет. Подлесок...» Андрей поглядел в глубь леса, ощущая свою зоркость и точность глаза. «Рябина, жимолость алтайская, березка круглолистная...» Заглянул в карту. «Высота над уровнем моря 1200 метров».

Потом он снова вернулся к шурфу, присев на корточки, описал подстилку, особо отметив ярко-желтый слой микоризы, почвенный горизонт «А» был от нуля до двенадцати сантиметров, «АБ» — от двенадцати до двадцати семи, «В» — двадцать семь — пятьдесят шесть и «ВС» — до самого дна шурфа.

Все это заняло несколько минут, и он вдруг почувствовал, что вот так же быстро и зорко сможет теперь работать трое, а то и четверо суток без отдыха.

— Вот что, лошадь, — сказал он гнедому, — мы вышли с тобой на орбиту, и теперь в нас по тысяче лошадиных сил!

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

Вершинин-старший не один раз приглашал с собой Рязанцева в луговой отряд. Но Рязанцев только передавал через него приветы Полине Свиридовой и от Полины тоже всякий раз, как возвращался Вершинин, приветы получал, и еще она присылала коротенькие записочки: жива, здорова.

В нынешнем году луговой отряд выехал в экспедицию значительно раньше, чем высокогорный. Программа работ была у него меньше — Свиридова совсем не занималась лесами, а самым важным периодом для луговиков была часть июня — июль, время цветения трав, и полевые работы они тоже закончили раньше.

Вершинин отправил луговиков в институт, всех, кроме Свиридовой, — ее он включил в высокогорный отряд.

Приезда Свиридовой ждали с каким-то особенным нетерпением: новый человек обязательно нужен был в отряде, и хорошо, что этим человеком была женщина.

И хотя Рязанцев ее ждал, встреча произошла неожиданно.

Было за полдень, в лагере стояла та сосредоточенная тишина, когда каждый занят своим делом.

Рязанцев сидел у входа в палатку, приводил в порядок абрисы и переносил на крупномасштабную карту данные последних маршрутов. И вдруг услышал женский голос:

— Здравствуй, Ника...

Вздрагнул — перед ним стояла Свиридова. Загоревшая, в платочке, в красной кофточке и в темных шароварах. В сапогах.

Оказывается, Владимировгорский со своей машиной задержался в ближайшем поселке, чтобы пополнить продуктовые запасы отряда, а Свиридова его ждать не стала, пришла пешком.

— Как ты загорел, Ника-а... — протянула она с детским недоумением. — Как изменился! Не узнаешь!

— Может быть, все-таки узнаешь?

— А я изменилась? По-твоему?

— Такая же.

— Не может быть!

Вечером было собрание. Свиридова слушала внимательно, молча, что ей было непонятно — тихонько спрашивала у Рязанцева. И только однажды усмехнулась — это когда Реутский заявил о своем отъезде.

Она серьезно, подолгу смотрела на всех. Спросила Рязанцева:

— Так ты уезжаешь завтра, Ника? В маршрут?

— Уезжаю...

— Ты хорошо умеешь верхом?

— Ну... прилично, — Рязанцев хотел сказать, как кстати она приехала в отряд, хотя экспедиции совсем уже немного оставалось работать нынче. Но так и не сказал.

Они знали друг друга давно.

Сеня, бывало, скандалил — то ли чай был слишком горячим, то ли он ругал весь белый свет, а в первую очередь врачей, которые считали, будто ему нельзя поехать на Суматру лично осмотреть самое южное в северном полушарии болото, — и Полина говорила ему:

— Не ругайся, Сеня. Бери пример с Ники: выдержка и спокойствие, спокойствие и выдержка. И вообще Ника хороший, если будешь ругаться, я убегу к нему.

Сеня ухмылялся:

— Ты в Нике глубоко ошибаешься, Полинка! Это однолюб и консерватор. Никудышный мужчина. Ни одна порядочная женщина к такому не убежит. Никогда!

— А Зоя? Живет же с Никой? И не жалуется.

— Не в счет. Такая же.

— Нет, ты не верь, Ника, Сеньке. Ты хороший. В тебя ничего не стоит влюбиться. Да еще как! Если уж на то пошло, в Нике есть драгоценное качество. Может быть, девушка это качество и не заметит, но женщина заметит обязательно.

Сеня и Рязанцев удивлялись вместе:

— Ну-у-у?

— В Нике нет ничего лишнего.

— Бедный ты, Ника, право, бедный. Это для тещи. Женщины же, покуда они женщины, как раз ценят в мужчинах все лишнее. Если ты этого не знаешь — поверь мне: я-то знаю!

Разумеется, спор ничем не кончался. Полина уходила хлопотать по дому.

— Оставайтесь вдвоем. Мужчины как девчонки: до смерти любят уединенные беседы.

В другой раз Сеня сказал о жене:

— Хитрая... Всех моих поклонниц делает своими приятельницами.

— Сама не знаю, как это получается! — согласилась Полина. — Действительно, Аленушка Верховская, Вера Николаевна, и Верочка, и Клабочка — все стали моими приятельницами. Всего, наверное, человек десять. И ты знаешь, Ника, у моего Сеньки удивительный вкус! Они все очень неглупые женщины, очень интересные. Иногда думаешь: что он в этой нашел? А познакомишься — в самом деле что-то есть. Удивительно, как он их распознает? Как ты думаешь, Ника?

Но Рязанцев и не собирался разъяснять что-то Полине, он спорил не с ней, а с Сеней:

— Позволь, Сеня, позволь! В чем тут хитрость? Твоя жена — исключительная женщина, вот о чем это говорит!

Сеня смеялся:

— Тупой семьянин! Надо понимать: это и есть высшая женская хитрость!

— Для самого себя ты вырабатываешь одни правила, для своей жены — другие?

Сеня пожимал тощими плечами.

— А почему бы и нет? Я и люблю свою жену за все то, чего нет во мне самом... Она чиста, как младенческая слезинка. А я? Что же, я никогда не делаю секрета из того, каков я. Никогда я не убеждаю женщину, будто она единственная для меня. Не плачусь в жилетку. Все это недостойно мужчины. Не выдаю себя за ангела и не поворачиваюсь к женщине спиной, чтобы она посмотрела, не прорежутся ли у меня на лопатках ангельские крылышки. Я как Гёте: люблю двух женщин, первая — это моя жена, вторая — все остальные!

— Нелегко же приходится с тобой этой, первой!

— Еще бы, — охотно соглашался Сеня. — Еще бы! На Востоке женщины потому и красивы, что в гаремах им приходится бороться за право быть первой! Кстати, представь меня мусульманином, и все вопросы ко мне потеряют смысл. Все будет объяснено с исчерпывающей полнотой. Дело — в условностях нашего воспитания. Только. Больше ни в чем.

— Конечно, не может быть образца. Ни по твоему подобию, ни по моему. Ни по чьему. Но беречь чувства

и взгляды любимого человека можно и самому, без образа! Не так ли?

— Да... — вздохнул Сеня. — Что за дура в тебя влюбится, если ты начнешь с рассказа о том, как ты любишь свою Зою?

— Ты с этого не начинаешь?

— Я этим кончаю... — Сеня подумал еще и сказал: — Друг мой, жаль, что я не смогу лет через десять откровенно поговорить с твоей Зоенькой по поводу ее благоверного. Жаль, жаль! — Потом Сеня рассердился: — И не суди меня! Не замахивайся на мораль большинства, которое я, к счастью, представляю. Если бы все были такими пресными, как ты, человечество не знало бы ни вдохновения, ни страстей. Уволь от такой судьбы!..

Странно — не Сеня испытывал перед Рязанцевым какую-то неловкость и смущение, а Рязанцев перед Сеней. Что-то было в их разговоре и неясным и тревожным, и опять-таки, кажется, не для Сени, а для Рязанцева.

Когда же Рязанцев уходил, Полина тихо говорила ему в прихожей:

— Не верь, Ника, Сеньке! Хвастается, а больше ничего. Больной! Ему это приятно, поднимает настроение. Пусть его...

Рязанцев соглашался:

— Конечно, конечно! — И уходил растерянный.

После спрашивал себя: что же это за отношения такие между Свиридовыми? В конце концов он пришел к определенному заключению, очень грустному, но все-таки определенному. И тут же сказал себе: «Впрочем, теперь уже все равно...»

И в самом деле, вскоре наступили хлопоты и заботы, связанные с уходом человека из этого мира, а когда и они закончились, Рязанцев с удивлением, с упреком самому себе вдруг обнаружил, что он все еще спорит с Сеней.

Не было Сени — он обязательно должен был выяснить свои недоумения у Полины.

Он пришел к ней, сам опасаясь своего прихода, но Полина, успокоившаяся, задумчивая, вдруг начала разговор, который едва ли решился бы начать он.

— Я всегда знала, что мое счастье не может быть долгим, — сказала она. — Но все равно — даже если бы оно было только мгновенным, и тогда я ни в чем не упрекнула бы Сеню. Я и сейчас горжусь тем, что завоевала

любовь такого человека, как Сеня. Он многому меня научил.

Рязанцев был поражен: оказывается, не Сеня завоевал Полину, а она его!

— Чему же Сеня тебя научил? Все-таки?

— Чувствам. Чувствам, Ника...

Они встречались довольно часто, но только изредка Полина казалась ему определенной — то навсегда чем-то осчастливленной, то навсегда несчастной. Обычно же он не мог ее истолковать — ни взгляда ее глаз, ни приглушенного голоса, ни быстрых движений. А неистолкованная, она все время его тревожила.

И Рязанцев то и дело возвращался к ней мыслями, отрываясь от рукописей, в которых он уточнял величину притока солнечной энергии к разным широтам земного шара, величину испарения и осадков, градиенты этих величин, а затем выводил и градиент континентальности. Градиент континентальности должен был явиться новым словом в географии и климатологии, но определялся он медленно, зато возникали совсем другие вопросы, которые Рязанцев никак не мог решить без участия Полины.

Однажды, когда он навещал Полину, возник разговор о молодежи.

И тут оказалось весьма кстати коснуться мысли, которую в свое время он не успел доказать Сене.

Как будто продолжая тот давний спор, Рязанцев стал горячо утверждать, что моральные нормы создает не то меньшинство, которое о них говорит и пишет, а то большинство, для которых этих норм как будто и вовсе не существует. Эти люди живут так, как им удобнее, удобнее же им быть честными, чем бесчестными; быть верными мужьями и женами, чем неверными; быть хорошими родителями и детьми, чем плохими. Мораль для них — не самоотречение, не жертва, не наказ сверху, скорее всего она для них — своеобразный эгоизм. Они живут так ради собственного душевного спокойствия и спокойствия своих ближних, ради уверенности в себе. Они не хотят недостойных забот и тревог. Потребительский подход к жизни: взять от жизни больше, но чтобы больше брать — нужно иметь больше сил и энергии, а чтобы были и сила и энергия, человек должен в себя верить, то есть жить без упреков к самому себе, без раскаяний, без тайн, которые надо хранить от других, без опасений сказать о себе что-то, чего никому не надо

знать. Мораль для них, как четыре действия арифметики, была постигнута однажды и не требовала повторений.

Полина слушала его внимательно, перелистывала журнал, потом отложила журнал в сторону. Когда же он кончил, кивнула:

— Вот и все... Все очень просто.

— Что это значит? — спросил ее Рязанцев.

— Милый Ника! Как же тебе, оказывается, немного надо, чтобы стать поистине несчастным!

Очень удивившись, Рязанцев спросил снова:

— При чем тут я? Разве обо мне речь?

— Как немного — один раз не поверить самому себе, перед самим собой не оправдаться...

Потом он пришел к неожиданному для себя выводу: Полина была умнее Сени. Несравненно умнее. Отсюда снова возникла у него некая теория, и снова он обязательно должен был изложить ее Полине.

— В мире два гения — мужчины и женщины, — говорил ей Рязанцев. — Гений мужчины — это паровоз, самолет, открытие Америки, расщепление атома. Это Бетховен, Толстой, Репин, но все равно все это открытия, открытия! Куда только одни открытия привели бы человека — никто не знает. Они ведь и соединяют людей и разъединяют их. Но есть еще гений женщины — как бы велик он ни был, он никогда не станет ни сенсацией, ни открытием, а между тем как раз он ставит людей в человеческие отношения друг к другу... И чем дальше идут открытия, тем больше необходим людям этот...

— Ну конечно, — как-то очень просто согласилась она. — Конечно, ты прав. Это знает каждая женщина. Если она женщина... И, наверное, ты не сам пришел к этой мысли. Наверное, тебе подсказала ее женщина. Зоя?

Рязанцев и Зоя — его жена — были из одного класса, с одного двора, и задолго до окончания школы они рассказали друг другу, кем они будут: он — географом, путешественником и ученым, Зоя — доктором.

Учились же в разных вузах и в разных городах, встретились только после войны.

И когда встретились, их несказанно удивило, что они такими и стали, какими хотели стать. Сколько жизней было унесено, сколько судеб искалечено — они же узнали друг в друге тех людей и те характеры, о которых

мечтали, когда и людей-то этих еще не было, а были мальчишки и девчонки из «А» и «Б» классов 61-й школы, из второго и третьего подъездов большого серого дома, с магазином охотничьих принадлежностей в первом этаже и с сердитым дворником Абдуллой во флигеле.

Должно быть, своим удивлением они были обязаны и своей любви уже не очень молодых людей — и тому и другому пошло за тридцать.

И они думали, что удивление будет сопутствовать им всю жизнь.

Рязанцев воевал в зенитной артиллерии, а потом война снилась ему каждую ночь, только он ее не видел, а слышал во сне — слышал грохот орудий и переживал неимоверное напряжение боя, когда весь мир как будто превращается в цель, которую во что бы то ни стало нужно накрыть... И Зоя тоже хотела бы забыть госпитали, палаты и коридоры, ампутации и трупы, но не верила, что когда-нибудь забудет все это.

А забыли оба уже через несколько лет. Школьные годы и те вспоминались гораздо чаще, словно они стали ближе, чем война. Наверное, так и нужно было — забыть войну, но почему-то вслед за тем исчезло и удивление друг другом. Как будто ничего особенного не было в их встрече, как будто иначе не могло быть. Любили, но уже не удивлялись.

Но вот лет пять тому назад Рязанцев заболел и оказался в областной больнице. Сосед по койке, немолодой, хворый, должно быть из больничных завсегдатаев, сказал ему:

— Повезло, парень...

— Какое же это везение — попасть в больницу?

— Третий раз ложусь, и то Христом-богом выпросился к доктору Рязанцевой. К Зое Павловне.

Доктор Зоя Павловна три недели ухаживала за Рязанцевым, поднимала на ноги, и, когда она появлялась в палате во время обхода, снова и снова навещала больных в течение дня, а во время дежурства и ночью, — каждый раз при виде ее он удивлялся все больше и больше.

Какая она была твердая и ласковая — эта невысокая, довольно полная женщина, какие у нее были слова для больных, какие глаза, какие руки! В руках ее, очень сильных и нежных, люди становились как бы

маленькими, послушными, млели и по-детски улыбались.

То и дело врачи утверждают, будто они не могут лечить своих близких — жен и мужей, родителей и детей. Всегда ли они правы?

И когда Рязанцев вернулся из больницы и воплями радости его встретили двое мальчишек, он как будто впервые в жизни догадался, что эти мальчишки у него от нее, они ее дети — доктора Рязанцевой Зои Павловны.

Теща прослезилась, тесть принялся снимать с него пальто, а ему показалось чудом, что именно эти старики когда-то родили девочку, пеленали ее, носили на руках, вырастили из нее девушку, женщину — ту самую женщину.

Когда же он стал переодеваться в свой обычный костюм и увидел в гардеробе платья, то остановился в недоумении — это были ее платья, той женщины, которую дома муж называл Зайчиком.

Он обошел квартиру, разглядывая комнаты и закоулки: вот здесь эта женщина снимает боты и пальто, возвращаясь домой с работы, вот этими чашками, кастрюлями и сковородками пользуется, чтобы приготовить еду, вот здесь обедает, завтракает, ужинает, вот здесь шьет на мальчишек штаны и рубашонки, вот этот роман Митчела Уилсона она читает, этот журнал мод перелистывает, в этой ванне она моется, вот здесь спит.

У себя в кабинете он спросил: «А значит ли что-нибудь твоя география по сравнению со способностью одного человека возвращать жизнь другому? По сравнению с наукой ласково и твердо смотреть людям в глаза, вселять надежду?»

Но вот что случилось: как ни велико было его удивление, он в тот раз уже ни слова не сказал о нем Зое.

Почему не сказал?

Она возвращалась из больницы, умывалась, переодевалась, тотчас заходила к нему в кабинет и, усталая, расслабленная, рассказывала о своих заботах и неприятностях: о ссоре с главврачом, о том, что не хватает какого-то лекарства. Иногда она плакала и глядела на мужа мокрыми глазами до тех пор, покуда он не давал ей совета. В советы его она верила беспрекословно. Не в пример другим мужьям, жены которых тоже были врачами, Рязанцев не приобрел никаких познаний в ме-

дицине и не старался этого сделать, но все, что касалось отношений Зои с сослуживцами, все ее знакомства и размолвки постепенно перешли как бы в его ведение.

Такая — она не могла его удивить. Даже и в тот день, когда Рязанцев выписался из больницы, она, вернувшись спустя часа два, сказала:

— Ну вот, ты же видел теперь, как у нас там...

И стала посвящать его в дальнейшие подробности больничной жизни — он уже не был для нее больным.

«Она — врач... — подумал Рязанцев в тот раз, глядя на нее. — Удивительный врач. Но если я буду умирать и скажу ей, что окончательно выздоровею через пятнадцать минут, — она поверит мне...».

Почему-то было приятно так подумать, даже немного весело, и только на другой день, когда он снова вернулся к этой мысли, стало чуть-чуть грустно.

Он подумал, что с годами ему, кажется, стало не хватать женского участия, каких-то нежных забот о себе... «Вот уж это чистой воды эгоизм!» — решил он тогда.

И ему тоже, наверное, нужно было сказать Зое нежные слова, но никогда — ни юношей, ни мужчиной — Рязанцев не умел говорить о любви.

Еще, бывало, студентом, если он видел в коридоре университета объявление: «В аудитории такой-то состоится дискуссия «Дружба, товарищество, любовь» или диспут «Есть ли любовь?» Записывайтесь для выступлений!», то сторонился этих объявлений и думал, что для тех, кто записывается и будет выступать, любви, конечно, нет.

Больше всего, помнится, поражали его статьи в областной молодежной газете некоего писателя о том, что такое любовь, как надо и как не надо любить.

И однажды на улице ему показали этого писателя... Грудь вперед, четко отбивая шаг, навстречу двигался кудрявый и мордастый малый, косая сажень в плечах, без пиджака. Под шелковой рубашкой поигрывала мускулатура, и эта игривость то и дело нарушала задумчивое выражение лица.

С тех пор Рязанцев не читал статей на моральные темы... И вот настало время, когда он пришел к Полине и стал говорить ей и о своей Зое, и о себе, о том, как

и почему он разучился удивляться. Но тут вдруг все это, все его слова показались ему чем-то несерьезным, совсем не самым главным. Кажется, он жаловался на свою жену, а он ведь никогда в жизни ни на кого не жаловался. Кажется, он не то сам очень хотел быть похожим на того кудрявого и мордастого малого, который дотошно знал, как надо и как не надо любить, не то хотел, чтобы на него была похожа Полина.

Он замолчал.

Полина сидела в бывшем Сенином деревянном кресле с потертыми подлокотниками и низкой спинкой, не касаясь ни этих подлокотников, ни спинки. Лицо ее, как всегда, было чуть детским, с детскими щечками, с круглым и четким подбородком, глубоко посаженные глаза прикрыты ресницами. Все — как всегда, и только необычная, чуть растерянная улыбка.

И тут он понял, как он глуп, как бесконечно глуп перед нею, когда пытается что-то ей объяснить: объяснить себя, свои чувства. Она все понимала, не понимала только его глупости. И пришел он вовсе не для того, чтобы что-то ей объяснить, а чтобы увидеть ее вот такой — такой, какая она перед ним была.

Полина подняла к нему лицо. И вдруг поднялась сама:

— Знаешь ли, Ника, я должна уйти. Сейчас же. У меня дело.

Это было прошлым летом в июне, больше года назад. С тех пор они не встречались.

Не только не встречались, но Рязанцеву даже удавалось заставить себя мысленно не возвращаться к этой встрече, не вспоминать ее. С трудом, но удавалось.

А нынче вспомнил...

Покуда ехал верхом в лесхоз и потом пять дней в маршруте с Лопаревым по молчаливым, нетоптаным лесам — все время вспоминал, как это было.

Думал о том, что уже давно, едва ли не всю сознательную жизнь, он привык подниматься над жизнью, находя в ней обобщения, принципы, закономерности... Без этого он не представлял себя, своего существования, это и было его существованием.

Но жизнь не прощала ему этого, нет-нет да и вычеркивала из его поступков и мыслей что-то земное, конкретное, совершенно человеческое и дорогое для него. Потом посмеивалась: «Теперь — погляжу на тебя!»

Он особенно это чувствовал всякий раз, когда видел Полину или только думал о ней.

Если бы он пришел к ней когда-то не с понятиями и теориями, а только с чувствами... Если бы год тому назад не позволил ей встать и уйти, не позволил бы прервать разговор, который возник тогда между ними... Если бы нынче, когда они встретились в экспедиции снова, он своих чувств не скрывал бы и каким-то одним словом, взглядом и ей позволил не скрывать себя...

Полину ждали в высокогорном отряде все — Вершинин-старший много и похвально говорил о ней, шофер Владимировский, возвращаясь от луговиков, всякий раз называл ее «симпатичной гражданкой», Лопарев тоже утверждал, что Свиридова — женщина всех мер.

А она приехала и первое, что сделала, — всех разочаровала. Скучная была, чрезмерно сдержанная, неинтересная. Только вот молчала как-то по-своему, неповторимо молчала.

И никто не знал — почему так было, а Рязанцев знал.

Он как будто все еще слушал голос Полины... Как будто они все еще сидели у костра — и она говорила и после долгих-долгих пауз всякий раз продолжала разговор с одних и тех же слов: «А знаешь ли, Ника...»

Вот и наступил день, когда, кажется, возможным стало обрести до сих пор не существующую Синеоку Марию Федоровну... А он и тут поступал наоборот — Полину захотел превратить в ту, воображаемую, нереальную...

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Андрей говорил себе, что ему повезло: в тороке сохранилась жестяная коробочка с солью...

И он разводил костер, потряхивал этой коробочкой, соль звенела, он слушал, как она звенит, а потом засыпал столовую ложку в котелок с луковицами кандыка сибирского.

Луковицы были крупные, сладковатые, слизистые, с очень высоким содержанием крахмала, и Андрей считал, что каждые две луковицы по питательным свойст-

вам вполне можно приравнять к одной картофелине среднего размера.

«Чем не жизнь?» — спрашивал он, воображая, что кандык пахнет картофелем и что в руках у него кусочек хлеба, от которого он то и дело откусывает понемногу.

Но чаще, за едой, он старался не замечать запахов съестного — они раздражали.

Еще не совсем дозревшие кедровые шишки, поджаренные в золе костра, тоже издавали приятный аромат изысканного кондитерского изделия, но с ними было много возни, с этими шишками. Вышелушишь десятка два белых, неокрепших семечек, набьешь ими рот, прожуешь, а пока все это проделаешь — снова проголодаешься... Нюхаешь, а не ешь. Ягод было достаточно, но и они тоже не столько еда, сколько запах.

Раза два или три Андрей пытался подстрелить горлинку, но влажный порох был ненадежным, и он решил, что затраты времени на такую охоту себя не оправдывают.

«Ничего, — говорил он себе, — в течение трех-четырех дней самой важной пищей может стать и духовная!»

Однако один мешок неизменно был наполнен у него кандыком — на всякий случай. Этого растения из семейства лилейных, называемого еще собачьим зубом, было сколько угодно в кедрачах, но приходилось делать запас: а вдруг заедешь в такие места, где его не окажется.

Все-таки кандык — пища посерьезнее, чем ягоды, кедровые орехи и даже чем саранка, которая к тому же встречалась редко и только на полянах.

Всходило солнце, а у него уже готов был первый шурф. Он заставлял солнце спускаться вниз по челу, освещать буроземы горизонт за горизонтом, от «А» до «ВС», а сам лежал на животе и вдыхал запахи влажной земли.

Потом делал записи, и начиналась работа точно такая же, как в тот день его путешествия, когда он заложил первый шурф. Но однообразия не было никакого: перед ним возникала картина распространения буроземов, которую он создавал словно своею рукой.

Ему удавалось оставлять огонь в сырых валежинах, и ночевал он около костра, засыпая по собственной команде «спать!»; утро же выталкивало его из спального

мешка, лишь только солнце прикасалось к вершинам кедров.

Было похоже на то, как он переплывал реку: он тогда знал, как должен дышать, как должен двигаться в воде, управлять гнедым и бороться с течением; и теперь совершенно точно ему было известно, что он должен делать каждый час, каждую минуту.

«Самое главное, — повторял он, — это знать, что ты делаешь самое главное!»

Только изредка Андрей отвлекался, чтобы передохнуть, отрегулировать напряжение, которое им владело. Чаще всего это случалось в седле, но и тогда мысль приходила к нему одна и та же: как много может человек, если он делает самое главное!

Мысль была одна и та же, но Андрей почти не узнавал ее, потому что всякий раз она приходила к нему по-новому: вспоминал он что-то из ботаники, думал о буроземах, о себе или об отце, определял типы леса — она, эта мысль, присутствовала во всем. И он думал о каком-то одном человеке: как много он смог, потому что делал самое главное, о другом: как много он мог бы, если бы делал самое главное; о третьем: как много он сможет, если будет делать самое главное; а обо всей окружающей природе, обо всем, что видел вокруг, он думал: как много можно узнать, если узнавать самое главное!

При всем том Андрей вовсе не был погружен в философию, совсем нет, — у него было желание все время посмеиваться над кем-то, а так как он был один, он посмеивался над собой. «А ну, открыватель, копни-ка еще один шурф!»

Еще он шутил над гнедым, по-прежнему называя его «лошадью», — ему казалось, будто это немножко гнедого задевает.

Он переставал ощущать и ту смутную неловкость перед Онежкой, которую испытывал все эти дни, потому что она умерла, а он остался жить. То, что он сейчас делал, пусть немного, но все-таки оправдывало его.

К вечеру четвертого дня почувствовалось приближение грозы.

В лесу стало душно, а в небе, развесив белые космы, поплыли с запада на восток огромные белые тучи.

«Вот, — подумал Андрей, — я заканчиваю свой маршрут, и начинается гроза. Всему свое время. Порядок!»

Жми, лошадь, наверху мы лучше спрячемся с тобой в какой-нибудь уютной расщелине. Там скалы!»

И в самом деле, наверху нашлась небольшая уютная расщелина, в ней можно было вытянуться во весь рост.

Андрей натаскал хвороста, сделал подстилку, расстелил спальный мешок и приготовился ждать, когда гроза ударит, а она так и не собралась. Брызнул дождь, и снова стало ясно.

«Хитрая, — подумал Андрей о грозе. — Все равно, если уж грозовые явления возникают так поздно — лето нынче не уйдет без грома и молнии. Еще будет дело...»

Тут он в первый раз ощутил, как устал за эти дни, как проголодался. Тошнило, голова кружилась...

Время еще позволяло тотчас тронуться в обратную дорогу, тем более что переправ на пути теперь не было, но ему представилось разумнее сначала отдохнуть. Оказывается, он устал страшно. Усталость заглушала даже чувство голода, хотя он почти непрерывно думал о том, что завтра, как раз в обед, подъедет к чайной в селе Карым.

Андрей никогда не любил отдыхать и не любил мыслей, которые приходят сами по себе ни с того ни с сего — только потому, что выпало свободное время, которые так же просто могут исчезнуть, как просто появляются, и потом даже вспомнить трудно, о чем они были. Ему нравилось до чего-то додумываться, ставить перед собой вопросы и отвечать на них, если же это не удавалось, так хотя бы думать, что ты на пути к каким-то ответам.

Теперь же он испытал недоумение и еще какую-то тревогу, потому что мысли были о Рите.

Нельзя сказать, чтобы он о Рите никогда не думал, — думал, и довольно часто, но только тогда, когда он видел ее и слышал, а мысленно ни в чем с нею не соглашался — даже с ее существованием.

Она претила всем представлениям Андрея о жизни, всем, сколько их было, и с некоторых пор не соглашаться с нею стало чем-то необходимым для него.

Правда, накануне отъезда в нынешний маршрут Андрей, очень удивившись своим словам, сказал Рите, чтобы она была лучше, что ему этого хочется. Слова не могли иметь никакого смысла — невероятно было, чтобы Рита стала другой, а он не в состоянии был

ее другой представить, но они были сказаны, эти слова.

Он стал обдумывать, почему сказал их, и тут вспомнил, как увидел Риту на скале, на самом обрыве... Она стояла, глядя в пропасть, Андрей же был на противоположной стороне ущелья, в лесу, и видел ее.

До сих пор он ни в чем не соглашался с нею, но никогда она не могла его удивить, хотя, кажется, и старалась это сделать. Но тут он был удивлен. По-настоящему. Он подумал: «А вдруг не только я не согласен с ней, а она сама с собой совершенно не согласна? Как же тогда она живет?»

Когда Рита пришла на собрание, села напротив только что приехавшей Свиридовой и стала на нее смотреть, он стал смотреть на Риту... «Смерть Онежки ее мучает!» — появилась у него догадка.

Догадка была серьезной. А еще было одно несерьезное обстоятельство, и все-таки Андрей не мог его забыть.

Не мог забыть, как Рита поцеловала его в избушке пасечника. Прибежала к нему в комнату, опустилась перед ним на колени, схватила за голову и... «А ну ее к черту, — думал он сначала. — Если красивая, так ей все можно! Кукла!» Если бы он таким образом с самим собой и порешил...

Но когда они вернулись в лагерь и отец, рассердившись так, как он редко сердится, вдруг захотел отправить Риту в луговой отряд к Свиридовой, Андрей решил отправиться вместе с нею именно из-за этого ее поцелуя: появилась, оказывается, какая-то обязанность перед нею, какая-то необходимость быть таким, каким она его видела и каким отец его видеть не хотел. И он, конечно, ушел бы тогда следом за Ритой в луговой отряд, но...

Даже вспоминать трудно было о том, что тогда случилось...

Смеркалось.

Из своей пещеры Андрей видел вершину, через которую уползали тучи несостоявшейся грозы, уползали неохотно, как будто все еще собираясь вернуться и разразиться громом с молнией. Андрей поглядывал на них, а думал по-прежнему о Рите.

В своем университете Рита, конечно, пребывала в той компании, где совершенно необходим «треп» —

остроты, каламбуры, насмешки и непрерывное состязание в остроумии, а самый первый парень в этой компании — какой-нибудь «хохмач».

В общем-то Андрей и сам был не прочь «потрепаться», но только недолго. С полчаса. Потом ему становилось скучно, вероятно, потому, что происхождение «трепа» казалось ему слишком очевидным.

Тот, для кого это не очевидно, пусть сядет на студенческую скамью и с девяти утра до трех дня на лекциях, а вечерами еще на консультациях и коллоквиумах каждый день слушает истины, тогда и он поймет, что не единими истинами сыт человек!

Умудренный многочисленными экспедициями, встречами, а еще больше книгами, которых он уже немало успел прочесть на своем веку, Андрей очень любил «деловой» разговор с теми, кто истины преподносил.

Он не спрашивал у лекторов «как?» или «почему?», когда возникали эти вопросы, он считал делом чести разобрататься в них самому, забившись в угол университетской библиотеки. Зато обязательно поднимался с самого заднего ряда аудитории — любил задние ряды — всякий раз, когда мог спросить лектора: «А может быть, правильнее будет вот так?..»

Андрей даже любил преподавателей, на занятиях у которых возникало как бы соревнование между учителем и учениками. Если преподаватель смущался, путался, Андрей шурил на него свои и без того узенькие глазки: «Учишь? Учи-учи, браток!» Но если преподаватель отвечал: «Ну что же, давайте разберемся вместе!», это было как раз то, что требовалось.

И Андрей сам был героем довольно едких «хохм» на тему о том, как время от времени «засыпаются» ассистенты, доценты и профессора.

Рита такого соревнования, конечно, не понимала, ей просто было бы скучно следить за тем, кто там прав, а кто не прав по существу. Андрей слышал, как она говорила Онежке:

— В ту зиму у меня было четыре пары новых туфелек! Один раз в неделю потанцевать в каждой — и то для занятий времени не оставалось!

Совсем рядом с туфельками Андрей ставил и Реутского.

Ничего Андрей не знал, но обо всем догадывался. Догадался сразу, что не случайно они оказались в экс-

педиции вместе — Реутский и Рита. А это вот что значит: грош цена девчонке, которая путается с начальством. Даже если бы Реутский был настоящим парнем, и тогда Рита не нашла бы у Андрея оправдания — кончай университет, если не можешь дотерпеть — бросай учиться или переходи в другой вуз, но среди своих будь своей, не теряй достоинства и не подрывай авторитета своей группы! Сразу ведь всем курсам и специальностям станет известно: «Это в вашей группе такая учится девчонка, которая?..»

А встречал Андрей славных девчат. И прекрасно знает, какими они бывают.

В прошлом году в самодеятельной тунгусской экспедиции мошка жрала беспощадно, а насчет еды тоже было очень скудно; консервы таскали на себе и постреливали дичь, но дичи, как назло, было мало. Нынешние маршруты по Горному Алтаю — легкие прогулочки в сравнении с тем, что было на Тунгуске. Работа была с мозолями — без конца копались в земле и пилили дровья, чтобы рассмотреть срезы.

Но какими оказались там девчонки! Отовсюду — из Томска, из Красноярска, из Ленинграда. Ни одна ни разу не заплакала, не сделала и не сказала ничего такого, что в тайге нельзя делать и не следует говорить. У костра вместе с ребятами они судили о предстоящих маршрутах, о тайне метеорита и о жизни на других планетах. Судили, правда, по-своему, по-женски: вдумчиво, но несмело. Зато они понимали, что без них все эти суждения очень скоро стали бы скучными и утомительными, они понимали, когда им нужно пошутить, чтобы прервать слишком далеко зашедший спор между ребятами, а когда умолкнуть, чтобы не мешать спору, очень интересному и серьезному.

И, глядя на них, слушая их песни, а иногда и потихоньку им подпевая грубоватым нескладным голосом, которого он сам стеснялся, Андрей подумал однажды, что в общем-то это неплохой закон природы, по которому все мальчишки женятся, а все девчонки выходят замуж. Вовсе нет... Еще он подумал тогда, что вот захочет и полюбит любую из них. Какая больше понравится, ту и полюбит и будет при этом думать: а почему бы и ей тоже не полюбить его?

И если в прошлом году он не полюбил ни одной и ни одна его не полюбила тоже, так зато он совершенно точно узнал, какой должна быть та, с которой все это слу-

чится. Вот какие это были девчонки. Они все похожи были на Онежку, а Онежка на них.

Рита такой не была. Больше того, любое слово, сказанное им Рите, он сам же воспринимал как измену тем девчонкам, которые его не полюбили, которых не любил он, а все-таки был им чем-то обязан, и они ему — тоже.

Нет, Рита совсем другая: она никогда не поймет, как это у костра, в лесу, в путешествии может быть дом человека... Ее дом должен выходить окнами на главную улицу большого города — она и об этом говорила как-то Онежке. Андрей и это тоже слышал. Все он слышал и ничего ей не прощал. И не простит!

Но тут он вдруг подумал, что если бы его постигла неудача, если бы он не обнаружил буроземов, если бы позапрошлогоднее его открытие оказалось не открытием, а просто недоразумением, — ему было бы очень стыдно перед этой девчонкой. Стыдно, да и только!

Перед ней он хотел быть мужчиной. Он был моложе ее, а хотел быть взрослее. Она была безразлична к науке, а он должен был заставить ее раз и навсегда покончить с этим безразличием.

Теперь образцы бурозема, завернутые в пергамент и закупоренные в бюксы, лежали у него в рюкзаке, в ногах... Когда Андрей вернется в лагерь, он, может быть, ни слова не скажет Рите об этих образцах, зато, что бы он ей ни сказал, все будет сказано так серьезно, так уверенно и даже так смело, как никогда он еще не говорил ни с одной девчонкой.

Что, как и для чего он скажет отцу, Андрей знал в точности. Это было им обдумано давным-давно... Что он скажет Рите, не знал совершенно. Может быть, и в самом деле — ничего. Но все равно ему нужна была его уверенность.

И он терпеливо ждал утра. Становилось холодно, и голодно тоже было — Андрея это не тревожило. Дело им было сделано. Дело!

Команда «спать!», которую он отдал сам себе, на этот раз не подействовала так же безотказно, как действовала все эти дни. Он не уснул, а снова подумал о Рите, снова увидел ее. К таким, как она, красивым куклам, да еще вздорным, Андрей относился пренебрежительно. Всегда они были для него неинтересны.

А теперь?.. Уж не изменяет ли он себе? Своим взглядам и принципам?

На рассвете он снова открыл глаза в тот самый момент, когда солнце едва коснулось вершинок невысокого кустарника перед входом в его жилище.

Осенний лес — уже отцветший и притихший — поблескивал каплями росы, боясь обронить эти яркие капли с ветвей.

Снова Андрей ехал влажной тропой, ехал осторожно, чтобы гнедой не поскользнулся, и старался не думать о том, что очень хочется есть.

И о Рите он больше не думал. Стало легко оттого, что расстался с мыслями о ней, и он погрузился в ощущение предстоящей дружбы — дружбы с отцом. «Ну вот, старик, мы с тобой «на равных»! Теперь все встанет на свои места! Все-все! Голова что-то кружится, но это пройдет. Надо только добраться до Карыма и пообедать...»

Было тихо в лесу, лишь один раз какая-то пичуга заставила его прислушаться к себе, повторяя то и дело: «Витя, я здесь! Витя, я здесь!» А потом вдруг Андрею показалось, что она щебечет по-другому: «Витя, ты где? Витя, ты где?» Он слегка улыбнулся, вспомнил, как тайком от матери и отца менял имя Цезарь на имя Андрей и долго сомневался, а не назвать ли себя Виктором? Ишь ты, что пичуга знала! Что же все-таки она щебетала: «Витя, я здесь!» или «Витя, ты где?».

Еще в первой своей экспедиции, мальчишкой, Андрей привык обязательно что-то узнавать вокруг себя — зрением, слухом, памятью, размышлением, а тогда он и чувствовал себя как дома.

У него было правило: если что вдруг покажется или послышится незнакомое в лесу — обязательно выяснить, что это такое. Сейчас тоже надо было бы остановиться и подсмотреть, что за птица? Какое оперение? Какого она размера? Где держится — в кустарниках или в ветвях деревьев? Позже в справочнике узнать, как птицу зовут.

Но на этот раз он изменил своему правилу, хотя и упрекнув себя. Торопился. Есть хотелось, голова кружилась... Так и не догадался, щебечет ли птица: «Витя, я здесь!» или «Витя, ты где?».

В полдень Андрей приехал в село Карым, получил на почте письма и телеграммы. Поздравления с днем рождения были от матери, сестры и от Ориона из како-

го-то населенного пункта, который невозможно выговорить, а еще от своего друга по студенческой группе, по комнате общежития и по кружку НСО — друг путешествовал нынче по Таймыру. На имя отца оказалось два письма — от матери и от академика Корабельникова. Андрей сунул письма в карман рюкзака: «С вами, товарищ академик, мне еще предстоит потолковать! По поводу вашей почвенной карты Горного Алтая!» Телеграммы пробежал глазами, прочесть же их внимательно решил в лагере.

В столовой Карыма были зеленые щи, яичница и черный хлеб. Андрей ел щи, яичницу и хлеб за прошедшие дни и за нынешний день тоже. Ел бы и еще, но вовремя остановил себя: может ведь случиться заворот кишок или какая-нибудь другая неприятность. Почувствовал, как слабеет от еды, кажется, больше, чем от голода... Захотелось спать, он не помнил, чтобы еще когда-нибудь сон так одолевал его. «Ну нет, — подумал он, — этот номер не пройдет — сегодня же я буду в лагере! Душа вон! Покажу бате образцы буроземов!»

Первым, кого Андрей встретил, был шофер Владимировский. Почему-то Владимировский вывел обе машины на пригорок. С пригорка открывался вид на небольшую долину и на скалы, которыми эта долина замыкалась. Только одно узкое и глубокое ущелье было прорезано ручьем в этих скалах, стоявших отвесной стеной и кое-где покрытых пестрыми лишайниками. За скалами, на запад, возникала величественная картина снежных хребтов.

Владимировский далеко не всегда бывал вместе с отрядом — иногда со своим помощником Севкой и с обеими машинами он оставался где-нибудь на тракте; только если дорога позволяла пригнать обе машины, он жил в отряде и требовал, чтобы его называли старшим шофером.

Теперь, лежа в кузове «газика», без рубахи, очень похожий на преуспевающего дачника, правда еще не растолстевшего, старший шофер неторопливым жестом подозвал к себе Андрея:

- Задание выполнил?
- Чье? Какое?
- Начальника экспедиции?
- Выполнил.
- Так-так. А то разболталась дисциплинка. На-

чальник к вам — с полной сознательностью, а вы — с глаз долой! Кто куда!

Андрей тронул гнедка, но старший шофер снова его остановил:

— Вот люблюсь... Ничего себе природка? Как думаешь?

— Что? — снова не понял Андрей.

— Природка, говорю, ничего себе?

Андрей пожал плечами, а Владимировский сказал:

— Ездишь ты, ездишь, а вкуса настоящего не сработал! Вот объясню тебе: природа в этом направлении правильная, подходящая. Понятно, путешественник?!

За рулем Владимировский был сосредоточен и неразговорчив, на отдыхе же становился привередлив, а иногда и сварлив, отказывался от обеда, если суп был недосолен или пересолен, и говорил, что вся интеллигенция в отряде, то есть весь отряд без него, без рабочего класса, составляет ноль без палочки.

По этому случаю Рязанцев однажды за обедом заметил, что неплохо было бы всей братве интеллигенции загнуть пролетарию Владимировскому салазки...

Владимировский было возмутился, но тут это предложение очень горячо поддержала Рита, и он как-то остыл, вообще с той поры меньше стал попрекать всех интеллигентностью...

Смерть Онежки он переживал как-то уж очень откровенно, говорил, что экспедицию нужно немедленно свертывать; когда его о чем-либо спрашивали, молчал, а когда все молчали, чтобы не напоминать друг другу о том, что случилось, он вдруг начинал говорить об Онежке.

Теперь же беспечный и начальственный вид первого человека, которого Андрей встретил в лагере, вдруг как-то озаботил его... Он вздохнул и почувствовал, что ласковый, трогательный образ Онежки все еще витает над лагерем. Вот кто был бы рад Андреевым буроземам! Потому что — открытие!

Андрей и слово-то это — «открытие» — научился произносить, когда Онежки не стало. В ее память. Сам он вовсе не жаждал каких-то открытий. На его взгляд, дело обстояло гораздо проще: существовали на Алтае буроземы, а люди о них не знали, и это незнание было досадным недоразумением, случайностью, чем-то ненормальным. Он такое недоразумение устранил. Вот

и все. Всю свою жизнь Андрей собирался посвятить изучению Сибири, он никогда при этом не мечтал совершать открытий, он просто хотел устранять такие же досадные случайности и недоразумения, а ненормальное положение приводить к нормальному. Больше ничего.

Но вот это слово — «открытие» — его взволновало. Очень хотелось сказать его отцу...

Отец, стоя около своей палатки без шляпы, с палкой в руке, нетерпеливо ждал, скоро ли Владимировский закончит беседу с Андреем, и, когда эта беседа кончилась наконец и Андрей тронулся с пригорка вниз, он бросил палку, заторопился навстречу.

Он шел быстро, по-солдатски, но не в такт шагам взмахивая руками и не обращая внимания на полевую сумку, которая то и дело ударяла его по сапогам, болтаясь на слишком длинном ремне.

Он здорово уже был сед, старик; короткие волосы, отступавшие к вискам от большой и выпуклой лысины, были сейчас пронизаны наклонными солнечными лучами, и стало видно, что волосы совсем редкие, что седина их какая-то пепельная, тусклая... Андрей помнил отца с густой шевелюрой...

Соскочив с седла, Андрей взял гнедого в повод, и тот, чуть боком спускаясь с пригорка, подталкивал его в спину теплыми и мягкими губами.

— Здорово, Андрей, — сказал отец.

— Здравствуй...

— Ты что же, один ездил? Так я и знал! Без Лопарева? Без Рязанцева? По технике безопасности одному в лесу нельзя. Да.

— Мы вдвоем, — сказал Андрей и, не оглядываясь, погладил гнедого по теплым, чуть влажным губам.

— Ну, как дела?

— В порядке.

— Устал?

— С чего бы это? Нисколько.

— Есть хочешь?

— Сыт за троих. В Карыме столовую опустошил.

— А что-то похудел. И заметно.

— Наверно, просто так...

Стали расседлывать гнедого, и отец принялся суесться с поклажей, Андрей не возражал. «Не знает батя, мой Тарас Бульба, что там, в рюкзаке. Сейчас удивится, почему тяжелый!»

— Тяжелющий! — проговорил отец, когда в руках у него оказались лямки рюкзака. — Чем нагружил?

— Кое-что... Довольно интересное, я думаю.

— Конечно, — сказал отец, — не все сразу... Передохнешь — посмотрим.

— Покажу и расскажу. Поговорить надо. Есть о чем.

Вершинин-старший выпрямился над рюкзаком и сложил руки на груди.

— Есть... Ты вот что — отдыхай, а если не устал...

— Да нет же, не устал. Нисколько. Вот сейчас и побеседуем. О почвах и вообще...

— Вообще... — повторил Вершинин-старший снова. — Обязательно! — И, все еще держа руки на груди, он внимательно стал глядеть в лицо Андрею, а потом вдруг засмеялся тихо и ласково. Тряхнул головой. Спросил: — А письма есть?

— От матери и еще от Корабельникова.

— Что ты говоришь! Где? — Держа одной рукой конверты, другой Вершинин-старший искал по карманам очки, принимаясь шарить несколько раз в каждом кармане. — Подожди-ка, Андрюха... Схожу в палатку за своими глазами. Сию минуту!

— Не спеши, батя! Пока читаешь письма — я тут кое-что тебе приготовлю!

Может быть, торопиться не следовало, но он уступил желанию показать отцу буроземы немедленно, как можно скорее, сейчас же. Закинул повод за сучок лиственницы, чтобы гнедой не ушел к ручью и не напился раньше срока, расстелил дождевик и, развертывая шелестящий пергамент, стал раскладывать образцы на дождевике. Один ряд, другой. Отец не приходил, и Андрей построил еще два стройных ряда металлических буюкс. Он торопился, отца все не было... Он лег на дождевик и стал смотреть на буроземы.

На него пахнуло запахом мшистых кедрочей, кандыком сибирским, чем-то, от чего на мгновение прервалось дыхание и что заставило его вспомнить, как солнце опускалось в его первый шурф, а он глядел на потное чело, обонял прохладные, еще ночные испарения бурозема и как бы снова слушал Рязанцева, говорившего о перегное...

Теперь солнце не было ни светлым, ни прозрачным. Опускаясь на самое дно неглубокой и узкой долины, оно

отбрасывало в лагерь тени двух машин с пригорка, а между этими черными тенями все покрывало густым слоем желтой охры и красной киновари, особенно эти две краски четко и явственно отражались на образцах бурозема. Как на палитре.

Но и сквозь это незнакомое одеяние Андрей видел до странности знакомую землю, всю в рисунках, созданных зернистой структурой, тончайшими корнями растений и мозаикой вкрапленных кусочков гранита. Как будто это он сам создал все бесчисленное количество рисунков и узоров и сам только что покрыл их слоем охры и киновари.

Андрей слышал, как торопливо подошел к нему отец. Отец опустился рядом на колени — Андрей лежал неподвижно, ждал удивленного отцовского возгласа, а потом его еще более удивленных вопросов, а потом своих ответов на эти вопросы.

В голосе отца прозвучало возбуждение, поразившее Андрея:

— Поздравь меня! И себя тоже поздравь! Наконец-то! Наконец!

Желто-красный пахнущий образец бурозема заслонила рука отца, в руке был тоже красный, почти как солнечный луч, граненый карандаш и листок плотной розовой бумаги... Машинописный текст в самом конце листка был подчеркнут этим карандашом.

«Итак, дорогой Константин Владимирович, если Ваша «Карта растительных ресурсов Горного Алтая» будет готова в будущем году, Вы, вероятно, можете считать себя членом-корреспондентом после ближайших же выборов. Это общее наше мнение. Других кандидатур мы не видим. Все зависит от Вас.

Искренне Ваш академик...»

«Корабельников», — прочел Андрей. Она была ему знакома, эта подпись...

Вздохнул, положил голову на руки, а отец тормозил его, чтобы он оглянулся.

— Ну! Ну, Андрюха! Что ты скажешь? Каково? Сам Корабельников! Ну, скажи, разве я не правильно поступил, когда взялся за составление «Карты ресурсов»? Не лесных, не кормовых, а всех, сколько их есть, растительных ресурсов, и притом на основе почвенной карты Корабельникова?!

Андрей повернулся и сел, обхватив руками колени. Он, и не глядя на отца, мог бы видеть его... Видеть, как

отец тремя пальцами левой руки быстро-быстро поглаживает узкий подбородок то с одной, то с другой стороны, как наматывает на палец длинный ремень полевой сумки, а потом резким движением выдергивает палец из петель... Видеть глаза — яркие, коричневые, выпуклые, с тонкими натянувшимися жилками на белках... Видеть и догадываться по этим глазам о том, что сейчас для отца не существует ни доводов, ни доказательств, ни споров, даже попросту каких-то мнений, не существует для него и чувств, кроме радостного и ненавидимого Андреем возбуждения.

Должно быть, случается и так, что надо говорить даже тогда, когда знаешь, что это бесполезно...

— Накануне нашего отъезда, отец, накануне, да, ты объявил, что будешь работать над своей «Картой» еще два, может быть, и три года... Для пользы самой же «Карты». Корабельниковская почвенная карта, на которой ты строишь свою, тоже неточная, неправильная. Не учитывает, например, что на Алтае существуют буроземы. Вот они. Смотри!

— Может быть, может быть, — ответил Вершинин-старший, скользнув по образцам нетерпеливым взглядом. Потрепал Андрея по волосам. — Ты у меня молодец! Я всегда это знал!

— Как ты думаешь, отец, чье это требование — закончить «Карту» так быстро? Нынче же?

— Науки. Производства. Самой жизни! В конце концов это требование выше меня. Я — солдат, который должен его выполнять! И только! Если хочешь, это даже твое требование, Андрюха. Только ты этого еще не понимаешь! Поймешь! Наша карта нужна нам с тобой сегодня, и она же — наше будущее!

— Так, как хочешь ты, я ничего этого не пойму. Никогда. Скажи: кто непременно требует твою «Карту» здесь, на Алтае? Мы ездим много лет — кто, когда, зачем ее у нас спросил? Ты говоришь — работа на будущее. Но чтобы наше сегодня и в самом деле стало будущим, его нужно отражать очень точно. Точно и честно. Иначе оно будущее не приблизит, а отдалит.

— Будет «Карта» — ее потребуют все, все поймут ее и меня, — ты, твой друг Лопарев, Рязанцев. Все люди, для которых она будет необходима.

— Лопарев уходит от тебя. В лесхоз. Директором. И ему, директору, твоя «Карта» тоже будет ни к чему.

Она нужна Корабельникову, потому что подтверждает его труды. И твоя будет нужна кому-нибудь для того же — чтобы еще что-то подтвердить!

— Лопарев? Уходит? Подозревал! Догадывался! Ну а что он скажет, твой Михмих, когда увидит это письмо? И пусть все будет по-хорошему: о лесхозе я не слышал ничего. Ничего не знаю. Он груб и неблагодарен, но я-то смогу быть выше всех его мелочных обид. Теперь — смогу! Я смогу его простить. Он защитит у меня диссертацию! Через год. Максимум через два! Я умею прощать!

— Он не нуждается в твоём прощении, Лопарев. Он уйдет.

— И что же? Что же ты хочешь этим сказать? Я скажу вот что: не каждый руководитель так воспитывает своих аспирантов, чтобы они рвались на производство. Уж поверь мне — далеко не каждый!

Когда отец нервничал, он говорил всем вокруг, будто никто не умеет себя сдержанно вести; когда терял смысл своих рассуждений — обвинял других в отсутствии всякой логики; когда торопился неизвестно куда — упрекал первого же попавшегося человека в том, что тот суетлив и совершенно неорганизован. Сейчас он замолчал. Андрей же подумал, что вслед за этим его молчанием последует заключение.

Отец сказал:

— Дело надо делать уверенно! Не понимаю, что это все хотят быть умнее друг друга, все спешат куда-то, словно не сегодня-завтра собираются взорваться на атомной бомбе! Да? — Потом уже без выражения вопроса, а утвердительно повторил: — Да! Да! Я последователь Корабельникова и горжусь этим... А в тебе вижу своего последователя. Преемственность прежде всего. Когда-то я последовал указаниям профессора Корабельникова, своего учителя. Что же, сейчас я ему признателен. Да, много лет спустя — благодарен! — Вершинин-старший замолчал, теперь молчание было торжественным. Потом еще раз повторил: — Конечно — благодарен! Безусловно!

— Пора поить лошадь... — Андрей поднялся, сдернул с ветви повод и повел гнедого к ручью, но поить его рано еще было — гнедой не остыл как следует. Андрей видел, как отец взял в руки один, потом другой образец бурозема и положил оба, взял сначала одну, потом другую бюксу, открыл обе, заглянул в них и тоже положил

обратно... Увидел, что Андрей смотрит на него, и громко заговорил снова:

— Молодец! Ты у меня молодец! Давно я хотел тебе об этом сказать, очень давно. И вот говорю: ты у меня молодец! Слышишь? Твои буроземы, твоё открытие не останутся без внимания!

Андрей шел вдоль ручья.

Когда гнедой остыл, он напоил его. Потом снял с шеи гнедого волосяное путо и, пригнувшись, легонько толкнул его плечом. От этого толчка гнедой переставил одну переднюю ногу ближе к другой, Андрей спутал их не глядя, ощупал гладкую деревянную застежку — не проскочит ли она обратно через петлю, потом снял с гнедого узду и погладил его между глазниц. Глаза в сумерках уже немного посинели, а остывший лошадиный пот пахнул остро и сильно.

— Теперь питайся, лошадь. Питание — дело очень серьезное... Для тебя.

Перекинув узду через плечо, Андрей сел около воды.

Года через два или три у старика пройдет этот академический восторг — думал он. Прошел же в свое время восторг кандидатский и докторский тоже! И этот пройдет. Уж он-то знает своего старика — пройдет! А после снова начнутся недомолвки, вздохи и тягостное, еще больше, чем прежде, заискивание. Начнутся...

Но будет поздно. Если уже сейчас старик не может понять, что выход у него один — стать «на равных» со своим сыном, так позже не поймет и совсем. И за себя Андрей тоже не ручается: через два, через три года он еще и еще будет стремиться стать другом своего отца, стать «на равных» с ним или уже не будет? Кто знает, кто знает...

Андрей достал из кармана гимнастерки поздравительные телеграммы от Веги, от Ориона, от своего друга с Таймыра и последнюю, от матери: «Дорогой мой сын ты стал совсем взрослым таким и будь».

Андрей задумался. Он думал очень долго...

Никогда нельзя откладывать главного.

Если бы еще в позапрошлом году он привез образцы бурозема, он давно уже был бы с отцом «на равных».

Зачем отложил самое главное? Поступил как мальчишка?

В палатке женщин слышались голоса... Там внут-

ри светил электрический фонарик. Из двух невнятных женских голосов один что-то в Андрее всколыхнул, куда-то поднял его из нынешнего дня.

Ему захотелось встать, подойти к палатке, окликнуть Риту и что-нибудь сказать ей... Что-нибудь самое обыкновенное и между прочим...

«Ну, как ты здесь — заработалась до потери сознания?..»

Или спросить ее — по-прежнему ли она ходит на скалу, торчит там над самым обрывом?

Но тут же он понял, что и перед Ритой ему теперь стыдно, стыдно и неловко... Упрекал ее, девчонку, упрекал как взрослый. А какое право он имеет на упреки?

Мальчишка! И еще раз — м-мальчишка!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Когда Вершинин-младший, Лопарев и Рязанцев уехали из лагеря, дни потянулись за днями как будто где-то стороной, не касаясь Риты.

Стояла тихая солнечная осень, а Рита смотрела на эти дни, как смотрят на ненастные тучи, когда они медленно и безразлично ползут и ползут в одном направлении. Как будто время кончилось, была только смена никому не нужных, отрывочных, не связанных друг с другом дней и ночей.

Единственно, что Рита могла понять, — что она всегда была несчастной... Оказывается, всегда, всю жизнь!

Школьные мечты ее не осуществились, в горном институте были одни только неприятности, в университете ей было скучно, дома ее неизменно ждали ссоры с отцом и особенно с матерью.

Как это до сих пор она считала себя удачливой, даже думала, будто она — избалована судьбой, замышляла все новые и новые удовольствия, загадывала новое счастье, словно прежние мечты когда-нибудь сбывались?

Была счастлива детским убеждением, что она счастлива, больше ничего...

Хотела подружиться с Онежкой — и погубила ее. Хотела убежать из лагеря — и вернулась. Хотела возненавидеть Андрея — и поцеловала его в избушке па-

сечника. Хотела броситься со скалы — и не бросилась. Не могла на скалу вернуться еще раз и сказала себе, что у нее не хватит для этого сил, что это невозможно. А почему? Почему невозможно?

Хотела полюбить Реутского — и возненавидела его...

Возненавидела, и поэтому теперь, когда Реутский заканчивал сборы и вот-вот должен был уехать из отряда, ей обязательно следовало уйти куда-нибудь, не видеть его. Вместо этого Рита думала: «Прежде чем уехать, он ко мне подойдет и заговорит. А я буду его слушать. Буду. Вдруг поверю каким-то его словам, вдруг он что-то объяснит мне. Чему-то ведь нужно поверить?»

Реутский подошел с продолговатым саквояжем в руке, в широкополой шляпе. За плечами в зеленых чехлах были у него ружья, на ремне — бинокль.

Поглядел ей пристально в глаза, опустил саквояж на землю и, ничего не спрашивая, как будто ни в чем не убеждая, заговорил:

— Я хочу сказать вам, Рита, что вы не вправе обо мне забывать. Никогда! Хотя бы потому, что я никогда не забуду вас. И если через пять, через десять, через двадцать лет кто-нибудь вам скажет, будто я забыл вас, — не верьте! Если когда-нибудь вас постигнут несчастье, разочарование, любые невзгоды и вы вдруг почувствуете, что нуждаетесь во мне, — позовите. Я приду. Что бы мне ни пришлось для этого оставить, чем бы ни пришлось пожертвовать — я приду к вам!

У него были голубые ласковые глаза. Он еще и еще хотел ее убедить, будто бы она ошиблась в нем. А она не ошиблась, она теперь-то и видела его, понимала, и тем страшнее было его желание перешагнуть через все, что она понимала. Он хотел ее заблуждения.

Он говорил неправду и знал, что она знает о его неправде, но говорил.

Его слышала Полина Свиридова — она что-то шила в это время у входа в палатку.

И Реутский хотел, чтобы Свиридова его слышала, чтобы она видела его, когда, повернувшись, он быстро пошел к машине — высокий, стройный и оскорбленный.

Свиридова внимательно смотрела ему вслед.

Запахнул «газик»; Вершинин-старший, будто он был в чем-то виноват перед Реутским, немного смущен-

ный, попрощался с ним, помахал рукой, и — вот и все! — экспедиция закончилась для Реутского; не оглядываясь, он скрылся за пригорком. Широкополая шляпа была еще видна некоторое время.

А пока Лева Реутский удалялся прочь, Рита думала, что сейчас уходят ее мечты о берегах Черного моря и о теплоходе «Россия»... Плохо, что уходили они только сейчас, не покинули ее давным-давно. И в то же время жалко было эти мечты.

Может быть, она могла призвать к себе свое «это»? Но всегда бывало так: стоило ей упрекнуть себя — и оно исчезало, уходило куда-то, оно было недосыгаемо для упреков, и начинало казаться, будто «это» только по ошибке тебе принадлежит.

Нет, все просто и ясно: ей оставалась нелепая и безрадостная жизнь.

Та жизнь, которая неизменно по самому ничтожному поводу жестоко ссорила между собой ее родителей — красивую и злую мать с некрасивым, но добрым отцом...

Которая ограниченную и даже глуповатую тетю «Что такое хорошо...» сделала прямо-таки гениальной по части разных знакомств, особенно тех, о которых ничего не должен был знать тетин муж — самый сильный логик в городе.

Которая погубила Онежку.

Которая только что заставила лгать Реутского, хотя он и знал, что лжет.

Которая заставляет Вершинина-старшего составлять какую-то «Карту», а этой «Карте» не верят ни Лопарев, ни его собственный сын.

Которая делает из добрых людей злодеев, из честных — негодяев, из дружбы — недоразумение, из любви — обман...

Сейчас возьмет и поверит, будто все-все это — все, что у нее осталось. Что по-другому не может быть и не бывает.

Когда-то Рите нравилось изобразить себя ужасной пессимисткой, она не прочь была недолго позавидовать людям отчаявшимся, угадывая в них что-то таинственное, возвышенное и даже героическое.

Но вот отчаяние пришло к ней всерьез: «Поверишь? Или не поверишь? Навсегда?» И откровенная простота мысли, простота, которая раз и навсегда все решала,

ужаснула ее. Она должна была такой мысли отказать. А могла ли?

Можно ли раз и навсегда поверить, что ты и в самом деле такая скверная, такая мерзкая, какой представилась себе однажды на скале, на узенькой тропке около самого края пропасти?

Она этого не знала, не чувствовала, потому что чувства покинули ее. Кроме одного: все время было такое ощущение, будто где-то рядом с нею обязательно должен быть Вершинин-младший, будто ей необходима не своя жизнь, в которой уже ничего не было своего, а жизнь его, Андрея.

Любовь?

Когда прежде она влюблялась, когда увлечение достигало ее — всякий раз это было радостью, далекой от каких-то трудных мыслей. Скорее всего — предчувствием еще не изведенного счастья. Потом это проходило, предчувствия не сбывались, она не огорчалась: значит, все самое счастливое предстояло впереди.

Теперь она вполне разумно могла себе объяснить, что за человек Вершинин-младший.

С ним нелегко быть рядом.

Он некрасивый, грубый. Всегда один и тот же глуховатый голос, почти одно и то же выражение лица.

Но он как будто пользовался неограниченным доверием к себе всего окружающего мира — что-то знал о нем и о своей жизни в нем, чем-то очень толково всегда готов был распорядиться. И если все-таки с ним рядом быть — он и тебя этой уверенностью щедро награждает.

Что бы с ним ни случилось, он всегда будет у себя дома среди этих гор и лесов, среди людей и всего того, что отвергло ее — Риту Плонскую. Ему были чужды ее тревоги, ее растерянность, и, должно быть, поэтому рядом с ним она и сама избавилась бы от них.

Зато в его отсутствие она теперь особенно ощущала и свое бессилие, и свою отверженность.

Она умела доверять только себе, но сейчас доверилась бы каждому, кто объяснил бы ей: неужели может быть такая безрадостная любовь?

В лагере было тихо.

Рите казалось, будто она здесь не вся, а только какой-то своей частью, вся же остальная она бродит высо-

ко в горах по узким тропам и никак не может подать оттуда голос.

Изредка появлялся Владимировский, привозил из ближайшего поселка молоко, еще кое-какие продукты и нервным фальцетом нарушал тишину этих дней.

Рита подолгу сидела у костра, дожидаясь, когда наконец в палатке уснет Свиридова, или сама забивалась в спальный мешок, едва только начинало смеркаться, и делала вид, что тотчас засыпает. Свиридова обращалась к Рите на «ты», Рита же говорила ей «вы», должно быть, потому, что, как бы сурово Рита до сих пор ни судила себя, как бы она ни была равнодушна к людям, какой-то невысказанный приговор Свиридовой внушал ей страх.

Она догадывалась, что у Свиридовой нелегкая женская судьба, и эта судьба давала ей право судить других — ее, Риту Плонскую, прежде всего.

Казалось, что Свиридова знала все жестокие слова — все до одного! — которые Рита в этой же палатке говорила когда-то Онежке... Когда они спорили об Андрее. Когда Онежка жаловалась ей на свои боли.

По ночам было свежо, в холодном воздухе холодно звенели ручьи, луна гасила звезды, а между тем лунный свет совсем почти не касался земли, не проникал в лес, и, только вглядываясь в двойное полотнище палатки, можно было различить, что полог с одной стороны едва-едва светлее, чем с другой.

И вот однажды, когда Рита, чуть высунувшись из спального мешка, угадывала, где палатка темнее, а где она светлее, Свиридова вдруг заговорила:

— Ты знаешь, Рита, Лев Реутский совсем не настоящий человек. Тем более не настоящий мужчина. Нет!

Рита притихла, не могла ответить, подать голос...

Свиридову это не остановило:

— Мужчина не сделал бы так... Нет, не сделал бы. Не стал бы прощаться с тобой, как прощался Реутский.

— А как бы сделал мужчина?

— Ушел бы молча. А если бы встретился когда-нибудь очень не скоро, через много-много лет, так и не узнал бы тебя первым, чтобы ты решила сама — узнаешь ты его или не узнаешь. — Замолчала... — Тебе нравится Андрюша?

Этот вопрос вот так же ночью Рита сама задавала Онежке.

— Не знаю... — ответила она. — Не знаю.

И тогда Полина засмеялась. Очень тихо засмеялась.

— А вам? — спросила Рита.

— Настоящий...

С отъездом Андрея, Лопарева и Рязанцева в лагере как будто меньше стало работы.

Свиридова и Рита делали расчистки, а Вершинин-старший, что-нибудь подсчитав и записав, приходил к ним в лес и без конца говорил о том, что нужно торопиться, что времени остается мало, а предстоит еще большой объем полевых работ.

Он был очень нетерпелив, старший Вершинин, и Рита знала почему: ждал возвращения Андрея.

Как ни было тяжело Рите ждать, она не хотела, не могла делить своего ожидания еще с кем-нибудь, хотя бы и с Вершининым-отцом. Мысленно она обращалась за помощью к Свиридовой, подолгу не спускала с нее глаз, следила за выражением ее немного детского и в то же время очень строгого лица, за быстрыми, даже резкими, движениями ее рук... Иногда она видела только краешек вязаной красной кофточки — но все-таки видела.

Сдержанность этой женщины, которая как будто бы все могла узнать и все понять, но то и дело не хотела ни знать, ни понимать ничего, еще и еще приводила Риту в смятение, про себя она называла Полину бессердечной, и это было легче, чем вместе с Вершининым ждать Андрея.

Свиридова однажды назвала Андрея «настоящим», и, хотя потом замолчала, не сказала о нем ничего больше, Рита не могла этого забыть.

А Вершинин ждал сына, но ничего о нем не говорил, гораздо чаще он вспоминал почему-то Лопарева, особенно — Рязанцева.

Заочно он очень охотно и горячо с Рязанцевым спорил, заново начинал с ним прежние дискуссии, неизменно теперь в этих дискуссиях брал верх и говорил Полине:

— Вот он, ваш друг-приятель! Неглуп. Последователен. Не без достоинств.

Полина же молчала, глаза становились у нее темнее, когда она Вершинина-старшего слушала, но один раз она его спросила:

— И что же, Константин Владимирович, Рязан-

цев нынче попортил вам крови? Неужели он это может?

Вершиния взмахнул палкой.

— Представьте — может. И даже очень. Говоря вообще — очень может!

Рита отряхнула с рук перегной, в котором они с Полиной считали древесные семена, выпрямилась и вдруг сказала Вершинину:

— Просто-напросто Николай Иванович каждый день вас в чем-нибудь опровергал... Между прочим. Не торопясь...

Вершинин долго смотрел на Риту... Поковырял палкой перегной.

— Что такое? — спросил он у кого-то, кажется, у самого себя. — Вот именно — что такое! Нынче у меня одна опора — Владимировгорский! Всем остальным доставляет удовольствие немилосердно на меня капать. Вот и ей, — он показал палкой на Риту, — и ей то же самое... — Потом он вдруг улыбнулся: — Вернется Андрюха, сын, мы с ним вдвоем еще... Мы с ним перед самым отъездом в маршрут уже кое о чем договорились! Твердо!

Полина же тихо сказала Рите:

— Это ты напрасно...

И то, что Вершиния-старший не вспылал, не рассердился на Риту, а даже как будто бы ласково ее простил, и то, что Полина очень строго, даже грубо сказала ей «это ты напрасно...», а больше ничего не сказала, — весь тот день с полудня и до глубокой ночи сделали для Риты еще более тяжким.

И утро следующего дня тоже было таким же, а к вечеру вернулся Андрей.

Увидев его верхом на лошади, все в той же рваной шляпе, Рита забилась в палатку, легла поверх спального мешка и, зажав голову обеими руками, стала глядеть через приоткрытый полог.

Уже через минуту она возненавидела Владимировгорского потому, что он задержал около себя Андрея какими-то глупыми вопросами. Вопросов не слышно было, но другими они не могли быть.

Восстала против старшего Вершинина: он стоял, сложив руки на груди, и глядел на сына, словно на памятник своему собственному отцовству, а полевая сумка раскачивалась на нем в это время туда-сюда, и время текло нестерпимо медленно.

Но потом все эти переживания оказались сущими пустяками. Они в одно мгновение ими стали, потому что на ее глазах Вершинин-старший обидел Андрея.

Рита еще никогда не видела Андрея обиженным...

Уже давно она страстно хотела обидеть его сама, хотела, чтобы кто-нибудь обидел его при ней; ждала, когда же нанесет ему обиду отец. И вот дождалась.

То, что она увидела — сразу ссутулившуюся фигуру Андрея, лицо совершенно без всякого выражения, походку — медленную, незнакомую, — заставило ее снова почувствовать свою вину... У нее не было ни капли сомнения в том, что это она во всем виновата, она этого желала, и вот желание осуществилось: Андрей обижен.

Оставив образцы почв на разостланном плаще, Андрей сказал отцу, что пора поить лошадь, и ушел от него на берег ручья.

Он долго-долго сидел там, держа лошадь в поводу, а Рита смотрела на него, стоя неподалеку за стволом огромной лиственницы. Знала, что не должна подходить к нему близко... Уходила и снова возвращалась.

Сколько раз она твердила раньше: «Нам — женщинам...», «Мы — женщины...», «Нас — женщин...» — и никто не мог ответить ей, что это значит. Без размышлений ответил Андрей, когда сказал: «Женщина будет такой, какой хочет видеть ее мужчина. Смелой так смелой. Красивой так красивой. Тряпкой так тряпкой!»

Она же в ответ назвала его мальчишкой: «Откуда тебе известно, мальчишка?»

Зачем сказала так?

Для нее он уже тогда был таким, каким для других когда-нибудь будет. Мальчишкой он мог быть для всех, для нее он был мужчиной. Какой он захочет увидеть ее, этот мужчина? Мерзкой? Скверной? Навсегда несчастной? Любящей? Счастливой?

Прошел еще один день...

Вершинин-старший час от часу суетился все больше и больше, доказывал, будто это преступление — столько времени проводить на одном и том же месте, что давно пора двигаться к новой и последней стоянке, пора свертывать экспедицию, возвращаться в город и заняться там окончательной камеральной обработкой полевых материалов.

И лагерь уже снялся бы, но все еще не возвращались Рязанцев и Лопарев. Приходилось их ждать.

Поспешность Вершинина-старшего пугала Риту. Она догадывалась о какой-то неправде всей их экспедиции, которую так легко было и свернуть и развернуть, доказывая, что над «Картой» необходимо работать еще несколько лет, а спустя день-другой — что ее совершенно необходимо закончить нынче же.

Эта неправда мучила прежде всего Андрея, а глядя на него, и она мучилась тоже.

Теперь ее пугало, что завтра она может и не увидеть горных вершин, которые день ото дня все плотнее, все ниже закутывались в белые пологи, — там шли и уже не таяли снега; не увидит узкой и покато́й долины, по которой, пенясь, сбегал ручей и, минуя лагерь, прыгал еще ниже, рассекая почти отвесную гряду желтоватых скал. По этим скалам, она знала, вьется тропа, проложенная косулями. Она боялась, что Вершинин-старший раньше срока снимет отсюда лагерь.

Потом вернулись Рязанцев и Лопарев...

Вернулись они после обеда, а нужно было еще отвести лошадей в колхоз, и лагерь снова не мог сняться с места. Вершинин-старший делался все более нервным:

— Срываем, срываем государственное задание!

Он говорил это каждые полчаса.

Рязанцев сильно загорел, оброс бородкой, в нем стало как будто меньше интеллигентности. Он стал чем-то немного похож на Лопарева, Лопарев же, сдержанный и задумчивый, наоборот, напоминал теперь Рязанцева.

Но хотя Лопарев и выглядел спокойным, уравновешенным, он все равно каждую минуту мог сказать что-нибудь такое, что еще больше выведет Вершинина-старшего из себя...

Рита знала, что теперь она не любит Вершинина-отца, может быть, даже ненавидит его и никогда не простит ему обиды, которую он нанес Андрею.

И все-таки она готова была оберегать Вершинина-старшего, боялась, что Лопарев рассердит его, а тогда он еще раз обидит Андрея...

И действительно — ее тревоги были не напрасны.

Разговор начал Вершинин-старший, а Рита была в своей палатке, все слышала.

Вершинин спросил:

— Это верно, Михаил Михайлович, что...

О чем именно спросил Вершинин-старший, Рита не поняла, Лопарев же ответил четко, словно солдат:

— Так точно! А это верно, что вы уже сматываете экспедицию? Что «Карту» собираетесь выпустить к весне? Вместе со скворчиками?

Как бы подражая Лопареву, Вершинин ответил очень бодро:

— Точно так!

Шутка не удалась, и Вершинин принялся что-то горячо и быстро объяснять. И вдруг он замолк, прервал себя для того, чтобы найти слова, которые нелегко и не просто приходили к нему...

— Хотите поиграть... поиграть... поиграть... — но не знал, во что хочет поиграть Лопарев. Наконец Вершинин нашел то, что искал. — Поиграть в правду! — сказал он громко, насмешливо и вызывающе.

Тихо стало... Вершинин, должно быть, думал над тем, что он сказал, Лопарев — над тем, что услышал. Ни тот, ни другой не произнесли ни слова, пока пауза не иссякла.

Потом Лопарев ответил:

— Играйте вы! Играйте с вашей козырной карты ресурсов! У вас получается!

Рита бросилась из палатки: слышал или не слышал все это Андрей? Его не было поблизости.

Не было, но Рита снова подумала о нем и поняла, что ей нельзя было дальше ждать. К лучшему ничто не менялось. Солнечные дни казались ей хмурыми, бесцветными, беспорядочными, они приходили как будто против своего желания. Все, что происходило в эти дни, не имело никакого смысла.

А мог ли какой-то смысл ей помочь? Она теперь рассуждала много и упорно, до изнеможения, но ни разу ее рассуждения не принесли ни капли радости, не успокоили ее ни на минуту.

Если она и могла еще надеяться на что-нибудь — так только на свое безрассудство. Больше ни на что.

Она решила.

Посмотрелась в зеркальце, но руки у нее дрожали, она же не хотела видеть себя испуганной. Как будто не ее, а чье-то чужое лицо промелькнуло перед нею.

Хотела надеть шаровары, майку и шляпу, в которых была когда-то в избушке пасечника, но подумала, что не надо терять время, разыскивать все эти вещи в рюкзаке.

Повязавшись платком, в стеганой курточке вышла из палатки...

Андрей увязывал гербарные папки. Она подошла к нему. Молча встала рядом. Андрей оглянулся. Рита стояла и смотрела на него. Он оглянулся еще.

Наконец спросил, положив на землю папку:

— Чего тебе?

Она засмеялась в его серьезное и недоуменное лицо не оглядываясь пошла по течению ручья.

Миновала округлые каменные глыбы, поднялась к желтовато-белым мраморным скалам, с которых открывался вид на долину, на лесные края, на далекие снежные хребты.

На все это — что было вблизи и что было вдали — она бросила взгляд, а потом, кажется, уже ничего не видела.

Вот и отпечатки ее каблучков на каменной крошке этой тропы — едва приметные, крохотные углубления в страшной близости от обрыва. Здесь она остановилась и медленно-медленно стала приближаться к пропасти, пока не почувствовала, что каблучки ее ботинок стали в эти углубления.

Просто и легко было стоять здесь в первый раз и страшно теперь! Голова кружилась, сердце стучало глухо-глухо.

Только на один шаг ей нужно было отступить, только на полшага, на четверть шага, чтобы избавиться от этого ужаса... Неужели она в самом деле упадет? Неужели это может в самом деле случиться?

Хотела припомнить козулю — и не припомнила.

Хотела представить себя в детстве, отца, мать, тетю «Что такое хорошо и что такое плохо» — и не смогла. Ничего не представила.

Как будто послышался шорох, кто-то стоял позади нее — Рита не оглянулась.

Страшно!

— За баловство — не то будет! — сказал Андрей, с силой сжав ее руку.

Лицо у него было в серых пятнах, маленькие глазки открылись широко и тревожно, а в руках у него были тепло и сила, которые могли совершить неизвестно что. Вот если бы этими руками он удержал ее в избушке паечника, еще тогда, когда ей так просто и беззаботно было поцеловать его?

Андрей посадил ее на камень... Кажется, камень был тем, на котором, вся освещенная солнцем, стояла когда-то косуля... Рита улыбнулась и поверила в свое предчувствие: ее «это» уже было совсем близко, она ощутила его прикосновение. Андрей сел рядом и молча смотрел ей в глаза снизу вверх.

Потом приподнялся и положил руки ей на плечи...

— Надо же быть такой... — Не нашел слова и повторил: — Надо же быть...

В лагерь они вернулись, когда было уже совсем темно. Но их, кажется, еще не ждали, а ждали Лопарева, который отправился в колхоз, чтобы вернуть лошадей. Лагерь был готов на рассвете двинуться к новой и последней стоянке.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Вертолет покачнулся, будто переступая с ноги на ногу, вправо, влево, снова и очень заметно накренился вправо и не полетел, а только неуклюже приподнялся над кустами, потом над вершинами деревьев. Как будто вот-вот снова собирался опуститься на землю, а между тем высота становилась все больше, и, кренясь на правый борт, все так же неторопливо он стал разворачиваться, повторяя в воздухе ту самую дугу, которую на земле описывал небольшой зеленоватый ручей.

Рязанцеву приходилось летать и на Илах, и на Ту, и на многих других машинах из Сибири в Москву и обратно, из Красноярска в Норильск, из Новосибирска в Якутск, но всякий раз это, казалось, были не полеты, а передвижение — удобный, быстрый способ передвижения.

Ощущение же полета неизменно оставляли в нем небольшие двух- и трехместные машины — амфибия Ш-2, именуемая «шаврухой», «кукурузники» По-2 и особенно Як-12.

Эти машины летают небыстро, низко, и земля под ними видна во всех ее подробностях: дороги, реки, дома, люди — все рядом, ничто не уходит прочь и вдаль, остается самим собой, а не превращается в изображение, подобное карте или мелкомасштабному плану. Остаешься среди всего земного, только видишь его сверху, а переживаешь, должно быть, то самое изначальное чувство полета, которое пережили люди, с по-

мощью искусственных крыльев парившие вниз с колоколен и башен. Икар тоже это чувство должен был пережить.

Полет кажется тем более ощутимым и естественным, что можно видеть все движения летчика, его лицо и наблюдать, как, выжимая рычаги, он идет вверх, вниз, вправо или влево.

На вертолете Рязанцев поднялся впервые и был доволен тем, что случилось это среди природы, среди гор и лесов, где по-другому ни подняться, ни приземлиться попросту невозможно. Скоро пассажиров станут перевозить из Внукова и Шереметьева в Москву на комфортабельных вертолетах, пассажиры будут капризничать, сетовать на минутную задержку, потому что одному срочно нужно быть в министерстве, а другому — в ванне, и ничего они не будут испытывать, никакого чувства полета, одно нетерпение! Жаль, что так будет!

Как только Рязанцев поднялся в воздух и посмотрел вперед и в стороны, ему показалось, будто он уже не в первый раз летит вот так и отчетливо видит сверху эти самые горы, этот ручей и этот маленький аэродром — две избышки, цистерну с горючим и полосатый указатель направления ветра. А ведь знал, что он их не видел никогда прежде...

Полеты должны были продолжаться три или четыре дня, но существовало одно «если» — если позволит погода.

Был очень хорошо виден лес. С большой высоты лес кажется зеленым контуром причудливых и все-таки почти всегда геометрически правильных очертаний; когда он очень велик, когда это тайга — она представляется какой-то безжизненной стихией, как и само небо; лес же вблизи — это опушки и отдельные деревья. С вертолета лес был виден и вдали и вблизи, жизнь его открывалась взгляду, ничего не утаивая... Среди кудрявого кедрача давно-давно когда-то появилась одна лиственница, и она обсеменила вокруг себя поляну, а теперь можно было различить и эту материнскую лиственницу, и молодую поросль, распространившуюся в направлении господствующих ветров, и те кедровые, которые лиственницей уже начали угнетаться. Большая гарь оставалась слева, по гарю и по ветролому, который образовался, потому что ветер валит наземь прежде всего мертвые деревья, — буйно разросся папоротник. Вблизи ручья лес выглядел погуще и позеленее, на середине склонов деревья были

словно стандартные, одно к одному, на вершины взби-
рались одиночки.

Все было видно: где лиственница теснит кедр, где —
кедр лиственницу; где в тени таится ель, чтобы потом,
набрав сил, все вокруг заглушить; где пролегает ма-
ралья тропа и сам рогатый марал вошел в густой куст
и думает, будто никто на свете его не видит... Так четко
были видны отдельные деревья, что на ветвях легко
различались бусинки шишек...

Был виден среди толпы деревьев огромный тысяче-
летний кедр.

Он стоял, развесив ветви, под которыми курился си-
зый, чуть заметный и таинственный дымок, занявшийся
от сока деревьев, трав и мхов.

Показалось, будто этот кедр уже встречался ему
нынче не однажды — то вот так же в глубине леса, то
над пропастью, то на открытом склоне...

Лес цвел дневным осенним цветом.

Когда цветут цветы, они вспыхивают яркими ле-
пестками и вскоре угасают. Лес цветет всегда, преобра-
жаясь столько раз, сколько раз над ним проплывают об-
лака, сколько раз освещают его луна и звезды.

Он цветет не только сам по себе, но и красками всего
окружающего мира, — в нем оттенки трав и туманов,
облаков, озер и рек, а если где-то на лес набегают степь,
он впитывает и степные оттенки. Уже закатится солнце,
земля погрузится в сумерки, а лес все еще вершинами
своими ловит в высоте солнечные блики. Иногда одна
какая-то вершина вдруг привлечет к себе яркий луч
и сияет долго-долго, и по стволу ее, едва не достигая
почерневшей уже земли, струится почти дневное
солнце.

Очень прост цвет леса. Неярок. Незаметен. Но когда
Рязанцев произносил слово «цвет», он всегда вспоминал
другое — «лес».

Машину вел совсем еще молодой пилот, почти
мальчик.

Он чувствовал себя в кабине как дома — повесил
позади себя фуражку с серебристой эмблемой, рассте-
нул воротник, распечатал пачку сигарет и положил ее
в карман так, чтобы в любой момент можно было вытя-
нуть сигаретку.

Слева от Рязанцева сидел Иващенко — пожилой,
видавший виды лесоустроитель. Он был молчалив...

Пролетели над лагерем высокогорного отряда.

Там были Вершинин-старший, Владимировгорский и Полина. Полина стояла, подняв голову и заслонясь ладонью от солнечных лучей, которые очень ярко освещали ее руку. Она была в платочке, в красном свитере, в темных шароварах и в сапогах. В уменьшенном виде и в каких-то общих своих чертах она никогда еще перед Рязанцевым не возникала, тем не менее он узнал бы ее и среди тысяч женщин в красных свитерах.

Специально для Вершинина-старшего сделали круг и сбросили вымпел: «Все в порядке. Летим на задание».

Вершинин вымпел поднял, прочитал и помахал руками крест-накрест. Он всегда утверждал, что назубок знает морскую сигнализацию.

Вид сверху на лагерь, трогательно маленький, затерявшийся среди лесов и гор, в котором, однако, все было как всегда и как должно быть: палатки, крохотное кострище, от которого слегка тянуло прозрачным дымком, блестящая на солнце утварь — ведра и миски, примятая трава, тропинка к ручью, — еще раз и еще больше приблизил Рязанцева к земле, но только не к маленькому ее островку, видимому с высоты человеческого роста, а к земле с ее протяжением и пространством, в котором легко и как-то естественно двигаешься, отмечая в поле своего зрения лагерь, сразу несколько вершин, хребтов и рек и ту даль, которой земля не торопясь развертывается тебе навстречу.

Эта готовность земли открываться человеку неизменно вызывала у Рязанцева возбуждение, желание двигаться все дальше и дальше, и еще возникало при этом какое-то нетерпение, потому что все увиденное представлялось не главным, главное же как будто оставалось за горизонтом. «А вдруг так и не увидишь это главное? Никогда?»

Рязанцев мысленно спросил себя: «Возраст, что ли?» И пока летели к высоте 1406,6, откуда предстояло корректировать аэрофотоплан, он все больше убеждался, что это — возраст. Не только его собственный, но и возраст того времени, в котором он жил...

Легко судить прошлое — упрекать его или завидовать его простоте...

В начале века томский профессор Василий Васильевич Сапожников с одним-двумя студентами, а иногда только в сопровождении своей дочери Наденьки, навьючив лошадок и наняв проводника, из года в год кочевал по Горному Алтаю, и все, что видел вокруг и что

он записывал в путевой дневник — названия сел, рек, перевалов, трав, минералов, — все это становилось наукой, все составляло капитальные труды «Пути по Русскому Алтаю», «Монгольский Алтай» — все звучало лирической и гордой песней первооткрывателя.

«...Дни, полные напряженной работы, — записывал Сапожников, — сопровождаемые новыми открытиями, чувствуются не даром прожитыми. Несмотря на крайнее физическое утомление, где-то глубоко живет и радуется существованию другой, бодрый и неуставший человек. Эту здоровую радость бытия в исследовании завещаю моим друзьям и ученикам».

Еще мальчишкой, вместе с Василием Черновым и Сеней Свиридовым, мечтая о путешествии на Алтай, к таинственному населенному пункту Усть-Чара, Рязанцев побывал на заседании местного географического общества, где читались страницы из дневников Сапожникова. Значительно позже он прочел его труды. Страницу за страницей, книгу за книгой.

И когда он прочел все, он увидел, что науки в том смысле, в котором он ее нынче понимал, в этих книгах не было совершенно. Было что-то похожее на песню казаха-пастуха: «Еду на белом коне, по правую руку вижу голубую сопку, по левую вижу зеленую траву, а впереди ничего не вижу — там солнце ярко светит...»

Вот когда Рязанцев понял трудности проторенных дорог и даже позавидовал тем еще недавним годам, в которые так просто можно было стать первооткрывателем!.. Понял, что прошло время, когда в поисках Индии можно было открыть Америку, а географию петь так же, как поют свои песни пастухи-казахи.

В словах Сапожникова по-прежнему был для него призыв, но еще больше сомнений: какой же нынче должна быть география?

Как будто и нельзя уже было первооткрывать землю, а между тем разве вся она была теперь известна и понятна?

Еще в школе география стала для Рязанцева целью, и, как всякая цель, она была ясной, сияющей, а главное — единственной.

Он повзрослел, а география как будто так и осталась в школьном возрасте — существовала как предмет, изучение которого заканчивается в девятом классе.

Прямо из девятого класса она вступала в жизнь.

А как жизнь с ней обходилась? Дробила ее на части — на геологию, гидрологию, геоботанику, климатологию — и каждую часть приспособлявала к задачам сегодняшнего дня, каждой в отдельности позволяла достигнуть некоторых успехов, а в завтра Земли — цельной и нераздельной — география заглядывала редко-редко.

Тем самым жизнь как бы изменяла самой себе, но только с помощью науки, с помощью любимой Рязанцевым географии.

Химия проникала в физику, а физика — в химию. Эти науки нашли достаточно сил и здравого смысла, чтобы понять, что они смотрят на одни и те же предметы и явления, только с разных сторон. Вот уже и математика проникает в биологию. А когда проникнет она в географию?

Многие науки шли нынче от достижения к достижению, потрясали мир грандиозными открытиями, но еще больше потрясали самих себя, потому что открытия эти были невиданными средствами дальнейшего развития их самих.

География такого открытия не совершала.

Другие науки смело выдвигали человека в те сферы, где ему было легче всего, — физика вручала ему атом; механика вот-вот обещала вывести его в космос, туда, где нет сопротивления движению.

А где эта сфера была для географии?

Должно быть, с тех самых пор, как человек научился видеть, слышать, осязать, обонять, — он и природу привык подразделять на видимую, слышимую, осязаемую, обоняемую... Подразделять, подразделять...

Она же была цельной и нераздельной.

Рязанцев видел эти связи, чувствовал их. Чувство было для него правдой, но он не мог правду выразить, как должен был. Ни устно, ни письменно.

Никак...

Он легко мог судить и Сапожникова, и таких классиков, как Докучаев или Воейков, с позиции своего времени, но все, чего достиг он сам, было лишь незначительным развитием их мыслей и открытий.

Он путешествовал нынче... Палатки, костры, планерки, которые так любил Вершинин-старший и не любил младший, хлопоты шофера Владимировского, пути-дороги, которыми двигался отряд, необыкновенной красоты пейзажи, шумы леса, ручьев и трав — все это

и еще множество других событий и впечатлений создавало настроение бодрой и, казалось, истинной озабоченности отряда.

Но ведь о каждом растении, о каждом минерале, о каждой тропе на Горном Алтае столько было уже написано, что так называемые научные факты давно составили океан. И вот твоя судьба в этом океане фактов — либо раствориться в них, еще увеличить своим существованием уже бесконечную их сумму, увеличить число научных отчетов, маршрутов, дневников и диссертаций, увеличить какой-то непостижимо огромный накладной расход, который и без тебя уже тяжким бременем ложится на каждое подлинное и значительное научное открытие, либо достигнуть каких-то обобщений, по-новому увидеть уже тысячу раз виденное до тебя, добиться той правды, которую ты только угадываешь, только чувствуешь... Как добиться?

Давно уже возникали перед Рязанцевым все эти вопросы, споры с Вершининым обострили их еще.

Долго думал Рязанцев о Вершинине: как его понять?

Он догадывался, почему профессор то и дело говорил: «Нет на вас Барабы!», «Не поседели вы на Барабе!» — и гладил при этом свою лысину.

Рязанцев восстановил в памяти труды Вершинина тридцатых годов, вспомнил и его выступления на ученых советах и научных конференциях и, кажется, понял, что значат для профессора эти восклицания.

Но упрекнуть Вершинина Барабой он не смог бы: земля — такая трогательно знакомая, простая — и там и здесь могла обернуться Барабой, и Рязанцев не понимал тех географов, которые этого не хотят понять.

Тревоги у них с Вершининым были одни и те же. Дело было в том, что Вершинина эти тревоги ввергали или в отчаяние, чуть ли не в истерику, или же он готов был все сомнения отбросить начисто, судя по обстоятельствам. И Рязанцев сказал себе в конце концов: «Союзник. Но с таким союзником труднее, чем с противником!..»

Всё еще летели по прямой к высоте 1406,6, не торопясь, минуя одну горную складку за другой. Алтай виден был далеко, без остроконечных скал, почти без троп и поселков — Алтай между Катунью, Телецким озером и его притоком, рекою Чулышман, а Рязанцеву казалось, будто он видит всю Сибирь, чувствует Азию, и почти одновременно с теми сомнениями, которые так

сильно тревожили его, он испытывал сейчас мальчишескую радость оттого, что самое первое в жизни ощущение Азии никогда не изменяло ему, а подтверждалось всегда. Сейчас подтверждалось снова.

Пришло оно и на Алтае, только на западных его отрогах, в верхнем течении Иртыша.

Он поднялся тогда на безлесную вершину, и дали вот так же открылись ему бесконечным множеством округлых, безлесных, но будто подернутых лесною дымкою вершин, уходящих к горизонту через совершенно равные расстояния. Было ли такое освещение, или вершины эти, соединенные в цепи, чем дальше, тем становились понемногу все выше и выше, — только они не сливались между собою, и самая последняя цепь, замыкающая поле зрения, очень далекая, все равно была четкой и ясной, хотя за нею уже ничего не было, кроме прозрачного неба, опять-таки точно такого же, какое стояло прямо над головою...

Это бесконечное повторение одного и того же пейзажа, одной и той же, будто отраженной в огромных зеркалах картины, этот ритм и вызывал в нем ощущение Азии.

По существу, Рязанцев был азиатом — только окончив университет, он впервые перевалил через Урал с востока на запад, посмотрел в лицо Средней России — задумчивой, неяркой, а если сильной, так прежде всего своею сдержанностью, тем самым, что в поэзии зовется подтекстом.

Он был встревожен тогда и взволнован. Среди множества других стран он тотчас узнал бы свою родину. Она была такой, какой должна была быть, ничуть и ничем не обманув его...

Но Сибирь по-прежнему оставалась его делом и его помыслом, заставляла думать над тем, как же он ее видит, в то время как русские равнины от него этого не требовали, они тотчас ему сами открылись.

Сибирь, в которой он провел всю свою жизнь, он, оказывается, еще должен был открыть для себя. И Рязанцев искал случая и, вероятно, нашел бы его довольно скоро, но тут началась война.

Сама война и облик тех стран Европы, по которым Рязанцев прошел с зенитной батареей, заглушили в нем это стремление, так что когда на переформированиях он вспоминал свое прошлое, то казался себе нелепым чудачком. Однако стоило ему вернуться из Европы и снова

перевалить Урал, как к нему вернулась и эта «причуда».

Поездки в Москву и другие города за Урал следовали одна за другой, и, возвращаясь, Рязанцев каждый раз проверял себя, спрашивая: что же нового он видит в Азии, чего не было в Европе?

Оказывается, ничего.

Но и «ничего» было чем-то азиатским...

Ничего нового за Челябинском или Шадринском — те же травы и кустарники, тот же плоский рельеф...

Но было одно ощущение в Средней России, когда он видел там трогательный, милый сердцу и замкнутый со всех сторон пейзаж с неизменными березками на первом плане, и совсем другое — когда на протяжении сотен километров тот же березовый колок словно повторяет и повторяет сам себя; одно чувство вызывает лес с опушкой, с молодняком, выбежавшим на поляну, и другое — тот же лес, но бесконечный — тайга; одну картину создает поросшее мхом болотце, и другую — заболоченное пространство от горизонта до горизонта — тундра.

Повторение, этот ритм снова и снова завораживал, и в то время как там, в России, вглядываясь в природу, он останавливался надолго, здесь для него возникала необходимость двигаться вперед и вперед, поддаваясь ощущению все того же ритма и чему-то бесконечно удивляясь.

Удивление Рязанцева никогда не смущало, разве только в детстве он стыдился его. Знания, которые он приобретал, ничуть удивлению не мешали, наоборот, он припоминал, что с возрастом люди удивляются больше: ребенку все понятно, для него все закономерно. Древние, представив себе, будто мир покоится на спинах рабочих китов, ничуть не удивлялись этому обстоятельству.

Пространства Азии словно выдвигали Рязанцева на край земли, на самую границу с космосом, в котором уже вычерчивали свои орбиты искусственные спутники и куда вот-вот должен был проникнуть человек. Сам же Рязанцев уже привык к тому, что иной мир, в котором все «не так» — «не то» пространство, «не тот» счет времени, «не те» представления о жизни, — как будто вплотную придвинулся к миру «этому» — обыкновенному, сегодняшнему.

Ощущение почти доступной границы между «тем» и «этим» обостряло в нем еще и другое чувство — будто он живет на границе двух различных времен, когда кончается одна история человечества и начинается другая.

Так со всеми своими сомнениями, догадками и предчувствиями, которые внушала ему земля всякий раз, как она открывалась ему навстречу, и которые появились в нем и давно и недавно, может быть, только в этом полете, Рязанцев приблизился к высоте 1406,6.

Это была приплюснутая сверху сопка, хорошо различимая на фотоплане в виде чуть белесого пятнышка, а в натуре покрытая разреженным кедрово-лиственничным лесом по северному склону и буроватыми каменными глыбами по южному. Еще издали ее можно было заметить среди других таких же сопкок: на вершине возвышалась триангуляционная вышка, блистающая свежеспиленными бревнами.

Когда пролетали прямо над этой вышкой, она стала почти неразличимой — несколько деревянных порывевших перекладин крест-накрест и больше ничего, но, когда зашли справа, это снова был ажурный и стройный маяк, воздвигнутый человеком среди бесконечных темно-синих гор, кое-где перемежавшихся желтоватыми каменными россыпями и молочными пятнами снегов.

На маяки всегда нужно смотреть издали. Рязанцев кивнул Иващенко, они расправили на коленях аэрофотопланы, подложив под них по толстому куску картона, и стали внимательно обозревать местность — Рязанцев с правого борта и вниз, в стекло почти под самыми ступнями ног, Иващенко — вниз и налево.

Темные контуры плана — одни чуть светлее, другие словно залитые черной тушью — представились на земле то разреженными, то густыми лесами, белесые пятна были в действительности каменными россыпями, а тонкие причудливые извилилки — зеленоватыми ручьями.

Эти ручьи и речки помогали Рязанцеву быстро ориентироваться, он прокладывал на плане курс вертолета, а справа от линии курса уже не составляло труда нанести все те подробности, которые требовались для «Карты растительных ресурсов Горного Алтая».

А потом были второй и третий дни полетов.

Вертолет возвращался к базе лесной авиации, они ночевали в небольшой, жарко натопленной избушке,

с утра механик долго осматривал машину, гонял мотор, потом заправлялись горючим и летели.

Один раз зашли далеко на запад, стала видна полоска тракта, пересекающая горы, и тут Рязанцев вспомнил о Елене Семеновне Парамоновой — жене директора маралосовхоза.

Теперь Парамонов был уже бывшим директором.

Недавно где-то в этих местах отряд ехал по тракту, и, когда миновали небольшое село, решили покрепче закусить в чайной.

— Стоп у ресторации! — крикнул Вершинин-старший Владимировскому.

Остановились. Но тут встретили объявление: «Столовая закрыта на обед». Ждать не стали, и только тронулись дальше, как Рязанцева кто-то окликнул.

Это был Парамонов — в потертом кожаном пальто, в новенькой зеленой фуражке военного образца. Он стоял на подножке грузовика и, должно быть, отдавал какие-то распоряжения шоферу. Грузовик был заполнен домашним скарбом.

Там были стол, буфет, стулья — все те вещи, которые так сияли необыкновенной чистотой в доме Елены Семеновны.

— С повышением, Алексей Петрович? — догадался Рязанцев.

— А как же! В город! И квартира готова, и вообще все!

— Елена Семеновна где же?

— Уже на месте! — И помахал фуражкой.

— Где?

— На месте...

— Передавайте привет... Скажите, Рязанцев желает ей и в самом деле быть на своем месте... Хочет, чтобы так и было!

— Передам. Обязательно.

С вертолета все нынешние земные встречи с людьми вдруг показались Рязанцеву немного чужими, не совсем его собственными, а чьими-то еще. И только одна встреча с Полиной чем дальше, тем все яснее ему вспоминалась — первая встреча с нею в лагере, неожиданное ее появление, а потом — этот голос у костра: «А знаешь ли, Ника...» И не вопрос и не ответ. И все, и ничего... Всякий раз что-то новое — и повторение, повторение...

В последний день полетов должно было открыться Телецкое озеро.

Он ждал его, и оно открылось между двумя вершинами своим противоположным восточным берегом, скалистым и отвесным, и еще — узенькой полоской воды цвета сизого голубинового крыла, только прозрачного и с легкой прозеленью, отраженной из глубины и едва мерцающей на поверхности.

Вершины медленно, едва не касаясь вертолета, проплыли мимо, а тогда озеро предстало все — заключенное в отвесных скалах. Выше скалистые берега переходили в более пологие склоны, там и здесь, местами гуще, а местами реже, по этим склонам к озеру приближался лес, почти повсюду хвойный и только кое-где лиственный, пожелтевший и еще — с красными пятнами не то осины, не то боярышника, а в складках между гор лежал снег, и снежные пятна соединялись с озером тонкими белыми нитями — это были струи водопадов, казавшихся совершенно неподвижными...

Но ни вершины, ни снега, ни даже облака — ничто не отражалось в гладкой поверхности озера. Оно будто тлело в глубине своей зеленоватым огнем, и, неяркие, временами чуть синеющие, эти огни тотчас вспыхивали повсюду, где едва-едва проступало в озерной воде очертание скалы, отражение снежного пятна или облака, и отражение это, еще не успев возникнуть, уже исчезало.

Таким было в этот день Телецкое озеро.

Четыре-пять километров в ширину и в длину семьдесят километров отвесных скал с той и другой стороны, вытянутых почти строго по меридиану, а между скалами впаив как бы огромный и прозрачный камень, мерцающий холодным светом.

Озеро существовало в мире будто само по себе, от всего замкнутое, ничто не отражающее — только свою глубину.

И Рязанцев смотрел и смотрел вниз, не видя больше далей, покуда впереди, на северной оконечности озера, там, где оно круто поворачивало на запад, не показалось несколько домиков, один среди них, кажется, двухэтажный, а на берегу — причал с ярко-белым катером и такой же моторной лодкой... Яйлю — поселок заповедника, территория которого простиралась по восточному берегу озера до самых истоков Чулышмана.

Тут, в виду Яйлю, развернулись и круто пошли на запад, даже на юго-запад, но ни лиственная чернь, ни густые, лишь кое-где пораженные гарью кедрачи не

могли заслонить только что виденную картину озера, которую все яснее, все отчетливее, как бы приближаясь к чему-то не до конца увиденному, восстанавливала память.

И только спустя час, может быть больше, заметили, как небо почти в том самом направлении, в котором двигался вертолет, стало синеть, словно и там возникала густая, почти твердая вода озера... Сначала это все-таки была небесная синева, прозрачная и легкая, но уже вскоре она отяжелела и громадный кусок неба опустился под этой тяжестью вниз, придавил землю и, не вмещаясь на западе, стал раздвигаться и в стороны и вверх, приподнимая над собою голубой небосвод.

Потом запад стал уже мертвенно-синим, и эта тяжелая синева все быстрее двигалась навстречу солнцу, солнце же доверчиво плыло навстречу ей, а как только они соприкоснулись — все в мгновение изменилось на земле: лес перестал быть зеленым, он стал таким же синим, как небо, еще темнее; воздух как бы исчез, в промежутке между землей и небом возникла пустота, сквозь которую отчетливо проступили острые скалы, еще недавно казавшиеся плавными и округлыми, ущелья и глубокие складки между гор, терявшиеся в сумраке, вдруг стали светлее, чем окружающий их лес, они как будто вывернулись наружу. Ручьи побелели...

Пилот обернулся и сказал:

— Да...

На его почти мальчишеском лице было то выражение полного спокойствия, которое никого не могло обмануть. Он повторил свое «да...» еще раз, выжал рычаг и, развернув машину влево, на юг, пояснил через плечо:

— Драпаем!

Мотор и винт над головой ревели, машина, содрогаясь, стала зарываться носом вниз, словно на волнах, и Рязанцев понял, что пилот до предела вывернул лопасти винта, они вращались теперь, загребая воздух, словно весла. Машина шла на предельной скорости...

Совсем близко были верхушки деревьев, но от этой близости земля не становилась доступнее.

Сверкнули молнии...

Сначала Рязанцев не понял, что это они, что они совсем близко, потом заметил, как что-то вспыхнуло не над ним, а под ним внизу и вправо, а что-то осветило каменистую вершину, как освещает иногда внезапно

вспыхнувшее пламя костра не самые нижние ветви деревьев, а маковки. Но костер, разгораясь, освещает все снизу доверху ярче и ярче, а эти вспышки потухли сразу же, и темнота справа стала гуще, а светлый восток отступил еще дальше.

Рязанцев смотрел на землю... Хотел узнать и такую правду о земле — о том, какой она может быть чуждой и нежилой, хотел пережить внезапную смену необычайных картин. Географ должен был знать о земле все, так же как врач знает организм человека и тогда, когда организм здоров, и тогда, когда он болен. Патологическая анатомия и физиология земли — не специальность географии, такой географии, к счастью, еще не существует. Но если человек будет действовать неразумно, он ее создаст. Сам создаст что-нибудь вот в этом же роде, еще худшее, гораздо более мрачное и безнадежное...

Он вглядывался в зловещий пейзаж: по темно-синей тайге волочились обрывки туч какой-то густой, неестественной белизны, кое-где вспыхивали огни, и на одной из вершин вдруг занялось зарево, как раз в той стороне, где и молнии, кажется, не было.

Гром время от времени заглушал грохот мотора, и тогда казалось, будто становится тихо вокруг.

Спустя некоторое время мальчик посадил машину. Посадка произошла как-то незаметно, быстро, мальчик совершил ее с ходу — покачнулись два раза, будто испытывая, примет или не примет земля машину, и тут же высокая, потемневшая в грозовом воздухе трава заслонила нижние стекла кабины.

Мотор смолк, винт над головой тоже. Иващенко спросил:

— Саша, как дела с горючим? До базы дотянем?

Пилот-мальчик ответил, соображая:

— Так ведь неохота радировать о помощи. Должны дотянуть.

— А энзе у тебя есть? Пожевать?

— Малость...

— А рация в порядке?

— Будто бы...

— Тогда что же ты не принял предупреждение о грозе?

— Не принял. После разберемся.

— Холодно будет ночевать, — вздохнул Иващенко. — У меня недавно уже была вынужденная посадка. Вроде этой. Двое суток дрожал по-собачьи.

Рязанцев спросил у Иващенко:

— Видали ее, землю? Какой она может быть?

— Всякой может быть! И всякой ее можно сделать.

— Наука должна бы научить человека — распорядиться своей землей. — Рязанцев помолчал, еще раз подтвердил: — Должна!

— Наука учит человека. А человечество — науку.

Уже про себя Рязанцев еще подумал: «Наука вырывается вперед, проникает в иной мир, невидимый, неслышимый, неосязаемый, а в то же время по-детски лепечет среди житейских дел, которыми люди заняты уже многие тысячи лет!»

Недаром упрекал науку на разрушенной плотине в Усть-Чаре управляющий банком Костин, а Райкомхоз с добрыми глазами мечтал, чтобы такое ничтожное, казалось бы, дело, как ГЭС мощностью в пятьдесят киловатт, стало чьим-нибудь тоже научным «спутником»!

На каждого городского жителя в стране приходится примерно по одному сельскому, и, значит, грубо говоря, одна половина населения кормит себя и другую половину. А ведь двадцатый век! А ведь наука!

Ощущение, будто он видит Горный Алтай откуда-то с высоты, не покидало Рязанцева и в тот день, когда экспедиция выехала в обратный путь...

Из кузова машины он глядел вокруг и спрашивал себя: неужели правда, что человеку свойственно привыкать к прекрасному?

Привыкать и даже не замечать его?

Каждый, кто проедет Чуйским трактом с севера на юг, увидит в этой стране под названием Горный Алтай множество других стран...

Увидит мягкие очертания невысоких, сглаженных гор — и вдруг узнает Южный Урал...

Увидит Семинский перевал — и подумает, что это Саяны.

Перевал Чикитаман, а вскоре вслед за ним бомы вдоль Катуня напомнят путешественнику Кавказ...

В устье Чуи промелькнет перед ним картина из предгорий Копет-Дага, Курайская степь возникнет

вдруг, как будто кто-то перенес сюда пейзаж Хакасии, а степь Чуйская — это пустыня Гоби в миниатюре.

Нынче был обратный путь, и в обратном порядке разворачивались кадры: Курай, потом кавказские ущелья, потом Саяны, потом Урал...

И как будто впереди уже маячил большой город, в нем — новый мост через овраг, по мосту торопятся трамваи... Кое-где сохранились следы разрушенных домишек и того домика, в окошке которого Рязанцев когда-то заметил письмо, адресованное в городок Красный Кут...

А может быть, тех следов уже не осталось.

Старший шофер Владимировский на «газике» умчался в Бийск — хлопотать о погрузке машин на железнодорожные платформы, а младший, Севка, не очень строго соблюдая правила обгона, вел ГАЗ-63.

Миновали Семинский перевал. Там, на высоте, была уже зима, снег покрыл тундровую растительность и деревья тонким блестящим налетом. Когда спустились в деревню Топучую, зима кончилась, но и здесь все дышало воздухом глубокой осени: и увядшие травы, и кустарники с оголенными ветвями, и даже белесая вода речушки Семы, вдоль которой разматывалась серая лента дорожного полотна.

Солнце светило по-осеннему через негустые тучи, свет был рассеянным, блеклым, и только кое-где по склонам плыли ярко-желтые пятна.

Некоторое время машина экспедиции держалась позади другой — с запоздалыми туристами.

Поеживаясь в холодке, в белых войлочных шляпах, туристы пели о человеке, который не заметил, как к нему пришла седина.

Туристов скоро обогнали.

Вершинин-младший и Лопарев сидели на спальнях мешках, прислонившись к борту. Лопарев, наверное, обдумывал что-то, что касалось его встречи с лесничим Саморуковым в лесхозе.

Должно быть, по этому поводу он иногда обращался к Вершинину-младшему. Ветер уносил его слова.

Рита, закутав ноги палаточным пологом, сидела напротив, не спуская с Андрея удивленных глаз. Андрей ее взгляд, должно быть, замечал... Может быть, он даже и стеснялся этого взгляда, может быть, стеснялся потому, что рядом с Ритой не было Онежки... Так показалось

Рязанцеву, и он с какой-то поспешностью стал смотреть на Вершинина-старшего.

Подняв меховой воротник кожаного пальто и укрывшись за кабиной, Вершинин-старший сидел на ящиках с экспонатами. Он был слегка простужен, но простуды на этот раз не признавал и не хотел ехать в кабине. Он был не только бодр, но еще и горд. Чем-то он напоминал Рязанцеву бывшего директора совхоза Парамонова. Вершинину-старшему было под шестьдесят, и улыбка и выражение лица утверждали, что годы эти ему не в тягость. Скорее — они Вершинина украшали.

Вершинин-старший закрыл собою половину стекла и проволочной решетки, а через другую половину оконца виднелась узкая полоска красного свитера: в кабине ехала Полина, и свитер был на ней тот самый, который так недавно и так отчетливо Рязанцев видел с вертолета... Когда Рязанцев вернулся в лагерь после воздушных путешествий, Полина встретила его на тропе опять в этом же свитере. Она была в слезах.

— Ника, милый! Напугал до смерти! — сказала она, всхлипывая и улыбаясь.

— Я? Как это случилось? — удивился Рязанцев.

— Боже мой, какой глупый! Вертолет пролетел над лагерем, назад не возвращался, а в той стороне была такая страшная гроза! Непонятно?

— Это, наверное, ты глупая, Полина, — ответил Рязанцев. Надо ведь было ему сказать какие-то слова.

Он подумал, что, должно быть, навсегда прошло для него время, когда собственные чувства были ему ни о чем: он их порождал, он ими и владел.

С возрастом они становились не слабее, а сильнее, только его способность их вмещать, сохранять всегда при себе тоже становилась все больше.

Вскоре за Шебалином, справа от дороги, на одном из склонов заметили первую сосну, отсюда уже начинались сосновые леса, а кедр и особенно лиственница стали встречаться реже.

Сосне приветственно помахали.

Спустя еще несколько часов, когда машина поднялась на взгорок, в небе показались вдруг подъемные краны. Их никто и никогда не замечает нынче в городском пейзаже, но тут заметили все сразу, стали считать, вглядываться в тонкие стрелы, устремленные в небо. Это были окрестности Бийска.

Вдоль тракта то с одной, то с другой стороны мелькали полосатые столбики.

Столбики эти не отмечали ни населенных пунктов, ни километров — они ограждали путь, но Рязанцев подумал, что, может быть, какой-то из них вот сейчас отметил половину его жизни. Так хотелось ему верить, что только половину, и хотелось подвести какой-то итог, какую-то черту на этом полпути.

Столбик за столбиком, которые он примечал, быстро отставали, совсем исчезали за поворотами, а невидимая черта как будто все еще двигалась вместе с Рязанцевым.

Полина тоже смотрела на дорогу через стекло кабины...

Давным-давно исхожены все тропы на обетованной земле. А между тем...

*Новосибирск, Академгородок
1959—1961*

СВИДЕТЕЛИ

САТИРИЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ

Евгения Меркурьевна Арзамасская — старшая преподавательница кафедры английского языка Н-ского ветеринарного института — решила защищать диссертацию на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Впрочем, она не знала, окончательное это решение или нет, и, сделав первые шаги, уже успокаивала себя тем, что еще не поздно и передумать.

Было множество доводов и «за» и «против».

В прошлом году Евгения Меркурьевна была в отпуске в Москве и показывала там рукопись своей работы. Эта поездка составила в жизни Евгении Меркурьевны заметную главу. Потрепанный чемоданчик без застежек, старинной работы, крокодиловой или другой какой-то кожи, не поддающийся действию времени, в котором Евгения Меркурьевна носила свои рукописи — с десятков общих тетрадей, приобрел вдруг значение неразменного богатства. Очень многие доценты и даже профессора, доктора наук говорили ей, что они счастливы были познакомиться с нею лично и с ее работой.

За двадцать три дня, которые Евгения Меркурьевна провела в столице, она почувствовала себя в некоторой, пусть очень небольшой степени, но все-таки жрицей науки. Во всяком случае, все эти дни как бы составляли один сплошной довод «за».

«Против»... Против тоже были обстоятельства. Работу надо было оформить. Это оформление представляло собой какие-то операции, которые Евгении Меркурьевне никогда в жизни не приходилось выполнять. Затруднением, и немаловажным, была необходимость собрать

документы и справки, которые администраторы и работники отделов кадров называют «личным делом». В данном случае речь шла о личном деле соискателя ученой степени.

Хотя Евгения Меркурьевна каждый год собиралась перейти из ветеринарного института в какой-нибудь другой — по ее понятиям, более порядочный — и даже собиралась переехать в другой, тоже более порядочный город, это не мешало ей настойчиво и с темпераментом обучать будущих ветеринарных врачей английскому произношению и спряжениям вот уже более десяти лет. За десять лет она несколько раз писала автобиографии, заполняла анкеты, и на этом кончались ее личные заботы о личном деле. И вдруг выяснилось, что у нее в деле нет справки о среднем образовании. О высшем есть, о среднем — ни строчки. Евгения Меркурьевна была из тех женщин, которые всю жизнь собираются навести порядок в ящиках своего собственного комода, поэтому отсутствие какой-то несчастной справки ничуть ее не удивило.

Однако же начальник отдела кадров ветеринарного института, женщина, с которой Евгения Меркурьевна находилась в прекрасных отношениях, поскольку они по очереди покупали билеты на все премьеры местного драмтеатра и концерты филармонии, была шокирована.

— Товарищ Арзамасская, — сказала она совершенно официально, — дефект в личном деле! Недопустимый дефект! Как это могло случиться? Каким образом? Нарушение! Если говорить в порядке самокритики... Одним словом — достать! Выкопать, но достать! Справка нужна не для диссертации — она нужна для личного дела в целом! Вы понимаете?!

В ответ Евгения Меркурьевна замахала руками и заговорила с обычной своей горячностью:

— Дорогая моя! Упаси меня бог от этой самой диссертации! Чтобы я... Чтобы мне пришлось ездить и собирать какие-то бумажки? Зачем они мне? Ради бога. Я буду ходить за справками, а люди будут думать, будто мне нужна диссертация, чтобы получить повышенный оклад? Извините! Не надо мне диссертации! Не хочу собирать справки!

Спустя несколько дней Евгения Меркурьевна садилась в вагон, чтобы ехать в тот самый город, где она когда-то училась в гимназии.

Ехала Евгения Меркурьевна немногим более двух суток, и, по мере того как она приближалась к родному городу, перед ней возникали все более и более отдаленные картины прошлого, как будто колеса вагонов, стуча на стыках, разматывали в обратном направлении повесть ее жизни.

Воспоминаниям не мешали ни разговоры с соседями по купе, с которыми Евгения Меркурьевна, как всегда, очень быстро перезнакомилась, ни преферанс. Спорила она горячо, играла в преферанс с азартом и в то же время чутко прислушивалась к стуку колес.

Годы, проведенные в ветеринарном институте, в который она попала еще во время эвакуации, в войну, кажется, ничего не оставили примечательного в ее памяти. Разве только зимние вечера вспоминались ей, в которые она, забравшись на диван с ногами и положив перед собой пачку папирос, читала Толстого и Голсуорси, порознь и вместе, держа книги в обеих руках и думая сразу на двух языках. В эти часы она забывала обо всем на свете, то чувствуя себя до слез ничтожной перед лицом искусства, то восторгаясь великолепными находками, которые встречались ей на страницах этих книг.

А больше — нет, ничего интересного в периферийном ветеринарном институте как будто не было...

Потом она подумала, что в этой поездке она проведет день, в который со дня смерти ее первого мужа — профессора минет ровно двенадцать лет.

Первый муж Евгении Меркурьевны был много старше ее. Евгению Меркурьевну никогда не покидало чувство восхищения перед этим человеком, перед его способностью отбрасывать все мелочное и видеть в жизни самое большое. Она любила и глубоко уважала его всегда, а больше всего, кажется, когда уходила от него к другому.

Тот, другой, был даже чуть-чуть моложе Евгении Меркурьевны, огромного роста, белокурый, слегка надменный со всеми людьми и только с ней — нежный и по-детски ласковый. Два года, которые они прожили вместе, были как один миг, а потом, за несколько лет до войны, этот второй муж Евгении Меркурьевны был арестован.

Тогда заметно поседевший за два года профессор пришел к Евгении Меркурьевне и спросил, не может ли

она забыть свое горе на полчаса, чтобы они могли поговорить эти полчаса рассудочно, не будучи во власти своих собственных нервов.

Евгения Меркурьевна попросила профессора обождать, и, не раздеваясь, с тростью в руке и со шляпой на коленях, он ждал ее на яркой и мягкой тахте, окруженный фотографиями, на которых белокурый красавец был снят анфас, а Евгения Меркурьевна — в профиль.

Тем временем Евгения Меркурьевна стояла на кухне, прислонившись к косяку двери, потом она подставила голову под ледяную струю водопроводного крана, наскоро вытерла волосы и, накинув пуховую шаль, вышла к профессору.

Профессор поднялся с тахты, они поздоровались за руку, как будто только что встретились, как будто не она открыла ему дверь и с ужасом его встретила пятнадцать минут назад.

Профессор попросил ее сесть, а сам стоя сказал, что его дом по-прежнему остается ее домом, что он никогда не позволит себе упрекнуть ее в чем-либо, что он не намерен брать с нее какого-нибудь обязательства и она вольна поступать, как ей вздумается, если вернется вот этот человек, — профессор кивнул на самый большой и самый красивый портрет, что, наконец, их маленький сын очень поможет восстановить в семье душевное равновесие.

Евгения Меркурьевна вернулась к профессору. И хотя между ними никогда больше не возникало многого из того, что составляет обычную супружескую жизнь, все-таки у них была семья, в которой муж и жена понимали друг друга с полуслова. Это было самое лучшее из всего, что могло быть после случившегося, если сознание этого можно назвать счастьем. И, значит, они снова были счастливы.

Потом перед Евгенией Меркурьевной возникли первые годы ее замужества. Ей минуло двадцать, но, помнится, уже тогда она имела несколько излишне полную фигуру. С развитым бюстом и слегка вогнутой спиной, с толстыми косами, сложенными в высокую прическу, она, когда смеялась, — а смеялась она то и дело, — неизменно заражала присутствующих своим весельем, и даже молчаливое ее присутствие вселяло в людей какое-то приподнятое, радостное настроение.

Она заочно училась в институте иностранных языков, но сама, будучи студенткой, уже преподавала в механическом институте.

За редким исключением ученики были старше своей учительницы, зато все без исключения были в восторге от правил английского произношения и от классиков английской поэзии, заставляя свою наставницу не раз и не два читать из Байрона, Бернса, Шекспира.

Не было, кажется, случая, чтобы Евгения Меркурьевна надела свою шубку в мрачной полуподвальной раздевалке механического института одна, без помощи двух-трех своих учеников, чтобы все те же ученики не распахнули перед ней двери, когда она входила в аудиторию.

Безумием было бы полагать, что ученики могут быть без ума от своего наставника. ...легкий, но захватывающий угар, которого она иногда сама страшилась, и поэтому чуть ли не бегом спешила домой.

Муж-профессор выходил в прихожую на ее звонок, и, едва только она переступала порог, угар исчезал моментально. Муж слегка прикасался к ее лицу руками, и она порывисто бросалась к нему и потом, переодевшись, почему-то еще долго бродила по комнатам в тяжелом мохнатом халате, с распущенными косами, присаживаясь то в одно, то в другое кресло.

Воспоминания могли бы увести Евгению Меркурьевну еще дальше — к милому ее сердцу девичеству и детству, если бы наконец ее путешествие не закончилось.

О ПОЛЬЗЕ ВЕТЕРИНАРИИ

Нину Муськову, свою подругу, Евгения Меркурьевна увидела в сквере перед домом и узнала сразу же. Невозможно было ее не узнать — та же легкая походка, то же смуглое, но свежее лицо без единой морщинки, и только фигура стала чуть полнее.

Евгения Меркурьевна кинулась к подруге, принялась ее обнимать, тискать, заглядывать ей в глаза и плакать. Удивлению ее не было границ: в руках у себя она ощущала упругое, прямо-таки девическое тело, и глаза на нее смотрели совершенно те же — маленькие, коричневые, не карие, а именно коричневые, с прежним блеском.

— Дорогой мой, милый мой Нино! — задыхалась от волнения Евгения Меркурьевна. — Какой же ты молодец! Поверь, если бы я могла завидовать, я сию же минуту задушила бы тебя от зависти! Ей-богу! Надо же уметь так сохраниться!

Нино, конечно, тоже была рада. Она не плакала, не размахивала руками и не хохотала. Она только сдержанно улыбалась, но за этой улыбкой был все тот же дорогой Нино, Нино с возвышенными стихами, которые произносятся вслух только для самых близких друзей, Нино с фантастическими помыслами.

— Не скромничай, Женечка, — проговорила Нино. — Ты тоже выглядишь прекрасно, совсем молодо! — Она отошла на шаг и как будто для того, чтобы еще раз убедиться в своих собственных словах, оглядела Евгению Меркурьевну с ног до головы. — Конечно, конечно!

— Вот именно, еще бы! — подхватила Евгения Меркурьевна. — Волосы у твоей Женечки совсем черные; такие черные, каких никогда в жизни у нее и не бывало, губы алые, на щеках румянец. Не хитри, Нино, ведь ты видишь все! Вот узнала тебя, обрадовалась, пробежала каких-нибудь двадцать шагов и до сих пор никак не могу отдышаться... Сердце...

— Ты, наверно, по-прежнему много куришь, Женя? Никотин...

— Черт с ним, с никотином! Нашла же, о чем говорить, право! А ты по-прежнему пишешь стихи? Работашь? Где? Кем?

Из сквера, в котором гуляла Нина, подруги пошли в дом, и по дороге Евгения Меркурьевна несколько раз снова принималась обнимать подругу и говорила, говорила без конца, не выслушивая ответы на свои вопросы.

Они вошли в дом через какой-то полутемный коридорчик, через прихожую попали в большую, светлую, но пустоватую и поэтому не совсем уютную комнату. Немногочисленные вещи стояли здесь в беспорядке, окна были без занавесок. Евгения Меркурьевна, не обращая внимания на убранство комнаты, опустилась на диван, потянула за собой подругу.

— Ах, боже мой, боже мой! Какие-то совершенно глупые слезы, не то от радости, не то от обиды, — говорила она, не вытирая лица и комкая в руке платочек.

— Какая же обида, в чем обида? Что ты?

— Ну, как же не обидно, мой Нино! Ведь сколько лет прошло с тех пор, как мы с тобой виделись?! Разве же не обидно, что так летит время, уходят годы? Молодости уже нет. Была — и нет... А в общем я реву — и только, реву, дорогой мой Нино, а ты не обращай на меня никакого внимания, и все будет хорошо!

И в самом деле, слезы успокоили Евгению Меркурьевну, она перестала волноваться, глубоко вздохнула и снова через тот же полутемный коридорчик пошла умыться. В умывальной привела в порядок прическу, подкрасила губы и внимательно посмотрела в зеркало.

— Нет, что ни говорите, Евгения Меркурьевна, — сказала она строго своему изображению в зеркале, — а вы еще женщина. Жен-щи-на! Не старуха, нет, нет!

При электрическом освещении большие глаза Евгении Меркурьевны казались глубже, загадочнее, а на щеках и над бровями совсем не видно было морщинок. Возвращаясь в комнаты, Евгения Меркурьевна уже внимательно рассматривала обстановку.

В прихожей поразили ее медицинские весы. Отметила она и обилие термометров: термометры были повсюду — в умывальной, в прихожей, в коридорчике. А когда она снова вошла в комнату, ей сразу бросился в глаза прибор для определения величины кровяного давления; он стоял на столике рядом с диваном.

— Что за амбулатория? — спросила она у Нины. — Уж не завелся ли в вашем доме какой-нибудь медик?

Нина Петровна, которая все еще сидела на диване в той же позе, в какой оставила ее подруга, быстро поднялась, и вся ее аккуратная фигурка как-то насторожилась при этом безобидном вопросе. Очень тихо и значительно она ответила:

— Никаких медиков. Никаких амбулаторий. Борис Евграфович следит за своим здоровьем.

— Что-нибудь серьезное? — шепотом спросила Евгения Меркурьевна, невольно поддавшись той значительности, которую нельзя было не уловить в тоне подруги.

— Миокардит... Повышенное кровяное давление... Артериосклероз. Ненормальная РОЭ. Вчера утром РОЭ была восемь. Повышенное количество лейкоцитов. Но

ты, пожалуйста, не говори об этом с Борисом. Он очень расстраивается.

— Что ты, что ты, дорогая! Зачем же? Но только все эти миокарды и склерозы вовсе не болезнь, а состояние организма. — Евгения Меркурьевна подошла и погладила подругу по голове. — Честное слово, Нино! Это все врачи. Я лично им не верю. Почему? Да очень просто. Если исследовать мой организм и поверить врачам, так я еще десять лет тому назад должна была умереть. Извини, даже не умереть — просто околеть, сдохнуть совершенно! По науке — именно так. Но разве ты не знаешь, что наука только приближенно, только в общих чертах отражает жизнь? Так? А я — частность. И, как частность, живу, чувствую, волнуюсь и еще собираюсь защищать какую-то там диссертацию. Это дохлая-то?!

— Ах, Женечка! Но если у человека печень начинает...

— Печенка? Я допускаю, что моя печенка может взять надо мной верх, но это уже будет конец, конец, моя дорогая! И тогда уже все равно желать чего-то другого бесполезно, тогда действительно оправдывается единственно неоспоримый медицинский диагноз — все мы умрем. У вас можно закурить в этой комнате?

— Женечка! На тебя не повлиял возраст. Говоришь мне, будто я ничуть не изменилась, а сама? Сама ты все такая же взбалмошная. Плачешь из-за пустяка, а о смерти говоришь с улыбкой, как будто она не грозит тебе совсем. Так можно только в молодости... Ты знаешь, я еще скрепя сердце переношу твой демонизм, но, ради бога, при Борисе Евграфовиче... Очень, очень прошу тебя... Я просто благодарю судьбу, что он верит в медицину! Это его поддерживает, помогает ему, необходимо в его состоянии, как воздух. Этот воздух продлит его жизнь, а значит, и мою...

— Зачем?

Совсем уже тихо, испуганно Нина Петровна переспросила:

— Я не поняла твоего вопроса, дорогая!

— Я спрашиваю: зачем вам с Боренькой ваша жизнь? Ну что ты вылупила на меня свои глазенки? Ну да, человек ведь должен отдавать себе отчет в том, зачем нужна ему жизнь?

— Ты странная, Женя... Очень странная!

— Пожалуйста, не пугайся. Сколько людей —

столько судеб... Ей-богу, я не буду убеждать тебя, что жизнь нужна только для подвига. Увы, я на собственном опыте знаю, что это не всегда так. Ты пишешь стихи? Продолжаешь писать?

— При чем тут стихи? Мы вышли, кажется, из этого возраста.

— Может быть, и вышли, если к этому у нас не было настоящих склонностей. Но это так интересно и так естественно узнать: для чего человек отчаянно бережет свою жизнь? Я лично хочу написать одно небольшое исследование. Но не знаю, напишу его или нет, поэтому не знаю, стоит ли мне беречь свою жизнь. А что думает делать Борис Евграфович? Он ведь в свое время показал кое-какие способности, это верно...

Теперь подруги снова рассматривали друг друга, как и давеча, в сквере, только внимательно, уже не захлебываясь от восторга первой встречи.

Полная, постаревшая Евгения Меркурьевна полулежала на диване, только плечами касаясь спинки и широко в стороны раскинув руки. Даже в этой созерцательной позе ее руки, ноги, губы слегка шевелились, и только глаза были неподвижными, внимательными. Аккуратная, подтянутая Нина Петровна застыла у окна, опираясь тонкими пальцами правой руки на подоконник.

— Ведь мы с тобой были и остались друзьями, мой милый Нино?— спросила наконец Евгения Меркурьевна.

— Ну, конечно же! Были и остались,— кивнула Нина Петровна.— Конечно! Ты, кажется, хотела закурить, дорогая? Ради бога! В этой комнате можно. Здесь живет Тамара, иногда к ней сюда заходит ее муж, он тоже курит. Борис Евграфович бывает здесь два раза в день — утром и вечером,— он пользуется вот этим прибором.— Она кивнула на прибор для определения кровяного давления.— Извини, пожалуйста, но я должна позаботиться насчет обеда. Через час сорок минут он придет. Он работает консультантом в проектной фирме, это отнимает у него много сил и здоровья! Ужасная работа!

Оставшись одна, Евгения Меркурьевна не изменила позы, а продолжала задумчиво смотреть туда, где только что стояла Нина. Потом она закурила, сбросила на пол туфли, поджала ноги под себя, но тут же снова встрепе-

нулась и торопливо, в одних чулках, побежала на кухню.

Нина Петровна в передничке из голубой клеенки хлопотала около плиты и не скрыла своего удивления, когда к ней вбежала подруга.

— Ты что-нибудь забыла? — Она обернулась к Евгении Меркурьевне, держа блестящую алюминиевую сковородку в руке.

Евгения Меркурьевна всплеснула руками.

— Послушай, дорогой Нино, я ровным счетом ничего не понимаю!

— О чем это ты?

— Да о твоей собственной дочери! О Тамаре!

— И что же? Что тебя так взволновало?

— Позволь, значит, она уже замужем? Так ты сказала?

Нина Петровна поставила сковородку на плиту.

— Ну да, я сказала так...

— Давно? Кто у нее муж? Где у нее муж? Как они живут? Ты одобряешь ее выбор?

— Это все очень важно?

— Помилуй! Да что же тогда важно, если не это? Если у тебя есть что-нибудь еще более важное — выкладывай, я слушаю!

— Муж... Тамарин муж, — пожала плечами Нина. — Как тебе сказать... Все так, как это обычно бывает. Она студентка, он студент. Поженились с полгода тому назад, а как живут... По-моему, ничего, а впрочем — покажет время.

— Ну ладно! А что это значит: «Иногда к ней заходит муж»? Что значит приходящий муж?

— Пожалуйста, Женечка, не подумай, будто здесь что-то такое. Нет, нет! Ничего такого, уверяю тебя! Пока он живет по-прежнему в студенческом общежитии и каждый день по пути в институт заходит за Томочкой. Так они сами и мы с Борисом Евграфовичем решили. Так лучше им и нам. Можешь ты мне поверить — так лучше? Или обязательно нужны доказательства? Ты же сама только что говорила: сколько людей, столько судеб... Ну, а если по-другому: сколько семей...

Нина Петровна проговорила это с мимолетной улыбкой, полусмешливо, полусерьезно, а Евгения Меркурьевна заметила, что и улыбки, и радость, и тревога — все выражения этого лица были очень коротки, тоже мимо-

летны. Едва появившись, они уже спешили скрыться, уступить место постоянной сосредоточенности, которая неизменно присутствовала на лице, даже на округлых, почти девичьих щечках с ямочками вблизи рта.

— Нет, не могу поверить,— вздохнула Евгения Меркурьевна.— Прости, но никак нельзя верить, что так лучше для молодой женщины и молодого мужчины, любящих друг друга. Не понимаю!

И она снова ушла в комнату и снова забралась с ногами на диван.

С первых же минут многое оказалось неожиданным в этой встрече, многим озадачила Евгению Меркурьевну любимая подруга. Но Евгения Меркурьевна не стремилась, да, наверное, и не могла думать о людях, присваивая им одно из общих определений: добрый, злой, смелый, трусливый. Представление о человеке складывалось у нее по-своему. Обычно на всю жизнь врезалась в ее память какая-то встреча с этим человеком, один его поступок, какие-то его слова, иногда даже не высказанные вслух, а угаданные в жесте или в улыбке, какое-то одно выражение лица или всей фигуры. Однажды пережитое ощущение от этой встречи, от этих слов, от этого жеста она переживала потом снова и снова всякий раз, когда думала об этом человеке, когда кто-то упоминал его имя. Так она узнавала и так помнила людей. Ей и самой это казалось несколько странным. Тем не менее она очень редко ошибалась в людях. Нина Петровна Муськова, которую Евгения Меркурьевна наедине никогда не называла иначе, как «мой Нино», все эти годы жила в ее памяти стихами возвышенными, но чуть-чуть холодноватыми, не по-женски последовательными, и еще тем отсутствующим выражением лица, которое появлялось у Нино всякий раз, как она начинала читать свои стихи.

И вот теперь, сидя на диване, Евгения Меркурьевна поняла, что какое-то иное представление о подруге вытесняет, уже вытеснило, все то, чем была для нее такая милая, такая чудная Нино до сих пор, чем была она для нее долгие-долгие годы, неизменно присутствуя в памяти, в бесконечных и дорогих воспоминаниях.

И не сразу Евгения Меркурьевна смогла быть очень строгой к любимой подруге. Пристрастие Муськовых к медицине она назвала сначала «семейной блажью», некоторую холодность Нино объяснила для себя про-

шедшими годами: «возраст, возраст», но вот что Евгения Меркурьевна не могла объяснить никак, так это тот настороженный и отчужденный тон, которым Нино говорила, а точнее — упоминала о замужестве своей дочери.

Здесь было что-то необычное, быть может, непростительное, в этом Евгения Меркурьевна убеждалась снова и снова, оглядываясь вокруг себя. Поразительно, что в комнате, где живет молодая женщина, нет даже кровати, ее заменяет вот этот самый диван, нет ни одной приятной безделушки, портрета, должно быть, все это призван заменить прибор для определения величины кровяного давления.

Самые разные мысли появлялись у Евгении Меркурьевны по этому поводу, и, наконец, ее фантазия изобрела такую странную сцену: будто бы толстовская Анна Каренина и красавица Ирэн Форсайт вошли в эту комнату. Вошли — и ужаснулись. Разумеется, они были барынями, они жили не в домах, а в особняках, даже во дворцах, но все-таки Евгения Меркурьевна никак не могла объяснить им, почему в комнате молодой женщины голые стены, почему нигде не видно духов, почему вместо дивана нельзя поставить кровать?

И уже совершенно нельзя было объяснить, что такое муж, который заходит в эту холостяцкую комнату.

Так Евгения Меркурьевна размышляла в недоумении довольно долго, и, вероятно, эти мысли занимали бы ее и дальше, если бы в комнату не вошла Тамара.

К старости Евгения Меркурьевна сдержанно, но непоколебимо все больше и больше влюблялась в свою собственную минувшую девичью красоту.

Все чаще убеждалась она, что мало, очень мало довелось ей встретить на своем веку женщин и девушек, которые внешне могли бы быть ей под стать лет двадцать-тридцать тому назад.

Но зато если уж видела она безупречную женскую фигуру, широко открытые, сразу и задорные и стыдливые глаза под пушистыми ресницами, мягкие и тяжелые косы, если могла она сказать, что это так же хорошо, как и у нее было когда-то, — значит, восторгам ее не было конца.

И вот когда вошла Тамара и остановилась в нерешительности посреди комнаты при виде незнакомой женщины, которая с папирсой в руке сидела на диване,

поджав ноги, и, кажется, рассматривала свои разбросанные по полу туфли, у одной из которых подметка совсем почти была проношена, — эта странная женщина и не подумала поздороваться. Она подняла голову, взглянула на Тамару, проговорила: «Ой! Что такое?» — и сделала обеими руками жест, который мог обозначать только одно: «Стой и не шевелись!»

Тамара так и стояла, не шевелясь, а женщина долго смотрела на нее, выкатив глаза и время от времени порывисто вздыхая, потом тихонько засмеялась, встала, не опуская глаз, пошарила ногами по полу, надевая туфли, и бросилась к ней навстречу. Она обняла Тамару, потом оттолкнула ее немножко от себя, стала целовать ее, снова крепко прижав к себе, и только после этого заговорила:

— Томочка, милая, дорогая, ты помнишь меня?

И Тамара теперь уже сама еще крепче прижалась к этой женщине, от которой пахло табаком и которая торопливо перебирала ногами по полу, потому что все еще не могла как следует надеть туфли, и сказала:

— Нет... Я вас не помню... Не знаю...

— Так я и думала! — воскликнула Евгения Меркурьевна. — Конечно! Ведь ты была совсем крошкой, когда я была молодой! Во всяком случае — похожей на тебя. Ведь так?

— Не знаю, право... — ответила Тамара, тоже начиная дышать тяжело от этих крепких объятий. — Не знаю.

— Ну, это не так важно, — решила Евгения Меркурьевна. — Ты стой, пожалуйста, стой и не шевелись, а я еще посмотрю на тебя.

«Конечно, — думала Евгения Меркурьевна, рассматривая неподвижную и смущенную Тамару, — конечно, она хороша прежде всего потому, что сама не знает, как она хороша. Немножко грубоваты губы и нос — не совсем женственные... К тому же нос приплюснут чуть-чуть больше, чем следовало бы. Но боже мой! Разве в этом дело? Да как не стыдно тебе придирается к девушке! Глаза! Глаза — вот что главное: огромные, карие, в пушистых серых ресницах под крутыми, тоже серыми бровями. Ну, а щеки? А по-детски раздвоенный и по-женски выразительный подбородок? А цвет кожи?»

Евгения Меркурьевна всплеснула руками и снова

ткнулась в грудь Тамары совершенно поглупевшим от радости лицом.

— Детка! Детка!— говорила она, всхлипывая.— Как я счастлива! Спасибо тебе, дорогая! Ну, а теперь пойдем присядем.— Она потянула за собой Тамару, и они рядышком опустились на диван.— Значит, ты не помнишь меня, милая? Конечно, это было давно, ах, как давно все это было!.. Но все-таки, может быть, мама иногда рассказывала тебе о своей подруге Жене Арзамасской?

— Так вот вы кто?! Почему же вы не сказали об этом?.. Ну да, конечно, не все сразу... Когда я была еще девочкой, у нас в семье так часто говорили о вас.

— Ну, а потом стали вспоминать реже?

— Да. Реже...

— Это естественно! Нечему удивляться, не на что сетовать... Скажи, пожалуйста, можно называть тебя на «ты»? Позволяешь?

— Но вы уже называете... И хорошо! Так лучше.

Еще через несколько минут Евгения Меркурьевна уже давала Тамаре наставления о том, какой фасон и цвет платья больше всего подойдут к ней, советовала каждый день гулять перед сном и меньше есть мучного, потому что у нее есть опасность слишком пополнеть, расспрашивала Тамару об институте. Если бы кто-нибудь мог подслушать их, то, конечно, решил бы, что перед ним тетушка и племянница, которые не виделись давно, страшно соскучились друг по другу и вот наконец-то отводят душу в оживленном разговоре.

Однако этот разговор не был совсем непринужденным — с каждой минутой перед Евгенией Меркурьевой все настойчивее возникал один и тот же вопрос, и наконец она спросила:

— Ну а как ты живешь, Томочка... вот в этой комнате?

Что-то дрогнуло в голосе и, кажется, во всей фигуре Тамары, когда она тихо, словно по секрету, произнесла такое обычное:

— Ничего...

— Кто у тебя муж? Как его зовут?

— Мама уже рассказала вам? Да?

Тамара спросила об этом с тревогой, почему-то прижав к груди руку, протянув другую Евгении Меркурьевне. И тут Евгения Меркурьевна вдруг решила дей-

ствовать без обиняков, самым решительным образом.

— Скажи, моя милая, почему же твой муж так редко бывает здесь? Вот и мне было бы очень приятно познакомиться с ним...

Что-то туманное надвинулось на глаза Евгении Меркурьевны, что-то укололо ее, когда она увидела перед собой изменившееся лицо Тамары — таким оно стало растерянным, такую выражало обиду. Сейчас должно было случиться одно из двух: либо Тамара заплачет, прикинется к Евгении Меркурьевне и сквозь слезы все расскажет ей, либо встанет и уйдет, и между ними больше не будет сказано ни слова.

Евгения Меркурьевна успела подумать, что напрасно она так грубо вмешалась в чужую жизнь.

— Если мать вам говорила, зачем же вы спрашиваете меня? — проговорила Тамара. И, не дожидаясь ответа, точно так, как уже представила в своем воображении Евгения Меркурьевна, Тамара встала, выпрямилась, осмотрела ее с ног до головы, потом резко повернулась и вышла из комнаты.

— Ты ошибаешься, моя милая детка, твоя мать ничего не говорила мне, она только как-то странно упомянула... — Совершенно напрасно были произнесены вслед Тамаре эти слова, от них только тяжелее стало на душе у Евгении Меркурьевны. — Бабья привычка! Глупая бабья привычка вмешиваться в чужие дела! — договорила она уже для себя, оставшись одна.

И появление этой чудесной женщины, почти девочки, и уход ее — все промелькнуло быстро, как на экране, и Евгения Меркурьевна никак не могла отдать себе отчета в том, что она была здесь не зрительницей, а действующим лицом, что именно из-за нее и случилось все так нелепо, и, хотя она всячески упрекала и поносила себя, ее не покидало чувство, будто при разговоре с Тамарой присутствовал кто-то третий, и этот третий как раз и виноват больше всех.

«В конце концов, — подумала она, — больше всего виноваты Муськовы-старшие. Конечно, они!»

С этим раздражением, уже с обидой на Нино Евгения Меркурьевна и вышла к обеду.

Борис Евграфович Муськов уже сидел за столом, и Евгения Меркурьевна с первого же взгляда могла совершенно точно сказать, что изменилось в этом человеке за много лет: он немножко полысел и довольно заметно

пополнял. И только. Во всем остальном это был тот же Боря Муськов, учитель гимназии, в которой обучалась когда-то Евгения Меркурьевна, и ученик, а потом ассистент ее первого мужа — профессора, очень уравновешенный, очень предусмотрительный Боря Муськов, которого профессор называл: «человек в меру». Боря умел многое. Запросто мог сочинить умную эпиграмму, но только так, что она никого не обидит, умел выпить — и порядочно, но никогда не напивался, умел неплохо преподавать в гимназии математику, прилично учиться сам в институте, никогда, однако, не утруждая себя чрезмерной работой и соблюдая гигиену умственного труда.

Только один раз в жизни Боря Муськов совершил неожиданный поступок — это когда он женился на Нине Криченецкой, девушке мечтательной, своенравной, стихи которой приводили в то время в восторг Женю Арзамасскую.

Разговор за столом не то чтобы не клеился, а как-то уж очень быстро разрешался каждый вопрос, который возникал у собеседников. Прошло четверть часа, а Евгения Меркурьевна успела рассказать Борису Евграфовичу о цели своего приезда, и тот, пересев за письменный стол, на форменном бланке со своей фамилией, отпечатанной бурой краской, написал справку о том, что «гр-ка Арзамасская Евгения Меркурьевна закончила гимназию в городе Н-ске» и что он, «гр-н Муськов Борис Евграфович, бывший в то время преподавателем математики указанной гимназии, свидетельствует этот факт». Потом Борис Евграфович вынул из-под мышки термометр и сообщил, что у него тридцать шесть и восемь, а сегодня утром было тридцать шесть и шесть, а вечером, он предполагает, будет тридцать семь. Далее он рассказал, что в прошлом году он провел сезон в Кисловодске и Ессентуках, а нынче собирается поехать туда же и еще на сергиевские воды.

Хоть бы он уж действительно волновался, говоря о своем здоровье, охал и ахал, как это делают мнительные люди, так нет же — он рассуждал очень деловито и спокойно, с исключительным знанием дела. Нино, поставив на стол миску с супом, слушала супруга затаив дыхание. На лице ее наконец-то появилось выражение оживленного интереса, она даже заволновалась. Глядя на нее, можно было подумать, будто ей рассказывают

содержание еще не переведенного на русский язык романа Голсуорси.

Итак, через четверть часа в отношении Евгении Меркурьевны к Боре Муськову уже не было никаких загадок.

«Ах, боже мой! — твердила она про себя, делая вид, будто поглощена беседой, которая шла теперь по поводу химического состава сергиевских минеральных вод. — Так вот в чем дело! Оказывается, Боря Муськов всегда оставался самим собой, всегда был последователен, даже когда он женился на Нине Криченецкой и этим привел в недоумение всех своих знакомых!»

Напрасно этому шагу удивлялись тогда Евгения Меркурьевна и ее мудрый профессор, даже, кажется, сама Нина. Совершенно напрасно! Боренька Муськов искал... Искал не торопясь, последовательно, очень упорно, — и с присущим ему одному чутьем нашел в мечтательной девушке то, что было ему нужно.

Этой искомой величиной, вероятно, и была мечтательность — возвышенная, но отвлеченная, без всякой связи с окружающей жизнью, без определенной цели, — ее легко можно было подчинить себе. И Боренька ее подчинил, безжизненную страсть он заменил бесстрастной жизнью и непоколебимой привязанностью к нему Нино. Это и был его идеал.

Он уже тогда знал, что настанет время, и все помыслы Нино будут сосредоточены на том, какая у мужа температура, как изменяются его самочувствие и кровяное давление, на режиме его питания и сна и на том еще, какой у него стул.

Вот он сидит в белоснежной расстегнутой рубашке, кушает суп с клецками, а Евгении Меркурьевне кажется, что у человека нет ни одной черты, ни одного движения, которые не выдавали бы в нем этого преступного замысла и довольства тем, что замысел блестяще осуществлен.

Глядя на полысевшую голову, на полное лицо с постоянной сдержанной улыбкой, слушая размеренный голос, наблюдая слегка замедленные движения этого на редкость здорового, в меру упитанного, розового человека, Евгения Меркурьевна с каждой минутой поражалась все больше и больше: как, каким образом могло случиться, что в свое время ни она сама, ни ее мудрый профессор, вообще никто из людей не разгадал Бореньку Муськова, никто не понял его намерений, а все толь-

ко и делали, что от души поздравляли его с женитьбой на молодой и красивой девушке?!

Однако каким бы значительным ни было это открытие, все-таки не оно сосредоточивало мысли Евгении Меркурьевны. Да, здесь, в этой семье, такие вот отношения между мужем и женой Муськовыми сложились окончательно, вошли в норму и, как бы это ни было странно, доставляли душевное удовлетворение и тому и другому. Это ясно.

А Тамара? Тамара и ее муж — вот где скрывалось еще неизвестное, скрывалось то, о чем Нина не хотела говорить, что заставляло Тамару заливаться краской, заставляло страдать ее, молодую и прекрасную женщину, почти еще девочку, и что не вызывало ни малейших сомнений или угрызений совести у Бореньки Муськова, который, несомненно, был виной всему.

Нет, Евгения Меркурьевна не могла уйти из этого дома, не узнав всего до конца, не высказав вслух своего мнения, своей обиды по поводу того, что ее поссорили с Тамарой, не заступившись за Тамару. Встать и уйти отсюда сейчас или оставаться здесь и делать вид, будто ее ничего больше не интересует, кроме справки, которую только что написал Боренька, — и то и другое было выше ее сил.

И когда Нина вышла на кухню за сладким, Евгения Меркурьевна сказала Муськову:

— Как бы мне хотелось видеть мужа вашей милой Томочки! Наверное, это очень интересный человек?

К удивлению Евгении Меркурьевны, Муськов ничуть не был встревожен этим вопросом. Наоборот, на его гладком лице еще заметнее стало выражение удовольствия, он откинулся на спинку кресла и проговорил:

— Дорогая Женья! Вам никогда не изменяло чутье. Вы правы, очень, очень интересный молодой человек. Весьма недурен. Н-ну, а все остальное... да, тоже терпимо, вполне терпимо. Привязан к Тамаре, пожалуй, даже больше, чем она к нему. Для собственной дочери мне этот вариант представляется вполне приемлемым. Пока что не очень большие, но уже подает надежды как будущий инженер. Одним словом, зять мой — прекрасный парень!

— Вот как! Значит, вы к нему благоволите. Но, кажется, он навещает вас только изредка?

И снова в ответ Боренька Муськов только покачал

головой и улынулся, так что про себя Евгения Меркурьевна подумала: «Между прочим, прекрасные нервы! Права я или не права, но если бы ко мне кто-нибудь вот так же приставал с расспросами о моей семье, так я бы прежде всего послала этого человека ко всем чертям!»

Побарабанив пальцами по столу, Муськов ответил:

— Женщины, женщины! Едва войдут в дом, как уже все знают! Какая же вы любознательная, Женечка! Все еще любознательная, что касается молодого, интересного? А?!— И он внимательно поглядел на Евгению Меркурьевну, прошелся взглядом последовательно по прическе, лицу, плечам.

Мужское внимание никогда не претило Евгении Меркурьевне, но тут она поежилась, словно к ней прикоснулись не взглядом, а рукой, и продолжила размышления про себя: «Так, значит, вот еще каков ты есть, Боря Муськов, гусь...»

— Но вы, право, напрасно думаете, что здесь кроется что-нибудь... что-нибудь щепетильное,— продолжал Муськов.— Ничуть... Дело обстоит очень просто. Так лучше. Удобнее по некоторым соображениям и молодым, и нам с Ниночкой...

Как раз вошла Нина все в том же голубом передничке и с прозрачной миской в руках, в которой колыхался красный кисель.

— О чем это вы?— спросила она.— О каких соображениях?

— Да вот,— ответил Борис Евграфович,— как я понял, ты, должно быть, уже рассказала немного о наших молодых Евгении Меркурьевне. А Женя любознательна. Хотела бы видеть молодого супруга, и у нее возникла к нам претензия: уж не прячем ли мы человека?.. Так что, Ниночка, объясни, пожалуйста, после обеда, в чем тут дело. Вы женщины и с полуслова поймете друг друга...

Нет, Боренька не делал здесь никакого секрета, и Нина, должно быть, тоже, хотя ей и было неприятно; в ее усмешке все-таки проскользнула растерянность.

Евгения Меркурьевна завела разговор о курортах и даже заявила, что воды Белокурихи более активны, чем мацестинские, и когда Муськов вставал из-за стола, он даже вздохнул с сожалением по поводу того, что не

удалось довести интересный разговор до конца, но что поделаешь — режим. Он пройдет сейчас в сквере перед домом, а через полчаса ляжет отдохнуть.

Как только женщины остались одни, Евгения Меркурьевна нагнулась к подруге через стол и проговорила:

— Ну, рассказывай же!

— Ты все о том же! Ну, какая муха тебя укусила? Боря сегодня в хорошем самочувствии, а ведь он мог бы и разволноваться от твоих домоганий... У него нервы...

— Милая, твой Боря — першерон. Знаешь такую породу тяжеловозов? Меня обучали в ветеринарном институте. Пер-ше-рон! И проживет пятьдесят лет дома да еще пятьдесят на курортах, а всего сто. Уж ты мне поверь!

— Евгения! Что ты говоришь!

— То, что вижу. Так почему вы так поступаете с Томочкой? Что за причина?

— Евгения! Это немыслимый тон!.. Я пожалуюсь Боре...

— Не пожалуешься: надо беречь его нервы. Хуже будет, если я пожалуюсь ему. Ведь он же сказал, что никакого секрета нет, что мы по-женски быстро пойдем друг друга. Ну?

На мгновение Евгения Меркурьевна испугалась: опять та же решительность, которая уже оттолкнула от нее Тамару! Но опасения были на этот раз напрасны. Ямочки на круглых щеках Нино, правда, исчезли, лицо немножко вытянулось, и очень неохотно, вяло она заговорила:

— Ну зачем все это?.. Ты меня извини, дорогая, но ты действуешь как-то по-обывательски. Обязательно все нужно знать.

— Обязательно. Мы старые друзья, а твой муж — ученик моего мужа. В нашем доме ты познакомилась, если помнишь, с Борисом. Одним словом, обязательно! Какие же мы старые друзья, если я не знаю вашей семейной жизни?

— Нет, все-таки странно — такая настойчивость... Если бы ты имела желание немного поразмыслить, так и сама бы догадалась. При таком состоянии здоровья, как у Бориса Евграфовича, — ты этому не веришь, а я ведь знаю, знаю, что у него по ночам холодный пот выступает на лбу, и это признак...

— Хорошо, я верю, что выступает пот на лбу. Дальше?

— Дальше... Лучше позвать в наш дом этого самого молодого человека несколько позже... незадолго до того, как они оба кончат институт и поедут на работу, вступят в самостоятельную жизнь на производстве... Мы так и сделаем. Они еще будут жить у нас вместе, в той самой комнате. А пока что мы не ставим в комнатах ни одной лишней вещи, чтобы было меньше пыли. Не говоря уже, что всякие хлопоты, волнения, посторонние звуки будут сказываться на здоровье Бориса Евграфовича. Понятно же тебе наконец? Ясно?

— Нет! Непонятно! И неясно! Выражайся, пожалуйста, определеннее насчет «этого самого молодого человека»! Не все ли равно, будет Тамара жить со своим мужем сейчас или через полгода? Ведь у тебя нет сомнений в том, что Тамарин муж — порядочный человек, что они по-настоящему любят друг друга?

Нина посмотрела на Евгению Меркурьевну строго и с явным сожалением — похоже было, что она сомневалась в умственных способностях своей гостьи.

Евгения Меркурьевна заметила этот взгляд, но ничуть не была смущена, ей было сейчас не до того, чтобы обращать внимание на интонации голоса и выражение лица своего дорогого Нино.

— Так в чем же дело, я спрашиваю? — повторила она строго.

Нина Петровна вздохнула и перешла на «вы».

— Какая вы странная, Евгения Меркурьевна! С годами, что ли, вы стали словно ребенок, которому все-все нужно доходчиво объяснять. Я повторяю еще раз: после окончания института молодые уедут на работу, будут жить, как им вздумается, а раньше, чем за девять месяцев до окончания, они не должны... В этом нет ничего особенного. Когда Тамара выходила замуж, я предупредила ее...

Внешне Евгения Меркурьевна сначала ничем не выдала своего возмущения, она сидела молча и спокойно, потом так же спокойно сказала:

— Я удивляюсь, почему Тамара не уйдет от вас... Плюнуть и уйти! Просто и ясно! В конце концов, она может продать какие-нибудь платишки, взять уроки, вообще найти себе небольшую работу. Много ли им надо, двум молодым людям?

Нина не только не обиделась на Евгению Меркурьевну, а даже как будто обрадовалась, что разговор, кажется, не привел их к еще большим осложнениям. Она ответила:

— Это было бы слишком грубо с ее стороны. Томочка никогда не позволит себе обидеть отца и меня. Никогда!.. Это было бы попросту жестоко, она поставила бы нас в неловкое положение.

Все, что произошло вслед за этим, было полной неожиданностью не только для Нины Петровны, но и для самой Евгении Меркурьевны.

Евгения Меркурьевна встала, прошла, а потом порывисто бросилась в комнату к Тамаре и, стоя в дверях, побледнев, хватая ртом воздух, сказала:

— Детка, дорогая, если ты человек, если ты женщина, если ты любящая женщина — сейчас же уйди отсюда к своему мужу! Сейчас же! Пусть студенты в его комнате убираются, куда хотят, завтра-послезавтра вы найдете себе угол! Но пойми: иначе нельзя, иначе ты не можешь поступить, потому что ты хорошая, прекрасная девочка, и я верю в тебя!

Тамара вскрикнула и прикрыла лицо рукой. Этот ее жест — когда она закрыла глаза и лоб рукой — вдруг обозлил Евгению Меркурьевну.

Евгения Меркурьевна волновалась и возмущалась, а тут вдруг в один какой-то момент она обозлилась, голос стал у нее холодным, спокойным, и медленно она проговорила:

— Ну, вот что, голубушка! Ты, пожалуйста, не закрывай свое чудесное личико! От меня ты отгородишься ладонью, а от своих собственных чувств, от своих подруг, от товарищей своего мужа — никогда! Они спросят тебя — или ты любишь, или изображаешь любовь?!

И тут же Евгения Меркурьевна поняла: она произнесла именно те слова, которых больше всего боялась Тамара... Губы у Тамары дрогнули, рука опустилась, и на Евгению Меркурьевну взглянули огромные испуганные глаза, подернутые слезами...

Евгения Меркурьевна знала, что она сейчас услышит в ответ: услышит оправдания. Такие оправдания, которым ни она, ни сама Тамара не поверит...

И, конечно, такие оправдания последовали бы, но тут в дверях столовой появился Борис Евграфович.

— Почему вы считаете необходимым воспитывать

мою дочь, Женечка? — спросил он, вытирая голову платком.

— Потому что вы... — не разъяснила Евгения Меркурьевна. — Даже варвары не могли додуматься до этого: выдать дочь замуж и не отдавать ее мужу! Мой бедный муж, мой профессор, да разве он знал, кого учит, кому передает свои знания?! Кому и для чего? Вы обманули его, вы всех нас обманули: жену, дочь — всех, всех! Как я раньше не узнала вас?

С необыкновенной резвостью Борис Евграфович проскочил мимо Евгении Меркурьевны в комнату Тамары и закрыл дверь.

Некоторое время в квартире стояла тишина, а потом из-за дверей донесся голос Бориса Евграфовича:

— Какое вы имеете право?! Кто вы такая? Ваш любовник был репрессирован! Я призову вас к порядку!

— Боренька... Милый Боренька... Бедный Боренька... — тихо произносила Нина Петровна, откинувшись на спинку стула. На ее лице было выражение страшного испуга и бессилия.

Евгения Меркурьевна налила стакан воды, и, хотя руки ее дрожали и сама она тоже вздрагивала всем телом, все-таки она не пролила ни капли и очень твердо сказала Нине Петровне:

— Пей!

— Евгения! Уйди из нашего дома, оставь нас! Я все тебе прощу, все! Только уйди... Он не переживет...

— Я сказала тебе: пей!

Когда Нина Петровна сделала несколько глотков и слабым движением поставила стакан на стол, Евгения Меркурьевна проговорила:

— Вот тебе хороший совет, мой дорогой Нино! Поступи в ветеринарный институт. Ей-богу! Это тебе очень пригодится. Ты узнаешь пользу ветеринарии.

— Что? Что с тобой? Оставь нас, будь добра, оставь! Зачем мне ветеринарный институт? Что с тобой?

— Там тебя научат правильному уходу и содержанию животных! Откорму — сальному, полусальному и беконному. Это тебе нужно. Потом тебя научат планировать отелы, окоты и опоросы! Понимаешь? Теперь встань и закрой за мной дверь!

Спустя еще четверть часа Евгения Меркурьевна сидела в укромном уголке городского парка, подальше от взглядов редких прохожих, и горько плакала...

В парк выходила одна стена и металлическая ограда бывшей гимназии, той самой гимназии, об окончании которой в личном деле Евгении Меркурьевны не было справки. Отсюда было видно и белое здание политехнического института, в котором когда-то Евгения Меркурьевна начинала свою самостоятельную работу преподавательницей английского языка, в полной уверенности, что работа эта только временная, только краткий эпизод в предстоящей большой и разнообразной жизни. А случилось так, что преподавание языка стало делом всей ее жизни, но только уже не в этом большом и красивом городе и не в этом огромном институте, а в маленьком ветеринарном вузе, заброшенном на окраину страны. А может быть, и вся жизнь прошла вот так же нескладно, как сегодняшняя встреча с дорогим Нино?

Ехала, волновалась, сгорала от нетерпения скорее, скорее увидеть, обнять подругу...

Увидела — расплакалась от избытка искренних чувств, обняла, расцеловала. А через каких-нибудь три-четыре часа послала приятельницу ко всем чертям! Боже мой, если бы кто-то осмелился сказать ей сегодня утром, что долгожданная встреча обернется таким образом! Да разве можно было этому поверить?!

Что за характер, что за нескладный, дикий характер?!

Ладно, пусть так случилось, но если бы она знала, что пройдет год, два, три года и все забудется, и только при упоминании фамилии Муськовых на одну секунду возникнет в памяти немножко смешной, немножко грустный эпизод, возникнет и снова исчезнет, не оставив никакого следа. Так нет же: пока она жива, до тех пор будет помнить эту встречу до мельчайших подробностей, снова и снова переживать ее, терзаться.

А из-за чего? В чем она виновата? Не она, а ее обманули, обманули в лучших, в искренних чувствах! Ну, ладно, она поступила необдуманно, крикливо, по-бабьи, но разве это меняет дело? Разве лучше было промолчать, сделать вид, будто она ничего не заметила, провести в семье Муськовых день, а то и два, скромно распрощаться, улыбнуться и тихо-тихо уйти, чтобы уже никогда не встречаться снова?

Она так не может. Когда вспоминает все с самого

начала — никаких сомнений, никаких угрызений совести! Наоборот, приходят яростные, невысказанные слова, и становится даже обидно, что они пришли только вот сейчас, а не тогда, когда им было место. Очень жаль! Право, очень жаль!

Можно сказать, что она поступила бестактно. А зачем такт перед людьми, которые поймут твою вежливость как одобрение своих низких поступков?

Вежливость в этом случае тоже притворство, а вот уж чего у нее никогда не было, того не было. Покойный муж-профессор не раз говорил ей, что нужно различать две разные вещи: сдержанность чувств, умение владеть своими чувствами и притворство. Да... Говорить он это говорил, и не раз, а ведь она знает, за что он ее больше всего любил, знает, почему он к ней пришел, когда она лишилась своего второго мужа: потому что она не умела притворяться.

Солнце уже скрылось, начало темнеть, и тогда Евгения Меркурьевна вдруг вспомнила, что в темноте она не сможет привести себя в порядок — припудрить заплаканное лицо, подкрасить губы, поправить как следует волосы на голове.

Торопливо она стала искать в своей сумочке пудру, зеркальце и тут вспомнила, что оставила все это у Муськовых. Ну да, на диване, в Тамариной комнате. И папиросы тоже там оставила.

«Ужасно, ужасно! — Евгения Меркурьевна всплеснула руками и снова залилась слезами. — Ну, можно ли жить с таким характером?»

Но вслед за этим она подумала, что необходимо действовать изобретательно и быстро.

Она встала, сломала две-три веточки какого-то кустарника, в траве разыскала невзрачный цветочек и, не то обмахиваясь, не то вдыхая аромат этого цветка, заслоняя лицо, быстро пошла по улице. Квартала через два в аптеке она купила пудру и помаду. Но зеркальца не было.

Она зашла в несколько магазинов и наконец в огромном «Гастрономе» увидела трюмо, со всех сторон обставленное бутафорскими конфетными коробками и деревянными колбасами.

Здесь она попудрилась.

СОИСКАТЕЛИ СТЕПЕНИ

В доме профессора Лосняковича Евгения Меркурьевна провела уже более суток, но ее все еще не покидало ощущение незнакомой обстановки.

Вдвоем с мужем они, бывало, никак не могли установить определенный час для обеда, а утром вставали в разное время.

Здесь вся огромная семья — сам профессор Леонтий Николаевич, его жена Александра Александровна, свояченица, дочь, зять, внуки — садились за стол, как по команде.

Ложились в этом доме рано и рано вставали, так что Евгении Меркурьевне было жаль преждевременно расставаться с большим диваном, на котором она спала первую ночь после утомительной дороги, с его едва приметным запахом кожи и с мягкой периной, которую ей стелила домработница.

Сам Лоснякович увлекался разведением гладиолусов. Цветы росли у него в палисаднике перед домом. Хотя этот дом и был пятиэтажным, коммунальным и стоял на оживленной улице, а палисадничек был всего в два-три метра шириной — гладиолусы никто не тревожил, наоборот, они росли под попечительством всего многочисленного населения дома. Самые же красивые цветы были у Лосняковича на балконе, особенно один поражал взгляд: темно-фиолетовый, почти совсем черный, он блистал на солнце металлической и в то же время живой краской. Было в нем что-то сказочное, из бажовского «Каменного цветка».

Старшие Лосняковичи — профессор, его жена и свояченица — хорошо знали первого мужа Евгении Меркурьевны, они были знакомы и с ее родителями. Это знакомство они неизменно, ко всякому случаю, подчеркивали, приняли Евгению Меркурьевну как родственницу и очень часто повторяли: «Мы здесь все люди свои...», «между нами, своими людьми», «здесь чужих нет», — и так далее в том же роде.

Такого рода выражения, повторяющиеся слишком часто, как-то претили Евгении Меркурьевне, но она обижалась только на себя за то, что ей недоступна эта стариковская сентиментальность.

Справку Леонтий Николаевич написал сразу же и с таким видом, как будто Евгения Меркурьевна доста-

вила ему своей просьбой огромное удовольствие, сказав с веселым выражением:

— Ради бога! Да разве это что-нибудь стоит?!

Старик был еще бодрый и очень подвижной для своих семидесяти с лишним лет, очень вежливый и предупредительный, но суетливый.

Опять-таки Евгения Меркурьевна очень строго наказала себе, что нужно терпимо относиться к старости, да еще к такой гостеприимной, как эта. Хватит с нее заниматься критикой чужих семей. Здесь она будет тише воды, ниже травы. Если ей что и не понравится, так она не позволит себе ни одного лишнего слова.

Однако не заметить суетливости и даже бестолковости Леонтия Николаевича было нельзя, тем более что все домашние ее тоже замечали и не делали из нее никакого секрета.

Знал Леонтий Николаевич, безусловно, очень много.

За столом, кушая с завидным аппетитом, он вдруг задумывался на минуту, а потом говорил: «Картошка? Это хорошо! Картошечка! *Solanum tuberosum*! Очень хорошо! Один килограмм картофеля содержит сто миллиграммов витамина С, а человеку в день требуется пятьдесят миллиграммов! Картофель, варенный в кожуре, сохраняет семьдесят пять процентов витамина С, варенный без кожуры — шестьдесят процентов, а в супе — пятьдесят! Да, пятьдесят!»

Заходил разговор о театре, и он вдруг вспоминал, что в 1776 году князь Урусов получил привилегию на содержание всех театральных предприятий в Москве, причем вспоминал с такими подробностями, будто сам был очевидцем этого события и близким знакомым князя Урусова. Вечером, поглядев на небо, потеревив себя за редкую, но еще волнистую бородку, он сказал, что звезда «S» из созвездия Золотой Рыбы обладает наибольшей светимостью — в четыреста тысяч раз больше, чем Солнце, но эту звезду из нашего полушария почти совсем не видно, а вот из южного видно прекрасно.

Справки и комментарии по поводу чего бы то ни было он мог давать каждую минуту; в то же время, лишь только начинал Леонтий Николаевич излагать свою собственную мысль, его переставали слушать, да и невозможно было оставаться к нему внимательным, потому что никто не мог понять, что он доказывает и ради чего. Кажется, он и сам не понимал этого, забывал то,

с чего начал, и, часто моргая, спрашивал собеседника: «Так я говорю? А может быть, не так?» И при этом глаза у него наполнялись влагой. Довольно трудно было себе представить профессора за кафедрой, читающего лекцию студентам.

Со всеми женщинами этой семьи — с профессоршей Александрой Александровной и ее сестрой, которая никак не хотела, чтобы ее называли по имени-отчеству, а обязательно только по имени — Клавой, с дочерью Лосняковичей, Зинаидой, у Евгении Меркурьевны быстро установились отношения.

Утром, когда Леонтий Николаевич уехал в институт читать лекцию, женщины, завладев его кабинетом, натащили туда уйму выкроек, журналов мод и неисчислимое количество отрезков, мехов, искусственных цветов, пуговиц, застежек, брошек, заколок и новых, еще не носенных платьев.

Сначала примеривали к детям, вызывая их в кабинет по очереди, чтобы не мешать друг другу, а примерив, сразу же выставляли за дверь. Потом наступила очередь взрослых, причем почти всем пришлось освободиться от верхнего платья, чтобы материал лучше лежал на фигурах. Шевиоты, коверкоты, бостоны, велюры, драпы пахли нафталином, но этот запах, от которого у Евгении Меркурьевны обычно болела голова, теперь приводил ее в восторг, прямо-таки в ажиотаж.

Она была совершенно уверена, что ни одно платье, как бы шикарно оно ни было, — увы! — не сделает изящными слишком полные фигуры матери и дочери Лосняковичей и слишком тощую фигуру Клавдии, но это ничуть не мешало ей измерять их фигуры сантиметром во всех направлениях, примеривать, прикладывать, прикалывать, горячо спорить и сквозь запах нафталина улавливать в материалах экзотический аромат каких-то неведомых стран. Кончилось тем, что она едва не прожгла самый лучший отрез венгерского велюра пеплом своей папиросы.

После этого отрезки и платья стали понемногу выносить из кабинета, но, прежде чем кончить осмотр, Евгении Меркурьевне были еще показаны ящики комода и сундучок среднего размера с некоторыми вещами, предназначенными для старшей внучки.

Совсем, кажется, забылись неприятности, пережитые накануне. И только позже, под вечер, когда она от-

дыхала все в том же кабинете профессора на диване, пахнущем кожей, вдруг стало как-то грустно. Грустно и пусто на душе. Очень пусто...

На другой день Евгению Меркурьевну поразил один, казалось бы, незначительный или, во всяком случае, не очень значительный случай.

Домработница Лосняковичей вынула из почтового ящика газеты — целую пачку — и унесла их прямо на кухню. Почту доставляли два раза в день, и оба раза это повторилось.

Сначала Евгения Меркурьевна даже обрадовалась: «Ах, вот как поступают профессора?! Чего же тогда требовать от меня?»

Евгения Меркурьевна подумала так потому, что в ветеринарном институте, в котором она обучала студентов английскому языку, в местком и на профсоюзных собраниях ее часто упрекали в аполитичности, в том, что она, Арзамасская, пассивный член кружка текущей политики, так что в конце концов она сама поверила, что у нее нет интереса к этой стороне жизни.

Для себя она находила оправдание: виноват доцент Бутко. В общем человек уважаемый, кандидат ветеринарных наук, известный специалист в области ранней диагностики, лечения и хирургии грыжи лошадей, доцент Бутко как раз и был руководителем кружка текущей политики.

Уже одна эта фамилия наводила Евгению Меркурьевну на размышления, не имеющие, кажется, ничего общего с внутренней и внешней политикой.

В ее воображении возникали очень работающие лошадки — Серко, Гнедко, Игренько, все сплошь прихврывающие грыжей и потому понурые, без всяких признаков той лошадиной нежности во взгляде, которая пленяла и вдохновляла Толстого, а вслед за ним и Голсуорси.

Когда доцент Бутко на одной довольно низкой и хрипловатой ноте от первой до последней строчки прочитывал членам кружка текущей политики газетную полосу, через каждый абзац поднимая голову и со всей строгостью поглядывая на слушателей — не отвлекается ли кто-нибудь из них посторонними занятиями? — у Евгении Меркурьевны начиналась мигрень. Не помог ни пирамидон, ни кофеин. Она готова была закурить

опиум, чтобы только отделаться от этой боли, но опиума не было, а в голове часами вертелась одна и та же довольно странная, но ходячая среди ветеринаров фраза о том, что, когда лошадям нечего есть, они читают газеты.

С другой стороны, случались и такие вещи, которые вдруг наполняли для Евгении Меркурьевны газетные строки каким-то особым, одной только ей известным смыслом.

Помнится, в Москве, на Внуковском аэродроме, когда Евгения Меркурьевна собиралась вылететь домой, растревоженная лестными отзывами столичных ученых о ее работе, в ресторане она увидела негра.

Негр был совсем не такой, каких ей доводилось встречать прежде. Он был не коричнево-черный и даже не черный, а иссиня-черный, чуть-чуть сизый. Курчавые с проседью волосы, губы и, кажется, даже глаза и те имели этот легкий сизый налет.

Негр пытался объясниться с официанткой, показывая на меню, разводил руками и улыбался. Официантка улыбалась ему, в свою очередь, тоже очень приветливо, но от этого переговоры не подвигались быстрее, и посетители за соседними столиками делали вид, будто они никуда не торопятся и могут ждать официантку сколько угодно.

Негр произнес несколько слов по-английски, и тогда Евгения Меркурьевна быстро пересела к нему за столик и от его имени заказала обед.

На чистейшем английском языке, не на американском, а именно английском, негр поблагодарил Евгению Меркурьевну и замолчал. Он, должно быть, хотел еще поговорить с ней, но не знал о чем.

Тогда она вдруг заговорила о том, что знала из истории этого народа. Сначала лицо собеседника приняло напряженное выражение, и она испугалась, но испугалась напрасно — вскоре он оживился.

Полтора часа они просидели за столиком ресторана, и перед Евгенией Меркурьевной открылось что-то новое, неведомое, что-то такое человеческое, о чем она не знала прежде. Каждое чувство в отдельности, которое она угадывала в своем собеседнике, она определяла совершенно точно: это были и грусть, и радость, и надежды, и застенчивость, и суждения очень прямые, откровенные, которым по-русски она дала бы название

бесшабашности. Но то, что эти чувства составляли все вместе, в общем, соединенные в одном человеке, даже в одной его улыбке или взгляде, она не могла назвать.

Она слушала о неграх в Северной Америке, в Южной Африке, в Либерии и чуть было не пропустила посадку на свой самолет.

Мистер Лок проводил ее до калитки посадочной площадки и помахал платком.

С тех пор все, что касалось событий, связанных с негритянским населением разных стран, Евгения Меркурьевна читала в газетах с особенным вниманием и всякий раз видела перед собой иссиня-черное, почти сизое лицо.

Быть может, на Лосняковичей повлиял в свое время какой-нибудь товарищ Бутко или ни у кого из них никогда в жизни не было встреч, подобных встрече с мистером Локом, только факт оставался фактом — никто в этой семье не читал газет.

Не ее это было дело — вмешиваться в семейные дела, тем более что она дала себе зарок ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах ничего подобного себе не позволять, а главное — не начинать, потому что, если начнешь хоть одним словом, потом уже трудно остановиться.

Но когда и в следующий раз домработница понесла газеты из почтового ящика на кухню, Евгения Меркурьевна не могла удержаться, пробормотала что-то насчет цивилизации и варварства (опять варварство!) и, войдя в гостиную, разложила газеты на столе, а потом, по крайней мере, часа два внимательнейшим образом читала их. Прочитала все — вплоть до передовых. И вдруг стало как-то легче и уму и сердцу. Свободнее.

Совершенно напрасно товарищ Бутко, специалист по лечению грыжи лошадей, упрекал товарища Арзамасскую в аполитичности и даже поставил такой диагноз, будто она самый отсталый элемент, самый пассивный член кружка текущей политики.

На самом же деле она интересовалась очень многими политическими событиями, но только не переносила, когда эти события преподносились ей в виде обязательного рациона, да потом еще требовали от нее какой-то отдачи. Доцент Бутко так и говорил: «Изучали? Прорабатывали? Ознакомлялись? Давайте отдачу!»

А вот сейчас никто не требовал от нее отдачи, а она, сидя за столом в гостиной Лосняковичей, вдруг пустилась в рассуждения о международной политике, и Лосняковичи присмирели, как будто даже чего-то испугались. Евгения Меркурьевна отметила про себя: это ей нравится. Ну да, нравится, что у хозяев вытянулись физиономии, что слушают они гостью с таким пугливым вниманием, почти молча, и только раз Александра Александровна тихо спросила: «Как там, ничего не написано про войну?», а в ответ Евгения Меркурьевна засмеялась и сказала, что, по ее убеждению, войны не должно быть и не будет, а будет только борьба за мир.

— Мне кажется, — сказала она, — в этой борьбе тоже должны быть побежденные...

— Да? Кто же это? — спросила Александра Александровна.

— Тот, кто безразличен к жизни. К большой, настоящей жизни — с сильными чувствами, со стремлениями и страданиями, с идеалами... — Сказав это, Евгения Меркурьевна почувствовала, что это ее твердое убеждение, что она, безусловно, права, что ей очень хочется, чтобы люди безразличные обязательно были наказаны, и все-таки ей стало неловко перед самой собой. «Ах, — подумала она, — ну какое я имею право на этот назидательный тон? Кто я такая, чтобы учить людей пониманию жизни в таких высоких выражениях?»

Как будто потому, что она не могла ответить себе на этот вопрос, все замолчали. Молчание воцарилось даже в мыслях Евгении Меркурьевны — она долго ни о чем не могла подумать. Только спустя несколько минут она снова начала шелестеть газетными страницами и размышлять про себя: «А все-таки это просто удивительно, что я свободно могу, оказывается, говорить на международные темы, что моя память удерживает так много фактов и событий!»

Когда же в одной из центральных газет она обнаружила заметку о своем ветеринарном институте, о том, что научный работник этого института успешно выводит новую породу полугрубошерстной овцы, Евгения Меркурьевна даже залилась радостным смехом.

К своему собственному удивлению, она и об овцах заговорила, и тоже очень горячо, хотя чувствовала, что в этом вопросе она весьма и весьма слабовата, поскольку все ее познания почерпнуты из переводов с английского

на русский, которые под ее руководством выполняли будущие ветеринарные врачи в количестве сорока тысяч печатных знаков в год. Но в этих переводах речь всегда шла не столько о животных, сколько об их болезнях. Евгения Меркурьевна коснулась и болезней. С каким-то особым шиком говорила она о чесотке и парше овец, о чуме и роже свиней, о сапе лошадей и ящуре крупного рогатого скота. Ей сегодня казалось приятным быть причастной к ветеринарии.

Кажется, очень незначительным был этот случай с газетами. Тем не менее именно после этого случая Евгения Меркурьевна невольно стала внимательнее присматриваться ко всему тому, что происходило на ее глазах.

Когда еще через день Евгения Меркурьевна проснулась утром и лежала на своем уютном диване, она услышала, что в гостиной мать и дочь не то упрекают в чем-то профессора, не то ругают его.

Оказалось, ни то, ни другое.

— Пиши! — раздавался неторопливый голос профессорши, едва заметно заикающийся и очень низкий, почти мужской. — Пиши: «Считать тему актуальной. Отметить производственное значение работы по выявлению местных сортов. Представить сорт ноль восемьдесят один...»

— Мамочка, — возражал профессор, — право же, это не совсем удобно. Во-первых, сортов нет, есть местные репродукции. Во-вторых, представить сорт ноль восемьдесят один... Не рано ли, мамочка, дорогая? А? Ты помнишь, как мы выставили сорт ноль семьдесят два и какие были неприятности? Помнишь? Его пришлось убрать с витрины. Это не совсем удобно... Сколько было разговоров, ай-ай-ай!

— Ты пуганая ворона, Леонтий! — совершенно тем же тоном ответила профессорша. — «Представить сорт ноль восемьдесят один...»

— Мамочка, — вмешалась Зинаида, — надо учитывать обстановку. Если бы мы были на кафедре вдвоем...

— Вот именно, вот именно! — подхватил Леонтий Николаевич. — Если бы нас было двое: я и Зинуша. Но между нами партийная прослойка! Надо считаться!

— Ты кто? — неожиданно строго спросил голос Александры Александровны.

— Я? Кто я? — быстро, быстро стал повторять профессор. — То есть как это «кто я»?

— Ты заведующий кафедрой! Вот кто ты! И не забывай этого!

— Мамошка, — снова вмешалась дочь, — ну какой он заведующий? Цыкнет на него декан — он бежит ко мне, и я иду разговаривать в деканат. И в учебную часть я. И в хозяйственную тоже я.

— Ты помоложе. И не должна забывать это, а должна помогать отцу. Он же помогает тебе?

— Вот именно, вот именно, Зинушка, помоложе...

— Я и не отказываюсь. Не возражаю. И в деканат ходить не возражаю. И в учебную часть. Я и лекции читаю. Ты только вводную и заключительную, и то студенты жалуются декану, что ничего не понимают, а я потом хожу в деканат и на комсомольские собрания, слушаю, как тебя ругают.

— Ну ладно, ладно, — просительно заговорил профессор. — На кафедре мы все уладим, в деканате тоже. А Овчаренков?

Тут все заговорили сразу, заговорили с новыми, возбужденными интонациями и успокоились очень не скоро, только тогда, когда профессорша сказала:

— Вот всегда так! Попусту проводим время. Пора завтракать, а решения по второму вопросу так и не обсудили!

Евгения Меркурьевна поняла, что здесь обсуждался протокол заседания кафедры. Она подумала: «А если и в нашем ветеринарном институте на некоторых кафедрах вот так же пишутся протоколы? Не может быть, у нас нет семейственности!» Вслед за этим она усмехнулась про себя: с чего бы это она вдруг начала думать такими же официальными словами, как доцент Бутко? Но еще немного погодя она снова возмутилась, уже не думая о том, какие слова приходят ей в голову: «Если у них там на кафедре есть члены партии, так они-то что думают? Почему они позволяют? Нет, надо кончать здесь все дела и уезжать. Хватит! Я чувствую, что и в этом доме у меня могут возникнуть крупные неприятности!»

Евгения Меркурьевна и в самом деле, наверное, уехала бы домой, но ей нужен был еще третий свидетель, которого она разыскивала.

«Только до вечера в этом доме, — говорила она себе. — В крайнем случае — до обеда завтрашнего дня. А сегодня я ничего не должна ни видеть, ни слышать».

Обедали молча, если не считать, что кто-то снова

упомянул фамилию Овчаренкова и опять вся семья пришла в неестественное возбуждение. Но к тому времени, как подали десертное вино, это возбуждение уже прошло, и тут Леонтий Николаевич с упоением стал вспоминать родителей Евгении Меркурьевны, ее первого мужа и с чувством жаловаться на то, что очень много беспорядков и в торговле, и в обучении студентов.

Александра Александровна кивала мужу, а он смотрел на нее и продолжал говорить, когда она выражала одобрение, и замолкал, когда этого одобрения не было с ее стороны.

У Евгении Меркурьевны что-то начинало путаться в голове.

«У Муськовых был обед,— думала она.— Здесь тоже обед. Все повторяется. Все повторяется...»

Спустя час после обеда Александра Александровна ходила тяжким, медлительным шагом из комнаты в комнату и говорила:

— Пора! Пора! Зинаида! Леонтий! Пора писать. Маленький,— она склонилась над колясочкой самого младшего своего внука,— маленький, пойдем на работу.— Потом, подняв голову, сердито сказала дочери:— И угораздило же тебя так избаловать ребенка! Он и полчаса не может полежать, чтобы его не качали. Слава богу, не первый, и ты не молодая мать, знаешь, как это делается!

Мальчонка заплакал, засучил ножками, будто обиделся на бабушку, и Александра Александровна снова ласково принялась его успокаивать:

— Тю-тю-тю, мой мальчик, тю-тю-тю, малыш, ты ведь у нас тоже будешь ученым, правда? Кончишь школу, институт, потом аспирантуру... Напишешь диссертацию! Ну, что ты плачешь? Недоволен? Чем недоволен? Тебе этого мало, да? Ах, вот в чем дело: ты хочешь еще в докторантуру, хочешь быть академиком? Да? Молодец, так и надо! Ам!— Александра Александровна сделала страшное лицо и, широко открыв рот, схватила ртом маленькую ножку ребенка, так что только прозрачно-розовая пятка торчала наружу. Потом и другую ножку она тоже подержала во рту, а когда выпустила ее, спросила строго и озабоченно, обращаясь к домработнице:— Куда девали красного попугая?

— Только что был, сейчас был... Ребятишки, верно, утащили,— засуетилась домработница.

— Найди! Найди сейчас же! Ты же знаешь, он без этого попугая и минуты не лежит спокойно! А пеленки? Почему не приготовлены пеленки? Пока мы будем работать, нам нельзя отвлекаться. Все должно быть под рукой!

Спустя еще несколько минут Леонтий Николаевич с огромной стопкой книг, а Зинаида с несколькими папками уже сидели за письменным столом в кабинете. Профессорша расположилась тут же на диване. Ногой она покачивала голубую колясочку с ребенком и красным попугаем, на коленях у нее лежали пеленки.

— На чем мы кончили прошлый раз, Зинуша?— спросил Леонтий Николаевич.

— На том, что пасленовые распространены по всему земному шару, а мы имеем сорок видов,— ответила профессорша.

— Вот именно! Конечно!— живо подтвердил Леонтий Николаевич. В голосе его звучали те радостные нотки, которые возникали всякий раз, когда он что-то подтверждал, с кем-нибудь соглашался.— Сорок видов в европейской и азиатской части. Межвидовое скрещивание этих ценнейших растений имеет огромное значение...

— Ближе к делу, Леонтий,— заметила Александра Александровна.

— Пиши, детка... Межвидовое скрещивание пасленовых в случае успеха открывает огромные перспективы, так как при этом возникает возможность соединить в одном растении очень ценные и весьма разнообразные свойства и качества...

Слышно было, как скрипит перо в руке Зинаиды Леонтьевны, посапывает в колясочке самый маленький Лоснякович да горошинки перекатываются внутри красного попугая.

Профессор диктовал, Александра Александровна вслед за ним неслышно повторяла его слова, шевеля крупными губами в морщинах, с седой порослью у самых краешков губ.

Зинаида — вся в мать, массивная, со строгим лицом и тоже с пушком на верхней губе — записывала очень старательно и торопливо. Когда ей было непонятно что-нибудь, она поднимала лицо и быстро-быстро моргала, глядя не на отца, а на мать.

Зинаиде Леонтьевне было лет сорок с небольшим,

но, когда она моргала так, она становилась очень похожа на своего собственного младенца, который, лежа в колясочке, сосредоточенно рассматривал целлулоидного красного попугая с зеленой головкой. Александра Александровна тотчас улавливала взгляд дочери и говорила:

— Повтори, Леонтий!

Должно быть, профессор очень быстро уставал от напряженного умственного труда, мысли все чаще начинали уводить его куда-то в сторону.

— Пасленовые...— заговорил он мечтательно.— А вот еще река есть Пасленка... В Польше... Начинается около Мазурских болот... Озера Снярвы, Мамры, озеро Негоцин, очень глубокое...

— Леонтий!— предостерегающе произнесла Александра Александровна, но профессор торопливо пытался закончить свою мысль о Мазурских озерах:

— Нет, нет, обожди, мамочка! Я спутал. Озера — восточнее. А река Пасленка — западнее. А еще западнее — городок Пасленк. Только он уже сам собой, он вовсе не на реке Пасленке...

— Леонтий!— гораздо громче произнесла профессорша, и Зинаида тоже поддержала ее:

— Папа! Давай же по существу!

Леонтий Николаевич не скрывал своего удовлетворения: он успел-таки высказаться насчет Мазурских озер, реки Пасленки и городка Пасленк и теперь бойко продолжал по существу:

— Теоретические основы межвидового скрещивания разработаны еще далеко не достаточно, но наша советская передовая наука и, в частности, выдающийся ученый...— Но уже через несколько минут он тихо, робко и как-то просительно сказал:— Мазурско-Августовская военная операция... Знаменитая... Февраль тысяча девятьсот пятнадцатого года... А в четырнадцатом поражение генерала Самсонова... Застрелился...

Александра Александровна поднялась во весь рост и приблизилась к мужу вплотную.

— Леонтий! Тебе кто дороже: собственная дочь или этот самый генерал Самсонов? Я спрашиваю: кто тебе...

— Конечно! Конечно!— Будто останавливая жену, профессор замахал руками над головой, не оборачиваясь, однако, лицом к супруге.— Конечно, мамочка... Мы надеемся, что наши работы по межвидовому скрещива-

нию пасленовых... — торопливо и совсем испуганно заговорил он. И вдруг замолк, а когда обернулся к жене, оказалось, что на лице у него умиротворяющая, добрая и даже веселая улыбка.

Успокоившаяся было Александра Александровна хотела что-то сказать мужу, должно быть что-то очень злое, но от неожиданности заикнулась. Профессор протянул к ней руку и спросил:

— Здесь, мамочка, уместно вставить Матвея Степановича? Как ты думаешь?

Александра Александровна качнула колясочку маленького взад-вперед и ответила:

— Ах, боже мой! Ну конечно же, конечно! Вы знаете, дорогая, — обратилась она к Евгении Меркурьевне, которая все это время пыталась читать газеты, сидя у этажерки, под натюрмортом с изображением убитой утки, дыни и томатов. — Знаете, Матвей Степанович Ступанов — это обаятельный человек. Большой ученый. Очень крупный. У него дочь написала прекрасную работу... Леонтий! Как называется Людочкина работа?

— «Лимоны на Южном Урале», мамочка!

— Вот именно — лимоны на Урале. И отец два раза бывал у нас, вот здесь. Один раз с работой, другой — с работой, с лимонами и с Людочкой. И тоже обаятельная девушка...

— Мамочка! Она же разведенная! — пожала плечами Зинаида Леонтьевна.

— Ну, какое это имеет отношение к делу, детка? И потом к людям всегда нужно относиться доброжелательно... Так вот, вы понимаете, дорогая Евгения Меркурьевна, у нее затруднения. Такие же, как и у вас: не хватает какой-то справки. Но у вас, слава богу, все уладилось, а у нее... Наш Леонтий Николаевич — он такой добряк, такой добряк: для чужого человека готов из кожи, а здесь и он не может!

— Дело в том, — пояснил Леонтий Николаевич, — что Людмила Матвеевна не имеет справки с места работы. И справка о высшем образовании у нее не та, которую нужно. Она кончила пединститут по филологии, а защищает на кандидата биологических наук. Ну, это куда ни шло, полбеда. А вот справка с места работы?! Людмила Матвеевна работает только дома, пишет диссертацию, а, видите ли, нельзя защищать, не состоя ни в какой организации. У нас ведь все это формально, все

так бездушно! Можно было бы и не пренебрегать заслугами отца, но... Отец очень авторитетный товарищ. Очень!

— Член партии с тысяча девятьсот двадцать девятого года, — в тон мужу продолжала Александра Александровна.

— С тысяча девятьсот двадцать пятого, мамочка! — уточнил Леонтий Николаевич. — Девятьсот двадцать пятого... Из рабочих...

— Ну вот, тем более...

Евгения Меркурьевна вышла в гостиную.

Она и раньше слышала, что профессора иногда пишут диссертации своим детям, но то, что она увидела, невозможно было представить себе, невозможно было вообразить прежде.

Евгения Меркурьевна ходила из угла в угол гостиной, и у нее было такое ощущение, словно кто-то навсегда лишил ее всяких чувств.

— Ах, боже мой, как муторно, как муторно... — говорила она довольно громко, не слыша, однако, своего голоса. — Ну что же, пожалуй, можно поступить так: войти сейчас в кабинет и накричать на Лосняковичей, обругать их, а потом взять свой чемоданчик и уйти... Уместно и логично.

Только всякий раз, когда Евгения Меркурьевна обдумывала свои поступки и свои слова, у нее обычно исчезало намерение совершить эти поступки и говорить этими словами, а начинали появляться мысли, которые останавливали ее. Сейчас она вспомнила инцидент в доме Муськовых и спросила себя: «А изменилось ли там что-нибудь?» Когда Тамара Муськова закрыла лицо рукой, чтобы только не видеть, не слышать рассерженную, грубую Евгению Меркурьевну, — почему она это сделала? Ей, Тамаре, было стыдно, она набиралась сил, чтобы сказать родителям решительное слово. Да, там была надежда на молодость и чувство Тамары. А здесь?

Легко представить себе, как это будет, если вот сейчас ворваться в кабинет и учинить там скандал... Самому профессору станет, наверное, немного стыдно, но только немного и ненадолго. Он примется размахивать руками, теревить свою бородку, успокаивать Евгению Меркурьевну, а глаза его сразу наполнятся влагой. И все это будет не от угрызений совести, а от испуга, от боязни перед дочерью и особенно перед женой. А Зинаида и Александра Александровна, те и вовсе не увидят

в этом поступке Евгении Меркурьевны ничего, кроме недопустимого вмешательства в личную жизнь людей, посягательства на их благополучие, и, наверное, объяснят это посягательство низкими, мерзкими побуждениями... Вроде того, что вот ей, Арзамасской, уже никто не напишет диссертацию, так она и злится, сходит с ума от зависти.

Вот и все. Весь результат ее вмешательства, каким он будет.

Но потом снова наступил момент, когда Евгения Меркурьевна решила войти в кабинет и произнести самые злые слова в лицо этим людям. Она решила это сделать после того, как подумала: «Теперь я соучастница нетерпимого дела. Они не должны были при мне так поступать. Значит, они и меня считают такой же, как они сами. Когда я напишу свою книгу, у них не будет сомнений в том, что и я сделала это тем же способом Оскорбление!»

Евгения Меркурьевна вздрогнула. Она выпрямилась, поправила прическу, сжала пальцами ручку на дверях кабинета, постояла так и... сделала несколько шагов назад.

Постояла и снова села в кресло, руки положила на стол, голову на руки и, все еще не спуская взгляда со светлых, должно быть, совсем недавно покрытых белилами дверей профессорского кабинета, снова прислушалась к голосу Леонтия Николаевича. Он говорил что-то совсем робко и, кажется, даже обиженно.

«Нет,— подумала Евгения Меркурьевна.— Если я с самого начала не доверилась своему чувству, своему негодованию, то сейчас уже поздно. И почему мне везет на такие встречи, на столкновения, которые требуют от меня столько нервов? Почему?»

Она не нашла ответа на свой вопрос — должно быть, просто случайность — и решила поступить таким образом: сегодня же спокойно, очень спокойно, без шума, тем более без слез, она выскажет Леонтию Николаевичу свое мнение. Они поговорят обо всем рассудительно, откровенно, потом Евгения Меркурьевна поблагодарит его за справку, которую он ей написал, и уйдет в гостиницу, поживет там, куда найдет третьего свидетеля.

Теперь единственной целью пребывания Евгении Меркурьевны в этом доме был предстоящий разговор. Каждую минуту она думала про себя: «Вот сейчас, вот

подходящий случай, вот сию минуту переведем разговор на тему о честности в научной работе, просто о человеческой порядочности, и тогда... А вот, кажется, сейчас все уйдут из столовой, останется один Леонтий Николаевич — это очень хорошо».

Между тем жизнь многочисленной семьи ничего не подозревавших Лосняковичей шла своим чередом, обыкновенным порядком.

После трудов над диссертацией женщины, по-видимому, довольные собой, принялись за вышивание, а Леонтий Николаевич сидел в качалке перед открытой дверью балкона, любовался своими гладиолусами и рассказывал что-то о технике окраски тканей в Древнем Риме.

Это безмятежное настроение ничем не нарушалось до тех пор, пока кто-то снова не упомянул фамилии Овчаренкова.

Тут все заволновались, а третий или четвертый по старшинству внучков Лосняковичей, которого домработница кормила в это время манной кашей, сердито протянул:

— У-у-у! — и стукнул ложкой о стол.

Хотя Евгении Меркурьевне вовсе не хотелось принимать участия в каком-то продолжительном разговоре, она невольно спросила у Леонтия Николаевича, кто это такой — Овчаренков — и почему его так не любят.

Ей отвечали все сразу, громче всех Александра Александровна, которая твердила одно и то же слово:

— Антисоветский тип... Антисоветский! — А потом пояснила: — Не верите? Ей-богу!

— У них кафедра вся такая! — громко перебила Зинаида Леонтьевна. — Вся, вся такая! Сорокина такая, Горлов такой, Козлова такая! Сорокина — морганистка, дрозofil изюмом кормила, за границей в морганистском журнале печаталась, у Горлова брат авторитет, так он через него затесался, у Козловой муж — так она через мужа. Вот! Это факты! Факты же!

— Вот именно! — подхватил Леонтий Николаевич, сразу забыв о Древнем Риме. — Конечно, факты! Всем известные...

— Ну и что же из этого? — спросила Евгения Меркурьевна. — Что из этого следует? Мне непонятно...

— Как что? — Леонтий Николаевич всплеснул руками. — А вот я вам сейчас объясню, дорогая... Здесь

люди все свои, я объясню. Знаете, к чему это приводит Овчаренковых и его братию? Знаете? К чему это ведет нашу советскую науку?— Он окинул взглядом всех присутствующих в ожидании полного внимания к своим словам, и действительно, в комнате воцарилась тишина, в которой Леонтий Николаевич произнес торжественно:— Это приводит к беспринципности! Да! К беспринципности! Как эти люди себя ведут? Они держат нос по ветру. Они иначе и не могут. У них никакого научного багажа, никакого убеждения!

Евгения Меркурьевна улыбнулась, слегка прикрыла лицо рукой и произнесла тихо:

— Да?

— Что вы, милая моя! Как вы этого не понимаете?!— Леонтий Николаевич сокрушенно покачал головой.— Ай-ай-ай, как вы не понимаете?— Он подвинул качалку почти вплотную к креслу, в котором сидела Евгения Меркурьевна, и заговорил с присущей ему живостью:— Им наука нужна, чтобы подтвердить мнение начальства. Только! И они подтверждают! Все, что угодно, подтверждают! Посев по стерне? Пожалуйста, они доказывают, что лучше не было и ничего нет! У них же на кафедре была такая комсомолка — ассистент Чиркова... Милая девушка, честная, воспитанница комсомола. Поехала в колхоз и сказала там: «Пашите и сейте как следует, пока не поздно, а по стерне урожая не ждите!» И что вы думаете? Ее так проработали, так проработали — ужас что было! А когда осенью действительно по стерне ничего не собрали, эти Сорокины, Овчаренковы — они ее поедом съели и из института...— Леонтий Николаевич помахал пальцами в воздухе.— Только ее и видели. А сроки сева? Хотите, я сейчас прочту вам выдержки из работ Сорокиной? Она сначала доказывала только ранние. На следующий год — только поздние! И все по науке! Ведь это же, Евгения Меркурьевна, дорогая, это же разбой! Это подсудное дело! Мы человека судим за пуд зерна, если украл, а сколько Сорокина украла у государства?

— К суду!— подтвердила Александра Александровна.— Есть такой закон, чтобы за это к суду? Должен быть!

— А травы?— продолжал Леонтий Николаевич.— Травы! Вчера они были за травы, а сегодня они против, а как будет завтра? И представьте, они, вся эта кафедра, передовики, они в президиумах сидят, статьи в газетах

пишут, учат, ученые степени зарабатывают. Они в горкомы и в обкомы вхожи, а у меня вот тут папки, и в папках вся их наука, и что ни слово, то конъюнктура, то улика. Серьезная улика!

— К суду!— подтвердила профессорша.— Леонтий Николаевич, ты береги эти папки, ты их обязательно береги! Вот еще, дорогая Евгения Меркурьевна, есть такой в институте Спирин. Доцент. Так тот Спирин — нахал, хам ужасный! Говорит, видите ли, что он между Овчаренковым, Сорокиной и Лосняковичами никакой разницы не видит. И знаете, ему верят, многие верят! Как вам это нравится?

— А сам только и знает, что в колхозах лекции читать,— подтвердил Леонтий Николаевич.— Но не в лекциях же истинная наука?!

— Молодой?— спросила Евгения Меркурьевна.

— Кто?— не поняла Александра Александровна.

— Да этот доцент? Спирин?

— Гм-м... Ну, так, средних лет,— озадаченно посмотрела профессорша на Евгению Меркурьевну.

— А ведь не правда ли, Леонтий Николаевич,— спросила Евгения Меркурьевна,— не правда ли, это довольно смело с его стороны... И тех и других...

— Ах, дорогая, вы все ищете романтику! Или — еще что-нибудь?

Разговор развивался как раз таким образом, что Евгении Меркурьевне в любую минуту вполне уместно было задать Леонтию Николаевичу некоторые вопросы либо попросту высказать свое собственное мнение.

Но она молчала и молча всматривалась в лица своих собеседников. Леонтий Николаевич, Александра Александровна и Зинаида — все были возмущены, все они искренне негодовали, и это негодование ошеломило Евгению Меркурьевну. «Боже мой! — подумала она. — Что со мной сейчас было бы, если бы три часа тому назад я не видела этих самых людей в кабинете, не видела, как занимаются они наукой?! Сейчас я, конечно, была бы потрясена их искренностью, прямо-таки святым негодованием!»

И она произнесла растерянно:

— Как же так?

— Вот так! Вот так!— подхватил Леонтий Николаевич.— Вот именно, дорогая Евгения Меркурьевна! Вот именно! Это не укладывается в здравый смысл. Противно ему!

— Противно... Ужасно противно! — поежилась всем телом Евгения Меркурьевна. — Для меня это такие далекие понятия — стерня, сроки сева, травы. Но все-таки я знаю, что есть правда о стерне, правда о сроках сева, правда о травах... И если кто-то изменил этой не великой, а самой простой, самой обыкновенной житейской правде, значит, он изменил людям ради себя... Где-то, в чем-то эта измена несла ему, лично ему, выгоду...

— Пожалуйста! Голубушка, Евгения Меркурьевна! Ради бога! Вы не разбираетесь в этих вопросах? Так я же вам все могу разъяснить. Популярно. В самом деле, вы, гуманитарии, слишком далеки от жизни, и вот вы сейчас можете только нащупать истину, догадываться о ней человеческим чутьем, а я специалист и, ей-богу, в десять минут нарисую перед вами технику всего этого дела! Хотите? Вполне научно? Я ведь привык по линии Общества по распространению...

— Объясните! Объясните! — воскликнула Евгения Меркурьевна. — Вы-то знали эту правду? Говорили? Кричали? Почему же слушали не вас, а других, тех, кто поступал неправильно? Вы молчали? Чем же вы возмущаетесь сейчас?

Леонтий Николаевич, замахнувшись обеими руками в воздухе, замер. После некоторой паузы отозвалась Зинаида Леонтьевна.

— Я очень сожалею, что в свое время не пошла на факультет иностранных языков, — вздохнула она. — Такая спокойная, безмятежная специальность... Но я все-таки решила идти по стопам отца. Помогать ему.

Вслед за дочерью, без обычной своей уверенности, Александра Александровна тоже сказала что-то такое насчет долга детей перед родителями, а потом и Леонтий Николаевич опустил руки на колени, затем сложил их крест-накрест на груди и тоже заговорил:

— Это невозможно! Выступать против? Нет, нет, что вы! Я же вам говорил, как поступили с комсомолкой Чирковой? Говорил? Вы помните?

— Говорили... Ну, и где же она сейчас? Работает?

— Работает. У нас выгнали, а в другом институте она уже доцент, ученый секретарь! Устроилась неплохо. На Волге. Климат... Но все-таки они же ее выгнали! А что из этого следует? Нет, извините, нигде нет ни одной стенограммы, чтобы было зафиксировано, будто

я за стерневые посевы, будто я за сверххранние сроки, или только за одни травы, или против всех трав! Нигде! Я не кривил душой. Не зарабатывал на конъюнктуре. Я молчал. На меня смотрели, ой, как смотрели косо, а я, несмотря ни на что, честно молчал! Скажите, — он вдруг схватил за руку Евгению Меркурьевну, — ведь это все-таки лучше, чем бить себя в грудь, каждый год проповедуя различные установки? Ведь это лучше? Честнее? Ведь у меня выше процент правды, чем у тех, у Овчаренковых? Выше? Да?

— Нет, скажите вы, — спросила, в свою очередь, Евгения Меркурьевна, отстранив свою руку, — а каким бы вы процентом правды удовлетворились? Какой цифрой? Шестьдесят? Семьдесят пять процентов?

Леонтий Николаевич задумался. Он думал долго и молчаливо, а потом вдруг встал, придвинул к себе качалку и погрозил пальцем.

— Ну-ну! Не разыгрывайте старика. Нехорошо. — Он достал из бокового кармашка расческу, на обе стороны поправил свою негустую бороду и, опираясь руками на спинку качалки, сказал: — Все-таки мы, старшее поколение, кое-что понимаем в жизни. Читаем с кафедр. Учим людей. Пролагаем путь молодым жизням...

«А он действительно, должно быть, еще имеет кое-какой вид на кафедре, — подумала Евгения Меркурьевна. — Вот так же разглядит перед студентами бородку, выпрямится и произнесет что-нибудь о высокой науке».

И она сказала с чувством:

— О! Еще бы!

А Леонтий Николаевич заговорил о системе высшего образования в СССР, перешел к вопросу о связи науки с производством и дальше — о науке и ее долге перед народом. В одном месте Леонтий Николаевич запутался:

— Народ требует от нас, он от нас требует, он требует от науки... — повторял он и никак не мог договорить фразу.

— Подвига... — подсказала Евгения Меркурьевна.

— Вот именно! Конечно, конечно, подвига, — обрадованно подхватил Леонтий Николаевич, а потом внимательно взглянул на Евгению Меркурьевну и сказал

тихо: — А я ведь знаю, о чем вы сейчас думаете... Я даже знаю, о чем вы сейчас меня спросите.

И у Евгении Меркурьевны не было сомнений: он действительно знал, что она подводит его к вопросу, ради которого решила провести в этом доме еще несколько часов. Как раз в этот момент она собиралась спросить его о диссертации Зинаиды Леонтьевны, о том, как называется такая наука.

В гостиную вошел муж Зинаиды Леонтьевны, человек, присутствие которого она как-то и не замечала все эти дни, да и все Лосняковичи, кажется, тоже не замечали... Он поставил на пол огромный, туго набитый портфель, зевнул, сел на маленький детский диванчик и прислушался к разговору.

А Леонтий Николаевич, увидев зятя, встрепенулся, как будто даже обрадовался, и сказал, показывая на него пальцем:

— Вот он! Кандидат наук! Казалось бы, положение. А на самом деле? Платит алименты за двух прежней жене, да подоходный налог, да заем. И у Зинаиды четверо! Ведь четверо — это же не двое, не трое, а четверо! Я человек пожилой и знаю, что соискание искомой степени другой раз отнимает лучшую половину жизни. А без степени какая у научного работника жизнь? Вот я и должен помочь своей дочери. Обязан... Конечно, мне можно уйти на пенсию, не работать, а только помогать ей, но я человек пожилой и прекрасно понимаю, что оклад — шесть тысяч, а пенсия — две тысячи. Не в моем возрасте относиться легкомысленно к этим цифрам. Это молодому можно: он еще успеет наверстать. Профессора Коваля-Забрадовича жена на лекцию водила под ручку, а я сам еще могу! Меня, извините, никто не водит, хожу сам. И я прямо и честно говорю: обязан! Отцовский долг. Дети — наше будущее! А на зятя, какая на него надежда?!

Слова тестя не произвели на мужа Зинаиды Леонтьевны ни малейшего впечатления. Должно быть, он уже привык к таким замечаниям в свой адрес. Эта невозмутимость доставила Евгении Меркурьевне минутное развлечение. «Каков мужчина! — подумала она. — И даже внешности никакой, только растительность на лице, с которой он, кажется, плохо справляется бритвой!»

— У нас к чаю торт, — заговорила Зинаида Леонтьевна. — Если вам понравится, дорогая Евгения Мер-

курьевна, мы можем дать рецепт. Все дело в сливках, чтобы были кислые, но не очень...

Однако Леонтий Николаевич уже схватил Евгению Меркурьевну за руку и, нагнувшись к самому ее лицу, быстро, быстро говорил:

— Здесь все свои люди. Чужих нет. Ведь так порядочно — молчать и молча заботиться о детях! Ведь нельзя смешивать меня с Овчаренковым? Нельзя же с этим крикуном?

Евгения Меркурьевна подумала, что Боренька Муськов теперь навсегда сохранится в ее памяти таким, каким он сидел за столом, — в расстегнутой белоснежной рубашке и очень спокойно улыбающийся. А профессора Лосняковича она запомнит так, как он выглядит сию минуту, — с глазами, наполненными старческой влагой, хватающим ее за руку.

И она сказала:

— Правда одна... Она требует, чтобы ей одной верили и ей одной служили. А ложь, Леонтий Николаевич, многолика. Можно выбирать любую для службы себе: крикливую или молчаливую — все равно. Какая удобнее.

Когда Евгения Меркурьевна одевалась, все Лосняковичи стояли в прихожей с очень вежливым и отчасти задумчивым выражением на лицах; когда же она открыла дверь, Александра Александровна сказала, вздохнув:

— И почему вы так заторопились? И зачем так торопиться?..

Ночевала Евгения Меркурьевна в гостинице, в большой комнате. По случаю межобластных соревнований здесь жили физкультурницы, которые сначала делали стойки, бегали на месте и вставали на руки, а потом стали уговаривать друг друга не волноваться накануне ответственного дня.

Слушая их, можно было подумать, будто в мире нет ничего более важного, чем выиграть бег на сто метров и эстафету четыре по сто у других таких же физкультурниц.

Вздохи и разговоры мешали спать Евгении Меркурьевне, но потом она подумала о том, как было бы хорошо, если бы все люди были вот так же настойчивы, как эти физкультурницы, и так же, как они, не искали бы ничего другого, как только честного, открытого и товарищеского соревнования друг с другом, одного коллектива с другим.

Ровно в половине двенадцатого физкультурницы, все до одной, быстро разделись и легли спать. В неожиданно наступившей тишине Евгения Меркурьевна даже пожалела, что нельзя уже больше прислушаться к их возбужденным голосам.

Лежа в кровати, Евгения Меркурьевна думала о многом, но, как это ни странно показалось ей самой, меньше всего о Лосняковичах. Единственный раз она вспомнила о них, когда сравнила свою работу с их семейной диссертацией. Нет, ничего не было общего между ними! Хотя она никогда не была ученой, все-таки ее работа — это, кажется, творчество, а их диссертация — это поиски оптимального процента правды.

СТИВА ИЗ ГЛАВВТОРЦВЕТМЕТА

Третьего свидетеля Евгении Меркурьевне удалось найти не сразу, но зато им оказался не кто иной, как Константин Владимирович Пухалов.

Костя Пухалов! Когда Евгения Меркурьевна узнала, что он здесь, в этом городе, что он начальник какого-то учреждения, которое имеет дело с металлом, она не могла поверить всему этому.

Настолько далеким было детство и такое множество перед Евгенией Меркурьевной прошло с тех пор людей, что теперь как-то трудно было себе представить начавшего жизнь под одной крышей с тобой человека, у которого при этом милом и даже романтическом слове «детство» возникают в памяти те же события, что и у тебя самой, те же улицы и дома, образы тех же людей.

А так именно и было: семьи Арзамасских и Пухаловых жили когда-то в одном доме, почти каждый вечер собирались за одним столом, дети играли в жмурки и рассказывали друг другу страшные истории про индейцев, женщины вышивали и раскладывали пасьянс, мужчины сражались в шахматы или рассматривали свои чертежи.

Почему эти две семьи, в общем довольно разные по своему положению, были так близки между собой, дети, конечно, не интересовались. Так было, и только. Позже они узнали, что довольно известный горный инженер и маркшейдер Арзамасский очень ценил техника Пухалова, они были земляками и, кажется, в молодости, при

обвале какой-то шахты, техник Пухалов спас инженера Арзамасского. К тому времени, как Женя окончила гимназию, Костя Пухалов был уже студентом-политехником, но института он так и не окончил.

И детьми и позже, гимназистами-старшеклассниками, Женя и Костя были неразлучными друзьями, и в этой дружбе неизменно верховодила девочка, хотя она и была на два года моложе.

В общем, он был обаятельным мальчиком, этот Костя Пухалов: огромные голубые глаза, застенчивая улыбка и готовность всегда сделать что-нибудь приятное для своей подружки. С ней он был так откровенен, что она, кажется, знала больше его секретов, чем он сам.

Когда позже, в зрелом возрасте, Евгения Меркурьевна вспоминала Костю — а это случалось обычно, когда почему-либо становилось тяжело на душе, — она думала, что, если бы он не был вот так открыт перед ней, если бы в нем сохранялась хоть капелька загадочности, она, наверное, полюбила бы его. Впрочем, она любила его и таким, каким он был, очень любила, только покровительственно, с чувством своего девчоночьего превосходства.

Мать Евгении Меркурьевны тоже находила Костю прелестным мальчиком и предвидела, что из него выйдет идеальный муж и семьянин, но — увы! — в него действительно не так-то просто влюбиться женщине с темпераментом, хотя он добр и очень недурен собой... «Поэтому я абсолютно спокойна за свою Женечку, — говорила она. — Пусть дружат сколько угодно!»

Теперь выяснилось, что Костя Пухалов — начальник.

Евгения Меркурьевна никак не могла этого себе представить, тем более что она ничего не поняла из названия того учреждения, в котором Костя был начальником.

Учреждение же это называлось областной конторой Главвторцветмета, и, когда Евгения Меркурьевна позвонила туда по телефону, женский голосок ответил ей, что начальник принимает по личным вопросам по понедельникам и пятницам с четырех до шести. Евгения Меркурьевна отправилась на поиски Главвторцветмета тотчас, как узнала его адрес, — во вторник, около полудня. Ей и в голову не пришло ждать пятницы.

Главвторцветмет находился в том районе города, ко-

торый почти полностью перестраивался заново. Одни дома были здесь уже заселены, о чем свидетельствовали детские коляски и прочий домашний скарб на балконах всех этажей, над другими еще простирались руки подъемных кранов, третьи постройки только еще отвоевывали себе место между рядами старых, приземистых избышек.

Одна картина особенно поразила Евгению Меркурьевну. Пятиэтажный дом, такой чистый и светлый, словно он только что умылся в ожидании встречи с жильцами, смотрел сотнями блестящих окон на все четыре стороны света, а рядом с ним, чудом уцелевшая среди отвалов земли, стояла крохотная, покосившаяся, но обнесенная со всех сторон высоким и плотным забором избушка. На воротах этой избушки висел лист фанеры с крупной надписью черной краской: «Не входить! Злая собака!»

Во дворе того дома, в котором находился Главвторцветмет, тоже шло строительство.

Уже был выкопан большой котлован, и экскаватор еще расширял его. Двор пересекали траншеи для водопроводных труб и фундаментов, но ни труб, ни фундаментов еще не было, а среди курганов земли, которые слегка дымились под ветром, словно барханы, лежали остовы подъемных кранов, штабеля кирпича и леса.

Экскаватор черпал землю в десяти шагах от дверей деревянного дома, в который Евгения Меркурьевна намеревалась войти, а бульдозер сдвигал землю прямо к окнам его первого этажа, до половины заколоченного досками. Верхний черноземный слой грунта экскаватор грузил в самосвалы, и шоферы самосвалов, разворачиваясь, ударяли задними колесами о ступени крыльца. Две нижние ступеньки были уже вдавлены внутрь, третья еще держалась на месте, хотя и была расщеплена продольной трещиной. Выждав момент, когда самосвал уступил ей дорогу, Евгения Меркурьевна не без труда забралась на это крыльцо и обернулась, чтобы еще раз поглядеть на экскаватор, как он уверенно и быстро черпает ковшем землю. Вся машина была черной, промасленной и пропыленной, и только отполированные зубья ковша блистали всякий раз, как стрела вздымалась кверху.

Заметив интерес к его машине, экскаваторщик, совсем еще молодой, в кепке козырьком назад, махнул из

кабины рукой, а когда Евгения Меркурьевна кивнула ему, он сначала укоризненно покачал головой, а потом засмеялся. Должно быть, он подал ей знак, чтобы она не торчала на крыльце, а она приняла это за приветствие. Тут подошел самосвал и, разворачиваясь, попятился на Евгению Меркурьевну. Она поторопилась подняться повыше и там стала рассматривать вывески, висевшие по обе стороны дверей.

Вывески имели совершенно одинаковые пространственные надписи, но все-таки Евгения Меркурьевна уловила в них разницу — на одной было написано «Главвторчермет», а на другой — «Главвторцветмет». Она задумалась: одно учреждение называется по-разному, или здесь два учреждения с одинаковыми названиями? К тому же она не запомнила, какое из этих учреждений назвали ей по телефону.

«Ну, ладно! — решила она. — Сама я тут не разберусь. Спрошу у Кости. Он, конечно, знает, в чем тут дело».

На первом этаже в комнате, тесно заставленной письменными столами, где она спросила Константина Владимировича Пухалова, ей сказали, что он наверху — во Вторцветмете, а здесь — Вторчермет.

Евгения Меркурьевна поднялась выше и была удивлена почти полной симметрией в расположении письменных столов на первом и на втором этажах. Правда, комната, в которую она вошла, была светлее, чем внизу, здесь было, кажется, тише, а люди — неторопливее. Одним словом, на втором этаже, как ей показалось, было больше порядка.

Кабинет начальника был отгорожен от общей большой комнаты перегородкой, на дверях, обитых темно-синей клеенкой, висела дощечка с надписью: «Пухалов Константин Владимирович», а рядом с этой дверью, за миниатюрным столиком, сидела девушка, видимо восточного происхождения, очень смуглая, с тонким цыганским профилем и с ожерельем на шее из массивных колец под золото.

Эта девушка сказала Евгении Меркурьевне, что день неприемный и что Константин Владимирович готовится к докладу на исполкоме.

— Хорошо, — сказала Евгения Меркурьевна. — Я подожду.

Девушка внимательно окинула взглядом настойчивую посетительницу, ее особенное внимание привлекла

черная шляпка со светлым пером, и принялась что-то писать на маленькой бумажке почтового формата, а Евгения Меркурьевна придвинула стул к перегородке и села.

«Не буду докладывать о себе, — подумала она. — Наверное, он скоро выйдет и увидит меня. А если нет — выберу удобный момент и войду сама. Интересно, узнает или не узнает меня Костя?» Она сидела и вспоминала, какой он был всегда славный, добрый, искренний. А как он обрадуется, неожиданно увидев ее перед собой! Впрочем, люди меняются. Может быть, начальственное положение его испортило? Хорошо бы разговориться со служащими и узнать у них, какого они мнения о своем начальнике.

Девушка-секретарь, сидя вполоборота к Евгении Меркурьевне, не очень энергично застучала на машинке. Вглядываясь внимательно в ее смуглое лицо, нетрудно было заметить на нем выражение какой-то мысли, которая, вероятно, не имела никакого отношения к тому, что она печатала. Время от времени она усмехалась своими тонкими выразительными губами, усмешка была немного надменной, и всякий раз при этом она слегка запрокидывала голову вверх, а ее темный глаз щурился лукаво и проницательно.

«Оригинальная девушка... — подумала Евгения Меркурьевна. — Вчера у нее было свидание, и она его снова переживает. А может быть, свидание назначено сегодня после работы, и она воображает, каким оно будет? Если так, напрасно. Все сложится совсем наоборот, во всяком случае, совсем не так, как она заранее предрешит. Определенно, свидание еще только предстоит... Она и домой не будет заходить после работы, поэтому с утра надела свое ожерелье».

Потом внимание Евгении Меркурьевны привлекла женщина за столом, в углу комнаты. Полная, нельзя сказать, чтобы интересная, но с таким приятным, очень простым, даже немножко наивным лицом. Наверное, ровесница Евгении Меркурьевны. Если помоложе, так только самую малость. Женщина молча перелистывала бумаги в толстой папке, а потом вдруг вздохнула и сказала:

— Выйти, что ли, замуж?.. За старого, но не очень. Детей вырастила, что еще остается?

«В самом деле, — подумала Евгения Меркурьевна, — что делать одинокой женщине, еще сравнительно моло-

дой, у которой дети выросли и разлетелись в разные стороны, а она привыкла к семье, кроме семьи, у нее никогда не было других интересов? Работа? Но ведь не каждый уходит с головой в работу и не от каждого работа требует всех его сил, тем более не от каждой женщины...»

Возможно, что в судьбе этой женщины много общего с судьбой Евгении Меркурьевны. Они незнакомы, а то зайти бы к ней вечером, когда в домашних туфлях, в халате, застегнутом не на все пуговицы, она сидит за столом и, не торопясь, пьет чай из большого семейного чайника и смотрит на стулья, на одном из которых всегда сидел сын, на другом — дочь... Сесть бы с ней рядом и поговорить.

Конечно, замуж, да еще не за очень старого, она не выйдет, да и сама не думает об этом всерьез, но говорит о замужестве, наверное, часто, может быть, каждый день не один раз, так что все ее сослуживцы уже привыкли к этому, давным-давно обсудили вопрос, и теперь уже никто не отвечает ей.

Только один мужчина поднял к ней лицо, помолчал и спросил:

— Отчет Калачевской межрайконторы поступал?

Мужчина этот был довольно приметный: в синем костюме в крапинку и в черных нарукавниках, в роговых очках, через большие стекла которых смотрели маленькие, но очень серьезные глаза. Волосы у него были редкие, тщательно расчесанные на две стороны. Видно было, что он чувствует себя при исполнении служебных обязанностей.

«М-да... — подумала Евгения Меркурьевна, — строгий, очень строгий товарищ. Однако в другой обстановке он, верно, умеет быть другим... Интересно, какая у него жена? Наверное, маленькая, полненькая и, когда особенно хочет нравиться мужу, немножко томная».

Около самых входных дверей сидела совсем молоденькая девушка, почти девочка, в коричневом платьице, очень похожем на школьное, только без воротничка. Она старательно заклеивала конверты. Чудные каштановые волосы имела эта девочка, их было так много, что могла бы получиться очень красивая прическа, но девочка была причесана совсем гладко. Евгения Меркурьевна по достоинству оценила эту милую скромность. А может быть, ее еще мама причесывает?

Мужчина в роговых очках сказал:

— Нет отчета... Мария Никифоровна, подготовьте в Калачевку телеграмму со строгим предупреждением... Снова они подводят Константина Владимировича. Сколько он из-за них крови попортил, Константин Владимирович!..

Полная женщина, недавно говорившая о замужестве, тоже стала ругать Калачевскую контору, потом сказала:

— Вот Тиминская контора! Не было еще случая, чтобы сводка от них запоздала!

— В Калачевке у Кузнецова ужасный характер!

— Как приедет, так и ругается с Константином Владимировичем.

— Он же не из-за пустяков ругается... Добивается своего.

Тут возник спор, из-за пустяков или серьезно ругается Кузнецов из Калачевской межрайконторы, и в этом споре Евгения Меркурьевна уловила нотки доброжелательного отношения к Константину Владимировичу.

«К нему здесь хорошо относятся», — подумала она.

Это предположение оправдалось еще раз, когда девушка-секретарь в позолоченном ожерелье сказала:

— Тихо! Все знают, что Константин Владимирович готовится к докладу на исполкоме и просил ему не мешать? Все или не все?

И в самом деле, стало тихо, из соседней комнаты слышался приглушенный разговор двух мужских голосов и перестук костяшек. Там тоже что-то считали.

Определенно Костю тут любили и уважали. И, ей-богу, не напрасно — он всегда был милым! У Евгении Меркурьевны даже появилось чувство какой-то общности с этими служащими. Много значит, когда вы встречаетесь с незнакомыми людьми и вдруг выясняется, что у вас есть общий знакомый, очень хороший человек, и все говорят о нем с такой задушевной улыбкой. Всюду условности между людьми: условлено, что вот это можно, вот этого нельзя, а почему бы Евгении Меркурьевне не встать сейчас и не сказать: «Дорогие товарищи! А знаете ли вы, что мы еще детьми росли вместе с Константином Владимировичем? Если это вас очень

интересует, между нами было что-то вроде детской любви!»

Чего только не придет в голову, когда сидишь в ожидании приема?! Однако, может быть, войти к Косте без всякого доклада? Или обождать еще немного? Главвторцветмет... Главное... Второе... Цветное... Металлическое... Не так-то все это просто. Когда она входила в контору, ей казалось, что здесь хотя бы немножко должно пахнуть металлом. Поскольку металл второй или вторичный, она приготовилась услышать запах ржавчины. Это уже особенность производства. От ветеринарных врачей, например, часто пахнет креолином. Но здесь пахло только бумагой и клеем, а люди даже и не говорили о металле.

Только один раз из глубины комнаты чей-то тихий голос сказал, что в апреле Тиминская контора заготовила три килограмма меди.

«Странно,— подумала Евгения Меркурьевна,— неужели медь такой редкий металл? Между прочим, у меня в кладовке лежит старая медная кастрюля. Совсем еще в общем целая, только с небольшими дырочками на дне. Кастрюля, наверное, потянет килограмма полтора...»

Вдруг Евгения Меркурьевна почувствовала какую-то тревогу за всех этих людей, с которыми, ей казалось, она познакомилась уже довольно близко. Что они делают и зачем?

Кстати, ей-богу, у нее самой очень неплохая специальность, очень порядочная. Вкладываешь в сознание людей что-то, чего в нем раньше не было.

Студент узнал о существовании герундия¹. Пустяки? Но ведь это расширяет возможности его мышления и даже свой родной язык помогает понять глубже, пользоваться им лучше! Не говоря уже о большем, о чем на днях писала «Правда». «Иностранный язык — средство, которое позволяет овладеть достижениями мировой науки и техники». Так, кажется. Правильно сказано. На то она и «Правда». От себя Евгения Меркурьевна добавила бы еще: «и искусства». Ни с кем она не хочет спорить, никому не собирается этого доказывать, но все-таки ей кажется, что язык в искусстве играет большую роль, чем в технике и даже в науке. Ах, искусство,

¹ Герундий — вид отглагольного существительного в английском языке.

искусство! А еще — скорее бы вернуться к своей работе! Эти справки совершенно сбили ее с толку, загнали в какой-то Вторметалл!

Тут раздался звонок над головой девушки-секретаря, девушка выскочила из-за своего миниатюрного столика и вошла в кабинет к начальнику.

Еще через минуту она появилась снова, посмотрела в зеркальце, недоверчиво поглядела на Евгению Меркурьевну и торопливо побежала куда-то из конторы. Слышно было, как ее каблучки застучали по лестнице и внизу хлопнула дверь: должно быть, из Вторцветмета она убежала во Вторчермет.

«Все-таки сейчас я войду к Косте, — подумала Евгения Меркурьевна. — Видно, не дожидаться, когда он сам покажется мне на глаза...»

Костя держал одну руку на телефонной трубке, другой опирался на подлокотник кресла, и его доброе лицо было очень сосредоточенным. В этой позе и с этим выражением на лице он и застыл, увидев Евгению Меркурьевну. Потом встал, вытянул обе руки вперед и, опрокинув стул, двинулся к ней, громко проговорив, почти закричав:

— Кого я вижу?!

— Сижу и жду, когда начальство появится из своего кабинета, чтобы представиться ему! — Евгения Меркурьевна громко засмеялась, хотя собиралась начать разговор с очень серьезной миной. Но невозможно было оставаться серьезной хотя бы в течение одной минуты, глядя на сияющее лицо Кости.

Такие детски голубые глаза, такая улыбка, такая неподдельная радость и настолько искреннее удивление были на этом лице, что и седина, и одутловатость, и все вообще признаки старости только мелькнули и тут же, на ее глазах, исчезли, кажется, навсегда. Евгения Меркурьевна так и не разглядела пожилого начальника областной конторы Главвторцветмета, она видела перед собой милого Костю, с которым были связаны такие светлые воспоминания о детстве, а может быть, и что-то большее — первое тихое, никому и никогда не высказанное чувство девочки! И она чмокнула Константина Владимировича в лоб и тут же опустила на стул, который он ей подставил.

— Дурень ты, дурень, Костя! Ну, разве можно в твоём начальственном положении так улыбаться и тарашить глаза, словно десятилетнему мальчишке?

И не она, а Константин Владимирович прослезился первым и сказал:

— Ах, да все можно при такой встрече! Честное слово! Всем все можно! — Он поднял стул, опрокинутый им на пол, сел против Евгении Меркурьевны и уперся руками в свои выпуклые колени.

— Неужели ты все такой же, Костя? — спросила она.

— Ну, а каким же мне быть, дорогая? Может, и надо бы сделаться другим, да вот не вышло... «Каким ты был, таким ты и остался...»

— А каким же ты хотел бы сделаться?

— Кто его знает!.. Трудно сказать, Женечка. Построже, что ли... Поэнергичнее...

— Это зачем же?

— Ну, чтобы немножко туда... — Константин Владимирович несколько раз помахал над головой, каждый раз чуть повыше. — А то очень уж скромно получается... — Он бросил взгляд на большой письменный стол с замысловатым стеклянным прибором, на зеленый сейф в углу, на маленький столик у окна и даже заглянул в окно, из которого был виден двор с отвалами земли. Оттуда доносился приглушенный двумя оконными рамами лязг и грохот экскаватора. — Да разве об этом разговор?! Рассказывай, как живешь! Как живешь-то? Бабушка или еще только молодая мать?

В это время зазвонил телефон. Константин Владимирович вздохнул и сказал:

— Суматоха у нас тут... Суматоха... Содом... — и, нехотя подойдя к столу, снял трубку. — Что? Проект резолюции? Порядок. В констатационной части о задачах. Главвторцветмета и Чермета, причем самостоятельно. Учти: са-мо-сто-ятельно... Разные мы обслуживаем отрасли промышленности, в разных работаем предприятиях... Учти! В постановительной части ударим по Утильсырью. Их дело — тряпки и бумажная макулатура. Они имеют дело с населением, а не с промышленностью. Такая проведена мысль. Зачем же тогда Деев лезет на металлолом? Отоварил комсомольский субботник по металлолому и взял пятьдесят тонн! Я включаю в резолюцию пункт, чтобы дело было упорядочено, функции строго разграничены...

«Боже мой! — вздохнула Евгения Меркурьевна. — Какое странное словообразование: «констатационная», «постановительная». Ну, а если будет не постановление,

а решение — тогда будет «решительная» часть? Уму непостижимо!»

Между тем то выражение недовольства, с которым Константин Владимирович подошел к телефону, теперь исчезло, и он, хоть и торопливо, хоть и поглядывая часто на Евгению Меркурьевну, заговорил о другом предмете:

— Слушай! На Кривом озере на червя берет? Нет? Кто тебе сказал? Ефимыч? Ну, это человек надежный, можно поверить... На кобылку? Д-да!.. Так ведь за ней надо в поле ехать... Около озера трава высокая, вдвоем за одной кобылкой при такой траве будем мельтешиться... Нет, заедем сперва в поле. Машину? Беру на себя. Организую... Слушай! Вот еще что! А где в воскресенье будет рыбачить хозяин? А? Вот бы и утрясти с ним резолюцию! У костерка! За ухой! Точно!.. Вот чудак! Ну, не знаешь, так узнай. Ребенок ты, что ли? Пошли своего шофера к его шоферу — и порядок!

Евгения Меркурьевна глядела в окно на экскаватор, у которого через равные промежутки времени ковш, вздымаясь кверху, блестел зубьями на солнце, и думала: «Надо было встретиться с Костей у него дома... Здесь что-то не то... Что-то мешает... Мешает эта непривычная служебная обстановка... Ведь я в жизни своей никогда не пробыла больше часа в каком-нибудь учреждении... И учрежденческие дела — это дела государственные, не моего ума... Вот когда дело касается семьи — не могу не вмешаться, не высказать своего мнения. Сама виновата: у Муськовых и у Лосняковичей была дома и вот после этого решила встретиться Костю на работе. И совершенно напрасно! А как он обрадовался, милый Костя! Ах, как он обрадовался!

Все-таки я где-то в душе хоть и не признавалась самой себе, а боялась этой встречи: даже боялась войти в кабинет: вдруг Костя будет холоден, безразличен... Если бы так случилось, стало бы тяжело на душе! Наверное, стало бы казаться, что детство было совсем не таким светлым, каким оно сохранилось в памяти, а это тяжело — расставаться с дорогими воспоминаниями... Нет, что ни говори, а если женщина когда-нибудь любила — хотя бы еще девочкой, хотя бы еще совсем наивно, хотя бы после этого у нее была уже другая, настоящая, всеильная любовь, — но если она снова почувствует вот такое доброе отношение к себе того самого пер-

вого человека — сердце ее дрогнет... Честное слово, дрогнет, даже на старости лет!»

— Ты меня извини, Женечка, — сказал Константин Владимирович, повесив трубку. — Пожалуйста, извини! На чем мы остановились? Ах, да. Значит, ты еще не бабушка... А я — увы! — дед... А может, к лучшему... Вот подожди, будешь носить на руках внучонка — почувствуешь, что это такое! Не думай, будто ничего особенного и нового, дескать, нянчила же я сына?! Я объяснять не стану. Сама узнаешь...

Евгения Меркурьевна рассказала Константину Владимировичу о своем сыне: уже совсем взрослый и живет своей семьей, способный, даже одаренный мальчик, но, должно быть, именно потому, что все легко ему дается, — очень непостоянный, немножко легкомысленный и, хотя уже немолод, все еще не научился серьезно относиться к жизни.

Константин Владимирович понял ее, она ясно почувствовала, как он хорошо, как правильно понял ее во всем, даже в том, чего она не сказала: она себя обвиняла за воспитание сына, тяжко обвиняла.

Он сказал, выслушав ее очень внимательно:

— Ну вот, дорогая, когда ты зайдешь к нам домой и посмотришь на моих девочек, мы еще поговорим о детях. Есть о чем поговорить. Так какими же ты судьбами?..

Евгения Меркурьевна принялась объяснять, какая и зачем ей нужна справка. И тут снова надсадно и настойчиво зазвонил телефон. Константин Владимирович поднялся со стула, но к телефону не подошел.

— Подождем... Может, этот звонарь сам бросит трубку. — Телефон продолжал дребезжать, и он махнул рукой: — Это мой тезка-наоборот значит. Слышит, подлец, что я здесь двигаюсь, и звонит. Понимаешь, Женечка, у нас такая странная ситуация: здесь, наверху, — Вторцветмет, внизу — Вторчермет. Здесь, наверху, — кабинет начальника, там, внизу, — кабинет начальника. И на этом еще ситуация не кончается. Здесь начальник, как тебе известно, Константин Владимирович, там начальник Владимир Константинович... Ишь, как наяривает!.. Вот нас и зовут тезками-наоборот. Мало того, что зовут, — хотят слить. В один Втормет. — Объясняя, Константин Владимирович сжал правую руку в кулак, а большой палец оттопырил в сторону и показывал им то кверху, то книзу. Потом взял трубку. — Ну, что тебе

опять? Что? Послал своего шофера? Порядок... Комиссия? Ликвидационная? Ну и бог с ней, чего ее бояться? Она уже год как существует и тоже, как и мы с тобой, есть хочет... Ей не хочется нас ликвидировать и самой ликвидироваться. Дело не в комиссии — в людях. Кто в ней будет, вот вопрос... Понятно... Я говорил с Чернявиным — он мастак. Он в список для голосования внесет пятерых: Тихонравов, Ладкин, Калманов, Бубликов, ну и Колосков... Под Колосковым внесет предложение подвести черту. И порядок: пятерых надо, пятеро выдвинуто. Голосуй потом, сколько хочешь рассматривай. Все! Дай ты мне поработать, я тут занят по горло... Знаешь, Женечка, — сказал Константин Владимирович почти тем же тоном, что и в трубку, — сидит там такой бездарный тип, — он снова показал большим пальцем вниз, — такой трус... Ну, в конце концов нас сольют. Ну что за беда? Неужели мы своим руками, голове дела не найдем? И чего раньше времени слюни распускать, не понимаю? Посмотрим еще... Это все из-за газеты. Двадцать второго числа того месяца фельетон был. Читала — «Как закрывалась контора»? Где-то там, в Прибалтике, Вторчермет и Вторцветмет даже на одном этаже находятся... У нас в области фельетон, конечно, прочитали и вот — как же можно отставать! — тоже толкуют о слиянии. Так, значит, ты говоришь, диссертацию затеяла? Стоящее дело, Женечка, честное слово, стоящее...

«Нет, нам, верно, не удастся здесь поговорить так, как хочется... — подумала Евгения Меркурьевна. — Хотелось бы многое, многое рассказать Косте, рассказать ему и о своих встречах с Муськовыми и с Лосняковичами, но здесь, в конторе, этого, видно, не удастся сделать... Такая обида!»

Должно быть, Константин Владимирович был другого мнения: он нажал кнопку и, когда в кабинет вошла девушка-секретарь, велел подать завтрак.

— На двоих, — сказал он.

— Константин Владимирович, дорогой, я же совсем не хочу есть. Я только недавно завтракала, — возразила Евгения Меркурьевна.

— На двоих! — повторил он, и девушка ушла.

Когда женщина в белом передничке принесла поднос, накрытый салфеткой, Константин Владимирович кивнул ей, и она поставила поднос на столик у окна.

Они сели за этот столик, Евгения Меркурьевна осторожно подула на горячий чай и спросила Константина Владимировича:

— А что, может быть, вас — эти два Втормета — и действительно следует слить?

Такое удивление Евгения Меркурьевна заметила на лице Кости, когда подняла к нему глаза, что даже засмеялась. А Константин Владимирович сказал:

— Боже мой, Женечка! Да неужели и тебе до этого есть дело?

Евгения Меркурьевна ничего не ответила, не знала, что ответить, а он снова улыбнулся своей милой улыбкой.

— Ты знаешь, Костя, — сказала она немного погодя, — мне никогда раньше не приходилось бывать в учреждениях так долго. Да еще в кабинете начальника... Должно быть, это очень трудно, очень сложно — руководить учреждением. Трудно и ответственно... Я потом с тобой о многом, об очень многом хочу поговорить... Но сейчас я смотрю на тебя и думаю, что это хорошо, хорошо, что мы встретились с тобой. Найти бы самые нужные слова, чтобы обо всем вспомнить и обо всем подумать! Мы ведь, наверное, уже никогда больше не встретимся с тобой. Возраст...

— Я тоже очень счастлив, Женечка. — Он пожал ей руку.

В это время дверь кабинета распахнулась, появилась фигура человека в серой гимнастерке, в сапогах и с кепкой в руке. И уже за его спиной мелькнула головка девушки-секретаря.

— Здрóво! — сказал этот человек и поздоровался с Константином Владимировичем. Потом, не глядя на Евгению Меркурьевну, и ей сунул большую жесткую руку. — Деев... Я к тебе без доклада, начальник. Извиняй! На пять минут. Ежели не будешь упрямиться — того меньше.

Евгения Меркурьевна заметила, что Косте неприятен этот человек, и она несколько удивилась, как это Костя по-прежнему сохранил на своем лице ту же милую, доброжелательную улыбку.

— Садись, садись, — сказал он. — Хоть ты и с войной ко мне — садись!

Посетитель сел и сказал:

— Ты не улыбайся. Знаю я тебя. Скажи: будешь закрывать все наши лавочки: «Вторцветмет», «Вторчер-

мет» и «Вторсырье»? Будешь или не будешь? Вместо трех контор — одну?

У Деева было массивное лицо с желтоватой неровной кожей, мохнатые брови и такие толстые губы, которые Евгения Меркурьевна всегда считала верным признаком доброго характера. Однако же Деев выглядел сейчас совсем не добряком. Он нервно теребил пуговицы на гимнастерке и в упор глядел на Костю.

— Прикажут — закроем. Не прикажут — не закроем. Такая моя точка зрения. — Константин Владимирович пожал плечами.

— Принципиальная точка... Понятно!

— Ну что ты от меня хочешь? Не я создавал конторы, почему я должен их сливать? А? Дальше: мы с Владимиром Константиновичем, — Костя снова показал большим пальцем вниз, — мы с ним организации контролирующие. Он работает на черную металлургию, учитывает отходы производства на их предприятиях, я сижу на цветной металлургии. У нас с ним мало общего... Ну, а с тобой — совсем ничего. Ты Утильсырье, ты организация заготовительная, работаешь не с промышленностью, а с населением. Твое дело — тряпье, бумага и старые калоши...

— Верно! — подтвердил Деев. — Я — Утильсырье! — Он постучал себя обеими руками в грудь и оглянулся по сторонам, словно для того, чтобы убедиться, не сомневается ли кто в его словах. — Верно! Но я знаю, что делаю, а что делаешь ты? Кого ты контролируешь? Какие предприятия, когда у нас в области нет цветной металлургии, нет предприятий с отходами цветных металлов?

— Будут.

— Когда будут?

— В следующем пятилетии. Надо мыслить по-государственному. С перспективой... И потом, почему ты думаешь, что вверху, — Константин Владимирович помахал над головой точно так же, как он уже сделал это сегодня один раз, — что вверху знают хуже нас: одна контора нужна или три?

— Я знаю, почему ты это говоришь.

— Почему?

— Потому, что надеешься, что там, — Деев повторил жест Константина Владимировича, — тоже есть такие же, как ты... голубчики. — Он не сразу нашел это слово,

но, когда нашел, кажется, остался им доволен и сам в первый раз улыбнулся, поглядев на Пухалова.

И Евгения Меркурьевна подумала, что в самом деле это слово как-то всерьез, а не мимоходом очень подходит к милому Косте. «А он довольно симпатичный, этот товарищ из Утильсырья... Он добивается своего и знает, чего хочет. Твердо знает».

Должно быть, Костя был задет и сказал:

— А ты что же, Деев, хочешь быть начальником большой конторы?

Деев провел пальцами по всем пуговицам гимнастерки, помолчал и сказал:

— Тьфу!

Он сказал это тихо, но Евгения Меркурьевна почувствовала, какое скрывает он волнение.

Ей всегда передавалось волнение других людей.

И снова, к удивлению Евгении Меркурьевны, Константин Владимирович не обиделся, а сказал:

— А я вот не хочу. Мне многого не надо. Я знаю свое дело, свой участок работы и не мельтешусь... Да и не все ли равно — увольняют, сокращают, сливают, а служащих сколько было, столько и осталось. Ты формалист. Тебе вывеску надо сменить, и все...

— Ну, вот что, — сказал Деев, поднимаясь, — поедем! Нас в исполкоме ждут!

Впервые Евгения Меркурьевна уловила в голосе Кости нотки тревоги, когда он переспросил:

— Кто ждет? Почему ждут?

— Хотят поговорить с нами со всеми до того, как решать вопрос. Понятно? Выяснить точки зрения.

— Слушай, Деев, — ответил Костя, — с ума ты спятил? У меня посетители... Не видишь разве?

— Ну, вот еще, Костя, поезжай... — захотела успокоить Пухалова Евгения Меркурьевна. — Ведь это же нужно! Как же так? Я не могу тебя задерживать ни в коем случае! Только напиши мне, пожалуйста, справку, о которой я тебя просила... Это займет всего несколько минут, — обратилась она уже к Дееву.

— Никуда я не поеду. Не могу! — подтвердил свое решение Константин Владимирович.

Деев подошел к телефону и положил руку на трубку:

— Звоню в исполком: нахожусь в кабинете Пухалова, он отказывается ехать! Наотрез. Звонить?

— Вот что, Евгения Меркурьевна,— сказал Константин Владимирович,— пойди, дорогая, к секретарю и продиктуй ей справку... А я подпишу...

Когда Евгения Меркурьевна снова вошла в кабинет, Константин Владимирович доедал завтрак, улыбался и говорил Дееву:

— Вот так, знаешь ли... Все течет, все изменяется... Так вот и бывает в жизни... Да...

Евгения Меркурьевна смотрела на Костю и с напряжением думала: кого он ей напоминает сейчас?.. И вдруг вспомнила.

Такая стилистически своеобразная выразительная и типичная для Толстого, очень запоминающаяся фраза: «Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета, и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся не оттого, что у него на душе было что-нибудь особенно приятное,— радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение». Это было сказано о Стиве Облонском, о том, как он завтракал после крупной семейной неприятности...

И Константин Владимирович встал и, улыбаясь, смахнул крошки со своего пиджака, подписал Евгении Меркурьевне справку и сказал ей:

— Женечка, ты можешь обождать меня здесь. Я вернусь скоро, наверное, через часок. Мы мигом слетаем. Если хочешь, я велю принести тебе подшивку «Крокодильчиков»?

После ухода Деева и Пухалова Евгения Меркурьевна молча постояла в кабинете и тоже вышла.

В большой комнате служащие уже знали, кто она и зачем приходила к Константину Владимировичу.

Когда она прощалась, бухгалтер в роговых очках махнул ей рукой, а молоденькая девушка, которая все еще старательно заклеивала конверты, даже привстала по школьной привычке.

Уже на пороге Евгения Меркурьевна подумала:

«Очень трудно разобраться в делах этой конторы. Трудно, и так обидно, что прав, должно быть, товарищ из Утильсырья... Он прав, а не Костя. И, кажется, он симпатичный, этот товарищ... Кажется, да... Но почему бы, споря с Константином Владимировичем, ему не спросить всех этих людей, как лучше поступить: иметь одну контору или три? Как лучше для пользы дела? Неужели они не знают?» Потом она вздохнула: «Ах,

какой характер, какой несносный, въедливый характер!» Это она снова упрекала себя.

Уже и третья ступенька крыльца была окончательно сломана колесами самосвала, когда Евгения Меркурьевна вышла на улицу. Ей нелегко было спуститься на землю. Котлован на дворе стал заметно шире, и она не обнаружила тропинки, по которой шла сюда. Остановившись в нерешительности рядом с отвалом земли, насыпанным экскаватором, Евгения Меркурьевна тяжело вздохнула и почувствовала усталость.

Покуда она была в конторе, прошел небольшой дождь, земля стала влажной, и ветер не разметывал ее больше. Но небо все еще оставалось хмурым, а двор в неровном солнечном освещении — пестрым.

«Ну, вот я имею теперь три справки... Только за ними я приезжала сюда... Приезжала», — повторила она еще раз мысленно, хотя правильнее было бы сказать «приехала». Действительно, ей ведь ничего не нужно было, кроме этих трех бумажек. Три справки, три встречи, такие нескладные, такие неожиданные встречи. Вот и сейчас что-то случилось со старой дружбой между нею и Костей Пухаловым. Обидно за него, обидно, что никому не нужны его милые улыбки. Даже ей, кажется, не нужны...

Она долго еще стояла рядом с отвалом на краю котлована, пока не вздрогнула от пронзительного свистка.

В кабине экскаватора, заложив два пальца в рот и заглушая грохот машины, свистел чумазый моторист в кепке, надетой по-прежнему козырьком назад. Когда Евгения Меркурьевна взглянула на него, он сердито погрозил ей кулаком. Она кивнула и отошла в сторону, а на то место, где она только что стояла, рука экскаватора тотчас опустила огромную горсть влажной земли.

Евгения Меркурьевна улыбнулась, махнула экскаваторщику и пошла прочь.

Почему-то всю обратную дорогу в поезде ей вспоминался этот случай, как экскаваторщик нетерпеливо и сердито погрозил ей из кабины.

ДОМАШНЕЕ СПОКОЙСТВИЕ

Евгения Меркурьевна вернулась домой в субботу утром.

С вокзала она ехала в автобусе, дорога лежала мимо ветеринарного института, и она ждала, когда на пере-

крестке Первомайской улицы и Песчаного переулка покажется знакомое здание.

Вот и Песчаный переулок...

Институт помещался в старинном доме с колоннами у главного входа. Над тремя этажами с замысловатыми карнизами и с выступами в простенках сразу же после войны были надстроены еще два этажа без карнизов и без выступов, с квадратными окнами и с несколькими дверными проемами.

Против этих проемов когда-то намеревались сделать балконы, но до сих пор из стен попарно торчали только металлические балки, а больше ничего не было.

Кафедра иностранных языков помещалась в западном крыле четвертого этажа, в комнатах с несколькими окнами и одной дверью; летом квадратные окна заливали помещение таким ярким светом, что глазам становилось больно, и такая была жара, что распахивались все форточки, дверь в коридор и дверь на улицу тоже открывали. Чтобы кто-нибудь посторонний не шагнул через порог с высоты четвертого этажа на балкон, которого не было, поперек этой двери ставили чей-нибудь письменный стол.

Однажды был случай: заведующий учебной частью совершенно напрасно сделал замечание заведующему кафедрой — что-то насчет расписания консультаций. Сам заведующий кафедрой промолчал, Евгения Меркурьевна тоже хотела промолчать, потому что дело ее не касалось, и все-таки затеяла спор.

Когда заведующий учебной частью вышел из себя, Евгения Меркурьевна предложила ему подышать свежим воздухом и, слегка отодвинув столик от дверей, сказала: «Не хотите ли, Петр Савельевич, прогуляться на балкон?» Петр Савельевич сказал: «Безобразие!» — немножко побледнел и ушел, а Евгении Меркурьевне пришлось выслушать нотацию заведующего кафедрой.

Этот случай вспоминался ей всякий раз, как она видела с улицы металлические балки, попарно торчащие из стен четвертого и пятого этажей повсюду, где были запроектированы, но так и не построены балконы. И теперь она тоже подумала: «Неужели Петр Савельевич до сих пор сердится? Надо будет помириться с Петром Савельевичем. Обязательно».

Нескладное, но такое знакомое здание ветеринарного института показалось ей сегодня очень приятным: здесь ты всех знаешь и тебя тоже. Ей захотелось сойти с ав-

тобуса, подняться к себе на четвертый этаж, поругав по пути слишком крутые лестницы, рассказать сослуживцам о поездке — не все, все, пожалуй, нет смысла рассказывать, — потом спуститься вниз, в канцелярию. Там обнять свою приятельницу, начальницу отдела кадров, и сунуть ей в нос эти справки, из-за которых пришлось столько волноваться, а потом сказать, что дефект в личном деле товарища Е. М. Арзамасской устранен раз и навсегда.

Но Евгения Меркурьевна остановила себя: надо ехать домой. Она с вещами, хоть и небольшими, к тому же плохо спала в вагоне, и ей следовало отдохнуть, набраться сил. Да по субботам у нее и не бывало занятий в институте.

Дома Евгению Меркурьевну встретила Марфуша — домработница, которая была ей как близкая родственница.

— Ах, — сказала Марфуша, всплеснув руками, — приехала! И я, как знала, приготовила обед на двоих!

— Милая моя! — Евгения Меркурьевна трижды расцеловала морщинистое лицо Марфуши. — Здравствуй, дорогая!

Сбросив плащ, шляпу, она и сама тоже бросилась в кресло. Вот оно, спокойствие! Наконец-то!

Она закрыла глаза и представила себе, как, не торопясь, пообедает сейчас, съест незатейливый Марфушин обед, очень приятный после того, как долго обходишься чужими приготовлениями, как потом она ляжет отдохнуть, а после пяти позвонит сыну и пригласит его зайти вечером, как в ожидании сына сядет за письменный стол и, наверное, забудет обо всем, увлечется работой, так что его появление будет совсем неожиданным и поэтому особенно радостным.

А он, может быть, и не обрадует мать.

Расскажет о своей семье, и она подумает: «Семья молодая, только бы жить да жить, а вот не выходит что-то...» И тут ее две комнатки покажутся ей не совсем уютными, и в душе она поворчит на Марфушу за то, что она не сделала ремонта печи в ее отсутствие... Настроение пошатнется.

Тогда она сядет за свою работу и будет мучиться вопросом: как сделать, чтобы работа была современной? Говорят, женщине в ее возрасте, никогда прежде не печатавшей ни книг, ни статей, сделать это очень трудно.

Но она будет работать и горячо верить, что добьется своего, а за работой забудутся неприятности.

Вот сколько у нее своих собственных забот, небольших, но своих радостей, своих огорчений! Так зачем же, спрашивается, ей вмешиваться еще в чужую жизнь?!

подавая на стол, Марфуша пыталась завести разговор.

— Повидала своих знакомых, Евгенья Меркувна? — спрашивала она. — Погостила?

— Ну, конечно повидала. Погостила.

— Обрадовались они тебе? До слез?

— Ужасно обрадовались! Некоторые — до слез...

— Хорошо-то как! — вздохнула Марфуша и, кажется, сама смахнула слезинку, поправляя платочек, который у нее почему-то всегда плохо держался на седой голове.

«Действительно, — продолжала размышлять Евгения Меркурьевна, — именно так, вот так, по-Марфушину, и должно было быть... Марфуше и в голову не может прийти, как все это случилось на самом деле. Проклятый характер! Зачем, ну, зачем было мне вмешиваться в семейные дела Муськовых, ссориться с Лосняковичами, так близко к сердцу принимать встречу с Костей Пухаловым? Встретилась с давними знакомыми, все они хорошо приняли меня, а мне будто кто-то вменил в обязанность доказывать, в чем эти люди правы и в чем не правы... Смешно! Наивно! Дожила до крашенных волос, а вот не даю людям жить спокойно и с теми слабостями, которые у них есть. И сама себе без конца порчу жизнь, теряю здоровье. Если бы кто-нибудь знал, сколько я натерпелась за эту поездку! А сил уже не много, старею... По любому поводу — сердцебиение. Ну, теперь, что бы ни случилось, не буду вмешиваться в чужие дела! Ни за что! Тем более что своим вмешательством я ведь ничего, верно, не изменила к лучшему? Не добилась результатов?

Вероятно, чтобы были эти результаты, нужно быть умнее. Нужно больше понимать в жизни, чем я понимаю, и чувствовать поддержку со стороны других людей...

А что, может быть, я и доживу еще до такого времени, когда все это будет у меня? В самом деле — если доживу? Если сердце еще потерпит? Не раньше. Ни в каком случае не раньше! Пора, пора успокоиться... Но ведь все происходит как раз наоборот: чем дальше, тем боль-

ше и острее чувствуешь, что хорошо, а что плохо, не-терпимо... И чем дальше, тем все меньше и меньше можешь соглашаться с этим плохим и все больше и больше позволяешь этому плохому беречь свое сердце,— то и дело приходится пить порошки от бессонницы, глотать бром, сосать валидол.

...Ведь, право же, Боренька Муськов всегда был таким, какой он есть, Костя Пухалов вечно и мило улыбался, а о Лосняковичах она не вспомнит ничего, что представило бы их в ином свете, не такими, какими она их увидела сейчас.

...Но только раньше, когда она была близко знакома с этими людьми, они ее совершенно не касались, она была поглощена своей собственной жизнью, они — своей. Вот и все.

...И вдруг под старость лет, когда, казалось бы, ей действительно нет до этих людей никакого дела, — она возмущается ими, до глубины души возмущается!

Почему бы это? Откуда? Какая во всем этом логика?»

И как раз в этот момент Марфуша прервала ее размышления:

— Вчера, уже к ночи, подружка твоя заходила, жалела, что тебя нет...

— Мария Семеновна? Зачем же она была?

И Марфуша, которая считала, что понимает в делах Евгении Меркурьевны не меньше, а может быть, и больше, чем она сама, объяснила, что Мария Семеновна жаловалась на учебную часть. Учебная часть сняла часы с английского языка. Тридцать часов.

— Ах, вот как? — возмутилась Евгения Меркурьевна. — Я займусь этим делом сама. Немедленно! — И она схватилась за шляпу.

— Евгенья Меркувна, — сказала Марфуша официальным тоном, — ты, пожалуйста, не кричи, потому что обед.

Евгения Меркурьевна принялась суетиться, собираясь в институт, но Марфуша снова и настойчиво повторила, что никуда она сейчас не пойдет. Нельзя никуда уходить от обеда. Это всем известно.

— Вот что, Марфуша, — сказала Евгения Меркурьевна, — запомните, пожалуйста, раз и навсегда, что вы не имеете никакого права диктовать мне свои условия! Я для вас лицо неподконтрольное!

Но Марфуша тоже знала себе цену и сказала, что эта несознательная женщина хочет загнать ее, старуху, в могилу раньше срока и когда добьется своего и заплачет, то будет уже поздно.

Евгения Меркурьевна снова сердито бросила шляпу в кресло и торопливо принялась обедать.

Потом, оставшись в комнате одна, Марфуша громко вздыхала, слушая, как ее хозяйка говорит по телефону из общего коридора:

— Да, да! Это я, Евгения Меркурьевна. Да, приехала! Спасибо, Петр Савельевич! Все было хорошо, очень хорошо... Да. Отдохнула. Поправилась. Набралась сил. Вы сейчас сами в этом убедитесь: я иду к вам поговорить насчет часов, которые вы сняли с английского языка... Непростительно: нам дается возможность как следует обучить людей английскому языку, а вы эту возможность отнимаете у преподавателей. Непростительно! Знаете, как это называется, Петр Савельевич? Я пойду в партбюро! Я в обком пойду! Читали, как писала недавно «Правда» о преподавании иностранных языков? Что? Не мои часы? И я не заведующая кафедрой? Это не меняет дела! Не думайте, пожалуйста, что я останусь в этом вопросе безучастной свидетельницей... Зачем же в понедельник, я выхожу сию же минуту! Ждите! А? Что? Ну, конечно, я знаю, я не очень положительный герой, это верно... Так что же, по-вашему, я из-за этого лишена всякой возможности поддержать правду?.. Что значит — какую правду? Что за несерьезный вопрос? Да самую обыкновенную, единственную!

1956

Новосибирск

НА ИРТЫШЕ

ПОВЕСТЬ

Стоял март месяц девятьсот тридцать первого года. Неделю буранило сильно, замело дороги, избы по самые крыши замело. После буран утишился. Погода настала ясная, мужики говорили — это последний в нынешнюю зиму играл буран. Теперь ударить мог еще морозец прощальный, либо сразу пойдет к теплу.

И похоже было — идет к теплу. Быстро проступила темная, унавоженная полоска дороги на льду Иртыша, и сугробы тоже быстро осели на улицах Крутых Лук, так что избы сразу окошками блеснули... Торопливо солнце вздымалось с той стороны Иртыша, а ночью тяжелые, низкие тучи ползали над самым яром...

Нынче в ночь от густых этих туч даже талым чем-то повеяло, дождливым, земляным, они Крутые Луки от крайней до крайней избы укутали.

На все село лишь четыре желтых оконца маячили: два — в ту сторону, где чуть виднелся синеватый увал с телеграфными столбами трактовой дороги, два — глядели в темную щель оврага. Окна эти мерцали на втором этаже фофановского дома. Совсем еще недавно свет в них гаснул едва ли не раньше, чем во всех других избах, но и зажигался тоже раньше всех — такой в доме был порядок. Когда же с месяц назад Кузьма Фофанов вошел в колхоз, он отдал второй этаж под контору, и вот с тех пор четыре оконца привыкли к бессонным ночам, моргали, прислушиваясь к собачьему лаю.

Непривычно моргал небольшими зелеными глазками сам Фофанов, полуночничая на втором этаже своего дома. Каждую ночь то правление заседало, то просто так мужики рассаживались на полу вдоль всех четырех стен конторы, без конца судили и рядили об одном деле и о другом. Но все равно еще и на следующую ночь оставалось, о чем судить и рядить...

Председателя, Печуру Павла, в Крутых Луках видели теперь вовсе редко — тот в районе заседал, приезжал домой на воскресенье еще больше поседевший, встрепаный и шумный; не торопясь же, подолгу что-то обдумывая, рассматривая на свет каждую бумажку, присланную из района, делами руководил Фофанов Кузьма.

Выбрали его заместителем в тот самый день, как он вступил в колхоз.

Фофанова этого ни в Крутых Луках, ни в окрестных селах ни по фамилии, ни по имени-отчеству сроду не звали, хотя человек он был известный. Звали просто — Фофан. Он был мужиком грамотным, в каждом деле старательным, на лицо плоский и с огромными, тоже плоскими, но умелыми руками. Кроме пашни, водил Фофан сад, и агрономы писали о нем в газетах, а года три назад так агроном прожил у него со страды и до самого почти Покрова.

После напечатана была книжка культурника Фофанова о том, как он сад свой разводит и какой доход садоводство может дать крестьянину в Сибири.

На книжке — портрет, Фофанову можно было дать на этом портрете лет пятнадцать, не больше, а у него подрастали уже две девчонки-погодки такого же возраста.

Девочки эти были всегда вместе, вместе потряхивали четыремя длинными тонкими косичками и боялись Печуру Павла — он приставал к ним с одними и теми же расспросами:

— Отец-то хребтину ломит, дом поставил двухрядный, а для кого? Ить если б были вы не девки, а хлопцы — понятно. А на вас стараться? Взамуж — и вся отцова справа в чужие руки?! Девки вы, девки — неправдашный народ!

Вошел Фофанов в колхоз — Печура девчонок попрекать перестал, но боялись-то они его как прежде, и, когда слышали громкий голос Печуры в конторе на втором этаже, враз умолкали у себя на первом...

Нынешней ночью в конторе было спокойно: Печуру снова вызвали в район, и мужики вели беседу, не различая уже друг друга в табачном дыму.

Говорили о том, что вот засыпали наконец-то семенное зерно.

Кони давно уже были сведены на колхозную конюшню, плуги, сеялки, косилки поставлены длинными

рядами в общественном сарае, а зерно все не шло — уберегали его мужики в амбарушках и подполах.

Сполна засыпали семена нынче — когда подняли пол в амбаре Александра Ударцева.

Сухощавый, с редкой бородкой, с тонким голоском, Ударцев не в пример Фофанову очень был проворный, держал когда-то на тракту ямщину, скот подряжался перегонять и сам скотом приторговывал, а потом все занятия бросил и пошел в гору по крестьянству.

Случилась у него одна только незадача: добрые постройки Ударцевых — дом пятистенный, амбар, подворье и огород у самого Иртышского яра были, а яр этот, что ни год, рушился. Теперь от завалинки ударцевского пятистенка и до кромки обрыва оставалось-то шагов пятьдесят, не больше. И когда нынче выгребали зерно, Ударцев вначале стонал, едва не плакал, жаловался на болезни — свои, жены и старика отца, но после бросил шапку обземь:

— Гребите все! Гребите до зернышка! Слово не меняйте! Обещано слово — перенести меня народом на бывшее Митрохино место! Обещано ведь? Нету отказа?! У меня и лежни уже под избу положены!

Ударцеву не ответили, а когда кончили дело и собрались вечером в конторе, он тоже пришел, сел в угол и слушал молча, что говорят кругом. Угощал мужиков самосадом с донником и газетку давал на прикурку, а сам глядел, глаз не спускал с Фофанова.

Наконец Фофанов сказал:

— Шапку-то ты кидал, Александра, обземь...

— Ну?

— Однако поперечь правды она легла, шапка твоя...

— Почто это — поперечь?!

— Сперва бы тебе семена привезти в колхоз...

Ударцев снова сорвал с головы треух, но, поглядев на него, нахлобучил обратно.

— Так ведь, мужички, миром ведь жить-то... Кто там хорош, кто, может, плох, а жить-то миром... Ежели меня Иртыш понесет с ребятенками — как глядеть будете? Не котята они, чтобы забавы ради глядеть на их... Или как думаете?

Ударцеву и тут не ответили.

Немного спустя он ушел из конторы, а в конторе продолжался разговор о том, чтобы как-нибудь не перепутать в амбаре семена разных сортов, сортную пшени-

цу с несортной, сорную с чистой, чтобы не проглядеть головню или еще какую болезнь семян.

И вдруг кто-то истошно крикнул с улицы:

— Горим! Гори-им ведь, горим!— Бабий голос...

Как раз месяц снова вынырнул из тучи, а навстречу ему полыхнул яркий, веселый огонь...

Горел амбар с колхозным зерном...

Вспыхнув, огонь тотчас унялся и, когда к нему подбежали люди, ушел в угол черного, приседающего к земле амбара, вверх же рвался фонтан продолговатых темно-красных искр. Безмолвно и ярко горел только снег вокруг амбара, и те, кто бежал на огонь, как будто спотыкались об это морево.

— Зерно этак-то горит! Семена ведь!— удивился кто-то.

— Не большой амбар... Пристройка... Вот как большак займетса, во-о-от полыхнет!

Дым окутывал людей, и под ногами хлюпал розовый тающий снег...

— Все, товарищи колхознички, отсеялись!— пропел бабий голос, а его другой прервал, грубый — Кузьма Фофанов, на чем свет стоит выругавшись, потребовал:

— Что рты-то разевать — рви двери, выноси зерно с другого угла!

— Снегом его, огонь-то, снегом, ребята! У кого лопаты — режь снег кирпичами!

— Кто смелый — наверх! Кирпичики побрасывать!

— Кто догадливый — тому и наверх!

— И что же ты думал, а ну, ребята, подсади!

Из распахнутых уже дверей на другой стороне амбара валил густой дым, и в дыму тоже кричали в несколько голосов сразу:

— Тулупами тащи зерно! Тулуп шерстью книзу, один — за рукава, другой — за подол, воз можно вытаскать за два раза!

— Тут не то тулуп — всякая лапотина к делу! Сбрасывай, бабы, юбки!

— А девкам — можно?

— Цыц вы, сопляки! Разгребайте вон снег-то — не на снег же зерно таскать!

Бежали из переулков, из темных изб, поблескивающих багряными пятнами... Тащили лопаты, ведра, ломики, багры, и никто уже не кричал, не размахивал руками... Те, что с лопатами, резали сугробы снега, глыбы подавали по цепи из рук в руки и наверх, а там, наверх-

ху, уместившись на тлеющем бревне, человек бросал их в огонь...

— Степша это Чаузов или кто?

— Он!

— Сгорит! Живьем!

— Очень даже просто!

Рядом с дверями мужики, навалившись, выломали простенок и кидались в огромное отверстие, в дым и чад, в яркие отблески огня, а оттуда ведрами, на тулупах и полушубках, в платках и кацавейках — кто как мог — тащили зерно... Сразу человек десять-пятнадцать, задыхаясь, улюлюкая, волокли огромный полог, и зерно — побольше воза — сверкало в этом пологе и курилось паром, а когда его ссыпали в кучу, поблекло, потемнело...

Отдышавшись, снова полезли в дым и чад, крича друг другу:

— Рядом-то со Степшей еще кто уместился наверху?

— Вдвоем весельше жариться...

— Так их трое уже!

— Со святыми упокой!

— А огонь-то книзу падает!

— Разевай рот ширше — в тебя и падет!

— Жара...

Фофанов бегал вдоль амбара:

— Сюда, бабы, сыпь сюда — в эту кучу! А ну, ребяташки, еще сгребайте снег! — Задрав голову кверху, кричал: — Степан! А, Степша?! Вы уж потерпите малость наверху! Опростаем с другой стороны амбар — пропади он после пропадом! А? Еще малость? А?!

Степан Чаузов молчал, боролся с огнем, ловчился и обманывал его: то закидывал огонь в противоположном углу, то прямо перед собой, то не пускал его в тот конец амбара, откуда выгружали зерно.

Временами Степана вовсе не было видно в дыму, и снизу спрашивали:

— Степка? Живой или как?

Огонь же все наступал в разные стороны, будто чувствуя за собой силу, досадуя на минутное замешательство, и два чаузовских напарника, чихая, задыхаясь, спрыгнули на землю.

— Дыхания там никакого!

— До костей прожигает, ей-бо!

Снова подбежал Фофанов, подставил лестницу и стал тянуть Степана Чаузова вниз за полы тлеющего полушубка.

— Все, Степа! Что вытащили — то и наше... На остатнее пожадничаешь — жизни решишься! Слазь, говорю...

Чаузов соскочил вниз, пошатываясь, бросился в сугроб, и снег затрещал под ним, зашипел, будто тоже загорелся. Тонкими струйками курился полушубок, облако дыма и пара окутало Чаузова.

Присев на корточки и шаря в этом облаке рукой, Фофанов спрашивал:

— Обжогов нет ли на тебе, Степа?

Чаузов чихал, плевался.

— А ребята со мной были, те живые?

— Они-то живые...

— А бабы моей, Клашки, тут не видать, на пожаре?

— Не видать...

— Она же у меня жалючая очень... И за меня пужливая. Нет чтобы по-бабьи, в рев. Замрет заживо и не дышит.

Облако над Степаном рассеивалось, и при свете пожарища пятна сажи как будто вдавливались в глубину его скуластого лица; светлые, почти белые волосы, прилипшие к потному лбу, к ушам, к шее, местами подгорели и порыжели, над правым глазом тоже были совсем черными от копоти, а голубой и зоркий левый глаз глядел на Фофанова и куда-то дальше через него упрямо, насмешливо-весело, так что Фофанов спросил:

— Ты чему это лыбишься-то, Степа?

— А живой остался! — ответил Чаузов. — Живой, непокалеченный — кого ж еще мне надобноть? Ты, Фофан, мужик шибко степенный, ты не поймешь. А я сколь вот разов уже живой оставался — и каждый раз выходит тебе вроде престольный праздник!

Ничто больше не мешало огню, и он, метнувшись в сторону, вскочил на стропила, поплясал на них, как бы своей тяжестью уронил стропила вниз, а через минуту взвился еще выше в черное небо.

— Ишь ты, видать, зло взяло! — сказал кто-то весело и задорно. — Давай по пустым-то засекам...

— Благодать — ветру-то нету... Уж он бы по деревне па-алыхнул!

— Уж он бы посмеялся...

— В колхозную жизнь благословил бы нас — без портков!

— Светло-то! Карасину в избах жечь не надо!

Амбар полыхал теперь со всех сторон, бревна трещали где-то в середине, в самой глубине огромного костра, ребяташки бросали в этот костер снежки, люди подбадривали огонь:

— Давай-давай!

— Кончай дело, коли начал!

— Гляньте, однако, сельсоветская пожарка порет! С самой с Шадриной!

— Как есть — она!

— Ого-го! Со смеху на карачки сшибешься!

— Пожарная часть, покорми сперва кобылу-то. Поля тушить займешься!

Пожарник без шапки — потерял шапку дорогой — сидел на бочке растерянный, обалделый... Кричал и на людей и на лошадь в один прием:

— Вот люди, черти! Сдурели вовсе? Тпру, проклятая! Амбар полыхаить, а они ржут, ровно скаженные! Стой, язвило бы тебя! Мужики, да вы умом поперхнулись или как?! Горить, а они ржут!

Потом заметил, должно быть, кучи зерна, успокоился, огляделся и тоже удивился огню:

— Ну змей! Ну буровит!

Наконец пламя рухнуло на землю, поползло в глубь головешек.

Кто-то позвал:

— Фофанов, ты где будешь?

Фофанов как раз свернул две сигарки и одну протянул Чаузову, подле которого он все еще сидел на корточках, а другой затянулся сам, вынул сигарку изо рта и отозвался:

— Здесь...

— Фофан, а Фофан, сколь же мы зерна все ж таки лишились?

Зерно лежало в четырех больших кучах, темных с одной стороны и красно-золотистых там, где на них падал свет пожарища... Люди щупали эти кучи, погружали в зерно руки, жевали, пробовали на зуб — не подгорело ли?

Поднялся и Фофанов, долго, задумчиво глядел на зерно, несколько раз снимал и снова надевал шапку, шевеля губами, считал, прикидывал...

— Я, мужики, думаю, потеря, может, в одну четверть обойдется... Однако не более того. А насчет всхожести надобно проверить...

— У тебя, Фофан, завсегда не худо получается. Ну, а если б и по-твоему — четверть, так игде ее обратно взять?

— Опять же по избам шарить, по закромам?

— У кого по закромам, а у кого из последней квашенки тесто выгребать на семена?!

— А ведь это, ребята, чье-то дело! Не то какого странника, не-ет — это свой, крутолучинский, удумал!

Поднялся со снега Чаузов и крикнул:

— Александра Ударцев, здесь ли? Подай голос, когда здесь!

Стало тихо как-то вдруг... Потрескивал огонь в красных угольях.

— Александра Ударцев, спрашиваем: нет тебя среди народу?

Пожарник, привстав на бочке, оглядел народ сверху и подтвердил:

— Нет... И встречу мне никто не бежал. На пожар бегли, а с пожара — ни одна собака.

— Не шумите Александру... Нету его... — сказал, волнуясь, женский голос. — Убег он...

Голос прервался треском огня в головнях.

Говорила Ольга Ударцева, жена Александра. За подол ее держались двое ребятишек, один глядел кругом с веселым недоумением, другой, когда люди стали приближаться к Ольге, сунул голову в складки ее юбки и захныкал:

— Мамка, кого это они? А? Мамка, кого они?

Ольгу окружили, она стояла в кольце людей, высокая и неподвижная, в полушалке, на плечах и голове у нее прыгали огневые зайчики, у ног, в темноте, копошились ребятишки.

— Он же вот, Александра твой, час который был в конторе. Когда убег-то?

— Хотите — верьте, хотите — нет...

— Не может же быть?!

— Зерно у него выгребли, так нешто с этого решиться?

— Убег?! А баба? А ребятишки? Вот сладил именины...

— Не шумите вы, народ!.. Как произошло-то? Ольга?

— Пришел с конторы... Сказал: срочно нарядили в город... хлеба взял, масло было в туюске... Деньжонки какие... На ребятишек-то не поглядел.— Ольга быстро взмахнула рукой и закрыла лицо рукавом мужской шубейки.— Да ведь он же не пеший, он конный подался... Спросите вон у конюхов...

Несколько человек бросились на конюшню. Возвращались по одному с разными подробностями:

— Игреньку взял, бывшего своего меринишку...

— А кошевка Андрея Зотова...

— Овса меру засыпал...

— Две!

— Обещался вместе с Печурой с Павлом вернуться.

— Торопился шибко... Сказывал конюху-то: Фофан его нарядил...

— Фофан, может, ты и наряжал куда?

— Вы что, ребята, вместе же в конторе сидели!

— Верно, значит — кругом хитрость!..

Помолчали, разглядывая Ольгу, о чем-то думая. Снова заговорили:

— А еще просил миром его на Митрохино место перенести...

— Скажи, не уважили мужичка!

— Он и осерчал...

— Он-то осерчал, а мы-то на угольках стоим...

Ребятишки теперь уже оба дергали Ольгу за юбку, за рукав шубейки, повизгивали тоненькими голосками:

— Мамка, а мамка, кого они? Мамка, загасили огонь-то — пойдем в избу!

— А все ж таки, может, он дома, Александра! — сказал Чаузов.— В таком деле всякое может быть! — Повернулся и пошел...

За ним с чем были — с ломиками, с лопатами — пошли мужики, человек двадцать-тридцать...

Еще недавно крутолучинские мужики вот так же толпой хаживали к Лисьим Ямкам. Ямками на тракте называли ничем не приметное место с небольшой избушкой, поставленной когда-то пастухами, а потом заброшенной, хотя до сих пор вокруг были пастбища...

Место это ровное и открытое, и по нему издавна проходила граница с землями деревни Калман, соседней Панферовской волости, по-нынешнему — района. Случалось, что крутолучинцы угоняли к себе скот калманцев, бывало и наоборот, и все потому, что соседи не могли установить между собой «грани».

Споры эти решались драками, но не в летнюю пору, когда драться некогда, а зимой...

Летом через «грань» только ругались: «Постойте, калмыки православные, мы вам на масленке, а то, бог даст, и в рождество башки-то поотрываем!»

Кто зимой брал верх, за тем и оставалась правда — никаких судов и других разбирательств между собой ни крутолучинцы, ни калманцы не признавали.

Бывало, что ходили друг на друга не с пустыми руками — у кого стежок, у кого и еще что-нибудь, и в разное время на месте столкновений было закопано уже немало мужиков, но зимой копать нелегко, землицей прикрывали больше для порядка в неглубокой ямке, а все остальное делали уже волки и особенно лисицы... Так и пошло название — Лисьи Ямки.

Крутолучинских обычно водил на Ямки Степан Чаузов. Вот так же, как и сейчас, шагал он впереди всех будто бы и не быстрым, но податливым шагом, невысокий, неприметный, но, как ни старались калманские мужики, ни разу не свалили его наземь, зато уж он валил с копытков подряд.

Но только прежде, когда гуртом с Чаузовым впереди мужики спешили к Лисьим Ямкам, на всю неблизкую дорогу хватало прибауток и побасенок, озорных песен, всяческой ругани, — теперь же шли они трезвые и молчаливые... Толкались в узких, занесенных снежными сугробами переулках. Спешили.

Позади всех бежала Ольга Ударцева, подхватив на руки одного мальчика и волоча за собой другого.

Тот, что сидел на руках, крепко обхватил ее за шею, мешал дышать, а другой терял то шапку, то валенок и, дрыгая босой ножонкой, по-щенячьи поскуливал:

— И-и-и...И-и-и...

Ольга останавливалась, приседала и, придерживая на коленях одного ребенка, натягивала шапку или валенок на другого...

— Господи... Господи, да что же это будет? Да что же это случилось-то нонче? Господи!!!

Впереди под ногами мужиков отчетливо и громко хрустел снег, никто не оглядывался на Ольгу...

Около ударцевских ворот Степан Чаузов поднял руку:

— Погодите! Не топчите, мужики, следов!

Вспыхнули огоньки спичек, но и без огня, при свете месяца, на слегка запорошенной дороге ясно проступали следы узких кованых полозьев кошевки...

— Так оно и есть — был, да весь вышел...

— Свернул-то не в улицу, а проулком, да круг бани, да задами, задами...

— Считаешь, в город? Держи карман — на станцию подался... А то — к кыргызам...

— У его полстепя кунаки...

— Ну, ребята, пошли в избу? Или как?

— Так ведь нету его... С кого спросишь-то?

— Не-ет... Сказке не конец!

— Проведаем!

Распахнули ворота, вошли в дом.

— Кто здесь живой? Засвечивай огонь!

Из теплой, покойной тьмы отозвался стариковский голос:

— Ты, что ль, Ольга? Кого там на улице-то деется?

Слышно было, как на печи пошарила рука, нашла спички, а навстречу этому шороху мужики тоже чиркнули о коробки... Кто-то шагнул вперед, зажег лампу в простенке над кухонным столом.

С печки под настил полатей высунулась кудлатая стариковская голова, вслед за нею — рука с горящей спичкой... Покуда огонь спички не достал пальцев, старик глядел неподвижно, серьезно, ничуть не удивляясь и ничего не спрашивая, и только из бороды его вдруг вывалился большой тяжелый крест и закачался на длинной цепке, словно маятник...

Бросив спичку, старик помусолил на губах пальцы и спросил:

— Шапки-то сымают в дому или как ноне? В колхозе это ни к чему? — Зевнул. Перекрестил рот с редкими длинными зубами, потом спустил с печи костлявые ноги в исподних штанах до колен и сам неторопливо спустился вниз. Сел на прилавок, зевнул, поправил крест на голой, тощей груди и ответил себе: — Совсем даже ни к чему...

Степан Чаузов, нагнувшись к старику, крикнул:

— Сын где у тебя? Где Александра?

— Сын-от? Так он не мой, сын-от... Он теперя ваш. Сказать — колхозный. Обчественный... Вот объясните, где он? Где подевали? Чей он приказ сполняет?

Мужики как-то разом шумнули, кто-то крикнул:

— Не дури, отец! Александра твой зерно спалил. Семена. Понятно тебе?!

— И-ишь ты! До чего крестьянин дошел — зерно сжег! Семена! Хлебушко, значит, и в огонь! Времена-а... Ну, огоньку-то, видать, ишшо премного будет... Ишшо не одно зернышко сторит в огоньке-то...

— Э-эх, старый! А еще просил Александра-то твой перенести его всем миром на Митрохино место! Сегодня только и просил...

— Как-как?

— Избу вот эту просил перенести, говорю.

— А и что ж? Опять же и дом-от нонче без хозяина. Сказать, так хозяев у его — вся деревня... Общественный вроде. Ну и общество обязано об доме заботиться, коли Иртыш ограду моет... Чтобы все было в аккурате. Или не так говорю?!

— Ты, старой, не крути! — крикнул Егорка Гилев, шумливый мужичонка. — Мы уже без тебя шибко крученые: раз перекрутишь, оно на обратную-то сторону знаешь как р-развернется?!

— Все может быть, все может быть... Вот и ты, Егорша, ночью ко мне без спросу пожаловал и шапку не скидываешь... Да ить не как-нибудь — с оружием, а? — Старик взял из рук Егора ломик, поднялся с прилавка, подошел к лампе. — Острый ли ломик-то?.. — Потрогал острие большим костлявым пальцем. — Острый, видать... — И вдруг, закинув ломик за плечо, повернулся, всхрипнул и дико заревел через бороду: — А ну, цыть отседова, проклятущие!!! С глаз долой! Пришибу любого, на святую икону на Христа-бога не погляжу — пришибу! Днем зерно выгребаете с амбара, ночью — ордой разбойничать?! Пришибу, хады!

В длинной разорванной рубахе, в исподних штанах, будто обрубленных до колен, откинувшись назад и высоко справа от себя закинув ломик, старик Ударцев медленно двинулся левым ребристым боком вперед, заслоняя собою лампу и бросая на людей огромную колеблющуюся тень без головы — тень головы уползала за настил полатей...

Он дышал тяжело и хрипло сквозь клыкастый, широко раскрытый рот, и все дальше заламывал обнаженные до локтей сухожильные руки, и все пронзительнее двумя тонкими полосками, словно лезвиями, блестел в его руках круглый ломик.

— Ну, хады, не одного пришибу! Не-ет, не одного... Люди попятились прочь, потом кто-то метнулся в дверь, и тех, кто был на крыльце, столкнули со ступеней, тех, кто стоял в сенцах, выдавили на крыльцо...

И только Степан Чаузов, упершись плечом о косяк, остался в избе...

На полатях вдруг сначала тихо, а потом во весь голос страшно завопила девчонка:

— О-о-ой, мамынька-а-а!

Но старик не дрогнул, не поднял глаз, а, все круче разворачиваясь боком вперед, медленно двигался на Степана...

А Степан все стоял и глядел на старика, не спуская глаз, и по грязному, в размазанной саже и копоти, лицу его катились капли пота, и потому, что лицо иногда вздрагивало, капли оставляли на нем ломаные белые полоски — на лбу, на щеках, на бледных, плотно сжатых губах...

— Ма-а-мынька! — снова крикнула девчонка на полатях, и в дверь ворвалась Ольга...

— Батя! Опомнитесь, батя, человека убиваете! Человека! — Она бросилась на старика, повисла на нем, обхватив за шею, а подбородком, головой старалась достать его заломленную вверх руку...

Старик остановился...

Остановился, задрожал, и ломик тоже покачнулся над его головой...

Потом ломик с грохотом ударился об пол, а на него рухнули старик и Ольга. Мужики снова подались в дом, и Степан Чаузов, смахнув шапкой пот с лица, сказал быстро и требовательно:

— А ну, вытаскивай всех живых отседова! Одежонку какую, сундучишки — выбрасывай! — Выскочил на улицу. — Вышибай с подполу венец, ребята! Подкладывай лежни на другую сторону! Готово ли? Готово! Подмогай навалиться!

Дом Ударцева дрогнул, что-то заскрипело в нем, что-то упало и прокатилось внутри... На спину Чаузову откуда-то сверху прыгнула кошка и, не по-кошачьи дико заревев, метнулась в сторону. На мгновение, будто оглушенные этим ревом, мужики затихли, потом снова закричали, заругались:

— Поддерживай с боков-то, поддерживай, чтобы не враз завалился!

— Верх-то слегка упор сделайте: рухнет — задавит...

— А ну — взяли!

Дом полз по лежням под уклон... Распахнулась ставня — в кухне все еще горела лампа, на подоконнике стоял чугунок, а в нем вздрагивали листья невысокого цветка... Другой цветок в жестяной банке лежал плашмя, то прижимаясь к оконному карнизу, то отшатываясь от него в сторону.

Дом повис над обрывом, и что-то треснуло в нем, сломалось.

Из него выпала печка — с ухватами, с кочергой, с чугунками...

...Начала крениться одна стена — покачалась, опрокидывая на себя весь дом. Глухо хлопнуло вниз, под яром. На снегу осталось несколько бревен и досок, а в воздухе — запах жженого кирпича, хлеба, щей, — чего-то теплого и съестного...

Потом повеял холодок...

Крупянистый, редкий-редкий снежок падал с ночного неба... Упадет крупинка, а другой долго нету... Спокойно было кругом.

Сверкала гладь Иртыша, рассеченная надвое темной, унавоженной линией дороги, и кажется, был виден противоположный берег — зыбкая и ломкая полоска почему-то иногда вдруг приближалась, а иногда уходила в глубину ночи...

Кто-то сказал:

— Попа как раз сюда бы...

— Это зачем?

— Он бы и спел: «Мир праху твоему...»

Никто не откликнулся.

Прибежал с пожарища Фофанов, потоптался на темном и теплом пятне на месте, где стоял недавно дом Ударцевых, подошел к перевернутой колоде, на которой, закутавшись в тулуп, сидели старик Ударцев и Ольга с ребятишками... Потом Фофанов приблизился к мужикам и тоже заглянул вниз, в глубину Иртышского яра, кое-где пронизанную голубоватыми полосами лунного света.

— Дом-то добрый был, — вздохнул Фофанов. — За место его в какой-нибудь другой дом людей-то надо селить... Надо... — Подумал еще: — От она с чего пошла, наша общая-то жизнь...

ГЛАВА ВТОРАЯ

Помолчали.

Потом Степан Чаузов сказал:

— Ну пошли, мужики...

Откликнулись сразу в несколько голосов:

— Куда?

Он не ответил. Повернулся, пошел не торопясь, будто был совсем один, а за ним двинулись другие. Дорогой кое-кто отбивался по домам, сворачивая в переулки, остальные толпой вернулись к дому Фофанова, толкаясь на крутой и темной лестнице, поднялись в контору. Сели вдоль стен по тем же самым углам, кто где сидел, когда на дворе раздался истошный бабий крик: «Горим! Горим ведь, горим!»

Пора бы всем разойтись — что-то не пускало, что-то держало всех вместе в остывшей комнате.

Ждали, кто начнет разговор.

— От ярмарка нонче в ночь так ярмарка... Зерно спалили и дом-то ударцевский — вовсе по дешевке продали!.. — выскочил было Егорка Гилев, но понял, что слушать его никто не будет.

Устали мужики с пожара с этого, с нынешней ночи устали и даже думать о ней не хотели. Егорка Гилев еще раз мужиков оглядел и позвал:

— Нечай, где ты есть? Либо нету тебя?

Из полутемного угла вроде бы нехотя отозвался высокий, с седоватой бородой мужик.

— Здесь я... Ну и что? — Он был хром и уже несколько раз вставал и снова усаживался в своем углу, покряхтывая и пристраивая хроющую ногу сверху здоровой.

— Не слышать чтой-то тебя...

— Услышишь, чай... — Сел, пошевелил одной, потом другой ногой и согласился: — В самом деле, долгая же эта ярмарка выходит...

Стало совсем тихо, мужики ждали, куда Нечай дальше поведет речь. Он сказал:

— Было дело с Колчаком, а заодним и промежду собой погрызлись. Прошло чуть времени, гляди — мужик опять друг на дружку зубы щерит... От какая выходит политика.

— Мужик — он по сю пору политикой не занимался, дядя Нечай, — ответил ему Фофан. — Он испокон века жизнью занимается. Землю пашет, скотину пасет,

ребятишек родит. Ему политика — все одно какая, ему жизнь надобна — урожай, приплод.

Фофан сидел за столом под тусклой лампой, дымил сигаркой и говорил медленно, тихо — он тоже устал до смерти. Договорил — обратился лицом к Нечаяю.

Нечай отвечать не торопился, сначала покряхтел...

— Да ить как сказать... Урожаю-то ему, мужику, не достало, приплоду тоже, он и надумал ишшо политику припречь.

В углу засмеялись, Фофан тоже усмехнулся, плоское лицо его сморщилось, потом он как-то вдруг улыбнулся, поднял к тусклому свету лампы широкое, будто детское лицо.

— Ягодник бы нам в колхозе завести... Малину, кружовник. Одному это не по силám. Одному невозможно. Сад — он удивительно сколь силы требует... Его по настоящему ради пользы справить — десяток полных мужиков нужно да еще вдвое-втрое баб. Тогда будет сад... А сказать-то, очень он, кружовничек, на арбуз похожий. Каждая ягодка — что игрушечный арбузишко. И разводья те же в точности на нем, и от пупка росточек. Склонишься над кустом — он весь теми игрушечными арбузишками усыпанный. Только что арбуз для солнца вовсе непроницаем, интересно даже, как он под шкурой своей красную мякоть наливает, а кружовник — тот сквозь кожу искоркой светит... Солнце очень приемлет. Так и выходит: одно солнце на весь мир да еще в каждой ягодке свое. — Фофан посмотрел вдоль стен и по углам, где один к другому вплотную сидели мужики — кто на корточках, кто ноги крест-накрест, — и вздохнул. — Вот выселим за болото поджигателей, навек от них избавимся — и все! Хозяйство надо ладить. Сад.

— Это как день запросто — матерого кулака выселить за болото, за город Тобольск либо в Турухан! — согласился Нечай. — Тот первый кулачина — очень прямой, слепому видимый. Спроси: «Кто?» — каждый пальцем укажет: «Вот этот обирал, этот охмурил всех без разбору!» А на ком кончать будем? Ты скажи мне, Фофан, кто ее, эту самую точку, заметил, что, мол, точка и, значит, конец? Ведь почто кулак образовался? Богатеть хотел, останову не знал. А ты начал раскулачивать — ты свой останов знаешь ли?

Пока Нечай еще думал, кто-то сказал:

— Дядя Нечай, на тебе и остановимся!

— Метка на мне или как? Может, хромых за болото не сгоняют?

— Не-ет! — сказал Фофан. — Дурные слова! Нечая никто не тронет: об жизни в Крутых Луках толковать некому будет! — И еще раз повторил: — Не-ет!

— Ну, ладно, — кивнул Нечай, — тогда как раз тебя, Фофан, и возьмут за ленок.

— Меня?

И еще кто-то удивился:

— Фохана?

— Очень даже просто: двухрядный дом имел? Имел! Батрака в третьем годе держал? Держал!

— Дурь! Вот он, дом — сам половину в колхоз отдал. Батрак — так я того Кирюху из милости взял и спас: у его же на пашне ни зернышка не проклюнулось!

— А это как раз закон жизни и есть — спасителей наперед всех других с места гонют. Им на земле не судьба. Понятно говорю?

Фоханов заморгал глазками, заулыбался виновато. Нечай откашлялся, сказал:

— Вот так, Ягодиночка Фохан, за болотом, за городом Тобольском, будешь свою правду доказывать! — Потом усмехнулся: — Шутку шуткую...

Тускнел в дыму свет лампы, все больше сгущался сумрак в углах конторы, и в сумраке все слабее проступали фигуры мужиков с распущенными ушами мохнатых шапок. Нечай долго вглядывался в этот сумрак, вздохнул, осмотрел самого себя — неуклюжие свои ноги, узловатые, со скрюченными пальцами руки. Продолжил разговор:

— Вот мы — мужики. Самый что ни на есть мелкобуржуазный элемент. За нас до конца собственность держится, а мы — за ее. Так оно и есть, как в газетках пишут. А почто нам ломку дают куда больше, как сознательному пролетарию? Рабочий при царе по гудку на завод ходил и по сю пору ходит. Ему тот же гудок жизнь определяет: отгудел смену, он картуз на лоб — и пошел в казенную квартиру... Нам вот гудка нету, казенной квартиры нету, жалованье не положено, а новую жизнь с нас очень даже спрашивают. Хорошо. Я согласный и на это. Только так: ты сперва отбери от меня мою собственность, чтобы не за что было держаться, а после — гуди в любое время, командуй налево, направо либо кругом марш! Мне без ее, без собственности,

любую фигуру выполнить запросто, ровно солдату без скатки. Почто солдату помирать легко? Да при ем — ни избы, ни жены, ни мало-мальского какого телка! Одна вша! Отбери, говорю! — крикнул вдруг Нечай и локтем с силой толкнул соседа: — Ну?!

Сосед поежился, спросил:

— А отдашь? Самовольно?

— Самовольно не отдам. Силой возьмешь — спасибо скажу!

— На словах. А на деле-то вон Александра-то Ударцев как отблагодарил? А? И мы его — как?

— А почему? Почему такое?

— Вот и отвечай сам — почему?

— В середку на половинку меня поставили — вот почему! Наживал — теперь которую часть отдай в колхоз, которую — в государство, которую — себе оставь. Не-ет, ты испытания мне не делай, не терзай! Ты отбери у меня все и казенную работу дай. По гудку! Так, что ли, Фофан?

— Не так. Мужик, он покуда живой — хозяйствовать должен. Врозь ли, миром ли, какая бы ни была напасть — он у хлеба. Пахать-сеять на другой год не отложишь, по гудку хлеба не вырастишь. Заря занялась — вот тебе гудок. День-то, попы сказывали, божий, а хлеб-то мужицкий. Другого хлеба покамест никто не выдумал.

— И ягодку растить — тоже мужичье дело?!

— А хотя бы! Не война ведь — про ягоду забывать!

— Фофан ты, одно слово что Фофан! — засмеялся неловким смехом Нечай. Замолк, засмеялся вроде бы еще раз. — А войны-то, мужики, и в самом деле не должно случиться...

— Тебе сказывали? Либо в газетке объявлено?

— Именно. Покуда меня в газетке мелким буржуем величают — войны не жди. Перед войной мужика за-всегда героем представят!

— Ну, гляди, Нечай, ежели война объявится, мы тебя не то с яра пихнем, а еще и в Иртыше утопим!

Но это было уже шуточно сказано кем-то, все незлобиво усмехнулись, а Степан Чаузов громко зевнул...

Он сидел на корточках, прочно, всей спиной прислонившись к стене. Кажется, дремал, сигарка притухла у него в руке, но слышать — все слышал, что говорили мужики. Зевнув, он открыл глаза, оглянулся и подумал: «Ишь какой он, дом-от, легкой у Александры Ударцева

оказался! Живешь в таком цельный век и думаешь: это твердыня, весу в нем тысячи пудов, а подошел народ, толкнул, пальцем шевельнул — и нет его?!» И Чаузов повел плечами в рваном, все еще пахнущем дымом полушубке, шевельнул одной рукой, другой...

Бывало, когда нужно было поднять какой груз, он раз глянет и увидит сразу — поднимет или нет... На конском базаре тоже с точностью мог сказать, какая лошадь сколько пудов увезет, а ежели два барана сходились лбами — заранее знал, у которого удар сильнее. Когда есть сила своя, то и на чужую у тебя глаз вострый. Потом перед ним возник старик Ударцев — тощий, будто хворый конь, что из-под кожи светит ребрами, с редкими зубами в открытой пасти, и тоже сильный... Только уже от страха сильный. С отчаянности это бывает, когда человек уже ничего не чувствует, ничего не понимает, а только рушит все, а вслед за тем и сам тоже падает. Будто бы снова сверкнул двумя ледяными полосками ломик в руках старика и еще вспыхнула искра на самом острие... «А ведь он мне не в голову метил: нет... — догадался Степан. — Он знал: в голову ему не угадать — увернусь я. В тулово он бил... Не то чтобы зараз, а все ж таки он меня бы решил... Не поднялся бы я на ноги...»

Дремота совсем покинула Чаузова, он подумал: «Вот и силу чувствуешь за всех, а помирать все равно одному, никто тебя не спасет, каждый спасает сам себя... В дом Ударцева вошли — десятка, может, два было людей — стена стеной, а замахнулся старик ломиком — и сдуло всех ровно ветром... Хотя и так можно было сообразить: как бы перед ним ни один не встал поперек, перед стариком, — он бы вдогонку тоже не одного бы ломиком достал... Уж это как есть двух, а то и трех бы покалечил... По затылкам бы и вдарил... И никак ведь не получается: совсем в одиночку жить мужику — разве что в наказание, и всем вместе — тоже худо выходит... Где оно только есть, правильное для мужика место?» Затем Чаузов себя поругал: «А все ж таки дурной ты, Степша, дурнее тебя под ломик никого подставляться не нашлось!»

Стал слушать спор Нечая с Фофаном.

Они было успокоились, но ненадолго — Нечаев уже чинил допрос Фофанову:

— Вот объясни мне, Ягодка Фофан, к примеру, я нонче утром слажу с печи, похлебал щей, после — по-

дался в колхозную контору. Спрашиваю: «Что мне, товарищ мой начальник, робить?» Ты подумал, пораскинул: «Подавайся, Нечай, на двух по сено... За Иртыш, на Татарский остров». Ладно, я иду, две розвальни запрягаю, сажусь на переднюю, поехал. А ведь назавтра то снова да ладом я у тебя же спрашиваю: куда ты меня нонче определишь?

— Ну и что? Что из того? Ты на артель работаешь. И я — обратно на артель. Ну, а значит, артель — и на тебя и на меня. Чем плохо?

— Так неужто я после того крестьянин? А?! Покрестьянски-то я с вечера обмечтал, как запрягу, да как мимо кузни проеду, возьму у кузнеца по пути необходимый гвоздок, да как моя кобыла у той кузни поржет, а близи околицы дорогу помочит, да какими вилами я стожок в сани метать буду. Я каждый день заранее себе отмерил, день за день, и вся линия моей жизни складывается. А тут? Ты, значит, будешь думать, а я — исполнять. Год, другой минул — из тебя уже какой-никакой начальник вылупился, ты командовать в привычку взял, а я — как тот поросенок с рогулькой на шее: в одну дырку мне рогулька ходу не дает, в другую — и не думай, ходи, где позволено. Так ведь люди не поросята, их по одной стежке не погонишь, они разные. Это сорочки дети — те верно что все в одно перо родятся...

— Мы с тобой, дядя Нечай, переменимся через год: я буду налево кругом вертаться, а тебя начальником выберем.

— Не-ет, Фофан, Ягодка, шалишь! Это нонче тебе запросто сказать. А через годок-то тебе командовать шибко поглянется, и ты мне объяснишь уж по-другому. Скажешь: «Я команду знаю, изучил, а тебе, Нечай, в этом деле сызнава учиться надобно, и один бог знает, что с твоего ученья получится. Когда каждый год председатели да заместители будут у нас ученики да ученики — это колхозу страшно во вред!» Вот как ты правильно скажешь, и портфелью заведешь, и с начальством из города будешь кататься, а меня начальство не подсадит, хотя бы нам и по пути было!

— У тебя, дядя Нечай, с нонешней ночи, с нашей ярмарки, ум повернутый не на ту сторону!

— Постой, постой... Гляди дальше! Коли ты будешь такой надо мной начальник — так и держи ответ за моих ребятишек, чтобы сыты были, обуты, в школу в чистеньком бегали. А то ить как? Летом ты меня по-

сылаешь туда-сюда, а зима пришла: «Что-то, дядя Нечай, у тебя не баско зароблено, поисть твоей орде досыта не хватит!» Этак-то я со своей кобылой справедливее обходился: я ей в зиму не считал, сколь она летось заробила. Мало — так себя ругал, не ее...

— Так ведь у нас, чать, не кобылы в колхоз записывались, дядя Нечай, а люди! — Фофанов засмеялся весело и совсем по-детски, когда засмеялся еще кто-то — он еще обрадовался, погрозился Нечаю пальцем: — Вот и будь человеком, сознательно в общий котел зарабатывай, не только что за себя — за всех думай, и колхоз будет не понарошке. Головой же ты думал, когда устав артели голосовали, или как? Несознательно руку поднял?

— Я тебе не Иисус Христос! Иисус беспрременно был сознательный, так с его с одного колхозу не сладишь. А уже середь святых апостолов Июда объявился, тот делов наделал — по сю пору не распутано. Я тебя, начальника, ругаю, а поставь меня на твое место — я, может, во сто крат хуже буду. И даже очень просто. Ты — смиренный, а я портфелью-то не просто так помахивать буду, а по башкам колотить, сознательность вколачивать. Я, брат, тебя ни бояться, ни совеститься не буду! Надо мной тоже будет начальник, тот с меня спросит, чтобы я его приказ исполнил. Исполню — вот и буду перед им куда как хорош, а ежели тебя раз-другой портфелью шибану — это от него же мне и простится. Нонче мы избу Лександры Ударцева под яр бросили — ты пришел и сказал: «Вот она с чего, общая-то жизнь, начинается!» Верно сказал. Говоришь верно, да забываешь скоро!

— Ты скажи, какой это у нас Нечай?! — удивился Фофан, будто в первый раз Хромого Нечая видел и слышал. — Какой он есть! А в колхоз наперед других ступил?!

— Я, брат, Ягодка Фофан, как бы ступил последним — я бы уже вперед не глядел: гони меня куда хошь, как ту овечку. Ты споткнулся, а я бы уже следом за тобой прыг да прыг на ровном месте. То-то и есть, что я наперед других ступил, и мне кочки-то кое-которые видать... С немцем мужик воевал, ему объяснили как? «Отвоюешь — человеком будешь!» Вот как. А на Колчака я уже хромым ходил и опять же за человечью жизнь — без обмана мужику. Теперь, ежели я свою кобылу с ограды в колхоз свел, то и до конца должен быть

уверенным, что для себя это, не для чужого дяди. Агитировать — на это и хромый, и вовсе безрукий-безногий способен, а вот хлебушко растить, ребятишек досыта кормить — тут сила нужна немалая, и чтобы правильная была, без порчи... Вот я и гляжу — не заботится ли кто в моем деле об себе?

— Не плохо любишь, Нечай! — сказал кто-то и усмехнулся. Усмехнулся горько: — Видать, эксплуатации обратно захотел?

— Плохо для себя никто не любит. И мне эксплуатация тоже, без шуток, не глянется. К моей единоличной жизни голодуха тоже каждый год принимивалась, а случись, та моя кобыла в работе захромела — уже разор полный. Под таким страхом жизнь не сладкая, потому и пошел наперед в колхоз. Но я и обратно гляжу — чтобы от беды в беду же не угадать.

— Углядел?

— То-то что нет... Вот и спрашиваю: долгая ли еще будет такая жизнь, чтобы меня в ей туда-сюда болтало? Меня хотя бы и в мою же сторону добровольно-принудительно ломать — толку не будет. Я, положим, левша, так ты мне по этой причине правую руку не руби. С двумя-то я мужик и государству и себе работник. А с одной — на что годный?! Указчиков мужичьей жизни премного народилось. Это верно: мужик — он земляной. Темный. Дикой мужик-сибиряк. Но ведь государство-то от такого кормится. Другого-то мужика-кормильца нету; хоть ищи, хоть выдумывай — а нету!

Нечай замолчал было, но тут же кто-то снова спросил его:

— Замолк, значит?

— Замолк... Ленин, мужики, вовсе не вовремя помер... Пожить бы Ленину еще хотя бы годов с десяток...

Ах, Нечай, Нечай, ну как он скребет за душу! Как бередит!

Поежился Степан, плотнее прижался спиной к стенке... Только вроде бы приладишься к новой жизни, почувешь ее, вот как ту стенку, — тут заговорит Нечай.

И не вредный вовсе мужик, нет. Такой же, как и все другие, только у других душа молча ноет, а у этого — вслух. С такой душой ему жить ничуть не легче, куда труднее. Это понятно. И оттого, что понятно, — к Нечаю в Крутых Луках уважение.

Это не просто так — человека уважают. Когда-то и над Фофаном смеялись за его цветочки-ягодки, и сейчас еще к месту в глаза колют, так то — в глаза и любя, а за глаза — уже никто: уважают. Вошел Фофан в колхоз — в Крутых Луках вроде праздник случился, только что благовеста не было.

Вот и он, Степан Чаузов, в своей деревне тоже не последний человек, хотя по другой причине: умелый до разного мастерства и смелый очень.

Разное оно бывает — уважение.

Идет по улице мужик — богатющий, десяти, а то и пятнадцатиконный мужик, — и бабы поддают своим ребятишкам по затылкам: «Кланяйся, сучонок! Или не видишь, кто идет!» А бывает по-другому — мальчонка заприметит первым, тянет мать за юбку: «Мам! Мамка! Глянь-кось, кто идет?!» Они на уважение очень чувливые, ребятишки!

Степан по себе это знает и не то чтобы собою гордится, но с другими уважаемыми в Крутых Луках людьми и много постарше себя — он запросто. И они с ним тоже так же.

Нынче они не сказали с Нечаем друг другу ни слова, а тот нет-нет, да глянет в его сторону: «Ладно ли, Степа, говорю? По-мужицки ли? Не свихнулся ли на пустую какую болтовню, на бабьи сплетни, а то, может, похоже на то, как в церковном селе Шадрине на паперти мелет невесть что горбатый, красномордый и сопливый дурачок Давыдка? Может, кто заржет над ним полошадиному — так ему только того и надо, Давыдке...» Эту Нечаеву заботу Степан тоже понимает. Который мужичонка подлый и совершит подлость — от него не убудет, нечему убывать; трусливый испугается — на то он и трусливый, а вот когда однажды в жизни испугался бы Степан Чаузов либо Нечай сболтнул бы глупую глупость — им это прощено не будет. Ни в век!

Ах, Нечай, Нечай! Ах, Фофан, Фофан! Время нынче нелегкое, но на которых привыкли в Крутых Луках глядеть, которых слушать привыкли — тем оно куда труднее!

Отвалился в своем углу от стенки Степан.

— Ну, мужики, до завтра, однако... — Пошел на выход. Знал, что за ним и другие потянутся по домам.

Еще раз повторил Степан:

— До завтра...

А и хорош же он все-таки — вольный мир! До того хорош и прекрасен, что сердце щемит, кружит голову, дыхание схватывает.

Темь на земле, а видно ее далеко-далеко, родимую эту землю.

Вот она — совсем будто бы рядом череда телеграфных столбов на увале, иные столбы, которые на самом взгорке, достигают чуть ли не луны, черные их тени рассекли увал до самых огородов прямыми, но нехожими тропками...

Вот она — березовая роща, ее в Крутых Луках зовут дубравой, и как только девчонку или парнишку помянило к ночи в эту дубраву, — значит, девка выросла в семье либо парень, и уже не в голос они там разговаривают между собой, а шепчутся шепотом и думают, будто никто не знает о чем...

Вот она — копань на пути весеннего ручья. Мужики выкопали ее миром как раз перед войной с немцем, и с тех пор каждую весну наполняется она водой, воды хватает для водопоя, а ребяташки, которые еще малые, чтобы по яру спускаться к Иртышу, — балуются здесь по брюхо в воде. Сейчас копань, будто чаша какая, наполнена искрами. Искры, ей-богу, солнечные, неужели так заискривает землю луна? Как будто и не может быть, а значит, — может...

Вот оно — кладбище, холмиков не видно, кресты стоят на ровном, гладком и тоже заискренном снегу, черные и прямые, а печали в них нету, стоят они для порядка, чтобы живые помнили: не век им дышать, топтать подшитыми пимами хрусткий снег, в дубраве шептаться, пожары зажигать да тушить. Мертвое ко всему слепо и глухо, ничто его не тревожит, потому, должно быть, оно и вечно.

Смерть не тревожит, тревожит жизнь — как ее нынче человеком прожить?

И как будто вот она, разгадка твоей тревоги, где-то здесь же, близко, — то ли в небе прямо над тобою, то ли снег как раз этой разгадкой искрится, то ли это она сама, разгадка, и кружит голову, сердце щемит, схватывает грудь — сумей вздохни грудью шире-шире, и все-то тебе прояснится до конца жизни!

До того хорош, до того прекрасен вольный мир, до того певуч и снежным хрустом, и ночной тишиной, а больше всего любит он молчать о судьбе твоей...

Постоял Степан Чаузов у ворот своего дома, еще поглядел в небо, и потянуло его к Клашке — жене своей... Он удивился. Удивился и сказал вслух:

— Ты скажи, зима как зима! К концу подходит, воздух вроде талый становится, на буран. А буран — тоже ладно, буранистый март к урожайному лету.

За бечевку потянул щеколду, вошел во двор.

Под ноги молчаливо ткнулся Полкашка, он пихнул его несильно ногой. Полкашка не обиделся, пошел от хозяина шагах в трех, задрав большую нескладную голову, потягивая носом — от Степанова полушубка все еще, должно быть, несло дымом, гарью.

Дверь из сенок в избу открыл Степан и вздохнул: вот он, свой дом, свой запах. Наконец-то. Но в тот же миг, как тот Полкашка, сразу почувал чужое.

Подумал: может, уполномоченный Митя приехал — совсем парнишечку уполномоченного прислали в Шадрину, в сельсовет, оттуда он разъезжал по деревням и, когда случалось быть ему в Крутых Луках, останавливался в избе Чаузова. Нет, это не Митя был, не тот дух...

Засветил Степан спичку. Так и есть — не то. Уполномоченный всегда ночевал в кухне, на сундуке, теперь сундук этот был завален чьей-то одежкой, и пимы чужие сушились на печи, много пимов. Степан одежку эту и обувь рассматривать не стал, прошел в горницу и снова чиркнул спичкой.

На полу на двух тулупах лежала Ольга Ударцева со своими ребятишками.

Она будто бы спала, а на самом деле открыла веки и тут же их снова закрыла, стала слушать. Ждать стала — что будет?

У нее лицо было строгое, видное, при свете спички походило на лицо покойницы, но ожидание и страх все равно нельзя было на нем схоронить — веки и закрытые чуть вздрагивали, губы тоже. Дышала Ольга Ударцева тяжело. Клашкина шубейка, под которой она лежала накрывшись, покачивалась на Ольгиной груди стоячим воротником, а с ног шубейка у нее сбилась — видно было одну ногу неразутую, в чулке, повыше колена перехваченную белой завязкой.

Девчонка Ольгина подняла голову и снова ткнулась в подушку, а двое парнишек — один справа, другой слева — спали и тоненько по очереди всхрапывали.

Меньший спал в шапке, закусив тесемку шапкиного уха.

Пахли они все своим домом... Когда дом ударцевский упал с яра, где-то далеко шлепнулся в снег — наверху вот этот же самый запах долго еще слышался.

Спичка пожгла пальцы и потухла.

— Так...

Степан сбросил с себя полушубок, пимы, размотал портянки, прислонившись рукой к печи. Подошел к постели.

Запустил пальцы в густые, теплые Клашкины волосы, коснулся затылка и с силой Клашку встряхнул.

Она чуть-чуть охнула, а может, только вздохнула. Пока ложился в постель, так и держал голову в руке, и голова ворочалась туда-сюда вслед за ним.

Лег.

— Ну, — сказал спустя еще какое-то время, — привела в дом подружку свою? Привела — так иди к ей, приголубь! Иди! — И снова задрал кверху Клашкину голову. Разжал пальцы.

Клашка села на постели, опустила вниз ноги, а голове подперла руками... Посидела так и стала с постели вставать... Вставала сама не своя, пошатываясь. Видно было, как шатало ее из стороны в сторону — ставня одна неплотно закрыта была, луна в избу светила.

И тут он схватил ее за рубаху и бросил рядом с собой. Она лежала на спине, щеки на скулах ее натянулись, она глядела чуть раскосыми глазами в темный потолок, и он туда же глядел, а видел ее всю как есть. Не видел только — плачет Клашка или нет. Она плакала редко и молча, всего-то одной-двумя слезами.

Страшно вдруг стало, что Клашка сейчас опять свесит ноги с постели, потом встанет, пошатываясь, и уйдет. Стало страшно остаться одному.

Он приказал:

— Лежи, говорю!

Он бы сейчас ткнулся, будто ребенок, ей в грудь и завыл бы, и зашептал невесть что, лишь бы полегчало на душе.

Не мог. Не мог — потому что мужик. Нельзя мужику выказать слабость, хотя бы и перед женой своей.

На чем после будет стоять дом, и семья, и вся жизнь, если мужик заревет вдруг бабьими слезами?

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Когда Клашка была еще в девках, пуще всего не любили ее пожилые бабы, у которых сыновья входили в возраст.

Бегала Клашка по деревне голосистая, тоненькая, со взрослыми была обходительная, а у баб сердце замирало — кто-то из парней вот-вот окажется в ее власти, не минует ее, приведет к себе в дом.

Посватался Степка Чаузов, и бабы вздохнули с облегчением: слава тебе господи, пронесло, ровно градовую тучу, пронесло мимо, на чужой двор!

Чаузова-мать приняла все бабьи тревоги на себя одну, причитала, будто по покойнику.

— Ой, Степа! Об матери об родной подумай! Для чего она тебя родила? Не для кривули же косоглазой! Голимая бедность за ей, как жить будешь?

И Степан думал, спрашивал себя, как жить будет, и выходило — правильно мать убивается, правильно ревмя ревет.

Чаузов-отец не ругался, сказал только, что отделит сына с одной хромой овечкой, не поглядит на новый закон. Может, Степка надеется на Советскую власть — так в этом деле отцу никакая власть не указчик.

Отец был мужик сердитый, из крутолучинских драчунов, в драку ходил не только на соседей-калманцев, но еще и в дальние села. Как только слухом пользовался, что где-то стенка собирается идти на стенку, запрягал и ехал поглядеть. Однако приезжал он с тех поглядделок сильно битый. Не выдерживал: только одна стенка дрогнет, пойдет в отступ — он уже переживает, грозит битым отступающих, а после за них же и дерется.

А добрым не был, нет. Доброту — и чужую, а если случалось, и свою — считал глупостью. Ковокрадов бил смертным боем и страшно охочий был до самосуда. Городской суд и вся городская власть никогда по нему правыми не были, прав был только суд всем миром.

Сыновей он отделял, как женились, без промедления и при отделе не баловал: сумел вырасти, не помер, в Иртыше не утонул, бабу завел — сумей и добро наживать.

Степану давал советы:

— Бабу, Степа, выбирать надо с заду. В ее, как в кобылу, глядеть надо — в кость, в зубы. Ей работу работать, ребятишек носить-кормить. Это в городе бабен-

ки наперед всего лицом кажутся, так то — от безделья. В городе и собачонок за собой водят на цепке, и баб под крендель, все для показа: «Глядите, люди, сивку какую оседлал!» Так друг перед дружкой бабами да собачонками и выхваляются!

Мать слушала, соглашалась, но и соглашаясь, упрекала отца:

— Уж больно грешно говоришь-то... Грешно о человеке, ровно о скотине, судить!

Отец не спорил:

— Может, и грешно. А что из того? Я вот тебя с заду выбирал, и что — плохо выбрал? Хорошо выбрал. Ты из всех девок могучая была костью, а время настало — и за себя в поле ломила, и за коня, и который раз еще за меня, когда воевал либо тверезый не был!

А Степан все слушал, слушал, и снова выходило — отец правильно говорит.

Она тоненькая была, Клашка, совсем ненадежная. Какая из нее баба получится — страшно было подумать. Может, никакой? Вернее всего, это было у нее от бедности: досыта не ела, взамуж пойти и то в стираном-перестираном.

Она и на гулянках-то до тех пор веселилась, покуда парни не начинали гонять девок вокруг общественного амбара с зерном. Тут она словно вкопанная становилась спиной к амбару, руки наперед, чтобы оттолкнуть любого парня. Боялась, что парень ухватит ее за кофтенку и порвет. Нечаянно, а может, и с умыслом — за то, что глаза пялит на одного только Степшу Чаузова, ни на кого больше не глядит. И стояла она так подолгу молча, а если уже решалась побежать, так летела стрелой, убегала невесть куда, не скоро возвращалась стороной и, бледная в лице, испуганная, спрашивала у подружек: гнался ли кто из парней, чтобы поймать ее, или никто не гнался?

Она и плясать не могла — берегла обутку, и только петь не боялась в голос, однако и тут был случай, когда распелась Клашка, а Овчинникова Шурка — девка гордая, богатая, прибегавшая на гулянки с отцовской заимки верст за пять, — крикнула однажды:

— Побереги глотку-то! Она тебе еще на базаре в престольный праздник вот как сгодится!

Была бы Шурка парнем — ей эти слова даром бы не прошли.

В Крутых Луках богатые обязаны были держать се-

бя строго, к людям уважительно, иначе запросто могли окон в избе лишиться либо на гумне огонька понюхать. И об гражданской войне куражливому богатею могли напомнить, и налогом в первое же обложение предостаточно наградить.

И тот раз тоже говорили, будто до Шуркиного отца эта ее куражливость дошла, и мало Шурке не было. Но Клашка-то все равно замолкла, не видать ее как-то стало и не слышать, хотя по-прежнему приходила она на игрища. С того случая она будто возненавидела Степана — глаза злые стали у нее, когда же он являлся в новых сапогах и в галошах новых — убежала прочь. Злую, он ее и обнимал в дубраве, а она его — никогда.

Этот ее норов был Степану не по сердцу. Подглядел бы кто-нибудь из парней либо из девок, как он ее милует, а она сидит, молчит, будто каменная, не пошевелится, только свою же косу все теребит-теребит... Подглядел бы кто — смеху было бы надолго.

Пять верст до овчинниковской заимки вечерок-другой к Шурке сбегать — и была бы Клашке наука. Поглядеть, какая стала бы она ученая!

Вместо этого спросил однажды:

— Видать, боишься меня, Клавдия?

— Чего бы это ради? — ответила она, усмехнувшись непонятно, будто и недобро. — Тебя — бояться?

— Кого же тогда?

Клашка вдруг поглядела на него, задрожала:

— Боль ты моя, Степа! Себя я боюсь! Себя, а никого больше!

— Это как же?!

— А вот так: зачну тебя целовать — зацелую до смерти! — Схватила и бросилась бежать из дубравы. И убежала.

После он ее вызывал, ходил под оконцем развалившейся малухи, в которой Клашка жила с матерью, с братишками и сестренками, засылал в малуху парнишек, чтобы мигнули Клашке на выход, а сам боялся: вдруг выйдет?! Она его по-честному предупредила: зацелую, завлеку окончательно — и от греха убежала, а он ее вызывает, себя уговаривает, будто вызывает для интереса только, — вот вызову, и выстою, и не поддамся косоглазой!

Она вышла, он поддался.

Себя забыл, сознание замутило. Смотрел в чуть раскосые коричневые какие-то глаза и сзади заглядывал,

как велел отец... Две косы — толстые и прямые, то ли рыжие, то ли под цвет глаз. Как она их носит, как не переломится?

За нее страшно и за себя страшно и непонятно — как он решился ей сказать: «Ну, Клаша, хватит... Хватит нам в прятки баловаться. Все! Не отпущу я тебя от себя!»

Она его целовала и говорила что-то и говорила, а он сидел на трухлявом пеньке, молчал и вдруг спросил:

— А ежели я тебя бить буду?

Клаша чуть от него откинулась, вздохнула, глаза закрыла и тихо так сказала:

— Ударь... Ну ударь!

У него же слабость прошла по рукам, по голове. Будто не он хотел бить, а его кто-то пригрозил измолотить до полусмерти, и он, парень совсем не боязливый, угрозы этой вдруг испугался.

— А убегу я от тебя? Поживем сколь, а после брошу? В город убегу либо в тайгу, на золото стараться?

— Догоню я тебя, Степа...

— Не догонишь...

— Тогда — удавлюсь...

Ну вот, она лежит рядом — Клаша. Жена.

Тихая, бессловесная. Убивай ее сейчас — не заревет, не заголосит.

С самого того дня, как вызвал он ее из малухи-развалюшки, и до самой смерти она к нему привязанная... Сейчас ей бы кричать в голос обо всей его и ее жизни, о ребятишках ихних. Ей бы сейчас клясть, упрекать, уговаривать.

Молчит...

Сколько же ночей пролежала она рядом с ним — с трезвым и с пьяным, со спящим и с бессонным, когда тревога какая нападала на него или забота?

Все заботы, и тревоги, и зависть, какая была, и злость, и корысть — все-все пересказывал он Клашке длинными зимними ночами. Все слова, которые были отпущены ему, чтобы он сказал их людям, говорил он только ей одной. На людях — слушал и, слушая, думал, что и как следует сказать в ответ на речи Хромого Нечая, как нужно с Фофаном побеседовать об пашне и об ягодниках, но все, что собирался, все, что мог он сказать им, опять же говорил Клашке.

И вот она молчит сейчас, ничего ему о себе не объясняет, ничего о нем не спрашивает.

Лежи и ты молча и думай: то ли ты жизнь живешь не по-человечьи, то ли жизнь вертится вокруг тебя какая-то нечеловеческая?

Лежи с женой рядом, будто неженатый какой мужик... А в неженатом мужичьего — чуть, одна капля. Капля эта такого мужика мутит, он с нее, с одной капли, водку пьет, в карты играет, в драку лезет, и все — над самим собой в насмешку. Таловый это мужик получается. Растет дерево, а еще растет на мокрой земле тальник — в печи жару не дает, креста на могилку и то из него не изладишь, не то что для службы какую поделку...

Лежи и думай: а что за баба рядом с тобой? Что за судьба у нее через тебя сложилась?

Бабья судьба всегда надвое делится; одна живет с мужиком, другая — за мужиком. Огромная это разница — с им живет либо за им. Который мужик бабу свою каждый божий день вот так-то за волосенки волочит, а думает: она за им живет. А она — только что с им, не более того. Баба тогда только взаправдишная, душой привязанная, когда она себя за тобой чует. Тут, из-за спины твоей, она и то достанет, чего тебе самому в руки не дается. Тут-то она тебя мужиком и делает.

И до нынешней ночи он так понимал: береженная у него Клашка, береженная, за мужиком живет... А вдруг — и не так вовсе?

Весь-то день вертит Клашка чугунами своими, встанет чуть свет, а то заметишь — лежит себе утром под покрывалом каралькой круглой. Вот тут ты ее с койки не понужай, не подавай виду — иди дровишек нарубить либо еще что, а когда вернешься — чугуны уже стонут у нее в руках, за стол ей присесть недосут, и она уже потому сыта, что досыта накормит мужика и ребятишек.

И когда сядут обедать, и неизвестно почему, но зато ропятыся, и ребятишки начнут вперегонки таскать из щей мясо, жевать и заглатывать тоже вперегонки, а Степан ни с того ни с сего примется работать ложкой словно на молотье, Клашка вдруг встанет в это время в рост, руки сложит на груди и скажет им всем, большим и малым мужикам, скажет со строгостью и даже с обидой:

— И куды это вас гонят, спрашиваю? Кто вас понуждает, что вам и минуты нынче нету? Или вы голодные на всю жизнь родились, или еще что?

Тут ребяташки застесняются матери, Степан тоже застесняется ее, а она после того глубоко вздохнет, снова сядет за стол и совсем уже другим голосом проговорит:

— А ребяташки-то у нас с тобой живые, Степа! И на тебя очень похожие!

Должно быть, за это и еще и еще за что-то и нужно который раз выказать Клавдии свое удивление...

В сенках на длинных гвоздях висят у Степана разные найденные предметы. Висит кнут ременный, петля на рукояти порванная, в остальном — совершенно целый кнут, а еще висит шапка.

Шапка та совсем новая, баранья, баран поставлен и снаружи и снутри очень кудрявый, должно быть, не здешней, а какой-то дальней породы. Она из-под снега годов пять тому назад оттаяла, эта шапка, и вдалеке от дороги. Ветром ее с пьяной чьей-то головы сдуло и понесло и понесло. Может, человек и гнался за шапкой, но не догнал, может, и так до него дошло, что шапку он свою найдет, да только замерзнет в ней, пьяный, законеченет в снегу. Может, конь был у него норовистый, ненадежный, возьмется бежать — и шапке рад не будешь, догонять в ней такого коня.

А Степан ее заметил — сам удивился тот раз, как заметил ее далеко в сугробинке. Он с соломой ехал, с последним возом по последней зимней дороге.

Кнут и шапку никто в сенках с гвоздей не трогает, разве только который раз побалуются ими в избе ребяташки, ну и, бывает, еще Васятка нахлобучит баранину эту на голову, когда очень спешит на двор, младший и того не может — не достает до гвоздя. Но со двора найденное никто не выносит — строго наказано.

Вдруг подойдет кто и спросит малого, а то и взрослого: «Откуда это у тебя! Где взял?» — и объясняй, что да как — где нашел, когда нашел. Нет, пусть они висят на виду у всех, кнут и шапка, пусть каждый, кто в сенки входит, так и поймет: ждут они здесь хозяина, может, найдется когда хозяин, а люди, которые в доме этом живут, чужого не хотят, чужим эти люди пользоваться брезгуют, своим обходятся. Найденное — не заробленное, глазами любуйся, руками брать — погоди.

Так же вот и Клашка. Ее хлебом не покорми, но удивление выкажи — будто она в доме этом не совсем своя, а придет кто и спросит: «Чья же это у вас?» Мало того, чтобы и свой мужик вроде бы тоже так подумал:

«А откуда же я ее взял такую? И что мне с ней с такой делать?»

И действительно, он ведь который раз так и думал. Виду Клашке особого не подавал, а думал.

Приходило же в голову, будто не она его, а он ее когда-то завлек: «Такой парень, такой парень был — никому девку не уступил, ото всех-то ее отбил!» Удивлялся: сроду не любил ни перед кем выхваляться, и вот на тебе — сам перед собой выдумал. Ему бы не выдумывать, а ругать себя. Было за что себя ругать...

Иной раз живет в избушке во время пашни либо в таловом шалаше на сенокосе и вдруг ни с того ни с сего запрягает, гонит домой. Приезжает, на Клашку злой, глаза бы на нее не глядели, а она охает да вздыхает, да еще и жалеет его, как это неотложно запонадобилось ему ехать, и, вздыхая-охая, бежит топить баню. Покуда он парится — моет в горнице, подушки взбивает выше грядок. То ли она смеется над ним?

...Не узнать. И ни к чему узнавать, разговор заводить. Не ее, бабьего, ума дело.

Еще не забрезжит — он уже обратно то ли Рыжего, то ли Серого нахлестывает, а мнится — это нахлестывает он сам себя: «Урожая не будет — так ты вспомнишь, мужик, денек-то нонешний, гулевой... Пожалеешь, что загонку лишнюю не сдвоил, что еще одну копешку сена не поставил, по кустам не пошарился с литовкой!»

Не сломилась в замужестве Клашка, как отец нарекал когда-то, совсем наоборот — вышла из нее баба справная, гладкая. Глядеть стала глазами перед собой вроде совсем прямо, косой ее никто уже и не называл. Ребятишек принесла двух, оба были парнишками, это в чаузовском роду велось — парни да парни.

Но от ласки кони портятся, не то что бабы, и для того, чтобы не забаловалась, чтобы себя помнила, для порядка, хоть и берег, а иной раз объяснял — из какой бедности взял ее.

Своих же старших братьев ставил ей в пример — те взяли богатых, а ведь он был против большаков побойчее, пограмотнее, в любом деле сноровистее.

И тут Клашка замолкала, жалостливо как-то начинала звякать чугунами своими, заслонкой и ухватами — ровно в церковные колокольцы на похоронах, а он посмеивался: бабий ум! Что было, то было, из-за чего сердиться, впадать в нервы? Ежели ты рыжий — не говорить же, будто чернота у тебя цыганская? Ежели вся

деревня все о тебе знает — не для себя же одной в секрет играть?

На то пошло — он в этом деле глупее ее оказался: не с того мужик мужицкую жизнь должен начинать, не с того, чтобы поддаваться девке, но кори себя не кори — дело такое было.

Может, с этого дела сразу после женитьбы и бегал он на Лисьи Ямки — сам себе хотел доказать, что мужик — настоящий. Даже непонятно, как голову тогда сносил. Отцовское, что ли, это играло в нем? Или свое?

Когда возвращался с Ямок и рубаха была исполосована на нем что вдоль, что поперек, и молчаливая, бледная Клашка ставила ему на плечи и на грудь траву-примочку — он глядел на нее и зарекался на Ямки не бегать, но без него что-то там не получалось у крутолучинских мужиков, и он снова шел, а потом снова в голову ему приходила странная какая-то догадка... Казалось, будто бабьим своим умом Клашка знает что-то, чего ему, мужику, и вовсе не известно.

Догадка эта не то чтобы пришла — и нет ее, он и после того все к Клашке приглядывался, угадывал войти в избу, когда Клашка совсем одна и не ждет никого.

Стояла она, бывало, среди избы молча, глядела на окна, на стены, на голубые полати, на утюг. В горнице скатерку гладила на столе... Вынимала из сундука сапоги с галошами, в которых он когда-то перед нею, девкой, форсил на гулянках, и гладила их сперва руками, после лицом, одной щекой и другой.

Нравилось Клашке в это время быть хозяйкой в доме, по глазам это было видать, и рот у нее вздрагивал, будто у ребенка малого, и руками вокруг себя она тоже по-ребячьи все ласкала и еще и еще ими что-то узнавала.

Нравилось Клашке быть хозяйкой, а настоящего ума хозяйского — упрямого, настырного — у нее не было. Скажет про добро какое — и тут же забудет. Прибежит с улицы, глазенками сверкнет: «Евдокии Локотковой мужик шаль купил — век бы на такую любовалась!» — и все, об шали об этой больше и не помнит.

А Степан все помнит. Ночью заведет разговор:

— У Евдокии у Локотковой мужик не простой — трехконный. Ежели такой мужик бабе своей не заведет доброй шали либо кофты плюшевой на сатиновой подкладке — это значит, он без стыда и без совести...

Дальше больше — вспоминал хозяев, у кого дом крестовый, у кого выездные кошевки, сбруя выездная, кто молотилку купил полусложную, кто еще что...

Клашка молчала, слушала, потом и сама начинала говорить, у кого на деревне какое добро, мечтать начинала, как бы ей то, как бы другое. И опять ненадолго — наутро уже и не помнит ночного своего шепота, про мечты и забыла, хлопочет с ребятишками, со скотиной...

То же самое — не боялась Клашка бедности.

Уж она бы должна была знать, что это такое, но вроде не знала, не помнила.

А как о ней не помнить, как забывать о ней, когда вот она тут, рядом, ходит бедность, только и ждет, как бы ты подвернулся под костлявую ее и крутую руку.

Евдокии Локотковой мужик шаль купил оренбургскую, шубу-барнаулку, а другой братан, Локотков Захар, и не хуже вовсе человек, хватил в ту же пору лиха — век не забудешь, хотя бы и со стороны глядя.

Ночью вышел Захар на двор, глянул — а конь его лежит и храпит страшным храпом! Он тогда второго коня скорее запряг, бросился в Шадрину за ветеринарным доктором, а когда доктора привез — конь уже бездыханный... Этот бездыханный, второго он запалил, разве татарам отвести на махан, и то не возьмут. И вот так в одну ночь был мужик Захар Локотков и не стало мужика Захара Локоткова, только собаки, будто его отпаяв, долго лаяли на луну в Крутых Луках; мужики же ночами слонялись по дворам, глаз не смыкали, вместо сна, будто наяву, видели своих ребятишек голыми, босыми, сопливыми, голодными...

Война, неурожай — это на всех, на всю деревню, на всю Сибирь без разбору; пожар — миром заведено погорельцу помочь, а вот на хозяйство напасть без всякой причины либо потому, что ненароком где-то оступился мужик, однажды коня не так напоил-накормил, — это не жди ни от кого и ничего, никакой помощи, хотя бы и от брата родного, это уж твоя судьба выпала такая — сопливые да голодные ребятишки.

А Клашка — та ребятишек день-деньской, ровно клушка, обихаживает, а такого ей и в голову не приходит. Это в самом деле — может, она просто глупая была? Может, с того самого дня, как он вызвал ее в дубраву из малухи-развалюшки, от нее обман какой-то был?

Узнать бы! Разгадать бы! Вот сейчас и узнать всю разом правду и при чужом человеке, при Ударцевой

Ольге, измолотить Клашку что есть силы. Со злости так со злости. С горя так с горя. За то, что Ольгу привела, или еще за что-то... И вовсе не для того измолотить, чтобы Клашке наука была, а для себя, себе легче сделать.

Нет, не поднять руки.

Лежит она, Клашка, вроде бы и неживая совсем и, очень может быть, ждет от него побоев то ли для того, чтобы одним тихим словом проклясть его, то ли — чтобы завывать наконец во весь голос.

Лежит. Молчит.

Молчит, а будто спрашивает: «Степан Чаузов, мужик ты или кто? Ежели я глупая, ежели от меня обман — ты куда глядел? Ты почему верил? Почему прежде не разгадал и сейчас разгадать не можешь? Почему думаешь, будто бабьему уму известно что-то, чего тебе вовсе не известно?»

Почему?

Через Клашку с самого начала своей мужицкой жизни лишился он богатства. Как бы не она, как бы та же Шурка Овчинникова — жить бы ему в доме крестовом, быть мужиком о трех конях. Что там — о трех! Где три, там уже и четыре и пять, в этом-то деле он себя знает...

Но тут время пришло — коней позабирали в колхоз, богатых мужиков сослали за болото. Овчинниковых — тех со всей родней в первую голову, и оказалось — права была Клашка, будто знала она, будто чуяла, что вот-вот и наступит это время, когда богатство мужику будет в тягость... И его от этой беды спасала. И спасла.

Богатство — в тягость?! До того это было удивительно, до того непохоже ни на что! Дух перехватывало, как об этом подумаешь! А в то же время казалось который раз, будто ты и сам еще давно когда-то, раньше об этом догадывался. Потому догадывался, что понял — богатым тебе не быть... Ломай хребтину день и ночь — справным мужиком будешь, богатым — никогда: прошел уже в твоей жизни тот год, когда мог случиться поворот на богатство, но не случился. И в душе где-то ты возненавидел богатство за то, что оно тебе не далось в жизни.

Может быть, догадывался по-другому, вспоминая, что богатым мужикам не очень жилось уютно в Крутых Луках при Советской власти. Богатые парни и на Ямки не бегали — такого не то что чужие, калманские, а

и свои же ненароком могли стукнуть. Приходил богатый мужик на бревешке посидеть над Иртышским яром, где иной вечер мужики собирались о том, о другом поговорить, — все замолкали, сигарками попыхивали, покашливали, разве только худой какой-нибудь мужичонка, крикунишка вроде Егорки Гилева, перед таким егозил, по имени-отчеству величал.

Но даже если и было, даже если и в самом деле когда догадывался о таком Степан — так, может, на минуту только, другую, в остальное же время снова и снова богатство к себе манило, спать не давало, мучило.

А Клашка, похоже было, догадалась раз и навсегда. И теперь он ей удивлялся: как она смогла?

Не в конях, выходит, счастье, еще в чем-то? В чем? Об этом Клашка тоже, может, догадывается, но молчит... А ведь должна же быть в этой жизни за что-то ухватка? Сердцевина должна быть в ней?!

И когда начался в Крутых Луках колхоз, и когда разбежались мужики в тот же самый день, как в газетах сказано было, что дело это добровольное и каждый разбежаться может, и когда снова стал колхоз собираться вроде по желанию, но только с твердым заданием на мужиков, которые вступать не желали, — все это время слушал Степан и Фофана и Хромого Нечая, слова не хотел пропустить от них, но слушал молча, а расспросами пытал Клашку. Все ему казалось: знает что-то Клашка, только, может, сама не понимает, что знает.

— Об чем промеж вас, баб, разговор нонче идет? — спрашивал ее и ждал, что ответит.

— Разное... — отвечала она будто нехотя, а потом плотнее прижималась к нему в кровати: — Ты скажи, Степа, да неужто это правда, что мужиков будут в городе держать либо в лесу, чтобы лес рубили, дороги чтобы ладили, а бабы одни чтобы управлялись в колхозе? Бамам побудку каждое утро будут объявлять, ровно солдатам, и причесанная либо простоволосая — никто не поглядит. Посчитали всех — и на работу?

— Ты гляди, у кого это язык такой долгий? — удивлялся Степан, но, удивившись и помолчав, снова спрашивал: — Еще-то что?

— Потребилровка на каждый колхоз свой ситец будет продавать — белый с красной горошиной либо красный с беленькой, и сразу видать будет, какому колхозу баба принадлежит...

— Чепуху всякую молоть бы тебе на который раз...

— Я, Степа, об чем говорят — тебе пересказываю. Об чем сама думаю — молчу.

— Ну, а об чем — сама? Сама-то??

— Это вот у нас в Крутых Луках Фофан сад заводил — чего только не говорили, как не надсмехались... Почему так, Степа, что у человека ум на злобу повернутый? Колхоза я не боюсь — злобы-жадности боюсь. Страшно! Как будет? Хорошо — хорошее наперед пойдет, а — наоборот? Сейчас злоба по углам сидит, я в чью избу вхожу — сразу чую, если люди живут злые, а ушла — и дела мне больше до них нету. А в колхозе? Человек злой, страсть жадный — в колхозе это до всех касаться будет, всем беда!

— Тебе бы, Клавдия, в контору, на наши мужицкие посиделки. Нечая бы Хромого послушать, как он там без малого каждую ночь толкует... Нельзя — от махорки надорвешься. Своей не куришь, так от чужой враз замутнеешь.

— Как есть... Дымом ты пропах с этого колхозу, Степа, ровно смолокур какой. К своему-то я давно уже привычная, а нынешний дым — со всего Крутолучья, со всего мира собранный... Я не в обиде... Думайте, мужики, народом. Одному мысли-то эти не под силу. Друг на дружку глядите зорче — кто каков? Вам вместе быть... Мы-то, бабы, еще по своим углам останемся, а вы уже вместе. Все...

Вот она какая, эта Клашка: будто бы ничего сама не знает, ничего сказать не может, а не верится, что она — как все другие бабы. Другие за мужиками своими в контору ночь-полночь бегали, в избах мужиков-то на крючки закидывали, чтобы дома ночевали, — от Клашки он упрека сроду не слышал, хотя бы и утром возвращался... Наоборот даже — Степан долго не приходил, так она думала, он там за это время ума набрался... Добивалась — об чем говорили мужики в конторе, а что ей расскажешь? От нее ждать и ждать не перестаешь, это верно, а вот когда Степана кто-нибудь, хотя бы и Клашка, нынче расспрашивал — он рассказать не умел.

И Клашка, с разными вопросами помучившись, всегда в конце концов об одном и том же его спрашивала:

— За ребятишек, Степа, болит у тебя сердце? У меня на ребятишек сроду обиды не было, завсегда, как покормлю их — сердце от счастья захолонет. Только нонче глядела-глядела и заревела: может, лучше им

было не родиться? Мужиками родились, а кем расти будут?! Им уже мужицкого ума не надо, им в отца не расти, а в кого?

— Вырастут поумнее нас с тобой. Их теперь всех подряд, ребятишек, в школе учить налаживаются.

— Так-то бы... А за меня, Степа, сердце у тебя болит ли?

И за нее — болело.

Ежели о мужиках нынче выдумываются небылицы, так о бабах — того проще. А ее, небылицу, выдумай, она, глядишь, былью обернется. И на того обернется, кто больше тревожливый и чутливый — на бабу. Недаром о пожаре баба первая подаст голос, первая дым почувует и не потому вовсе, что махорку не курит, — есть у нее на это своя причина.

Хотя бы тому поверить, что ничего-то Клашка не знает, что верить ей не в чем, ждать от нее нечего. Нет — и этого он тоже не хочет... Вовсе не хочет!.. Так вот и лежишь нынче с Клашкой рядом, а будто один. И не знаешь даже, то ли ты живой, то ли мертвый, только по-живому дышишь?

Дышишь, до утра глазами пялишь на ту щелку в ставнях, сквозь которую луна заползает в избу, падает на Ольгино покойницкое лицо, на неприбранную ее голову.

Уже луна эта ушла, когда под самое утро Клашка вздохнула, пошевелилась. Вдруг рукой по голове Степана провела, тихо так, ровно и спокойно. Он обмер даже.

— Поверь, прошу тебя, Степа! — прошептала Клашка. — Я тебя сроду верить себе не просила — ты сам догадывался, нонче прошу... Ударцев Александра зерно пожег — так это же разбой и есть, он, как варнак, после того скрылся, а ребятишки? Неужто ты и ребятишкам враг, дом ихний разорил и со своего зимой выгонишь?! Ты же не власть и не чужой какой начальник — сделал, и нет тебя! Тебе ребятишки эти всякий день на пути будут, всякий день им в глаза глядеть! Нельзя нам их с избы гнать, нельзя мне было их в избу не привести. Поверь ты мне, Степа, не обманывай меня: я ведь за человека замуж шла... За человека...

Не ответил Степан на этот шепот.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Другой день было воскресенье.

Утром Клашка щей подала. Ели — молчали. Один на другого не глядел.

Перед тем Ольгины ребяташки долгое время крестились на икону. Старались, будто живыми на небо хотели влезти. А свои на них таращились. Ольгины открестились, и свои тоже уже взаправду начали поклоны бить, губами прищептывать, а на родителей так строго зыркать: «Не приучили, мол, нас к порядку!» Одни-то они — так левой краюшку уже в рот подают, а правой сотворят со лба на пуп — и ладно им.

Ложки о миску стукали глухо как-то. В могилу землю бросают — так же стучит...

Однако двое парнишек Ольгиных робели недолго, быстренько за мясом по миске стали гоняться, а вот старшая девчонка, годов уже тринадцати, — та, будто слепая, черпала. Только как своей ложкой о Степанову заденет — так и дрогнет вся, ужалит ее кто. Потом она совсем ложку обронила и бросилась было из-за стола прочь, но мать ее к скамейке придавила.

Сама Ольга себя держала, будто к родне приехала либо к знакомым с выводком своим переночевать, и больше ничего. На покойницу уже не походила — не то что ночью, когда Степан ее спичкой на полу осветил.

...А что ей делать? Как быть? Жить ей надо, хотя бы всего один нынешний день, а все равно — жить... И чужой хлеб надо есть. Не ради себя — ради ребяташек.

Клашка виду старалась не показывать, а глотнет — у нее застрянет, она и шарится глазами-то, не заметил ли кто. Она, верно, и состарится — и под конец жизни все равно на девчонку будет похожая.

Утром встала — ни живая и ни мертвая: боится, что Степан укажет Ольге на порог либо просто слово обидное ей скажет. За стол посадит ли — не знала.

Он посадил.

Теперь она не знает, что же дальше-то будет.

Он и сам этого не знал...

Поели.

Вздохнули вроде после тяжелой какой, непосильной работы. Ребяташки снова взялись гуртом креститься, а потом по избе разбрелись — на печку, на полатах луковичными вязками шелестят, по углам — везде они, в глазах от них рябит. Будто их не пятеро, а душ пят-

надцать разом откуда-то взялось. Им даже интересное житье — всем вместе...

Бабы тоже хотя и молчат, но у печки хлопотать взялись супряжно, со стороны и не поймешь, кто в избе хозяйка.

Степан повременил сколько, откинул западню, наказал ребятишкам осторожнее быть, не провалиться, и спустился в подпол. Не надо бы лезть. И наверху сидя, знал, что там есть, а чего нет; в подполе Клашка, та само собой разом догадается, зачем он туда спустился, хотя он и взял с собой молоток, пилу-ножовку и гвоздей-трехдюймовок с дюжину.

Подпол — хороший, сухой, сроду в нем ни плесени, ни запаха. Соседи, когда случалось заглянуть, завидовали, говорили: вполне жить можно в таком.

Степан внизу морковь, песком засыпанную, поглядел, не проросла ли. Кое-где, верно, начала расти. Картошку рукой пошарил. Ее порядочно было — которую часть Степан еще вчера прикидывал на базар. Вчера утром они об этом с Клашкой как раз и говорили: взять в колхозе коня и то ли пять, то ли семь кулей отвезти в город. Пока ямы на улице с посевной картошкой еще не раскрыты — ей самая цена. И так прикидывали, и этак — пять или семь?

Но то — вчера утром, вчера и едоков-то в избе было четверо, а нынче их восемь ртов. Что рты малые, на это не надейся. Они, ребятишки, в рост идут — уминают за твое здоровье. Особенно когда гуртом за столом. Тут они уже стараются один перед другим. По отдельности им сроду того не съесть, что ордой одолеют. У них наоборот, скажем, чем у поросят. Поросятка отсади от других — ему и делать нечего, только чавкать цельные сутки...

Глядя на картошку, Степан раздумался и о мясе и, главное, о хлебушке. Ласково он о хлебе думал, и всегда-то так к весне бывало, когда уже небогато остается, — в мыслях его милуешь, хлеб.

Надо было зря не задерживаться — пораньше других в колхоз идти. Все одно к этому вышло, а покуда зиму единолично жил — и два твердых единоличных же задания хлебушком выполнил.

Хлебушко был у Степана еще в одном месте, не считая того, который любому и каждому можно показать, — вот чем располагаю, только-только до нового, еще как раз и не хватит недели на две.

Но и то сказать, схороненный запас пудов двадцать всего. По-нынешему считать — три центнера. И так ли думай либо по-другому, вопрос один: долго, нет ли еще Ольга со своими ребятишками в избе пробудет? Ждать надо: Ольга сама об этом Клашке шепнуть должна бы... Может, покуда он тут сидит, — она как раз и шепнет?

И он все сидел, ждал. Молотком кое-где по гвоздям постукивал — которые не совсем плотно в тесовую обшивку были забиты, у тех шляпки торчали. Надо было бы в амбарушку пойти, там у него был инструмент, в амбарушке, разный, печурку растопить и чего-ничего для дома поладить. Но он сидел и ждал. Сухим картошкиным запахом подполье отдавало. Через открытую западню падал к нему неяркий свет, но все равно по этому свету он угадывал, что на улице солнышко выглянуло.

И ты скажи — дождался ведь!

Вдруг в подполье Клашка будто свалилась, зашептала в ухо:

— Ольга-то до теплой дороги у нас просится жить. С мужниной-то родней не может она и со свекром — тоже. Я тебе объяснять не стану, почему нельзя ей с ними, после когда скажу. Опять же она, Ольга, говорит: нонче же вечером, как стемняет, на санках муки куль привезет... И картошек, может, куля два, даже три! Подполье-то у них ненарушенным осталось, только стыдно ей днем-то на людях...

— А потом она куда, Ольга?

— На родину свою. К родителям. Он же, Александра, ее с какой дали, с тракта взамуж-то брал. По теплу и обратно уедет... А ты, Степа, на меня не серчай нонче. Уедет Ольга — после серчай, я потерплю!

Счет простой...

Конечно, муки куль да картошек два — этим четыре рта прокормятся не бог весть сколько... А все ж таки корм. После того как думал, будто ни крошки своего Ольга не принесет, вроде тебе и облегчение выпало. Как бы и весна еще пораньше, чтобы теплую-то дорогу не так уже долго ждать...

Вылез из подполья Степан — наладился пимы Клашкины подшивать.

Ребятишки, опять все враз, натянули на себя кто чего — и свое и со взрослых, высыпали на улицу. Видать, солнцем их потянуло.

Час спустя в Степановых пимах пошла к скотине Клашка, в избе остались Степан и Ольга.

Ольга туда-сюда метнулась, тоже хотела куда-нибудь выскочить, но ей уже не в чем было, она взяла Клашкино вязанье, села в углу и начала быстро так спицами шелестеть.

Молчали оба...

Сказать бы надо было чего-то друг другу, а что скажешь? Он, может, и весь-то такой, белый свет, нынче, наизнанку вывернутый? Чего в нем нельзя, а чего нужно и можно?

Нельзя было Александру Ударцеву зерно поджигать, а он взял да и спалил... Нельзя было за это дом ударцевский разбивать, а его разбили... Нельзя было Ольге в дом к Чаузовым идти, а она пришла... Может, все, что прежде нельзя было, нынче можно? Нет, и так — нельзя! Где он, тот закон, по которому мужицкая жизнь определяется? Попы сколько веков об своем говорили, а жизнь, она не из одних слов складывается. Нынче коммунисты ладить ее затеяли — получится ли? И хотя бы они на пробу взяли тысячу мужиков в одном месте, ну мильон, и поглядели бы, как дело пойдет. Так нет же, сколько есть мужиков — и русских, и татар, и хохлов — все мильоны до последнего испытание проходят... Вот в этот самый миг которые мужики едят, пьют, спят или работу работают — все и во сне и наяву переживают, все о жизни так же, как и он, Степан, загадывают. Такого, видать, еще не было, но чем дальше жить, тем все покруче да покруче завязываются. Ладно, коли нынешний узел — последний.

И другое тут же надо понять: если бы знать, что и как, — дорого бы отдал за новую-то жизнь, за справедливую. Верно Нечай говорит: мужику нынешнему особая доля — и с немцем воевать выпало, и с колчаками, и засуха была, и такое время, когда не то что спичек коробок, одной спички и той не сыскать было. А того не говорит Нечай, что, может, через все через это до настоящей-то жизни и совсем уж близко осталось, руками ее запросто достать, а только мужик уже сильно испуганный и руки свои за спину прячет?!

Вдруг в избу Егорка Гилев явился...

Через порог еще не ступил, очень уж весело сказал:

— Здорово, Степша! Чай с сахаром!

— Здорово. Садись.

— По делу я.

— Ну хошь бы и по делу.

«Не даст он, Егорка, однако, дело кончить. Звать куда-то пришел...»

— Вроде и пимы-то новые совсем шьешь?

Степан отвечал не торопясь:

— Глядеть, так баба моя, Клашка, на обе стороны ровная, а в действительности на правую шибко давит. Левый — вовсе еще свежий пим, а правый — только что до дырки не дотертый. Я ей сказывал, чтобы на ногах меняла пимы, — не хочет, моды ей не будет. Подковать, чо ли, ее на одну? Вот прилажу на пим подкову — будет по-козьи модой своей стукать.

— Нонче доносила бы зиму-то... Сколько там и осталось.

— А осенью вдруг и вздохнуть недосуг будет.

Оставалось всего-то один шов наложить, и не длинный вовсе, а сбоку последний, дратвы конец варом натер Степан — рассчитал, что как раз должно на тот шов хватить.

Егорка хотя и сел, но шапку не скидывал.

С виду он был серьезный нынче — глазки сощуренные, усы на розовой коже оставлены торчком, а борода начисто сбрита. Это он, Егорка, любил с бородой, с усами баловаться — то одно оставит, то другое, а то начисто побреется и ходит с сединой уже в голове и с голой мордой. Шерсть по нем росла, будто по овечке, вот он по разу на неделе и лицевался.

— С конторы я за тобой пришел, — сказал Егорка. — Срочно звать.

— А почто?

— Следователь явился к нам в Луки. И тебя призывает. Срочно наказывал.

Степан щетинку с дратвой опустил и шило тоже, потом и кочергу с надетым на нее Клашкиным пимом положил на пол. Кочерга была толстая, короткая, всякую разную обутку чинить — очень удобная. Под шестком с другими ухватами лежала, но служила больше хозяйну, чем хозяйке.

— А что я ему — следователю?

— Явился дело следовать. Как Александр Ударцев зерно пожег. Как мужики дом его под яр спихнули.

...Не говорил почему-то Егорка, дескать, «мы» дом спихнули, по-другому сказал: «мужики»... Вздохнул Степан: вот она, колхозная-то жизнь, призывают — и надобно идти! Единолично-то жил бы — строго-на-

строго наказал сейчас Егорке сказать, что дома Чаузова не застал, а сам бы запряг да по сено за реку, а то и кума какого вспомнил бы навестить в соседней деревне и погулял бы там денек-другой. Так оно всегда и делалось — начальство, бывало, подождет-подождет, не стерпит дальше ждать и уедет.

Так и надо. Бумагу какую тебе выправить — ну и едешь к начальству этому и в Шадрину и в город. Зато уж если начальнику вдруг мужик спонадобился, он тоже посидит-подождет немало, по первому-то зову к нему худой какой разве мужичонка прибежит, и то ежели вину за собой чует либо сам же просьбу имеет. Нынче коней в ограде нет, сведены в колхоз, а без коней куда денешься? Хотя от начальства, хотя от кого другого — не денешься никуда...

— Может, Александр-то уже поймали где?

— Не сказывают. А на то выглядит — не поймали еще. Старика Ударцева — того заарестовал. В Шадрину, в сельский Совет, уже отправил. Ну, да ему старик — что? Старик и сам помрет не седня-завтра. Ему бы засудить кого поинтереснее.

Похоже, Егорка со следователем разговор уже имел. Уже в службы прилачился по избам за мужиками бегать.

— Подожди малость. Клашка в моих пимах пошла. Сейчас и вернется.

Егорка на приступке сидел, шапку все еще не скидывал, на Ольгу глаза пялил.

А той, видать, любопытство это не по душе, она к нему все круче да круче спиной оборачивается...

Бабы эти, бабы! И тут у них свой норов... Лицо у Ольги белое, узкое, а глаза на лице большие, чуть даже на коровьи смахивают. Видит же она ими, должно быть, не зорко — спицами стрижет перед самым носом. И от Егорки отворачивается, и на Степана поглядеть тоже будто робеет.

Егорка вдруг заулыбался, спросил:

— Ты, Ольга, на чьих же это ребятишек чулочки-то ладишь? На Александровых либо на Степановых?

Ольга встала, потом клубок с полу подняла, ни слова не сказав, перешла в горницу.

Вернулась Клашка.

Ведро с водой оставила в сенках, другое внесла в избу и поставила у порога, бросила на гвоздь полушалок.

— Здравствуй, Егорша! Ты, поди-ка, по моёго мужика пришел? Куды опять? — Подрыгала сперва одной, потом другой ногой — скинула Степановы пимы.

— К следователю.

— Ничто-о-о! — удивилась Клашка и, босая, в кофтенке без рукавов, уставилась на Егорку. — Он, Степанот, украл кого или убил? Либо у нас чо украдено? Нужон-то ему твой следователь!

— Ты, Клавдия, иди-кось и ему Расскажи — следователю. Он мужиков, не одного Степана тягает, как они ударцевский дом спихнули. И следователь не простой вовсе, а Ю-рист, вот он кто. Мужиков привлекает и обратно — доклады им говорит. Об колхозах и об единой личной жизни. Каждому объяснять надобно десять разов!

— И объяснишь! Правду он, Степа, рассказывает?

— Ну не балует же. Однако, пошли, Егорша.

— Постой, Степа, — засуетилась Клашка. — Рубаху надень, чистую!

— Жаль, коней нету на ограде, кони — так искал бы меня тот следователь! А ты — рубаху на меня напяливать!

— И то! Я об конях и сама только подумала — кабы кони были на ограде, и походил бы он ко мне, Ю-рист этот, поспрашивал бы, где ты да куда ты подевался?! Уж он бы у меня повдоль вот порога потоптался! Я бы ему и сести на лавку не указала!

— «Ты бы» да «я бы», — передразнил Егорка Гилев. — А он и сам бы сел. Ему твое приглашение вовсе ни к чему — он его под себя не стелет!

— Ну и пуцай бы сам сидел и сам же глазами хлопал, коли совести нету! А тебе, Степа, идти к нему, так не варнаком каким-то. Я и выглажу еще рубаху-то. Он в конторе ждет? Ну и посидит, подождет, к нему за жданье-то, за сиденье, поди, жалованье идет? И даже — обязательно идет!

Шлепая босыми ногами, Клашка кинулась за утюгом, мигом — к печке за углями, мигом — в горницу за рубахой.

Степан махнул рукой:

— Ты, может, выдумаешь — шелковую, новую?

— Жирно с его будет — шелковая-то. Ты не мешайся — дело это бабе виднее, чем мужику. Какая для этого случая полагается, ту самую и наденем на тебя!

Степан поднял с пола шило, дратву, пим снова на кочергу надел — последний шов он как раз успеет наложить.

Шил, поглядывал на Егорку.

Егорка Гилев был из мужиков везучих. Ты скажи, бывают такие — им сроду везет. Такой на солнце глядит и не об урожае думает, не об том у него мысли — солнце он пузом чувствует, приятно ему на солнышке погреться, а что касается урожая — урожай сам к нему придет. Он в этом запросто уверенный и по деревне ходит, нюхает, с кем бы лясы поточить, в картишки перекинуться.

Начать с того, что надел Гилеву выпал в западинке, рядом с колком березовым, и кто-то давным-давно в том колочке уютном колодец выкопал, а какие-то пастухи, тоже давно, добрую избушку поставили.

И навесил на колодец Егорка Гилев замок амбарный, а на избушке дверь наладил и оконце застеклил, знакомцев-охотников из города завел. Охотники в избушке с осени и едва ли не до рождества прохлаждаются, на озеро ходят за утками, на пашне по жнивью гусей караулят, по снегу за лисами и зайчишками на лыжах бегают. Охотники городские, нерасчетливые, добыли чего или не добыли, а постреляли, припасу извели и уже за одно это Егорке деньги дают. За постой в избушке.

Видать было — Егорка в той избушке и самогонкой занимался, но и то видать, что не очень-то он глупый был. Глупый — либо спился бы, либо занялся гнать на спекуляцию, а потом попался бы. Этот — ни-ни... Веселый ходит, а шибко пьяным его не увидишь.

Тут подряд случались годы не то чтобы сильной засухи, но и без добрых дождей. Мужики переживали, Егорке хоть бы что: в его западинку с весны натечет талой воды — до половины лета хватает. Только что сеял он позже других, покуда пашня у него просохнет.

Везучий, и только, мужик!

У крутолучинских покосы на островах той стороны, вот и разрываешься летом: то ли телегу мазать, то ли лодку смолить, за паром платить. Егорка в своем колке худо-бедно два стожка добрых по кустам поставит и скотину там же до рождества держит. И от скотины навоз у него на месте, возить с ограды, из деревни, не надо.

В Крутых Луках, правду сказать, далеко не все в поле навоз возят, на землю надеются, а больше, может, и потому еще, что к покрову мужики делают кость да

кожа, и та на мослах лопается. У которых слабосильных либо в тех дворах, где едоков куча, а работников один, — и мочи уже не было никакой еще и в зиму ворочать. Эти к масленке только и вылазили из избы — обглядеть, каков он, белый свет, а до тех пор отсыпались, ровно барсуки, руки-ноги на себе ощупывали — целые ли к следующей пашне остались?

А Егорке Гилеву и тут запросто: у него брат Терентий уже в годах, но неженатый, потому что глухой и немой совершенно, на работу же лютый... Он и живет в избушке, за скотиной ходит, а Егорка тем временем шарится: не повздорил ли кто с кем, не подрался ли... Он до смерти любит, где двоих мир не взял — третью вать, рассуждать, кто правый, а кто виноватый.

Он вроде бы всем друг, только ему — никто. Волосы седые, а ребятишки Егоркой кличут. И не потому кличут, что, чуть весна, он по первой же талой земле в бабки играет — в эту пору не он один под солнышком балует, — даже степенные мужики и те ни бабками, ни городками, ни лапту погонять не брезгают. Только всякий мужик, если бабок наиграет, то первому же попавшему на глаза парнишке их в шапку и высыплет, Егорка же бабки эти по карманам распихает и домой тащит, гордый: «Я, должно, все ж таки очень богатый мужик буду!»

Его бы по нынешним временам как раз раскулачить за брата как за собственного батрака, а он вместо того ходит, жалуется: «Калеку кормлю... Калека, а жрет за троих, не управисься ему подносить!» Пользуется, что глухой человек, никто ему этой напраслины пересказать не сможет!

В колхоз Егорка вступал, заявление принес — все диву дались: «Осознал до края идею и желаю ступить в новую жизнь и чтобы назначено было хлеба паек на семью и одежды казенная цифра и обратно — на калеку братана».

Ну, вот — Клашка выгладила рубаху, вынесла ее Степану.

— Гребень-то при тебе ли? Лохматый — вроде в жизни ни разу не чесанный!

— Сказал же: не на свадьбу собираюсь!

Ребятишки с улицы ввалились в избу — и свои и ударцевские. Все глазенки повытаращивали. Тоже соображают чего-то там. Притихли, даром что под окнами только сейчас галдели.

Степан сбросил мятую рубаху, натянул свежую. Вышли на улицу.

— Тёпло потягиват... — прищурился Степан, поглядев на солнышко, проступавшее сквозь серое пухлое небо.

— А ты как думал? — обрадовался Егорка, что вышли они наконец-то на волю. — В городе я в середу еще был — там уже тает только что не до ручьев.

— Городская весна — для понюшки. Все одно там — от солнца весна либо от камня нагретого. Ни пахать, ни сеять, а нюхать — так любая сгодится.

— Ты гляди, городская жизнь — для ее и весна раньше, и лето длиньше!

— Завидно?

— Легкая жизнь кому не завидная?! У меня вон в избешке охотники городские... Шесть часов службу отсидают — и все труды-заботы. И домой придет — кухарка ему уже по воду сходила и дров нарубила.

— А вот скажи, Егорша, как по тебе: будет ли сколько толку от колхоза? И как ты располагаешь: может, колхоз как раз для таких, как ты, и ладят?

— А мне что? Мне — как всем!

— Тебе, Егорша, нигде худо не будет. Вот дело-то в чем. Ты — от земли, да на крышу, да обратно в назем. Как воробей — тот и комаришку изловчится, возьмет на лету, и обратно в назьме покопается. Везде найдет.

— Ну, а ты? Высоко полетать хочешь, чтобы светло кругом было и солнышко бы тоже кругом грело.

— Я мужик земляной. Мне и светло и тёпло, правда что — шибко глянется, но только на земле. А тебе — это все одно, где тёпло-то. Хотя бы и на помойке, хотя бы и в чужой застрехе.

Может, и не стоило так Егорке говорить, но сказал: вспомнил, что это через него ведь старик Ударцев с ломиком на людей пошел, Егорка его задирает... Как бы не задирает, — может, старик бы и не пошел на это, а не пошел бы он — не свалили бы мужику избу под яр.

Егорка же на эти слова обиделся:

— Легкая-то жизнь, она тоже который раз еще тяжельше. Ты вот идешь, и печали тебе особой нету. Об себе только. А я иду — об Терентии еще думаю: ежели на его в колхозе отдельную бумагу заведут, так он глухой-глухой, а поймет — с колхозу отдельно получать! А ведь я его сколь годов кормил, одевал-обувал. Или вот

ты — идешь, а я тебя веду и уже что с тобой случилось — я за тебя в ответе!

— Ты скажи, у каждого сучка своя печаль! — удивился Степан и засмеялся даже. Засмеялся, потом вдруг встал, будто споткнулся обо что-то. — Так ты меня ведешь?

— Как же ты думал?

— Я, значит, под твоим караулом? И уже вправо там либо влево, так ты меня и непустишь?

— Может, сам-то я и пустил бы, но только нельзя. Не имею права!

— Ты гляди — интересно как! И ведь сроду я под караулом не ходил и в самом деле не крал, не убивал! А еще сказать, что меня такая сопля ведет, мне и вовсе тошно!

— Так не сам же я от себя! Я от власти! Объяснять мне нонче цельный день доводится!

— Ну, ежели милиции нету — ну, мужика прислали бы мне для караула. Фофана там, Нечая Хромого, хотя бы сказать, либо Ударцева-старика с ломиком! А ты?! Да ты сам-то как напустился? Неужто добровольно? А ежели я не постесняюсь руками-то твоей морды коснуться? Не побрезгую?

— За это тебе, Степа, сильно ответить придется!

— Только что дурак ты и есть! Я отвечу, а ты после в Крутых Луках будешь жить либо горевать? Тебе мужики в первую же ночь темную изладят, без окон и без трубы избу оставят, и ребятишек твоих другие все ребятишки лупить будут походя!

— Ну, это было. А нонче все под властью ходят. И опять же — колхоз!

— И колхоз, и под властью ходят, и тебе морду раскременить так ли еще успеют!

И, повернувшись круто, Степан свернул в калитку. В чью калитку — он подумать не успел.

— Ты — как это?! — Метнулся за ним Егорка Гилев и уже в ограде, забежав вперед, встал посреди крыльца с тремя ступеньками. — Стой, говорю!

— В гости надумал! Воскресенье же нонче! — сказал Степан. Взял Егорку под зад, поднял на ступеньки, а потом и в сенки впахнул.

В сенках Егорка уперся было руками поперек дверей, тогда Степан сдвинул ему шапку с головы на лицо и покрепче на нее надавил. Пока Егорка обеими руками

от шапки освобождался, он распахнул дверь и так, задом наперед, через порог его в избу впихнул.

— Здорово, хозяйева! — сказал он, еще не видя перед собой ничего, кроме помятого, красного и заметно сопливого лица Егорки. — Сладко вам есть-пить! — Отстранил Егорку и поглядел — кто же тут в избе, у кого он в гостях?

Оказалось — он у дяди Локоткова. Не того Локоткова, который однажды в ночь двух коней лишился, и не брата его, на толстой бабе Евдокии женатого, — совсем другой локотковской линии был мужик. Звали его Пётрой и говорили, будто он Степану дядей приходится, но понять, как и через кого родственность между ними происходила, делом было вовсе немыслимым.

Пётра, босый, и в самом деле пил чай, прижимая стакан к бороде, которая росла у него негусто, но вся почему-то вперед, а баба его, Нюрка, в лифчике сидела с ним рядом на прялке и, уронив веретено, глядела на гостей, открыв широкий, губастый рот.

Потом она рот закрыла рукой, отерла его и сказала:

— Дивно вы ходите-то нонче. Ей-богу! Тверезые ли?

— Ты поди облакись! — приказал ей Пётра, и Нюрка поднялась, прислонила к стене прялку, но в дверях горницы остановилась снова.

— Будто и тверезые...

— Вот Егорша по избам шарится — не подадут ли где изведать! — сказал Степан. — Так ить не подают как есть нигде!

— И ты — с ним?! — спросил Пётра.

— А не видать разве — двое нас?! Егорша-то парень, известно, стеснительный, чужой порог переступить робеет. Ну, я вроде ему в помочь.

— Ну конечно! — понятиливо кивнул Пётра. — Садитесь вот... Самогонки про вас не наварено, а чай — покудова не простыл. Пейте. Белый жир нагуливайте.

И Нюрка, застегивая на себе кофтенку, снова из горницы появилась:

— Садитесь, гости дорогие... Я тебе, Егор Филиппыч, чаю спелого, сладенького сейчас и поднесу! — и глазом на Егорку повела...

Уж эта Нюрка! Ох и Нюрка!

Из-за нее мужики в Петрухину избу стеснялись и заходить.

Годов еще пять тому назад Пётра застал ее с портным. Из беженцев был портной, пришел из России в го-

лодный год и так по деревням вокруг Шадриной скитался — то здесь, то там. На него бы никто и подумать не мог — тихий был, степенный, но вот — случилось.

Портняжку этого Пётра гнал пастушьим бичом по тракту едва ли не до самого Шадрина, а про Нюрку после того с месяц никто не знал, живую ли ее мужик оставил либо нет. Нигде она не показывалась, ребятишек Пётра отвел к бабке и тоже домой не пускал.

Потом Нюрка на людях все ж таки показалась — бледная, годов на десять постаревшая. А потом отошла телом и — скажи ты — повеселела душой.

Бабы ее спрашивали, что-как, она без запинки объясняла:

— Другие от мужиков страдают и вовсе без причины либо от напасти какой, от болезни смолоду помирают. А я хоть знала — за что!

— И не стыдно тебе?

— А что я — даром, что ли, взяла?! Говорю же: едва живая осталась!

И деревня Нюрку простила. Одни только ребятишки который раз ее словом обзывали, взрослые же и помянуть никогда не поминали. И еще Нюркино счастье — Пётра мужик был вовсе не пьющий, с первого же глотка животом начинал страшно маяться. С непьющим, конечно, поладить легче.

Прощено-то было прощено, но ведь не забыто. Быль небыльем не сделаешь. И Нюрка, коли и сама сделала бы вид, что забыла, — это притворство получилось бы враз заметное. Вот она и ведет себя с тех пор строго, а в то же время — будто отчаянная. И мужик уже к этой повадке ее приладился, ей подыгрывает:

— За моёй бабой глядеть да глядеть!

Так они оба уже многие годы шуткуют, а мужики между тем в избу к ним заходить сторонятся. Дело семейное, порешили между собой — так и порешили, со стороны же глядеть, как это происходит, ни к чему. И Нюрку пытаться, в шутку ли она на мужиков глазами играет, а который раз вдруг да и вправду, — тоже ни к чему.

Егорка Гилев — этот глупой, что к чему — понять не может... Нюрка вроде бы к нему с первого же слова ластится, а он на Пётру поглядит — ему боязно становится, на Степана посмотрит — его оторопь берет. Однако полушубок скидывает и вслед за Степаном чай пить садится.

Степан с хозяином о погоде разговаривают, Нюрка другого гостя занимает:

— Когда моего Пётру в расчет не брать, так у нас на деревне и мужиков-то, на которых поглядеть, двое осталось — Степа вот Чаузов, да еще и ты, Егор Филиппыч!

Егор молчал сперва, глаза долу опускал, после тоже заговорил:

— Мы со Степой... Степа со мной...

— И то сказать — Степан-то Яковлич на возраст выходит, а тебя, Егорушка, обратно клонит на молодость! Даже и понять трудно! Не обижаешься ли на меня, Степан?

— Ну, кого там обижаться! Видать по всему — так оно и есть!

Ласковость у нее, у Нюрки, в глазах какая-то, и опять же будто она пощады за что-то просит...

Глядишь на нее, и обо всех-то бабах в голову мысль приходит. Что, если Клавдия правильно ему говорила, будто мужиков будут на городские работы посылать, а бабы одни в колхозе останутся? Они же друг другу не указ и не управа, они в отделе от мужиков бог знает что могут натворить! После того ревмя будут реветь и, может, вот как Нюрка, объяснить, что «не задаром взяли»?! Они вот и ладные и красивые, а сколько об их будет кнутов измочалено, сколько изломано кнутовищ, сколько детишек хватят через них лиха, покуда они какой-то бабий порядок в жизни наведут?!

И еще, на Нюрку глядя, об Клашке своей невольно думаешь: вот тут уж верно все, всегда для тебя одного Клашка баба живая, а для всех других мужиков, сколько их есть на свете, она каменная! Это уже так, убей его на месте!

— А я слыхала — председателя колхозу снова будут выбирать! — серьезно так, ласково говорит Нюрка. — Вот бы тебя, Егор Филиппыч, поставить на место?! Не скажу об мужиках, а бабы все руки бы подняли!

— И очень может быть! — вздохнул Пётра. — Может быть, и до такого доживем — как ты на это глядишь, Степа?

Егорка со стакана чаю горячего пьяный сделался.

— Я знаю, Степа-то против будет. Не будет согласный за меня руку поднять. А почему, спроси его, дядя Пётра? Пушай он докажет, что против?

— А ты почем знаешь, что я — против?

— Сказать? Ну вот и скажу сейчас хозяевам-то секрет. И скажу! Ведь между нами как? Я его по приказу к следователю веду, следователь приехал, интересуется, почто Ударцева избу мужики под яр спихнули. Вот как мы идем. А он, Степа, и друг, а не хочет со мной вместе идти. Ну вот, поспорили мы и к вам зашли... Рассудить хотели... Я к нему от власти поставленный, а он ко мне — без уважения!

— Как же это ты, Степан Яковлевич! — всплеснула руками Нюрка. — И в самом деле, ведет тебя Егор, так ты иди... Кабы он меня повел, так я бы от его ни на шаг! Я бы к Егору Филиппычу — вовсе даже наоборот! А шанежки не хотите ли свежей, Егор Филиппыч? Я сейчас!

Нюрка выбежала в сенки, пробыла минуту какую, и грохнуло что-то... Жалобно так Нюркин голос раздался:

— Кадушку я уронила, мужики! Помогите кто, помогите, Егор Филиппыч, поднять!

Егорка ближе к двери сидел, кинулся помогать. Вдруг «щелк» — и Нюрка на пороге стоит, ключиком на бечевке помахивает.

— Вот, Степа, тебе и ключик — от караульного твоего. Хочешь, выпусти его, а то пуцай посидит некоторое время в кладовке!

— Посидит! — согласился Степан. — Одному мне верно что ловчее по улице идти.

Егорка в кладовой было завопил, Нюрка с порога ему объяснила:

— Не шумите, Егор Филиппыч! Народ прибежит на шум, а тут человек в чужой кладовке нечаянно закинутый оказался! Стыдно же! Да мы долго держать тебя не станем. Малость какую только — после гуляй по воле.

И Егорка замолк, тоненько так попискивал, уговаривал не шутить с ним.

Допили чай по стакану, Степан поднялся:

— Пойду, однако...

Пётра согласился:

— Может, и мне с тобой? Я тот раз тоже дом-то ударцевский рушил.

— Надо будет — призовут. Да и не против же Советской власти мы дом тот спихнули? Не за собственность она нонче держится, власть?

— А Ольга правда, что ли, у тебя в избе с ребятами?

— Баба привела, Клавдия. После — бездомному не откажешь.

— Об этом следователь тоже, думаю, будет у тебя спрашивать...

— Ему-то не все равно? Не его забота — кормить!

— Бывай! — попрощался Пётра.

И Нюрка рядом с мужиком своим стала, руки на грудях сложила, локтями вперед.

— Заходи, Степан, какое будет время...

А ведь состарилась все ж таки Нюрка — седина уже светится и лоб весь морщинистый... Только он это заметил, Нюрка вдруг улыбнулась:

— За друга своего не печалься — я с им ласковая буду! Я ему и чаю еще подам в кладовку-то... — И засмеялась. А смеется она — молодеет сразу на глазах.

Шел Степан улицей...

Бывало, раньше, давно еще, думал: на себя бы поглядеть, лет через десять каким будешь?.. Ломаешь хребет-то, а к чему придешь, чего достигнешь? Какое там — десять лет, хотя бы и на год вперед увидеть, каким ты мужиком в колхозе будешь? А нынче идешь и даже не так думаешь: завтра-то как она к тебе, жизнь, обернется, к мужику?..

С Егоркой же смешно получилось!

А если без смеху, так Егорка этот — вовсе правдашный кулак-эксплуататор. На пашне братана глухого всеми силами эксплуатирует, а другой у него братан в городе заезжий дом содержит, и крутолучинские мужики, и шадринские, и лебяжинские в том доме в базарные дни ночуют, за постой платят. На станции, на железной дороге, Егоркина сестра в собственной лавочке торговала, а Егорка для нее подсолнух сеял, редиску рóстил. И сроду нету у него, у Егорки, мужичьей заботы — заработать, о другом он мечтает: урвать бы где!

ГЛАВА ПЯТАЯ

В своей избе и то каждую щелку так не знаешь, как в колхозной конторе на верху фофановского дома.

Правда, знать там особенно нечего, глядеть не на что: четыре стены, и все обшарпаны мужицкими спинами.

Тот угол, в котором сидит обычно Степан, слушая, что говорят кругом, — тоже густо натерт. Дверь крас-

ная, овчиной тулупов и полушубков не обтерта. Но голубые цветы на ней от дыма табачного совершенно завяли, поблекли. Ладно, если помнишь, что были они когда-то голубым нарисованы, а не помня — не угадаешь сроду.

Сколько через эту дверь нынче народу в день один зайдет и выйдет — не счесть, а ночью еще и бабы начинают бегать за мужиками своими и ведут их отсюда домой, ругаясь: «Начало колхозу только, а табаку перекурено вами на целый век. Это что же дальше-то будет — весь же белый свет дымом застите?! Своя-то изба хотя бы и синим огнем сгорит — вам дела нет, табакуры бездомные, безлошадные!»

И только Клашка в контору не бегаёт. В другой раз, когда под вечер Степан по избе начнет туда-сюда слоняться, она сама ему вроде бы ненароком скажет: «Сходил бы на народ, Степа...» А когда он из конторы возвращается под утро, спрашивает: «Как порешили-то? Народом?»

Еще в конторе стоит стол...

За стол этот совсем недавно фофановская семья с ложками садилась, семь человек: хозяин с хозяйкой, старик со старухой, две девчонки-погодки с одинаковыми косичками и племянник, остался сиротой, прирос к фофановскому дому, тоже ложкой действовал не худо.

После, когда стала здесь контора, Фофан за тем же столом сидел уже без ложки и не с торца, а посерединке. Замещал председателя колхоза, за Печуру Павла сидел.

Если Печура был дома — они двое рядком сидели, но было их двое или один — всегда с боков еще мужики умащивались, глядели, как это колхозные дела делаются: как бумажки читаются-пишутся, как печать круглая на них ставится, как делается подпись. И на счетах, на костяшки тоже, глаз не спуская, глядели: как добро колхозное кладется на них? Кому не интересно?

Другой раз Фофану уже и не пошевелиться, не вздохнуть свободно — в такой тесный круг его возьмут, он тогда начинает шуметь, чтобы отодвинулись от него хотя бы на аршин. Кто-нибудь его обязательно горячо так поддержит: «Правда что, мужики, живой же он тоже, Фофан, человек!» Но это ненадолго: чуть время пройдет — его уже снова за столом вовсе не видать, Фофана, кругом одни спины да шапки.

А вот поглядел Степан сейчас на стены конторские, на окна, на стол поглядел и удивился: будто в первый

раз видит все это, все здесь ему незнакомое. Потому так показалось, что в конторе сидит один только человек, и человек этот — совершенно чужой, нездешний.

— Садитесь...

Степан по сторонам глянул. Почему «садитесь»? Может, он не один в контору вошел? Нет, он был один.

— Садитесь!

Ну, если с одним с ним так разговаривают, то и ему вежливо надлежало ответить:

— Ничего, мы постоим...

— Садитесь!!

— Спасибо. Сядем.

— Чаузов? Степан? Яковлевич?

— Само собой!

— Год рождения?

— Девятьсотый.

— Родился в Крутых Луках?

— Здесь и родился.

— Русский?

— Русские.

— Грамотный?

— Три зимы в школу бегал.

— Женат?

— Женатые. Обязательно.

— Дети есть?

— Куда же им подеваться — детям? Слава богу, живые обои.

...Минута какая прошла — уже не только о Степане самом — о Клашке, о ребятишках все как есть записано.

А ему все мало — следователю, Ю-ристу. Он еще спрашивает, еще записывает.

— Кем являетесь? Бедняком? Средняком? Кулаком?

Поди-ка, все понимает, а спрашивает, ровно ребенок: «Кулаком»? Да кулаком если бы был, так сейчас перед тобой не явился бы в Крутых Луках — за болотом давно бы уже мыкался.

— Записано было середняк.

— Простой середняк или крепкий середняк?

— Простой середняк. Обыкновенный, сказать.

— Совсем обыкновенный?

— Вовсе даже...

— Так... Нынче колхозник?

— Вступили...

— Давно вступили?

— С того четверга второй месяц пошел.
— До вступления твердыми заданиями облагались?
— Не миновало.
— Выполнили?
— Выполнили. На тот же день — второе принесли.
О втором, однако, напрасно сказал? Не спрашивали ведь.

— Значит, облагались дважды?
— Можно и так сосчитать.
— И снова выполнили?
— Обрато — до зернышка.
— И в тот же день вступили в колхоз?
— В который?
— В тот день, когда выполнили второе твердое задание?

— Точно чтобы сказать — не вспомнил...

А догадливый, видать, следователь-то этот. Такая работа. Не с первым беседует. Сколь перед ним вот таких же мужиков сидело? Он, поди-ка, и сам всех не вспомнит!

— Родственники раскулаченные есть?
— Братан. Старший.
— Вы с ним вместе когда-нибудь хозяйство вели?
— Не было. Он как с Красной Армии вернулся, женился и к бабе на овчинниковский выселок ушел.
— Значит, богатую себе в жены взял?
— Овчинникову и взял. Александру.
— Давно это было?
— Сказать — двадцать пятый год шел. Так и есть — девятьсот двадцать пятый.

— А вы, значит, женились раньше? И тоже из богатых взяли жену?

— Беднее в Крутых Луках не было.
— Как же вы на такое решились?.. А?
— Закурить можно ли будет?
— Нельзя.
— Извиняйте! Привычные мы очень к табаку за разговором.

— Теперь расскажите, как вы разрушили дом Александра Ударцева. Как и почему? Вспомните все подробно.

— Дом-то — он стоял к яру близко. Шагов каких тридцать, может, пятьдесят. Нет, пятьдесят навряд ли и было. Ну, мы прибегли с пожару-то, который Александра запалил, и сбросили дом его под яр.

— Дальше.

— Дальше-то он сам пошел. Под кручу.

Тут следователь поднял глаза. Лицо узкое, как у Ольги Ударцевой, а глаза на нем острые. Вот когда они встретились! Будто даже сверкнуло что-то... Ломиком замахивался старик Ударцев — так же вроде сверкало.

Следователь молчал.

И Степан молчал.

Глядели друг на друга... Как на него глядели, так и он глядел. Это уже всегда так бывало: с чем на тебя идут, ты тем же отвечаешь... Бывало, на Лисьих Ямках с голых кулаков начиналось. Первым он с батожка не начинал сроду, но если кто начал — отвечал тем же способом, и не мешкая...

— Я предупреждал вас: говорите подробно!

— Я разве отказываюсь?

И еще помолчали.

— Хорошо... Кому пришла в голову мысль сбросить дом Ударцева под откос?

— Пожалуй что, ему же и пришла...

— Кому это — ему?

— Ударцеву. Лександре.

— Он что же — вам об этом говорил? Сам?

— Почто же мне? Всем говорил.

— Когда?

— Да тот же день и говорил. И раньше — не раз. Когда просил его избу на Митрохино бывшее место перенести. Чтобы изба сама собой под яр бы не свалилась.

— Но ведь это же как раз в обратном смысле говорилось!

— Оно бы и получилось в обратном, как бы он после того зерно не спалил. А спалил, так избу-то с места тронули, но только уже в другую сторону.

— Так вы и понимаете все это дело?

— Не сказать, чтобы я. Все так и понимают.

— Хорошо... Когда после пожара все шли к дому Ударцева, кто шел впереди всех? Кто-нибудь шел впереди вас?

— Двое кто-то шли. Один — подлиньше, другой — покороче.

— А вот другие показывают, что впереди шли вы. Как по-вашему, это что-нибудь значит?

— Конечно, значит. Значит, я со всеми вместе и шел. Только чуток впереди. Все меня видели, а ужо

тех, кто впереди бежал, тех, выходит, не видать было другим-то.

— Кто же были те двое?

— То ли Егорка Гилев с кем-то, то ли еще кто-то. Нет, сказать, и не знаю кто. Тёмно было. Они намного впереди были, те двое.

— И вы не посмотрели внимательно, кто же это был?

— Не посмотрел. Не знал, что меня об них спрашивать будут.

— Хорошо... Вы вошли в дом Ударцева. И там старик Ударцев замахнулся на вас ломом. Он имел намерение вас убить?

— Убить? Сроду бы не убил. Зачем я ему? Понужнул с избы — это правильно, было...

— Именно вас Ударцев покушался убить ломом...

— Почто же он меня облюбовал?

— Ну, прежде всего потому, что все выскочили вон, а вы остались в доме...

— А кто же это доказывает, будто он меня убить наладился?

— Все, кто был с вами.

— Так выскочили же все?!

Опять помолчали.

— По-вашему, что же, старик шутил?

— Нет, не шутил. Грозился он. Застращать хотел, чтобы с избы всех прогнать. Кто, может, и взаправду испугался, ему того и надо было. А я взаправду не принял. Как бы принял — тоже выскочил бы. Кому охота под смерть подставляться? Вы подставитесь?

Следователь постучал пальцами по столу, постучал карандашом и снова сказал свое «хорошо». Во всех его «хорошо» — точно можно было сказать — ничего хорошего не было, но тут ему вдруг будто что-то интересно стало, следователю, будто он и в самом деле не знал толком, подставится он под смерть добровольно или не подставится.

— Хорошо... Все выскочили из дома и стали толкать этот дом к берегу. Вы кричали при этом? Командовали? И люди вас слушались?

— Не было. Хотя крику-то, сказать, там было ото всех много.

— Все кричали, а вы что же — молчали?

— Ну какое там — не молчал вовсе. Сказать, так матерился я.

— Были очень возбуждены? Рассержены? Ругали старика Ударцева?

— Про старика-то я в ту же секунду и забыл. На кошку матерился.

— На какую еще кошку?

— А кто ее знает, какая она была? Тёмно же было. Людей-то толком не видать, а кошка — она же почти что махонькая...

— Почему же вы на нее так? На кошку?

— Она царапаться со мной взялась.

— Откуда же она появилась? Вдруг?

— Верно, что вдруг. Должно, с вышки свалилась.

— И прямо на вас?

— Прямо на меня и угадала.

— Так вы, может быть, и не толкали дом?

— Раз-то успел. А тут она на меня. Ну, я и обои руки кверху — срывать ее с себя.

— Поцарапала? Сильно?

— Овчину поцарапала, а до шкуры не достала.

— На спину она вам прыгнула? С вышки?

Степан провел рукой по плечам своего дубленого полушубка, расстегнул на нем еще одну пуговицу...

— На голову она мне пала.

— Покажите шапку!

Степан поднялся — шапка лежала под ним на стуле. Протянул шапку следователю:

— Правое ухо где — там и глядите. Там она и царапалась.

Шапка мехом была наружу, а матерьялом подшивалась когда-то снутри. Годов ей было, припомнить, десять, около того. За эти годы и Полкашка ее трепал, и кошка в ней ночевала, когда одна, а когда и с котятками, с выводком.

Следователь повел на шапку глазом, но в руки брать ее не стал. Спросил снова:

— Значит, старика с ломом вы не испугались, а с кошкой всерьез воевали?

— У старика пуцай и вовсе старое, а понятие. Он бы что сотворил, поцарапал бы кого — вы бы сейчас статью под его подбили. А с кошки какой спрос? Опять — она вдруг. Ты об ей и подумать не успел, а у тебя уха нет. На живом-то они, кошки, очень злые делаются. Другой раз ребятишки балуются и закинут кошку на корову, а того хуже — на коня, на лошадь, сказать... Так ведь беды же не оберешься!

— Хорошо... Ну, а кто-нибудь видел, как вы кошку эту с себя сдирали?

— Не скажу. Может, кто и видел. Опять же тёмно было. Ну, а слышать-то, верно, все слышали — она дивно как взревела.

— Значит, вы и дом толкнули один только раз? А потом занимались кошкой?

— Правильно-то сказать, так она на мне занималась... Ну, а после, как она ускакала, я побежал еще раз дом пихнуть. Он уже под яром весился, дом-то.

— И толкнули второй раз?

— Не удалось. Успел кого-то в спину, а тот уже руками и до стены доставал.

— Кого же вы толкали? В спину?

— Со спины-то я не узнал — кого. Тёмно было. Суматошно.

— Припомните. Постарайтесь.

— Постараться-то — так Николая Ермакова, однако. Однако его. По голосу вспоминаю — он заругался еще: дескать, я его тоже следом за избой под яр пущу. А может, и не его вовсе.

Вдруг следователь снова поднял от бумаги глаза и тут же провел по глазам рукой. Он это так сделал, будто глядеть ему больно стало, но еще что-то он все-таки увидеть обязательно хотел.

— Теперь послушайте меня, Чаузов, — сказал он. И гладко, вроде по-писаному, но негромко вовсе говорить начал: — Почему вы ото всего отказываетесь? Во-евали с кошкой — больше ничего? Но ведь, кроме этого, было что-то? Как было? Почему было? Я думаю, что дело обстояло таким образом: старик Ударцев хотел вас убить, а вы после пожара, на котором тоже едва не лишились жизни, спасая колхозное зерно, не сдержали себя, почувствовали в старике своего классового врага и призвали разрушить его дом. Это нарушение, непорядок, потому что никто не дает вам права уничтожить собственность — государственную или частную, все равно. Но это в тех обстоятельствах и не тяжкое преступление, если принять во внимание, что разрушение дома было ответом на поджог, ответом на покушение на вашу жизнь со стороны классового противника. Так я думал. Но, судя по вашим ответам, вы спасаете Ударцева-отца от справедливого наказания. Вы не видите врага даже и в Александре Ударцеве. И еще скажите:

это правда, что в вашем доме нашла пристанище Ольга Ударцева с детьми?

— Ночевала.

— И еще будет ночевать?

— Ее об этом не спросишь. А сама обещалась до теплой дороги жить. После к родственникам уехать.

— Объясните: почему именно в вашем доме жена Ударцева нашла убежище?

— Клавдия ее привела. Баба моя. Очень она жалостливая баба.

— Ну, как вы сами на это смотрите? Это очень серьезный для вас вопрос: как сами смотрите?

— Смотрю-то как? А вот спросить надо: хотя бы и в вашу избу, в дом ваш, женщина зайдет с тремя детишками — вы ее на мороз обратно выгоните либо как?

— Спрашиваю — я. Отвечаете — вы. И только в том случае, если мой вопрос непонятен вам, вы имеете право еще раз меня переспросить.

— Вот он мне и непонятный, ваш вопрос. С тремя ребятишками бабу выгоните ночью либо нет? Зимой?

— А зачем вам, собственно, знать, как поступил бы я? Я бы прежде всего не стал разрушать дом Ударцева, но разве это что-нибудь меняет в вашем деле?

— Люди ведь мы. Интересно, как человек на твоём бы месте сделал. Ученый. Который за тебя думает...

Опять они встретились глазами, и следовательно спросил:

— Может быть, вы приютили Ольгу Ударцеву в благодарность за то, что она спасла вас? Ведь это она выбила ломик из рук старика?

— Да уж какие там бабы спасительницы, когда мужики дерутся?

Снова молчал следователь. После сказал:

— Вот что, Чаузов, сейчас я буду беседовать с другими людьми, а вы обождите. Подумайте: по-прежнему вы станете выгораживать старика Ударцева или нет? Подумайте.

Следователь встал, и Степан тоже встал и пошел было к выходу, но вдруг следователь остановил его:

— Нет, не сюда... Некоторое время вы побудете вот тут! — и, поднявшись из-за стола, распахнул узенькую дверцу за печкой.

Эта дверца вела со второго этажа фофановского дома на первый и давно уже была заколочена — с тех пор, как Фофанов отдал верхнюю половину дома под кол-

хозную контору. Но для этого случая ее открыли. И Степан ступил в маленькую клетушку.

Дверь закрылась за ним. Лестница на первый этаж была завалена разным фофановским добром: койка деревянная, тазы какие-то старые, кадушки, сундук, — и Степан опустился на пол, сигарку стал завертывать. Страсть хотелось курить!

Было как после драки: сначала подерешься, после вспоминаешь — что почему произошло, кого ты побил, кто тебя достать сумел...

Теперь он о следователе вспоминал, о нем думал. Какой человек? Какой жизни? Что ему от Степана надо? В какой угол следователь этот загнать его хочет? Чем пришибить?

Подумалось почему-то — живет следователь в каменном доме, высоко, под самой железной крышей... И как об этом подумал, так сразу же на следователя обозлился.

Ты скажи, какой нашелся судья! Нашелся кто — об мужике думать, мужика учить? Нет, ты в избушке об мужичьей жизни подумай, не в избе, а в избушке — на пашне, которая из земли мало-мало торчит, в которой крестьянин от снега до снега и весну всю, и лето, и осень живет, на топчане жердяном, а то и просто на соломе блохам на радость ночует! Поешь хлебушка в ней, когда земля-то у тебя в глазах, и в ушах, и на зубах с тем куском перемалывается! За конями походи день и ночь, чтобы робить на конях и еще их же силу беречь, а об своей — чтобы недосуг было и подумать. Вот тогда и погляди, как ее, мужицкую жизнь, ладить, кто в ней правый, а кто виноватый!

Это один как бы такой был учитель! А то приходит время — другой такой же к мужику является, другой его учит, какая у тебя баба — и о том допрашивает. И третий так же. И пятый. И десятый. Сколько их за жизнь-то перевидишь, учителей этих, переслушаешь?!

Ну, ладно, приходят... Говорят. Уговаривают. Стращают: «Вот какой ты, мужик, неправильный, а правильный — вот такой должен быть!» Ладно, сказали свое. Сказали — и уйдите бога ради с глаз, уйдите, дайте срок!

Мужик все от вас услышал, все запомнил. Есть у мужиков Ягодка Фофан, и Нечай Хромой есть, и Печура Павел — чудной, говорливый, на ребятенка сма-

хивает, но он же и партийный, в правду верит, он в Москве Ленина видел, издаля, но живого!

Еще сказать, есть у мужиков Чаузов Степан, помоложе других, в разговор входит мало, но и соврать никому не даст. Егорка Гилев будет путаться, мельтешиться, так на его раз цыкнуть, а то и пинка ему... После того дайте мужикам подумать. Дайте им самосаду накуриться, не тревожьте их, не мешайте — они тоже для чего-то жизнь живут, головы на себе таскают! Они в колхоз вошли — они и уладят в колхозе как-никак дело. Они Ударцева дом под яр сбросили, так дай ты им подумать, они и надумают: другой такой же с печкой, и с лежанкой, и с подполом за три дня миром сладят, и Ольгу с ребятишками в него поселят. И все тут. Но следователю уже на дом наплевать, не нужен ему дом, ему куда важнее — кого бы засудить? И вот с шумом, да с гамом, да с угрозой запросто можно мимо настоящей правды проскакать, в сторону от нее метнуться... Покажи ты ее, правду, коли учен, но после дай ее запомнить, к ней прислушаться... Правда, она же, поди, не стежок либо батожок, чтобы ею один на другого замахивался, в морду ее любому и каждому совал?! Мало того, пришибить вовсе зря можно какого человека до смерти, мало того — стежок-то крепкий, однако и он ломается! И почто это ты во мне, в мужике, вражину ищешь, а коли не нашел, то на меня же и в обиде?

Но учителя эти из городских каменных домов, железом крытых, — один наперед другого стараются выскокить. Один был — у Пётры Локоткова останавливался, тот со своей ложкой приезжал, вроде кержак какой, мужицкой посудой брезговал, а доклад об том, как мужику жить, тоже говорил и кулаком по столу на которых еди-ноличников тоже стучал!..

И сейчас тоже: скажи ему, следователю — было вот так — пожар первым полез тушить, и дом ударцевский первым полез рушить, и Ударцев-старик вправду убил бы его ломиком, как бы не Ольга, — попробуй скажи? Он ту же минуту к этому былью небыль пришьет, что после вовсе будет не понять, что к чему, и еще всю эту небыль на тебя же запишет — будто ты, а вовсе не он ее выдумал. Нет уж, не было ничего, и все тут... К ничему ничего и не припишешь!

Пущай поморгает глазами-то своими под стеклышками, к мужику подход поищет! Тоже ведь — русский человек, хотя и ростом не вышел, а русский; дед ли,

прадед ли его от земли был, сохой ворочал. После выучился кто-то в роду, городским стал, городских ребятшек народил, а у этого уже весь белый свет ни в руках, ни в ногах — в голове одной заложен, головой он за все на свете держится, выдумывать — работа его.

Что за человек?

Может, он — Егорка Гилев, только городской? Мужичьего Егорку за версту учуять можно, а городского? Ученого? Какой-никакой мужик, а две или три десятины сеет и уже не зря землю топчет — себя кормит, свою семью и еще кого-то чужого. А этот?

Сидел Степан на полу в клетушке фофановской, сигарку за сигаркой крутил, курил, что уже и света через окошко в клетушке этой не видеть стало...

Где они, те люди, в которых всего в самый раз поровну? На какой земле родятся? Какой едят хлеб?

Снова вызвал к себе следователь: «Пройдите!» Снова на том же стуле и на шапке сидит Степан Чаузов, а за столом — человек махонький, личико сухощавое, френчик на локотках штопанный.

Сидят они двое, и почто бы в самом деле не сказать им друг другу все, что в мыслях имеют? Что взаперти, в клетушке, в табачном дыму только вот сейчас Степан Чаузов удумал? Что человек во френчике штопаном в эту минуту думает?

— Где, по-вашему, может быть сейчас Ударцев Александр? — спросил следователь.

Степан поглядел, подумал, ответил:

— Не сказывался он мне...

— Так... А вы как думаете: чем он сейчас занимается, Ударцев? Снова поджигает? Грабит? Убивает?

— И об этом обратно не сказывал...

— Я и не думаю, чтобы он кому-нибудь об этом говорил. Я спрашиваю: как вы предполагаете?

— Ну, кто его знает... Вернее всего, лакеем каким поступит либо золотарем.

— Почему вы так думаете?

— Совесть нечистая — что ему остается! Угодать всем и каждому.

— Лакеев теперь нет. Нет этой должности в нашем государстве.

— Такой найдет. Все подряд обнюхает, а найдет. На

бабью работу найдется — полы мыть, с чужих исподнее обстирывать.

— А все-таки — считаете вы его врагом Советского государства?

— Такому одну поднести пошибче — и нету его... — Показал кулак: — Хотя бы вот и такую одну.

Следователь усмехнулся, отодвинул на край стола бумагу и карандаш, сказал вдруг по-другому как-то, ласковее:

— Вот видите, Чаузов, я не записываю больше ничего. Просто хочу с вами поговорить. Ближе познакомиться... Вы газеты читаете?

— Читаем.

— В избу-читальню ходите?

— Изба-то от нас — на другой край деревни. К тому же избач обратно уполномоченным служит, редко когда на месте, все больше на службе.

— Где же вы читаете?

— В избе и читаем. Только — в своей.

— Значит, подписчик газеты? Круглый год?

— Круглый-то год в крестьянстве не получается. Пашня да покос — за газету нет расчета платить. А зимой платим, почта приносит.

— Это интересно...

— Когда бывает — действительно интерес. А когда, сказать, и не очень вовсе. Тут в одной газетке я шестнадцать разов про вредителей читал. Какой же это интерес, что и честных людей вроде не стало?

Следователь ничего на это не сказал. Подождал и спросил:

— А неинтересную газету вы что же — на сигарки или показать соседу?

— На сигарки. А вот на двор с ей пойти — этого нету. Не заведено.

— Почему же не заведено?

— Работа чья-то. Писано-печатано. Да и в бумагу белую тоже, поди-ка, поту немало пролито.

— Хорошо... Ну, а как вы, Чаузов, живете? Как, например, питаетесь? Сытно ли?

— По сю пору питался каждый день.

— А чем? Скажем, мясо вам хозяйка каждый день варит?

— Сырое — ни единого дня не ели...

— Так... Так-так... Еще один вопрос. Если не захотите — не отвечайте. Вам Советская власть нравится?

— Как сказать-то... Власть-то — она не девка, чтобы нравиться. Но и так понять — и без ее нельзя. А нынешняя — она против других выходит вроде лучше. Который бедный — помогает тому. Жирному далее жиреть не дает. Ребятишек учит. Получше бы еще — тоже не плохо бы вышло, но и так бы жили... покуда.

— Покуда... А дальше как?

— Коли с умом будет делать, мужика через колено не станет ломать — и дальше жизнь пойдет.

— Как вы считаете: кулаков правильно выслали из Крутых Лук? Село у вас зажиточное. Старожильческое. Кулаков немало...

— Которых вовсе правильно. У кого коней, сказать, десять — тому колхоз один убыток. И он сроду убытку того не простил бы, тут уж так — либо он, либо колхоз. Она их еще в девятнадцатом годе стращала, кулаков, Советская власть. Вышло — не зря.

— А вы помните девятнадцатый год?

— Не забыл...

— Что же вы делали в девятнадцатом году?

— Разобраться — так воевал.

— Вы же в гражданскую в армии не служили?

— А я без армии воевал.

— Партизан?

— Может, и так.

— Я знаю всех партизан в районе. Вы в списках не числитесь.

— Ну, кабы только те и воевали, которые числятся, так ее сроду бы и не было, Советской власти.

— Предположим. А в чьем же отряде вы были?

— А с Христоней Федоренковым мы воевали. На пару.

— Вдвоем?!

— Больше вдвоем. А который раз и единолично.

— Объясните. Как же было дело? С самого начала.

— Началось-то с пальца с Христинино. Он не захотел Колчаку служить, на призыв к нему идти, ну и отрубил себе палец на левой. После ходил все в Шадрину на пункт призывной и за других мужиков назывался. Писарю едва ли не каждый день четверть самогону таскал. У их там порядку мало, ему и удавалось — многих освободил... Мне девятнадцать как раз годов стало, он и меня освободил, несмотря что ему в ту пору сорок было верных. После его застукали, посадили, под рас-

стрел приговорили. Они-то его приговорили, а он-то убежал, да еще и пулемет с припасом из Шадриной угнал. На ихней, на колчаковской, телеге и угнал. Правду сказать, партизаны очень пулемет у его просили, однако он не послушался, за свой палец сам хотел головы колчакам посшибать. Ну, взял и меня тоже к этому делу приставил. Мы с им ямку в бору выкопаем, чтобы и травинки не нарушить, после как по линии состав с колчаками идет, мы — огонь. С паровозу и, бывало, до самого хвоста. Либо обратно рассудим — ежели где на повороте с хвоста начать, то на паровозе машинист далеко не сразу смекнет, в чем паника. Покуда состав остановится, да колчаки врассыпную бор прочесывать начнут — мы пулемет в той ямке схороним, сами на колчаковскую телегу... А который раз они и не останавливают поезд свой, шибче шуруют, о нашем нападении после по проводу передают. Ну куда нас угадать?! Он беспалый, я под хромого выдавался, кому-то мы такие нужные?.. Через неделю-какую пулемет из ямки выкрадем и уже с другого места сызнова начинаем. Мы с им, с Христоней Федоренковым, да-далеко по бору подавались, после припас к пулемету вышел, мы его партизанам отдали... Так вот было...

— Интересно было... — кивнул следователь. — Ну а почему же все-таки вы воевали с Колчаком? Из-за чего?

— Как из-за чего? Он же удумал, чтобы я ему служил. А я и вовсе этого не хотел. Вот мы с им и стакнулись! Опять же он как удумал, Колчак: отымать у мужиков. Скотину. Коней. Хлеб — и тот отымать. Мужики — сопротивляться. А он их — шомполами. Мало того мужиков — баб шомполами. Вот куды зашло. Ну и обратно стакнулись с им... Мужик ведь он — как? Как с им, так и он...

— Стакнуться — это значит сговориться... Так в русском языке...

— Как сказать... Я вот скажу, будто мы с вами седи стакнулись, а вы уже сами понимаете...

И вдруг следователь усмехнулся. Недолго, но усмехнулся, ладонью по столу ударил, а после обеими руками за стекла своих очков ухватился.

Степан усмехнулся тоже. Хотел себя остановить: «Держись, Степа, остро, себе верь, больше никому!» — но не остановился и засмеялся тоже.

Оказалось вдруг — об жизни, об том, что и как

в этой жизни бывало, они очень просто могли разговаривать. Даже интересно было вспомнить и вспомнутое объяснить. В Крутых Луках сроду так и не приходилось: там и без твоего рассказа каждый все об тебе знал, и ты все — об каждом. И не пристаёт к нему больше человек, не выведывает, не учит и не страшит. Просто сказать — слушает. Степан даже и не знал никогда за собой такого, не знал, что о себе самом он столько времени говорить способен.

— А Советской власти ведь служили? Она тоже, как и Колчак, в армию призывала... — не спросил даже, сам вроде бы себе сказал следователь.

Можно было и не отвечать на эти его слова, но Степан ответил:

— Видать же было — власть сурьезная. Своим народом обходится, без чехов и без всех прочих белых. Не на день власть — жизнь с ей ладить. Ее еще при Ленине, сказать, при живом, сколько разов в Крутых Луках судили, а она с подсудимой скамейки чистая выходила...

— Это как же — судили? Судили власть?

— Ее... Мужик из партийных вопросы задаем — почто спичек-серянок нету и одежды, мази колесной и про посла советского в Турции — кто об чем. Прокурора приставим, и опять же — защита всякий раз назначена. Бывало, кто зайдет от крика: лампу негде взять, карасина, стекла лампового на десять линий... А зачем голосовать — и оправдаем власть. Не на стеклянные же десять линий ее судить и мерить?! Она же за справедливость и мужика хорошо понять обещалась... Вот и от заграничного буржуя тоже мужика освободила...

— А это как?

— Просто: как бы не освободила, то русский мужик и по сю пору мировому капиталу долги платил бы. Деньгами, а может, и землей... Другим богатством.

— Долги-то, Чаузов, отдавать положено, а? Или не обязательно?

— Как, поди, не обязательно... Только сперва понять нужно — кто кому должен. Это мой собственный буржуй меня обманывал, я его за это понужнул с России, а теперь заграничный буржуй с меня его долги спрашивал бы, да? К тому же у буржуя на хлеб всегда хватит, а у меня от того долга и пятки из кожи по-

выскакивают враз. Нет уж, пущай лучше они промежду собою за границей разбираются, кто, кому и сколь должен. А я не зря говорю, что Советская власть обещалась мужика хорошо понять.

— Ну-ну... — согласился следователь. — Я думаю, не только мужика, но и рабочего тоже.

— Вроде так. Однако у рабочего руки, а у мужика — руки и хлебушко. И еще сказать: рабочего на мужика никак не перековать, а с мужика завсегда рабочий класс делался.

— Ну, положим. А что же Советская власть должна прежде всего о мужике понять?

— Понять-то что? Выше сознательности с его не спрашивать. Сколь мужику втолковали, сколь он сам понял — столь с его и возьми. А выше моего же пупка прыгать меня не заставляй — я и вовсе не в ту сторону упрыгну.

И опять было ладно, опять было хорошо. Удивительно, как разговор повернулся. А не разговор же это был — был допрос. Не надо бы об этом забывать...

И только Степан об этом подумал, следователь спросил его:

— Так как же, Степан Яковлевич, дело-то было с Ударцевым? Я ведь по-разному это могу истолковать. Или вы отомстили Ударцеву, как своему классовому врагу, или, наоборот, простили ему поджог, а Ударцеву-отцу простили покушение на убийство? Приютили у себя Ольгу Ударцеву?

Все снова враз на допрос обернулось. Снова за столом напротив не простой человек — следователь явился. Ю-рист. Служащий. Человек этот из городского каменного дома под железной крышей обратно по-своему заговорил.

Признайся ему, что Ударцевы, и сын и старик, — враги, он сейчас спросит: зачем Ольга в доме у него? И забьет, забьет вопросами, и застит все дело бог весть какими придумками!

— Коли по-всякому можно толковать, то и вовсе толковать не к чему...

— А все-таки — как же было?

— Так что и не было ничего. Дом спихнули, но и то сказать — мы, мужики, гуртом того натворим, что одному после сроду не рассказать.

— Не рассказать?

— Даже ни в коем случае...

Следователь на край стола руку протянул, бумаги подвинул:

— Подпишите протокол, Чаузов.

— А прочитайте сперва, что написано.

Написано было вроде все ладно — лишнего ничего и про кошку рассказано. И вообще пустяк какой-то: кто-то на кого-то ломиком замахнулся, кто-то кого-то толкнул, а тот уже дом пихнул под яр.

Подписался:

— Писать-то мы, правда, не шибко часто пишем. Редко когда.

Про себя подумал: «Однако ладно получилось: ничего не было...»

И на улице, у крыльца, когда мужики Степана окружили, стиснули так, что и не продохнуться, стали спрашивать: как? что? — он им тоже ответил:

— Отбился я, вроде бы, мужики. Нонче — отбился!

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Удивительные были у Степана кони...

Он и на колхозный баз не ходил, не глядел на них, какими они там без хозяина стали. Чтобы душу им и себе не терзать.

Но ведь мимо своего-то двора не пройдешь? Свой-то двор и колхозником не минуешь!

И вот каждый раз, в избу ли, с избы ли, а они тебе двое мнутся, два меринка, немолодые уже, разномастные, — Серко и Рыжка. Будто на старом своем месте все еще в ограде стоят, сено жуют.

Они росту были разного, а вот поди ты — ходили в одной упряжке, будто вместе в ней и родились!

Нрава тоже были совсем разного: Серый — нетревожный был конь, на нем верно что молоко возить, и не расплескаешь, и к работе очень пристрастный, в хомут мордой так и суется, но ума, сказать, в нем не очень-то было.

Рыжий, тот рыжий и был, верно что хитрюга, росту маленького, только у него и забот, что свернуть куда-нибудь с дороги.

Но это они каждый сам по себе, а вместе — как одна душа об восьми ногах, вместе они друг перед дружкой старались в любом деле.

И ежели один дома был, а другой с пашни возвращался — ржать начинали друг дружке едва ли не от поскотины, а когда два или три дня до того не виделись, так лизались после и нюхались до той поры, пока оба на брюхо не лягут и мордой в морду не ткнутся.

Людам бы так жить между собой... А то иной раз на коней глядишь, а злость на людей берет: конская душа против человеческой лучше выходит! Может, и тебе надо было конем родиться да к хорошему хозяину угадать — вот тебе и жизнь?

К такому хозяину, как тот крутолучинский мужик Чаузов Степан. И очень просто. Этот коня сроду не обидит, напоит-накормит вовремя и ночью проведает, а стегнет когда кнутом под брюхо — так за дело. Зря — никогда. У такого любой скотине живется легко, он скотину сквозь видит и понимает. Самого себя так не понимает. Который раз и вовсе на себя незряче глядит. Но и тут другой мужик на зло сорвется и на скотине свою незадачу выместит, а с Чаузовым со Степаном этого не бывало.

Ей-богу, перед своими же конями бывало даже стыдно, хотя бы потому стыдно, что, на них двоих глядя, он всегда о третьем мечтал, недоволен был — почему третьего нет коня? Третью он кобылу завести мечтал, прикидывал, с кем бы она ходила в паре — с Рыжим либо с Серко?

Трехконный — это уже был в Крутых Луках мужик стоящий, широкий. С тремя-то конями уже и на заимки уходили, и по тракту извозом промышляли, уже жизнь начиналась с трех коней другая.

Сказать по правде, до трех коней он еще не дорос хозяйством, и денег у него не было таких на добрую кобылу — молодую, рабочую и на выезд годную, но он сам себе не очень-то любил признаваться, что тонкая у него кишка.

Он сам себе по-другому объяснял: с тремя конями, чтобы толком управиться, двух мужиков нужно. Ждать нужно, когда парнишки подрастут, и чтобы старший в школу бы не бегал, не терял бы время.

А сейчас, пока ребята малые, купить коня — это значит Клашку на другой же год в старухи загнать. Это так и есть — ей бы уже дома с ребятишками не сидеть, а на пашне в избушке жить, мужицкую работу работать вроде вдовы какой.

И Клашка об этом знала и помалкивала, когда он,

бывало, о кобыле речь заводил, а он Клашку кобылой этой который раз и припугивал: «Вот куплю, а тогда шкура-то у тебя на мослах тот же год натянется!» Он вроде шутил, а про себя знал: были бы деньги — купил бы кобылу, и пропала бы с Клашки ее гладь, а мослы верно что торчали бы из нее со всех сторон. Уж это как пить дать.

Удивительные у Степана были кони...

Их уже нет, месяц, как свел в колхоз, а зайдешь в конюшню — жизнь к тебе правдашняя тут же притронется, зараз напомнит, что мужиком ты родился и, что бы там ни случилось, мужиком тебе и помереть, никем больше.

А делать-то в конюшне вовсе нечего — разве что давить ногой остатний мерзлый конский катыш.

Вот и нынче стоял так-то, стоял, после подумал: куда бы пойти? К Фофану бы пойти сказать, чтобы Фофан за сеном нарядил... Вдруг да и угадал бы на своих конях — на Рыжем и на Сером — по колхозное сено за реку съездить?

А получилось по-другому: к Фофану не пошел и за сеном не поехал, а у себя же на ограде зашел в мастерскую.

Сказать, какая это мастерская — амбарушка перегороденная. В одной половине сбруя когда-то висела, которая и сейчас еще там весилась, кадушки стояли изпод капусты выпростанные, тесины сухие лежали, выдержанные на случай, чтобы всегда были под рукой. А другая половина амбарушки и называлась у него мастерской, и ключ от нее хранился отдельно от других ключей, чаще всего — при себе.

Там верстачишка был небольшой, с тисами, мех кузнечный, горн и наковальня, молотки были, точило доброе, еще отцовское, с Австро-Венгрии отцом после войны принесенное, ну а по стенке развешан инструмент столярный, шорный и для жестяной работы.

Еще на стенах мастерской этой нарисованы были углем значки разные и цифры выведены. Это запись всяким размерам велась. Чего тут не было только отмечено-отмерено: доньшки к ведрам, и подошвы к сапогам, и каблуки были нарисованы от Клашкиных шнуровых ботинок, и табуретки, и стулья, и полозья санные, и колеса самые разные.

Все эти предметы когда-то побывали здесь и отсюда ушли, а знаки об себе на стенах оставили.

Откуда она пошла, мастерская, с чего взялась — сразу и не скажешь. Бывало, приезжали в Крутые Луки мастера — портной либо шорник по выездной сбреу, жестянщик или коновал, — Степан сейчас к тому хозяину идет, у которого мастеровой на работу подрядился.

Приходит, на корточках садится. Цигарку за цигаркой скручивает, но и когда крутит — на свои руки глаз не опустит, а все на руки мастера глядит, оторваться боится. Все кажется, как раз в тот миг, как глазами-то своими в сторону поведешь, тот и сделает свой секрет, фокус какой-то. Не заметишь секрета — после сколько голову ни ломай — не отгадаешь, как сделано было.

У Клашки щи простынут, она их в печь, и обратно на шесток, и снова в печь, после Васятку за отцом пошлет, но толку от этого мало: они и вдвоем так же сидеть будут. На этот счет Васятка был отцом приученный.

Бабы над Клашкой который раз посмеивались: «Не приворожила, видать, мужика-то к дому!» Клашка злится. Однако и у нее есть чем пригрозить: «Подожди вот — придешь дырку на ведре залатать!» И верно, прохудилась жестяная посудина, либо баба зазевалась, когда белье полоскала на Иртыше, и валец у нее водой унесло — куда деваться? К Чаузовой Клавдии и бежит, а та уже Степану шепнет: «Сделай, Степа, одолжение человеку...»

И надо сделать. Чтобы Клашка поменьше ругалась, когда он инструмент какой новый купит. Этот инструмент — стамески, рубанки и еще сколько разных предметов — каждый имел свою историю, о каждом вспомнить можно было — когда, у кого и где куплен был, лишнее за него было плачено или дешевле цены, долго ли он его покупать собирался, приценивался либо с ходу взял, потому что глаза вдруг разгорелись. Что Клашка после покупки такой делала — ругалась или только чугунами сердито стучала, — тоже можно было вспомнить. Клашка все ж таки чаще ругалась, обзывала его ребенком, что и без игрушек обойтись не может, даром что сам двоих ребятишек народил... Который раз глаза обещалась выцарапать, но тут надо было помолчать. Какая она хозяйка, ежели ей все равно, куда мужик деньги подевал? За это не тронь. Не то она как раз пойдет и другим бабам о несправедливости, об обиде своей скажет. А это не дело. Это уже какая семья, какой

мужик, у которого баба на сторону бегаёт жаловаться? Хотя Квашка и не болтливая, но испытывать ее тоже ни к чему...

Вот так он и приживался, инструмент, к дому.

После к инструменту этому Степан свои рукоятки прилаживал. Фабричных и вообще чужих рукояток никак не терпел — неловкие они все были, не с руки ему. Со своей рукоятью инструмент делался вроде продолжением его пальцев, а глаза вострее как-то на работу глядели. Ломалось что в поле — валик либо постройка рвалась, а он их наскоро прилаживал и привязывал просто так, без инструмента — он тогда вроде полужрячим становился либо калеккой каким и ждал, не мог дожидаться, когда в мастерскую свою зайдет, когда возьмет в руки инструмент и сделает, как положено.

Бывали у него на инструмент обиды. Редко, но бывали. Это когда он о кобыле мечтал, о третьем коне.

Не купленные, так и оставшиеся в магазине сверла и наборы стамесок делались ему тогда вовсе добрыми и справедливыми, и вот свои, за которые деньги плачены, — эти лукавством оборачивались: как бы не они, может, и в самом деле копил на кобылу? Уже половина могла бы быть скоплена, а вдруг и того больше? Но тут один уже был исход: бери инструмент и начинай что-то ладить, а тогда и обида — прочь. Еще в таком случае хорошо было послушать, как на улице Квашка с бабами разговаривает: «Что это у тебя, соседка, каблук-то скобочился? Заставь ты своёго мужика либо новый сладить, либо энтот починить. Или он у тебя безрукий, мужик-то?»

Что и как делается, каким инструментом — в это Квашка не вникала, но если сделано было хорошо, так она видела, что хорошо, гладила новую вещь, которую Степан изладил, ровно ребенка, и будто ненароком каждому, кто в избу входил, ее показывала.

Нынче Степан уже сколько времени инструмента не касался. Приходил в мастерскую, глядел на него, сказать — так и любовался им, в руках держал, а работать не работал. Все думал: в суматохе в нынешней начнешь какое дело, да так его и не кончишь. Ну, а ежели ты конца дела не видишь, не болееешь, чтобы и хорошо и быстро сделать, то и начинать стоит ли?

Вот успокоится жизнь — тогда. Новая начнется.

Колхозная так колхозная, лишь бы успокоилась, а тогда он сразу подойник кончит. Начал уже, заготовку из оцинкованной, очень хорошей жести сделал, но получилось неладно как-то — донышко совсем кривое получилось, на один бок его повело. Он донышко это тот раз бросил и заготовку всю — и пошел в колхоз записываться.

С тех пор, сколько сюда заходил, донышко на полу лежало под верстаком, он его не поднимал.

А тут — поднял.

Край-то в одном месте был обрезан неровно. В этом месте он себя не узнал — вроде не его работа была.

Заложил ножницы одним кольцом в тиски. Другое кольцо в правую руку взял, а в левую — новой жести кусок с донышком нарисованным... Ну не промазать бы! И не промазал!

После в печурку дровишек подбросил, уместился так уютно на чурбаке, стал края у донышка отгибать.

А это еще надо поглядеть, чего ради он в мастерскую свою закрывался — хорошую вещь сладить, а может, который раз и хороший придумок...

Предметы, которые он изладил в мастерской, на стенах свои значки оставили, а вот какие складывались здесь придумки — те значками не обозначены. Жаль.

Ежели бы на каждой вещи было видать, что человек думал, когда ее ладил, — и вся жизнь человечья по-другому была бы делана. Тут бы предметы тоже поделились на добрые и на злые, и злые никто бы не брал ни на базаре, ни в магазине, разве что в полцены. А, к примеру, Егоркино зерно — ни одна собака бы исть не стала. Волей-неволей перестали бы люди пакостить.

Тут разное приходило ему в голову, в мастерской, а который раз кто из мужиков зайдет, на пороге потолкается, подымит и уйдет, придумки же свои тоже здесь оставит.

Последнее время с Митей-уполномоченным подолгу они тут сидели. Парнишка еще, но, может, поэтому с ним легко и говорилось, что парнишка. У взрослого за словами-то вдруг да и корысть, а у этого что может быть? Если даже и неверно скажет — все равно не для себя это у него. Сказать, так и дружба даже была между ними.

И пошла она вовсе с чудного случая, дружба эта.

Жил Митя уже недели две у Чаузовых, на сундуке в кухне ночевал, баульчик свой фанерный держал за сундуком, а сядет щи хлебать — на Клашку не глядит, глаза в сторону вортит.

Ну, ладно, это бы его дело, а тут Клашка один раз стиралась, за стол сесть опоздала. И только села — Митя глаза свои сразу в пол. И не поднимает. До того сидели они, о хозяйстве шел разговор, поскольку Митя на агронома учился, а тут срезало его — замолк.

А Клашка на Митю глядела-глядела, после ложку свою бросила и розовыми от стирки пальцами вцепилась в кудрявые Митины волосы. Серdito так сказала ему:

— Ты куда глядишь, уполномоченный? И что ты увидишь, где тёмно-то? Для чего тебе глаза дадены, спрашиваю, чтобы на свет их выставлять либо по темному шариться?

Митя вовсе краской занялся, вроде Клашкиных розовых рук сделался.

— На кого же мне смотреть прикажете, Клавдия Петровна? На вас, что ли?

— А хоть бы и на меня! — ответила ему Клашка. — Темная я, что ли! Или уже до того раскосая, что и глядеть на меня тошно?

Вот она, Клашка, какое сказала Мите, и тут он совершенно уже смешался.

Мало того что смешался Митя — что-то тот раз и Степан подумал: «Рассмотреться, так Митя и в самом деле парнишечка — куда с добром. Чистенький. Разговор городской. Приятный очень. Грамотный. Мужичким потом от его не пахнет...» И припомнил даже, что Клашка-то не в первый раз уполномоченного вот так по волосенкам кудрявым треплет, и еще стал вспоминать, какие прежде того слова были Клашкой ему сказаны...

Ладно, что не высказал тогда Клашке какого слова, что не догадалась она, об чем он задумался. Ладно, что не сказал — все про себя да про себя. Прошло еще сколько дней, ложились они спать, и вдруг Клашка спросила:

— Степа, ты не примечаешь ли, Васятка-то наш с тобой на уполномоченного Митю очень похожий? Только что не кудрявый?!

— Выдумываешь ты все, Клавдия. Откуда что берешь?!

— Ты не перечь. Матери виднее, как тебе: не с лица, говорю, похожий, а с души. Ласковый вроде, а когда и вовсе упрямый так же. И сидит-сидит, после задумается вдруг. Одинаково у их получается... Нет, ты мне не скажи, очень похожие они...

— Ну, а хотя бы? Что из того? Тебе-то, может, и ничто. А я с Мити глаз не спускаю — Васятку хочу угадать, какой Васятка будет... И Васятка-то к нему тянется, все на его глядит. Так пускай и он хорошее видит. На дурное-то успеет еще наглядеться.

Вот у нее, у Клашки, какая, оказывается, была забота!

И ты скажи, как раз с того самого дня, как эти свои заботы Клавдия объяснила, и у Степана с Митей тоже дружба завязалась. У них и прежде всегда уважительный шел разговор, серьезный, а после того Митя в мастерскую стал захаживать, и сидели они там немало времени. И Митя Степана слушал терпеливо, и Степан — Митю.

У Степана слова были всякий раз одни, могли бы и надоесть, оскомину уже набить.

— Мужик сеет-пашет, — Степан говорил ему, — скотину водит. Ребятишек родит. Но по тебе, Митя, это все не так. Не та у мужика жизнь — темная, земляная. И хочешь ты мужика нарушить. Раз и навсегда нарушить хочешь его. А не рано ли? Откудова ты знаешь, что пора для того настала? Поломать завсегда просто, а что заместо того выдумашь? Какую правильную жизнь? Чтобы человек и сытым был, и знал бы, зачем живет? Точно это тебе известно? Что мужика надо нарушить, а колхоз сладить? Дело тут без обмана? Без ошибки? Потому что, поймей в виду, мужик — он земле хозяин. Она ведь как сделала, Советская власть: не только что в Сибири — во всем государстве землю оставила за мужиком... Ей все одно, земле, какие тут слова, Митя, мы с тобой говорим... Ей дай хозяина, чтобы он ее пахал и миловал... Вот она, лежит минуточку под снегом, вроде мертвая. Скоро таять начнет. Отчего это? Ты скажешь: от солнца... А я скажу еще и другое: от дум от мужицких, от забот его.

— Вы детям своим желаете ли такой же жизни, как у вас? — спрашивал Митя.

Нет, не хотел этого Степан. Детям он хотел жизни лучшей. Тем более Митя говорил, какая она должна быть: справедливая вся, все будут грамотные, и машины

будут за мужика тяжелую работу делать... Но машинами далеко не каждый владеть может. Далек не каждый! Может — очень справный мужик, то есть кулак настоящий. А остальным — подаваться к такому в батраки, потому что на своем на Рыжем ли или на Сером за ним не угонишься. Тот и посеет больше, и убраться с хлебом быстрее управится, и в город свой хлеб повезет раньше тебя, дешевле его отдаст, цену собьет. Он тебя зажмет, машинный мужик. Кругом и накрепко! Выходит одно — машиной надо владеть всем сразу, то есть создать колхоз...

Сказать надо, метко ударял Митя-уполномоченный, хотя и мальчик. После еще говорил о комбайне: машина жать, и молотить, и веять будет. Комбайна Митя не видел сроду, и никто его не видел. Но как завод строят в Новосибирске, чтобы комбайны делать, это он видел своими глазами. Еще сказать, что и в газетке об том заводе не раз напечатано было — можно Мите поверить.

Время такое пошло — машинам вольная жизнь наступала. И опять же — за счет мужика.

Крутые Луки еще держались, из Крутых Лук, может, с десятков мужиков, не больше, в город подалось заводы строить, в леспромхозы — лес валить. А вот Панфилова деревня, да и Шадрино тоже — те за год-два чуть ли не ополовинились, землю там побросали мужики, избы свои заколотили тесинами — и двери и окна.

И вроде понять можно тех мужиков, а оправдать их нельзя...

А комбайн — тот очень Степана интересовал, вовсе близко к сердцу мечта западала: поработать бы на таком!

Когда Митя-уполномоченный о комбайне начинал говорить, Степан умолкал враз — боялся слово пропустить, не понять что-нибудь...

Клашка сказывала: видела нынче Митю в деревне. Приехал. Приехал, но в дом к Чаузовым не заходит что-то. Или стесняется, народу нынче много в доме стало, мешать он будет? Так зашел бы за баульчиком за своим, баульчик лежит за печкой, хозяина ждет... В мастерскую зашел бы...

А вот носок у подоюника отогнуть — это самое, надо сказать, серьезное дело, тонкая работа... После еще ободок по нему изладить, вовсе ровный, чтобы от фабрич-

ной работы отличить было невозможно, а тогда ты, значит, мастер.

Еще не все было сделано, но уже чудилось: упрекать себя не придется, все, как надо, так и получится.

Щепки в печке железной потрескивали, тепло стало в мастерской до того, что и без полушубка пот со лба на железо закапал. Железо было доброе, оцинкованное, чисто серебро искрилось. Пот, капелька, упадет на него и этак даже звякнет — дз-зинь! — тоненько.

Вдруг дверь открылась — Печура Павел.

— Откудова взялся? — спросил Степан. — Мы уже и забыли, какой у нас председатель колхозу!

— Ну вот, ко времени, значит, пришел — об себе напомнить. Погляди, какой он есть, твой начальник!

А глядеть-то и не на что вовсе: он всегда-то был таловый мужичонка, Печура, — длинный, тощий, а нынче еще обшерстился по самые уши, вроде худобу свою хотел прикрыть, но ее не прикроешь — с одного места нос торчит хрящом, с другого — скулы выпирают, и зубы торчат тоже, редкие, клыкастые, как начнет говорить — они наружу суются. Руки — едва ли не по колено и туда-сюда болтаются. Но и то сказать, нелегкая это работа нынче — председателем ходить. Хотя и до кого доведись, тоже мослы торчать станут скоро.

Пришел Печура узнать про все. Как амбар тушили, как избу Ударцева рушили, как следователь Степана допрашивал.

Пришел узнать все это не от кого-нибудь — от баб либо от Егорки Гилева и даже от Фофана Ягодки он уже обо всем этом знает, — а еще хочет узнать от Чаузова Степана. Не то чтобы они дружки, вовсе нет, но разговор между ними всегда бывал серьезный, хороший. И сейчас на такой разговор надеялся Павел.

Только нынче Степану все дела эти до печенок дошли, страсть осточертели.

Павел туда-сюда, все в одну сторону метил, расспрашивал, а Степан помалкивал. После сам у Печуры спросил:

— Ну как ты там, в городе? Доклады все постигаешь либо уже сам научился перед народом выставляться?

— Во-во-во! — вроде обрадовался Печура. — Сказать, так я передовой самый председатель считаюсь!

— Как же достиг-то?

— Просто. Что нам говорят в районе — я днем ли, ночью повторить могу наизусть и в действительности на сколь разов людям повторяю, довольные остаются. Говорят: сознательный председатель, все как надо понимает.

— Ну, а что же ты все ж таки понял-то?

— Без колхозу, Степа, жизни все одно не будет.

— Не будет?!

— Никогда, Степа. Обратного хода нету.

— И долго вы об этом будете говорить? Об одном и об том же?

— До весны. До самого, сказать, посеvu. Я сперва, как, может, и ты, думал: деревенское это дело — колхозы. Но не так выходит. Выходит, и в городе этим занимаются. Ну, зачем пахать-сеять, тогда уже, конечно, сами по себе станем. Может, и вызовут на заседание в месяц, а то и во все лето раз. А в остальном — не им же судить, в какую землю и кого нам сеять, каких коней в плуги запрягать, а которых — в бороны! На то у нас хотя бы и Фофан есть Ягодка, чтобы правильно в хозяйстве рассудить. И другие. Вот и твой, Степа, взять совет во внимание — разве грех? Это вовсе не надо глядеть, будто ты молодой... Я уже и не чаю всей этой посевной кампании, во сне ее вижу...

— Ну, глядеть — так мое дело десятое. Это тебе распоряжаться, а мне сполнять, и весь тут закон. Все! — Постучал Степан молотком по железу подольше, подождал, покуда Печура Павел головой, мохнатым кочаном своим покачал, упрекнул кого-то.

Когда стучать перестал, Печура и в самом деле упрекнул:

— Во-во-во! Умный ты, Степа, а сказать, так и дурной! До весны-то, до посеvu, все слова уже будут высказанные, а тогда мне с председателева места и уходить в самый раз. Уходить, коли я крутолучинским свой, а не враг. А какой же с меня враг — сроду нет! Я дело исделал — созвал народ в колхоз. Сам знаешь, день и ночь по избам уговаривал всячески. Год который пройдет, колхоз на ногах начнет жить, меня тоже не забудут как первого самого агитатора нынешних, еще темных масс. А забудут — я обратно не в обиде, пушай бы только люди оправдали подход к новой жизни. Я, Степа, не обидчивый на людей — сроду нет.

Степан вовсе перестал стучать, положил молоток на верстак. Спросил:

— Это ты, значит, сам об себе рассудил?

— А кто же, как не сам? У меня понятиев много, Степа, и совесть есть — силов нету... Вот пашня пойдет, у которого колхозника плуг вкось зайдет, я ведь у такого плуг-то не вырву, не показать мне, как борозду-то прогнать по ниточке. Это тебе запросто. Ну, а ежели и поломка случилась — опять же тебе раз глянуть да раз — руку протянуть, а мне? Мне, гляди, делов на неделю.

— Ну, сказать тебе, Павло, оно так и есть. Правильно ты об себе говоришь. Фофан-то Ягодка, как ступил в колхоз, — с того самого дня он и есть правдашный председатель, а не ты.

— Фофан, Степа, тоже негодный для этого. Насовсем — негодный.

— Фофан? Ягодка? И негодный!

— Нисколько даже. Кроме как на первый случай. Не более того. И опять же добрый он слишком, Фофан.

— Ты, Павло, вконец заговорился в городу-то. Вот как!

— И ничуть. Он ведь, Фофан-то, правда что, ежели поутру споткнется где об ягоду — то после цельный день об ей думать уже будет. Мало того, и прибежит еще к ей помилиться разов десять на тот же день, не менее.

— Значит, коли пристрастен, то плохо? И добрый — обратно плохо?

— Который раз — очень даже. Он, Фофан, все бы уговаривать. А где заставить — там его нету. Я по себе знаю — век добрым был, ну и что? Какой из меня хозяин? Какого там я добра-то нажил? Только что и толку — дожил до перелому к новой жизни. Дождался. А то бы и не знал, зачем жил, чего делал. А тут не об моем добре идет — об добре общем. Тут хозяин нужен вовсе правильный!

— Один тебе злой, другой добрый очень. Хозяин-то...

— Правда что. Очень к этому к колхозу, мерку надо подбирать хитрую. На мужика мерка прежде немерянная, но и другой нынче у нас нету — по ней находить надо человека.

— В городе поищи. Там на любой, сказать, аршин, на любую метру.

— Придется, Степан. Своих не найдем, то придется.

Только я считаю: найдем одного! Крутолучинского. Вот тебя и найдем, Степа. И определим!

Степан по железу снова постучал дробно. Громко получилось, вроде колокольного звона на пасху.

— Слышал? Вот так я тебе, Павел, и скажу: мне в звонари идти и то сподручнее.

А на Печуре звон этот как за упокой отозвался, он долгое время молча стоял, руки сложил на груди, вроде перед покойником. После к Степану вплотную подошел, в лицо ему задышал:

— Не до смеха, Степа. И обратно скажу: вовсе не до смеха. Ты понятие за колхоз имей, ты почувь, голова-то на тебе — не за себя только ее носить, а и за других тоже. Ты не об том сейчас думай: хорошо ли это либо плохо — колхоз, а об том, как в ем лучше исделать, в колхозе. Он есть уже, и он будет, ни ты, ни я от его не уйдем. Я по совести с тобой, Степа, и ты единого слова во мне не найдешь, чтобы не по совести было. Я тебя, Степа, уважаю очень, хотя ты и вовсе против меня молодой, а завсегда я думал, что таких мужиков поболее в государстве, как ты, — и мы любому капиталу, сколь хотят, столь наперед очков и дадим!

— Ты покуда тут совестишься, меня, гляди-ка, следователь уже и засудит.

— Во-во-во! Дурной ты, Степа, хотя и умный. Сказывали мне: следователю доказывать взялся! Он тебе подсказку не дает ли, как отвечать? Дает, поди-ка, а ты свое гнешь. А ты соглашайся, Степа. Говорит он: «Виноватый!» — ты враз и соглашайся, повторяй за им: «Только в этом и виноватый, а более — ни в чем!» Да кто нонче не виноватый? Колхозником-то чистеньким никто покамест еще не родился, а все его требуют, всем его подай. Не подал — вот и виноватый! Тут бы перешагнуть скорее через период времени, до весны, сказать, когда сеять будет дело, а не между собой царапаться, а дальше и пойдем, и пойдем, и пойдем — до самой до счастливой жизни!.. Вот как ты рассуждай! Как человек, для колхозу очень нужный. На тебя же другие глядят, и не просто глаза пялют — ждут от Чаузова правдашной работы, думают: раз Чаузов в колхозе — этот ворочать будет... Он будет, и я за им. Ведь пуще всего боятся — никто не потянет наперед, каждый думает: мне не боле других надо, хребтину-то свою до времени на печи поберегу. А об Чаузове об Степане такого в мыслях нет ни у кого. И не может быть.

Степан промолчал. Печура же поболтал длинными своими руками, спросил:

— А может, ты уже и понимаешь про это, Степа? А?

— По мне, этот придумок вовсе зря.

— Зря ли? Мне говорили: пожар-то был, ты наперед всех пошел в огонь.

— Ну и что? Я и на Ямки вперед всех бегал. Не от ума же это — скорее с дурасти.

— Не скажи. Не скажи, Степа. Твоя бы изба горела — ты бы ребятишек вытащил, еще какое добро, а потом и в сторонку отошел бы. Пожалел бы себя за лопотину, за бабьи ухваты тратить. Один бы горел — один добро свое спасал, один бы и сам спасался. А тут общее зерно горело, и ты, наперед кинувшись, того не забыл, что не один ты, что за тобой и другие в огонь-то полезут. И ведь верно, полезли ведь...

Подумал Степан. Вспомнил, как было дело на пожаре. И как в избе Ударцева Александра было. И как он себя после упрекал, что дурнее его не нашлось везде наперед лезть.

— Кто его знает, Павло... Ходишь по земле-то — аршин при себе не носишь, чтобы как шагнул, так и смерял. А то сказать — как смерял, так и шагнул бы.

— Верно — аршин такой никем еще не выдуманый. А сказать — так и сроду никто из людей до такого не додумается. Но и без ума жить — тоже негодно. И за тебя я боюсь, Степа, шибко боюсь, как бы ты, умный, без ума чего не выдумал... Фофана-то Ягодку я вот уже в город заместо себя услал — пускай посидит, доклады послушает... Ему в пользу. Он, Фофан-то, умный и хозяин, особенно взять в саду — куда с добром, а случись какая политика — он ту же минуту ровно ребенок замешкается. Спросят его — почему батрака в третьем годе нанимал — и замешкается ответить!

— И, значит, ты его от греха — в город? Гляжу я, Павло, на тебя — ты и в самом деле прошел курсá на председателя!

— Высокие, Степа, прошел я курсá... Я ведь не только как мне говорят, так и слушаю — я еще и гляжу кругом-то себя глазами. Зорко гляжу. И как бы Юрист этот не взял тебя уже под следствие — я бы и тебя тоже на какой период времени из Крутых Лук нарядил бы подальше.

— Обратно — в город?

— Не-ет... Доклады слушать — это, прямо сказать,

Степа, — тебе не по силám. Вовсе нет. Я бы тебя, да вот еще Нечая Хромого — в лес нарядил. Лес чтобы вы рубили под новую-то колхозную конюшню.

— А хозяин ты верно что таловый, Павло... Тут дорога бы потаяла, и мы бы в лесу, двое мужиков здоровых, до самого до тепла с боку на бок кантовались бы.

— И хорошо бы, Степа! И очень аккуратно получилось бы! Той порой Клавдия твоя с Ольгой вдвоем пожили бы, а ты бы, хозяин, и знать об этом вовсе ничего не знал. И Ю-рист тебя не спрашивал бы. И никто тобой не интересовался бы до самого до посева. Это ли не аккуратно?! И Нечай рубил тоже лесины и поменее бы в конторе разговаривал. Аккуратно!

Опять поболтал длинными своими руками Павел Печура. Руки у него длинные, тонкие, не крестьянские вроде руки — не ухватистые. Переселенцами были еще его дед и бабка с Белоруссии, и все они от земли, Печуры, а вот скажи, не земляной он человек, Павел, не на крестьянскую колодку деланный. Где другому на день работы — Печура верно что три с утра до ночи пластается, а толку — чуть. Над ним и не смеялся никто в деревне, только когда пошел он по дворам за колхоз агитировать, тогда засмеялись: «Печура-то хитрый, шельма, оказался — ему с его руками да с ухваткой как раз чтобы другие робили!» И получился из него агитатор наоборот. А потом вот как было: председателей со всех деревень в город каждый божий день стали вызывать, когда и неделю не выпускали их из города, от бани до бани... Завыли председатели, и в которых деревнях мужики в колхоз согласны, а председателем никто не хочет. Один из Панфиловой деревни бросил печать колхозную и убежал невесть куда, как тот поджигатель Ударцев Александра. И то сказать, какой это мужик, что и дома не живет, а все только доклады в городе слушает? Ведь этак свой двор начисто разоришь и колхоз весь тоже запросто — после людям в глаза не посмотришь. С докладов хлебушко не родится. А Печура Павел тутто и вызвался добровольно на председателя и действительно из города не вылезал, доклады слушал и до весны сидеть и слушать обещался безропотно. Терпеливо долю свою нес, а ведь у него, у вдовца, ребятишек двое было — мальчонка и девчонка.

Любил же он ребятишек своих — это пуще, чем дру-

гая баба любит, а вот скажи, сидел за весь колхоз в городе, домой не заявлялся.

Ребятишки его измаялись окончательно. Телка им кормить нечем, самим жевать нечего, в школу сбегать не в чем. Какое там в школу — на двор выскочить, так они сперва печурку растопят да ноги накалят, покуда кожа терпит, — после уже с горячими-то ногами им и на снегу полегче.

А еще нашлись злыдни — стучались им по ночам в окошки, грозились малуху завалить, пугали детишек.

Ладно уже бабы восстали, объявили, коли заметят этих пугал, то будут судить их своим бабьим судом и для начала глаза выцарапают, а ребятишек печуровских, хотя и худо и бедно, стали прикармливать.

Нет, не было в Печуре в Павле корысти. Не было вот ни на столько! Прислонился он к верстаку, голову опустил. Видать, по привычке: в малухе своей привык гнуться, ну и приходил куда в помещение — опять же сгибался, хотя бы до потолка рукой не достать было. Стоял, молчал, на Степана глядел. Неловко становилось — на ребятенков так-то смотрят, да и то на сопливых. Видать было, что-то еще хотел сказать Печура. Долгое время собирался. После заговорил:

— Мечтаю я, Степа, об крутолучинском колхозе и днем и во сне, непрестанно. Мечтаю еще так: чтобы ты был за председателя, Фофан — хозяйством бы заведовал, а я — партийными делами всеми. Я бы через партийный взгляд, через бо-ольшую идею всех вас усматривал бы...

— Ты гляди, усмотритель какой! И для чего же это тебе нужно?

— А это не мне, Степа, нужно. Это тебе нужно. Я бы через год, разве только чуть поболее того — тебе бы уже и партийную рекомендацию писал. Для вступления.

— Рассудил! Просто как!

— Не просто, Степа... Сделать этакое с тобой вовсе не просто. Но — ясно как.

— А как же это?

— Да делать в колхозе все правильно. Все по справедливости. И тебя на ту же справедливость наталкивать. А тогда через год ты тепленький будешь партеец. Ну, если не полный, так кандидат — обязательно... Вот какая у меня мечта... А теперь спрошу я, Степа: верно

ли, что следовательно-то об Ольге Ударцевой у тебя выспрашивал — почто она у тебя в доме оказалась?

— Было...

— Может, и правда, куда бы ее в другой дом. Сродственники же у ее в Крутых Луках живые?

— Об этом разговору между нами нету, Печура. Как все случилось — обратно не повернешь.

— Степа, — сказал снова Печура тихо, шепотом даже, — Степа, я вот ребятишек рѳдных не жалею. Рѳдных ведь. — И еще раз повторил: — Рѳдных.

— Ты вот нонче мне же обо мне объяснял, Печура. Было? Объяснял, какой мужик Чаузов Степан?

— Это конечно. Не завсегда человеку самого себя запросто видать.

— А того не поймешь — что другому, может, и можно, то мне нельзя?

Ушел Печура Павел незаметно как-то, после уже снова просунул в мастерскую непокрытую кудлатую голову.

— Ты подумай, Степа...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Вторник только еще, а ребятишки Ольгины уже все прижились к чужому дому. Старшая девчонка и та попривыкла. Балуются. Другой раз приходится и шумнуть на них, словно ты им отец родной. И Клашка на них нет-нет тоже шумнет, и ее они слушаются, а меньше всего им забот, что мать говорит.

Ольга с Клашкой любую работу в четыре руки делают, да еще им девчонка помогает.

Ольга как обещала на санках привезти муки куль да картошек два — так и привезла. Привезла и все, видать, собиралась Степану сама, не через Клашку, объяснить об себе, что до теплой дороги думает жить, что к родственникам своим в Крутых Луках нельзя ей идти. Видать, слышала и она, что следовательно Степана об ней допрашивал.

А какой между ними может быть разговор?

Сказать правду — надо ей хоть куда, а деваться вон из чаузовской избы.

Ну, а ежели ей об этом не скажешь — так лучше не говорить с ней ни о чем. И молчал Степан, и Ольга тоже молчала.

Статная баба Ольга, белая, глазищами вокруг себя водит медленно и вроде все-то понимает, а еще на нее поглядеть — будто она морозом за душу прихваченная: не вскрикнет, не поторопится, против Клашки так и неживая вовсе.

И почто она за шелудивого мужичонку пошла, за Ударцева Лександру! И как он бросил такую и ребятишек, будто щенят, чужому подкинул?

Какая же это жизнь была в том доме ударцевском, который под яр спихнули?

Все думы да вопросы. А надо было бы подойник окончательно довести до дела. Невеликая работа, а начатая, бросить ее нельзя. И после завтрака сразу Степан направился в мастерскую, но тут мимо двора прошел улицей Нечай Хромой и крикнул через прясло:

— По сено, Степа, нонче наряжают колхозничков. Давай, Степа, по сено...

— Постой, Нечай! — крикнул вслед ему Степан. — В избу забегу, велю бабе краюшку какую завернуть, и подадимся вместе! Постой!

Нечай, покуда мимо прясла ковылял, цельный доклад сказал:

— А за постой, Степа, только вон сторожу в сельпе платют, да солдатам ихняя пайка идет, покуда они столбами стоят. Коли хошь — беги со мной, поделимся напополам моим куском.

Степан в сенки забежал, сорвал с гвоздя тулуп, веревку взял подпоясаться, крикнул Клашке, чтоб не ждала скоро, а еще вилы-тройчатки захватил. Догнал Нечая, сказал, запыхавшись:

— Допрежь — как человек: коня запрягешь, бывало, после в сани бросишь, что надо, понужнул и поехал. А нонче все наоборот — сперва на двор колхозный со всем припасом беги, после запрягать. До того чудно — в ум не возьмешь!

И верно, шибко неловко было идти: в тулупе не бежишь, он за спину через плечо закинутый и с плеча падает, ты его рукой обратно да обратно, другая рука — вилы тащит, а еще по тебе веревка болтается, вроде на кобелишке каком худом. Хозяин с кобелишки шкуру наладился обдирать, а тот едва живой вырвался и с веревкой на шее по деревне тягу дает. Понять нельзя, кто ты есть — мужик ли, или погорелец какой, или, еще сказать, беженец окончательный с самой России прибежал? А ведь привыкать этак-то надо — на колхозный

двор со всей своей сбруей и с припасом каждое утро пороть...

Из которых окошек бабы выглядывают либо с коромыслами по улице идут — глаза в сторону воротят, будто не замечают тебя. Правда что срамота! Но и то сказать, мужики-то при чем? Сами, что ли, выдумали этак вот по деревне в сбруе бегать?

Нечай молчал, и Степан его спросил:

— Обрато на колхоз будешь лаяться? — Очень ему хотелось, чтобы Нечай слово какое покрепче высказал.

А Нечай дух перевел и ответил:

— А на его хочь весь излайся, на колхоз, — все одно тебе в ём жить и кусок с его зарабливать. Вот как.

— Это тебя кто же научил? Нешто Фофан?

— А тебя кто? Нешто Ю-рист?

— Меня — никто.

— То-то ты со мной в паре хлещешь, вроде настеганный.

Еще пробежали сколько, Нечай снова сказал:

— Вчерашний цельный день слушал, как ты все по железу-то звяк да звяк. Чего ладишь?

— Бабе подойник. А что, скажи, тебе-то?

— Как это что? Лед-то вот-вот тронется, а сено-то за рекой! А ты все бряк да бряк — и заботы тебе другой нету.

— На то есть Фофан, чтобы нарядить за сеном...

— Ну, ежели мужик Степа Чаузов без наряда не смекнет, что нонче делать надобно, тогда, правда что, весь крутолучинский колхоз седни же в могилу закопать, и в самый раз получится!

И этот на Чаузова Степана тоже кивает! Что Печура Павел, что Нечай Хромой — одного нашли ответчика за крутолучинский колхоз!

Еще другие мужики, увидев Нечая со Степаном, вслед за ними таким же манером побежали.

Конюха же на колхозном дворе никого к коням не пускали — встали двое поперек ворот, и у каждого кнут в руке, а из конюшни другие двое уже захомутанных коней выводят и кому повод в руку сунут — тот уже не имеет права от коня этого отказываться, идет и запрягает в сани. Сани длинным рядом повдоль прясла выстроены и какие с краю оказались — в те и запрягай без разговору. Запряг, отвел в сторону, после того начинай все снова — договорились, что каждый на трех поедет.

Ну, которые мужики все ж таки надежды не потеряли хотя бы и в чужих санях, да на своих бывших конях съездить — водят коней в поводу, кричат, что меняются. Базар так базар. Место тесное, кони ржут, мужики лаются.

И — по-разному лаются, коней всячески обзывают и хают, и каждый при этом свой собственный лад желает показать.

— У-у-у, гадюка бесхвостая!

— Ко мне лешак чей-то угадал толстомордый — наибольший хомут и тот до зенок достает, далее — не лезет.

— У меня другой край: не конь, одна задница. Холку шшупаю-шшупаю — не найду! Впору седелку за хвост цеплять.

— Так вы, ребята, сложитесь — кольхоз и получится! Хомут есть на што надеть, зад тоже есть, чтоб кнуром полоскать, а насчет середки в кольхозе разве заботятся? Средкой, от уж год минул, как никто не интересуется!

— Эй, мужики! Правую переднюю гнедой масти никто не подобрал? Меринишка чей-то потерял, после того мне на трех достался!

Однако запрягли таким манером все, одному только чересседельника не хватило, так Степан веревку свою, которую подпоясаться взял из дому, отдал. Веревка за-место чересседельника как раз и пришлась, ни рубить ее, ни надвязывать не надо. Поматерились еще сколько и поехали.

Степану Егорки Гилева кобылешка угадала, а других два коня позади у него было, тех даже и не признал чьи. Не стал разглядывать, а то как раз начнешь своих Серого с Рыжим искать.

Когда ехали улицей, один дорогу ему уступил и другой, поглядел Степан — и уже впереди всех едет. Ну, ладно, коли так.

Встал в рост. Тулуп сбросил, в полушубке остался. Шапку покрепче надвинул и воротник поднял. Ногами ловчее к саням приладился, одну ногу вперед, другую чуть назад и обе — малость совсем в коленях — согнул, вроде бы на пружины стал. Попробовал — крепко стоит, надежно.

Два пальца в рот заложил, духу набрался — свистнул, как следует быть. Кобылешка гилевская сжалась

вся, после рванулась, он ее еще два раза кнутом пожарче вытянул. Рукавицу только успел на руку надеть — и тут вот он, взвоз к реке. Взвоз этот Ивановским взвозом вовсе зря и назывался: он крутой был очень, и по нему только вниз ездили, а вверх да с грузом совсем другим поднимались местом, от деревни в сторону, зато удобное было то место, пологое. По Иртышу выше.

Кобылешка наметом шла, задними копытами по передку саней хлестала, который раз от саней и щепки летели, но и то сказать — и на своих конях так-то приходилось тут ездить, и от своих саней тоже, бывало, щепка летела.

По этому месту вниз да на простых — иначе крутолучинские сроду не ездили; про того мужика, который здесь шагом спускался, говорили, что он коней боится. Здесь «тпру!» не кричали.

Поворот был там впереди еще один на спуске, очень вредный поворот... На своем бы Сером либо Рыжем Степану его минуть — раз плюнуть, а эта кобылешка, язвие ее, чего доброго, испугается, на дыбки перед обрывом надумает встать, а тогда задние кони навалятся, и это уже точно — все внизу будут... Чтобы кобылешка такого не надумала, Степан ее еще раз кнутом вытянул и гикнул погромчее, и она уши прижала и уже вовсе пособачьи скокнула...

Вниз с обрыва снег посыпался, и с дороги ошметки полетели, воротник ими тоже зараз набился до отказа, но теперь Степан уже и назад поглядывал — как там, не сорвался ли кто под кручу? Но это уже известно — первый проехал, а другие кони идут по следу, только их не дергай, не понужай. И мужики не дергали и не понужали, а, завернувшись в тулупы, лежали в санях, их там, ровно мешки какие, из стороны в сторону подбрасывало.

По льду, по ровной дороге, тихо-мирно поехали.

Уже с другой стороны Иртыша Степан назад глянул. Всех своих надо было обождать, чтобы не врозь, а гужом дальше, в глубь острова, к стогам тронуться.

Подводы растянулись чуть что не от берега до берега, и задние торопились, догоняли передних.

А вот версты, видать, за три выше по Иртышу обоз с сеном уже шел в обратную сторону. Вот на тот обоз Степан как глянул, так и глаз оторвать не мог.

Там калманские со своих лугов уже возвращались груженные. Калман — село от Крутых Лук считается двенадцать верст, но то считалось только, а верных пятнадцать было, грань же и на высоком берегу, и на лугах была с ними общая. Луговая грань вовсе была у крутолучинских под носом, только драться там было неловко с калманскими: снег на лугах лежал — не разбежишься. Драться бегали на Лисьи Ямки, на суходол.

Нынче калманские везли сено со своего дальнего участка, и как везли: подвод, может, пятьдесят, того больше, одна за другой шли, и даже вроде бы скрип от них сюда слышался...

Такие обозы с новобранцами и то сроду не собирались.

Далеко, а видать, как вблизи, только что кони все кажутся в одну масть, и росту все одинакового, и головами трясут — тоже как одна... Воза — вот они, легко сказать, который больше, который меньше, саней только не видать под ними, лошади будто прямо по снегу по гладкому, с ледяной искрой, возы эти волокут.

Мужиков не сразу видно, они на возах распластались, наверху, и, должно быть, в небо глядят, глазами-то наперед в таком обозе глядеть незачем, а вот на одном возу посерединке обоза, ты скажи, умостились сразу трое, а один так все время руками машет, ровно жук лапками. А догадаться можно — это один доказывает, а двое слушают. Может, там свой Нечай либо свой Фофан о колхозе доказывает. И даже сомнений нет, что так оно и есть. Этак вот по всей Сибири сейчас мужики колхозные перед ледоходом свое еще единоличное сено из-за рек с лугов спешат увезти, и вот так же спорят, и вот так же на возах лежат, в небо глядят либо, в сено уткнувшись, думают...

Об чем думают — ясно.

Однако они, калманцы, сегодня рано управились за сеном съездить — как при единоличной жизни. А обоз силен, велик у них обоз, верно, что глаз от такого не оторвешь.

Они, калманские, далеко не каждый год на свои луга дорогу топтали, крутолучинской пользовались. Через тот пологий спуск и ездили по сено, от Крутолучья верстах в трех по Иртышу. Крюк у них выходил верст семь, может, и десять, но и то сказать, взвоз был удоб-

ный, и дорога там всегда была куда лучше накатана: крутолучинские по ней не только по сено, а еще и по дрова всю зиму ездил в бор, за реку.

Разминулись нынче обозами, а то как тут рассудили бы, кому в снег с дороги свертывать. Крутолучинским? Так они хозяева, по своей дороге едут. Калманским? Они груженые. Тут бы слово за слово начали, а уже чем бы кончили — это господу самому богу неизвестно.

И как ехал Степан Чаузов на передней, то как раз с него обратно же все должно было начаться и получиться.

А нынче вот как — те едут и эти едут, никто никому не перечит.

Правда, когда все свои до кучи на берегу луговом собрались, кто-то догадку высказал: может, дескать, калманские стожок с крутолучинских покосов прихватили и едут, надсмехаются? Может, на двух резвых быстренько сбегать, следы на снегу проверить, а всем ждать покуда здесь, на берегу. На тот случай ждать, если калманских догнать придется, сено у них отнять и морды всем подряд хорошо разукрасить?

А еще кто-то высказался, что и ждать нечего, и следы глядеть незачем: время не теряя, догнать калманских, возов с пяток крайних с заду у них отбить, и — квиты...

Когда стали слушать, кто же это говорит, — это Ероха Тепляков оказался, мужик вовсе смиренный, сроду не драчливый и щуплый вовсе.

У него спросили, что это он вдруг. Ероха вздохнул:

— Так ить, мужики, у их колхоз и у нас колхоз, может, в остатный раз по старому обычаю только и почитаться?..

А ведь, помимо всего прочего, он, Ероха этот, всегда душой за колхоз стоял.

Все ж таки вспоминать стали, кто кому в последний раз вред изладил и чья нынче очередь? Ежели очередь калманских, так они случай такой вряд ли пропустят: ордой едут, народом, и себя в силе чувствуют.

Вспоминали-вспоминали и, скажи ты, не вспомнили: жизнь нынешняя которые дела вовсе от памяти отшибла.

А Степан сказал, что навряд ли все ж таки калманские хотя и ордой, а с крутолучинским сеном и по кру-

толучинской же дороге поехали бы. Навряд ли. Они бы тогда напрямик подались, не поглядели бы, что прямая дорога мало топтана. Они бы ее, дорогу, покуда туда на простых ехали, запросто своим обозом протопали бы.

Ну, как сказал это — не стали больше вспоминать, кто кому обязан, путем дальше тронулись...

Тронулись, а Степан стал думать о калманских мужиках. Деревня Калман — куда беднее Крутых Лук, калманские мужики новоселов со всей России принимали, а народ, скажи, там дружнее. И с колхозом той волынки нету, как в Крутых Луках.

Проехали неподалеку от грани — верно, калманских около крутолучинских стожков и близко не было. И то рассудить: какая это задача всем обозом стожок либо два увезти? Похвастаться вовсе нечем. И опять же — перед кем? Всей же деревней тут были!

Ну и ладно, что калманских не тронули.

Как это получается: собираться всем ехать — коней разбирать да запрягать — правда что одна маета, а уже поехали да взялись работать — сроду каждый по отдельности того бы не сделал, как все вместе делают!

Рассудили, кому в какой конец острова ехать, и к каждому стожку строем-вчетвером приступали. Это удивление просто, как на четырех-то вилах стожок тает! Одни в розвальни мечут, а другой уже по снегу к следующему стожку тропку топчет... Кони вовсе недовольные оставались: только к стожку приладится пожевать, а у него уже из-под носа сено вилами выхватывают, супонь снова затягивают и чересседельник — пошел, милай, дальше!

Ну, по снегу от стожка к стожку коней с сеном гонять правда что несподручно, так стали воза выводить на дорогу, а там уже кони по уши в сено залазили — им даже удобнее получалось, не то что из плотного, лежащего стожка брать. На простых же все дальше ехали и дальше, к самым крайним покосам... Спорили, друг другу доказывали, где ближе к тем дальним стожкам и на какой воз сколько положить, чтобы побольше взять и коня не замаять, и кто ловчее бастрик затянет, интересно было, а уже метали на воза — от каждого пар валлил вроде из бани, с полка только что будто бы слезли. Тут Степану было вовсе по душе.

Стожки самые крайние, которые в кустах были поставлены, сильно забуранило, они не то что по колено — по самый пуп в снегу стояли. И маковка тоже вся снегом завалена.

А лопат-то на четверых была одна. Хотя снег и плотный и на вилах держится, а все ж таки брать его вилами можно с грехом, где возьмешь, а где кусок и рассыплется.

Так Степан что удумал: опетляли стожок вожжами поверху, за концы потянули — бж-жик! — снег с макушки, как ножом подрезанный, шанежкой сполз.

А сено в эту пору, перед весной, ужасно бывает пахучее. Как будто бабы его на праздник вместе со сдобным в печках пекли.

Очень ядовитое сено, сам бы ел, а не скотину кормил. Нечай Хромой так и сказал, что брюхо у него этого сена просит, ворчит, будто кот на сметану, а в рот брал — не жуется.

— Это же господь бог оплошку дал: сено косить человека научил, а жевать — нет, не научил! — печалился Нечай, а изо рта торчала у него зеленая еще, совсем свежая былинка. — И вовсе напрасно: это какая была бы мужику-крестьянину польза — умом не представить, когда бы он сеном умел питаться?!

— Не горюй, дядя Нечай, может, еще и научишься! — Успокоили его...

Они стог на воза сметали и надумали закурить, вилы в снег поставили, Нечай же все не закуривал, все с былинкой баловался. После былинкой плюнул, за кисетом полез и еще сказал:

— А вот, мужики, в африканских государствах, в тех зимы вовсе нету. Хотя на крещение, хотя на масленку — все одно лето и лето...

Ероху Теплякова эта весть задела, он вздохнул, подумал и сказал:

— Ну, нет, у нас в Сибири куда-ы справедливее сделано: лето есть и зима вот есть, как положено. И ничего — идет покудова жизнь. А подумать, какая это жизнь у африканских мужиков, ежели круглый год страда и страда?!

На это Ерохе никто не ответил, а Нечай все еще беседе вел:

— С двух концов жизнь к человеку подступает: от брюха и от головы... Вот пойдет по земле овсюг, коровенки без сена останутся, ребятишки без молока, и тут

брюхо у начальства заговорит, скажет ему: «Ты, дорогой мой начальник, спросил бы все ж таки у мужика: как так получилось? Почему? Как это пахать-сеять надо, как хозяйство вести, чтобы без хлебушка не насидеться и без молочка для ребятишек?» И по-другому подумать: ежели человек сроду будет сыт, одет, обут, забот не будет, как хлебушко делается, — откуда мысли в голове такой зародятся? Об чем? Разве такие будут, от сытости напридуманные, что их ввек руками не сшибешь?!

Ну, с Нечаем не спорили нынче и даже не очень его слушали — с пожаром с этим от работы, видать, отбились, истомились по ней и нынче покурить-то друг дружке не давали, торопились будто нахлестанные.

И Нечай торопился, и тоже едва ли не больше других; сигарку свернул, а курить не стал, так незажженную обратно в кисет и кинул. Загадки бросил свои. Работа слов не любит. Она — всем загадкам ответ.

Нечай-то хромой-хромой, а тройчатку в стог воткнет да через короткую свою ногу, через коленку на черенок надавит, так навильник-то у него — добрая копна. Он ее над головой над самой низко несет, будто на плечах, после в розвальни метнет, и ловко этак угадывает — травинка одна мимо не ляжет. И старый, и седой уже, и хромой — а работник. В любом деле колхозу в тягость не будет, нет...

Когда вернулись с сеном, сметали его перед конюшной и пошли по домам, напоследок все говорили: скорее бы весна, что ли. Попробовать бы этой колхозной-то работы, как же она все-таки должна получиться?

Дома Клашка удивилась: скоро как обернулись! На стол щи поставила с загнетки, а после того Степан обычно тулуп на пол стелил либо на печку лез отдохнуть с морозу, со щей горячих морило очень. Нынче ко сну несколько не тянуло. То ли не устал он вовсе, то ли еще чего бы руками делать хотелось.

Вспомнил: подойник так и брошен у него в мастерской. Пошел, печурку там растопил и только к подойнику приладил ушко — по ограде кто-то слышно — топ-топ — идет.

Кого бы это обратно могло принести?

Это Егорка был Гилев. Вошел, дверь за собой прикрыл, поглядел округ и тихо так сказал:

— Степа, а Степа, тебя Александра Ударцев к себе вызывает нонче.

— Кто???

— Ударцев. Лександр. Непонятно, что ли, говорю?

— Вовсе непонятно!

На Егорке усов уже обратно нету, морда голая, и видно, боится он. Вдрагивает, вроде кто его по морде бить по голой замахивается.

— Где же он, Лександра твой, хоронится?

— Хоронится не знаю где, а ждать тебя будет в избушке в моей, на пашне... Сѣдни же вечером.

— И не убѣг — значит, где-то тут и вьется? А куда же он коня с кошевкой подевал?

— Об коне не сказывал, не знаю. А тебе велел с им свидеться.

— Где же он тебя-то настиг — в избушке прямо?

— Да в леску рядом... Я за подоньями запряг ехать, только сметал да тронулся — он тут как есть.

— А зачем я ему?

— Говорю же: не сказывал.

— Ну, а ежели я приду да башку ему прошибу на-смерть — он опасается? Либо он там не один?

— Ну, ты ведь Ольгу-то взял к себе? С ребятишка-ми? Вот он, видать, и осмелел насчет тебя... А один-то он — это верно.

— Откудова знаешь?

— После объехал круг леса — наследил-то он один. Пеший.

— Когда было-то дело?

— Сѣдни и было. Мужики на ту сторону за сеном подались, а я на конюшню опоздал, прибег, коня выпросил вроде догнать вас, а сам по свои подонья подался. На твоём Рыжем и ездил.

— Ты скажи, а я на твоей на кобыленке...

— Вот так, вот так, Степа... Так и было все.

— Чудно... Что же ему от меня надобно? Лександре?

— Вот не знаю, Степа... Ты поди — сам обговори.

— Нужон мне Лександра твой! Только что на самом деле отмуззить его. Больше не для чего.

Егорка сказал:

— Ну, я пойду, однако! — Постоял, опять сказал: — Ну, я, однако, пойду... — А сам еще не уходил. Опять глянул на дверь, послушал, нет ли кого на ограде, после подошел к Степану вплотную и прошептал: — Ты с Лександрой-то так... Не очень на его замаливайся. А вдруг он правда что не один?

- С кем же?
- И то, может быть, их много там таких.
- Каких?
- Что ты меня пытаешь? Малой, что ли, сам-то думать? Которых за болото ссылали, так, считаешь, никто и не убер обратнo?
- Ну, а тогда почто я им нужен-то всем?
- А по то, Степа, что выручить они хочут тебя из беды.
- Из какой, скажи?
- Следователь-то, Ю-рист, допрашивал тебя? Ольгой-то упрекал? Они тебе этого не простят. Они тебя за болота закатют... Ю-ристы.
- Откудова же они знают об Ю-ристе?
- У их, Степа, везде свои. Они не просто так. Они сами огонька-то пустят и мужиков на это же подымут.
- А после что?
- Когда после?
- Ну, после огонька?
- Это им лучше видать, чем мне. А тобой, Степа, они очень интересуются.
- Очень даже?
- Им такого мужика к себе прихотить...

Стоит Егорка у верстака и то за один инструмент руками хватится, то за другой. Будто нюхает. Будто они как раз для него и куплены были, инструменты. А вот долото, скажем, ежели к Егорке применить — так для того разве, чтобы трахнуть его по башке. После за ноги из мастерской вытащить...

И Степан в самом деле из рук Егорки долото вырвал, обратнo его поставил в гнездо. Сказал:

— Вон ты куды... Кто бы подумать мог?.. Против кого идти — это очень даже просто. Колхозный амбар стоит — иди против его и спали. Кобыла отбилась — ее промежду глаз топором. Человек, к случаю, попал — и его так же. Против — это запросто. А за что? Спроси — за что? Скажешь — за жизнь. А за какую? Которая была — мы ее сами нарушили, когда колчаков прогоняли. Ту нарушили, эту не сладили, а тут Егорка с Лександрой Ударцевым вон куда глядят? — Снова вынул долото из гнезда, надвинулся на Егорку: — Ты скажи: кого ж я вот этим должен стукнуть, а? Кабы Советская власть против меня офицера выслала с кокардой да с погоном — я бы его веришь, не веришь, а достал бы

каким стежком подлиньше. Из-за угла либо как, но достал бы. А нынче кого мне доставать? Печуру Павла? Либо Фофана? Она же, Советская власть, что ни делает — все мужицкими руками. И никто ее не спалит и не спихнет. И я своим детям не враг, когда она им жизнь обещает. Кого же бить-то? А?

— Я в ответе, что ли? — усмехнулся Егорка. — Зыркаешь, вроде пьяный без памяти.

— Бить-то до смерти надо тебя, Егорка. От таких, как ты, вреда — как ни от кого боле! Тебе бы усь да усь — науськать одних на других, после глядеть, что из того получилось?! Нет ли тебе выгоды? Я и не хочу, а все же таки кому-то, видать, поперек стану, и мне тоже кто-то будет поперек, только уж пуцай это мы сами по себе будем, без твоего уськанья. И гляжу я, может, допрежь того, как встать кому поперек, сперва тебя пришибить? Ведь очень просто — пришибить, в прорубь на Иртыше кинуть, никто тебя не пожалеет, шелудивого!

Егорка через порог выскочил, уже из-за двери сказал:

— Дурной ты, Степа! Я ж не об себе! Я в общем! Ну, бывай здоров. Я пошел. — После повеселел: — А ведь доказывать ты на меня не побежишь! Не таков мужик! Не побежишь сроду! — И калиткой стукнул.

Остался Степан один. Раз-другой по железу ударил и молоток бросил...

А ну их к черту, всех мужиков крутолучинских, а может, и всех людей! Спросить — что им от Степана Чаузова надо? Каждый со своим к нему лезет — и Печура Павел, и Хромой Нечай, и еще Гилев Егорка! Нечай, так тот вроде со всеми вслух разговаривает, а молча — со Степаном. Как свои байки сказывать, так и косит глазом в Степанову сторону. Ударцев Александра — выродок, пошел потом-кровью выращенное зерно палить. И обратно ему тоже дело есть до Степана Чаузова! В гилевскую избушку вызывает — не иначе будет поджог свой замаливать. За отца прощения просить, что тот едва Степана не убил, за Ольгу с ребятишками, чтобы не сгонял их со двора. Деньги у Александры могут быть, деньги будет совать на Ольгино пропитание. Давно видать — у него запас бумажек этих был хороший, а помогли они ему? Может, потому и будет совать их другому, что самому нынче ни на что не нужны?

Что Егорка Гилев, что Александра Ударцев — называются только мужиками, а правильно сказать — никто как сволочи! Тут мужицкое дело решается — о земле, о скоте, о хлебе, о ребятишках, ты в этом деле свое защищай, упирайся, но чужое жечь, другим жизнь путать, разбойничать — вот за это ломиком-то по башкам надо бы стукать!

Мужику правдашнему забота — от таких подальше уйти, не видеть таких и не слышать... Ото всего бы нынче уйти на какое время, слов бы ничьих не слышать — ни умных, ни глупых... От слов хлеб не растет и скотина не плодится. От слов голова уже замутилась и своей-то ее не признаешь, вроде с чужого на твоих плечах голова...

Запереться бы в избе, сказать Клавдии, чтобы отвечала всем: захворал мужик, с печи не слазит. Так ведь и в своем доме нынче не утаишься — Ольга там. У той — тоже слова невысказанные, она тоже случая ждет их Степану сказать. А после того как известил Егорка Гилев об Александре, и вовсе непонятно стало — о чем и как с Ольгой говорить?

И вместо того чтобы на печь — пошел Степан на собрание. Доклад слушать. Ю-рист доклад говорить нынче будет на другом краю деревни, в избе-читальне.

Правда что подковать бы надо мужиков-то — ведь это сколь они нынче обутков в колхозе стопчут? И что она за жизнь такая — дня одного срока не дает? Дала бы срок, неделю хотя бы, сено повозить, вилами его пометать, за конями походить... Неделю пожить, будто бы и не случилось ничего, — на колхозную конюшню пешим, с тулупами в руках не бегать, и чтобы ночи той не было, в которую Ударцев пожар сделал, и Ю-рист чтобы тебя не допрашивал, и Егорка Гилев вокруг не бегал, не нюхал бы тебя, и чтобы в избе твоей твоя семья была, Клавдия со своими ребятишками и никого больше...

Чтобы оглянуться кругом. О себе вспомнить, какой ты на самом деле мужик, Чаузов Степан Яковлевич? А еще до весны бы дожить, до пахоты, до настоящей работы.

Вместо того каждый день и час каждый жизнь тебя мотает, все с тебя требует, и ведь не сдержишься — в самом деле станешь такой жизни поперек. Не надо бы этого, а сделаешь?

Сказать по правде, не ходить на собрание тоже нельзя. Собрание назвали — о колхозе, но это название только, потому что о колхозе слова далеко наперед уже все выговорены. О зерне — вот о чем Ю-рист собирался разговор вести. И даже не о зерне уже, а о хлебушке. О том куске, который Клавдия на стол три раза на день кладет да в четвертый ребятишки сами, глядишь, уволокуют с горки на печь и там счавкают. Это он еще по себе помнит — на печи да в тепле краюшка куда вкуснее делается. Теперь эту краюшку Ю-рист на зерно хочет перевести заместо того, которое в пожаре сгорело, и еще взять много сверх этого.

Нет чтобы приехал, сказал: «Мужики, погорели вы — даем вам помощь!» — другой разговор: «Дай и еще раз дай!»

Наказ Печура из города привез — сеять пшеницы куда больше против того, как общее собрание колхоза записало. Теперь за это добровольно проголосовать надо и семена дать. Для этой цели и будет Ю-рист докладывать.

Обо всем об этом Печура вроде бы должен был подружески сказать Степану, когда приходил к нему в мастерскую. Но не сказал. Секрет сделал. Он-то сделал секрет, а в Крутых Луках каждый об этом знает. Ну — дело его, Печуры. Значит, надо было так ему... Тогда не сказал, а нынче, не доходя до избы одного переулка, будто ненароком встретил:

— На собрание, Степша?

— Угу... — сказал Степан, но остановился: он хотя и шалопутный мужичонка, Павел этот Печура, но к людям добрый, и обижать его, мимо пройти, вовсе не за что.

— Ты бы, Степа, подумал об своей жизни... А? Правое слово... Я тебе об том не напрасно говорил.

Пошли вместе. Павел тихо шел, не торопился, шапку свою, воронье гнездо, вправо скособочил, чтобы на Степана левым глазом лучше глядеть.

— Я думаю, Павел. Как с утра зачну думать — и до поздней ночи. Я-то думаю, да делают-то за меня другие. Вот как.

— И ты делай.

— Кабы знатьё — что и как...

— А то, Степа, доказать непременно нужно, что сознательный ты крестьянин.

— Это как же? Может, вон как Егорка Гилев — на побегушки к следователю приладиться? Я об Егоркиной сознательности шибко понял. Знаю. Поболе других нонче знаю.

— Нет, Степа, тебе сознательность надо личную проявить. Очень тебе надо это сделать — поверь ты мне! Очень надобно тебе которую дурь с себя сбросить. Раз и навсегда.

— Которую же?

— Ну, хотя бы в единение города с деревней сильно поверить. Хотя бы и следователя не водить вокруг да около.

— Ну хотя бы я поверил? Дале что?

Печура с ноги сбился, после снова в ногу со Степаном пошел, спросил:

— Зерно у тебя есть еще? Хлеб, сказать?

Степан на ходу Павла за грудки взял, спросил, не останавливаясь:

— Вон ты подо что подбиваешься?!

— Подбиваюсь, Степа... — сознался Печура. — Подбиваюсь всеми силами своими. Но не для себя. Для тебя. — Сорвал Степанову руку с облезлого своего армячишки, пошел на него грудью, зашептал: — Для тебя! Тебе этого не простится — Ольгу Ударцеву кормить, а на семена не дать! Не простится!

— Ты не простишь?

— Поимей, Степа, совесть — не обо мне же речь, об тебе! Я тебя сроду любил, сказывал уже об этом. И я бы тебе больше сказал, но правов не имею — закрыто об тебе говорено было. Скажу только: будут у тебя зерно требовать — Христом-богом прошу, не упрямясь. В избу твою приду, на коленки перед тобой паду, но только отдай, не показывай норова! Нужон ты, Степа, в колхозе, как и то зерно, которое у тебя же берут. Еще больше того.

— Ребятишек я голодными не оставлю. И то босый-голодный я никому не нужный — ни себе, ни, сказать, колхозу.

— Может, и поголодают малость, но живыми ребятишки будут. Помни. Либо Ударцевым Лександрой вторым хочешь сделаться?

— Я, Павло, мужик есть. Им и буду. Другому чему у меня неоткудова взяться. Я не Ударцев, чтобы бечь и чужое палить. Но и взялись жизнь ладить — давайте ладить с умом, а не по злобѣ. На злобу сорвемся — то ли

я, то ли на меня кто — толку не будет ни тому, сказать, ни другому. Разве третьему кому. И ты пойми, что покуда у меня дом свой — в том доме я и свой предел имею: сколь мог — отдал, а теперь — ни зернышка. И на кого я тут похожий буду — это вовсе для меня неинтересно.

Еще прошли, еще сказал Степан Печуре:

— В колхоз меня привели — ладно. Что было, то было. А привели ужо — так не мотай мне морду-то туда-сюда. Худую кобыленку и то уздой задергаешь — она с шагу сбилась и вовсе стала. А я — конь еще не заезженный, береги меня. Почто ты ко мне добровольно-принудительно без конца и краю льнешь? Вот обратно — план посева обязательный из городу привез, а требуешь, чтобы я за его добровольно голосовал? И семян под его дал? А я не дам. И еще скажу: не дам! Правильно Нечай Хромой говорит: разори меня до края, тогда и все твое. А ежели ты мне индивидуальный двор оставил с бабой, с ребяташками, то я и хоть какой, а хозяин в ём. А то разделили меня напополам, одну половину колхозу, другую, куда меньше первой, самому мне оставили, но я эту, меньшую, все одно больше чую... И слова твои — вовсе ни при чем. Я не богомолец какой за словом ходить... И то сказать, в Сибири богомольцев этих не шибко было, которые люди слонялись босые по дорогам — так, варначишки, сказать, а не богомольцы...

— Ты, Степа, в нервы ударился. Сроду я об тебе такого не подумал бы.

— Это ты — об нервах. А я — об жизни.

— Ну, гляди, Степаа. Сёдни гляди, на завтра не откладывай...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Народу было в избе-читальне — не продохнуться. На ногах стояли уже. Но Степан все ж таки исхитрился, голову из сенок просунул, его тут же кто-то и признал, крикнул, чтобы лез сквозь. Коли долезет — место ему найдется.

Он пробился-таки. Локотков Пётра и мужики с ним рядом — друг к дружке вовсе прижались, и места чуть показалось на лавке. Степан покруче сел — еще их сдвинул.

Пётра мужикам рассказывал про Егорку Гилева — как он в кладовке сидел запертый, скулил, просился, чтобы выпустили, чтобы он Степана догнал и следовательно его представил.

Мужики каждый по отдельности об Егорке высказывались, всякими званиями его называли, но того не знали они, каков еще Егорка...

После поговорили о сене, как за сеном нынче здорово съездили, и опять не знали они, об чем собрание будет. Догадывались, похоже было, чуть ли не все, а толком не знал никто. Но, может, и так было: вид показывают, что не знают.

А начала все не было — Ю-риста ждали.

Наконец-то он явился. Все притихли, еще тесниться стали, чтобы пропустить его к красному столу, а он нет чтобы на свое место — пожелал с народом поговорить. Ему надо было показать, что он с народом заодно. Ну и приходил бы раньше, показывал, а теперь мало того что себе — и другим заботу сделал.

Которые мужики сильно за колхоз были — на первых скамейках сидели, верно, всех раньше пришли. Но и они на Ю-риста с интересом глядели — как он будет говорить, от мужиков отбиваться и подход к ним искать. Мало того — случай выпадет, так и они тоже не пропустят словечко загнуть, либо вопрос поставить, а после поглядеть, как Ю-рист этот — шибко ученый — ерзать станет.

Теперь, ежели он среди мужиков примостился слушать, то и должен услышать. И понять должен, что мужики крутолучинские не мешком пуганные, что и у них мысли в голове.

Тут все поглядели, с кем он угадал на лавку сесть, кому с ним выпало разговор вести. С ним или промеж собой, но для него, чтобы слушал.

И оказалось, мужики-то рядом с Ю-ристом вовсе не говорливые были. Так, малость только, если бы их и хватило, то не на долгое время.

Конечно, можно было с задней лавки к нему Нечая Хромого пропихнуть, но тут Ю-рист сразу бы понял, что мужики своего уполномоченного к нему приставляют.

К тому же неизвестно еще, как дело обернется, когда вопросы и ответы пойдут, — может, тогда Нечай само собой понадобится.

Ероха Тепляков был рядом с Ю-ристом и Сема Фофанов — брат двоюродный Фофана Ягодки.

Они поглядели кругом — видят, подмоги им не будет. Самим надо управляться. Посопели, еще друг на дружку и на Ю-риста поглядели — начали.

Ероха вроде полез наперед, а Семен его за полубок:

— Лезешь-то куды сквозь народ? До бога разве? Так ведь сказывают, нонче нету уже бога-то. Не иначе за место царствия небесного в колхоз прешь?!

Тихо стало в избе, слушать все стали, что Ероха ответит. Кое-где разговаривали еще, но вовсе тихо.

Ероха сказал:

— Я и без колхозу сроду был пролетарский крестьянин. Кого еще от меня надоть?

— Ты не хвастай породой-то от сохи! — будто рассердился Сема. — Один мужик вон хвастал-хвастал — после на его поглядели, а он уже на ладонь буржуазной шерстью обросший!

— И что же это за шерсть по ём пошла?

— Несознательность всякая. Исть-пить захотел каждый день досыта.

— Ты скажи, что выдумал! Это не иначе ему классовый враг внушение сделал. Ну, а ишшо?

— Захотел — что сробил, то, дескать, и мое!

— Его, поди-ка, да-а-леко за болото выселили?

— Дальше-то некуда...

— Ну ишшо бы! Так ему и надоть, падле!

— Ясное дело. Все несознательность деревенская. В городе вот — этакое несознательности да-авно уже нету. Там самые малые ребяташки и те на социализм в окошки уже глядят. Особенно, сказать, которые выше других живут.

Тут еще кто-то встрял из народу:

— Видать, срок настал нам, деревенским, в городе жить. Вплотную с рабочим классом смыкаться.

Но это уже за так прошло — никто и не заметил. На Ю-риста глядели.

Завсегда на них, на приезжих докладчиков, после такого вот мужицкого разговору интересно поглядеть.

Разное у них, у докладчиков, случается поведение... Который так изо всех сил вид делает, будто он как есть ни единого мужицкого слова не понял — сидит и лыбится во весь свой рот. Который очень задумчивый делается, не шелохнется, не вздохнет — погружен и ничего не слышал. А другой в лице весь переменит-

ся, только что на него бы шайку холодной воды плеснуть.

А Ю-рист сидел, слушал, никак себя не показывал. Вроде ждал: «А ну, давайте, мужики, давайте!.. Настанет и мой черед!»

Такие тоже бывали. И не раз. Только после ни разу на мужицкие побасенки так и не отвечали. Будто побасенок этих не было. Будто нечаянно об них забылось.

Ю-рист ждал, а Сема с Ерохой жалобно так кругом глядели: «Не взыщите, мужики, больше у нас заряду нету... Давайте подмогу!»

И только к ним с задней лавки кто-то проталкиваться начал — Ю-рист поднялся и за красный стол полез.

Полез и все на Сему с Ерохой поглядывал, вроде грозил: «Вот я вам сейчас! Сейчас осрамлю принародно!» Правду, нет ли, Ю-рист этот так и сделает? Все другие, бывало, — сначала о мировой революции, после о союзе рабочих и крестьян, еще после — о классовой борьбе, а под самый конец — о крестьянах. На побасенки же отвечать у них и вовсе времени не оставалось.

А тут Ю-рист сел за красный стол, бечевку от очков повертел и сказал:

— Ерофей Иванович и Семен Петрович, начали вы между собой интересный разговор, и за это вам спасибо! Мне остается разговор ваш продолжить...

Видать было — Сему с Ерохой в жар бросило: следователь знал уже их по имени-отчеству...

— Значит, так вы сказали: есть-пить всегда досыта хотел человек и еще получать все, что сам заработал, и за это его сослали? Так я понял?

Кто-то крикнул погромче:

— Шутковали между собою мужики! Нешто и это по декрету запрещенное?

— Почему же запрещенное? — спросил Ю-рист. — Ни в коем случае! Я для себя хотел узнать: если шутка — и я пошучу, и только. Если всерьез — я должен отвечать серьезно... Как хотите, так и будет!

Сам на Сему с Ерохой глядит. Те смешались пуще. Народ им не подсказывает — дело ихнее. Заставь их признаться, что всерьез говорили побасенку свою, — кто его знает, как Ю-рист дело повернет. Ю-рист ведь. Следователь.

— Мы,— сказал Сема Фофанов,— мы что же... Мы, сказать, как все. Как все, так и мы.

Засмеялись в избе, а кто-то рассердился, видать.

— По правде — надоть на сурьез повернуть дело. Дело и вовсе не шутейное!

На этот голос другой ответил:

— Помалкивай знай. Не ты за ленок взятый!

Еще кто-то надумал дело совсем запутать, чтобы Сему с Ерохой выручить, и заорал диким голосом:

— Почто пролетариев всех стран в одно сгоняють, а мужиков — нет? Нешто нельзя мужика тронуть? А ежели я поперек всего хочу с германцем в один колхоз записаться?

— Значит, шутить будем? — спросил Ю-рист, но ему сказали:

— Мы энтому германцу в своем колхозе должность определим: на луну брехать.

Ероха же на Сему еще раз глянул и махнул рукой:

— Давай, товарищ докладчик, на сурьез!

— Вот вы, Ерофей Иванович, — спросил тогда Ю-рист, — вы об этом тоже мечтали всегда, чтобы сытым быть и обутым?

Ероха смешался, Ю-рист ему сказал:

— А я точно знаю, Ерофей Иванович. И могу вам подсказать: во сне видели себя богатым, будто три лошади у вас, а то и десять...

— Десять не было сроду!..

— и... свои лошади, и еще соседские тоже будто бы вашими стали. И сами вы работник, и еще наняты работники у вас будто бы в хозяйстве. Вот так... Не спорьте, так. И, значит, мечта и цель жизни у вас всегда была одна — разбогатеть. Во что бы то ни стало разбогатеть. Но ведь богатый — он ведь всегда за счет чьей-то бедности появляется?! Только во сне вы, конечно, не додумались о том, почему ваш работник своего хозяйства не имеет? Из-за чего он к вам нанялся? Иной раз и своего соседа батраком, может, видели. Семена Петровича Фофанова не доводилось вам видеть? Своим батраком?

— Сроду не было! — сказал Ероха. — Как перед богом!

— Но ведь могло бы и в самом деле случиться!

— И не могло бы вовсе!

— А случилось — вы что же, отказались бы? Не

стесняйтесь. Потому что и наоборот вполне могло быть: вы бы стали батраком у Семена Фофанова, и он бы тоже против этого не возражал.

...Вот как он их поддел обоих, Ю-рист! А? Как он под мужиков подо всех подъехал, мастак! Вот и видать сразу: не просто следователь — Ю-рист! Даже и самому веселее, что такой Ю-рист тебя допрашивал, а не сапог какой-нибудь поношенный!

— Это верно, — говорил Ю-рист, — каждый человек должен быть сыт, обут, одет. А дальше что?

— Дальше видать будет!

— Вот это «видать будет» Советская власть навсегда в свои руки взяла. Чтобы у людей не было желания сделать соседа своим батраком, чтобы жить по справедливости. А кто против справедливости? — Помолчал Ю-рист... — Никого нет? Несправедливую мысль на народе высказать трудно. Все-то вместе мы лучше, чем по отдельности каждый.

Ю-рист из-под стекол на Степана будто бы поглядел. А может, показалось только...

— Мечтали о богатстве... Но ведь и о справедливости тоже. За нее мужики боролись, восстания устраивали. В Сибирь от помещиков убегали. В Сибири воевали с Колчаком. После всего этого какой же мечте ход дадим — той или этой? О батраках или о справедливости?

Говорил Ю-рист негромко, руками не размахивал, кулаками об стол не стучал. Присмирели мужики...

А Степан к Ю-ристу боком сидел, и слова эти его тоже вроде бы сбоку обходили. Слов хороших много научились нынче говорить, а дела? Завтра ты ко мне, Ю-рист, из-за Ольги Ударцевой обратно будешь прискрещаться? А когда ты о зерне заговоришь, чтобы я последнее отдал?.. Уговоры все. Все-то нынче друг дружку уговаривают: городские — мужиков, мужики — баб своих, а бабам на долю уже скотина остается... Клашка тут недавно корову доила, корова смиренная-смирренная, а взяла да и лягнулась в подойник копытом. Так Клавдия ее сколь тоже уговаривала, после пригрозила в колхоз отвести. И опять было, как тот раз на допросе: Ю-рист к нему подход искал, с той, с другой стороны заходил, а Степан глядел зорко — не проворонить бы, не дать себя словами опутать.

— Возражений против справедливости нет... — говорил между тем Ю-рист. — Кроме одного: почему это никому другому доля такая же не выпала, как нынешнему мужику? И воевать — ему. И голодать — ему. И вот еще первые колхозы устраивать — опять ему. Несправедливо это — все на одних и тех же?

И как он, Ю-рист этот, и в самом деле мужиков за ленки брал?! Мужики все разом охнули. Так же оно и было: кто против справедливой жизни? Никого нету! Кто против того, чтобы не самим бы ее ладить, эту жизнь справедливую, не на себе ее испытывать? Обратного никого!

— На месте мы стоять не можем. Остановимся — мировой капитал и собственный наш нэп тотчас нас назад отбросят. Мы сами себя назад толкнем, если сегодня же решительно не уничтожим наше стремление к наживе, к личному богатству. Так история нам говорит.

— Туды-т ее, историю! — вздохнул Пётра Локотков. — Хоть бы без истории сколь пожить! А то она все наперед тебя лезет...

Степан с Пётрой согласился — он правильно сказал, Пётра. Вдруг — когда это он успел, Ю-рист? — уже о скотине разговор ведет.

— ...издавна в русской деревне выпасы были общественные, и скот пасли тоже сообща. И получалось гораздо лучше того, если бы каждый хозяин сам по себе пас. Значит, и дальше надо искать, — что же можно делать всем вместе, коллективно?

— Корова-то, однако, молоко несет своему хозяину, а не чужому! — снова подал голос Локотков, а Ю-рист ответил:

— Но если вы хотели молоко продать и городские товары получить — вы несли его на маслодельный завод. А чей это был завод в Крутых Луках?

— Ничей... Сказать — общественный!

— Опять пришли к общественному! И посмотрите — какие сильные маслодельские союзы у нас появились! Животноводческие товарищества? Куда же мы идем? В какую сторону?

«...Обратно пришли к Печуре Павлу, — подумал Степан, — потому что до колхоза Печура был в Крутых Луках казначеем союза. Вспомнить, так долго очень спорили, кого выбрать, а после разом решили — Печуру. Он идейный, ему красть-воровать никак невозмож-

но! И пришел Печура два потайных кармана к своей драной лопотине: один правдашний, а другой ложный, керенскими и колчаковскими бумажками набитый. Даже на ночь он ту лопотину с себя не сбрасывал. В город ездил платить за товары, так на него никто не мог и подумать, будто он при деньгах... Но — обратно спросить — какой Печура Павел мужик? На Печуре Крутые Луки держатся? И государство все?» Поискал Печуру глазами, а он — вот он! — сбоку и позади через ряд. И тоже — глаз со Степана не спускает, и кивает ему головой лохматой, и просит, просит о чем-то с души с самой... Отвернулся Степан от этого взгляда...

— А магазины? — дальше спрашивал Ю-рист. — Хлебные магазины? Ведь ссыпали в магазин с каждой десятины посева, а раздавали в голодный год по едокам! Опять — общественное и опять справедливое дело. Посмотрите на себя, где вы все вместе, там соблюдаются интересы каждого, а не отдельного хозяина. А супряги устраивали? А помочи? А школу строили или вот эту избу-читальню?

И вдруг из угла голос Нечая Хромого донесся:

— Ты гляди — жизнь-то какая у нас была хо-орошая! Мало все нам — от добра-то добра ищем!

Кто-то из мужиков даже по-бабьи взвизгнул, а Нечай еще не кончил, еще сказал:

— Иль жизнь-то нам нипочем, нам верно — что одна история нужна? Так она, история-то, тоже, поди-кось, не кобыла, чтобы ее туды-сюды дергать?

Глядеть стали на Ю-риста: а что он теперь скажет?

Он сказал:

— Советская власть дает деревне машины. Из русской отсталой деревни она самую передовую в мире хочет сделать. Без машин этого не сделаешь. Никогда! А кто машину приобретает? Кто богатый! Значит, Советская власть богатея сделает и сама же батрака ему подарит? Помещиков в Сибири не было — будут. И только колхоз, владея машинами, никому не принесет разорения, а человеческую жизнь — всем. Это ленинский план кооперации! Вот это история!

Тут опять голос подали:

— План-то есть — Ленина-товарица нету...

А Степан подумал: то же самое толковал о машинах в мастерской Митя-уполномоченный. Или сговорились они с Ю-ристом? Или знали, что от машины Степану

который раз куда больше тревоги было, чем от коней? Спрашивал себя уже не раз Степан: «Кто еще в Крутых Луках машину так же чует, как я?» Он первую сноповязалку в Шадрину ездил глядеть, а когда в Крутых Луках и на овчинниковских заимках тоже сноповязалки эти появились — убегал от них прочь, не дразниться чтобы, не зариться, не проситься на машине круг какой проехать хотя бы и на запятках где... Но об этом он с Клавдией даже не говорил. О чем говорить-то?! Жизнь бы прожил, а дальше самосброски в хозяйстве своем не пошел бы! Сроду!

Машина не конь. От коня хлебом пахнет и потом, его по холке потрепал — и мнится уже, будто таких же вот ласковых, понятливых три у тебя, пять — того больше.

Машина молчит, к тебе не льнет, а все равно спрашивает: «Сколько посеvu сеешь, чтобы расчет был меня купить? И сколько ты заплатить можешь за меня?» И тут ясно и понятно: принадлежать она тебе вовсе не должна... А глаз ты с нее все равно не спускаешь. И запах ее железный все равно чуешь.

Допрос Ю-рист снимал со Степана, Степан так-то не заморгал, не захлопал шарами, ровно мальчонка какой. А тут убил-таки Ю-рист его! Виду хотя бы не показать, что убил. Сказать бы Ю-ристу поперек! Крикнуть бы что?!

И скажет. И крикнет.

«Хорошо обещаешь, Ю-рист? Так по-хорошему его и делай, хорошее. А иначе где-нигде мы с тобой сшибемся, где-нигде, а надо будет против тебя выдержать. Не выдержишь — ты и в самом деле, как ту негодную кобылешку, меня вожжами задергаешь. После объясняй: из-за хорошего задергал либо из-за плохого?!»

И хотя убил Ю-рист Степана, но только не насовсем убил, голову с него не снял. Голова покуда еще своя у него.

Сидел Степан и ждал... Ждал, когда о семенах Ю-рист спросит. Дышать в избе-читальне вовсе невозможно стало, однако дышали.

Лампу под потолком засветили.

При лампе разглядел Степан: сразу за Печурой Павлом сидел Митя-уполномоченный. Приехал, значит, и в самом деле в Крутые Луки Митя, но к Степану на квартиру не зашел, баульчик свой фанерный не взял. Узнал, видать, что Ольга у него в доме, и не захотел прийти...

А за Митей еще одного разглядел Степан человека, не сразу признал. А это Корякин был. Корякин из крутолучинских мужиков, самый был первый председатель комбеда. После пошел и пошел по службе. Уже и не мужик, а начальник. Уже в Крутые Луки пожаловал если — так не для того, чтобы, скажем, по сено за реку съездить. Тужурка на нем не то чтобы новая, но городская. И личность стала не мужицкая: безбородый, и глядеть на него — очень строгий. Замученный еще... Верно, по деревням ездит, из кошевки не вылазит. И молодой ли, старый ли — не сразу поймешь.

Вот оно, какое собрание-то нынче — Корякин здесь! Этот зря не приедет. Нет. Будет что-то, если Ю-риста мало одного и Мити уполномоченного мало, а еще приехал Корякин!

Был Корякин головастый, но только вовсе не по-мужицки слаженный.

Он и в партизанах был долгое время, и с Пятой армией ушел Колчака окончательно воевать, после ходил еще на Врангеля, а вернулся — бабу свою подстриг под мужика, картуз на нее надел тоже мужицкий, и пошли они вдвоем в таком виде агитировать против бога, против кулаков, против попов. По деревням ездили и показывали между собой равенство, какое должно быть при новой жизни. Верст на сто в окружности Корякин этот всех попов объехал, спорил с ними принародно — есть бог либо нету бога, и, сказать надо, боялись попы его хуже черта рогатого.

На тракту, за Шадриной где-то, стреляли в них сразу с двух обрезов, но они живые остались и своего не бросили. И не то что говорун бы какой, а больше ничего — любую крестьянскую работу мог Корякин руками делать, но вместо того он книжки читал и бабу читать учил. Дружбу же водил в Крутых Луках с Печурой с Павлом.

Когда уехал в город насовсем, Печура постарел враз, руками стал с той поры махать шибче и говорить громче. Переживал, что без дружка остался.

И хотя живет Корякин в городе уже долгое время со своей стриженной бабой — скрозь мужика он глядит по сю пору. Это не Ю-рист, он, к примеру, про кошку спрашивать не будет и об том, как ты газетку читаешь и мясо ешь ли каждый день — тоже нет. Про твою жизнь у тебя не спросит, он ее сам знает.

И давно он задумал жизнь эту на другой лад повер-

нуть, и нету слова того, чтобы Корякину стало поперек: он враз перешагнет.

Это вовсе не надо глядеть, что человек, как все, — силы в нем без конца... И еще у него власть.

Вот оно какое, собрание, нынче...

Так...

Ну что же, поглядеть надо. Подождать надо. И хотя верно, что тошно уже в помещении от дыма табачного, надо еще закурить.

Ждут все...

Каждый по-своему ждет... Один — слов еще от Юриста об справедливости ждет, другой — когда собрание кончится. Печура Павел от Степана чего-то ждет, а Степан — когда о новом плане посева речь зайдет, о семенах...

Уже о пожаре сказал Юрист, о классовом враге. Ладно...

О Степане Чаузове сказал: сил Чаузов не пожалел, чтобы семена спасти. Ладно...

— И вот, — сказал Юрист, — люди сознательные, люди преданные нашему делу, колхозному строю, я думаю, подадут пример — из своих личных запасов пополнят семенной фонд колхоза. Для обеспечения нового плана сева.

Замолчал...

Он замолчал, и никто не говорил... Лампа под потолком мигала, мужики под лампой сопели.

Так долгое время было...

— Пуд! — сказал Печура Павел. Он поднялся с лавки, стоял и руками шапчонку свою, воронье гнездо, вертел и мял. Будто не от себя пуд отдавал, а Христом-богом у кого-то вымаливал. Правда что вот-вот на колени готовый был упасть.

— Надо, мужики, бабам наказать, чтобы они не кормили печуровских-то ребятишек, куска не давали им, — сказал кто-то. — Пуд-то Печуре вовсе лишний!

А это дурак какой-то сказал, больше никто. Голоса не разобрать — чей такой? Это хуже бабы мужик сказать мог, не иначе. Не хочешь от себя отдавать — не отдавай, но и Печуру попрекать не смей. И ребятишки его здесь ни при чем.

От попрека этого в горле заскребло.

А Печура еще раз сказал:

— Пуд!

...Э-эх, Печура, Печура!.. Как бы скинуться вот сейчас по пуду всем, по два и по три даже, а после знать, что никто хлеба твоего больше требовать не будет! Поперек колена никто тебя ломать не вздумает! Как бы знать об этом, о чем бы тогда и разговор?!

Ю-рист тоже за столом стоял, очки дергал. Вдруг обернулся и прямо к Степану:

— А теперь хочу спросить Чаузова: если Печура вносит пуд, сколько он может внести?

Поднялся и Степан. Постоял. Поглядел.

— Ни зернышка!— И снова сел.

— Вопрос у меня есть к гражданину Чаузову...

Степан оглянулся, а это Корякин ставит вопрос. Молчал, молчал, и вот заговорил:

— Вопрос такой: Чаузову есть чем кормить жену классового врага и поджигателя с тремя ребятишками. С тремя! А внести в семенной фонд колхоза у него и зернышка нету! Как это понять? Как объяснить? Гражданин Чаузов?

Подумал Степан, как ответить.

— Потому и нету, что едоков прибавилось. Подойти как следоват — с меня на семена-то и в самом деле по этой причине не каждый спросит. Которому и стыдно будет спросить. Об остальном товарищ Ю-рист с меня допрос уже сымал. И все у его в бумагу записано.

— Значит, ни зерна?— еще спросил Корякин.

— Ни единого...

Кончилось собрание. Пуд один был на семена записан.

Мужики ушли, двери распахнули, холодом с улицы потянуло.

Печура Павел поднялся на скамью, лампу снял с потолка и поставил ее на красный стол. Сам чуть в стороне сел на табурет, обе руки запустил в лохматую свою голову.

— Заседание тройки по довыявлению кулачества считаем открытым!— сказал Корякин.— Пиши, Дмитрий, протокол...

За столом сидел Корякин, по одну сторону от него — Митя-уполномоченный, по другую — следователь.

— Ну?— Поглядел Корякин на того и на другого.— Какие еще будут соображения по Чаузову? Вопрос ясен? Пиши, Дмитрий: «Постановили...»

— Товарищ Корякин,— сказал Печура, подвинув табуретку чуть ближе к столу,— не ошибиться бы, товарищ Корякин... Вот он видишь как — не дал зерна, а сам-то, может, и больше значит для колхоза, чем зерно его?.. Вы же его знаете, Чаузова, на одной улице жили с им, товарищ Корякин?! Его бы только в работу как можно скорее, а после он уже себя покажет! Он не тот вовсе будет... И как мы колхозникам объясним?.. Перекошу как бы не было с нашей стороны, товарищ Корякин. Перекос человеку сделать на всю жизнь — это легко. После того трудно бывает...

Корякин поднял удивленное лицо:

— Какие могут быть объяснения? Неясный вопрос? Хвалят тебя в районе, товарищ Печура, хвалят все как передового, а оказывается, тебе до оппортунизма — один шаг! Да знаю я Чаузова Степана, знаю вот с таких лет!— Показал чуть-чуть над столом.— И скажу: если бы Советская власть его не остановила, он бы кулаком вот каким стал!

— Но ведь остановила?— спросил следователь, не поднимая головы и подкручивая фитиль мигающей лампы.— Все-таки остановила? Для чего? Чтобы потом снова в кулаки зачислить?

— Всю жизнь за ним следить и его останавливать невозможно. Для него никогда и бедняк-то человеком не был. Это сегодня и сказалось. Проявилась его собственническая сущность.

— А жену он взял из самой бедной семьи. Не ошибаюсь я?— спросил следователь.

— Нет. Не ошибаетесь,— ответил Митя.— Но она никогда не забывала о своей классовой принадлежности. Она влияла на мужа положительно. Хотя, должно быть, этого влияния оказалось недостаточно.

— Вот именно,— подтвердил Корякин.— Жена не могла повлиять, ты, что ли, Печура, возьмешь на всю жизнь за него ответственность? Он жену-то погубил... Активисткой могла бы стать. Женским организатором. В районном масштабе или больше, а теперь?

— Да!— снова согласился Митя.— Она вполне бы могла. Ей бы среднее образование!

Следователь подкрутил наконец фитиль, и лампа загорелась поярче.

— Но он же колхозник? Чаузов? Он же вступил? И не последним?

— Тем хуже для нас. Замаскировался и будет разлагать изнутри. И саботажничать, как сегодня саботажничал. Срывать любое мероприятие. Еще будем ждать таких же случаев? Или — хватит с нас?

Следователь вытер пальцы о бумажку, бумажку смял и бросил под стол.

— Чаузов воевал за Советскую власть... — сказал он. Печура вскочил с табуретки.

— Так и есть! Воевал! Они с Христоней с Федоренковым шпалы повынимали из-под железки. На повороте как раз. Полный состав теплушек с колчаками ушел под откос. Такое в результате случилось крушение!

Облокотившись на стол, следователь глядел в огонь лампы. Два огонька мерцали в стеклах его пенсне, и только за этими огоньками где-то в глубине иногда появлялись глаза, потерявшие вдруг цвет, небольшие и неподвижные. Пальцы рук следователь крепко сплел между собой и как будто не мог их разнять, а от усилий в руках и на лице его — высоколобом и морщинистом — морщины становились глубже и плотнее сжимались губы.

Корякин поглядел на следователя, встал из-за стола, прошелся туда-сюда, топая огромными валенками по скрипучим половицам, и остановился за его спиной.

— Ну? — спросил Корякин. — Ну — что еще?

— Ничего... — ответил следователь, не оборачиваясь. — Нельзя не анализировать факты.

— Знаю! — кивнул Корякин. — Для этого, для анализа, нужно высшее образование?

— Образование нужно. И вся жизнь наша тоже нужна.

— Знаю! Книжечки свои вспоминаете, которые о земском суде написали. Политическую работу среди крестьянских масс во время ссылки. Партийный стаж?

— Вспоминаю и это.

— А я скажу: вы меня и стажем своим со сталинского курса не свернете! Того больше — не допущу, чтобы и вы пошатнулись!

— А вы не забыли «Ответ товарищам колхозникам»? А «Головокружение от успехов»?

— Теперь я скажу: а в чем Сталин гениально видит успех нашего дела? В чем успех можно видеть, если не в этом самом подходе к середняку? Будете возражать? Не будете? Правильно, потому что — диалектика... —

Корякин усмехнулся, постучал пальцем себе по лбу... — Так вот — с протоколом вашего допроса я ознакомился. И сразу понял: наводили Чаузова на классовую платформу. Будто он с Ударцевым, как с врагом, хотел расправиться! И ничего у вас не вышло — он Ударцева за врага признать не захотел. Вы подумали — засудить Чаузова, дать ему каких-нибудь полгода за разорение имущества классового врага, а после пускай, мол, вернется как ни в чем не бывало?! Не вышло. И не выйдет. Повторяю: носитель он индивидуализма и собственничества! Он всегда между нами и сознательным трудящимся колхозником стоять будет. Ваш же протокол допроса начисто Чаузова обнажает. Мужики все показывают, будто Егорка Гилев подстрекателем был, когда Ударцева рушили, а Чаузова они берегут, сказать прямо — выгораживают. Смешно, Егорка Гилев — всем голова! Я на пожаре не был, но ясно себе представляю, кто за кем шел. Нынче Чаузов Степан шел пожар тушить, а завтра он пойдет колхоз рушить, и некоторые мужики его на этот случай берегут! Таких, как Чаузов, навсегда надо от масс изолировать, избавиться от их влияния. Вот вы объясняли мужикам про пастьбу, про хлебный магазин, про маслодельное товарищество. Да об этом они лучше нас с вами знают! Но я не увидел, где вы нанесли сокрушительный удар по мелкобуржуазной сущности? Не было такого удара с вашей стороны! А ведь колхоз создаем, и атмосфера в колхозе должна быть абсолютно чистая...

Корякин чуть приподнялся на носки, потом качнулся на пятках своих огромных валенок и вдруг тихо, мечтательно сказал:

— Вот как весной капель падает — как-кап! Кап-кап! И ничто-то ее не замутит, ни сориночки в ней нету! Будто слеза ребячья. — Погладил следователя по плечу. — Вот какую мы нынче создаем идеологию! Чтобы через пятилетку или, может, там через две мужики сами же над собой смеялись — какие, дескать, у нас были нечеловеческие устремления к частной собственности! Подумать только — зерна по три пуда на круг для своего же колхоза пожалели?! Ну, а на сегодня — борьба! И я не просто так, не вообще про Чаузова говорю — я действием доказал его кулацкую сущность.

— Действием? Как?! — спросил следователь. — Конкретно?

— Конкретно — я к нему одного тут мужика по-

слал. Сказать, что Ударцев Александр его к себе ждет. Сегодня вечером на пашне и ждет. В избушке.

— Позвольте, но Ударцева здесь поблизости нет. Это мне точно известно!

— И мне — точно.

— Так... Понимаю...— Следователь поглядел на Митю, на Печуру Павла.— Так... Но Чаузов в избушку к Ударцеву не пошел! Ведь не пошел, он же был сегодня на собрании?

— Не пошел. Точно. Но ведь и мне, или, скажем, вот вам, или Печуре он же не сказал, что Ударцев здесь скрывается? Его ждет? Не признался? Не сделал этого? Пиши, Дмитрий...

— У меня есть особое мнение, товарищ Корякин...— сказал следователь.

Корякин удивился:

— То есть как?

— Я с вами не согласен.

— Ну, что же — мнение каждый может иметь. Каждый. Но не совету. Тем более вы не только следователь, а еще и уполномоченный. Совершенно не советую. По-дружески. К тому же мы — большинство, а вы — меньшинство. Пиши, Дмитрий...

— Я с вами не согласен...— повторил следователь.

— Вскорости согласитесь,— кивнул Корякин.— В корне пересмотрите свою линию!

— Пересмотрите линию вы...

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

...Ах вы, цветики-цветочки!

И вовсе не те беззаботные, дармовые, что сами собой расцветают от солнца среди травы и хлебов, расцветают и вянут в ту пору, когда все-то расцветает, все вянет, а другие — неизвестной в полях и лугах породы, безымянные, те, что нарождаются, когда убран уже хлеб и засыпан в закрома, когда вдруг поверит мужик своим глазам, на хлеб этот поглядев, поверит своим рукам, хлеб этот пощупав, а за тем вслед вспомнит и о цветочках этих... Вспомнит и призовет к себе в избу художника-маляра с двумя, а то и с тремя банками пахучей краски, подернутой глянцевой, этакой вкусной корочкой, с двумя, а то и тремя кистями и с трафаретом...

И велит хозяйке тот маляр-художник налить в кошачью или какую другую черепушку керосину, чтоб отмочить в нем засохшие свои кисти, и разукрасит ими дверь, а то и полати, а то еще и по кромке печи наладит он цветов, а то и на дверях, и на полатах, и на печи сразу... Мало того, если сверх договора поднесут маляру-художнику косушку — он на память еще и на табуретке, на которой сидел, косушку в рот опрокидывал, тоже цветики изладит...

И живут после те цветы в избе лето и зиму, слушают избу днем и ночью — все ее шорохи, все ее слова и песни, и вздохи, и крик ребячий, и ругань, и даже кто о чем в избе помечтал, они и это слушают... И все-то они знают, как люди здесь рождались, как умирали...

Чего только не придумал человек: скотину домашнюю, заводскую машину, икону. Воевать придумал между собой, бить друг друга смертным боем, а вот меры своим тревогам, думам своим не установил... Нету им никакой меры, а коли хочешь об ней догадаться — гляди и гляди на те цветочки, они будто бы ее знают.

В избе Степана Чаузова они на дверях были нарисованные, цветики — голубые по темно-красному и еще красные по голубому на матке через всю избу протянулись. И похоже было, что вот жили в Крутых Луках мужики с давних-давних пор, с далеких времен — чуть что не с самого Ермака, вольные мужики и беглые с уральских Демидовских заводов, с российских волостей и губерний, и все они копили и копили думы о мужицкой своей жизни, от прадедов к правнукам тянулись те мысли, и дотянулись они до этой вот двери, до голубой с красными цветами, этой матки... Дотянулись они сюда, и ты, Степа Чаузов, решай, что она такое — мужичья жизнь? Что она? Куда ее свернуло? Как ею и дальше жить? И жить ли?

Долгое-долгое утро было в четверг, когда сидел и молча всматривался в цветочки эти Чаузов Степан.

Свои ребяташки, одетые уже, сидели на узлах, а Ольгины — с печи глазами пялились. Понимали, нет ли, что произошло? Своих Клашка молоком напоила прямо из ковшика: «Когда-то еще молочка попьете теперь? От своей-то коровы, может, и в жизни никогда не придется?!» — Они пили — она их еще заставляла пить. Теперь сидят — одурели вроде с молока...

Клавдия с Ольгой еще одно, последнее рядом зашивали с барахлишком, торопились, ревели обе молча.

А Степан, на них не глядя, пошел по дому с плоскогубцами — где бы чего оторвать нужное?

Ухват от черенка оторвал, от коромысла — крючья. Шпингалеты были на окнах — их тоже сорвал. Кольцо на западне железное — кольцо вывернул.

Деревянное — все можно самому сладить, а железки эти хоть и не мудрые, но после локти будешь кусать, что не догадался их прихватить.

И даже вроде печалиться некогда было. Не до того было. Злость там или еще что такое — это на после, чтобы после за свою судьбу кого-то ругать, а не себя; сам все сделал правильно, как мог, так и сделал, другого ничего придумать нельзя было.

Встал на табуретку, принялся крюк из матки вырывать. Матка крепкая была, он ее сам ставил и сам бревно для нее выбирал когда-то, чтобы ни трещинки в бревне не было, она крюк держала цепко, гудела вся, краска голубая с нее сыпалась, а крюк едва подавался... Степан уже и кочергу согнул, вырывая ею крюк, и самого от натуги в пот кинуло...

Это сколько же годов тому назад крюк был кузнецом скован, если и Степан-то сам в той зыбке качался, которая на крюке висела? А вспомнить, может, и отец Степана тоже сосунком, на спинке лежа, из зыбки на крюк этот глазенки пялил?

Спалить бы избу свою сейчас, керосином бы по углам плеснуть — и спичку туда, а вместо того крюк из матки вырываешь...

Клавдия одну икону, самую малую, темную, еще матерью ей подаренную, за пазуху себе сунула...

Может, еще и не все на подводу погрузят, что бабы зашили. Может, дорогой, покуда до места за болотом доставят, которые мешки бросить придется. И на этот случай Степан велел бабам одежду на взрослых зашить отдельно. Мешок этот бросить можно будет вперед всех других: обойдутся и тем, что на себе. Опять же, работники — они везде нужны, их голыми-босыми оставлять никому резону нет, а вот чем работники эти есть-пить будут, чем горячий чугунок брать — ухватом либо рукой голой, чем они избу от чужих людей снутри закинут — это кому интересно? С кого все это Клавдия и ребятишки спросят? Да с него же и спросят, больше им не с кого! Жить надо будет... Вот Ольга Ударцева живет. Без слезинки. Не глядит, что сила-то у нее бабья.

Сколько оно будет, болото это, от Крутых Лук? Пятьсот верст? Тысячу? Так нешто за тысячу верст за городом Тобольском Степан Чаузов не мужик уже? Не работник и не жилец? Ребятишкам своим не кормилец?

Зашили последний узел бабы. Сами оделись. Разоренную избу оглядели. И Степан снова поглядел на дверь, на цветочки голубые. Дверь эту навешивал — думал: его стариком древним сквозь ее ногами наперед вынесут, а вот — сам выходит прочь... Живой вроде.

Цветики вы, цветочки...

На прилавке Митя-уполномоченный сидел, молчал, не хотел, чтобы замечали его. А его и не замечали. Сам об себе пусть заботится, какой из него человек выйдет...

Одной только Ольге Митя мешал. Видать, она говорить хотела со Степаном, а Митя ей мешал. А что нынче с Ольгой говорить, если по сей день ничего между ними сказано так и не было?

Нынче уже поздно.

Не забыть бы чего еще, какой шпингалет!..

Митя посопел у печки и вышел. Уполномоченный он, при службе. Может, и совсем ушел бы, но нельзя.

Только вышел Митя — Ольга перед Степаном на колени пала. Ее дом рушили — молчала, а тут заревела на всю избу, затрясло ее, руками за Степановы ноги схватилась:

— Через меня все случилось, Степан Яковлевич! Прости ты меня, Степан Яковлевич, и ты, Клавдия, бога ради, прости! И ребятишки ваши вырастут — пуцай не поймут, будто знала я, как случится, когда в дом ваш вошла!

Степан ее с полу сорвал, на ноги поставил:

— Ревешь бестолково. Не корова ведь. Кто тебя упрекает?

Ольга глаза подолом протерла, тихо заговорила и торопливо — вот-вот Митя-уполномоченный мог вернуться.

— Не хотела я после той ночи к Ударцевым, к родственникам, пойти. Они же не люди, хуже зверьев! Деньги у их и золото, а деньгам ходу власть нынче не дает, вот и озверели. Об деньгах своих день и ночь шептались, хворь их брала от забот, а я боялась тех денег коснуться, слова об них услышать страсть боялась! Они потому и взяли меня с тракта, со степей с самых, чтобы я в Крутых Луках чужой была, не сказывала бы никому

об их жизни... После пожара я почему к вам пошла? Думала — они везде меня достанут, а Чаузова Степана побоятся. Тебя тронуть, Степан, не просто: объяснить же людям — нужно, за что и как? Ежели зря — то и обиду за тебя люди не простят... Так я думала-то. И обратно от Печуры от Павла к тебе уважение видела, от Фофана Кузьмы... Клавдия, какими слезами мне плакать нынче перед тобой?!

Уже и на цветы бы не глядел Степан, которые на дверях нарисованные, и на Ольгу. И на Митю-уполномоченного не замахнуться бы, как он снова в двери войдет...

Уже времени-то оставалось ничего в своем доме побыть, а все еще людям то ли от Степана что-то надо, то ли они ему что-то хотят объяснить? Он тоже хотел было сказать Ольге, что Александр ее тут где-то бродит, вокруг Крутых Лук, а только для чего ей об этом знать? Он, может, Александра-то, и видеть ее не хочет, повоет, как пес бездомный, шелудивый, и убежит. Ей радости будет немного...

Промолчал... Скорее бы побросать в сани узлы, сундучишко, ребятишек, а после того — все уже не в твоей власти. Куда повезут, что с тобой будут делать, — дело не твое. На месте будешь за болотом — вот тогда уже снова за жизнь хватайся, за невеселую землю, за избу какую-никакую... Вернее всего, с землянки начинать придется...

Сказал Ольге:

— Ну, отдал бы я вчерась зерно, а дальше что? На другом бы на чем не уступил, не так сказал бы. И в аккурат — то же на то и вышло бы...

Может, и еще что сказал бы, но тут Митя снова в избу вошел. А этому что обратно надо? У него какие слова в горле застряли?

Он видишь что надумал — глазами в Клавдию уперся и тихо так называет:

— Клавдия Петровна!

Та не услышала — не до него ей. Он снова повторил:

— Клавдия Петровна!

— Ну! Кого тебе? — спросила Клавдия и, как сидела за столом, рук от лица не отняла...

— Вы, Клавдия Петровна, поскольку происходите из совсем другой классовой прослойки, могли бы заявление подать... И заявление могли бы рассмотреть по-

ложительно. И вас в Крутых Луках оставить. Даже вместе с детьми.

Она не сразу поняла, о чем Митя-уполномоченный говорит, а когда поняла, руки отняла от лица, поглядела на него:

— Кутенок ты разнесчастный! А я-то за тобой ходила, на стол тебе подавала, портки твои штопала, и все зря. Неужто зря?! Души в тебе ничуть не прибавилось? Степан вот пришибет тебя сейчас, кутенка, а я и слова не скажу — пушай пришибет!

Отвернулась.

А Митю в ту минуту правда что взять бы за ноги и головой об пол...

И не жалко. Своих ребятишек пожалеть надо было — как раз через это они и вовсе могли бы без отца остаться.

— Я, Клавдия Петровна, — проговорил Митя, — считал долгом вам об этом сказать. Не мог не сказать.

Шпингалет надо еще один отвинтить. И крюк от зыбки окончательно вырвать.

Нечай Хромой пришел в тулупе, с кнутом.

Пришел, сказал:

— Собрался, Степа? К новой жизни?

— Давай понужать, что ли... — отозвался Степан.

Нечай избу оглядел, на печку сунулся, — может, нужное что оставлено. В ограду вышел. А когда вернулся, ящичек принес небольшой с гвоздями-пятидюймовками.

— Ты как же это, Степа, а? Забыл? С этих с гвоздей, может, как раз тебе и начинать все придется?.. А я, слышь, сам назвался тебя на станцию отвезть. Сам. Кто-никто повезет, а коли так — пушай я. Соседи мы. И дружки обратно. — Помолчал, у Мити спросил: — А вот скажи, уполномоченный товарищ, — правда ли, будто Чаузов Степан, крутолучинский мужик, кулак и людям вражина?

— Нет, — сказал Митя. — Чаузов — кулак не настоящий.

— А почто же ты его высылаешь по-настоящему?

— Переделка всей жизни, товарищ Нечаев. И люди разделились на два противоположных лагеря: одни — «за», другие — «против». А кто-то еще и посередине. И такого вот среднего самый какой-то ничтожный случай может толкнуть туда или сюда. Здесь — такой случай. Он.

— А ты себя по случаю сослал бы за болото? Себя — не Чаузова! Глянется тебе так-то? Себе перекося делать?

— А я не боюсь, товарищ Нечаев... — ответил Митя. — Я ничего не боюсь — что меня кулак убьет или еще хуже Советская власть за кулака нечаянно примет и за болото сошлет. Лес рубят — щепки летят... Я честно служу делу.

«Ты гляди, однако, какой он парень, этот Митя», — подумал Степан, но какой он — так и не ответил себе. Глянул на Клавдию.

Из-под шали, опущенной на брови, она тоже кинула взгляд на Митю:

— О честности говоришь?! Честное-то правдой дается, не разбоем!

— Разбой — это, Клавдия Петровна, для себя, для личного обогащения. А здесь — борьба за светлое будущее. Ваши слезы — последние слезы. Может быть, еще пройдет лет пять — потом классовой борьбы у нас не будет, установится полная справедливость. И слез не будет уже. Никогда.

— Ударцев вон, Александр, — снова ответила Мите Клавдия, — хлеб пожег. Ему для себя выгоды тоже нету. А разбойник он, и никто другой, на глаза человеку боится попасть. Ты тоже людей зоришь, а кругом правый и даже глаз нынче от меня не прячешь!

А Нечай, тот с Митей будто бы даже согласен был, вздохнул и сказал:

— Понятно как объясняешь, уполномоченный! Все понятно. Только сильно торопишься. Но ты не гляди, будто вот я, к примеру, седой да хромой... Такие и живут на земле — ни война, ни голодуха их не берет. Живут и обещанное помнят... Помнят и помнят! Ну, по-нужаем, что ли?

Ольга на крыльцо выскочила в полушалке в Клашкином, а ребятишки ее — кто в чем, меньшей и вовсе босиком... Как получилось: Ольга в дому осталась, а Чаузовых уже в нем нету?! Долго ли только Ольге в чаузовском доме поживется? Едва ли долго... Может, неделю. А может, час какой...

Полкашка головой своей нескладной туда-сюда по ограде тыкался. Его на цепь закинули, чтобы за хозяевами не увязался.

Вещички в пароконные розвальни побросать — одной минуты дело.

Печура Павел прибежал — уже сани тронулись.

— И почто цена такая за нашу, за мужицкую правду назначена? — спросил Печура у Нечая. — И кому она, такая цена, нужна? Кому она впрок? А?

Нечай не ответил, понужнул коней.

Свои, деревенские, у ворот стояли. Баба взывала какая-то — на нее прикрикнули:

— По живому ревешь, будто по покойнику. За-молчь, а то как раз и сбудется. И за болотом, поди-кось, земля!

По дороге за санями Теревтий-глухонемой, Егорки Гилева брат, увязался было... Мычал, руками что-то показывал, никак не мог понять — что такое случилось?

Где ему, глухому и немому, было понять?

Капель была — первая в году. С крыш сосульки нависли, и капли — крупные такие — в наледь на земле ударялись, звенели: кап-кап! кап-кап!

*Новосибирск
1964*

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Дедков. Вручить свои мысли...</i>	5
ТРОПЫ АЛТАЯ. <i>Роман</i>	33
СВИДЕТЕЛИ. <i>Сатирическая повесть</i>	393
НА ИРТЫШЕ. <i>Повесть</i>	465

- Залыгин С. П.**
3-24 Собрание сочинений. В 6-ти т. Т. 1. Тропы
Алтая: Роман; Свидетели: Сатирическая по-
весть; На Иртыше: Повесть / Вступ. статья
И. Дедкова. — М.: Худож. лит., 1989. — 591 с.

ISBN 5-280-00784-6 (Т. 1)

ISBN 5-280-00785-4

В том входят широкоизвестный роман «Тропы Алтая» (1959—1961), посвященный исследователям Горного Алтая, сатирическая повесть «Свидетели» (1956), а также повесть «На Иртыше» (1964), рассказывающая о жизни крестьян Прииртышья в период становления колхозов.

3 $\frac{4702010201-314}{028(01)-89}$ Подписное

ББК 84Р7

СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ЗАЛЫГИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

Редактор **Т. ШЕХАНОВА**
Художественный редактор **Е. ЕНЕНКО**
Технический редактор **Е. ПОЛОНСКАЯ**
Корректоры **О. ЖУРАВЛЕВА, О. КОВАЛЬ**

ИБ № 5434

Сдано в набор 20.01.89. Подписано в печать 16.10.89. Формат 84×
×108¹/₃₂. Бумага кн.-журн. имп. Гарнитура «Обыкновенная новая».
Печать высокая. Усл. печ. л. 31,08+1 вкл.=31,13. Усл. кр.-отт. 31,18.
Уч.-изд. л. 32,61+1 вкл.=32,66. Тираж 100 000 экз. Изд. № III—
3345. Заказ № 1933. Цена 2 р. 40 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19
Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знаме-
ни Ленинградское производственно-техническое объединение «Пе-
чатный Двор» имени А. М. Горького при Госкомпечати СССР. 197136,
Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15